

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

2008

№4 (68)

осень

« Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть. »

Е. А. Баратынский

Главный редактор

Марина Саввиных

Заместители главного редактора

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

Иван Клиновой

Елена Тимченко

Михаил Стрельцов

Секретарь

Наталья Слинкова

Дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

Редакционная коллегия

Николай Алешков

Набережные Челны

Алексей Бабий

Красноярск

Владимир Балашов

Саяногорск

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Михаил Гундарин

Барнаул

Андрей Иванов

Кемерово

Александр Колесов

Владивосток

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Валентин Курбатов

Псков

Александр Лейфер

Омск

Евгений Мамонтов

Владивосток

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Александр Силаев

Красноярск

Михаил Успенский

Красноярск

Илья Фоняков

Санкт-Петербург



Сергей Сартаков Горы горят

Из побывальщин Петра Петровича

Публикуется впервые. Рукопись любезно предоставлена А. И. Щербаковым.

В великой таёжной Сибири есть много великих рек, вошедших в географические карты мира яркими синими линиями. Они возникают из своих притоков, на картах обозначаемых бледно-голубыми линиями. А те, в свою очередь, — из речек, не удостоенных никаких линий.

Река Янгода из числа таких, не обозначенных. Несётся она, извилисто прорезая предгорье Восточного Саяна, на бегу своём украшенная скалистыми берегами, которые вдруг расступаются и дают приют небольшим селеньям.

На этой реке в пору увлечения малым гидростроительством начались работы по созданию плотины облегчённого типа. Кстати, с пренебрежением к бытующим среди старожилов устным местным преданьям и легендам о происходивших здесь когда-то жестоких катастрофах в горных вершинах.

Проектировщикам рассказывали о народных приметах и об особой примете — «горы горят». Это когда над дальней цепью гор, её снеговыми вершинами, дрожа, поднимаются лёгкие струйки чёрного дыма. Но это не дым, это поднимаются и растворяются в воздухе тёмные облачка. Дым — это так, «для понту». А на самом деле, тоже «для понту», — как бы тяжёлое дыхание гор, замерших в тревожном ожидании чего-то небывалого. И — небывалое — высокая вода, остановить удар которой начатая по облегчённому проекту плотина не сможет.

Такие катастрофы бывают очень редко, но всё же бывают.

Это когда в верховьях Янгоды, на плечах крутых скалистых гор, накапливаются гигантские лавины плотного зимнего снега. Они понемногу подтаивают по голым откосам скал и замирают, словно готовясь к прыжку в русло быстро несущегося потока реки. И тут вдруг, принесённые диким циклоном, наплывают тяжёлые грозовые тучи и обрушивают целые водопады дождя. Эти две страшные силы, соединяясь вместе, одновременно низвергаются, вспухая высоким жёлтым бугром, сметая всё на своём пути.

Поэтому, досконально изучив все особенности, касающиеся здешней тихой и величавой природы, иногда взрываемой силой безумной ярости, строительство плотины всё же решили прекратить, не достигнув задуманной цели даже до половины. А весь створ реки от самых верховьев и до посёлка Якорного объявить заповедником.

Так незаконченная, заброшенная плотина впоследствии год за годом становилась лишь ловушкой для плывущего от истоков реки всякого полусгнившего и ледоходом содранного с

берегов топляка, иссохшего коряжника, больших здоровых хвойных и лиственных деревьев, иногда переломленных пополам и ставших дыбом вверх корнями, отчего перемычка превратилась в какое-то доисторическое чудовище.

В нижней части, в глубоком ўлове, собиралось великое множество рыб, больших и малых, стремящихся пробиться к нерестилищам.

Добрые люди, зная, что искусственных рыбопроходов в придонной части плотины нет, вылавливали их черпаками и тяжело тащили эти черпаки вверх по истоптанной тропиночке, чтобы перебросить свою добычу по другой стороне плотины, не забывая, конечно, наловить рыбки и для себя.

Пётр Петрович, абориген здешних мест, которые облюбовал ещё его прадед, промысловик-охотник, построивший из лиственничных стволов долговременное зимовье, по наследственной линии оказался со своей женой, Евдокией Павловной и сыном Алексеем, впоследствии прельстившимся городским образом жизни. Алексей подарил дедушке с бабушкой двух миленьких внучек, приезжавших сюда на каникулы.

Естественно, что при таком раскладе Пётр Петрович и помыслить не хотел, чтобы покинуть прекрасный уголок на Янгоде, даже оставшись здесь только вдвоём с супругой. И он считал себя счастливым человеком.

Только в годы войны ему не повезло, он попал под немецкий танк. И остался хромым инвалидом. Отказался от трудных операций — «проживу и так» — и вернулся в родные края к радостям таёжной жизни, вновь засиявших для него.

А тут появились сначала изыскатели, а потом и строители плотины. Зашумели, загремели разного рода машины, застучали топоры плотников, строящих «капитальные» времянки — жильё для завербованных рабочих. Жильё хорошее, лесу кругом вдоволь. Образовался маленький посёлок — «Подплотинный».

Но природа сразу как будто бы потускнела. Несмолкающий грохот машин мешал ему тихо любоваться прекрасным. Такая уж у него слабость была, ещё со школьной скамьи. Он был въедливым читателем книг. Заучивал много стихов.

К нему здесь в старое зимовье, в пору разворота строительства и вплоть до последнего нашего времени, постоянно заходили соседи послушать интересные побывальщины.

У него, как у рассказчика, речь лилась так вдохновенно, словно он говорил о себе для других и о себе сам для себя. Он сливался воедино как участник событий и рассказчик об этих событиях

как бы со стороны. Дыхание легенды смешивалось с его личным, пережитым.

Он не замечал, что где-то придерживается книжных отточенных образцов изложения, а где-то примешивает к этому свободно складывающийся местный говор.

И вот когда работы на плотине прекратились совсем, многие из уволенных завербованных решили остаться здесь, благо пустых домов оказалось много. Было сделано предложение Петру Петровичу из своего зимовья переселиться в такую же времянку, но он и тут отказался. Попросил, если можно, лучше из оставшегося пиломатериала соорудить на плёсе между Подплотинным и Канатовом «летничек».

— Там есть очень хороший остров, — сказал он. — А у его изголовья глубокая длинная курья с бычьими со дна родничками.

Эту просьбу его начальство без слов удовлетворило. А рабочие, что ж: «Живо дело закипело и поспело в полчаса».

Это был домик, сколоченный из тёса, с одним окном, взглядом на реку, с дощатым полом и с шатровой крышей из тёса. Устроен и потолок с такой хитростью, чтобы на него можно было легко забросить всякую рыболовную снасть и запасные вёсла для двух лодок-долблёнок и для всякой кухонной утвари.

С помощью Антона Несказуева, одного из своих давних знакомцев, между прочим, чело- века мастера своего, сложил чудо-печку с плитой и духовкой, сделав которую, вроде бы как в шутку, либо всерьёз, Антон сказал:

— В этой духовке Евдокия Павловна будет печь мне в угощенье пироги с налимьей печёнкой. Очень люблю.

Происходил Антон из Канатова. Имел там прекрасный дом. Называл он себя инспектором рыбной или речной охраны, хотя никаких документов никому не показывал, но придирается начальственно готов был к любому на всём протяжении «заповедника». О себе он говорил:

— Я человек честный, чистоту воды в Янгоде берегу. Мотаюсь взад-вперёд на вёслах, а подвесной моторчик имею, но включаю его только против течения, когда гонюсь за нарушителями.

Что же касается «летничка», Несказуева сюда, кроме пирогов, манил и другой интерес. Пётр Петрович изготавливал любые рыболовные снасти, а Евдокия Павловна была великолепной рукодельницей.

Все эти изделия супругов Антон восхищённо разглядывал, поглаживал, встряхивал и любезно спрашивал:

— Могу я считать своими все эти предметы? — и клал на стол нераскрытый бумажник с деньгами. — Прошу вас, возьмите из него столько, сколько сочтёте достойным ваших трудов.

И ещё немного о семейной жизни и повседневных заботах Петра Петровича и Евдокии Павловны.

Особой заботой всегда являлся и долгожданный, а в то же время неожиданный приезд на летние каникулы двух внучек. И вот он состоялся. Как всегда, паломнически, и сразу, как всегда, их внимание оказалось прикованным к острову.

А он, в их романтическом представлении, казался длинной таинственной зелёной полосой, в своём ухвостье заросший высоким перепутанным тальником, низко склонившимся к самой воде.

Среди этих тальников устраивали семейные гнёзда крохали, а когда появлялись выводки, их мама, а иногда и папа с нею, выстраивали своё племя в длинную цепочку и, шлёпая лапками по воде, свершали свой рейс вокруг острова в поисках лакомой пищи.

Петру Петровичу зрелище такое очень нравилось, а Поля и Шурочка восхищались ещё больше.

В центральной зоне острова росли не очень стройные, но всё-таки какие-то «свои», домашние большие тополя и в малом отдалении от них красавицы-ели с тонкими макушками, осыпанными длинными зелёными шишечками. И тут же сосны с маховыми золотистыми стволками, увенчанными раскидистыми кронами.

Росли и тонкие, упругие берёзки, по которым внуки взбирались по стволу как можно выше до тех пор, пока деревце не начнёт изгибаться в дугу и позволит красиво спрыгнуть на землю. А вот когда это не получалось, они визжали и звали дедушку на помощь. Тот забрасывал бечеву с привязанной к ней подковой и дожимал берёзку на сколько это было нужно.

Ну, чем не рай земной!

Однажды Евдокия Павловна надоумила мужа:

— Давай, купим козу, и детям полезно, и нам чай забелить.

Купили. И поняли, что без козы и вправду вовсе жизнь была бы не такая красивая.

Дед стал подумывать: а может, завести ещё сибирского кота с острыми когтями и торчком стоящими ушами и пушистым хвостом. Мышей в доме не водится, но пусть Васька спит, а рыбку есть все кошки любят.

Для козы корму найдётся и на этой стороне, но тут много полыни, поэтому Пётр Петрович считал своим долгом побольше заготовлять корма на острове.

Вот и в этот приветливый день он стоял возле своего летничка, вслушивался, как там Дуняша с внучками чего-то затеяли вкусное. А он хотел пораньше перебраться на остров, поставить в курье крючки на налимов и переночевать, тем более, что он себе уже устроил маленькое укрытие, под которым можно было спастись от дождя. Там же хранился маленький топорик и котелок, вскипятить и заварить себе чай, берёзовый чай — чагу, очень вкусный и очень полезный.

А утром вернуться с уловом. Если взять десять, двенадцать крючков, на три-четыре обязательно попадут. Это он обещал Антону Несказуеву. Тот третьего дня на шесте и на бечеве по хорошему берегу поднимался в лодке к плотине, там у него родня большая, и останавливался здесь на отдых. Пообедали вместе. И подумалось, непонятный какой-то человек, этот Антон. Каждый раз, когда к родственникам ездит, всегда пообедавать заезжает, а на обратном пути спрашивает рыбки свеженькой, ну, прямо как по твёрдой разнарядке всё это делается. А живёт он на два плёса ниже. Ну, что ему

самому для себя не поймать рыбки? Мне, конечно, не жалко, поеду на остров и наловлю ему налимов, а всё-таки...

Разве взять внучек с собою? Ночка-то тёплая ожидается, да комарья на острове много. Заедят. Я-то дёготьком лоб да щёки, руки смажу, мне — ничего, а они — городские. Оса ужалила одну, так они прибежали обе и рыдают. На одну нажевал подорожника, приложил:

— Потерпи!

А другой говорю: А тебе-то куда приложить? — Поняла. Рассмеялась.

И прищурился.

Стал вглядываться в чернеющие цепи горных вершин. Примета — «горы горят». Это о примете так говорится. Красиво. А это просто тяжёлые тучи легли, и льётся из них на вершинные зимние снега грозовой ливневый дождь. Жди большого наката воды. Но до утра она сюда ещё не дойдёт.

— Поеду на остров всё-таки.

Заглянул в распахнутую дверь, спросил:

— Дуняша, дай мне калач, на острове заночую. Чаю себе вскипячу. Сейчас там под берёзками, на опушке, земляники полно. Поем досыта. Ну и внучкам ещё привезу. С налимами. Антон завтра всё равно заедет за рыбой, значит, и рыбы надо поймать.

Евдокия Павловна откликнулась:

— Калач-то я тебе дам, а насчёт Несказуева этого, я не знаю, как хочешь, а не по сердцу он мне.

Пётр Петрович поёжился:

— Характер у него, понятно, мутный какой-то, а человек всё-таки. И вреда он нам никакого не сделал.

Он себе в котомочку положил калач, отстегнул защёлку-карабин одной из лодок, его самой любимой, бросил туда косу и поплыл, привычно помахая лопастными вёслами.

Внучки с берега помахали ему платочками.

Всё складывалось по-привычному. Приплыв, пристегнул карабином к вбитому здесь кольшыку с кольцом и направился в глубь острова. Пока ещё было светло, набрал много спелой, душистой земляники, сам поел досыта и ещё больше оставил для дома. Попил чайку и взялся косить траву для козы.

Трава была в самый раз. Ещё не огрубевшая и очень душистая. Он изготовил из неё в шалаше постель для себя и отправился к реке, забрасывать в курью длинные повадки с якорными крючками на конце и с должной наживкой. И удовлетворённый тем, что со своими заботами он справился до сумерек, вольготно вытянулся на своей травяной постели.

Но комаришки звенели вокруг, не взирая на дёготь, лепились ему и на лицо, и на руки.

— Ладно, — мысленно объявил он им. — Вот я сейчас дымокур разожгу и вас тогда — вон, милости просим! — А сам забылся сладким стариковским сном.

Антон Несказуев раненько утречком, погостив у своих родственников возле плотины, одарив их какими-то пустяками и получив в ответ тоже какие-то пустяки, сел в свою лодку, определив, что течением его и так донесёт до дому, чего зря

трудиться, и если держать возле себя весло, так только рулевое. На случай, если не туда, куда надо понесёт лодку. Остальное время будет полулежать и греться на солнышке.

Единственная забота — заехать к Петру Петровичу, пообедать у него и взять свежую рыбу. Евдокия Павловна всегда её в крапиву и в полынь закатывает, немного солью обсыплет, чтобы только слизь на брюхе у налима не растворилась, всё аккуратно в ветوشку обернёт и завяжет, и дома можно будет уже справить пир горой.

Так он думал, когда сел в лодку. Но поглядев внимательно в сторону гор, сообразил: по таёжным приметам там, наверняка, ещё с вечера прошёл сильный ливень, снега поползли с гор, обрушились в Янгоду, и теперь, неведомо в каком удалении, но тугая, высокая волна движется к плотине.

Это обстоятельство кое в чём изменило его план.

Вдруг подымется валом вода и возле летничка старика этого. Вдруг он никакой рыбы не поймает. И чего ему тогда рисковать?

Между прочим, он знал, ещё издали станет видно — одна лодка привязана к берегу или две. Если одна, значит старик на острове, если обе возле дома, значит старик и рыба тоже в доме. И раз сказал он, этот Пётр, что рыба будет, тогда уж можно и рискнуть.

Он издали увидел, что у домика пристёгнута лодка только одна. И Антон торопливо подключил подвесной моторчик.

А Пётр Петрович, славно выспавшись, лежал и дожёвывал остатки калача, заедая горсточкой земляники, которую взял не из котелка, а собранную тут же, возле берёзки. Посмотрел на котелок:

— Эту, парень, не тронь. Домой она назначена. Пойду крючки проверить. Что там за улов? А, ничего, успею... Антон-то ведь точно к обеду приедет. А воздух-то, воздух какой! Ай!

Несказуев увидел: повадки с крючками не сняты с кольшков, значит, и улов весь тоже на них. И пошёл в обход вокруг курьи, потягивая повадки. Из двенадцати поставленных крючков на пяти оказались очень хорошие крупные рыбыны.

Потянуло из глубины острова лёгким дымком, и он понял, что там ночевал, а теперь кипит себе чай Пётр Петрович.

Он сделал три шага к своей оставленной лодке и... метнулся в сторону, откуда тянуло дымком. Всё-таки, если старик увидит, как он тащит на повадках не снятую с крючков рыбу — добрый он добрый, а ведь и орысиной какой-нибудь подшибить может. Как вора, захваченного на месте. Это по закону тайги.

А зачем ему, Антону, с ним терять вроде бы приятельские отношения? Ну, и что же, так и тащиться с рыбой к нему на встречу? Тоже не на радостную встречу.

Наверно, успеет добежать он до лодки. У старика-то нога кривая, короткая, догонять не решится. Опять-таки он по песочку, по траве примятой, всё, что тут происходило, охотничьим нюхом поймёт.

И чёрт же повернул... подчалить сюда. Как бывало, куда бы лучше остановиться у хоромины

его, пообедать, покалякать о том, о сём и спуститься порожняком, без подарка. Ясно, так ведь жёнушка, Марфа Игнатьевна, шею-то ему обязательно перепилит.

В таких размышлениях он не заметил, что делает всё время круги на одном месте, рыбу обвалая в ласке и в лесном мусоре, а одна из них оторвалась и где она валяется, понять не может. Это уже совсем плохо. Это не просто по-воровски убежать, а изобразить из себя к тому же и паршивенького труса. Стало быть, надо стоять на месте и ждать, когда появится Пётр... Петрович и провести всё дело так, чтобы не дать старику первому обругать его хотя бы самыми домашними словами. Шибко задирается он не станет. И для этого оглушить его трёхэтажным, обязательно с развесёлым смехом, в том смысле, что я вовсе не ругаю его, а просто забавная штука вышла. А по ходу дела подобрать, какие надо, слова всегда успеется.

Он зачем-то полез в карман, и взгляд его через кустарник и через берёзки упал на реку... Она... Она — что это такое? — высоченным горбом желтоватым подыматься стала. По ней, из бугра этого, толкая друг друга, теснятся в сторону берега топляки, выдранные с корнем деревья и всякий подобный мусор. Выходит, накатывается валом очень большая вода. Такая, о какой ходят легенды с давних времён.

Похоже, что она разгромила то «чудовище» из всякого древесного хлама, многослойно накопившегося за многие, многие годы в узком створе над плотиной. Страшным валом мчит этот хлам теперь вниз. И чёрт только знает, что может из всего этого получиться...

Эта мысль мелькнула у него в мозгу, как молния и он, не выпуская пучок повадков в заострившихся от тревоги пальцев, помчался к лодке. И сообщил, что лодку его, которую он, не привязывая, просто вытащил на песчаный бережок, приливная сила волны уже могла унести.

Подбежав к лодке Петра Петровича, Антон с ужасом увидел, что эта лодка, прикованная карабином к столбу, уже свободно плавает на воде, а его лодки нет и в помине.

Рыбу он яростно швырнул в лодку, а сам потрясённо опустил руки. Так стоял он недолго.

Жгучей мыслью пронеслись в его мозгу слова супружницы, Марфы Игнатьевны, которые она любила напевать: «Не думай о секундах свысока... свистят они, как пули у виска, мгновения, мгновения, мгновения...»

Отстегнул карабин, впрыгнул в лодку, сел в лопастные вёсла, стиснул зубы:

— Догоню!

Евдокия Павловна задумала обед приготовить хороший. Не ради Несказуева, а ради внучек.

Разгадав «секрет» бабушки ещё с вечера, внучки задумали свой маленький сюрприз: набрать красивеньких белых грибов. И поджарить. Поэтому они, ни слова не сказав, раненько поднялись, схватили по корзинке каждая и побежали к берёзовому перелеску в расчёте забраться в высокий и густой лес, в котором ни разу ещё не были. Вот там, наверно, самые красивые грибы.

Увлёкшись выпечкой блинов, Евдокия Павловна вдруг расслышала какой-то странный шум на реке. Глянула в надречное окно и совсем обомлела. Река-то вспучилась высоким горбом, наполненным множеством плавающего сора, и подтопила остров, ночевать на который уехал Пётр. Да что же это такое? Такого подъёма воды она и вообразить не могла.

Первая тревога — а что же с Петром? Почему он ещё не вернулся? Уж не водой ли смыло? Так у него опять-таки лодка, и сам он речной человек, промаха не даст. Другая какая беда на острове с ним приключилась? Страшно подумать. Стало быть, немедленно надо сплавить к нему.

Из окна, перегнувшись вниз, поглядела: лодка-то дыбом стоит в воде, корма у неё раскачивается, а нос — не поймёшь, не разглядишь сквозь мутную воду, что там с нею. И догадалась: цепь с карабином обмоталась вокруг столба и притянула лодку носом книзу. Вода быстрая, тугая, шумная. Надо окунуться с головой и наощупь искать карабин, отстегнуть его, расправить причальную цепь. Господи, ей никак не справиться с этим! Захлебнётся она и утащит её, утопленницу, в глубины средним течением...

Она заметалась внутри домика, схватывая под мышку, что попало, и выскочила в дверь.

Коза, привязанная на длинной верёвке к столбику, ещё на сухом пригорке, стремясь отбежать как можно дальше в надёжное место, испуганно бляла.

А внучки-то где? Не побежали ли с испугу в берёзник? Но почему же тогда они ничего не сказали, не закричали даже? А выйдя из леса, увидят, что нет ни меня, ни лодки...

И подчинилась не страху, а року: пусть будет, что будет. И поспешила к реке...

Сколько раз, набрав в лёгкие побольше воздуха, и вцепившись одной рукой в обнаоину лодки, она другой рукой пыталась нащупать карабин. Она ныряла, окунаясь с головой, её по ногам стегал мелкий мусор, плечи царапали плывущие над ней коряжины. А она знала одно: как можно скорее надо быть на острове.

И, наконец, бурливый поток воды выдернул её наверх, и полузатопленная лодка, как на буксире, потащила её за собой. Многих невероятных усилий стоило ей всё это, но теперь она смогла всё-таки отдышаться и образовать, что, пытаясь влезть в лодку, она просто опрокинет её на себя, и под таким мрачным колпаком её понесёт, неизвестно куда. И что же ей делать в лодке, если из неё, вернее всего, выпали вёсла?

И ещё: она знала, что лодка приближается к ухвосту острова, криво изогнутого в правую сторону. Эта кривизна здесь заметно ослабляла скорость течения и как бы притягивала с фарватера плывущий топляк.

Мама моя, да вот как раз слева от лодки устремилась в тихую заводь мочуя, сухая ветвистая коряжина, за которую уцепиться бы и тогда она, вместе с лодкой, оказалась бы прижатой к высоким густым тальникам, сплошь забитым такими же сошедшими с фарватера коряжниками.

Это был её последний шанс.

Пётр Петрович стоял, в недоумении вперив свой взгляд в противоположный берег реки. Почему он не может рассмотреть там, возле их домика, свою другую лодку, пристёгнутую карабином к столбику с кольцом? Да, снеговая вода, которую он побаивался ещё с вечера, теперь высоченным жёлтым горбом катилась перед ним, всё ближе подползая к ногам. Если бы вода уже захлестнула лодку, она стала бы дыбом и крутилась кормой как затянута в водоворот. Оторваться она никак не могла. Значит, Дуняша, одна или с внучками, поплыла куда-то. Куда? Ещё с вечера? Ночью? Или вот теперь? Зачем? Почему?

Он стоял над редким рядом забитых кольев с повадами, на которых были прикреплены наживки для налимов. Они сейчас затоплены водой, пять из них кто-то вытащил на берег с уловом и... унёс... утащил... украл! Не может быть.

— Ну, ладно, сейчас переплыву к себе, дома всё разъяснится.

И пошёл по берегу к месту, где у него здесь постоянный причал.

— Что-о?

И здесь нет его лодки. Варнак какой-то угнал. И дома нет лодки.

И река ошалела, всё пухнет и пухнет.

Он стоит далеко от обычного уреза воды, а она вот подступает уже по колени...

Думай, Пётр.

На острове оставаться незачем. Но с острова куда ещё можно добраться? Только до Канатова посёлка, что ниже его на сорок километров. И опять-таки на правом берегу. А там домой можно и пешком добраться.

Но где Дуняшу искать? А искать надо. Разве с внучатами вместе ушла по грибы. Так разговора такого вчера не было.

Но оттого, что он будет стоять на месте, всё равно само собой ничего не образуется. Другого ему хода нет, как подловить любые три-четыре кругляша и связать их в виде маленького плотика-салика, а взамен вёсел вырубить крепкую длинную жердь-багор. Так и сделал. И сразу поплыл.

Когда его неуклюжее сооружение пронесло мимо хвостья острова, ему послышался чей-то пронзительный крик. Оглянулся, багор вышибло у него из рук. Он смотрел, искал глазами окликнувшего его человека и ничего не видел. Крик не повторился.

Его плотик несло, вода разворачивала в разные стороны, и остров уже стал почти неразличимой, узкой полосой, а ему думалось:

— Да ведь это, наверно, Дуняша кричала. Как же он не узнал её голос... но почему она тут, в залиме водой хвостье острова оказалась и тогда, где же её лодка? Теперь он вновь перестал понимать, что же он должен делать и к чему стремиться. Достигнуть скорее Канатова или выбиваться на левый берег и с него оттащить Дуняшу. В Канатове неизвестно совсем, что его ждёт, а с хвостья острова явно прокричала... Дуняша!

Преодолеть стержень он кое-как смог и плывущего мусора в этой части реки стало меньше и другого решения он никак не нашёл, как лечь грудью на холодную воду, свободно гулявшую между

брёвен салика, и действовать руками, ладонями огребаясь как вёслами.

Внучки, забравшись довольно глубоко в глубину леса, наполнив свои корзины самыми отборными грибами, весело распевая озорные песенки, направились к дому. Их радость была неизмеримой, но и голод одолевал их безжалостно. Они ведь выбежали из дому совсем натошак и в запас ничего не взяли с собой. Песенки стали постепенно прерываться. Попробовали съесть нежно-коричневые шляпки белых грибов, но проглотить их не смогли. Затошило.

Младшая из них — Шура, вдруг спохватилась — крестик с цепочкой исчез:

— Я помню, какая-то колючая веточка цепочку на шее дёрнула. Бабушкин подарок. Расстроится. Пойдём, поищем. Я знаю точно, где могла потерять её.

И они, оставив свои корзинки, побежали обратно в лес.

Плыть на хорошей, ухоженной лодочке Петра Петровича, пытаясь догнать и поймать свою, Несказуеву было просто приятно. В ушах весело звенел голос супружницы Марфы, которая недавно читала из какой-то потрепанной книжки стихи какого-то писателя о каком-то дикаре «Гайавате», и там его возмутило одно слово. Она прочитала:

«...и как жёлтая кувшинка,
И как лёгкий лист осенний,
Поплыла моя пирога...»

Он тогда оборвал её и поправил:

— Чепуха! Пирог не плавают. И красивой такую лодочку не назовёшь.

Марфа рассердилась:

— Поставь ударение правильно «пирóга». И это очень красивое слово.

— Ладно, — ответил он. — Я бы тебе сейчас такое слово сказал, сама понимаешь, да не стану. И стихи ты мне не читай. Я стихов не люблю.

А вот сейчас в Марфином голосе ему представилась лодочка Петра вот как та пирога.

Эх, кабы ему эту пирогу Петра оставить за собой... — И тут мысли у него закружились, перепутались так, как недавно он крутился на острове возле курьи с куканом налимов.

— Всё! Соображу! — вслух выговорил он.

И заработал лопастьными вёслами с великим усердием, замечая, как свободно он обходит, обгоняет плывущий коряжник, запомнившийся ему в момент, когда он бросал налимов в лодку. Значит, полная надежда, что он догонит свою лодку, есть.

Когда сидишь вперёд спиной, то вдаль ничего не видишь, а доступно взгляду то, что осталось позади пройденного тобой пути. И от этой мысли он просто съёжился. Вдруг, обгоняя всяческий мусор, он обогнал и свою лодку и теперь, махая вёслами, он всё дальше будет уходить от неё. И чего он так старался, надо было двигаться вперёд, но сидя с кормовым веслом, лицом вперёд. Тут была бы полная гарантия, что не проморгал

беглянку. Он скрестил лопастные, опустил на дно и перебежал в корму.

Сел и застонал. Лодка-то, пока он перебежал, с разгона врезалась в переломленную пополам ещё где-то в горах ель. В оставшуюся от неё кормовую часть, похожую на огромный зелёный шар из распростёртых во все стороны длинных, широких, разлапых перепутанных между собою ветвей, которые за спиной у него тяжело замкнулись, лишив возможности сделать хоть малое свободное движение и разглядеть что-либо через этот заслон впереди себя. Ветви дерева, как чёртовы лапы, обхватили лодку с обоих бортов.

Несказуев, исцарапанный, озлобленный, с губами, склеившимися от запёкшейся крови, по которым прошёлся смолистый еловый сучок — они сильно болели и не позволяли ему выкрикнуть вслух хотя бы единое слово, — мрачно думал: что этому чёрту от него нужно? Первый раз он заманил его на этот остров и заставил сесть в Петрову пирогу и всё прочее, теперь вот, во второй раз, он загнал его в зелёный пузырь. Будь он проклят!

И перешёл на Петра Петровича и его пирогу, доведя себе до крайней степени раздражения:

— Чёрт, да пойми же, что дальше так нельзя... — скрипнул зубами, а в мыслях: — Отступись, отойди... Нет, не отойдёт. — Господи! Ну, хоть ты помоги мне, удержи, останови в Канатово эту гадюку. Я тебе десять толстых свечек поставлю...

Изнеможённая, усталая, пробиваясь в воде до самых плеч сквозь плотные заросли тальника, Евдокия Павловна, наконец, выбралась на сухой, отлогий холмик, поросший высокой, мягкой травой и обессилена упала. Мокрая, тяжёлая одежда окутывала её очень. Плотно сотрясал простудный сухой кашель, но она ликовала.

— Петя жив! Петя слышал её голос, а она видела его спину, видела его плывущим на салике... Понятно, здесь ему к левому берегу не пробиться. Понятно, он поплывёт до Канатова, ну а там ему помогут переправиться на правый берег, а оттуда до дому он доберётся пешком.

Стала думать о себе, о внучках... Тревожно на сердце о внучках... Ни деду, ни бабушке в свой дом быстро не попасть. А им в голову будет всякая всячина лезть. Как бы глупостей каких не свершили. Сама она человек бывалый. Всякое доводилось переживать, но вот такого, как сейчас, ни разу.

Первое, надо согреться и вычерпать воду из лодки, чтобы ею можно было пользоваться, вытащить её из тальниковой запруды... А вот как согреться? Надо сейчас быстрее, быстрее дойти до постоянных ночёвок Пети. Может быть, там жизнь что-нибудь подскажет.

Она стащила с себя мокрое платье, выжала, и в одной рубашке побежала к Петинной ночёвке. Расстояние было немалым, придавливала одышка, кашель, но солнце стояло уже высоко и хорошо согрело плечи. Иногда открывались просветы в лесу, обращённые к правому берегу, и она своим наметанным взглядом угадывала, что стремительный пик подъёма воды завершился, и начинается, хотя и очень медленный, но всё-таки спад.

— Слава тебе, Господи! — подумала она. — Нет ничего страшнее летнего наводнения, когда тают коренные горные снега.

Вот и Петина ночёвка, шалашик. Если придётся здесь долго быть, какой-никакой, ночлег всё-таки.

И совсем засияла от счастья. Оказывается, он ночью разводил костерок и из остатного тепла тянется тонюсенькая струйка дыма. Вроде бы какие-то угольки ещё тлеют. Она от бересты надрала лоскутков, подбросила сухих веток в костёр и огонёк запыхал.

Вот у Пети под берёзками лежат жестяной чайник и котелок с земляничкой, торчит рагулька-таганок, на котором он кипятит себе чай. Наготове стоит и накрошенная чага. Всё-таки не голую воду пить. Словом, удобства, как дома. Только поесть нечего.

И с великим укором своей совести, своей памяти подумала:

— А где же внучки мои? И коза...

Торопливо наломала запас сучьев сухих, чтоб хватило надолго не дать погаснуть огню, и побежала на берег к причалу. Посмотрела на домик. Стоит не повреждённый. Но никаких признаков жизни она не увидела.

А внучки? Милые девочки, где же они? Уже сто раз они могли бы вернуться домой и должны бы стоять на берегу, ожидая, когда к ним подойдет дед и бабушка. Но ничего нет, никакого знака они не оставили, что вернулись домой. И уже прежняя тревога за Петю сменилась более сильной — за внучек.

Постояла, походила вдоль по берегу туда и сюда, но её таёжного навыка, опыта, было маловато, чтобы составить истинную картину происшедшего после наката грозного вала, ещё и сейчас продолжающего свои разрушения.

Наведя должный порядок, она теперь могла вернуться к Янгоде с котелком, набрать воды и, наконец, поесть ухи из налима, которого удалось найти, единственного на крючке.

Она сделала несколько шагов, и вдруг ноги понесли её в другую сторону, в сторону потопленной лодки...

Пётр Петрович приткнулся к левому берегу, совсем недалеко от скалистой гряды, клином вдававшейся в Янгоду чуть не до её половины, и медленно сполз со своего салика на полосу бечёвника, выстилающего узкую дорожку в сторону острова. Залепленный грязью, он повторял без конца:

— Хватит ли сил у меня подняться в рост и дойти до цели?

Сил не хватило. Его никак не слушались ноги. Он опускался то на колени, то на четвереньки, то его бросало из стороны в сторону, то на острые камни, то на грязь, то бечёвник скрывался под водой и ему приходилось подтягиваться вверх, чтобы по подмытой дерновой кромке берега обойти преграду.

И всё же он продвигался вперёд и где-то, наконец, на трудном его пути попалась крепкая палка, на которую он мог уже уверенно опираться. Он долго, очень долго шёл и шёл, и добрался-таки

до ухвостья острова. Остановился. Прислушался. Тишина.

Он закричал, просто закричал, чтобы звук вылетел из его гортани. Звук был слабый, сиплый. Он едва слышал сам себя. Никто, разумеется, не откликнулся. Он делал по десять-двадцать шагов, останавливался и снова кричал. Голос как будто бы сделался сильнее, устойчивей. И всё-таки откликов не было.

Эта протока была не очень широкой. Так бы, даже в холодной воде, ему бы перемахнуть через неё было возможно, а сейчас даже не риск, а верная гибель. Его стянет судорогами. Очень спокойно и разумно он взвешивал свои шансы, продолжая путь ещё шагов пятьдесят-шестьдесят, и снова закричал. И снова никто не откликнулся.

А здесь ухвостье острова уже закончилось, частый и густой тальник остался позади. А если это были крики Дуняши и доносились, он уверял себя, только оттуда. Что же делать? Идти вперёд и вперёд бессмысленно. Дуняша где-то здесь, может быть, трагически погибает или погибла. А он зачем-то будет идти вдоль острова, вдоль протоки этой куда-то к изголовью. А зачем? Каким образом там могла оказаться Дуняша?

И он себе приказал:

— Поравняюсь с тем местом, где моя ночёвка, и переплыву: пе-ре-плы-ву! Я должен буду это сделать. — Он приблизился к назначенному месту, посмотрел направо, откуда приближалась сухая коряжина, а вслед за нею, прижимаясь к противоположному берегу протоки спокойно дефилировала длинная цепочка крохалей.

Он пропустил их мимо себя, разделся, привязал одежду к голове и, обернувшись на восток, перекрестился.

Внучки шли торопливо, уверенно и, как всегда, болтали между собой, о чём попало. Временами они останавливались, завидев маленькие освещённые полянки, на которых виднелась спелая черника, радостно бросались к ней и выбирали на этой полянке все, до единой, ягодки и снова продолжали путь.

А голод только усиливался. Поглядывали не столько на деревья, сколько на землю в поисках черники.

— Шура, — вдруг проговорила старшая сестра поля, — а ты хорошо помнишь то дерево, за которое зацепилась?

Шура оглядела весь лес кругом и выговорила с запинкой:

— Ну, мы куда-то зашли в другое место.

— Вот и мне так кажется, — сказала Поля. — Этот лес совсем не похож на тот, в котором мы собирали грибы. Мы тут не были.

Они задумчиво стали соображать.

— Там протоптанных тропинок, конечно, не было, но всё-таки какие-то наши следы должны были остаться, — сказала Шура, — а здесь ни единой травиночки не примято.

— Ну, значит, мы ещё... — чеканно отрубил Поля. — Вернее, мы прошли те места, где собирали грибы, и нам надо повернуть назад.

— Почему назад? — запротестовала Шура. — Давай сделаем так: я пойду налево, а ты иди

направо и будем кричать: «Ау-ау». А тот, кто придёт на знакомое место, пусть кричит: «Иди, иди сюда, сюда».

— Послушай, Шурка, — сердито сказала Поля. — Ты предлагаешь глупости. Нам никак нельзя разделяться. Мы должны быть всегда рядом. Ещё не хватало нам потерять друг друга.

— Ну, хорошо, — согласилась Шура. — Давай сначала вместе пойдём направо. Не найдём те места, пойдём налево.

— Да от чего же раздельно? От чего же налево? От того места, где мы остановимся, мы должны опять придти сюда и от этого места двинуться направо. Вот здесь давай сломаем две ветки, и пусть они потом указывают нам направление.

Шура заплакала.

— Поля, я сейчас ничего не понимаю. Ты решай. Ведь ты же завела нас сюда.

— А ты почему меня не остановила?

— Ну, что будем спорить. Давай забудем про твою цепочку. У бабушки попросим прощения, а сейчас пойдём домой.

Они взялись за руки и повернули... Куда?.. Обе не знали куда.

Пошли наугад.

Так они бродили час за часом, шаг за шагом. Уставали. Садись отдохнуть и уговаривали себя, что идут правильно. Ещё немного и выйдут к реке. То, наоборот, спорили, сердились друг на друга, плакали, опять плакали и ничего не могли понять. Шли, на ходу заламывая ветки у деревьев, чтобы оставить след. Но после долгого хождения они даже ни разу на эти следы не наткнулись. Пожалели, что не взяли с собой компас.

Вспомнили, что в какой-то книге читали: «На деревьях северная сторона поросшая мхом и тёмная, а сторона, обращённая к солнцу светлая, чистая». Но каждое дерево в отдельности показывало по-своему, и в этом лесу даже и черника почему-то не показывалась. Зато появились высокие, редкие сосны. И опять спор:

— Ну, куда же, куда нам идти?

— А я не знаю. Мы заблудились...

— Давай, будем кричать, может, кто-нибудь отзовется, — предложила Поля. Они стали кричать безо всякой пользы. Измученные, легли, прижались друг к другу, и... заснули.

Разбудили их комары. Они безжалостно втыкали свои тоненькие жала в плечи, лица, руки.

— Поля, — закричала Шура. — Побежали, что ли. Надо выйти из этого леса поскорее. — И побежала.

Поля её догнала, упрашивала:

— Шурочка, успокойся. Давай наломаем веток, будем отмахиваться от комаров. Другого выхода нет. И давай будем идти строго по прямой. Только по прямой, глядя на солнце, забывая о вращении земли вокруг своей оси, при которой солнце в небе от условной прямой линии всё время перемещается вправо.

Шли долго, очень долго. Вышли на какую-то колёсную дорогу, по которой давно никто не проезжал. Но всё-таки это была дорога. Ведь всякая дорога имеет два конца и каждая дорога куда-нибудь да приведёт. Они стали разглядывать её.

— А это не та дорога, по которой мы от станции к плотине пришли? — спросила Шура. — Ведь так нам тогда на станции растолковали, как дойти до Яногды.

— Не знаю. Не уверена. Но может быть. — ответила Поля. — Тогда от станции мы шли шесть часов. Попадались люди и говорили: правильно идём. А здесь ни единого следочка. Куда идти — направо или налево? Где станция и где плотина?

Они, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, стали искать мельчайшие подтверждения того, что и здесь проходили люди. Обнаружили затоптанный окуроч, вдавленный каблуком в грязь после дождя, а дождя давно не было. В другом месте отпечаток человеческого следа. Пospорили, мужчина это шёл или женщина. И согласились — это был, скорее всего, подросток и вряд ли он мог вдавить тяжёлым каблуком в грязь окуроч, значит прошли двое.

— Ну и что нам от этого? — в отчаянии крикнула Шура. — Дальше я никуда не пойду. Ни одного шагу не сделаю! — Она легла поперёк дороги, закрыла глаза и застыла.

Евдокия Павловна, добравшись до того пригорка, на который она из лодки выбиралась мокрая и иззябшая, даже содрогнулась от мысли, что сейчас ей надо снова пробираться по пояс в очень холодной воде и долго, долго вычерпывать эту воду. Но что поделаешь, надо.

Разделась, и полезла в воду. Она точно помнила, как подойти к лодке, радовалась, что уровень воды здесь, на ухвостье, понизился примерно на ребром поставленную ладонь. Главная волна протатилась.

Вот и лодка. Верхние обнабоины были ещё ниже уровня воды. Но как же тогда вычерпывать её таким котелком? Это всё равно, что вычерпывать воду из реки, в отчаянии подумала она. Но почему же ей казалось, что если быстро-быстро выбрасывать воду, наступит такой момент, когда лодка поднимется выше уровня реки? Ошиблась. Зачем же тогда зря губить силы, опять доводить себя до изнеможения? Ну, а если попробовать протаскать её сквозь этот тальник по дну, вершок за вершком? До той отметки, когда один конец лодки поднимется над водой, под корень подрубить тальник, лодка ведь пошла бы послушнее. Значит, нужна ещё и эта попытка — сходить за топориком.

Она выбралась на бугорок, полежала под жгучими лучами солнца и побрела к костру. Не погас бы он, вот что самое страшное.

Марфа Игнатъевна, супруга нежно нелюбимого Антона Несказуева, знала, что сегодня обед ей готовить нет надобности, — муж как всегда пообещает у Пётр Петровича, — и можно отоспаться как следует. Так она и поступила.

Поднялась с постели вздохмаченная, отуманенная долгим сном, зевая, подошла к окну и глазам своим не поверила. Весь посёлок стоял на отлогом косогоре одной длинной улицы, от которой вверх по косогору тянулись небольшие переулочки. А их дом на самом верху косогора правого берега.

И вот перед нею почти все дома затопило разливом реки, а до них наводнение не добралось. Похоже, что прошла особо крутая волна и теперь постепенно отходит в своё русло обратно.

— Ну и что же, — подумала она, — вроде большой беды никому не принесла и мне не создала никаких забот. Надеть резиновые сапоги и пройтись по соседям, как там у них. Какой беды не сделано. А время-то — хо-хо, на вторую половину дня катится. А Антона всё нет. Как понимать? Остался в Подплотинном посёлке, задержался у Петра, или... Третьего подобрать она не могла и коротко отрубил:

— Ну, и бог с ним...

Натянула высокие резиновые сапоги и пошла по соседским домам. Везде по улице и переулкам лежали обсыхающие следы наводнения всяческого рода, плывущие в такие накаты летнего горного снегового паводка.

Неторопливо судача о том, о чём с присоединившимися к ней соседками, добрались до привычного уреза берега реки, который в самом конце посёлка поднимался скалистыми ступеньками, местами расщеплёнными на узкие проходы.

Там, в этих скалах, подобранный жестокостью силой приливной волны и втиснутый в их щели покоился огромный зелёный шар из еловых упругих разлапистых ветвей, как попало переплетённых между собой. Они посмеялись над этим проявлением силы природы и повернули обратно.

— А вот, бабоньки, если б эта ёлочка не в скалу врезалась, а прошлась по посёлку и повыбивала стёкла в окнах многих домов, нам бы не смеяться сейчас, а вместе одно горе мыкать.

Больше бродить ей по грязной улице уже не хотелось, и она вернулась домой. С крылечка ей был виден отлогий косогор, по которому от посёлка к дальнему лесу тянулась дорога к кедровнику, где по осени промышляют орех.

Между прочим, этот кедровник приносил Антону не прямой, а так сказать «кривой доход».

Он взымал с заезжих «шишкарей» из дальних мест некий побор в виде чистого ореха. Поскольку таких «свящичиков» через него проходило изрядное количество, то понятно, сколько мешков сухого ореха оказывалось в амбаре Антона. На плечи Марфы Игнатъевны ложилась потом торговля этим орехом.

А как и где его сбывать? Естественно, отвозить в Якорный и сбывать там спекулянтам Марфе Игнатъевне было не по душе.

Антон был неумолим:

— Марфа, я тебе товар — ты мне деньги.

А где они у него хранились, эти деньги, вырученные ею, она не знала.

— Это мужское дело, — говорил он, лукаво прищуриваясь. — Хочу для тебя подарок купить — двуспальную перину и семь подушек, все из лебяжьего пуха.

Она досадливо отбросила эти мысли и обратила свой взор вновь на дорогу. Вроде бы вдаль шевелились две маленькие фигурки. Кто бы это? Она прислонила к дверному косяку, не входя в дом, и стала наблюдать. Похоже, дети. Чьи же они? И вроде очень усталые, идут и шатаются.

Первые шаги Петра Петровича по знакомым тропинкам острова были ему приятными и в то же время очень тяжёлыми.

Приятными потому, что место для ночёвок для него давно стало как бы вторым домом и ему казалось, что он уже ощущает слабо рассеянный дым то ли от дома, где Дуняша в погожий день готовит пищу на плите, а снаружи, а таганке, то ли это тот дымок, который он сам разводит на своей ночёвке. Ему припомнились крылатые слова: «И дым отечества нам сладок и приятен». Чьи это слова, он не запомнил, а сказаны они душевным человеком.

Идти ему было сейчас словно по «вязкой глине», что-то усиливало это ощущение. Да, конечно, Антон Несказуев. Почему? Он ведь ищет Дуняшу. Хотя ни разу с острова она ему не откликнулась. Вот почему примешивается Антон. Он тоже плывёт в неизвестность. Злая стихия, она для всех одинакова.

— Эх, Петя. Пётр Петрович! Конечно, Несказуев — укор твоей совести. Но то, что сердце сюда привело — оно ведь вещун. Его обязательно слушаться надо.

И «вязкая глина» сразу отвалилась от ног. Шагай и шагай, пока они ещё слушаются.

Он увидел костёр, действительно пылающий возле его ночёвки. Надо было сделать ещё тридцать-сорок шагов, но он не мог их сделать, обнялся с какой-то берёзкой и закричал:

— Дуняша, Дуняша, я здесь! Помоги! — и мешком опустил на землю.

Дуняша ему не ответила.

Всё равно он должен дойти, должен доползти до костра так, как он полз по мокрому и колючему бечевнику чтобы добраться до назначенного себе места переправы через протоку...

Он не знал, каким образом оказался у костра. У него не хватало голоса, чтобы ещё и ещё звать к себе Дуняшу. Проваливаясь в дурманящее забытье, он сознавал только одно, что сейчас, только сейчас он нужен там, где была Дуняша. От костра, от лежащего и сверху уже обсохшего сморщенного налива она не могла бы уйти, не утолив голод, а ушла...

Костёр не погас. Это Евдокия Павловна поняла ещё издали, на пути к нему. Хорошо.

— Нет, лодку сейчас не унесёт. Не надо напрягать свои силы, надо дойти. И поесть. Отдохнуть.

И тут ей показалось, что от костра что-то шевельнулось... Не зверёк ли какой дикий потащил налива? Это предположение толкнуло её туда, чтобы догнать его, отнять у него добычу. И...

— Петя, Петя! — закричала она, подбегая к нему и хватая за распротёртые руки. — Петя, здесь я, я с тобой. Ты слышишь меня?

Поля и Шура приблизились к посёлку, им незнакому. Но это не Подплотинный, из которого их привезли на лодке к дедушке с бабушкой. С ужасом подумали:

— Теперь надо будет подниматься по этой жаркой, голодной дороге и идти до другого её конца, который опять неизвестно каким окажется.

На крыльчке ближнего дома, прислонившись к двери, стоит женщина и смотрит на них. Подойти, расспросить её...

Но женщина предупредила их, сама подошла навстречу, протянула к ним руки и воскликнула:

— Ой, да вы не Петра Петровича внушки? Откуда и куда вы идёте?

Шура заплакала. Поля стремилась сдерживать волнение.

— Да, мы дедушки Петра внушки. Мы заблудились.

— Заблудились? Так далеко от дома ушли?

— Мы собирали грибы и запутались, закружились.

— А дедушка с бабушкой что же? Что с ними? Что с ними случилось? Почему вы одни?

— Дедушка на ночь поплыл на остров рыбы поймать для нас. Ещё говорил — для дяди Антона. Бабушка хотела хороший обед приготовить, а мы подумали: вот бы белых грибочков поискать, и тайком от неё побежали в лес, а там грибов так много было и такие красивые, свеженькие, и черничка в лесу росла, очень вкусная. И вообще в лесу было очень хорошо. А перед домом на полянке коза на верёвке паслась, и бабушка говорила, что не успела ещё козу подоить.

— А почему здесь весь посёлок водой залило? — заинтересовалась Шура.

— А вы что и не знали, что весь этот день страшное наводнение прокатилось по Янгоде. С верховьев реки жестокая, высокая волна прошла. Да вы же обе бледные и комарами искусанные. Вот дядя Антон вернётся, я заставлю его вас на лодке вверх поднять до дедушкиного дома. А сейчас пойдёмте в дом, я вас накормлю. И поспите. Вы же совсем на ногах не держитесь.

— Да мы и сами пешком дойдём. Вы бы только дорогу рассказали.

— Милые мои, — введя их в дом и усаживая за стол, сказала Марфа Игнатьевна. — Если по этой дороге идти до поворота на узкую тропу к вашему дому, которую вы не заметили, так вам надо целый день шагать. — говорила она, расставляя на стол всё, что у неё было в подполье и в шкафчике.

Потом постелила постели и сидела, ласково поглядывая на них. Детей-то своих у неё не было, а от этих глаз отвести не могла.

— А дядя-то Антон где же? — спросила Поля. — Он, бабушка говорила, — сегодня обедать должен был у нас.

— Вода очень большая, — ответила Марфа Игнатьевна. — а он у меня такой, всякий... Может, в Подплотинном остался пережить верховую волну эту. Может, как раз до сих пор у ваших дедушки с бабушкой гостит, спада воды дожидается.

Счастливо поглядывая друг на друга, Пётр Петрович и Евдокия Павловна ели с аппетитом налива, очищенного и, как на вертеле, нанизанного на прутике и поджаренного над раскалёнными углями костра.

Делились между собой всем пережитым за столь короткое время, ничего не прибавляя и не убавляя. Что было, то было, потом ещё долго

нужно будет разбираться во всех волнениях своих, но сейчас первейшая забота — внушки.

Вторая забота — поставить на плаву затонувшую в плавниках лодку, потому что это единственное подспорье в их жизни сейчас. Это подспорье вдвоём они выручили быстро. Пётр Петрович вырубил проход в тальниках и, взявшись вдвоём за уключины, они поддёрнули лодку вверх на пригорок и перевернули её дном вверх. Не хватало весёл у ней. И с этой бедой справились быстро.

Евдокия Павловна среди осевшего в тальниках мусора отыскала две доски, из которых своим топориком Пётр Петрович вытесал вёсла. Пользуясь ими, они благополучно переправились через реку домой.

В доме пусто. Пойти в лес и там поискать внучек, если они заблудились... День близится к исходу. Надо искать всем миром. Созвать на помощь побольше людей-поисковиков, прочесать лес... Он совсем не думал о том, что Антон нехорошо поступил, угнав его лодку, а о рыбе и тем более и в ум не приходило ставить ему в вину.

Договорились с Дуняшей: он сплавает в Канатово, а она пусть ожидает внучек здесь. Вдруг они сами объявятся. Он сейчас же взберётся под крышу, где всегда хранились у него запасные хорошие вёсла, и поплывёт.

В дом Несказуевых он открывал дверь с некоторой опаской, вдруг Антона почему-то нет. Но тут же, прямо сбивая его с ног, к нему бросились обе внучки и заговорили, заговорили... ясно о чём.

Он ласкал их, обнимал. Безумно радовался, что они живы-здоровы, и слушать их хотелось столько, сколько им самим хотелось говорить. А дома Дуняша сейчас отсчитывает минуты, сколько их понадобится, чтобы собрать людей в достатке на поиск заблудших.

А девочки уже прощались с доброй тётёй этого дома. Подошёл к ней и Пётр Петрович:

— А Антон-то где у тебя? — всё же спросил он, не думая о совсем худом.

— Не знаю, — хмуро ответила Марфа Игнатьевна. — А ты знаешь?

— Конечно... Раз его нет дома, значит пронесло до Якорного. — поблагодарил ещё раз, поцеловал в щёку и вышел.

Не объяснять же ей в такой момент, что происходило утром на острове. Антон не пропадёт, если его пронесло мимо дома. И с ним Марфа одна потом поразговаривает. Жаль, надо было её пригласить к себе, пока девочки с нами, пусть с Дуняшей познакомится. Они согласие между собой найдут. Марфа — женщина резкая, но душа у неё женская.

Подыматься вверх по течению им всем, очень намаившимся, настрадавшимся за день, было нелегко. От времени до времени они останавливались для отдыха. Менялись местами, девочки садились рядом в лопастные вёсла, а дедушка на корму, по-мужски работая рулевым веслом, а потом он садился в лопастные, а девочки брались исполнять его обязанности. Поодиночке. Правда, по-мужски у них не очень-то получалось, больше смеху было, нежели работы, но ведь «смеяться,

право, не грешно над тем, что кажется смешно». А смех с успехом поднимал их силу. Останавливались и просто поразмять ноги, порассказывать о своих приключениях, порой весьма опасных, но ведь и тут по поговорке: «Всё что пройдёт, то будет мило».

Поля на ходу даже сочинила частушки, приуроченные к дню текущему. А дедушка сыпал загадками, старинными анекдотами, головоломками и вообще разжигал у внучек-школьниц желание похвалиться своей образованностью не в упрёк деду, которого они считали не просто образованным, а по-народному мудрым. Он как-то сказал вскользь, что вал, который прокатился по Янгоде, был прямо-таки «девятым валом», а Поля тут же качнулась в сторону: «Пора. Перо покоя просит, я девять песен написал. На берег радостный выносит мою ладью девятый вал». А Шура поставила точку:

— А вот это Александр Сергеевич Пушкин!

И все захохотали. Но Пётр Петрович приподнял палец и сказал:

— Хитра ты, Шурочка! Ну, а тогда: «...Вот поднялся и бежит, раскачавшись, ударить вал девятый, огромный...» Чьи это слова? Кто скажет? — и все ещё дружнее захохотали.

Они вернулись домой в поздние сумерки. Всё обошлось прекрасно. Евдокия Павловна с внучками приготовили вкусный ужин, правда без налимьей печёнки, которой внучки никогда в пироге и не пробовали, но каникулы длинные, и всякой таёжной снеди они безусловно отведают.

Разговоров, рассказов о минувших событиях было бы хоть до утра, но Пётр Петрович поднялся и определил:

— Довольно! Спокойной ночи! Ложимся спать и будем видеть приятные сны. В народе говорят: «Всё хорошо, что хорошо кончается».

Но Шурочка вдруг возразила:

— Дедушка, а у тебя-то всё-таки любимая лодка пропала. Пирог девятым валом унесло.

Пётр Петрович на мгновение задумался, однако с прежним спокойствием сказал:

— Н-да. Ну что же, на это я тебе отвечу: самого грозного девятого вала, слава богу, не было. Просто прошла очень высокая, стремительная волна, наделавшая много бед. А горы хотя и «горели», но не так устрашающе, как рассказывается об этой примете в старых преданьях. А в общем, как говорит народная мудрость: «Могло быть хуже».

Как-то незаметно бросил свой взгляд на Евдокию Павловну, на самого себя, на девочек и куда-то в лишь ему одному видимую тёмную даль. Встряхнулся. И трижды плюнул через левое плечо.

Проводив Петра Петровича с внучками, милыми девочками, с которыми ей то короткое время, что они погостили здесь, было так светло и радостно, она присела к распахнутому окну.

Жизнь посёлка Канатова входила в свой повседневный лад. Добавились только работы по очистке дворов, загрязнённых толстым слоем наносного мусора, да восстановление повреждённых заборов. И взрослые горько вздыхали, разглядывая погибшие огороды.

Дети носились по улицам и переулочкам, где только позволяло свободное пространство, увлечшись привычными играми, звеня жизнерадостными голосами.

И вдруг этот весёлый гомон прорезали какие-то тревожные крики. Детские взволнованные голоса.

Сердце у Марфы Игнатъевны дрогнуло. Что случилось?

Выбежала из дому. Приблизилась к реке,глянула вправо, на скалы. Оттуда бежала то ли в испуге, то ли в ошеломлении ватага мальчишек, яростно спорящих между собой.

— «А там!..» — «А там!..» — «В этом зелёном шаре!..» — «В лодке». — «Зажатый ветвями...» — «Спиной сюда...» — «Какой-то дядька сидит...» — беспорядочно выкрикивали мальчишки: «И молчит...»

— Мужики! Да хватайте же пилы-ножовки, топоры, рубите, рубите, — задыхаясь, обернулась к бегущим позади неё Марфа Игнатъевна: — Он, может быть, ещё и одышитесь...

И ноги у неё подкосились:

— Он может...

Переделкино

Елена Белова

Как долго не было дождя!

Конфеты

Очень вредные конфеты
Распакетили пакеты,
Разбуфетили буфеты
И отправились гулять,

По неведомым дорожкам,
По карманам и ладошкам,
И осталось их немножко:
Раз-два-три-четыре-пять.

Очень вредные конфеты
Рассекретили секреты,
И теперь от нас буфеты
Стали крепче закрывать.

Отчего и почему
Воет Тузик на луну?
Может быть, ему не спится,
Или он её боится?
Может, думает, что где-то
На Луне живёт котлета?
И мечтает, что вот-вот
Прямо в миску упадёт.
Может, жалуется пёсик,
Тянет к небу мокрый носик,
Просто ждёт, когда в ответ
Проскулит Луна: «Привет!»

Кошка обиделась:
Рыбки не дали.
Села под стол,
Отвернулась и спит.
Ешьте-ка сами
Кашу с грибами,
Если у вас
Не пропал аппетит!

«Ой! — сказала кошка,
Заглянув в лукошко, —
Вместо чудных малышей
Мне подбросили мышей!
Как о них заботиться
И учить охотиться?»

Как долго не было дождя!
Он всем на свете нужен.
И свинки хрюкают: «Беда,
Совсем засохли лужи!
Нам нечем хвостики смочить
И негде поваляться.
Мы скоро станем походить
На ребятишек, братцы!»

Маленькая мушка
Почесала брюшко,
Крыльшками раз-два,
Подкрепилась лишь едва.
Мало места за столом!
Полечу в соседний дом.
Там у бабушки Петровны
На обед пирог морковный!
Если очень захотеть,
Можно первой прилететь.

Щенок неизвестной породы
У нас сторожит огорода,
Конюшню с гнедым жеребцом
И домик с высоким крыльцом,
Гуляющих кур во дворе
И кость, что лежит в конуре.

г. Красноярск

Николай Ерёмин Я жил в раю



Всем по барабану

Увы, я родился немым.

Случилось это в военном 1943-м году в прекрасном сибирском городе Абаканске. Помню, в один из праздничных дней моего рождения по городу как бы специально кто-то развесил плакаты: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» А по радио мальчик-невидимка пел про весёлого барабанщика.

Песня мне очень понравилась. Мой папа, включив радио погромче, маршировал по комнате в такт барабанным ударам и подпевал:

«Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперёд продвигались отряды
Спартакowцев, смелых бойцов.

Средь нас был юный барабанщик,
В атаку он шёл впереди
С весёлым другом барабаном,
С огнём большевистским в груди...

Однажды ночью на привале
Он песню весёлую пел,
Но, пулей вражеской сражённый,
Допеть до конца не успел.

Промчались годы боевые,
Закончился славный поход.
Погиб наш юный барабанщик,
Но песня о нём не умрёт!»

Помню, как я заплакал после слов «Погиб наш юный барабанщик». Мне стало жалко юного барабанщика, потому что мы жили в бараке на улице Спартакowцев, и барабанщик вполне мог быть одним из моих многочисленных друзей.

Мне захотелось, чтобы у меня тоже был барабан и чтобы я научился на нём барабанить, и чтобы все мои друзья слушали, как я хорошо барабаню, и маршировали бы вместе со мною и с папой.

Мой папа был контужен на фронте, комиссован и как инвалид работал плотником в вагонном депо станции Абаканск.

Я был немым, но не глухим, и всё слышал. И хорошо слышал, как однажды в наш барак пришли какие-то люди и арестовали моего папу за то, что он рассказал на работе анекдот про Сталина.

Папу посадили в тюрьму, маму выслали на Дальний Восток, а меня определили в интернат для глухонемых.

В интернате я очень плохо засыпал по ночам. Тогда ко мне подходила старая воспитательница тётя Мотя, садилась на табуретку у моего изголовья, гладила меня по голове и пела мне песню:

«Белое море, красный пароход.
Сяду, поеду на Дальний Восток.
На Дальнем Востоке пушки гремят,
Белые солдатики убитые лежат...
Мама будет плакать, плакать и рыдать,
А папа поедет на фронт воевать...
Дайте мне подушку, дайте мне кровать,
Сяду на лягушку, поеду воевать!»

Я представлял маму на Дальнем Востоке, вспоминал папу и засыпал.

В интернате меня приняли в пионеры, повязали на грудь красный галстук и научили играть на барабане. Во время торжеств я всегда стоял у красного знамени, барабан на груди, левая рука с барабанными палочками опущена, правая поднята в салюте над головой. А вокруг меня хор воспитателей пел песню про барабанщика.

Но я уже не плакал. Мне уже не жалко было весёлого барабанщика, жалко было папу и маму, но к этой жалости я привык.

Когда мне в 1953-м году исполнилось десять лет, Сталин умер, и про него стало можно рассказывать анекдоты.

Тогда моего папу выпустили из тюрьмы, а маме разрешили вернуться в прекрасный наш город Абаканск.

Встреча с родителями в вестибюле интерната была настолько для меня неожиданной и радостной, что я закричал:

— Здравствуй, мама! Здравствуй, папа! — и таким образом избавился от немоты.

— Это чудо! — сказала, обнимая меня, моя мама. — Слава Богу!

— Никакое это не чудо, — сказал, обнимая меня, папа. — Просто в интернате очень хорошие врачи, и они вылечили нашего мальчика, ведь правда, сынок?

— Да, — сказал я, — здесь очень хорошие врачи! — и надел на грудь барабан, и стал отбивать торжественный марш.

На дробь барабана сбежался весь интернат. Все радовались за нас, и поскольку я уже не был немым, меня отпустили, и стали мы жить все вместе в прежнем бараке на улице Спартакowцев.

Мама устроилась уборщицей в школу, куда я стал ходить в третий класс.

Папу на прежнюю работу в депо плотником не взяли, и он стал работать могильщиком на кладбище Бадалык.

Жили мы хорошо.

В те годы много людей умирало, и никто из родственников умершего не скупился на похороны, у всех по давней русской традиции было кое-что отложено «на чёрный день».

Так что можно сказать, в Абаканске были сплошные чёрные дни. А про белые ночи я тогда ещё ничего не знал.

Иногда папа брал меня на кладбище, и там я познакомился с художником-графиком Петром Ивановичем, который на мраморной полированной надгробной плите при помощи молотка и острого закалённого гвоздя высекал портреты умерших.

— Что стоишь, глазеешь? — сказал однажды мне Пётр Иванович. — Вот тебе фотография, вот инструмент, попробуй, чем зря время терять.

Я попробовал, и у меня получилось! Да так похоже.

— Как живой! — похвалил Пётр Иванович, — чуток подправлю, и порядок. Вот тебе три рубля за работу.

Три рубля!

Это были деньги.

Сто граммов конфет-подушечек стоили десять копеек.

И я почувствовал, как хорошо быть богатым человеком.

Родители поощряли моё занятие.

— Всё-таки помощь семье, — говорила мама и забирала у меня заработанные деньги. — Мал ещё деньгами распоряжаться. Не думай, что от них одно добро, зла не меньше!

И действительно, чем больше мой отец зарабатывал, тем больше пропивал с могильщиками или в одиночку. Каждый день приходил он с работы пьяным, оправдываясь, что пьёт из-за старой фронтальной контузии, вызывающей у него постоянные сильные головные боли. Ругался с мамой всё чаще и чаще из-за каждого пустяка и однажды во время очередного скандала умер от разрыва сердца.

Я окончил школу и, освобождённый от службы в армии из-за плоскостопия, занял его рабочее место на кладбище.

И поклялся над могилой отца: никогда в жизни не выпивать!

И сдержал свою клятву.

Можно сказать с уверенностью, что я единственный трезвенник в Абаканске, и занести моё имя в книгу рекордов Гиннеса.

Все вокруг пьют, веселя душу свою.

Вот и Пётр Иванович умер, хлебнув технического спирта...

А я сижу на его табуретке перед мраморной плитой у входа на кладбище и высекаю очередной портрет... А умершие всё богаче, всё круче, всё авторитетнее. А памятники всё дороже, всё вычурнее, а портреты всё крупнее...

И, в конце концов, решил я поставить своё дело на широкую ногу. Прошёлся по художественным

школам, отобрал десять молодых одарённых парней, обучил их графическому мастерству, заставил свою маму окончить курсы бухгалтеров, заказал печать, открыл счёт в банке, зарегистрировал ооо «Мрамор» — и дело пошло.

Деньги делают деньги, а я — свободный частный предприниматель — руковожу процессом.

А как построил себе трёхэтажный коттедж и переехал туда с мамой из барака на собственном Мерседесе, так стал подумывать о женитьбе.

Вокруг молодые преуспевающие бизнесмены по саунам да по ночным клубам счастья своего ищут. А я не такой. Женский контингент этих заведений хорошо известен — жадные вертихвостки...

Мне же хочется, чтобы невеста моя была и умной, и красивой, и верной, и хозяйственной, и доброй, и страстной, когда надо, короче, и женой, и любовницей одновременно.

Этакой сказочной Василисой Прекрасной.

Только где её возьмёшь?

Пораскинул я мозгами и придумал, где.

И решил организовать духовное общество под названием «Взаимный интерес» при областной библиотеке, чтобы приходили туда, кто хочет, пели, стихи читали, раскрывали свои таланты, данные от Бога, разговоры вели, чай с конфетами и печеньем пили...

Директор библиотеки ухватилась за мою идею. Организовал я рекламу на радио, телевидении, в газетах и в журналах — и надежды мои полностью оправдались!

Она возникла на третьем музыкально-поэтическом вечере. Назвалась Татьяной.

Красавица, умница, стихи пишет, на гитаре играет, музыку сочиняет — и поёт, да как поёт! — ангельским детским голосочком. Закроешь глаза — и кажется, что ты опять маленький мальчик, и не можешь уснуть, а хочется, и откуда-то с высоких радужных небес доносится до тебя колыбельная песня, не песня, а мечта воплощённая, и берedit она сердце твоё, и волнует, заставляет учащённо биться, а потом нежно успокаивает...

И влюбился я в Татьяну.

И провели мы с нею несколько белых ночей среди цветущей черёмухи, и ответила она мне полной взаимностью.

Так что на радостях срочно купил я оборудование для музыкальной студии, разместил его на третьем этаже своего коттеджа, пригласил Татьяну и сказал:

— Вот, дарю тебе! Чтобы ты записала здесь первый альбом своих песен.

И пока мы в обществе музыкантов, аранжировщиков и прочих деятелей искусства записывали диск, чувства наши окрепли, и решили мы пожениться.

С тех пор и живём, общие песни поём, новые альбомы в свет выпускаем.

Было дело, благотворительный концерт для сотрудников интерната глухонемых мы дали, а потом для учеников и преподавателей школы, где я учился и где мама моя уборщицей работала.

Успех — не передать словами.

А когда родился у нас маленький Алик и встал на ноги, купил я всем членам нашей дружной семьи по барабану.

Ходим мы втроём по зелёному лугу около коттеджа, смеёмся, прикалываемся, стучим в барабаны и горланим песню о весёлом барабанщике...

А мама моя сидит в сторонке на кресле-качалке, на коленях барабан и барабанные палочки держит и потихонечку плачет, глядя на нас...

Старенькая она у же.

Джаз над Абаканском

*Веронике Махотиной
с пожеланием счастья*

Боже мой, наконец-то я беременна!

Как я счастлива, что осенил ты меня своей благодатью!

Это был мой последний шанс. Ведь мне уже тридцать восемь лет! Ещё немного — и момент был бы упущен.

Но ты помог мне. И я скоро стану матерью. И мой мальчик будет музыкантом, так же, как и я.

Я уже чувствую, как становлюсь совершенно другой. Лучше, чем была. Моя грудь растёт. Скоро я буду кормить грудью! Никто из моих продвинутых подруг пока что об этом не знает и восхищаются моей якобы силиконовой грудью. Силикон сейчас в моде.

А я — беременная, выхожу на сцену и пою!

— Ты очень похожа на бабочку, — сказал мне Гарри Гудмен, отец моего будущего ребёнка. — А бабочки — это, как заметил один поэт, цветы, которые умеют летать. Летим со мной в Америку!

И вот я в раздумье — лететь или не лететь.

Кто я такая? Откуда?

Никому не известная девчонка из военного городка под Абаканском...

Мама-учительница. Отец-офицер советской, по тем временам, армии. А я — Анжелика Березина, смуглая, похожая на негрятёнка, не в мать, не в отца, а в проезжего молодца, как говорили обо мне соседки, офицерские жёны, любительницы почесать языки.

И совершенно напрасно!

Недавно я заказала специалисту мою родословную. Он графически изобразил, основываясь на достоверных архивных документах, всю историю нашей фамилии.

И оказалось, что я — пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнучка великого нашего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина! И не кто-нибудь, а сам Ганнибал, арап Петра Великого, придал моей коже негритянский оттенок.

Вот почему с детства я прекрасно танцую, у меня удивительная пластика. Я пишу стихи, играю на всех доступных мне музыкальных инструментах. Но главное — я отлично пою! У меня абсолютный слух. И голос редчайший, — контральто.

Когда я, ещё школьницей, начала петь на клубной сцене военного городка, все были в полном восторге.

Да, сначала я подражала, подражала, но не кому-нибудь, а самой Алле Пугачёвой, и не в том смысле, как подражает пародист Галкин, а в том, чтобы спеть так, как она, и даже лучше.

И у меня получалось.

Боже, только ты знаешь, как мне это было легко.

Трудности начались потом, когда я решила выйти за привычные певческие рамки и стать джазовой певицей.

К тому времени я окончила школу, и папа перевёлся из военного городка в Абаканск, в центр Сибири, лучший город земли, как настойчиво твердили во всех местных газетах. И вдруг какая-то креативная девчонка, похожая на негрятёнка, запела в центре Сибири джаз... Уму непостижимо.

Конечно, уму абаканского обывателя.

Папа безумно любил меня и всячески поддерживал, потакая во всём. По существу, он самоотверженно содержал нашу семью, посвятив свою жизнь армейской службе.

Благодаря ему я поняла, что нужно учиться дальше, хотя меня все и называли золотым самородком.

«Знания и только знания делают человека человеком! — не раз повторял он. — Стыдно — петь и не знать нот. А ведь многие самородки этим гордятся».

И я с отличием окончила музыкальное училище. А потом и институт искусств.

Я овладела всеми приёмами вокала, то есть стала профессионалом. И мой голос теперь полностью подчиняется мне. Я могу спеть любую арию в любой опере...

Но джаз победил. Моими богами стали Гершвин, Холидей, Воэн, Жобим, Косма...

Ниша была не занята.

И я заняла её!

К великому сожалению, папа простудился на военных учениях, заболел и умер. И мы с мамой остались совершенно без средств к существованию.

В стране — перестройка. Демократические реформы. Рыночные отношения. Инфляция, деноминация, дефолт.

Боже, вот когда я поняла нищих, стоящих у паперти и просящих подаяния Христа ради!

Но Ты не дал мне стать нищей.

И меня, безработную джазовую певицу, пригласил на гастроли в свой танцевальный коллектив руководитель ансамбля «Абаканские зори». И мы объездили всю область, все позабытые тобою, Боже, городишки и полуразрушенные деревеньки...

Вот когда я осмотрелась вокруг и поняла, что такое жизнь.

Ансамбль танцевал, а я в паузах, пока танцоры переодевались, пела джаз.

Пела на английском языке, которого здесь никто отродясь не слышал. И меня понимали! Эти деревенские бабы, бабочки, летать не умеющие, эти спившиеся, изборождённые морщинами, похожие друг на друга мужики, они долго хлопали в ладоши и со слезами на глазах не отпускали меня, чувствовали, значит, что я к ним — с открытой душой...

Но закончились гастролы, и опять осталась я без работы, никому не нужной, брошенной на произвол судьбы.

Оперный театр не берёт. Музкомедия не берёт. Филармония не берёт. Хвалят, а не берут, штаты, мол, переполнены.

И поняла я, что, как говорится, альтернативы нет.

Какая-нибудь тургеневская барышня на моём месте спасовала бы, но только не я, дочь кадрового офицера!

Разозлилась я — и пошла на приём к губернатору, бывшему военному генералу.

Боже! Если бы не он, так бы я и осталась одна-одинёшенька, сама по себе.

Но он оказался внимательным мужиком, что надо. Харизма — во! Энергетика — на несколько метров. Я всегда это чувствую.

— А ну-ка, — говорит он, — спой, что можешь!

— Как, прямо сейчас, в кабинете?

— А что, в кабинете слабо? Тебе сразу сцену подавай и тысячу зрителей в зале?

— Да нет, не слабо, — сказала я и как запою: «Бесаме... Бесаме мучо!..» — сначала по-испански, потом по-английски, а потом и по-русски, чтобы понятнее было, а капелла, да так, что через несколько мгновений со всех этажей Абаканской областной администрации сбежали чиновники в кабинет генерал-губернатора...

А когда петь закончила — содрогнулись стены администрации от аплодисментов и овации.

Так всё и решилось.

И приняли меня в филармонию, и концерты пошли — открытые всем, в двух её сценах. И закрытые — на губернаторских и корпоративных вечеринках.

И стала я популярной не только в Абаканске, но и в других городах.

Звездой джаза стала, многих престижных конкурсов и фестивалей лауреатом.

Где ни спою — «Гран-при»!

Статью обо мне во «Всемирной энциклопедии джаза» с фотографией напечатали!

Все знаменитые джазовые музыканты — Игорь Дадаян, Ив Корнелиус, Даниил Крамер, Игорь Бриль, Владимир Толкачёв — стали почитать за честь со мной вместе выступить.

А Гарри Гудмен даже вычислил меня по Интернету, влюбился заочно и специально прилетел из Нью-Йорка, чтобы засветиться со мной, а потом, на вершине успеха, сделать мне ребёночка.

Слава тебе, Господи, попытка его увенчалась успехом.

И вот спросила я у мамы совета — лететь или не лететь в Америку?

— Лети, — говорит моя мама, — родишь там себе на радость гражданина Соединённых Штатов Америки. Гарри тебя любит, души не чаёт.

Там тебя и оценят по заслугам настоящие любители джаза. А сюда, в Сибирь, никогда вернуться не поздно. Как была она местом ссылки, так и осталась, к сожалению. Лети, а я повременю пока, буду на могилку отца твоего ходить, обихаживать, да тебя вспоминать. А может, и прилечу, когда позовёшь...

Вот и обращаюсь к тебе я, Господи Боже, прости ты душу мою грешную, как я всем грехи их простила. Спаси и сохрани!

Пусть будет так, как мама сказала.

За новую жизнь!

Много лет проработал Иван Степанович Жигунов в газете «Балобановская правда», верой и правдой служа тоталитарному коммунистическому режиму, ведущему в светлое будущее как весь советский народ, так и жителей райцентра Балобаново.

Корректор, специальный корреспондент, зав. сельхоз, а потом и зав. промышленным отделом, и наконец, заместитель главного редактора — так значилось в его трудовой книжке.

С отличием окончил он филфак пединститута и высшую партийную школу, после чего, естественно, стал парторгом в газете.

Метод социалистического реализма, народность, партийность. Моральный кодекс строителя коммунизма, устав коммунистической партии — вот ориентиры, которыми он руководствовался в промежутках между работой съездов и пленумов ЦК, колеблясь в своих убеждениях согласно принятым партийным документам.

И вдруг — бац, прозрел!

Понял, что партия коммунистов — это группа людей, которая работает исключительно о своих интересах и материальном благополучии, прикрываясь популистской фразеологией, а на самом деле на нужды и интересы народа им плевать.

Прозрел — и увидел, что работники райкома партии живут в благоустроенных квартирах, а население района, контингент, так сказать, электротат — в бараках или избушках-развалюшках.

Что первые покупают продукты питания в спецбуфете при райкоме по низким государственным ценам, а вторые — в раймаге, по высоким ценам, в основном, из-под прилавка, по благу, или отстояв огромную очередь.

Что центральные газеты и районка из года в год вралы, мол, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. В то время, как на так называемых стройках коммунизма работали в основном заключённые, получившие различные сроки лишения свободы по сфабрикованным «делам» — как враги народа...

Прозрел, когда Центральный Комитет объявил, что партия наконец-то может стать партией с человеческим лицом и поэтому должна осу-

дить все злодеяния, учинённые коммунистами ранее — расстрел царя и членов царской семьи, уничтожение дворянства, священнослужителей, казачества, интеллигенции, крестьянства...

Встали у Ивана Степановича дыбом на голове остатки волос, да что же это такое творилось и творится вокруг, подумал он, и перевернулись в голове у него мозги — и стал он в одночасье антикоммунистом, единственным в районе.

И вышел он на единоличную демонстрацию к памятнику Ленину перед зданием райкома партии, и устроил первый несанкционированный митинг, и произнёс пламенную речь перед мгновенно собравшейся толпой.

Накипело.

— Дорогие мои односельчане! — воскликнул он. — Посмотрите внимательно на этот памятник вождю, так сказать, мирового пролетариата, призывавшему нас к счастливой жизни, а на самом деле год за годом уничтожавшему русский народ по указанию иностранных банкиров, от которых на эти цели получал он регулярно большие деньги. Это он дал указание убить царя и уничтожить всю царскую фамилию и дворянство как класс. Это он дал команду разграбить церкви и снести их с лица земли, объявив религию опиумом для народа. Это он организовал братоубийственную гражданскую войну, натравив народы друг на друга. Все злодеяния документально подтверждены. Вот что наделал с нашей страной Россией, разорив её, этот дьявол во плоти, поставивший себе памятники в каждом городе и селе и рассеявший своё ядовитое семя взаимной лжи, ненависти и уничтожения. Поэтому по примеру московских товарищей я публично выхожу из партии коммунистов! — заявил Иван Степанович, — и сжигаю свой партийный билет у подножия идола кровавого.

И достал он из нагрудного кармана пиджака красную книжицу, и поднял над головой, и, чиркнув зажигалкой, поднёс пламя к напечатанному на корочке профилю вождя.

— Во, даёт! — зашумела толпа.

— И я призываю вас, дорогие сограждане, — закричал возбуждённый Иван Степанович, — снести с лица земли эту статую, напоминающую нам о страшных годах репрессий и геноцида!

И, бросив на землю чёрный остаток сожжённого партбилета, взял он в обожжённые пальцы протянутую кем-то из толпы верёвку, смастерил на её конце петлю и, накинув на голову статую, призвал:

— Потянем! Дружнее!

Разгорячённых зрителей не пришлось долго уговаривать.

С десяток мужиков и парней ухватились за верёвку, потянули — и гипсовая голова вождя мирового пролетариата слетела с плеч, обнажив железный штырь, на котором держалась.

На этом историческое событие в селе Балобаново завершилось.

Власть переменялась.

Восторжествовала демократия, гласность, свобода слова и дела.

Каково же было удивление Ивана Степановича Жигунова, когда он увидел, что растерявшиеся, было, коммунисты вдруг объявили себя демократами, безбожники стали верующими. Бывший первый секретарь райкома стал главой района, второй секретарь стал председателем законодательного собрания местного самоуправления, а третий — генеральным директором Балобановского коммерческого банка «Изумруд»

Редактор же газеты, коммуняка проклятый, дерьмократ новоявленный, переименовал «Балобановскую правду» в «Балобановские вести» и на летучке торжественно объявил:

— Уважаемый Иван Степанович! Ты славно потрудился в нашей газете на благо светлого будущего. К сожалению, коммунистические идеалы не оправдали себя и привели нашу многострадальную страну к полному экономическому краху. Теперь для торжества демократии нужны новые молодые силы. Новые кадры. И они есть! Поэтому мы всем трудовым коллективом отправляем тебя на пенсию по старости, на заслуженный, так сказать, отдых! Да, время неумолимо, дорогие господа-товарищи, движется вперёд. Новое идёт на смену старому, отжившему. Диалектических законов развития общества никто не отменял. Единство и борьба противоположностей! Закон отрицания отрицанием. А посему прими от нас, Иван, вот эти электронные часы, пусть они напоминают тебе о годах, проведённых вместе!

Погоревал Иван Степанович, а делать нечего, на пенсию не проживёшь.

И задумал издавать он альтернативную газету «За новую жизнь», призванную защищать интересы трудового народа от чиновничьего произвола

Первый номер еженедельной газеты сразу же чётко обозначил и обнажил все районные проблемы.

Отремонтировать устаревшую котельную. Зима не за горами.

Возобновить работу бани и прачечной — людям негде помыться!

Сохранить рабочие места на кирпичном заводе, не дать подвести его под банкротство.

Заасфальтировать, наконец, дороги в районцентре!

Улучшить работу Дома культуры и районной больницы.

И — самое главное — выявить, куда уходят деньги, отпущенные на все эти нужды?

«Что делать? С чего начать? — гласили заголовки на первой полосе. — А с того, что нужно срочно переизбрать главу районной администрации!

Заведующая отделом «Роспечати», к стати сказать, жена главы района, с лукавой улыбкой на губах любезно согласилась организовать подписку и распространение нового еженедельника, если с каждого номера Иван Степанович будет выделять ей 25% выручки в конверте, помимо официально перечисленной по договору суммы.

Возмущённый постановкой вопроса, редактор пригрозил ей судебным разбирательством с подробным освещением в печати и в расстроенных чувствах пошёл разносить газету по дворам.

Смеркалось.

Пока обошёл деревню, стемнело.

На обратном пути, уже около самого дома, встретили его два незнакомца.

— Новой жизни захотел? — спросил один из них и выдвинул из рукава огромный гаечный ключ.

— Что вы, что вы, ребята? Не шутите, дайте пройти! — сказал Иван Степанович.

— Какие могут быть шутки? — спросил второй и сильно толкнул редактора в грудь.

Первый размахнулся и сильно ударил его ключом по голове, а второй наклонившись, пнул его, уже упавшего, в челюсть.

Громко залаяли собаки, и на крыльцо выбежала жена Ивана Степановича.

Трое суток не приходил в сознание наш редактор.

На четвёртые сутки разрешили мне его навестить.

— Как дела, Степаныч? — спросил я.

— Да ничего, — сказал он, — оклемаюсь помаленьку, да снова — за дело!

Лежал он, постанывая, с перебинтованной головой, под капельницей, в отдельной маленькой палате райбольницы, напротив здания бывшего райкома партии, ныне администрации.

Я сидел у кровати и смотрел в окно.

В окне был виден памятник Ленину с приставленной к нему высокой лестницей, на вершине которой стоял человек в заляпанном известью комбинезоне и пытался надеть на железный штырь гипсовую голову вождя мирового пролетариата.

Камни в почках

Мой младший брат Иосиф Бахинский родился в нашем прекрасном сибирском городе Абаканске в 1953-м году, в день смерти отца всех времён и народов Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили), великого революционера, как потом оказалось, агента царской охранки, террориста, параноика и жестокого тирана, культ личности которого развенчал его преемник, генеральный секретарь коммунистической партии Советского союза, Никита Сергеевич Хрущёв на XX съезде КПСС.

Родители мои в этот исторический день радовались рождению сына и плакали по поводу кончины вождя, так как думали, что он бессмертен, и называли братика Иосифом, Осей, если по-домашнему.

Жили мы тогда на Стрелке, в стареньком домике, на берегу реки Качи, почти при впадении её в Енисей, неподалёку от дома-усадыбы предка нашего, знаменитого художника Василия Ивановича Сурикова, известного всему миру картинами «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»,

«Степан Разин», «Меньшиков в Берёзове», «Переход Суворова через Альпы», «Взятие снежного городка», «Милосердный самаритянин», или самарянин, как пишут иногда под репродукциями.

Да, семья наша — одна из ветвей Василия Ивановича, это не трудно доказать, стоит только открыть монографию «Жизнь и творчество В. И. Сурикова» написанную членом Союза писателей России Владиславом Ошаниным, моим хорошим товарищем и союзником, посвятившим себя целиком исследованию и изучению личности нашего гениального и трудолюбивого предка.

Ося, всем на удивление и на радость, с годами стал очень походить на прадедушку, от которого, видимо, кроме портретного сходства генетически унаследовал и талант рисовальщика.

Блокнот и карандаш были постоянными его спутниками и в детском садике, и в школе, и в художественном училище.

Людей почему-то Ося не рисовал, игнорировал. А вот воробьи, голуби, вороны, снегири, собаки, волки и медведи, которые тогда ещё встречались на улицах Абаканска, получались у него на бумаге, как живые. Причем, прорисовывал он их тщательно, до мельчайших подробностей, и очень достоверно.

Много дней провёл мой брат в краеведческом музее, где тучел было в изобилии.

И как только ему не лень, удивлялся я, ну, рисовал, ну, стало одним воробьём или собакой больше, ну и что?

Но знатоки рассуждали иначе.

Талант его был замечен, поощрён — и стал Иосиф Петрович Бахинский главным художником, шпикой на ровном месте, как я шутил, единственного тогда, при застойном социализме, Абаканского книжного издательства.

Общительный, доброжелательный, он сам оформлял книги и другим давал подзаработать. Поэтому слава его быстро распространилась далеко за пределы Абаканской области и, наконец, достигла Америки.

И когда он в 1990-м году, на грани экологической и социальной катастрофы в стране, надумал зарисовать всех исчезающих зверей и птиц и занести их в «Красную книгу Сибири», пришло ему приглашение из Америки — жить там и работать над книгой в прекрасном американском городе Детройте, при университете.

Подумал мой брат Иосиф, подумал, всё взвесил, да и согласился. Не век же вековать в старенькой развалюхе на берегу Качи, несущей свои мутные воды в великий, но уже навсегда перегороженный плотиной Енисей.

Родители наши к тому времени уже умерли.

Привезли им к какому-то празднику из деревни Торгашино курицу в подарок, и заразились они от неё куриным гриппом, поболели с неделю, помучились да в один день и отдали Богу душу. Царствие им небесное, земля пухом!

В стране уже началась перестройка.

В конце концов тоталитарный коммунистический режим рухнул, СССР развалился, издательство обанкротилось, и остался мой брательник свободным художником, таким же, как и я — без средств к существованию.

Семнадцать лет прожил Ося в Америке. Богатым мэном стал, потому что «Красная книга Сибири» превратилась постепенно в «Красную книгу мира», очень популярную, и множество раз переиздавалась в шикарном полиграфическом исполнении.

В неё вошли практически все исчезнувшие и исчезающие представители флоры и фауны.

И стал мой брат звездой первой величины, с мировым именем. Он тебе и профессор, он тебе и почётный академик, и лауреат многих престижных премий.

А на фото посмотришь — ну, вылитый американский ковбой! Вот что с человеком делает среда обитания.

Стоит он — рядом жена Мари и дети-близнецы, мальчик и девочка, под развесистой пальмой, на фоне ранчо — и все улыбаются в объектив счастливой улыбкой.

И всё бы ничего, да стала у него побаливать поясница — звонит, жалуется, что недомогает.

Обследовался он в частной клинике доктора Джонсона, и сказал ему доктор Джонсон:

— Джозеф! У тебя камни в почках, а правая — так вся буквально ими забита и не работает, надо её удалять, а не то, не дай Бог, — некроз, омертвление, то есть. — И счёт на шесть тысяч долларов за консультацию предъявляет.

— А удаление сколько стоит? — Иосиф интересуется.

— 60 тысяч! — улыбается Джонсон.

«Зачем тебе шестьдесят тысяч платить? — говорю я брату по телефону. — Моя жена тебе бесплатно всё, что надо, сделает. Леночка у меня до сих пор отличный практикующий хирург, доцент, зав. отделением почечной патологии в областной больнице».

И прилетел Иосиф в Абаканск через Северный полюс, чартерным рейсом, соглашение о котором подписал ещё генерал-губернатор Лебедь. Царствие ему небесное, земля пухом!

Мгновенно во всех цветных газетах и лакированных журналах Абаканска появились портреты моего брата, а по всем каналам ТВ — интервью.

— Скажите, какова цель вашего визита? — корреспонденты спрашивают.

— Цель простая, — брат улыбается. — В этом году моему прадедушке, великому художнику Василию Ивановичу Сурикову, доживи он, исполнилось бы 160 лет! Вот я и прилетел к брату, в кругу семьи отметить этот юбилей.

И ещё, конечно, виновата тоска по родине. Я ведь здесь родился.

Визит моего брата всколыхнул культурную общественность Абаканска.

Все вспомнили про юбилей Сурикова.

Союз художников мгновенно заказал постеры картин и организовал юбилейную выставку — сразу в трёх залах.

Агентство по делам культуры провело в областной библиотеке научную конференцию на тему «Что значит Суриков для Сибири и России?»

Союз архитекторов во дворе усадьбы-музея нашего прадеда торжественно открыл новый памятник.

Стоит Василий Иванович — мольберт в одной руке, кисть в другой, устремив взгляд вверх, и о чём-то думает, может, о новой картине, а может, о будущем Сибири или даже, чем чёрт не шутит, о возрождении всей России!

Но всё рано или поздно кончается. Всё хорошее — к великому сожалению, всё плохое — к счастью.

Закончились суриковские торжества.

Закончилось пребывание моего брата в больнице на обследовании.

И сказала моя жена брату моему:

— Нет у тебя, Иосиф, в почках никаких камней! А то, что поясница побаливала, так это признаки начинающегося панкреатита. Побережь тебе надо свою поджелудочную железу, поменьше есть там, в изобильной Америке, жирного и копчёного, острого и солёного — и всё будет о'кей!

Удивился Иосиф.

— Как же так? — спрашивает. — А зачем же тогда Джонсон хотел мне почку удалить?

— Наверное, твоя почка кому-то в Штатах нужнее, чем тебе! — смеётся Леночка.

— Ну, вернусь я, покажу этому доктору Джонсону! Он мне не только 6 тысяч вернёт, но ещё и 60 тысяч за причинённый моральный и материальный ущерб приплатит.

И взяли мы на радостях цифровой фотоаппарат, и пошли втроем в музей-усадьбу великого нашего прадеда — на фоне нового памятника сфотографироваться на память.

Идём по улице Ленина, бывшей Благовещенской, подходим, а у калитки, около тополя, видим, стоит группа рабочих, в одинаковых зелёных комбинезонах, и один из них, значит, бензопилой тополь подпиливает, а другие шестами подталкивают его в направлении предполагаемого места падения.

Тополь старинный, в полтора обхвата, сопротивляется.

— Что вы делаете? — закричал мой брат. — Остановитесь! Этому тополю больше ста лет! Его посадил здесь мой прадедушка Суриков!

А рабочие не слышат, пият и толкают... А бензопила ревёт...

И покачнулся столетний тополь, посаженный на радость жителям Абаканска руками Василия Ивановича. И наклонился тополь, и застонал, и заскрежетал, и рухнул на тротуар, хрустнув поломанными ветвями, как человек суставами.

— Зачем вы это сделали? — спросил я у рабочих. А те отвечают:

— Приказ начальства. Решили они расширить улицу на полтора метра, чтобы автомобилям просторнее было. Проект называется «Дорога в будущее». Вот тополь и оказался на проезжей части.

Только вынул брат мой Ося из кармана фотоаппарат, чтобы в режиме видео заснять поваленный тополь и толпу зевак вокруг, как возникли перед нами, откуда ни возьмись, два человека в одинаковых чёрных длинных пальто.

— Кто разрешил фотографировать? — строго спросил один. — Это исторический объект и охраняется государством.

— Кто вы такие? Предъявите документы! — строго сказал другой.

— Да что вы, ребята, — сказал я, — перед вами писатель Степан Бахинский, это — моя жена, а это — мой брат, кстати, гражданин Соединённых Штатов Америки!

— Американский шпион, значит? — строго спросил один.

— Пройдёте с нами! — строго сказал другой. — И никакие мы вам не ребята! А вот кто вы такие, выясним в другом месте.

И пошли мы для выяснения наших личностей в сопровождении двух людей в одинаковых длинных чёрных пальто.

И рабочий снова включил бензопилу, и стал срезать хрустящие ветки.

А остальные, в одинаковых зелёных комбинезонах, стояли и смотрели нам вслед...

Председатель ревкома

Четыре года назад на общем собрании писателей Абаканска меня единогласно избрали председателем Ревизионной комиссии, Ревкома, если говорить кратко.

Я долго отказывался, но вновь избранные М. К., председатель Союза, и К. М., председатель Литфонда, были непреклонны.

— Дорогие братья-писатели! — говорил я. — Многие из вас жили при социализме и, конечно, помнят, что давным-давно В. И. Ленин, знаменосец социализма и вождь мирового пролетариата, объявил, что социализм — это учёт и контроль. Писатели мгновенно учредили Ревкомы и стали ревизорами, контролируя каждое сказанное слово, каждую полученную и потраченную копейку. Слава Богу, в 1991 году социализм спокойно умер, скончалась идеологическая цензура, восторжествовали гласность и свобода слова. На дворе — новый, XXI-й век, 2008-й год. Довольно уже того, что всех нас контролирует налоговая инспекция, налоговая полиция, регистрационная палата, таможня, суды, и т. д. и т. п. К сожалению, контролирующие аппендиксы в виде Ревкомов, порождённые социализмом, до сих пор не удалены и периодически воспаляются, мешая нам жить. Писатель — это не учётчик и не контролёр. Так давайте же упраздним нашу Ревизионную комиссию, удалим наш аппендикс! И распространим инициативу по всем писательским организациям России! Время реформ ещё не миновало. Это будет

хорошее дополнение в новый готовящийся закон о творческих союзах.

— Нет! — сказал М. К., председатель Союза. — Мы не обладаем правом законодательной инициативы. Нас никто не поймёт! Так можно договориться до того, что и Союз писателей вообще не нужен, ведь организован он был по инициативе диктатора И. В. Сталина для контроля над писательским инакомыслием! Недаром почти все делегаты Первого съезда писателей были арестованы и расстреляны.

— Нет, — повторил К. М., председатель Литфонда. — Ревизионная комиссия была и должна быть! И должна контролировать нашу деятельность. А не то мы такого натворим!

И я вынужден был уступить.

Абаканск, хотя и миллионный город, а всё же — большая деревня, где все всё друг про друга знают.

Четыре года пролетели, как четыре прекрасных мгновения.

И когда вновь собралось отчётно-перевыборное собрание, работа председателя Союза и председателя Литфонда была признана отличной. М. К. и К. М. были выдвинуты на новый срок и уже готовилось тайное голосование, как кто-то из старичков-писателей тихо произнёс:

— А почему мы не заслушали отчёт председателя Ревкома? Будто его у нас и вовсе нет.

— Может, не стоит? — пытался возразить я.

— Как это — не стоит? — спросил председатель Союза.

— Как это — не стоит? — повторил председатель Литфонда. — Мы, значит, вкалывали как папы Карлы, а председатель Ревкома груши околачивал и не работал?

— Да разве это работа — быть ревизором и собирать компромат? — опять возразил я. — Но, если вы так настаиваете... Вы, уважаемый М. К., как председатель Союза, за время своего правления издали четыре свои книги, в твёрдом переплёте, истратив на это деньги, которые должны были быть потрачены на издание книг наших престарелых и больных ветеранов и юбиляров. А на деньги, перечисленные из благотворительных фондов, а также от спонсоров и меценатов на общие писательские нужды, вы в пригороде нашего прекрасного сибирского города Абаканска, в районе бывшего совхоза «Удачный» построили себе на берегу Енисея двухэтажный коттедж, с подземным гаражом, где уже стоит недавно купленный «Джип». А вы, уважаемый К. М., как председатель Литфонда, средства, перечисленные из Москвы, пустили на реставрацию старинного особняка купца Кузнецова, но вместо того, чтобы, как предполагалось, переселить туда наш Союз и Литфонд, сдали его в аренду банку «Кедровый орешек», а на деньги, вырученные от этой сделки с совестью, купили усадьбу в Подмосковье, на Рублёвке, куда собираетесь в скором времени переехать и жить на проценты с капитала, обеспечив себе тем самым счастливую старость.

— Это наглая ложь! — воскликнул М. К.
— Это возмутительное враньё! — воскликнул К. М.

— Нет, не ложь и не враньё, — спокойно сказал я, — копии обличающих вас документов находятся на хранении в ячейке одного из сейфов банка «Кедровый орешек», где у меня есть свой человек. И я могу предъявить их в любой момент.

Что тут началось!

Писатели повскакали с мест, стали кричать, размахивать руками, топтать ногами...

Так что председатель Союза срочно объявил открытое собрание закрытым и перенёс его на неделю, «до выяснения обстоятельств».

Целую неделю я был героем телевизионных репортажей и газетных полос.

Мои книги, лежавшие годами в магазинах «Русское слово», «Знания» и «Светоч» мёртвым грузом, были мгновенно распроданы. Издатели из Москвы и Санкт-Петербурга вычислили меня по Интернету и заключили несколько солидных договоров на новые проекты, перечислив по электронной почте авансы.

Через неделю я выступил на продолжении отчётно-перевыборного собрания с разоблачительной речью.

Разоблачал я себя.

— Дорогие братья-писатели! — сказал я. — Четыре года был я председателем Ревкома, то есть Ревизионной комиссии. Каюсь, ничего я не делал. Мне было стыдно контролировать деятельность избранных вами честных и порядочных людей, которыми являются М. К. и К. М. Которые в ущерб своему творчеству, отрывая драгоценное время от создания, может быть, бессмертных и нетленных произведений, помогали вам отмечать юбилеи, получать льготные путёвки, пособия и гранты... Приношу им свои глубочайшие извинения! Всё, что я говорил неделю назад, это выдумка чистойшей воды, и озвучена была она с единственной целью, чтобы вы поняли, наконец, что никакой Ревком нам не нужен и освободили бы меня от занимаемой фискальной должности. Предлагаю тайное голосование заменить явным, то есть открытым.

— Кто за то, чтобы освободить председателя Ревкома и вообще ликвидировать Ревизионную комиссию? Так. А кто за то, чтобы переизбрать М. К. и К. М. на новый срок? Тоже единогласно. Вот и отлично, вот и хорошо!

Работа над ошибками

«Работа над ошибками» — так я решил называть автобиографический роман.

— Минёр может ошибиться в жизни только один раз, — любил повторять мой дедушка, инва-лид Великой отечественной войны.

— Поэт может ошибаться постоянно. По существу, вся его жизнь — это цепь взаимосвязанных ошибок, — в каждой главе будет повторять мой прототип.

— Самая большая наша ошибка в том, что ты вообще появился на свет, нам в наказание, — будут повторять родители моего прототипа, пока Бог не призовет их на Высший суд.

Но как бы там ни было, появился я на белый свет — и началось!

Первая любовь — Вера-Верочка.

Первая ошибка и первые стихи:

Я люблю тебя до слёз!

А ты любишь? Вот вопрос.

Ошибся, но издал первую книгу стихов.

Вторая Любовь — Надя-Наденька.

Снова ошибся, но издал вторую книгу стихов.

Третья любовь — Люба-Любушка.

Ошибка закончилась женитьбой.

Жена не терпела стихов. Она внимательно читала мои изданные книги и по каждому стихотворению учиняла мне допрос с пристрастием и последующим расследованием.

«Я люблю тебя до слёз!»

— Кого это ты любил? И сейчас, наверное, любишь, а меня обманываешь! — восклицала она и начинала рыдать.

— Да никого я, кроме тебя, моя хорошая, моя любимая, моя ласковая, моя нежная, не люблю, — шептал я ей на ушко, вытирая сладкие слёзы. — Люблю Любовь!

— Так докажи! — шептала она.

И в результате моих доказательств появились на свет два очаровательных близнеца — Коля и Толя.

После чего последовало очередное выяснение отношений, и стало ясно, что третья моя любовь закончилась.

Да, в Веру я потерял веру, на Надежду потерял надежду, а Любу разлюбил.

И перешёл на прозу.

Бракоразводный процесс зафиксировал мою третью ошибку. Дети и всё имущество — квартира, дача, машина — родительское наследство — достались жене. И остался я один-одинёшенек, без средств к существованию. Фактически, на улице.

И сказал я сам себе: — Нет, так дальше продолжаться не может!

И пошёл в банк «Авангард», и взял кредит, и купил себе однокомнатную квартиру, и устроился в «Авангард» кассиром, и поступил на экономическое отделение Абаканского Универса по специальности «Банковское дело», и стал, скажу без ложной скромности, в финансовых вопросах специалистом высшего класса.

Если минёр может ошибиться лишь раз, подорваться и разлететься на клочки, то банкир может ошибаться, сколько угодно и — оставаться целым и невредимым.

Пришло время расплачиваться по взятому кредиту. Вызывает меня генеральный директор «Авангарда» и говорит:

— Александр Иванович! У вас есть две прекрасные возможности сесть в тюрьму. Одна — раньше, за непогашение кредита, другая — позже. Выберите, раньше или позже?

— Конечно, позже, — говорю я, — но поясните, в чём дело?

— А дело в том, что наш коммерческий банк, как вы, очевидно, уже давно догадываетесь, на грани банкротства, извините за невольный каламбур. Цели, поставленные перед ним, выполнены, сроки соблюдены. Я удаляюсь, как говорится, в далёкие палестины. А вы остаётесь банкротить банк в качестве внешнего управляющего. Применяйте всё, чему вас там, в Универсе, выучили. Выкрутитесь — свобода. Не выкрутитесь — тюрьма.

— Что ж, попытаюсь выкрутиться, — согласился я. И стал внешним управляющим.

Да каким!

Не буду объяснять неискушённому читателю схему банкротства. Скажу только, что в конечном результате и пострадавшие, было, вкладчики остались не обиженными, с долгосрочными ценными бумагами на руках, и я — в солнечной Испании, в гостеприимной Барселоне, с достаточным стартовым капиталом на счету.

Квартира — в центре города, рядом со знаменитым красивейшим собором «Саграда фамилия» величайшего архитектора Гауди, к сожалению, так нелепо попавшего под трамвай. Под четырёхкомнатными апартаментами — гараж с автоматической дверью. Въезжаешь, ставишь Мерседес и в лифте поднимаешься прямо к себе в гостиную, проходишь через кухню и спальню в зимне-летний сад со спутниковой антенной, тарелкой, стоящей среди роз, включаешь многоканальный телевизор, устраиваешься поудобнее на диване и ты — в России, никакой изоляции от родного языка и от событий на родине.

Посмотрел новости, надиктовал на компьютер очередную главу романа «Работа над ошибками», конечно же, ошибками, в основном, чужими, распечатал на русском, испанском и английском — и спать!

Завтра же новые страницы романа попадут по электронной почте к издателям трёх стран. Да, читатели уже заинтересованы и ждут продолжения.

А утром — выпил китайского чая Пу Эр или кофе Арабика, сел в Мерседес — и на работу, в офис.

Бизнес — важнее всего!

Схема «Купи — отремонтируй — продай или сдай в аренду» действует безотказно.

Таким образом, стал я владельцем ресторана «Христофор Колумб» около морского вокзала, рядом с памятником великому мореплавателю, глядящему в бескрайние просторы Средиземного моря.

Таким же образом стал я и владельцем оперного театра, где сам Муссолини когда-то выступал с

зажигательной речью. Отремонтировал и сдал в аренду.

Но — самое главное — открыл банк, под названием «Золотая песета», чтобы развивать испано-русские финансовые связи...

И задумался.

Вспомнил я и про свои ошибки и решил их исправить, сгладить, так сказать, шрамы и рубцы, оставленные Верой, Надеждой и Любовью в моей душе.

И пригласил их на постоянное место жительства в Барселону.

И они согласились!

В одном самолёте, чартерным рейсом, воскресным солнечным днём 8 марта, прилетели три женщины, которых я любил, а с ними сыновья мои, близнецы, как две капли воды на меня похожие, — Коля и Толя.

Я сам встретил их в аэропорту, сам на Мерседесе отвёз в ресторан «Христофор Колумб», покружив по городу и вдоль Средиземного моря под восторженные ахи и охи...

В ресторане нас ждал праздничный стол.

— Дорогие мои красавицы! — обратился я к виновницам торжества. — Давайте поднимем эти звонкие бокалы с неповторимым вином «Коррида».

Много лет назад замечательная женщина Клара Цеткин объявила 8 Марта международным женским днём. От всей души поздравляю вас с праздником весны, который совпал по календарю с Прощёным воскресеньем. В этот день мы все должны простить друг другу всё-всё-всё! Кто старое помянет, тому, как говорится, глаз вон. Так что с этой минуты — никаких обид!

Я вас люблю, хочу, чтобы вы ощутили это и начали рядом со мною новую жизнь.

Поэтому.

Дарю я тебе, Вера, оперный театр. Владей и пой, как когда-то в Абаканске. Ты ведь мечтала стать оперной дивой. И пусть все поют под твою дудку.

Тебе, Надя, дарю я ресторан, в котором мы сейчас находимся. Помню, как ты любила вкусно готовить и вкусно поесть. Тебе здесь и карты в руки.

Тебя, Люба, прошу принять банк «Золотая песета», ты ведь всегда любила деньги и знала, что с ними делать.

Вас же, дорогие мои сыновья, хочу определить я в мореходное училище, чтобы вы стали отважными знаменитыми мореплавателями и повидали весь белый свет.

А я буду с вашей и с Божьей помощью продолжать, пока хватит сил, роман «Работа над ошибками». Ведь что, в конце концов, остаётся от человека? То, что он сказал или написал.

Есть возражения?

Возражений не было.

И выпили мы замечательного вина «Коррида».

И обнялись.

И расцеловались.

И стали жить-поживать, добра наживать.

Так до сих пор и живём — в дружбе и в согласии.

Я жил в раю

При социализме я жил в раю.

Поясняю.

По всей России — ад, тоталитарный коммунистический режим, барачное жильё, идеологический контроль, то репрессанс, то реабилитанс, в магазинах — пустые полки. Хоть шаром покати. А у нас, в секретном закрытом городе, Абаканске-26, — тишь да гладь, Божья благодать, мир, коммунизм с человеческим лицом. У каждого жителя — благоустроенная квартира, даже у меня, старого холостяка. У каждого служащего — приличная зарплата. В универмаге — всё, что душе угодно, и еда, и питьё, и шмотки заграничные. В центре города — Дворец культуры с античными колоннами. Рядом — искусственное озеро, крутлый год купайся, вода тёплая, потому что с подогревом. По берегам — пальмы, завезённые из экзотических стран. На ветках птички поют...

Рай, да и только, хоть и за колючей проволокой.

Недаром наш город, почтовый ящик, воспет в стихах моего любимого поэта Михаила Злобина и в романах его друга Константина Невинного.

Был он и до сих пор есть в шестидесяти километрах от настоящего Абаканска.

Только теперь он не закрытый, а открытый, и не Абаканск-26, а Свинцовогорск.

И открыт до сих пор, как ниппель, — только в одну сторону, на выезд, а въезд по-прежнему строго по пропускам.

Помнится, когда однажды Константин Невинный, приглашенный на литературную встречу к нам в библиотеку имени кой-кого, то есть Горького, позабыл паспорт и показывал на КПП удостоверение депутата Верховного совета СССР, бдительная охранница сказала ему: «Знаю, кто вы, люблю читать ваши романы, а всё равно без паспорта не пропущу, не имею права!»

Встречи с литераторами из Абаканска проводились часто.

Материально обеспеченные наши трудящиеся тянулись к духовным ценностям, сами писали стихи, сочиняли музыку, рисовали картины, в общем, развивались.

Я, например, работая инженером по теплообеспечению, сочинял пародии, и не только добродушные, но и острые, злые, и плохо бывало тому литератору, кто попадался мне под горячую руку! Даже Михаил Злобин, бывало, заискивал передо мной, даже Константин Невинный!

Все знали меня, критика и пародиста Кирилла Кирпиченко, и считались с моим мнением.

Боже, как быстро летит время!

Вот уже и социализм рухнул, и завяли пальмы около нашего пруда, и наступила райская жизнь

после перестройки во всей России, а жаль прошлого, жаль убирать колючую проволоку, обмотанную вокруг нашего города. Жаль упразднить КПП — контрольно-пропускной пункт, хоть он уже и обветшал, и дежурят на нём бесплатно, на общественных началах, непреклонные ветераны-коммунисты, не раскаявшиеся в своих грехах и уцелевшие после многочисленных чисток, поддерживают порядок в качестве дружинников. Неспроста висит перед входом фото и объявление: «Разыскивается Овчаров Иван Петрович, 1980 года рождения, который 17 ноября 2007 г. прошёл через КПП и бесследно исчез»

И всё же перестройка дала свои прекрасные положительные плоды.

Свобода слова и дела. Гласность и народовластие.

С этим не поспоришь.

Когда нас рассекретили, и узнал весь мир, что при помощи плутония, изготовленного на нашем заводе, можно неоднократно взорвать весь Земной шар, финансирование из столицы прекратили, производство было остановлено. И все интеллектуальные силы, покинули нашу колючку. Мозги, так сказать, перетекли за границу, и опустел научный центр имени Королёва, золотая клетка, где в райских условиях развивали передовые прогрессивные технологии оборонные отечественные светила.

Четыре этажа который год стоят, позабытые, позаброшенные, никому не нужные, даже коммерческим структурам. А нас, оставшихся в коммунистическом раю, не забыли разве только что американцы, которые под видом гуманитарной помощи для нужд разоружения и демонтажа ядерного реактора присылают каждый год энное количество долларов, на которые мы и живём, доживаем, вспоминая боевой XX век.

И вот недавно старый холостяк, проживший всю жизнь с подаренной мне в детстве куклой, обезьянкой Чи-чи-чи, которую я безумно любил и люблю, и которая была моим талисманом, приносящим счастье, и музой моей, стал я, наконец, старшим инженером.

И исполнилось мне 55 лет.

И издал я книгу стихов, посвящённую моей любимой обезьянке, под названием «Время Ч», и разослал приглашения на юбилей и презентацию в библиотеку имени кой-кого, то есть Горького.

Съехались мои сослуживцы и собратья по перу, постаревшие, но лёгкие на подъём.

Слава Богу, никто из них, уже подверженных склерозу, не забыл паспорт, и на КПП всех пропустили без задержки.

Даже Михаил Злобин приехал.

Даже Константин Невинный.

Мой вечер состоял из двух отделений. В первом — чтение мною моей книги. Во втором — чествование меня.

Книгу «Время Ч», можно сказать, я писал всю сознательную жизнь, на хорошо известную тему:

«Обезьяна Чи-чи-чи
Продавала кирпичи.
Но забыла про дела —
И случайно родила»

Был ещё и другой вариант, заканчивающийся строками:

«За верёвку дёрнула —
И случайно...»

Однако, я не стал развивать его ввиду явного эстетического неблагозвучия рифмы.

Тема перестройки, связанной с дефицитом кирпича, тема возрождения России старым дедовским способом оказалась мне ближе и полностью овладела мною. Тему я раскрывал, переделывая известные поэтические шедевры. И на презентации устроил своеобразную викторину: читал стихотворение и просил угадать, от лица какого поэта оно сочинено.

Ну, например.

«Среди миров, в мерцании светил
Одной Чи-чи пусть имя повторяют.
Я с ней бы всю Россию возродил,
Пусть продаёт она — по мере сил,
И кирпичи — у ней лишь покупают!»

Гости от души хлопали в ладоши и смеялись, а тем, кто угадывал, я дарил по настоящему кирпичу, с автографом, сделанным светящейся краской.

Во втором отделении меня буквально завалили ответными подарками, особенно много досталось мне авторучек и блокнотов для стихов, до конца дней моих хватит.

Михаил Злобин сказал:

— Дорогой Кирилл! Я восхищён твоим творчеством. Вот уже полвека ты радуешь нас своим неподдельным юмором, поэтому я долго думал — и придумал. Прими от меня Диплом и звание первого лауреата Злобинской премии «Серебряное кольцо».

Пусть эта премия со временем станет самой престижной, а твой талант расцветает всё больше и больше. Потому что прилагаемое кольцо с надписью «Господи, спаси и сохрани мя!» не просто серебряное, а волшебное, старинное, и найдено мною на берегу Енисея.

Повернёшь кольцо три раза вокруг пальца, загадаешь желание — и всё сбудется, в чём убеждался я неоднократно на личном опыте.

Константин Невинный сказал:

— В начале прошлого XX века в литературе было много течений и направлений — имажинизм, символизм, акмеизм, футуризм.

Дорогой Кирюша, в начале нашего неповторимого XXI века объявляю тебя родоначальником нового течения и направления, имя которому «Чичичизм», и провозглашаю лозунг: «Под знаменем Чичичизма — вперёд, к победе Кирпичизма!»

Что тут началось!

Присутствующие с криками «Вперёд!», «К победе!» с огромным энтузиазмом стали сдвигать столы, накрывать их скатертями-самобранками, на которых словно по волшебству появились шампанское, водка, коньяк, бутерброды с сервелатом и красной икрой, апельсины, мандарины, яблоки, лимоны и бананы...

Бутылки были открыты.

Все стали пить-выпивать и петь под гитару романсы про обезьянку Чи-чи-чи, потом очаровательные работницы библиотеки и поэтессы, надев на себя маски и костюмы обезьянок, стали танцевать нечто чичиобразное...

Помню, все кричали наперебой и желали мне ещё долго-долго работать главным теплотехником, и до пенсии, и после. Каждому хотелось со мной чокнуться.

— Пока Кирилл Кирпиченко на этой должности — наши души и наши тела будут одинаково согреты и днём, и ночью! Так выпьем же за это!

И я пил, пил, пил, пока не вырубился.

Помню только, успел перед этим три раза повернуть серебряное кольцо вокруг пальца и подумать: — Господи, как я хочу оказаться сейчас в своей любимой постельке со своей ненаглядной музой Чи-чи, и чтобы из куклы превратилась она в красавицу и стала моей женой, чтобы на старости лет не жить мне в одиночестве!

Проснулся — в голове свинцовая тяжесть.

Лежу в шикарной спальне, на просторной кровати, под балдахином, и глазам своим не верю. Я возлежу, а передо мной стоит красавица писаная.

— Кто ты? Как тебя зовут? — спрашиваю.

— Ну, ты Кирилл, и накирлялся вчера! — в ответ слышу, — Раскрой глаза пошире, это я, жена твоя законная, ненаглядная, Чи-чи-чи-на де Габриак! — И подносит к моим губам серебряную чашу с прохладным огуречным рассолом. — Выпей! Вот так, до дна! И дай мне слово, что больше до конца дней своих ни капли спиртного в рот не возьмёшь. Иначе превращу тебя обратно в обезьяну, от которой все произошли, а сама человеком останусь.

И колечко мне волшебное, улыбаясь, показывает.

г. Красноярск

Анатолий Третьяков

Вечные вопросы



«А море смеялось...»
М. Горький

Море

В открытом море, всем ветрам открытом!
Нагрнать может шторм, ворваться шквал!
Но сколькими форштевнями изрыта
Поверхность моря? Кто же их считал?

...В каком он был неистовом порыве
Тот человек, когда века назад,
Он с грозным морем встретился впервые —
И что его сильнее — доказал!

Скажите: море может ли смеяться?
И что способно этот смех родить?
Я точно знаю, что штормов бояться —
Уж это точно: в море не ходить!

Вечные вопросы

Конечно, наше время быстротечно —
И в нём ценить должны мы каждый час.
Не всякий раз нам рассуждать о вечном,
О вечных темах думали до нас!

А всё-таки высоты и глубины
У вечных тем — едва ль мне по плечу.
Но с мёртвой точки тоже что-то сдвинуть
Не плохо бы! Да что-то не хочу.

Мне остаётся лишь глазами хлопать
И восклицать: какие есть умы!
А может до всемирного потопа
Открыли всё, что открываем мы!

И вечные вопросы разрешили...
А то, о чём мы спорим — болтовня!
Не мы — Адам и Ева согрешили!
Христа казнили, вряд ли, за меня!

...Церковники пусть думают об этом.
Всё создал Бог! А вдруг да нет его!
Материален мир! Но нет ответа:
Материя возникла из чего?

Город детства

От вокзала, как это бывало когда-то,
Я теперь здесь не житель, а попросту гость,
Мимо тысячи окон, охваченных красным закатом, —
Я проехал весь город в угаре июльском — насквозь!
Я, конечно, нашёл бы квартиры, подъезды и двери
Всех друзей! Но я знаю: их нету уже...
В это трудно и даже мне страшно поверить!
Не окликнут меня ни с каких этажей.
Ну, а город не вымер — он вырос безмерно...
Мне в гостиницу надо — что в окна чужие смотреть?
Возвратиться в былое — увы! — невозможно, наверно,
Да ещё и не надо так долго стареть...

Встречные поезда

Когда с оглушительным воем,
Встречаясь, летят поезда,
Потом, торопясь, беспокойно,
Колёса стучат, как всегда.
И ты, оказавшись меж ними,
Лежишь, оглушённый, ничком!
Боясь, что тебя приподнимет,
Что вихрь закрутит волчком...
Но это всего лишь минута!
А после опять тишина:
Но пыль ещё вертит и крутит
И сор разметает волна
Воздушная —
Это не важно —
Ты вовсе не будешь готов
Опять оказаться однажды —
Меж мчащихся двух поездов!
Бывает: со свистом и воем —
Но только никак не молчком!
Судьба разминётся с судьбою...
И кто между ними ничком?

Артель

Сушатся на кольях невода...
А когда их вся артель тянула
Из реки, — то в ячеях вода,
Стёклами оконными блеснула!
Стрекозе и мухе, и пчеле —
Всем сквозь невод пролететь приспело!
Рыбаки сидят навеселе,
Хоть уха ещё и не кипела...
Что им окаянным долго ждать?
Будь гармонь — и песни бы запели!
Жить не плохо — по всему видать —
Этой разухабистой артели.
Я бы, может, тоже к ним пристал,
Даже мог бы взнос внести весомый:
У меня бутылка есть в кустах!
Жаль, что всё дальнейшее знакомо —
Оттого охватывает грусть —
Разговоры знаю наизусть,
Откровенья пьяные и слёзы.
(Вот и рифма вечная — берёзы)
Осуждать артель я не хочу:
Видимо, от зависти ворчу!

Бабочки

Белым бабочкам раздолье:
Огород, а рядом сад.
Крылья сложат в треугольник —
Это сразу паруса!
Будто крошечные яхты...
Возле лужиц — целый флот!
Только ветер их подхватит —
Начинается полёт.
Много бабочек красивых —
Как раскрашены они!
То рассядутся на сливах,
То на грядках, то в тени
Старой яблони летают.
Столько в детстве я сачком
Бегал за цветастой стаей,
В травы падая ничком!
Что теперь за ними гнаться?
Это, как сойти с ума!
Я свою, назад лет двадцать,
Здесь же «бабочку» поймал...

Виденье

Гадаю по реке, как по руке.
Слезу за тем, как ветер волны гонит.
И вдруг я вижу, что невдалеке
Красавица пьёт воду из ладони.
Я, может быть, мечтал о ней всегда,
Влюблённым был, но ничего не помню.
И медленное время, как вода,
Пускается за девушкой в погону.
Она, спеша, уходит от реки
Тропинкой, где трава встаёт стеною.
Её шаги, как и тогда, легки.
И вся она пропахла тишиною.
Я с ней встречаюсь взглядом, как во сне.
Но взгляд её быстрее, чем птицы вылет.
У нас была когда-то встреча с ней,
Но мы об этой встрече позабыли.
Я посмотрел бы в девичьи глаза.
Но знаю: окликать её напрасно.
Мне остаётся вслед одно сказать:
Остановись, виденье, ты прекрасно!

Вожди

Хорошо, что вожди отдельно
И лечились, и отдыхали.
Не со всеми же, в самом деле?
Пролетарии так нахальны!

Хорошо, что пили не с нами —
Мы хоть пьяными их не видели!
«Подмосковными вечерами»
Оглашали они Завидово.

И в Кремле своё место грели.
Награждали или карали.
Хорошо, что вожди старели —
Ещё лучше, что умирали!

Брошенный сад

Сад старый попросту запущен.
Сторожка с крышей набекрень.
Он оплетается всё гуще,
В листве зелёной прячет тень.
Ему дорожный шум не слышен.
В деревне брошенной — один!
Средь слив, смородины и вишен
Здесь протекают мирно дни.
Всё так красиво и печально,
Как будто бы во сне живёшь...
А вдруг нечаянно, случайно, —
И ты, как я, сюда придёшь?
Я — не Адам, а ты — не Ева,
Но сад — брошенный, как рай!
Хоть всем та сцена надоела,
Но ты её со мной сыграй!
У нас получится не хуже —
И никакой нам Змей не нужен!

Приглашение к путешествиям

Словно мелом, за собой
Лайнер след свой чертит в небе,
Ну, давай, моя любовь,
Улетим, или уедем!
Вон машины рядом мчат
И грохочут электрички.
Умотаем — хоть сейчас! —
Ну, хоть к чёрту на кулички!
Где Макар телят не пас,
Мы поедем! Кто тут крайний?
Хорошо, где нету нас!
А вот мы туда нагреем.
Денег нету — не беда!
Нам с тобой и горя мало!
Мы всегда примчим туда,
Где лишь нас и не хватало!

Что июльский день творит!

Что июльский день творит!
Всё шумней и шаловливей,
Словно рыбки пузыри,
По реке пускает ливень!
Но пройдёт лишь полчаса —
Гром за дальним лесом смолкнет.
И дождинки, как роса,
Засверкают в травах мокрых.
Что июльский день творит!
Но всё зреет, слава Богу...
Летом — что и говорить,
Веселее жить намного,
Даже если ты старик —
Никуда от лет не деться...
Приходи поговорить
И с улыбкой вспомнить детство!

г. Красноярск

Мария Шлёнская Китайский дневник



Мария Шленская — стипендиат Краевой именной стипендии имени В. П. Астафьева за достижения в развитии детского и юношеского творчества (2000), постоянный автор «Синей тетради» (1999–2002), автор сборника стихов и рассказов «И вдруг я услышала странные голоса...», изданный, когда Маше было 12 лет; ныне — студентка англо-китайского отделения факультета иностранных языков СФУ.

Предлагая читателям журнала «День и Ночь» отрывки из дневника студентки Сибирского федерального университета Маши Шлёнской, редакция отдаёт себе отчёт в рискованности этой публикации. «Нерв» этого уникального, на наш взгляд, произведения — культурно-психологическая рефлексия русской души, впервые близко столкнувшейся с чужой культурой. Читая искренние, нелицеприятные, постоянно царапающие русское самолюбие строчки, вспоминаешь лермонтовское «Люблю отчизну я, но странною любовью...». Этой «странною любовью» пронизан дневник красноярской студентки, которая открывает для себя чарующий и бесконечно привлекательный мир Востока. Общение с этим миром превращает дневник Маши в подобие волшебного «правдивого зеркала»... «Родина моя! Ты прекрасна, спору нет, но...». Мы уверены, что многие участники Литературных встреч в СФУ воспримут публикацию «Китайского дневника» как толчок к серьёзному разговору о патриотизме и интернационализме, о взаимоотношениях людей и культур, о национальном самосознании и личном достоинстве каждого человека, живущего сегодня на планете Земля.

Редакция «ДиН»

Сегодня мой второй день в общежитии Хэйлунцзянского университета и первый учебный день. Уже нет того тупого детского восторга, который охватил меня в первое мгновение приезда в Китай и в общежитие в частности. Город потрясающий, едва выйдя из самолёта в Пекине, я ощутила знакомый запах Китая, тяжёлый и влажный, а приехав в Харбин поздним вечером, я с восхищением обнаружила, что, хотя он и уступает Шанхаю по числу небоскрёбов, но его ночи (точнее, вечера) такие же светлые от множества огней и цветных светящихся вывесок. И то же постоянное ощущение праздника. Толпы людей, фейерверки и запах специфической китайской кухни. Таким для меня был Китай и таким остался. Я обожаю Китай, я уже полюбила Харбин и ни за что не пожалею ни о том, что взялась за изучение китайского, ни о том, что поехала сюда учиться.

Но... поскольку сегодня уже мой третий день в Китае, второй — в общежитии, и первый в университете как таковом, я наконец-то подошла к тому факту, что мне предстоит жить и учиться здесь как минимум два месяца, довольно серьёзно. В голове всё вдруг разделилось на плюсы и минусы. Плюса два. Во-первых, это психологический отдых, смена обстановки и прочее. Мне здесь очень спокойно,

живу одна в двухместном номере (соседа мне не подселили). И вообще, в Китае мне как-то очень легко. Второй, наиболее важный плюс — то, что Харбин — просто клад, прячущий потенциальные возможности, которые уж, конечно, не исчерпываются практикой китайского.

Теперь минусы. Их тоже два. Во-первых, абсолютное одиночество. Я-то воображала себя таким отшельником, которому никто не нужен. А оказывается, одной как-то неуютно, невесело, бессмысленно. Жить, конечно, можно, но компания не помешала бы. Тут возникают сложности. Сегодня познакомилась с несколькими, русскими, на первый взгляд, довольно пустыми. А если это и не так, то есть в них всё же что-то раздражающее. Я испытываю странное отторжение от русских, хочется пожить в изоляции от них, отдохнуть. Основную массу иностранных студентов составляют корейцы, они ходят парами или, чаще, весёлыми шумными кучками. Китайцам, с моим пока ещё скудным запасом китайского, я, конечно, не нужна. Есть ещё совсем немного европейцев и пара американцев, я их, если и видела, то мельком, все они в группах с уровнем китайского либо выше, либо ниже нашего. Ни к кому не подступиться. А надо что-то придумывать, не жить же робинзоном два месяца.

А вот преподаватели мне все нравятся. Очень приятные дружелюбные люди, предметы ведут добросовестно.

Вообще в Китае я ещё ни разу не видела, чтобы кто-то разозлился, был раздражённым, ругался, проявлял грубость. Хотя повсюду здесь чудовищные толпы людей, неудобств куда больше, чем у нас.

Второй минус — деньги. Придерживаясь стереотипного мнения о том, что Китай — «дешёвая страна», я, кажется, разучилась экономить. Путаницу добавляет и то, что, когда глядишь на ценники в магазинах, создаётся иллюзия дешевизны, и часто забываешь, что нужно ещё умножить эти числа на четыре. Должна отдать кучу денег за учёбу, ещё купить учебники, ещё платить за проживание. Комната оказалась очень скромной, только две кровати, старые примитивные шкафы, тумбочка и шкаф, да ещё телевизор. Когда я только вселилась, он был сломан. Но по моей просьбе сегодня во время уборки его то ли заменили, то ли наладили. Теперь идут несколько каналов (на китайском, разумеется, только по MTV некоторые каналы идут на английском с китайскими субтитрами). Никаких излишеств, вроде вешалок, полотенец и прочего, нет. Всем этим я запаслась сегодня в

многоэтажном то ли рынке, то ли торговом центре (впрочем, на верхнем этаже оказался даже супермаркет). Забавно, как деньги утекают.

5.03.07

Сегодня познакомилась с несколькими корейцами. Ну, это уже другое дело. Это приветливые, дружелюбные и скромные люди. Странно, всегда считала, что скромность скорее порок, чем добродетель. А вот теперь она меня притягивает в людях. Поняла, что меня так возмущает в русских. Наглость и самоуверенность. Раньше я этого в них не замечала, а если и замечала, то не придавала значения, а порой меня эта наглость даже привлекала, мол, вот какие мы, русские, удалые и темпераментные. Но теперь я чувствую, что мои соотечественники зачастую — пустые выскочки. Конечно, нельзя судить о народе по отдельным особям. Но в том-то и дело, что сейчас во мне такие ощущения вызывают не отдельные люди, а толпа, кучка русских. Конечно, моя страна — родина и умных, и талантливых, и гениальных. Но, видимо, сейчас я просто не на «русской» волне. Во всех русских, даже тех, кого можно назвать культурными и утончёнными, присутствует что-то грубоватое, прямолинейное, какой-то железный стержень. Всё это чувствуется в русских на фоне людей Востока. О людях Запада знаю мало, а потому судить не берусь. Но сейчас меня земляки явно раздражают. Может быть, это кощунственная мысль, но, кажется, никто от меня сейчас так не далёк, как русские. Я не понимаю, как я могла всю жизнь прожить среди этих людей. Это нездоровое чувство, но весьма полезное для моего китайского. Я не хочу быть неблагодарной, я счастлива, что являюсь дитём великой державы, но я устала от России и от русских. Во всех русских, во всём русском есть что-то давящее, тяжёлое, назидательное, вечно заставляющее напрягаться, мучиться, чувствовать себя виноватым. Всё русское давит. Как русская литература. Как русская история. Тяжёлая, тяжёлая страна. Я стала непатриотичной, но невозможно отрицать то, что чувствую. Когда я приехала сюда, мне как-то легко вздохнулось, как будто я сбросила с себя какой-то груз, который, сама о том не подозревая, всю жизнь волокла.

А корейцы очень милые, девушки очень приветливые, один из парней (даже имя запомнила — Джен) показался даже умным. То есть имел интеллигентную наружность — проверить-то, конечно, никак нельзя, с нашим скудным словарным запасом умных бесед вести не получается. Но говорить с ними по-китайски очень приятно. Не только потому, что получаю удовлетворение и убеждаюсь, что два с половиной года обучения в университете не пропали даром. Для меня в общении двух иностранцев на третьем языке, «взятом напрокат», есть что-то магическое. Как будто совершается некое таинство. Две частицы различных культур сходятся вместе, благодаря магической системе знаков, словно две пылинки, чудом занесённые ветром с различных частей света в одну и ту же точку времени и пространства. Я никогда не смогу воспринимать китайский язык без тени романтики.

Когда я, уже пообедав, возвращалась в свою комнату, встретила в лифте корейца и корейку из своей группы. Ещё вчера они, увидев меня, смущённо отводили взгляд. Теперь они улыбались. Корейка оказалась моей соседкой, живёт через две комнаты от меня. Я сказала, чтоб заходила ко мне, если выпадет свободная минута. Подумать только, и как меня сюда занесло? Корейцы всегда были для меня каким-то инопланетным народом, изготавливающим такой же инопланетный «Доширак». А теперь я среди них, и они привлекают меня гораздо больше моих соплеменников. К восточным лицам вокруг я привыкла легко. Боюсь, будет трудно через четыре месяца (да, через четыре! я подписала договор на долгосрочную программу обучения) привыкать к бледным лупоглазым рожам, а бледные пьяные рожи будут приводить меня в бешенство. Здесь я ещё не встретила ни одного пьяного, будь то китаец, кореец или русский (ну, русских-то я пока видела только в учебное время и в пристойности их поведения я далеко не уверена).

Вчера, едва войдя в университетскую часть здания, я была шокирована, увидев двух корейцев, идущих по коридору мимо учебных аудиторий с дымящимися сигаретами. Зрелище показалось мне настолько поразительным, что я, было, приняла его за особую форму протеста (правда, непонятно, против чего протестовать, условия, предоставляемые университетом, очень неплохие). Оказывается, в Хэйлунцзянском университете, как и в других китайских университетах, иностранным студентам разрешается курить везде, кроме разве что самих аудиторий. По оба конца коридора расположены просторные балконы, но до них редко кто из курящих доходит. Пепельницы расставлены повсюду: на столиках возле диванов университета, в холле общежития. Среди корейцев курят не только мужчины, но и женщины. Я отметила это потому, что, хотя китайские мужчины курят очень много (не знаю наверняка, но, думаю, процентов семьдесят — восемьдесят — курящие), но китайянки, за редкими исключениями, не курят совсем. До сих пор я не встретила ни одной курящей китайянки, ни в этот мой приезд в Китай, ни в предыдущий. Думаю, на курящую китайянку китайцы смотрели бы, как на проститутку. Примерно как арабы посмотрели бы на замужнюю арабскую женщину без паранджи. У меня перед глазами навсегда запечатлелось виденное мною в египетском аквапарке. Протесное зрелище: солнце, дикая жара, муж в трусах идёт под руку с совсем молодой женой, одетой в паранджу, чёрную кофту и чёрную юбку до колен. Возмутительное уродство. Конечно, Дальний Восток куда цивилизованнее Ближнего, но патриархальные атавизмы ощущаются и здесь. Я ни в коем случае не оправдываю вредные привычки, особенно курение, но всякое «ему можно, а ей нельзя» возмущает меня безумно. Скрытая дискриминация, замаскированная под заботу. Это здесь проявляется и в другом. Приехав в Китай, я не оставила своей привычки ужинать поздно. Часов в девять — десять вечера студенческая столовая, разумеется, закрыта, поэтому мне приходится ходить в ближайшие забегаловки.

ловки. Я облюбовала две из них. По вечерам здесь частенько можно встретить компании китайских мужчин или молодых парней, попивающих пиво, курящих и оживлённо беседующих. Ни разу я не увидела подобной женской компании. Один лишь раз увидела парочку — парня с девушкой. Они пили чай. Кажется, китайским женщинам, по крайней мере, порядочным, и в голову не придёт, что они могут тёмным вечерком куда-то пойти с подружками поразвлечься. Снова вспоминается Египет, где вечером на улице не встретишь арабской женщины. Хотя, может быть, насчёт Китая мне всё это кажется: проведя в этой стране столь мало времени, рано делать выводы.

Во всех студенческих столовых (по крайней мере, моего университета) можно курить, а так же пить пиво, которое здесь дешевле, чем кола. Правда, я ещё не видела, чтобы студенты в столовой пили пиво. Но теоретически можно. И, несмотря на эту, казалось бы, чрезмерную свободу, Китай не славится и пятой долей беспредела, которым так славится Россия. Вывод — либо русские дураки, либо правила так приятно нарушать. Ведь бунт порождается террором.

06.03.07

Как, оказывается, удобно учиться на платном! Сразу пробуждается невероятное чувство ответственности. Сейчас я просто не представляю себе, как можно прогулять занятия. После того, как я отдала кучу денег за обучение, уроки автоматически стали важными для меня. Слушая преподавателей, напрягаю внимание до предела и начинаю привыкать к китайской речи. Хотя ещё не сделала ни одного домашнего задания, т. к. только купила учебники, а потому сижу тихо, а когда меня спрашивают, часто что-нибудь пугаю. Но это меня не беспокоит, т. к. я чувствую, что знаю китайский неплохо, ведь я могу легко общаться с корейцами. Я запомнила в лицо только несколько корейцев и пару корейцев, остальные для меня пока — чёрная весёлая толпа. Их корейские имена тоже никак не могу вбить себе в голову. А вот они меня запомнили и в лицо, и по имени. Ну, внешне я в нашей чёрной группе выделяюсь (единственный русский оказался якутом, так что я с трудом различаю его среди корейской массы, единственная русская редко ходит на занятия). А имени у меня два — русское Мария (имя Маша, которое я и без того всегда недолюбливала, корейцы не выговаривают — их артикуляционная база не включает звук «ш», и вместо него у них получается мягкое «щ») и китайское Bing Xue. Это имя придумал для меня один знакомый китаец, немало мне польстив. Дословно оно переводится, как «лёд и снег», а метафорически намекает на ум и сообразительность его носителя (существует идиома с этим словом — Bing xue song ming, которую можно перевести так: «Ум чистый, как лёд и снег» или «светлая голова»). Я предпочитаю именно это имя, но его смысл и красоту звучания могут по-настоящему оценить только китайцы, корейцы же предпочитают имя Мария. Я не возражаю.

Сегодня моя одногруппница Цзинь Сиу Дзюань (с ней, как и со многими другими, я познакомилась на перемене, но почему-то именно она привлекла

меня больше всех) представила мне своих друзей-корейцев, весёлый интересный народ. Мы вместе обедали в корейской забегаловке (корейская кухня не слишком отличается от китайской, и та, и другая мне подходят настолько, что я усомнилась в своём русском происхождении. В моей родословной просто обязаны быть восточные корни).

Сейчас уже одиннадцать часов вечера. Всё, изложенное выше, написано часа в три. Я превралась, т. к. ко мне в комнату постучалась Суйон (вышеупомянутая корейка — это корейское имя мне оказалось легче запомнить, чем китайскую вариацию). Мы с ней проболтали часа четыре. Перескакивая с китайского на английский, обо всём на свете — о кино (оказывается, она эксперт — видела почти все фильмы, которые видела я, и ещё в пять раз больше; пригласила меня завтра к себе в гости, в соседнюю общагу, посмотреть кино на ноутбуке); о косметике (она поразила количеством гелей для душа, лосьонов, кремов и тоников, которыми уставлены шкафчики моей комнаты, и все перенюхала), о парфюмерии (она ещё и знаток ароматов), даже о политике, в которой я ничего не понимаю, о семье, любви и браке (уж эта тема мне абсолютно чужда), о характерах, о друзьях, об учёбе. Я прежде была уверена, что, хотя общение с иностранцами — опыт полезный, но рано или поздно темы для разговоров исчерпаются, и произойдёт отчуждение — разность культур возьмёт своё. Теперь я уже в этом не уверена, фактически не чувствую разницы между собой и чужеземцами, а принадлежность к разным нациям — лишь повод познакомиться, используя иностранный язык. У нас даже одни и те же любимые актёры; и, кстати, говоря о красоте, мы обнаружили, что нам нравится один и тот же тип красоты — лагиноамериканский и испанский. Интересно, ведь ни одна из нас не относится к этому типу, и мы — представительницы разных рас. Проболтав вот так несколько часов подряд обо всём, упомянутом выше, и о многом другом, мы почувствовали, что уже проголодались. Тогда мы поднялись на два этажа выше, захватили пару её корейских друзей и отправились в пельменную закусочную «Jiao zi Wang» («Пельменный король»). Во всех китайских забегаловках готовят неплохо, но в этой еда показалась мне вкуснее всего, что я пробовала в течение этих четырёх или пяти дней. Мы заказали три блюда пельменей с разными начинками — с креветками, со свиной и самые вкусные — с зеленью и яйцом. Корейцы, как и китайцы, перед едой пьют или зелёный чай, или просто горячую воду. Палочки используют, подобно китайцам. Я, казалось, уже наловчилась есть палочками, но именно сегодня отчего-то потеряла сноровку. Видимо, дело в пельменях (я их так называю, хотя по форме они напоминают, скорее, не пельмени, а вареники). Пельмени оказались скользкими, я постоянно их роняла в тарелку и не могла подцепить палочками. Корейцы смеялись и все по очереди учили меня держать палочки, но ничего из этого не вышло. С этими людьми очень легко и весело. За соседним столиком сидели какие-то русские, а за столиком по другую сторону — пьяные китайцы. Они смотрели куда-то вдаль затуманенными глазами, а лица у

них были красные, точь-в-точь, как у русских пьяниц. На столе у них стояла гора пивных бутылок. Но, учитывая тот факт, что за столом сидели трое мужиков, эта гора не сильно-то впечатляла. Если бы за столом сидело трое русских, им, наверно, потребовалось бы такое же количество бутылок водки, чтобы дойти до этого состояния.

Мы хорошо посидели вместе, вечер удался. Парни заплатили за нас с Суйон (оказывается, в восточных культурах такой обычай тоже наблюдается). Одним из этих парней был Джен, второго я видела в первый раз и имени не запомнила. Если бы на месте корейцев были русские, я ни за что не вела бы себя с ними столь дружелюбно, ни за что не сошлась бы с ними так легко. Странно, неужели это иностранный язык создаёт иллюзию близости? Неужели нам есть о чём поговорить только потому, что говорим мы это на китайском или английском, а на родном языке это не имело бы смысла? Оттого ли мы интересны друг другу, что мы совершенно разные и представляем друг для друга экзотику, или оттого, что мы, несмотря на непохожесть среды, породившей нас, одинаковы?

Только что ко мне в комнату поселили русскую. Симпатичная девушка с какой-то немного восточной примесью. Затащила вещи и ускакала в клуб. Я-то думала провести четыре месяца в изоляции от русских, да не получилось. Хотя не похоже, что мы с соседкой будем общаться. Отторжение, испытываемое по отношению к русским, не ушло. Каждый раз, говоря по-русски, я чувствую, что теряю время.

7.03.08

Вот уже месяц я в Харбине. Целый месяц. С одной стороны, впечатлений столько, что в голове не укладывается, как всё это могло произойти за какие-то четыре недели. Особенно насыщенными оказались первые две недели, когда каждый день появлялись новые люди, каждый день я узнавала что-то новое о Китае и постепенно начинала перестраиваться на китайский лад, думать начинала на русско-английском, а, когда просыпалась утром, в голове вертелись русские слова, мозг был готов к восприятию китайской речи. Прожив неделю в вышеупомянутой скромной комнате района А с довольно милой бурятской соседкой, я переехала в общежитие района С. Хэй Та (так в разговорной речи называют Хэйлунцзянский университет) расположен на довольно обширной территории, так что напоминает скорее небольшой городок, а не обыкновенный университет. Территория поделена на три района — А, В и С, и кроме многочисленных университетских зданий, здесь расположены студенческие общежития, столовые, магазины, библиотека, спортивный центр, бассейн (кажется, два), что-то вроде концертного зала, где я никогда не была, медпункт, центр связи, а также спортивные площадки и просто милые местечки для отдыха. Наши учебные аудитории расположены в районе А на четвёртом этаже. Поскольку моя первая комната также располагалась на четвёртом этаже в том же здании, где проходят уроки (учебное здание соединено с общежитием), то добиралась я из своей комнаты до аудитории за десять секунд. Я была готова провести четыре месяца в

этой скромной конуре, но в мою тихо начавшуюся харбинскую жизнь ворвалась кореянка Суйон, с которой мы мгновенно сдружились, прониклась я симпатией и к её друзьям — это настолько приятные и дружелюбные люди, что по-другому и быть не могло. Во второй или третий день знакомства мы вместе пообедали (за столом, кроме меня и корейцев, оказались ещё и японцы, так что беседа вышла вдвойне интересной). Во время этой беседы выяснилось, что у одной из кореянок был день рождения, отмечать который она меня (вежливо) пригласила, а я нескромно согласилась — очень хотелось сойтись с этими людьми. На этой вечеринке я оказалось в довольно затруднительной ситуации, которая чуть было не обернулась для меня конфузом. Дело в том, что я никогда не жила в окружении такого большого количества лиц восточного типа, и, естественно, память на эти лица у меня за те несколько дней ещё не развилась. Я сразу запомнила Суйон, которая была странно высокой для кореянки (сантиметров на пять выше меня), остальные же своей схожей внешностью сбивали меня с толку. Особенно похожими друг на друга казались девушки, почти все в очках, низкого роста, весёлые. С поиском подарка трудностей не было — я навезла из России сувениров и один из них приготовила для именинницы. Но вот вычислить эту именинницу в толпе, как мне казалось, точно таких же, как она, мне удалось не сразу. Девочка родилась 8 марта — корейцы этот праздник не отмечают, но у китайцев, как и у нас, это Женский день, поэтому почти все кафе были забиты, мы ходили от одной забегаловки к другой, но нигде не было достаточно свободных мест для нашей немаленькой компании. По дороге я предложила подарок какой-то из девушек, почему-то решив, что именно она именинница. Я ошиблась, но она деликатно сделала вид, что этого не поняла (сказала что-то вроде: «Да отдай ей потом сама»). Так и не найдя свободного кафе, мы пришли в ресторан общепита района С, где проживают сама именинница, Суйон и многие другие корейцы из этой компании. Войдя в холл этого здания, я была потрясена. Это настоящий отель! Вдоль широких окон расставлены изящные стулья и столики, потолки увешаны хрустальными люстрами, всё сияет чистотой и роскошью. Зайдя в туалет, я не поверила своим глазам — мало того, что всё было отделано мрамором, в уголке дымилась благовония и даже жидкое мыло с ракушками было ароматным — но, ко всему прочему, у стенки туалета стоял большой аквариум с золотыми рыбами. Всё это меня поразило потому, что я уж никак не представляла, что в студенческой общаге могут быть такие условия. Правда, даже в этом шикарном туалете не было туалетной бумаги. Это особенность Китая.

Потом мы ужинали в не менее роскошной столовой (столовая? — нет, это можно назвать только рестораном), не помню уже, что мы ели, но всё это показалось мне потрясающе вкусным. За праздничным ужином именинницу стали поздравлять, ей надали гору подарков, преподнесли торт, а также надели на неё какой-то праздничный колпак, так что теперь она явно выделялась из толпы,

и я, не боясь вновь что-нибудь перепутать, вручила ей подарок.

Именно в тот вечер я решила переехать в район С. На выходных, придя в гости к Суйон, я увидела роскошную комнату с ванной, красивой мебелью и прочими излишествами (комната? — нет, это правильное название номером отеля), я окончательно утвердилась в своём решении.

Одна из знакомых мне кореянок жила одна и пригласила меня составить ей компанию, так что я собрала вещи и вселилась к ней. Сортируя вещи по шкафам и полкам, я обнаружила среди её вещей подаренные мной серёжки в берестяной коробочке. Оказывается, моей соседкой была та самая именинница! Я не смогла запомнить её корейского имени, так что она предложила называть себя Джулией.

С тех пор я и начала вести мой теперешний харбинский образ жизни — русская среди корейцев; примерно об этом я мечтала, ещё будучи в России, только на месте корейцев, почему-то, представляла, скорее, японцев или европейцев.

07.04.07

Вот и прошло два месяца с момента моего приезда в Китай. Странно — мне не пришлось пережить ни культурного шока, ни периода адаптации к чужому климату и чужим жизненным условиям. Я ни минуты не скучала по России по-настоящему (только однажды, когда мне пришлось провести бессонную ночь, готовясь к экзамену, мне до головокругления хотелось русской колбасы — китайская колбаса всегда вонючая и невкусная, — и русского сыра — в китайских магазинах я его вообще не встречала). В то же время не могу сказать, что Харбин меня по-настоящему захватил. Я здесь не испытываю чувства восторга, как в Шанхае. Мне здесь просто нравится. Мне здесь удивительно комфортно. Я как-то уж слишком быстро, слишком легко привыкла к здешней жизни, вошла в её ритм. У меня такое чувство, будто я живу здесь не два месяца, а гораздо более долгий срок. Не могу себе представить, что ещё через два месяца этому придёт конец. Я слишком привыкла видеть кругом лица восточной национальности, боюсь, что белые лица русских будут обжигать мне глаза. Иероглифы на зданиях стали настолько родными, что русские улицы покажутся мне скучными и голыми. Я так полюбила китайские ночи, полные огней, что слепые русские ночи будут нагонять на меня тоску. Да и к китайской речи вокруг я привыкла, хотя большую часть пока не понимаю.

По приезде в Китай я охарактеризовала свой уровень китайского как «неплохо». Тогда я сильно обольщалась на свой счёт. Меня очень впечатлил тот факт, что я могу использовать китайский как «лингва франка». Замечательно, что я была уверена в себе, по крайней мере, не боялась болтать по-китайски и не пережила языкового шока. Но теперь-то я понимаю, что тогдашний мой китайский был просто ужасен. Грамматика на чрезвычайно низком уровне, произношение чудовищное. Сейчас, по прошествии двух месяцев, я говорю по-китайски «неплохо», и мне придётся сильно потрудиться, чтобы начать говорить на нём «хорошо».

Эти каникулы я провела со своими красноярскими одноклассниками — русскими (корейцы все разъехались, кто куда — ведь Китай для них — необычайно дешёвая страна, и большинство из них может позволить себе отправиться путешествовать, куда захочет). Сегодня провожала этих русских на вокзал. Гоню от себя мысль, что через два месяца мне тоже придётся сесть в поезд и уехать из Китая, придёт конец этой мирной, спокойной, свободной жизни. Придётся возвращаться к жизни русской, к красноярской рутине, к жизни в постоянном напряжении, депрессии, к чувству неудовлетворённости, когда стараешься изо всех сил, а получается мало, когда постоянно хочется лечь спать, потому что нет ничего интересного, чтобы себя занять. Странно, что эта жизнь так меня пугает, ведь и здесь рутина, я и здесь трачу далеко не всё время на веселье и развлечения. Наверно, чтобы не закинуть и не пасть духом, нужна постоянная смена среды (культурной, языковой и т.д.). Здесь также психологически очень спокойно и комфортно, от всего веет дружелюбием и доброжелательностью, тогда как в России постоянно чувствуешь напряжение, раздражение и враждебность. Здесь никто не оказывает на меня давление. Я предоставлена сама себе. Единственная цель — учить язык, единственный способ — общение. Это тот уникальный случай, когда приятное полностью совпадает с полезным. Не приходится работать на аттестат. Не приходится тратить силы на вещи бесполезные. Впервые в жизни я на чём-то концентрируюсь.

07.05.07

Восточное солнце беспощадно — часов в пять-шесть утра оно палит так, как подобает палить в полдень. Но для любителей утреннего сна, вроде меня и Джулии, это не помеха. В шесть утра, когда природа пробуждается ото сна и зовёт все свои творенья пробудиться вместе с ней, мы слишком измождены, чтобы внимать её зову. Уроки в китайских университетах начинаются в 8:00. Переселившись в роскошное общежитие района С, я обрекла себя на ежеутренние двадцатиминутные прогулки. Казалось бы, мелочь, но утром, когда ты полуживая-полумёртвая от недосыпания, — начинаешь проклинать эти два километра и эти 20 минут и ненавидеть Китай с его садистским расписанием дня.

Живя в России, я, как и многие студенты, могу спать по 5–6 часов в сутки и при этом выносить ежедневные нагрузки. Но в Китае подобный режим истощает быстро. Даже семи часов сна здесь недостаточно. Возможно, сказывается экология, но, скорее всего, всё дело в ежедневном напряжении — я этого не замечаю, но, когда постоянно слушаешь иностранную речь и постоянно думаешь и говоришь на иностранном языке, приходится тратить немало энергии.

Вчера мы с Джулией слишком увлеклись беседой, чаепитием и обучением друг друга нашим родным языкам, так что легли уже под утро.

После трёх часов сна пробуждение было пыткой. Тяжелее всего приходится мне — встаю я ежедневно минут на 20–30 раньше, чем Джулия. Такой обычай у нас установился сам собой, без всякой

договорённости, т. к. я всегда чересчур копаюсь и нуждаюсь в длительном времени на сборы, а Джулия чересчур ленива, чтобы проснуться хоть на минуту раньше максимально позднего времени.

Что касается сегодняшнего утра, то проспали мы обе. Я, наскоро умывшись, растолкала Джулию — она, было, сонным голосом заявила, что на первые два урока не пойдёт, но я, в конце концов, заставила её встать — признаюсь, не без некоторого чувства злорадства — уж так мне было тяжело утром, что хотелось помучить и мою бедную соседку.

Когда мы всё-таки вышли из дома (да, наше любимое общежитие уже стало для нас домом), до начала уроков оставалось минут пять. Пришлось воспользоваться чудесным видом транспорта, который в любой стране, кроме Китая, и представить себе трудно. Китайцы называют это изобретение «трёхколёсной повозкой», есть также разговорный вариант — «бон бон» (это имитация звука, издаваемого повозками). Некоторые русские студенты прозвали их «тарантайками», ну, а правильное русское название, наверно, всё-таки «рикша». Только настоящую рикшу должен тащить на себе человек. В Пекине я видела рикши, представляющие из себя деревянные коробки, прицепленные к велосипеду (они, наверняка, есть и в Харбине, просто ещё не сезон). В Харбине эти коробки, чаще всего, железные и прикреплены к мотоциклу, так что это нечто вроде мотоциклетного такси. Свободного пространства внутри рикши фактически нет, вместиться в неё могут человека три (четверых вместить можно, но проблематично). Вместо сидений — две узкие дощечки. С виду рикши имеют весёлую раскраску — красную синюю. Но, будучи пассажиром данного вида транспорта, нужно держаться крепче — на ходу рикша подёргивается и дребезжит, а на поворотах, бывает, дёрнется так резко, что, не соблюдая осторожность, можно сильно расшибиться об её железные стены и потолок. Цены в районе Хэй Та стандартные, но, когда едешь в другие места, как и с обыкновенными таксистами, конечно, можно торговаться.

С момента моего приезда в Харбин прошло три месяца.

Сегодняшний день немногим отличается от любого другого за это время. Утренний подъём с постели после непродолжительного сна был для меня, как всегда, актом страдальческим, а Джулия, как это бывает всё чаще, вовсе не смогла встать и не пошла на уроки. Я, по своему обыкновению, вышла минут за пять до начала уроков, опаздывая, неслась по Сы Тао Дзе (на этой улице мы проводим большую часть нашей харбинской жизни — проходит она вдоль наших университетских территорий, на которой расположено множество магазинов, кафе и баров), чуть было не сбила с ног Суйон, которая тоже опаздывала. Утро было солнечное.

Уроки прошли, как всегда, без особенных происшествий. На уроке разговорного китайского сидела вместе с Мадзидом (моим одногруппником из Йемена), второй раз в жизни (после воскресенья в арабском ресторане) мы хорошо поболтали.

Есть что-то приятное и притягательное в общении с людьми, с которыми у меня нет ничего общего. Культурная пропасть даёт интересные возможности: можно хорошо проводить время с людьми в увлекательной и познавательной беседе, не сближаясь с ними по-настоящему, а после расстаться и вспоминать о них без сожаления. Подобное чувство я испытывала по отношению к Харбину в первое время после приезда — пожить здесь несколько месяцев, не имея в этом городе ничего родного, ценного, ни к чему не привязываясь, а позже уехать и не скучать ни по чему.

Мои одногруппники относятся ко мне исключительно дружелюбно, для них я, как самая младшая и наиболее выделяющаяся из толпы, — нечто наподобие младшей сестры (неудивительно: большинство группы — корейцы, они ведь и зовут друг друга братьями и сёстрами). Но настоящей сестрой для меня сделалась только Суйон. Пообещали мы с ней, несколькими корейскими знакомыми и одним русским. Заказали *доуфу* (соевый творог), *цыплёнка в тесте*, *гун бао дзи дин* (остросладкое блюдо из мелко порезанного куриного мяса с добавлением орехов, красного перца, моркови и других овощей), какие-то отварные овощи. В России мне будет не хватать наших совместных обедов — не людей, с которыми приходилось делить трапезу, а самого способа есть, так мило и трогательно, по-братски. В первый раз, когда, на второй день моего пребывания в Хэй Та, корейцы пригласили меня вместе обедать, мне показалось странным, что вся еда — общая: каждый покупает какое-то блюдо, всё это ставится на стол, и мы начинаем вместе есть. Это то, что привлекает меня в восточных культурах, — в отличие от культур западных, индивидуализм не является здесь ценностью. Это чувствуется в их поведении и во всём, связанном с этими людьми (есть много деталей культуры, говорящих о том же. Например, способ определять возраст человека — для людей Запада важен день рождения, что как бы подчёркивает исключительность индивида; для людей Востока значение имеет лишь год рождения, что делает людей целого поколения одинаковыми).

После обеда я занималась со своей *фудао* (репетитором). Это самая красивая из всех знакомых мне китайнок, изящная, умная, весёлая, способная, артистичная. Её профессия — преподаватель китайского как иностранного, в этом году она как раз выпускается из университета; однажды она провела у нашей группы пробное занятие и всех очаровала. Мы, наверно, давно могли бы здорово подружиться, но тот факт, что я плачу ей деньги за занятия, создаёт определённую дистанцию, пусть даже эти занятия больше напоминают дружескую беседу. Сегодня эта девушка, Сюэ Хао, предложила сделаться просто друзьями и не платить ей больше за уроки, и мы обменялись e-mail'ами на будущее.

После Сюэ Хао, вернувшись в общежитие, в холле я обнаружила Суйон. Я привела её к себе в комнату, и за чашкой отвратительного китайского кофе мы обсудили наш июньский маршрут — решили сначала покорить вершины Тай Шань, а затем отправиться осматривать Далянь. После поболтали по душам по-китайски, а затем я пошла

в район А, где провела пару часов со своей *хусюэ* (так называют здесь студентов, занимающихся взаимным обучением языкам; у меня подобных партнёров довольно много). Я добросовестно учила эту девочку азам русского языка (она начинала с нулевого уровня), гораздо меньше времени мы уделили китайскому языку (что странно — обычно это я тяну одеяло на себя и не даю своим *хусюэ* сказать слово по-русски). Когда мы расстались, Суйон со своей китайкой продолжала заниматься, поэтому я одна отправилась в закусочную «Али-баба» на Сы Тао Дзе. После того, как я прождала несколько минут в надежде получить свободный столик, официант, увидев, что я одна, усадил меня за столик к трём китайкам. Одна из них робко проговорила что-то на довольно изуродованном русском. Кажется, она перевела мне что-то из меню, в чём я, честно говоря, не нуждалась: мы с Суйон — завсегдатаи «Али-бабы». По своему обыкновению, я заказала мала тхан (очень острый вегетарианский суп, содержащий морскую капусту, несколько видов лапши, *доуфу* и какие-то неведомые русскому человеку китайские овощи, а так же китайскую острую приправу мала — отсюда и пошло название блюда; съедобна только гуща, бульон же не пьют), а также свиные шашлыки и кальмар. Подсев к китайкам, я поначалу забеспокоилась, что мне не очень-то рады, но, как оказалось, зря — мы мгновенно разговорились на английском, русском и особенно китайском языке. Позже пришла свербобщительная Суйон, и беседа стала вполне оживлённой. Та из китайок, что изучает русский, по дороге домой сунула мне в руку бумажку с номером её телефона. Она очень смущалась говорить на русском языке, который она учит уже четыре года, но который я не понимаю из-за дикого акцента.

Вчера, мучаясь бессонницей, вызванной полуденным сном, я размышляла о том, каковы же китайцы как нация. Как это часто бывает, когда задаёшь вопрос и действительно хочешь получить на него ответ, ответ пришёл незамедлительно. Китайцы добры, доброжелательны и дружелюбны. И, хоть я порой побаиваюсь завести настоящий разговор с кем-либо из них, не желая стать обузой, вызвать недовольство и раздражение, и разум, и интуиция подсказывают, что этого не стоит опасаться. Только не в Китае. Китай мне открыт, Китай ко мне добр. И если я здесь чувствую себя чем-то неудовлетворённой, проблема во мне.

Сейчас 3:40 утра, я стою у открытого окна и смотрю на чудесный рассвет. Серо-голубые хлопья облаков, которыми затянута большая часть неба, разрываются где-то ближе к горизонту, и из-под этих хлопьев проглядывает чистое пастельно-розовое небо, кое-где желтоватое, нежное, точно такое же, как в России, только тяжёлый харбинский воздух и светящиеся иероглифы на здании напротив напоминают о том, что это не Россия. Небо становится всё светлее и светлее, облака из серых превращаются в перламутровые, на розовой части неба проглядывают алые полосы зари. Из-под облаков виднеется верхняя часть Башни Дракона, только купол с обелиском, основание башни скрыто облаками. За зданиями общежитий и других университетских построек там, вдали,

скрытый туманами, виднеется искусственно посаженный лес-парк — довольно жалкое зрелище для русского человека, но сейчас, за пеленой туманов, он не лишён романтики и некоторой прелести. Посреди леса-парка вырисовывается небольшой дворец-башня — розовый при дневном свете, но сейчас, за туманами, представляющий собой лишь мутный силуэт. Я наблюдаю, как оранжево — алое солнце вылезает из-под крыш университетского здания. Забавное зрелище, солнце оказалось заслонено прицепленными к крыше здания иероглифами, и поэтому я сейчас наблюдаю солнце с полочкой иероглифов посередине. Вот уж настоящая китайская диковинка.

Рассвело. Утро — всегда в чём-то оптимистичное время суток, и если по ночам меня всегда терзают сомнения по поводу всего на свете, в том числе и всей этой затеи с Китаем, то утром во мне всё успокаивается.

Башня Дракона полностью видна, комната озарена оранжевым светом. Джулия спит. Я привязалась к этой корейке, хотя в мои планы не входило привязываться к чему-либо в Китае. Привыкла я и к Харбину, к запаху шашлыков, угля и выбросов местных заводов; привыкла просыпаться и говорить по-английски, привыкла видеть повсюду иероглифы. В следующий раз, когда мне придётся побывать в Китае, всё должно оказаться радостнее, веселее и чудеснее, чем в этот мой приезд. И всё же Харбин — целый завершённый период жизни, фаза развития, которую я прошла, глоток восточного воздуха, проблеск ночных огней, горстка людей, с которыми было хорошо и спокойно. Грустно, что эта жизнь подходит к концу и никогда не повторится здесь и так, как она выглядит сейчас. Радостно, что я жила этой жизнью, но теперь готова к жизни новой, а оттого не унываю. Возможно, Харбин сделал меня спокойнее, терпимее, в чём-то разумнее. Но главное, что мне дал этот город — немного больше любви к жизни, веры в жизнь и желания жить.

01.06.07

О русских

Принято считать, что, находясь за границей более или менее продолжительный период времени, помимо языкового образования, необходимо получить образование культурное. И, в первую очередь, под этим подразумеваются не походы по театрам и музеям, а знания, приобретённые в процессе бытового общения с иностранцами. Важно знать психологию нации, особенности мировоззрения, преобладающие черты характера; важно знать и то, как условия жизни народа оказывают влияние на вышперечисленные пункты. Я подумала над этим и вывела план, по которому, хотя бы поверхностно, можно описать особенности той или иной нации.

1. Темперамент, характер, духовные ценности;
2. Взаимоотношения с людьми;
3. Отношение к труду;
4. Материальные ценности;
5. Отношение к мужчинам и женщинам;
6. Отношение к другим странам.

Когда я начинаю допрашивать китайцев, каковы же они как нация, они нередко затрудняются ответить, и, как бы в защиту себя, начинают атаковать меня теми же вопросами по поводу русских. И я подумала: прежде, чем претендовать на знание чужой страны и её народа, надо иметь представление о собственном народе.

На вопрос «Что трудно?» древнегреческий мудрец Фалес ответил: «Знать себя». Всегда проще в нескольких фразах охарактеризовать другого человека, чем верно описать себя. И проще сложить поверхностное представление о чужом народе, чем сформулировать в нескольких словах собственное понимание своего народа. Мы так же можем представить себе лица других людей, но с трудом представим себе своё собственное лицо. О людях и вещах проще судить со стороны. Всё, что принадлежит нам, мы принимаем как само собой разумеющееся. Всё, что находится за пределами нашей территории, мы оцениваем и судим.

Последние три месяца я провела вдали от своей страны и фактически в изоляции от соотечественников. Сейчас во мне меньше русского, чем когда-либо, и, если я только могу взглянуть на свой народ со стороны, сейчас для этого самый подходящий момент.

Несмотря на то, что на лицах русских прохожих, пассажиров русских автобусов, покупателей в русских магазинах мрачное выражение можно наблюдать чаще, чем улыбку, и, несмотря на то, что раздражённые и рассеянные люди встречаются слишком часто, рискну назвать русских людей оптимистами. Всё-таки русским свойственно не унывать, не падать духом, надеяться на лучшее (на протяжении исторического развития России русские никогда не были избалованы благоприятными условиями жизни, и, не будь в них бодрости и умения надеяться на лучшую жизнь, они не смогли бы выжить). Видимо, суровые климатические условия, необходимость осваивать новые земли, неодинаковые по природным данным, дали русским хорошую закалку, сделали их неприхотливыми, способными приспосабливаться к чужой среде. Здесь, в Харбине, я обнаружила, что к местным жизненным условиям легче многих других иностранцев смогли приспособиться русские. По крайней мере, моим знакомым корейцам и арабам здесь не очень комфортно. И те, и другие недолюбливают китайскую кухню, корейцы, по возможности, ходят в корейские кафе, заказывают свою национальную кухню. Мои одноклассники-арабы настолько не любят китайскую кухню, что фактически не ходят в китайские забегаловки, а учатся готовить сами. Что же касается русских, то многие также ходят по русским ресторанам или готовят время от времени, но при этом с удовольствием едят китайские, а также корейские блюда. Некоторые русские не могут есть острое, другие, как и корейцы, не выносят *сьян цхай*, но ещё ни от одного русского я не слышала, чтобы он вовсе не любил китайскую кухню.

Корейцы за границей, а особенно в Китае, — люди очень состоятельные, а оттого многие из них уже многое повидали, поэтому Харбин, город довольно средний, впечатлил далеко не всех (от Джулии, проучившейся до Харбина два месяца в

Шанхае, мне каждый день приходилось выслушивать, как в Харбине скучно). Русские же и учебными условиями, и развлечениями, предоставляемыми Харбином, в основном, довольны.

В русских душа преобладает над разумом. Оттого они склонны впадать в крайности, оттого их поступки зачастую невыгодны и непрактичны. Отсутствие чувства меры, невздержанность и в труде, и в развлечениях, и в отношениях с людьми — огромный недостаток русских, который они возвысили до достоинства, назвав «русской удалью», принципом «гулять так гулять» (ещё одна черта русских — удивительная терпимость к собственным недостаткам и даже умение гордиться ими).

Иностранцев часто шокирует в русских грубость, пренебрежение к этикету (мы ведём себя таким образом не нарочно, просто мы — слишком импульсивный эмоциональный народ, не привыкший наперёд продумывать каждое слово и каждый жест). Многие корейцы говорят мне, что, когда русские общаются между собой (это относилось и ко мне), у иностранцев складывается впечатление, что они ругаются и скоро подерутся, а, между тем, речь идёт всего лишь о невинной дружеской беседе (я, конечно, не стала говорить корейцам, что их речь меня также раздражает, поскольку мне слышится фальшь и наигранность — видимо, это всего лишь особенность корейской интонации, но ухо режет).

Русские отличаются откровенностью, простотой, лёгкостью, с которой они идут на общение, самоуверенностью (всё это — положительные качества, хотя мне самой они, к сожалению, не очень свойственны, а потому, познакомившись с несколькими русскими в первые дни приезда, я почувствовала дискомфорт и бежала к корейцам).

Русские по своей природе — добрые, щедрые, готовые прийти на помощь, классическому русскому человеку не свойственны эгоизм, мелочность, равнодушие, хладнокровие. Ну, и конечно, нельзя не упомянуть знаменитое русское гостеприимство — с гостями русские щедры и радушны, накормят и напоят, как следует, да ещё и развлекут беседой.

Несмотря на то, что для русских не характерна мелочность, их, почему-то, часто захватывает возможность бесплатной прибыли. Простейший способ заманить русского человека в магазин, на выставку, на какое-нибудь скучное собрание — это сказать, что ему там что-либо бесплатно дадут. Китайцы пронюхали эту русскую слабость. Нередко можно встретить на входе в различные забегаловки надписи вроде: «По пятницам пиво русским бесплатно после 9 вечера». В Харбине есть ночной клуб «Русский размер», в котором русские получают алкоголь бесплатно. В результате, половина русских студентов Харбина собирается в этом клубе, а китайцы, в свою очередь, приходят туда посмотреть на пьяных русских.

В моём общежитии, напоминающем больше трёхзвёздочный отель, чем студенческую общагу, для того, чтобы постирать бельё в машинке, нужно пользоваться карточкой. Постирав бельё десять раз, эту карточку нужно снова оплачивать,

каждый раз при стирке с неё снимаются деньги. Хитроумные русские выдумали махинацию с двумя карточками, в результате которых деньги с этих карточек не снимаются. Можно постирать хоть тонну белья и не заплатить за это ни юаня. Уверена, никто, кроме русского человека, до такого не додумался бы. Несколькими корейцев, посвящённые в эту тайну свободного машинопользования, просто диву давались: «И как этим русским в голову пришло?» И дело не в том, что корейцы менее сообразительны, чем мы, а в том, что логика двух народов различна. Они думают: «Раз это недорого, почему бы и не заплатить?», а мы думаем: «Зачем платить, если то же самое можно получить бесплатно?»

Русские, в общем, довольно ленивы. По крайней мере, если нет острой необходимости выполнить какую-либо работу, заставить себя выполнить её для русского человека чрезвычайно сложно. Парадоксально, но именно русские по-настоящему умеют трудиться, делать своё дело качественно и добросовестно. Проблема в том, что мобилизовать себя к труду сложно — мешают неорганизованность и инертность. Русские обладают огромной способностью собирать силы, концентрироваться на каком-то деле и за короткий срок делать невозможное. Тут можно упомянуть классического русского студента, готовящегося к сессии: бессонная ночь (если студент прилежный — две бессонные ночи) — и полугодовой курс по требуемому предмету освоен, а, если повезёт, — отличная оценка обеспечена. Но заставить себя готовиться за неделю — за две фактически невозможно — просто физически не получается сконцентрироваться на предмете. Наверное, лень и пассивность — самые отвратительные качества русских, невыгодные им самим и немало портящие им жизнь. Почему мы не можем ни учиться, ни трудиться постепенно, размеренно, не напрягая сил и не спеша? Почему мы готовы, как Илья Муромец, лежать на печи тридцать лет и три года, и лишь потом одуматься, слезть с печи, взяться за меч и задать недругам жару? Как жаль, что мы — безвольный народ, неспособный контролировать свои желания и прихоти.

Вышеупомянутое стремление по возможности не платить деньги близко по своей природе стремлению по возможности не работать. Сомневаюсь, что в каком-либо другом языке найдётся эквивалент русского слова «халява».

Если лень — самое губительное качество русских, то пьянство — их самая губительная привычка. Видно, эта привычка пошла с древних времён, когда, истощённые тяжким трудом, люди пили, чтобы забыться, расслабиться и проспать. Современные русские забываются и расслабляются слишком часто, и повод им совсем не обязателен. Пьянство стало частью русской культуры. К этой культуре люди приобщаются со слишком раннего возраста. В итоге ни одного большого праздника или мелкой дружеской вечеринки представить невозможно без большого количества алкоголя. Многие думают, что эта привычка характеризует нас как способных по-настоящему веселиться. Не могу с этим утверждением согласиться. Это характеризует русских не как умею-

щих веселиться, а лишь умеющих напиваться и вести себя отвратительным и жалким образом. Алкоголизм — трагедия нашей нации, разрушившая жизни тысяч людей.

Затрудняюсь выделить какие-нибудь типично русские особенности отношения к капиталу. В общем, нам не свойственно делать его идолом, накопительство не в крови русских. Мы, в основном, просто зарабатываем себе на жизнь.

Внешность играет большую роль для русских. И женщины, и мужчины привыкли заботиться о себе. Русская женщина без макияжа или небрежно одетая — зрелище, по сравнению с представительницами других стран, довольно редкое (ну, по крайней мере, молодая женщина). Красота для русских — огромная ценность (видно, это в крови — никто не осмелится отрицать, что русские — красивая нация). Но и некрасивые русские пытаются выглядеть максимально привлекательно. Даже ничуть не симпатичные девушки пытаются исправить природные несовершенства с помощью макияжа или одежды. Здесь, в Китае, я наблюдала совсем другую закономерность. Только девушки, обладающие привлекательной внешностью, делают макияж, как правило, естественный. Некрасивые не затрудняют себя лишними хлопотами — не дано, так не дано. Некрасивые, как правило, носят очки, а не контактные линзы — в России же молодёжь фактически не использует очки — по крайней мере, для постоянного ношения. В Китае многие русские выглядят, скорее, как китайцы или корейцы, т. к. принадлежат к национальным меньшинствам. И я отличаю русских женщин от иностранок в первую очередь по яркому макияжу, слишком коротким юбкам и слишком глубоким декольте.

Менее серьёзное отношение к внешности проявляется и в шутках. Если для русских внешность — нечто святое, над чем нельзя шутить и насмеяться, то от корейца или китайца вполне можно услышать: «У тебя такие большие уши» или «Ты уже месяц не мыла голову?» Что уж тут говорить, мне больше по душе русская привычка притворяться, что внешность — своя и других людей — совершенна.

А однажды я была шокирована, когда студент сказал женщине-преподавателю (довольно молодая и симпатичная!) в присутствии других студентов, половина которых — девушки, что-то наподобие: «Извините, Учитель, я вчера не пришёл на ваш урок, потому что у меня весь день был понос». Это было сказано всерьёз, без намёка на юмор. Позднее я перестала удивляться, поняв, что людям Востока присуще братское отношение к представителям противоположного пола. Это мы, в России, прежде всего, видим в людях мужчин и женщин, они же, кажется, видят товарищей, сверстников, сестёр и братьев (и часто прямо так и величают друг друга: «старший брат», «старшая сестра», «братишка», «сестрёнка»).

Что касается русской кухни, то гурманами нас вряд ли назовёшь. При всей моей любви к русской еде, предпочту охарактеризовать её скорее, как питательную, нежели как изысканную.

Несмотря на все добрые качества русских, характер их очень тяжёл. Самая тяжёлая черта

русского характера — категоричность, отсутствие терпимости к людям. Это проявляется как в мелочах, так и в масштабных вопросах. Мелочи — это раздражение, споры, ссоры, драки без уважительного повода. На более серьёзном уровне нетерпимость проявляется в огромном количестве разводов, а также в подчёркнуто агрессивном настрое после развода. Если в Америке, где число разведённых также очень высоко, бывшие супруги могут поддерживать дружеские отношения, то у русских всё заканчивается, как правило, взаимной ненавистью и презрением.

Итак, брак мы едва ли воспринимаем всерьёз. Но кровные связи для русских чрезвычайно важны (хотя до китайцев нам в этом далеко). Русские не умеют воспитывать своих детей, дети до слишком позднего возраста остаются несамостоятельными и зависимыми.

Множество русских детей воспитано матерями без активного участия отцов (во многих случаях, опять же из-за разводов). Мужчина, воспитанный женщиной, часто представляет собой жалкое безвольное избалованное существо. Уж конечно, такой мужчина (не по своей вине) едва ли сам станет нормальным отцом. Таким образом, проклятие безотцовщины в России передаётся из поколения в поколение. Возможно, поэтому влияние мужчин в России постепенно ослабевает, что сказывается как на отношениях в семье, так и на настроениях в обществе.

Предрассудки относительно сильного и слабого полов и относительно того, чего женщинам делать не полагается, всё ещё сильны, хотя со временем теряют свою силу. Они не столь заметны здесь, как на Востоке, но сильнее, чем на Западе.

Что же касается отношения к иностранцам и иностранным культурам, то его нельзя определить однозначно — снова имеем дело с русским максимализмом. Острый национализм, временами довольно агрессивный, граничит с преклонением перед более развитыми чужими культурами и слепым заимствованием. Трудно сказать, является ли средний русский патриотом. Наверное, да, и винить нас в этом нельзя. Слепо любить Россию, наверно, может только тот, кому не довелось побывать за её пределами и пожить красивой, спокойной, цивилизованной жизнью. Русские по отношению к иностранцам довольно дружелюбны. За границей русские чувствуют себя превосходно — ещё бы, тот, кто родился и вырос в России, тот прошёл боевое крещение.



Вот уже сутки я еду по России, такой неожиданно чужой и убогой. Когда самолёт шёл на посадку, я надеялась с глотком русского воздуха

испытать чувство, сродное ностальгии (хотя за последние четыре месяца оно меня посещало разве что в виде тоски по московской колбасе). Но всё, что я испытала — это удивление, смешанное с чувством разочарования, грусти и лёгкого негодования. После шумного Китая, где не сыщешь ни одного безлюдного места и где по вечерам всюду горят огни, Россия показалась странно пустой и унылой. Правда, приятно оказалось увидеть русские лица, красоту которых я, наконец, оценила. Но на лицах этих красивых людей преобладают мрачные, задумчивые, усталые выражения. Когда же они смеются или весело беседуют с друзьями, в их голосе слышится самоуверенность, назидательность, агрессивная ирония. Многие люди выглядят раздражёнными, уставшими, напряжёнными.

На китайских вокзалах, как правило, нет свободных мест. В залах ожидания много стоящих людей, некоторые сидят на полу, подстелив газету, а порой истощённые китайцы спят, растянувшись на грязном полу, ничего под себя не подстелив. Жалкое зрелище? Гораздо более жалким показалось мне увиденное в России. В пустом зале ожидания не оказалось никого, кроме нас. Только сердитые милиционеры вывели из зала какого-то заблудившегося алкоголика. Помещение освещено тусклым мерцающим светом. Красивый мойщик с мрачно-сосредоточенным выражением лица возит по полу жужжащую половую машину. После густонаселённого, приветливого, шумного, переливающегося разноцветными огнями Китая, это зрелище показалось мне почти гротескным.

Сев в поезд в Иркутске, в первые же пять минут я познакомилась с русской женщиной, которая угостила меня красноярской ветчиной (в первый раз после возвращения на родину я испытала блаженство) и поведала мне свою судьбу — как отец-алкоголик умер, когда она была ещё маленькой девочкой, как тяжело ей жилось с матерью и сестрой. Ничего особенного, обыкновенная русская история.

Я еду в купе вместе с двумя знакомыми китайцами и в знак протеста перед возвращением на родину продолжаю говорить в основном по-китайски. За окном мелькают родные леса и поля, и, привыкшая к многолюдным улицам Китая, я спрашиваю себя в недоумении: «Куда девались люди?» Временами мы проезжаем мелкие посёлки, деревни и городки. Тогда нам приходится наблюдать заржавелые гаражи, покосившиеся избы из полусгнившего дерева, трубы, железные баки. Нет ничего скучнее русской провинции. Чтобы любить такую родину, нужно обладать сверхъестественным оптимизмом и бодростью. Как раз этого мне сейчас недостаёт. Отчаяние и скука.

Сергей Кузнечихин Доля птичья, воля птичья...



Тост в честь Валентины

Я благодарен женской красоте
и готов целовать
высокие ноги,
высокую грудь
и высокую шею
той девицы, имени которой уже не помню.

Я благодарен женской моде
за смелые вырезы
на платьях,
кофточках
и маечках
той девицы, имени которой уже не помню.

Я благодарен женской кокетливости,
изощрённой способности
томно вздыхать,
приоткрывать ротик,
закатывать глазки,
той девицы, имени которой уже не помню.

Но, впрочем, не мешает уточнить,
что та особа замужем была. И потому

я благодарен наркомвоенмору Троцкому,
дедушке Ленину и товарищу Сталину
за создание доблестной Красной Армии
с законом о всеобщей воинской обязанности.
И может быть не меньше благодарен
суровому, но справедливому маршалу Гречко,
призвавшему в свой срок на службу мужа
той красотки, имени которой уже не помню.

Я благодарен нашей школе за воспитание
всеобъемлющего чувства
верности родине,
верности долгу
и верности комсомольскому уставу
в той красотке, имени которой уже не помню.

Иначе бы весёлая солдатка,
неприменно вспомнила о супружеской верности
и не ушла бы с рабочего места
в объятия начальника смены,
и не случилась бы страшная авария
со взрывом допотопной установки,
последствия которой устранять
меня послали в тот лихой посёлок,
где я, закоренелый холостяк,
увидел и влюбился в Валентину.

Была весна. Густой багульник цвёл,
нас окружали розовые горы...

С тех пор минуло тридцать с лишним лет,
А головокружение не проходит.

Зазноба

Знаю всё, моя зазноба,
И рассказ, и пересказ, —
За тобою надо в оба,
За тобою — глаз да глаз.
Слухов долго ли надёргать,
Карауля у ворот.
Дорисует чёрный дёготь,
Дорасскажет чёрный рот.
Над тобою роем сплетни
На любой голодный вкус.
Разгуделись мухи, слепни,
Комары и прочий гнус.
Кто-то вкрадчив, кто-то злобен.
Бабы злее мужиков.

Я и сам понять способен
Без намёков и кивков.
Рад забыть бы (да едва ли).
Помню (ты уж извини)
Как твои глаза стреляли,
Как туманились они,
Наливались колдовскою
Чернью (как тут не помочь)
Коль с русалочьей тоскою
Манят в омут, манят в ночь,
А горячего дыханья,
Этот норов, эту прыть
Ни шелками, ни мехами
Не упрятать, не укрыть.
Грудь твою тебя же выдаст —
Вольная, как ты сама —
Что ей тряпочки на вырост?
Что ей лютая зима?
Волновалась. Волновала.
Не желала скуку знать.
Много чувства. Толку мало
Сторожить и ревновать.
Сладким чаем напоила.
И радушна, и мила.
Приласкала, проводила,
А дверей не заперла.
Разберись в печи с обедом,
Дом проветри, пол помой...
Кто придёт за мною следом?
Кто ушёл передо мной?
Ни пера им всем, ни пуха.
Мне уже не до обид.
Врунья. Стерва. Потаскуха.
Но знобит, знобит, знобит.

На берегу

Отливы сменяют приливы,
И муть выползает со дна.
Мечтательница терпелива,
Она бесконечно верна.

Вдоль берега серые камни
Изъела тяжёлая соль.
Измаянная маяками
Подруга счастливой Ассоль
Сидит у залива, икает,
В ногах полбутылки вина.

Волна за волной набегают.
Бежит за волною волна.
В загадочной розовой дымке,
Когда напрягается взгляд —
Вдали паруса-невидимки
По розовым волнам скользят.
Она-то их видит. Быть может,
Устав от неведомых стран,
Одною из лунных дорожек
Идёт к ней её капитан.

Приложится к влажной бутылке
И чайкам в ответ прокричит.

Наверно, лобзания пылки,
И клятвы в любви горячи,
Наверное, были.
Не помнит —
Засыпано слоем песка.
А парус наутро был поднят.
Печаль заменила тоска.

До берега путь очень близкий,
А дальше вода и вода.
В пустые бутылки записки
Писала ему в никуда.

С пронируемостью обмылка
Луна ускользает во тьму.
И падает в волны бутылка,
Уже без записки. К чему?

Предложат никчёмную фору
И требуют веры в кредит.

Одетая в школьную форму,
Старуха на море глядит.



Доля птичья. Воля птичья
Пенья вольного восторг.
Небо! В чём его величие?
В простоте. Полёт. Простор.

Хорошо играть словами,
Звуки букв перебирать.
Да и с птичьими правами
Больше не во что играть.

Райцентр

Всё готово для взрыва в берёзовых почках,
Чтобы щедро разбрызгать зелёную краску.
Большеглазая, юная мать-одиночка
По весенней распутице тащит коляску.

По родному селу, что зовётся райцентром.
До больницы дорога вдоль школьной ограды.
Непутёвая девка по местным расценкам,
Обречённая на нездоровые взгляды.

Через грязь, через лужи с натугой бурлацкой.
От вопросов устав и устав от советов.
Ну, а ветер весенний настойчив и ласков,
И она улыбается шалому ветру.



Снова увидели вовсе не то, что искали.
Зыбкую сказку смела своенравная быть.
Тихое время ломалось большими кусками,
Быстрое время дробится на крошку и пыль.

Не получается плавного переключения,
Рваную скоростью время безжалостно рвёт.
Рваное время: пустоты, провалы, смещения...
И за глухим поворотом таится слепой поворот.

Тесно на трассе, обочины уже и уже.
Грязный бульдозер старательно чистит кювет.
Всё, что негибко, медленно и неуклюже,
Обречено
И укрыться, возможности нет.



Б. Петрову

Не село, но ещё далеко не столица.
Здесь хронический смог и бронхит, и гастрит.
На прудах, где за городом рыба таится,
Стеклопластик бамбук поредевший теснит.

Он надёжно упруг. Водостойкие лаки
Не облезут, наверно, с него никогда.
Но в пруду водяные защитные знаки
Не заметны — а с виду вода, как вода.

И на ощупь мокра, и прозрачная даже,
Бросишь камень и счёт потеряешь кругам.
Заменяя дизайном остатки пейзажа,
Стеклопластик щетинится по берегам.

Ни сучка, ни задоринки. Тонкая леска
Чуть видна, но крепка. И как будто в укор
На фальшивом пруду ни единого всплеска,
Не считая того, что бросали прикорм.

Не клюёт. Но само ожидание клёва
Затянуло и всё не отпустит никак.
И тоскует, от чувства ненужности квёлый,
На японском крючке наш российский червяк.

Где-то в небесной канцелярии

Уже подсовывает лист
С приказом «На покой»
Сутуленький канцелярист
Небесный,
Но такой,
Как наши грешные. Не пьян,
Но пил не только сок,
Однако прячет свой изъян,
Дыша наискосок.
По всем инстанциям пронёс,
В руке дрожащей тряс,
Похожий больше на донос,
Губительный приказ,
Где перечень грехов моих,
Пустая жизнь моя...
И морщит лоб, читая их,
Нахмуренный судья
Но где же список добрых дел?
Он тоже должен быть —
Я очень многого хотел
Добиться от судьбы.
Чернильницу канцелярист
Придвинул для пера.
И перечёркивает лист
Вердикт: «Давно пора»
Уже в нашлёпку сургуча
Утоплена печать...

И «Смерть Ивана Ильича»
Слабо перечитать.



Ни скидки на место,
ни скидки на время, —
не важно: ты в тереме
или в гареме,
под шёпот зловещий,
под бурю оваций —
ты должен, обязан
собой оставаться.

И в нищей глуши,
и в богатой столице
ты выжить обязан,
успеха добиться.
И душно, и страшно,
опасно и тесно, —
ни скидки на время,
ни скидки на место.

С победной наградой
и с лагерной тачкой
обязан пройти
и души не испачкать
под взглядом Иосифа
или Никитки.
Легко говорить,
а попробуй без скидки?

Провинциальный театр

Ну, времена! Наскучил эшафот.
Кого? За что? За кражу и за ересь —
Любого можно. И бесплатный вход
Не привлекает зрителя — заелись.

Устав бояться, начали скучать,
И поиск смысла стал потерей смысла.
Уже пресна свободная печать,
Свобода нравов на свету прокисла.

Как оживить? Построили помост
На площади. И власти не ругали:
Поп освятил, мэр города помог
Людьми, материалом и деньгами.

Добротный получился эшафот.
Гремели речи, развевались флаги
И шёл на представление народ,
Но охладел, и кончились аншлаги.

Казалось бы, с ума сойти должна
Толпа, вживую созерцая трупы.
Ну, что ещё? Какого им рожна?
Психует режиссёр. Мрачнеет труппа.

Какое там заелись — зажрались
И тупо отворачивают морды.

Герой-палач — последний моралист,
Конечно, пьёт, но в дело верит твёрдо.

Семь бед

Конечно, сам дурак
И по делам — наказан.
Терпи. Но что бы так
Всё скопом и всё разом?

Нагрязнули семь бед.
Не в дверь, так в окна лезли,
Но даже бражки нет,
Чтоб угостить болезных.

Расселись и скулят:
Кто жалобно, кто грозно.
И поздно прятать взгляд,
Оправдываться поздно.

Бывало — клином клин...
Да расшалились нервы.
И на семь бед один
Ответ. И тот не верный.

г. Красноярск



Юрий Татаренко Возвращение

Рождество

«Я вас люблю!» — мне говорят, прощаясь, —
Курантов след засыпан январём...
Преёмник по приёмнику вещает,
Доверием народа ободрён, —
О том, что позади все испытанья,
Что светит укрепление рублю...
Два минуса раздельного питания
Я запишу в графу со знаком плюс.
Я на диете поцелуев вырос,
На слёзных разносолах чуть не сдох...
«Я вас люблю!» — предаварийный выброс.
«Я вас люблю!» — как смерть — всегда врасплох.



Продрогли ходики с кукушкой!
Включаю плитку, ставлю чай...
Эмалированную кружку
Я отбиваю каждый час.
Зимой чувства заморожены,
С отбитой памятью — эмаль...
Охапки снега подороже нам
Продать старается февраль!
Ночь.
Чайник, на огонь поставленный,
Плюёт бесплатным кипятком...
И мышцы мыслей все расслаблены,
И не жалеешь ни о ком.

Возвращение

Тишина паникует, как вешние воды души
При захвате чужих, приходящих во снах территорий.
На истерику стрелок ни ухо, ни глаз не грешит —
Просто время пришло отправлять тишину в санаторий.

А на Лете-реке — раньше срока прошёл ледоход.
«Здравствуй! Здравствуй, братва!» —
нас грачи поприветствуют с веток.
И наутро главврач в замешательство снова придёт
Не от глаз медсестры — от рассыпанных чёрных таблеток.

Приспособилось солнце носить облака набекрень,
Но весной вниманье не так на себя обращают!
Сохнут лужи и слёзы. Готовится замуж сирень.
И твой взгляд — не на треть, но на час — алфавит сокращает.

Отцы и дети

Недавно было всё не так!
Сшибали деньги по-другому,
Иначе выглядел пятак,
И в паутинах насекомых
Поболе было, чем сейчас,
На чердаках, в полуподвалах —
Где мы, отчаянно молча,
Ласкали девочек бывалых:
В рублёвки утыкалась медь
И требовала продолженья...
И что, всю жизнь теперь терпеть
Бесчинства спроса с предложеньем?
Му way — в желаньях быть скромней,
Не требовать всего и сразу
В толпе накаченных парней,
Где каждый, как страшал Некрасов,
Обязан гражданином быть...
Но пошлость дуракавалянья
Зачем в башку пытались вбить
Родители с учителями,
Давая денег на кино?
Тогда мы их не раскусили,
А нынче... погляди в окно:
Под голубыми — вся Россия!
А ну-ка, отмотайте круг
Назад на пару поколений —
В страну горячих губ и рук
И разжимаемых коленей...
Иль всё равно, что рай, что ад?
Мы господу не пишем письма,
И вдоль границы атеизма
Девчонки по ночам стоят.
Где век двадцатый? След простыл.
Есть — тёлки, тётки не пасут их.
И детям стал неведом стыд
И звук сдаваемой посуды.

Вечер на базе

Чадят дрова, и прогорает скука...
О страсти пришепётывает жар...
Сосновый ветер в одеяло звука
Закутался, как мёрзнувший клошар,
И мы с тобой бедны на проявление
Себя в июльском сумрачном лесу...
И, вздрогнув, угли станут на колени,
Вдруг разглядев в глазах твоих росу.

Вербное воскресенье

Вечер — упрощение заката.
Слёзы — укрощение весны.
Звёзды в марте жили небогато,
Станут в мае трепетно бедны!
Горько, если отрицают право
Самому себе принадлежать...
Бог и дьявол — оба носят Prado,
Есть за что обоих уважать!
Сердцу, ослеплённому страданьем,
Не смотреться в зеркало груди...
Почкам вербы, молодым да ранним,
Срок прийти к смиренности — до седины.

Российский глянец

Сверкает юность вывеской «Звезда» —
Не вздумайте принять её за юность!
Кумиру обеспечат многолюдность,
А дальше — «Добрый вечер, господа!»
Ночь роскоши вдруг ослепила нас,
А Диоген с фонариком плурует
И жизнь свою неспешно коротает...
А нам монета — словно третий глаз.
Шлифует яхта гладь чужих морей,
И голос внутренний ласкает ухо:
«Не призрачное совершенство духа —
Шлейф миражей прибрежных фонарей...»
Когда ж рассвет — что принесёт с собой
И новый день, и новые пороки?
И предвкушенья их рождает строки,
Где ты несовершенен, но живой.

Песенка рыбакова

Я раб перестановки слов,
Инверсии слуга покорный!
А что вдруг вас так затрясло? —
Любимый шрифт поэтов — чёрный!
Кто памятник себе воздвиг? —
Прозаик, ценящий реальность,
Где зависть и негениальность —
Змеи раздвоенный язык!
Не знавшим слова в простоте
Пусть в уши заползёт шипенье
Назвавших тело на кресте
Несостоявшейся мишенью!
Забвенью подвиг предают —
И вряд ли будет по-иному,
Но только волны берег бьют
Всегда — по самому больному.



Минуты важнее суток.
А правда важнее платформы.
Билеты в углах маршруток
Висят просто так — для проформы.
Неважно, мэ́р ты, Гомер ты,
Знай: бизнес — часть меценатства.
Эй, Рома, «мерси» за «мерсы»!
На нары — твой номер тринадцатый!
Должно быть гь — с кулаками,
Кто вышел из сумрака — стройся!
св есть «Москва — Краснокаменск»:
Обратные что-то не просят...
Газеты хоронит пресса,
И скачут в глазах запятые,
В седле депутатского кресла
Политики — как влитые!
Таких не прельстишь акварелькой,
Тут кепку выдаивал скульптор!
Над вылизанной тарелкой
Мяукает кот: «Mea culpa».
Охотный ряд. Неохота
Отсюда валить — не под кайфом!
Нуждаются в должном уходе
Керамика, никель и кафель...
Уборщица, травки дунув, —
Завидуй, Тимур Бекмамбетов! —
Развесит в сортирах Госдумы
Рулоны трамвайных билетов.



Всё было там, за горизонтом —
Как будто вовсе не случилось...
Любовь нелепым эпизодом
У тьмы отнимет величавость.
Повеса-месяц ночь проводит
В мечтаньях о недостижимом...
Спать с королевой? — Нет, увольте!
О, в нём иная мысль пружинит!
Где небосклон вдруг стал пологим —
Тумана расстелить простынку...
Вселенная раздвинет ноги,
И — месяц расстегнёт ширинку...
Не видел — не зови позорным,
Не разглядел — махни рукою!
За предрассветным горизонтом
Случается и не такое...

г. Томск



Виктор Брюховецкий

Ощущая бездну...

Сергей

У Сергея над крышей до неба труба,
У Сергея разорвана пулей губа.
Перебито крыло — молоток не поднять.
Но зато от плеча до плеча — не объять.

Он в здоровую руку подкову берёт
И подкову не видно. Дивится народ,
Видя гнутый металл: ну, Серёга, каков!..
Только жизнь не подкова, хоть вся из подков.

Он медаль, что его наградила страна,
В козью ножку свернул (жидковата цена),
Вставил в ботало. Звук — не сравнится любовью.
Хорошо с этим звуком корове рыбай!

Ходит в стаде она, а как будто одна.
Мелодична, пестра — и слышна, и видна.
И любовно её деревенский народ
Не Пеструхой, как раньше, — Афганкой зовёт.

А Сергей улыбается битой губой,
Без руки человек, а доволен судьбой.
Вот и стрелян, и взорван, ползёт, но везёт.
И за бабу свою семерых загрызёт.

На здоровой руке, прижимая к плечу,
Он несёт её в горницу, словно свечу!
Смотрят с завистью жёны, кряхтят старики...
Тридцать лет мужику.
Десять лет без руки.



О судьбе подумаю, о славе.
Стерва! Но, однако, хороша...
Боже мой, в какой кипящей лаве
Мы с тобою варимся, душа;
Где — заматерели, ограничились?
В чьём горниле и под молот — чей?..
Никакому Богу не молились
И ничьих не слушали речей.
Мы трудились
До седьмого пота,
До изнеможенья, до крови.
Жизнь моя — угрюмая работа...
Сколько же отпущено любви
Было нам,
Чтоб долгими ночами
Мог я — не аскет и не изгой —
Верить в эти крылья за плечами,
Ощущая бездну под ногой?..

У Стикса

Вот здесь и сядем около куста,
Где есть ещё свободные места
И солнечных лучей не очень густо.
Пусть нам с тобой нальют вина в сосуд
И каждому по драхме поднесут,
Чтобы во рту не оказалось пусто.

Покой и свет. Медвяный запах лип.
Издалека — уключин мерный скрип...
Поговорим. Мы не наговорились.
Мы просто были, хлопали дверьми,
И, хлопаньем довольные вельми,
В соку своём кипели и варились.

Оглянемся... — ах, эта колея!
Супонь, гужи, потёртая шлея,
Возницы брань, и кто-то лает, лает.
Как будто бы не ради жизни жил,
А занят был вытягиваньем жил
Своих, а для чего — никто не знает.

Теперь им нас назад не заманить.
Слабее пульс, почти незрима нить...
Пора! пора... Старик всё ближе, ближе,
Сейчас он нам засунет пальцы в рот,
И, ухмыляясь, драхмы заберёт,
И мы увидим: не седой он — рыжий.

А это — солнце. Он седой. Седой.
Он столько лет работает с водой!
Тяжёлая! На омутах играя,
Она несёт. А мёртвые идут.
Садятся здесь и переправы ждут.
Когда ж конец? Но ни конца, ни края.



В краю от Иртыша до Енисея,
Пася отары и пшеницы сея,
Пронзая небо бронзовым копьём,
Скуластый гунн, безродный и бездомный,
Притянут к жизни тягою бездонной,
Окидывая оком окоём,
Всегда в погоне, я бежал и мчался,
На бричках трясясь, на горбах качался,
Влюблялся в жизнь и понимал — она
Одна, и от неё не отвертеться,
И тяга к ней, что чувствовал я с детства,
Была во мне, воистину, без дна.

Ной

Очнулся Ной, а на дворе Россия.
Лицо расплоснув о стекло окна,
В дом смотрит Хам, глаза его косые
Ещё хмельны от блуда и вина.
Тревожно гоготала птица в клети,
Рассвет во двор катился по крыльцу,
И Ной подумал — ох, уж эти дети,
С друзьями пьют, а жрать идут к отцу...
Телега прогремела под окошком,
Пошли крестьяне в поле — на свёклу.
Ной птицу накормил зерном. Картошку
Хам разогрел и сел один к столу.
Потом он спал.
А Ной, хрустя артрозом,
Носил в сарай дрова, травил жуков,
Потом кусты подкармливал навозом,
Потом смотрел на пьяных мужиков,
Что шли, шатаясь, по домам с работы.
Потом проснулся Хам и снова ел.
Поев, ушёл — и никакой заботы.
А Ной трудился, думал и смотрел...
Созрело яблоко!
В селе заготконтора
Не принимает фруктов — нет нужды.
И Ной подумал — сколько же вражды!
И усмехнулся — яблочки раздора
Растим, гноим...
Шмурыгая резиной,
Крестьянки возвращались ввечеру.
Пришёл сосед за фруктами с корзиной:
— Снесу свинье... не пропадать добру...
Так день прошёл.
Под лампою лучистой
Ной грел суставы. Библию листал.
Он думал, что он жить уже устал,
А жить ему вот так ещё лет триста.



Я, конечно, умру.
Хорошо б — на миру.
Хорошо, чтобы речка и крест на юру.

Чтоб зимой чистота,
Чтоб весной пестрота,
Чтоб под осень калина в крови у креста.

Друг придёт навестить,
Враг — прощенья просить,
Незнакомый зайдёт постоять, погрустить.

Ни о чём не ропщу,
Всё приму и прощу...
Я с весёлым — весёлый, а с грустным — грущу.

На тропе межевой
Стану просто травой...
Положите меня на закат головой!

Пусть плывут сквозь века
Надо мной облака,
Удивляясь и плача — как жизнь коротка.

Сибирь

Набитые ветром, сугробы тверды,
Подковой ударь — не останется вмятин.
Мне этой породы характер понятен —
Сибирь отвергает насилья следы.

Она, принимая желающих в плен,
Лежит, развалившись, от края до края,
Как будто звериная шкура сырая —
Мездрую наружу, с потёками вен.

Осадит морозом, бураном нахлынет,
Взопрет под волчьей дохой золотой —
И стыннут хрящи носовые, и стынет
Надбровная кость и гудит ломотой.

И если не дерзок, и если не ловок,
Зароет в снегах, как в пуху лебедей,
Начертит звездой на кресте заголовок
И солью проступит на шляпках гвоздей.

И талой водою очистит скулу,
И выбелит кость и седьмою весною
Проколет глазницы хвоинкой-сосною,
И, ствол выгоняя, погонит смолу.

И кто-то идущий тропою другою,
В таёжном урмане, в брусничных кистях,
На лопнувший череп наступит ногою,
И вздрогнет, и тяжесть осядет в костях.

Надолго осядет, но, кровь будоража,
Поманит упрямо и жёстко туда,
Где синим костром над улогами кряжа
Мохнато сверкает медвежья звезда.



Лихой зимы под каблуком
Лихая песня...
Душа не плачет ни о ком.
Неинтересно.

Вся жизнь в пути, в борьбе, в гоньбе...
Живёшь, батрачишь...
Кого жалеть? Тут о себе
И то не плачешь.

Бежишь дорогой в никуда,
Играешь драму
В трёх миллиметрах от беды,
В пяти — от сраму.

Не поскользнься на вираже!
А поскользнёшься —
Не отбояришься уже,
Не отскребёшься.

п. Кузьмолowo Ленинградской области



Елена Солодянкина
**Тебя читаю
кончиками пальцев...**

Герда

Холодом веяло с облака белого.
Милый мой, славный мой, что она сделала?
Волосы, пальцы, любимые линии —
В инее, в инее, в инее, в инее.

Бейся об айсберг, сердечко красавицы —
Лёд не расколется. Кай не раскается.
Снег не растопят потоки горячие.
Плачу я. Плачу я. Плачу я. Плачу я.

Девочка Герда. Бесстрашная. Гордая.
Горе рассыпалось градом по городу.
Боль, словно молот, колотится в голову.
Холодно. Холодно. Холодно. Холодно.

Смолкла морзянка зубная морозная.
Слёзы стеклянные. Тьма коматозная.
Сердце в груди затвердело и замерло.
Замертво. Замертво. Замертво. Замертво.

Грэй

Грустит забытый Богом Зурбаган.
Ассоль, устав от слёз, решилась замуж.
Поскольку все твердили, что пора уж
Поверить, что старик был просто пьян.

Она успела даже развестись,
Воспитывает дочь (совсем большая!),
Но каждый вечер к морю прибегая,
Как прежде ждёт, что вдруг взметнётся ввысь

Тугая ткань знакомых парусов
Немыслимого сказочного цвета.
Зачем же до сих пор блуждает где-то
Корабль из разноцветных детских снов?

Ну, где ж ты, Грэй? Пророчество забыл?
Твоей мечте теперь уже за тридцать;
Она хотела было утопиться,
Но не нашла ни времени, ни сил.

В каких тавернах ищешь ты причал?
Иль принцам наши девки не по чину?
Проснись же, протрезвей и будь мужчиной!
Чем вскакивать тревожно по ночам.

Заветной ткани отыщи лоскут,
А там найдёшь красивую отмазку.
Нельзя ж так просто взять — испортить сказку!
Грин не простит, и дети не поймут...



А ты придёшь, когда пройдёт зима.
И, памятью оттаявшей разбужен,
Ты будешь бесполезен и не нужен.
Я просто научусь летать сама.

А ты однажды вспомнишь обо мне,
Когда я стану выше и сильнее.
Взмывая без страховки, я сумею
Не думать о преградах и цене.

А ты ещё когда-то позвонишь,
Мой номер отыскав в бескрайних буднях.
И он в ответ обиженно не будет
Гудками разрывать пустую тишь.



Я слышу пеньё синекрылых птиц.
Когда, морозный воздух сняв в прихожей,
Ты лаской разливаешься по коже,
Спугнув губами сон с моих ресниц.

Осваиваю азбуку слепых —
Тебя читаю кончиками пальцев.
На синюю канву в оконных пятаках
Накладывает стужа новый штрих.

Небрежность светлых прядей теребя,
Страхну твои вчерашние печали.
Как долго я жила, не замечая,
Что мир неполноценен без тебя.



С отражением в трюмо
Пореву украдкою.
Не люби, хороший мой,
Гусеницу гадкую.

Отползу судьбе назло
От критичных зрителей.
Мне спокойно и тепло
В коконе спасительном.

Не пытайся днём с огнём
Отыскать бегляночку.
Я вернусь к тебе. Потом.
Если стану бабочкой.

г. Кемерово

« Не знаю — хорошо ли,
Но в стороне родной
От радости до боли —
Отрезок небольшой. »

*Моей маме, Александре Львовне,
посвящается этот роман.*

Ролен Нотман Полукровки

семейный роман



Предисловие

с некоторыми элементами послесловия или...

...«Ладно, я буду евреем»

В те времена огромный город, разделённый широкой рекой примерно на две равные половины, ещё только формировался как единое целое коммунальными мостами. Железнодорожные мосты на ежедневную жизнь горожан влияли меньше. К ним давно привыкли. О них чаще вспоминалось, когда с городом расставались, уезжали далеко и надолго или возвращались в него после многолетней разлуки. А в повседневности лидировали по значению для людей сначала мост понтонный, потом мосты коммунальные и лишь после них пригородные поезда, называемые в войну и после войны передачами, а позднее — электричками.

К ночи понтонный мост разводили, и старшие сыновья Ады — Марат и Владлен — не раз бродили по городу до утра, если затягивались свидания или в театре долго тянулся спектакль. Младшего сына, Борьку, мать никогда и никуда не отпускала от себя.

Когда же разведённые понтоны снова превращались в мост, то Марат и Владька почти всё время бежали до заводского посёлка, где они жили, ничуть не боясь хулиганов лесоперевалки и затона. У них, как и у всех мальчишек городских окраин, лежали в карманах ножи, и братья давно были закалены в многочисленных драках. Боялись они только мать, сопротивляться которой могли единственным путём — словесным. Да и то без всякого шанса на успех. Мать могла сгоряча так поддать «своим великовозрастным балбесам», что усмирение достигалось почти мгновенно.

Оправдательное враньё прощалось, если сыновья Ады убедительно доказывали ей, что безобразно запоздалое появление в доме было вызвано не игрой в зоску или в чикку со звоном, а каким-нибудь интеллектуальным занятием. Хотя бы шахматами. Если сыновья опаздывали из-за спектакля в драматическом театре, то им прощалось многое, ну а если же в оперном, то почти всё. Сразу наступал мир в доме, когда они рассказывали о концерте симфонического оркестра. Мать в молодости, ещё в Ленинграде, откуда жизненные обстоятельства заставили всю семью переехать в Сибирь, учила музыке. Она играла на скрипке и могла даже на раздолбанном пианино подобрать любую мелодию и прилично её исполнить. Но с первых дней войны она не ходила ни в какие театры, и ни в какие концерты. Впрочем, и после войны тоже. Сколько помнили дети, мать всегда работала на заводах и в институтах от темна и до темна. Прокормить родных оглоедов с неукротимым аппети-

том Аде Исаевне было трудно, но эту задачу она считала для себя важнейшей. Единственное, что приводило в жизни её к отчаянию, — голодные или униженные сыновья. Все остальные тяготы судьбы она одолевала стоически и с редкостным оптимизмом.

Своими рассказами, часто придуманными, старшие дети восполняли никак негаснущую любовь Ады к искусству. Марат с Владькой давно распределили роли при оправдательных объяснениях с матерью. Если честно, то Владлен мог бы и не опаздывать домой. Обычно после спектакля до развода понтонного моста оставалось достаточно времени, чтобы успеть. Но Марат со своих встреч и свиданий вечно опаздывал и редко прибежал в срок к обусловленному Владькой месту. Он прибегал взбудораженный, решительный и озорной.

Понтонный мост часто к ночи скрывал туман. В тёмно-сизой и почти без просветов ледяной каше он напоминал плывущую огромную змею, у которой всё время прогибалась спина. При разводе моста «спина» стихала и будто засыпала в воде. Звуки в реке и тумане гасли, и стояла беспокойная ночная тишина уснувшего города. Братья вдыхали запахи вокзальных паровозов, теплоэлектростанций, золоотвалов и намокших сосновых брёвен.

Марат, как назло, нередко прибежал, когда буксирчики оттаскивали половинки моста к берегу.

— Ну, — сразу же говорил старший брат, — давай трепись про оперу. Но чтобы штрихи были. Для мамы они важнее. Сюжеты твоих опер она лучше нас знает.

— Варяжского гостя пел Кривченя, — уныло докладывал Владлен, — дирижировал, как всегда, Зак...

— А какой он, этот Зак? — выпытывал Марат, мыслящий конкретно в противовес Владьке, который любил витийствовать и рассуждать. Марат в опере побывал раза два, больше не выдержал, и на всю жизнь решил, что это не его искусство. Он любил эстраду и танцплощадку в саду имени Кирова, много читал, был на виду в компаниях с девочками и страстно хотел стать моряком и боксёром.

— Зак небольшого роста, полный, в очках, — продолжал отчёт Владька, — на голове у него копна волос. Когда башкой встряхнёт, то от его шевелюры тень падает на декорации, волосы словно бегают по сцене.

— Во-во, — удовлетворённо замечал брат, — то, что надо. Это вполне правдивые детали. Маму они воодушевят, так что должна поверить. Ты, значит, либретто пересказываешь, восторгаешься

ариями и народными массами, хором, можешь даже что-то промурлыкать для очевидности, хотя для твоего уха это трудно, а я застолблю Зака, на нём сосредоточусь. Договорились?

— Но вдруг мама билеты попросит показать? Как в прошлый раз...

— Ну, ты и покажешь...

— Но ты-то что покажешь?

— Я? — Марат задумался. — Логично... Скажу, что выбросил. Впрочем, нет... подозрительно. Давай-ка, мы наши билеты выбросим вместе.

— Как? У тебя же его нет!

— Дурак! — чеканил в ответ Марат. — Это для тебя у меня билета нет, а для мамы — есть.

Владлен вытаскивал из кармана билет и рвал его. Его солидарность со старшим братом не знала исключений. Предательство, в том числе и семейное, каралось мальчишками заводского посёлка беспощадно. Владлен на всю жизнь запомнил, как в сорок шестом году на пустыре за баней ребята наказывали за предательство Лёньку Мезмера. Роль главного судьи исполнял тогда их сосед по квартире Славка Биреев.

Славка рос, как сейчас вспоминал Владлен Германович Винс, пакостным мальчишкой. Однако авторитетом он пользовался. Больше того: его любили. Лучше, чем он, футболиста в посёлке не было. Кривоногий Биреев и в воротах стоял классно, и на поле крутился, как шмель. При атаке пас обязательно передавали ему. Учился он отвратительно, но вот это никем из ребят в расчёт не принималось — никто из них задницу в школе не отсиживал за уроками, все учились кое-как, в зависимости от способностей, случая и удачи.

В школе Славка сначала отстал от Марата, потом от Владлена, а затем даже от Борьки. Это, пусть и незначительно, но повлияло на его авторитет. Все хохотали, когда на школьной линейке Славка стоял впереди малышни — он в третий раз учился в пятом классе — длинный и с презрительной улыбкой, но старая Бирееха любила сына до фанатизма и недостатков в нём не видела.

Славка дотянул до седьмого класса, в конце концов, пошёл на завод учеником электрика и стал отдаляться от поселковых пацанов, что его уже уязвляло. Он по-прежнему хотел верховодить, а случалось это всё реже. Не весть как, но остальные ребята продолжали учиться. Тянулись, кто как мог. После войны остаться без высшего образования считалось позорным. Позднее они почти все закончили десятилетку и даже поступили в вузы. Но не Славка. Ему с каждым годом было всё труднее заслужить внимание ребят — сплочённый когда-то мальчишник заводского посёлка разводили разные интересы.

Однако Биреев по праву считался изобретательным паренёком. И добрым. Казалось, жадности он ни в чём не знал. Он был готов делиться со всеми и всем: с первой полочки купил шикарный кожаный мяч, невиданный доселе на посёлке, и его лупили так, что вскоре камеру склеить ребята уже не могли.

Потом Славка притащил столб, вкопал его в землю в центре двора с помощью пятиклассников, украл из речпорта толстый и длинный канат, укрепил его на столбе и принялся лихо на нём кру-

жить, поплёвывая сверху в разинутые от восторга рты ребятни. На этих «гигантских шагах» перекатался весь посёлок. Славка придумал смертельный номер — на самой большой высоте он спрыгивал в толпу зрителей, никого не предупреждая о своих прыжках. Кто увиливал, отскакивал, тому повезло. Не повезло Борьке — Славка приземлился чуть ли не на голову ему. После этого Славка отбивался от Марата и Владьки целый час. Домой они пришли с разбитыми носами и синяками на каждой роже. Борька три дня не мог встать после прыжка Славки. Выйти из ситуации помогла дружба Ады с матерью Биреева — Верой Ивановной. Но даже в этом случае в глазах Веры Ивановны Славка был прав и невиновен. Во-первых, он сам рисковал. Во-вторых, он добра хотел, мальчишек радовал этим чёртовым столбом. В третьих, Боря мог бы и подальше отойти. В четвёртых, «ваши дети, Адочка, ничем не лучше Славки — вчера они на стенке чернилами нарисовали... Остапа Бендера. Да ещё в голом виде, с закорючкой между ног».

— Своё богохульство, Верочка, — кислотовато улыбалась в ответ Ада Исаевна, — они уже ощущаю прочувствовали. Но их настенная живопись всё же терпимее, чем прыгать здоровому парню на голову ребёнка.

— Но кто бы мог знать, — парировала Вера Ивановна, — что невезучей окажется голова вашего Бори?!

У Биреевой ещё была пропасть аргументов в защиту любимого Славочки. Тогда она не догадывалась, что недалеко время, когда и у неё впервые не найдётся слов для оправдания сына.

Владька вспомнил давнюю скандальную историю осенью 1948 года. Возможно, что самого мрачного года в послевоенную пору. Во всяком случае, для семьи Ады Винс это было так. Год назад Ада защитила диссертацию и стала заведовать кафедрой истории в престижном вузе.

«Лучше бы она не защищалась тогда, — не раз говорил Марат Владьке после смерти матери. — Она стала заметной в городе. Глядишь бы, и пронесло, работой она по-прежнему на заводе... незаметно».

Но не пронесло. Ада Винс, с её умом, талантом, принципиальностью и неукротимым характером, не могла быть незаметной. Её арестовали летом сорок восьмого года. За что? Нет более глупого вопроса в истории России двадцатого века. Да ещё для тридцатых или сороковых годов. Маму, как размышляли позднее Винсы, могли посадить по «ленинградскому делу», хотя она уже много лет жила в Сибири, могли привлечь как жену «врага народа», за «не ту» оценку Ивана Грозного, которая не совпала с представлениями усатого вождя, как говорила Ада, контрреволюционера, а не ленинца. Её могли посадить за честность, не позволяющую ей промолчать, когда нельзя не сказать, как «космополитку» и еврейку, как японскую, немецкую, английскую и одновременно американскую «шпионку»... но дальше предположения Марата и Владьки становились аморфными, и они замолкали. Их вариантов преследования не хватало, чтобы отгадать все бредовые придумки кэзэбистов сороковых годов, когда ленинградцев развозили по тюрьмам не только в Питере, но и по

всей стране, а на допросах партийную элиту военных лет с удовольствием избивали, в том числе и «своих членов ЦК и Политбюро». Сталинская «гвардия» бестрепетно пустила под нож ленинскую гвардию, а затем и весь цвет собственного народа. Бесцветье её больше устраивало.

Но Ада Исаевна после реабилитации, отсидев семь лет в лагере и вернувшись домой с лесоповала, категорически отказалась кого-то обвинять и что-то объяснять своим детям.

— Это прошлое, — сказала она резко. — Попусту потерянное прошлое. Для меня и для страны. А будущее — наша дальнейшая жизнь. Нам с вами важно не проворонить и её. Но чтобы не проворонить, надо работать и думать.

Работать и думать, работать и думать — вот что исповедовала и чем руководствовалась всегда Ада Исаевна Винс. Думая и работая, она отказалась после лагеря быть историком, и переквалифицировалась в политэконома, экономиста. Ада посчитала, что истории как науки не может быть, если она определяется очередными решениями пленумов и съездов партии. Несгибаемая коммунистка Ада Винс потратила лет двадцать, чтобы не остаться только кандидатом исторических наук, а стать ещё и доктором наук экономических. Но всё это уже было потом, после Сталина и Хрущёва, после детства и юности.

А детство для сыновей Ады, впрочем, как и юность, закончились досрочно, как раз в 1948 году. Это когда Аду арестовали и отправили в лагерь, Борьку через полгода забрала бабушка в Питер. Марат тогда же пошёл работать на завод, а Владька как попало заканчивал свою учёбу в школе. Поворотным пунктом для его ускоренного взросления стало получение паспорта в том же сорок восьмом году.

Их отец, коммунист Герман Винс, выпускник Чугуевского пехотного училища, а затем Петроградского университета и преподаватель истории Ленинградского университета, шесть лет защищавший в Красной Армии советскую власть был из немцев, которые обрусели ещё при Александре I. Все его сохранившиеся (после расстрела в Магадане в 1937 году) документы свидетельствовали, что он русский по национальности. Марат получал паспорт, когда мать ещё заведовала кафедрой, и никто даже предположить не мог, что вскоре Ада Исаевна будет не на кафедре, а на лесоповале в Тайшете.

Старшего брата записали русским по национальности отца. Но тогда с ними была мать. Совсем иначе отнеслись в милиции к Владьке, когда Ада уже не заведовала кафедрой, а работала на лесоповале в паре с молодой уголовницей, которая не раз пыталась скатить брёвна на убеждённую коммунистку.

...Владька долго вместе с другими посетителями торчал в коридоре милиции, ожидая, когда его пригласят, но не испытывая никакого волнения. В том числе и потому, что начальник милиции не раз бывал у них дома. Он где-то заочно учился, и Ада Исаевна вечно ему растолковывала теоретические премудрости истории и экономики. Братья не раз вместе с ним ели жареную картошку — коронное угощение матери — под не поощряемые

Адой, но неизбежные в устах Фёдора Ивановича анекдоты.

Владьку, правда, немного удивляло, что его приглашают не к начальнику паспортного стола, как всех, а к самому Фёдору Ивановичу. Хотя он мог бы и насторожиться — сорок восьмой год никого к благодушию не настраивал: разгоралась борьба с космополитами, почти сплошь имеющими такие же примерно фамилии, как у Марата и Владьки. Тем не менее, Владьку ничто не беспокоило. Он не сомневался, что маму арестовали по ошибке и недели через две она будет дома. Такой преданный партии коммунист, как мама, считал он, может быть в тюрьме только... «из-за клеветы врагов народа» или по какому-то сложному заданию партии. А клевета, говорила Ада, долго не живёт.

Борьбу с космополитами Владька полностью одобрял. Как патриот и убеждённый комсомолец, он одобрял и разгром генетики, о которой ровно ничего толком не знал. Словом, шестнадцатилетний паренёк одобрял всё, с чем боролась партия и комсомол. Ему отчего-то долго не приходило в голову, что в орбиту этой борьбы попали и его собственные родители, да и он сам.

Однако томиться в милиции Владлену Винсу надоело. Он нетерпеливо ёрзал на скамье, недовольно поглядывая на мильтонов со скрипучими сапогами, выскакивающих из кабинета Фёдора Ивановича, на скучную наглядную агитацию со страшными мордами бандитов, разыскиваемых милицией, на робких и терпеливых посетителей, на огромного и безрукого фронтовика с фигуристо вырезанной тростью. И мало-помалу волнение стало одолевать и его.

Всех уже пригласили, а они с фронтовиком как сидели в коридоре, так и продолжали сидеть.

— Тебе в школу надо, малец, — сказал фронтовик. — Ты чего здесь томишься? Набедокурил, что ли?

— Паспорт получаю, — басовито пояснил Владька.

— Ага! — откликнулся фронтовик и постучал легонько тростью по захоженному и загаженному полу, словно подтверждая своё уважение к подростку и к важности момента, который он переживал. Вижу, что ты уже сурьезный мужик. Людина с паспортом у нас уже не столько человек или мальчишка какой-никакой, а сколько гражданин страны Советов. А гражданина с паспортом легче вознести и ещё легче... угробить. Вот и я без паспорта оказался. Весь в дырках и медалях, а без паспорта. Ну, — ткнул фронтовик тростью в сторону кабинета начальника паспортного стола, — они и решают — вознести меня или вколотить, только человек я или ещё и гражданин. Паспорт у нас как божница — на него молиться надо. Сознать? Впрочем, вижу, что сознаешь.

Владька пожал плечами. Он не знал, что ответить этому мужику, не совсем понимая, то ли он всерьёз говорит, то ли шутит. «Скорее шутит», — подумал он, и тут вышла из кабинета начальница паспортного стола и строго произнесла: «Винс! Придёмте со мной!»

— К Фёдору Ивановичу? — тут же облегчённо спросил Владька, и на ногах его затрепетали широкие клещи с клиньями. Ответа он не услышал.

Главная «паспортистка» района открыла рот только в кабинете начальника отделения.

— Вот вам ваше чудо-юдо, — представила она с таким же скрипом в голосе, которые издавали милицейские сапоги.

— Ну, — захихикал доброжелательно Фёдор Иванович, — чуда я пока не вижу, а вот юдо... налицо. Заходи, ленинец.

Владька остолбенел. Он ещё не среагировал на это странное пригласение, но кровь в нём уже закипала. Он набычился, постоял, а потом решительно подошёл к стулу, сел и громко, вызывающе сказал, хоть как-то защищая себя:

— Здравствуйте, Фёдор Иванович! Мама вам привет передаёт. Пишет, что давно не слышала ваших анекдотов.

Но продемонстрированное Владькой знакомство с самим районным начальником милиции несколько не смутило Фёдора Ивановича. Он снова засмеялся и заметил сочувственно: «Рановато ещё для привета. Письмо от матери получите месяца через пять, не раньше...»

— Как через пять? — удивлённо и жалко вырвалось из Владьки. Для его ожиданий это был космический срок.

— Да вот так, — перестав посмеиваться, ответил начальник милиции и сочувственно вздохнул. — Письма оттуда, где сейчас Ада Исаевна, приходят раз в полгода. Пока ей ещё не до анекдотов. Ты не расстраивайся. У Ады Исаевны впереди много времени. Так что напишет, и письма придут. А пока давай тобой займёмся...

— Как это займёмся? — переспросил Владька встревоженно. — Я ничего не сделал, чтобы милиция мной занималась.

— Сделал, сделал... — снова засмеялся Фёдор Иванович. — Вот ты написал в документах, что по национальности — русский.

— Да, — растерянно признался Владька. — У меня отец русский. И старший брат русский. Он паспорт у вас же получал...

— Да знаю я, — сказал с неожиданной раздражённостью начальник милиции и почесал затылок, — что Марат русский теперь у нас. И про документы отца твоего знаю... Но сейчас к документам отношение построже, а отца твоего не расспросишь, далековато он от вас и... от нас. И писем он, видимо, вам не пишет. А ты скорее у нас... советский по национальности. Тебя как называли? В честь Владимира Ильича Ленина. Владимир Лен-ин! Влад-лен! — протянул с усмешкой Фёдор Иванович. — Но такой нет национальности — советской. Народ есть, а национальности — нет. Есть русские, немцы, евреи и какие-нибудь татары. А Винсы, конечно, из немцев. Хотя и обрусевших, но немцев. Сейчас (Фёдор Иванович слово «сейчас» сказал погромче) я не могу ошибаться, выдавая тебе паспорт. У тебя мать еврейка, а отец — немец. Ты имеешь законное право выбирать свою национальность из этих двух. Понял?

Владька сидел ни жив, ни мёртв. Он, наконец, понял, что предлагает Фёдор Иванович, и пред-

видел, что это будет означать для него в России. Немцем Владька решительно, до отчаяния не хотел быть. Потому что он тогда бы хоть чем-то, но походил на тех немцев, которых водили колоннами вооружённые конвоиры на стройки, в баню и в столовую. Или на тех, кто ежемесячно отмечался в милиции и жил в бараках, выполнял самую чёрную работу на заводах. Или на тех, что стучали деревянными подошвами на рынке, меняя кусочки мыла на еду, особенно на картофельные драники. А также на тех ребят, кого гнобили поселковые мальчишки только за то, что они немцы. Нет, вскоре после войны, когда враги были немцы, Владька решительно немцем быть не хотел.

Но и евреем он не хотел быть тоже не менее сильно. И не потому, что их вдруг много выявилось среди космополитов. Эта борьба хотя и несла тревогу, но проходила слишком далеко от заводского посёлка и его жизни. Он не хотел иметь эту национальность, потому что евреев считали богатыми, жадными и трусливыми. Винсы не относились ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим. По общему признанию, Ада и её сыновья считались в посёлке самыми нищими.

Даже соседка Вера Ивановна, получавшая скромный паёк на металлургическом заводе, как электрик высшей квалификации, считала себя богаче Винсов. Все вещи в доме Ады Исаевны были в единственном экземпляре. Вторая юбка Аду, уже доктора наук, раздражала до самой смерти. Жадной аскетку Аду и её детей мог назвать только злобный идиот. Любой, кто к ним заходил, у них подкармливался, если в доме была хоть какая-то еда. Да и в трусости обвинить Аду Исаевну не решался никто. Она могла на спор броситься в ледяную воду, переплыть Обь, оказать сопротивление любому хулигану, сесть на необъезженную лошадь, пугающую даже здоровых мужиков.

Также она воспитывала и детей — в аскетизме, опрятности, бесстрашии и безоглядной преданности своей стране, партии и комсомолу. И, конечно, в интернациональном духе. Унижать братьев Винсов никто не решался. Они дрались отчаянно, защищая себя, и редко находились желающие с ними связываться.

В потасовках у каждого был свой стиль. Марат дрался упорно, но расчётливо, а Владька в мальчишеских схватках вёл себя взбудоражено и нелепо, как слепой, не сильно разбирая, кто прав или виноват. В драке он сатанел, ярость его переполняла, но это чаще всего мешало ему, чем помогало.

Ада, если речь шла не о Борьке, никогда не ввязывалась в объяснения с сыновьями, говоря одно в ответ на обиды и жалобы мальчишек: «Разбирайтесь сами». Так они отучились жаловаться, разбирались сами. Зная, что Ада Исаевна еврейка, никто среди ребятни почему-то никогда не вспоминал об этом. Да и не посмел бы. А тут, в милиции, Владьке официально предлагали быть евреем. То есть, по его тогдашнему пониманию, предлагали быть трусливым и жадным. Но не богатым — начальник милиции хорошо знал, какой достаток у Винсов. Вот почему предлагаемая Владьке «самоидентификация» была ему не по нутру.

Владька не чувствовал себя ни немцем, ни евреем, а только русским — и больше никем. Он

не знал по-еврейски ни слова. Немецкий язык Винс ненавидел, и всё, что он слышал на этом языке, казалось ему длинным, звучащим как ругань или приказ. Об этом он и вспоминал в кабинете начальника милиции в гнусный осенний день 1948 года. Но долго вспоминать, а тем более находиться ему, мальчишке, сыну «врагов народа», в милицейском кабинете уже не полагалось.

— Ладно, — наконец, сказал он, — пусть я буду евреем, запишите в паспорт... так.

— Вот и хорошо, Владик, — ободряюще сказал Фёдор Иванович, оживляясь — у него явно поднялось настроение. — У нас все национальности равны. Да и какой ты немец? Смех на лужайке... Ты чёрный, кудрявый, красивый. А почти все немцы — крысы белобрысые или рыжие. Марат же у вас светленький, в папашу, видно. Пусть один брат русским будет, раз уж так случилось, — со вздохом сказал Фёдор Иванович, — а другой — еврей. Целый интернационал... Так что ты правильно решил. И согласие твоё добровольное, у тебя был выбор. Правда?

— Хорошо, раз положено, — ещё раз согласился интернационалист Владька и вышел из кабинета. И тут его настигло одно воспоминание — о Лёшке Мезмере, тоже еврее, как и он... теперь.

...Владька медленно возвращался домой. Он очень проголодался, но ни в одном его кармане даже гривенник не затерялся. После ареста матери они с Маратом продали уже всё, что сумели: патефон, выцветший лисий воротник мамы, энциклопедию, три словаря, большое фарфоровое блюдо с голубыми сердечками — единственную семейную драгоценность, португено, оставшуюся от отца с гражданской войны, обтрёпанный портфель с накладными замками и... давно пустовавшую кошечку с прорезью наверху для накопления мелких монет. Больше у них не было ничего достойного внимания барахолки и сильно поредевших знакомых после ареста Ады. Оставались ещё пластинки с песенками Козина и американскими фокстротами да многочисленные мамины облигации, которые она получала после очередных займов. Увы, они никаким спросом не пользовались.

Правда, у Винсов ещё оставались знакомые, которые не отвернулись от них после ареста Ады. Наоборот: к Владьке и Марату они теперь относились гораздо внимательнее и чутче, чем прежде. Это были Добровольские.

Глава семейства, Николай Григорьевич, преподавал сопромат в водном институте, а его жена, Наталья Алексеевна, работала терапевтом в какой-то ведомственной поликлинике. После ареста Ады Исаевны Добровольская сразу же привезла мальчишкам Винсам на скорой помощи мешок картошки, о чём они потом помнили всю жизнь. Сын Добровольских — Лёшка — учился на класс младше, чем Владька. Он выполнял при старших Винсах роль оруженосца. Однажды Марат с Владькой его защитили в школьной драке, и Лёшка преисполнился благодарности. Он то приносил им змею, которую бесстрашно превращал в шарфик на своей шее, то демонстрировал им зажигалку в виде пистолетика, то покупал братьям билеты в кино и никогда не соглашался взять у Винсов деньги.

Семья Добровольских считалась благополучной и была хлебосольной. Владьку, едва он появлялся, тут же усаживали за стол и кормили, а в дорогу Наталья Алексеевна обязательно всовывала в его карман пакетик с пирожками.

Когда он приходил домой и разворачивал пирожки перед Маратом, то старший брат тут же говорил:

— Опять у Добровольских был! Ты не нищенствуй!..

Владьку это обижало, и потому в гости к Добровольским он ходил редко. Но сейчас, после милиции, где он стал евреем по паспорту, он находился в таком душевном смятении и расстройстве, что одиночество его было нестерпимым. И он пошёл к Добровольским.

Лёшка ему очень обрадовался, Наталья Алексеевна тут же засуетилась и накрыла стол, а Николай Григорьевич выплыл из своего кабинетика с шахматной доской. Иногда они с Владькой блицевали по двадцать партий подряд, и Лёшка торжествовал, когда отец проигрывал, а Владька выигрывал. Но на этот раз Добровольские почувствовали, что Владику не до игры, и с ним что-то случилось. Они деликатно молчали, пока он торопливо ел. Только потом Наталья Алексеевна спросила негромко:

— Владик! Как ты себя чувствуешь?

Владька от этого простого вопроса чуть сразу не разрыдался. Он еле-еле удержал слёзы. Его так давно не спрашивал никто, как он себя чувствует. И в нём крепла уверенность, что теперь в жизни его уже об этом никто и не спросит. А вот спросили... и он ослабел, расчувствовался и дрожащим голосом сообщил Добровольским, что мама ещё долго, наверное, будет в заключении, как сказал Фёдор Иванович, а он теперь по паспорту еврей, хотя Марат, напомнил Владька, русский.

— Ну и что?! — удивился Николай Григорьевич и добавил со смешком. — Евреи, как правило, гораздо лучше играют в шахматы. Ты это подтверждаешь... У нас с тобой какой счёт? Шестьдесят один на сорок три в твою пользу.

— Не шути, Коля! — строго попросила Наталья Алексеевна. — Владику не до шуток. Сейчас порядочному человеку хоть записывайся в евреи, чтоб потом стыдно не было. Этот антисемитизм-космополитизм, который развели у нас чиновники, всякие фёдоры иванычи, замазает всех, а русских в первую очередь. Я видела последний «Крокодил» — это ужас какой-то черносотенный. Такого похабства давно не помню. И это про евреев, среди которых более ста Героев Советского Союза... И что: наших великих музыкантов, шахматистов и физиков тоже надо вычеркнуть из жизни только потому, что они евреи?! Какая возмутительная тупость?! — Владик! — встав из-за стола, сказала торжественно и страстно Наталья Алексеевна. — Запомни навсегда: твоя мать ни в чём не виновата. И вы с Маратом, милые мои полукровки...

— Кто? — переспросил удивлённо Владька.

— Да так, Владик, раньше называли людей, в которых перемешались разные крови. Практически полукровки все люди в России. А в Сибири — особенно. У нас только полный дурак может думать о чистоте своей крови или расы. Поверь мне как врачу. Возьми нашу семью. В Добровольских течёт

кровь татар и поляков, русских кержаков и поморов. Это наше богатство и достоинство, а уж никак не ущербность. Мы бы давно выродились без этих примесей. Плюнь ты на этого Фёдора Ивановича и живи без оглядки на свой спорт, что бы и кто бы, тебе ни говорил. В этом смысле ты можешь брать пример с нашего Лёшки: он живёт, не оглядываясь ни на кого и ни на что, словно в будущее для него уже проложили асфальтированную дорожку.

— Да уж... — подтвердил Николай Григорьевич и принялся на доске расставлять шахматные фигуры.

Домой Владька вернулся поздно. Марат не спал, ждал брата. На столе стояла сковородка с жареной картошкой, залитая яйцами.

— Откуда такая роскошь? — спросил Владька. — Но не тянет... Есть не хочу.

— Опять нищенствовал у Добровольских? — спросил Марат строго. — Ты не забыл, надеюсь, что я теперь работаю на заводе.

— А что нам остаётся?! — скривился Владька. — Мы с тобой полукровки.

— То есть?! Это ты о чём? — удивился Марат.

— Я об этом, — буркнул Владька, достал паспорт и раскрыл его.

— Национальность — еврей, — прочёл Марат чеканно и ещё более медленно спросил: — Фёдор Иванович?

— Да, — негромко подтвердил Владька.

— Сука-милтон, — процедил Марат. И добавил. — Владька, мы им и это припомним.

Владька не ответил. Он обтёрся холодной водой, к чему его с детства приучила Ада, почистил зубы и лёг спать. Впервые пирожки от Добровольских он забыл вынуть из кармана и отдать Марату. Перед самым сном он подумал: «А почему Марат сказал «им»? Кого он имел в виду? Всю милицию, что ли, а не одного Фёдора Ивановича?».

Нехорошая забава

Биреев — как ученик электрика — возвращался с работы домой раньше остальных. Он мыл руки, ел дивный борщ Веры Ивановны, запах которого восхищал всех Винсов, и выходил во двор с достоинством и наблюдательностью трудового человека, уже имеющего полное право на разнообразный отдых. Да вот беда: разнообразным отдых редко получался. Ребята куда-то разбрелись, «гигантские шаги» во дворе сломали, шахматы надоели, тащиться на лесоперевалку, чтобы выкупаться, далеко, книгу, которую брал у Винсов, прочёл, а «что ещё делать?» Ответа на этот вопрос Славка не находил. Он лениво переводил взгляд с одного подъезда на другой всех трёх домов, образующих двор. Никто не появлялся.

Но вот скрипнула дверь, и из подъезда вышел Борька. Он сел на скамейку рядом со Славкой и принялся ожидать старших братьев. Борьке строго-настрого Ада запрещала далеко отходить от дома. Он мог заблудиться даже на родном посёлке. Ориентироваться на местности он не умел совершенно. Кроме того, младший брат всем доверял и во всё верил, чем, конечно, пользовались мальчишки.

Он верил, что килограмм камней тяжелее килограмма моркови. Верил, что на Марсе живут

марсиане, а на Нептуне — нептунята. Он верил, что на левой ноге у Олега Немчинова есть дополнительный палец, и растёт он у него из пятки. И поэтому, когда играют в футбол, у Олега такой хороший пас назад. Марат и Владька всё время высмеивали брата за эти бредни, разуверяли его. Тщетно: Борька всё равно верил. Ада посмеивалась и говорила старшим сыновьям: «Не усердствуйте и не демонстрируйте свою копеечную эрудицию. Пусть Боря верит, во что хочет. Из фантазий часто рождается особое мировоззрение. У фантазёров картина мира шире, богаче, интереснее».

— Это же чушь, мама! — загорался Владька. — Борька верит любому вранью. Его дуруют внаглую!

— Не страшно, — успокаивала Ада. — Он вырастет и разберётся, где чушь, а где — мечта или... богатое воображение. Материалистов и прагматиков без Борьки хватает. Но за братом вы должны следить. Он может вляпаться в беду со своим тотальным доверием. А спрос будет с вас.

— Ага! — ворчал Марат. — Борьку дуруют, а с нас спрос.

Славка Биреев никогда Борьку не дурил. Он относился к нему покровительственно и нежно, находя в нём много общего с самим собой. Борька тоже отставал в школе, тоже был добр и очень верил ему, Славке. Раз Славка так говорил, значит, так и есть.

— Борька! — спросил у младшего Винса Славка. — Ты хочешь быть... чёрной кошкой?

— Как это?! — удивился Борька.

— Нарисуем тебе сажей усы...

— А тебе? — спросил, колеблясь, Борька.

— Да всем нарисуем: и мне, и тебе, и Лёнке Мезмеру — он вон тоже вылез из дома, и всем остальным пацанам.

— И что тогда будет?

— Тогда будем играть и... пугать. Например, заводских девок, когда они в темноте идут в общагу после вечерней смены.

— Не-е-т, — протянул Борька, — мама мне так поздно не разрешит.

— Так Ада Исаевна опять в командировке.

— Марат заругается...

— Нашёл, кого бояться, — скривился Славка. — Он же теперь в секцию ходит, в тяжеловесы тянется. У нас каждый воробей хочет стать котом.

— Да и Владька меня не пустит, — тихо возразил Борька. Ему очень захотелось поиграть в «чёрную кошку».

— Ха! — засмеялся Славка. — Да мы Владьку так намажем, что он будет вторым главным кошачком.

— Тогда ладно, — согласился, повеселев, Борька.

К вечеру Славка Биреев уже сбил из пацанов целый отряд налётчиков. Мазались они все в отдельной квартире Мезмера. Отец Лёньки — начальник производства на металлургическом заводе — возвращался с работы поздно. У него, единственного на всём посёлке, была «Победа». С женой старший Мезмер развёлся, а сын почему-то жил не с матерью, а с ним. За Лёнькой присматривала домработница — весёлая и толстая Дашка, вокруг которой кружило немало парней. Флегма-

тичный и малоразговорчивый Лёнька на Дашку не обращал внимания и делал, что хотел. Его отец в самом конце войны ездил в Швецию знакомиться с новыми технологиями на металлургических заводах. И привёз оттуда сыну фломастеры. Раньше никто из мальчишек их никогда не видел. Вот фломастером Лёнька и превращал ребячьи рожи в кошачьи. Усы Славке он закрутил, на щёки нанёс зловещие наконечники. Владьке, тоже согласившемуся поиграть, Лёнька вывел на лбу чёрный крест, усики сделал, как у д'Артаньяна, глаза обвёл жирными полукругами, а на щеках Борьки нарисовал по милой и обаятельной кошечке с прорезьями на головках. Они напоминали копилку, куда домработница Мезмеров сбрасывала мелочь.

К девяти часам вечера вся команда Биреева имела вполне «кошачий» вид. Послевоенная легенда о банде «Чёрная кошка», ходившая по городам и пугавшая всех, теперь имела некоторое реальное подтверждение.

— Лёнька! Возьми отцовский фонарик, — приказал Славка. — Уже темно. Будешь врубить его при атаке. Короткими вспышками. Чтобы страшнее было.

Они вышли во двор. Владька хорошо запомнил тот вечер. В небе звёзды светились как подсвеченные. И висели они, казалось, рядом. Сарай, стоявший в центре двора, напоминал огромный комод, каркали вороны, звякала и урчала дорога, когда проезжали заводские студебеккеры.

Около одиннадцати вечера ребята потянулись к женской общаге. Славка и Олег шли первыми, а остальная пацанва рассредоточилась в цепочку около магазина и школы. В случае опасности удирать, решено было, на пустырь за баней. Борька тянулся после всех.

Он не знал, что ему делать в этой игре, но впереди шёл Владька. Это успокаивало. Владька ему скажет, что делать. Но брат не успел...

Едва в темноте послышались женские голоса, как Славка Биреев противно замыкал — заулюлюкал, а это было сигналом, и вместе с Немчиновым побежал в темноту, откуда доносились девичьи голоса. В темноте запрыгал огонёк фонарика Лёньки Мезмера, а потом на какое-то мгновение всё стихло, кроме топота ног пацанов, побежавших за Славкой и Олегом.

Борька тоже побежал, но не в ту сторону — сбился в темноте. Правда, ненадолго, потому что он услышал женские крики и взвизги, и понял, что надо бежать туда, где они раздавались. По крикам он догадался, что игра началась. Он снова побежал, но тут же наткнулся на кого-то и упал.

— Ах ты, паскудник! — услышал он. — Это ты мне ножку подставил?

— Нет, не я, — тихо и растерянно ответил Боря. — Я сам упал.

Тётка, на которую он наткнулся, оцупала ему голову и сказала уже спокойнее и добродушнее: — Да ты совсем малой! Тебе меня не сбить... А где ж твои кореша?

— Побежали, — сразу же признался Борька, и добавил, — играть.

— Ничего себе игра, — выругалась тётка, — валить девок до утра.

— Но мы же «чёрная кошка», — еле слышно и уважительно пояснил Борька. — Мы хотели вас испугать.

— Вот тебе раз, — усмехнулась тётка, — хотели испугать, а лезете под юбки. А у нас Анька беременная. Ты знаешь, что с ней может случиться?

— Нет, — искренне заверил Борька.

И тут тётка принялась хохотать и чертыхаться:

— Вот сопля на лужайке, дьявол тебя задери, ещё не знаешь, а уже бежишь. Пойдём-ка со мной.

Тётка схватила крепко Борьку за руку и подвела к фонарю. Под светом она его внимательно разглядела и сказала, улыбаясь:

— Жаль, что малой. Ты мальчонка хорошенький, я бы тебя увела...

Но тут из темноты выскочил разгневанный Владька, подскочил к Борьке, и крикнул яростно:

— Домой, Борька, больше не играем.

— Что ещё за чучело? — строго спросила тётка, приглядываясь к разрисованному лицу Владьки.

— Это мой брат, — ответил Борька. — Он у нас главный кошак.

— Вот его мы и возьмём, он подойдёт уже, пусть пугает и дальше...

Тётка направилась было к Владьке, но сразу остановилась. Печать неприступности и гнева окрашивала лицо мальчишки.

— Серьёзный мужичонка у тебя брат, — сказала тётка, обращаясь к Борису, и ушла в темноту, к своему общежитию.

Через день мальчишеская кампания распалась, все рассорились и отчего-то затаились. Двор пустовал, и даже Борька понял, что игра не удалась. По посёлку поползли зловещие слухи: какое-то хулиганье, рядясь под «чёрную кошку», нападает по вечерам на девчонок из общежития, сбивает их с ног, грабит, а иногда даже насилует. И все эти слухи как будто бы подтверждались, потому что квартиры принялся навещать участковый уполномоченный Виктор Вешников — приветливый, спокойный и неотступный.

Он заходил, вежливо здоровался и с удовольствием пил предложенный ему чай, всегда отказываясь от стопки, заводя неспешный разговор про жизнь, детей и завод. Прямых вопросов он не задавал, никого ни в чём не подозревал, но даже по мелким деталям и фактам безошибочно устанавливал, что и где произошло, и кто был главным героем всех поступков и проступков, разволновавших подведомственный ему заводской посёлок.

Окончательный вердикт Вешников выносил неспешно, в суд дела оформлял не торопясь, с дотошным учётом многих жизненных обстоятельств: бедная семья или с хорошим достатком, много ли детей у родителей или набедакурил сын матери-одиночки, по глупости ли оступился паренёк или разбалованный уже стёрвёныш. Конечно, он принимал во внимание и другие обстоятельства: есть ли в семье члены партии, как работают родители на заводе, в каких условиях живут, приезжие ли люди или коренные сибиряки. Вешников никому не хотел ломать судьбу и по-своему, с

явными отступлениями от уголовного кодекса, оценивал и меру содеянного, и меру наказания.

Первое появление Вешникова в доме родителей обычно не волновало. К нему относились с уважением и привечали милиционера охотно. Тревогу вызывал второй визит Вешникова.

Об этом знал весь посёлок. Вот почему, когда Биреева увидела во второй раз у себя дома долговязую фигуру милиционера, то у неё защемило сердце.

— Заходите, Виктор Николаевич, — сказала она приветливо, но не скрывая тревоги. — Чайку, а может, чего покрепче?!

Это предложение было явным проколом Веры Ивановны. Весь посёлок знал и другую особенность в поведении и работе участкового уполномоченного: в свой второй визит он никогда не соглашался ни на какие угощения, демонстрируя свою беспристрастность, объективность и независимость при окончательных выводах, которые он сделал в данный момент.

Вешников насупился и холодно ответил, что он при исполнении, и ему сейчас не до угощений. Его занимает и беспокоит совсем другое...

— Что же это такое, беспокоящее вас? — спросила, всё более напрягаясь, Вера Ивановна.

— Скорее кто, а не что, — поправил Вешников растревоженную мать. — Меня очень беспокоит, уважаемая Вера Ивановна, ваш сыночек, Славочка ваш ненаглядный. Уж очень сильно вы любите его, совсем заласкали и забаловали.

— А почему бы мне его не любить?! — возразила весело Биреева. — Он у меня добрый, ласковый, грубого слова никогда матери не скажет.

— Вот, вот! И вы ему тоже никогда не скажете грубого слова. А надо бы, надо бы... Он трижды сидел в пятом классе, а вы ему всё ласковые слова говорили. Он на посёлке лупит мальчишек чаще, чем родители. Двоим рёбра сломал...

— Так он же всегда за справедливость, его не понимают...

— Хороша справедливость — кулаком в глаз.

— Кого же это он избил в последнее время, вы скажите, Виктор Николаевич, скажите, — защищая сына и, понемногу ожесточаясь, потребовала Вера Ивановна.

— В последнее время он никого не избивал, это верно, — согласился участковый и добавил медленно. — В последнее время у него другие увлечения — пугать молодых работниц в темноте, валить их с ног и щупать. Вот одну он пощупал, а у неё от страха выкидыш случился. И я, Вера Ивановна, не знаю, что теперь будет с вашим... Славулей.

Обычно Биреева сразу отметала всё плохое, что говорили о сыне. Она не верила никому и ничего худого за Славиком не признавала. Но в этот раз она чувствовала: участковый не врёт. Вешников внушал ей доверие и своей настырностью, и своей искренностью. Он, как и Славка, рос без отца и поселковых мальчишек понимал, как никто другой. Но в деле Биреева, судя по обстоятельствам, участковый ничего замолчать или хоть немного притушить уже не мог. И только Вешников знал, почему не мог.

Молодая женщина, у которой случился выкидыш, была женой знатного прокатчика-

орденоносца, выступающего от завода на всех районных митингах и чуть ли не первым подписывающегося на займы. Кроме этих, широко известных заслуг, прокатчик только что выбил ордер на однокомнатную квартиру как раз под беременность жены, а тут выясняется, что беременности-то уже и нет. Пусть из-за хулиганства, ночного нападения, но нет. Ордер могут и отобрать. На квартиру полно других кандидатов с живыми детьми. Прокатчик совсем озверев, если отберут ордер, и он останется в общежитии. Да и едва ли поведение биреевского отпрыска можно квалифицировать как хулиганство... Не дай бог припишут групповой бандитизм.

«Тогда... — думал Вешников, — Хорошо бы парня спасти, зелёный ещё... Хотя подлая его повадка уже видна... Жаль мать. Только им и живёт, этим... шутником с пробивающимися усами».

— Славке, — с нарочитой грубостью спросил Вешников, — шестнадцать уже исполнилось?

— Нет, — прошептала Биреева, — только через два месяца будет. Ты уж прими это во внимание, Виктор Николаевич.

— Я, может, и приму, — вздохнул участковый. — Примет ли суд — не знаю...

Он встал, собираясь уйти, но тут Бирееву будто прорвало:

— Суд? Неужели будет суд, будут судить моего ребёнка, моего Славика?! Да кто тебе сказал, что он это делал, сбивал баб с ног, тискал их? Он что: один был? Охотников потискать в темноте везде полно. Да и во дворе в глазах рябит от детворы, сосланных и вербованных девок, они сами что хошь и кого хошь пощупают...

— Тут вы правы, — честно признался участковый. — Ребятни было много, и каждому я бы надрал одно место, но остальные орала и мяукали, а сбивал девок с ног один — ваш Славка. Он ребят подбил на игру в «чёрную кошку». Всё проверил, Вера Ивановна, всех опросил... Так что не сомневайтесь.

— И свою Дашку расспрашивал? — строго и без жалости спросила Биреева, тоже показывая, что она не глухая и не слепая ходит по посёлку. Но Вешников, один из ухажёров домработницы Мезмеров, откровенно подтвердил: «Дашку расспрашивал в первую очередь. Вы же знаете: у неё язык молчком не живёт».

Этот ответ Веру Ивановну доконал окончательно: она засуетилась, заплакала, стала заискивать, что для неё, самостоятельной и гордой женщины, было вчуже.

— Так ты учти, миленький Виктор Николаевич, — просила она, унижаясь, — ему ещё и шестнадцати не стукнуло, а уже работает, старается. Ты же знаешь, как трудно без отца растить сына. Ты ведь мальчишек понимаешь, ты хороший.

— Я, Вера Ивановна, всякий. Да и всякому хорошему не будешь, — сказал Вешников и вышел на улицу.

Ладно, в последний раз, поклялся он себе, помогу Биреехе. Дело он затянет, раскручивая его совсем в другом направлении. Едва ли в правильном, сомневался Вешников. Следовало бы наказать этого бандитёныша, чтобы потачки не

было, для острстки, но мать тогда сразу увянет. Да и кадровая работница, тянет из себя жилы ради сына. Как когда-то и его мать...

В тот же вечер участковый пошёл в общежитие к прокатчику. Металлург сидел в комнате один и пил водку. На столе лежала таранька, кусок ливерной колбасы и нарезанное аккуратными ломтиками сало. Для голодного сорок шестого года и заводского посёлка стол был богатый.

— Хорошо живут металлурги, — приветствовал прокатчика как можно доброжелательнее Вешников.

Прокатчик ничего не ответил, не поздоровался, налил себе ещё водки, выпил, и устало пожевал кусочек сала.

— Узнал? — только и спросил он.

— Многое узнал, — успокоил рабочего Виктор Николаевич. — Но не всё... Повозиться с этим делом ещё придётся.

— А тебе зарплату за это платят, ты же металл на стане не гоняешь, — буркнул презрительно прокатчик и снова налил себе водки.

— Вижу, уже вещи сложил, — заметил участковый, показывая на кульки и свёртки, наваленные на кровать. — Перезжать собрался?

— Перееду, когда въеду, — ответил прокатчик. — А пока надо морду кое-кому набить, если ты раскорячишься и найдёшь, кого я ишо не знаю.

— Набьёшь морду — не переедешь, — спокойно и строго заверил прокатчика участковый. — Можешь не туда переехать...

— По мне сейчас хоть куда... Жена всё равно уехала к матери в деревню.

— М-да, — посочувствовал Виктор Николаевич. — Но новоселье справлять всё равно придётся. Я приду к тебе, если не возражаешь.

— А будет ли оно, новоселье?! — спросил прокатчик тихо, словно сразу протрезвев.

— Будет, конечно! — зашумел участковый. — У тебя же ордер в кармане. Через три дня заселяют дом, узнал точно. Тебе все сочувствуют, понимают, что жену надо сейчас поддержать в нормальных условиях. Ты кому-нибудь говорил, что она уехала в деревню?

— Никому ещё не говорил.

— Вот и не говори никому... временно, — подержал участковый. — Нечего каждому шастать в семейную беду. Ну, а как обустроишься, то и её привезёшь. Ты посмотри на себя, ты же трактор, а не мужик. После войны таких хряков почти не осталось. У тебя ещё будет столько детей, что придётся повзводно их строить, настругаешь бойцов для матери Родины.

— Скажешь тоже... — хмыкнул прокатчик и опять выпил.

— Давай, — предложил участковый, — завтра с утра передем в твою новую хату. В виде исключения. В завкоме договорюсь... Сообщу со вздохом, что ты в ступоре, морально сильно подавлен.

— А мне всё равно, — махнул рукой прокатчик. — Одного хочу — морду набить.

— Да кого ты будешь бить?! — деланно взорвался участковый. — Пятнадцатилетнего дурня одинокой старухи, которая неподалёку от тебя, перемазанная машинным маслом, работает?! Ну, проломишь ты ему башку... и что: тебе легче будет

на своём стане, когда ты по рольгангам листы гоняешь? Ни хрена тебе не будет легче. Судьбу свою сломаешь, а ты, можно сказать, гордость рабочего класса нашего района. Тебя впереди звезда героя ждёт, а не погоны лейтенанта милиции. Ты будешь, как сыр в масле кататься, вот помяни моё слово. А этого гадёныша, который валил в темноте твою беременную жену, всё равно в тюрьме сгноят. Не сейчас — он ещё малолетка, а позже. Уж я-то знаю, крест на нём такой.

— Точно? — чуть ли не радостно спросил прокатчик. — Значит, ты знаешь?

— Знаю, но не всё, доказательств ещё мало. Но могу тебе дать честное слово коммуниста, что в тюрьме этот парень проведёт больше времени, чем на воле.

— Ну и дай мне это честное твоё слово! — сказал страстно и мстительно прокатчик.

— Ну и даю! — ответил ему печально участковый.

— Так давай выпьем. Или ты опять при исполнении? — спросил презрительно прокатчик.

— Давай! — согласился Вешников, учитывая особенность момента.

...Утром в дежурной милицейской машине Вешников перевёз знатного прокатчика в новый дом, выстроенный в трёх километрах от заводского посёлка. Теперь прокатчику ходить в общагу было незачем. Участковому удалось дело Вячеслава Биреева закрыть по-тихому. Но, как и предполагал он, в последний раз... Прогноз участкового уполномоченного оказался вещим и зловещим. В жизни Славку Биреева действительно разложила тюрьма за три «ходки», прокатчик стал действительно Героем Социалистического Труда, и он, как и напроорочил Вешников, нарожал вместе со своей женой много детей. Но не с той, у которой был выкидыш. С другой. Однако до этого каждому ещё предстояло прожить жизнь. В том числе и Славке Бирееву. А тогда, в голодном сорок шестом году, он готовил страшную месть Лёньке Мезмеру на пустыре за баней. За предательство. Тем более, что впервые в жизни Вера Иванова сразу после Вешникова стеганула сына по спине изо всей силы старым отцовским ремнём с бронзовой пряжкой.

...Ада Исаевна Винс, вернувшись из командировки и, всё разузнав, поступила проще — наказала Марата, хотя он никакого участия в ночной игре Славки Биреева не принимал. Но Марат оставался в доме за хозяина, был старшим, и потому, с точки зрения Ады, был виноват больше Владьки, раз не углядел. Марата отлучили на месяц от всего, кроме школы, он извлёлся дома, подрался с Владькой и загаил зуб на Славку Биреева. Игра в «чёрную кошку» имела для посёлка и другие, более отдалённые, последствия.

...Поселковый мальчишник гудел от голосов на пустыре за баней в разные дни, но любимым была суббота, когда после занятий в школе никто не думал об уроках и не спешил домой. Пустырь, не интересный для посторонних, считался знаковым местом для ребятни. Здесь играли в шахматы на почерневшем пне давно спиленной берёзы, играли в городки, в лапту, часами гоняли футбольный мяч, часто тряпичный, и там, где обозначались

бульжниками ворота, трава давно была вытерта мальчишескими подошвами и телами. Но главное назначение пустыря всё же состояло в другом: он на посёлке играл роль лобного места или Сенатской площади. На пустыре дрались стенкой на стенку, выясняли отношения и выносили приговоры тем, кто предал, струсил, обманул или выдал.

Нигде не прописанный кодекс пустыря имел давно выстраданные правила: лежачих и малышня не бить, с инвалидами не связываться, при взрослых ничего не выяснять и ни о чём им не рассказывать.

Дрались на пустыре до первой крови. Ножи перед схваткой выбрасывались на землю и ребята строго за этим следили. В схватке допускалось одно оружие — кулаки. Всё остальное — биты, финки с наборными рукоятками, латунные выпрессовки — пускались в ход только в драках с ребятами других дворов. Своих, по общему умолчанию, калечить не полагалось. Конечно, одной драки для отмщения ребятам не хватало. В ходу были и другие формы наказания. Например, месячное и коллективное отторжение виноватого. Это когда тридцать дней к нему никто не подходил и с ним не разговаривал. С наказанным парёнком не играли вместе в футбол, с ним не ходили в кино, ему не давали зоску, и не подпускали к «гигантским шагам». Даже в речке купались в сторонке от него, как от прокажённого и отверженного. Это наказание для некоторых мальчишек было гораздо хуже драки, потому что та пустота общения, на которую их обрекал пустырь, была тяжелее и позорнее, чем, положим, в третий раз расквашенный нос. Но самым унижительным наказанием считалось в посёлке, когда на обвиняемого пацаны... мочились. Такому пареньку лучше было сразу съезжать с посёлка. От него сторонились, как от чумного. На прощение претендовать он не мог. Его звали не по имени, а по унижительной кличке — «мочёный». У мочёного разрешалось всё отобрать, куда угодно его послать и каждому соплику дозволялось в него плюнуть. Принимая всё это во внимание, ребяташки вздрагивали, когда им подкидывали записку с двумя словами «В субботу — на пустырь». Это означало одно: на наказание, на приговор. Но при этом не исключалось и право на оправдание.

Цинизм, жестокость и романтизм вполне уживались в послевоенной ребятне.

Ни один мальчишка даже думать не позволял себе о том, чтобы не прийти на пустырь. Тогда он становился изгоем. Его били за трусость при любом подходящем случае, и ребята вышвыривали его из своих компаний, как старую и давно сломанную игрушку.

Славка Биреев ещё в пятницу подбросил Лёньке Мезмеру записку с роковыми словами и вечером того же дня принялся вести активную оргработу. Он жаловался пацанам, что Лёнька выдал его участковому и теперь ему, ни в чём не виноватому, грозит детская колония.

— Эту суку, — говорил он запальчиво, — надо наказать. Стукач должен быть обо...н. Мы ему ещё рот бзниковой набъём.

Бзниковой, которую в войну ели все ребяташки, назывались чёрные ягоды паслёна. После войны,

хотя голод и продолжался, бзнику уже никто не ел. Пацаны её презрели. Тем более, что теперь бзнику ели военнопленные немцы.

К пятнице двор жужжал, как пчелиное гнездо, а в субботу многие ребята убежали с уроков на пустырь. Лил проливной дождь. Пацаны долго толклись в бане, пережидая его. А потом их потурили на улицу, потому что привели мыться колонну военнопленных немцев. Команду ещё не подали и колонна, в ожидании команды, стояла как вкопанная. Ребята смотрели на немцев спокойно, уже без того первоначального и нервного интереса, с которым они смотрели на них впервые в 1944 году, когда их привезли. К военнопленным немцам город успел привыкнуть. Они попадались всюду — в саду Кирова, где строили летний театр, на заводе, где возводили трубный цех, на базаре, где они меняли перламутровые зажигалки на толстые шерстяные носки, а иногда даже на танцплощадке. Любой разговор с местными жителями немцы начинали с просьбы и со слов «Гитлер капут».

— Ну что, — спросил Биреев не без самодовольства у белобрысого и сильно промокшего паренька с глазами цвета сирени, — Гитлер капут?

Паренёк скосил глаза, сильно закашлялся и постучал себя по груди: «Капут, капут».

И согласно закивал головой. В это время раздалась отрывистая команда, и промокшие немцы заспешили в баню. Ребятам ничего не оставалось делать, как идти на пустырь. К двум часам тучи маленько расступились на небе, вылезло, словно нехотя, солнышко и в его слабых осенних лучах появился на пустыре Лёнька Мезмер — как всегда неторопливый, спокойный и без тени хоть какого-то волнения на лице. Уже ставшие ребята поглядывали на подхитившего Лёньку неодобрительно, насторожённо и сочувственно. Многие не верили, что Лёнька мог сдать Славку мильтону. Среди многих был и Владька.

— Ну, стукач, — спросил с холодным спокойствием Славка, — это ты меня мильтону сдал?

— Не я, — медленно ответил увалень Мезмер, сообразивший, наконец, ради чего его вызвали на пустырь. — Дашка, наверное, сказала.

— Наве-е-рное?! — передразнил Олег Немчинов. — А ты что: точно не знаешь?

— Не знаю. Мильтона не видел. Но знаю, когда он к Дашке заявляется. Я в это время всегда в клубе филателистов.

— А откуда она узнала, что я девку валил, а не ты, например? — уже не спросил, а скорее крикнул Славка.

— Я не валил, я фонариком светил, если ты не забыл... — напомнил Мезмер. И добавил. — По твоей просьбе.

— Тогда почему участковый на меня валил?

— Потому что ты валил, я же светил, видел, — простодушно ответил Мезмер. — Кроме того, мы так не договаривались, — продолжил он тихо. — Мы же только играли, пугали... А ты...

— Что я, что я?! — взревел Биреев. — Откуда я знал, что эта девка упадёт?! Подножки все ставили... И ты тоже, стукачина пархатая...

— Нет, — сказал Лёнька, — я светил и мяукал — и больше ничего.

Мезмер побледнел, но на крик не перешёл. Больше того: он словно успокоился и приготовился к драке — расстегнул пальто, снял шарф и поставил портфель рядом с Ванькой Богатырёвым, который среди мальчишек посёлка считался самым справедливым парнем — обычно ему доверялась роль судьи во время футбольных баталий. Но неожиданно Богатырь пнул портфель Мезмера, и он отлетел в лужу. Это было как сигналом к атаке. Славка подскочил к Мезмеру и сильно ткнул его кулаком в нос. Но у Лёньки была выдержка слона.

Он не упал, не заплакал и ещё успел сказать:

— Пацаны! Славка подонок и ублюдок. Он шарил под юбкой у тётки, которую сбил. Я видел, я светил...

— Но зачем ты Мильтону-то об этом рассказывал? — крикнул Богатырь, и вслед ему заорали другие пацаны. — Зачем? Зачем? Зачем?

— Я не ему, я не ему, — заплакал, наконец, Лёнька, — я только Дашке рассказал. Я не думал, что она мильтону расскажет.

— Вот потому ты и стукач, — отчеканил, как приговор, Олег Немчинов и заехал в ухо Мезмеру.

— Бей его, жидяру! — заорал, как простонал, Славка... и началась свалка. Некоторое время Лёнька ещё стоял, отбивался, но вяло, он скорее отталкивал нападающих мальчишек, чем дрался с ними. Но силы были не равные. Поселковый мальчишник стал толпой — неукротимой, безжалостной и не размышляющей. Владька не мог вспомнить, чтобы кого-то били у них с таким же остервенением, как Лёньку Мезмера. Но когда Лёнька упал и уже не двигался, справедливый Богатырь властно крикнул: «Хватит!» Поселковый кодекс чести соблюдался строго. Однако Биреев всё-таки не отказал себе в удовольствии... как несправедливо пострадавший: он подошёл к недвижимому Мезмеру, расстегнул штаны и помочился прямо на лицо Лёньки.

Владька был потрясён всем увиденным. Он не шелохнулся во время драки. Его ужаснула ненависть ребят, и он понимал, что она вызвана не только тем, что Мезмер рассказал своей домработнице о Славке, но в большей степени другим — тем, что Лёнька — еврей. Да ещё, по понятиям того времени, из семьи богатых евреев. Он и себя тогда впервые в жизни почувствовал чужим среди своих ребят. То есть евреем. Ему было страшно, стыдно и противно. С той давней драки его душу будто застегнули.

Сразу после драки старший Мезмер уволился с завода и первым на посёлке среди эвакуированных во время войны вернулся к себе домой, на Украину. Он ни с кем не объяснялся, не расследовал, при каких обстоятельствах и за что избили его сына. Мезмеры уезжали не прощаясь. Только перед самым отъездом старший Мезмер зашёл к Вере Ивановне, которую хорошо знал, и сказал ей всего несколько слов. Но слова сказал он, видимо, такие, что Вера Ивановна проплакала три дня и единственный человек, который за ней ухаживал, была Ада Исаевна Винс. А Славка исчез. Он удрал к отцу, которого уже почти забыл.

Появился он месяца через два — тихий, прищипливый, внимательный и повзрослевший.

— Тебя отец выгнал? — спросила Вера Ивановна уверенно.

— Да, — прошептал Славка.

— Я бы тоже выгнала, — сказала она спокойно. — Но не могу. У тебя, кроме меня, нигде угла нет. Хотя мать для тебя только хозяйка этого угла — и больше никто.

Славка бросился обнимать и целовать мать, но она сидела неподвижно и молча.

...Но довольно! Пришло время заканчивать предисловие с элементами послесловия о Славке Бирееве и Лёньке Мезмере. Тем более, что они в сюжет уже почти не вписываются, да и с тех давних событий детства прошло много лет. Так много, что вернее было бы написать множество лет. А всё-таки воспоминания, думается, ещё необходимы.

Владька увидел Славку в последний раз, когда уже твёрдо стоял на ногах. Биреев только что вернулся из очередного заключения, отсидев семилетний срок за групповой грабёж. Вера Ивановна давно не работала, но жила в той же квартире, что и в годы войны. Она по-прежнему любила и защищала Славку, но уже будто по инерции, без той, давней, уверенности, какая клокотала в ней прежде. У неё был живой ум и острый язык, и когда кто-то теперь принимался ругать Славку за все его хулиганства, пьянки и подлости, то она сочувственно тут же говорила: «Нашему Ванечке всё в ж..у камешки».

Славка смеялся, целовал матери руки и играл на гитаре. А потом пил снова и исчез надолго. Он, как и в детстве, с упоением читал. Ни на одной работе больше месяца Биреев не задерживался: либо его увольняли за прогулы, либо он сам уходил, разругавшись со всеми.

Ада Исаевна изредка навещала Веру Ивановну. А Славкина мать, не смотря ни на какие перемены, всегда приглашала к себе Владьку. Но формально не к себе, а на борщ, хотя жили они уже далеко-далеко от Биреевых, на другом берегу. Когда Аду Исаевну захлёстывала работа, а она захлёстывала её почти всегда, то проведать Веру Ивановну всё же посылался Владька. Борьку она, как и раньше, никуда отпускать от себя не хотела — он мог... заблудиться. Младший сын безошибочно знал в городе два маршрута — на свою работу и на работу к матери. На всех других направлениях он доверялся интуиции. Увы, она часто подводила его. Для старших братьев визиты к Вере Ивановне были нежелательной нагрузкой, но Аде они не отказывали. Правда, Марата и не надо было просить, чтобы он посетил Веру Ивановну. Он давно жил в Москве, в родном городе бывал не чаще, чем один раз в пять лет, но, правда, если приезжал, то обязательно посещал всех дорогих и близких ему с детства людей. А уж Веру Ивановну — тем более. Когда Славка сидел в тюрьме, он вёл с ней успокоительные беседы, покупая для Веры Ивановны банку чёрной икры и коробку хороших конфет. В тех же случаях, когда Славка освобождался, Марат играл с ним в шахматы, балдея и хохоча от бесконечных тюремных притч Биреева. Они выпивали по рюмочке, и Марат, прощаясь,

укреплял в Вере Ивановне мнение, что «лучше и добрее, чем Маратик на свете человека нет».

— Ни разу, — говорила она с восторгом Аде Исаевне, — Маратик не дал нам понять, что он профессор. Такой же простой, как и был. И внимательный, не чванится. А Владька не такой... у тебя, Ада, не такой. Сколько я его прошу, чтобы он мне книгу подарил со своими рассказами. Не дарит, нос, видно, задрал. Ведь знает, что Славка у меня хоть и никакой по жизни, но книгочей.

— А мы были бы рады, — продолжала Вера Ивановна с подковырочкой. — Всё-таки никак не думалось раньше, что Владька в писатели заделается.

— Успокойся, Вера, — утешала старую Бирееву Ада. — Ещё подарит. Жадных и чванливых в моём доме нет. Не держим. Книги он уже все раздал — раздарил. От телячьего восторга. Взрослым, хоть и в годах, никак не станет. Восхищается всякой пузырьчатой чепухой. Но сердце у него хорошее. Так что ты не ворчи. Он вскоре придёт к тебе и принесёт книгу. У нас ещё две есть. Так что получишь.

— А как там Боря? Женился? — Каждый раз спрашивала Вера Ивановна.

— Нет, Верочка, не женился, при мне сидит, ему так привычнее и удобнее, — вздыхая, отвечала Ада.

— Это тебе так привычнее и удобнее, — воспитывала по давней привычке Вера Ивановна Аду. — Мой охломон уже два раза женился, твои тоже мимо баб не проходили, а Борьке ты что — глаза заштопала? Отпускай его от себя, кончай свои еврейские штучки, он же бобылём помрёт...

— Господи! — отвечала Ада. — У меня в доме каждый день какие-то аспирантки и студентки. Они все любят Борьку, он со всеми с ними общается, ведёт длительные душевные беседы, но ни одну даже не проводил. Каждый раз говорит: «Она так далеко живёт, мама, что я обратно дорогу не найду». Поверь: не держу я его. Он какой-то размагниченный у меня. Из него, когда меня не было, энергию, словно, выпили. Не веришь — расспроси Владьку. Он завтра у тебя будет.

Такое обещание уже обязывало. Владьке пришлось идти в гости к Биреевым. Он взял свою первую книгу рассказов, купил конфет и цветов и пошёл к тёте Вере. Был воскресный день, стояло обычное для Сибири жаркое лето, и над городом летел тополиный пух. В душном автобусе ехать не хотелось. На Горской Винс вышел и двинулся пёхом к путепроводу, за которым и начинался заводской посёлок. Владьку каждый раз, когда он навещал Биреевых, поражало, как быстро менялся родное левобережье. Ещё недавно, казалось, оно кончалось водонапорной башней, а за ней шли только картофельные поля. Но в считанные годы вокруг башни выросли новые дома, поднялись корпуса самого крупного технического вуза в городе, а вместо голого пустыря появилась оживлённая улица с магазинами и кафешками. А влево и вправо от неё, словно уворачиваясь друг от друга, крутили свои длиннющие носы краны среди многочисленных новостроек. Город застраивался и вдоль, и вширь, демонстрируя свою мощь и бескрайность Сибири. Издали непонятно

было: то ли одинаковые, жилые дома теснят корпуса новых заводов и фабрик, то ли — наоборот: среди них строят жилые дома.

Но вблизи сразу различалось, что и где строят. Город застраивался жилыми массивами и застраивался по ведомственному принципу. Для металлургов строили дома повыше и получше, для машиностроителей — пониже и попроще, для энергетиков в сторонке от главной магистрали, а для всех остальных — серые пятиэтажные панельки с предельно «ужатыми» типовыми квартирками.

Быт и сфера услуг развивались в жилых массивах гораздо медленнее, чем шло строительство. Бочки с пивом в городе почему-то загоняли на брошенные стройплощадки, в ещё не законченные овраги или неподалёку от заводских проходных. Около них стояли длинные очереди мужиков со стеклянными пол-литровыми банками в руках.

Владька, едва увидев очередь, захотел выпить пива. Жаль, банки у него не было. Однако очередь он занял, точно зная, что мужики ему не откажут, если попросит банку. Такая традиция в городе сложилась давно, и в этом проявлялась некая пивная солидарность. О спиide тогда никто и слыхом не слыхивал. Владька терпеливо стоял, жмуря глаза под солнцем и сдувая с себя тополиные пушинки. Никакие заботы его не волновали, он никуда не спешил. Тем более, что после смерти жены он давно жил один, столовался у мамы и свободные деньги у него постоянно водились — его статьи и очерки печатались в самых разных изданиях, в которых, не в пример нынешним временам, аккуратно выплачивали гонорары. Владьку клонило в сон, но пива он дожидался упорно.

— На, — услышал он за спиной, — бери. Кто же за пивом без банки приходит?!

Винс повернулся и увидел жилистого мужика в майке. Перед ним стоял уже поседевший Олег Немчинов.

— Здорово, Владька! — сказал он и дружески толкнул его в плечо. — Ты кому в такую жару цветы понёс?

— Да мама просила к Вере Ивановне в гости сходить?

— К кому?! — переспросил тревожно Немчинов.

— К Биреевым, — уточнил Винс. — Ты что: забыл? Это же мать Славкина, наша бывшая соседка.

— Да не забыл я, — ответил раздражённо Олег. А потом прикрикнул. — Ну, ты пиво-то бери. И мне, как полагается, за банку тоже.

Винс взял две банки, купил пиво и подошёл к Олегу, который уже сидел среди полыни, на истоптанном пригорке. Немчинов отпил сразу почти полбанки, (в это время его кадык ходил так, будто он пытался прорезать шею), потом аккуратно поставил банку между ног, утёр губы и сказал:

— Владька! Ты сегодня к Биреевым не ходи. На похороны придёшь. Славку застрелил сторож у еврейского магазина.

— Как застрелил? — оторопело спросил Винс.

— Да по-простому: бахнул — и наповал. Славке страсть как захотелось опохмелиться. Сторож ему,

конечно, не открывал. Биреев дверь принялся выламывать, дубина. Ну, а тот дал предупредительный выстрел, а потом... предусмотрительный мужик оказался. Да ты его знаешь — он после войны у нас на посёлке участковым был. Вешников... Его за какое-то укрывательство из милиции поперли. Славка его всё пугал, что убьёт. А вышло, что тот убил. Давай хлебнём и за того, и за другого...

— Давай, — механически ответил Владька и почти залпом выпил пиво.

— У тебя дети есть? — спросил он у Немчинова.

— Есть, двое. Старший уже техникум заканчивает.

— Вот и отдай конфеты детям, а цветы — жене, — сказал Винс, поднялся и быстро пошёл на трамвайную остановку.

Но также быстро вернулся, одолеваемый жгучим любопытством, и спросил у допивающего пиво Немчинова:

— Олег! Орсковский магазин до сих пор называют еврейским?

Немчинов поднялся с пригорка, подтянул брюки на тощем животе и пояснил:

— Народную память не отменишь...

— Но евреи-то хоть остались на нашем посёлке? — спросил Владька, чуть улыбнувшись.

— Не-е-т... Какой там! После Мезмеров и остальные разбежались кто куда, одна гольтыба живёт-поживает. Да вот я ещё никак не перееду, — пояснил Олег и закурил. — Вы вот тоже уехали... — Хотя какие вы евреи! Ада Исаевна себе юбку-то вторую купила? — спросил, хмыкнув, Немчинов.

— Юбка у мамы, конечно, сейчас другая, — рассмеялся Владька, удивившись памятьвости Олега. — Но точно, что одна. Вторую она бы посчитала барством.

— А вы, сыночки, сброситься для матери на вторую юбку не можете? — уже откровенно ехидничал давний товарищ по заводскому посёлку.

— Можем, — недовольно буркнул Владька, — но нам строго запрещено. Мы даже на холодильник можем сброситься. Раза три предлагали маме. Но нам было сказано, что холодильник она тут же отдаст соседке, потому что у неё трое детей от разных мужей, и ей холодильник нужнее... А нам не хочется покупать холодильник для маминой соседки. В том числе и потому, что она его тут же пропьёт.

— Да... — прощаясь с Владькой, восхищённо произнёс Олег. — Ада Исаевна такая же. Помнишь, как я в войну вам продавал картошку?

— Помню.

— Но едва ли ты помнишь, что я приходил её жрать вместе с вами?

— Смутно помню.

— Приходил, приходил, — заверил Олег. — Я был паренёк жлобоватый, не то, что вы, простофили, как и Ада Исаевна. Считал, что раз продал картошку, то и пожрать на халяву могу. Всё копил, всё экономил. И всё не в прок. Мы даже в войну никогда не голодали, картошки собирали по сто пятьдесят кулей. Без сала не жили. Но на посёлке только Ада Исаевна всегда меня угощала. Больше

никто. Те же Мезмеры ни разу к столу не пригласили...

— Какая, Олег, у тебя долгая память, — заметил Владька. — Ты, может, помнишь и как Лёньку бил... ни за что, ни про что?

— Было за что, — зло ответил Немчинов. — Стукarikов сызмальства ненавидел.

— А ты знаешь, что Лёнька теперь известный профессор в Америке?

— Не удивляюсь, — процедил Немчинов. — Мезмеры всегда пробьются...

Владька внимательно взглянул на Олега. Перед ним стоял не розовый крепыш из детства, а усталый и явно пьющий завистник с глубокими впадинами на щеках и давней усталостью в глазах от нескладно проживаемой жизни. Ему стало жаль Олега. Что бы ни случилось с братьями Винсами, в их глазах никогда не было этой усталости. Печаль поселялась, грусть в них сидела, но чаще всего глаза светились интересом, любопытством, восторгом и озорством. Зависти они не знали. Ни хорошей, ни плохой зависти. И это, как понял Владька только после смерти матери, тоже было заслугой Ады. Она сумела влюбить своих сыновей в жизнь, раскрыла перед ними её краски, показала, как многообразен и богат мир души.

Олег, видимо, перехватил взгляд Владьки.

— Что: считаешь, я совсем усох? — спросил он.

— Мы все усохли, — миролюбиво ответил Владька и напомнил. — Многие поселковых ребят уже нет. Вот и Славки...

— Биреев ещё долго жил, — вздохнул Немчинов. — По судьбе мог бы копыта и раньше отбросить... Так что ты его сильно не жалея. А вот Веру Ивановну жалко. Сходи к ней. Но не сегодня. И кто теперь следующий из нашей пацанвы?!

Олег подмигнул Владьке и двинулся в сторону посёлка, а Владлен Винс пошёл докладывать Аде Исаевне, что Славку Биреева, сына Веры Ивановны, застрелил у еврейского магазина сторож Вешников, бывший когда-то участковым у них на посёлке.

«Всё-таки есть, — думал он по пути, — пусть Бог не Бог, но какой-то высший разум, радеющий за справедливость. Есть, есть! Иначе как понять, что невинного Лёньку избили, а виновного и грешного Славку застрелили?! Впрочем, едва ли тут существует связь... Просто это приметы нашей жизни. В России ни невинные, ни виновные долго не живут».

...Владька пришёл к Вере Ивановне через три недели. Она собиралась уезжать в Москву, к дочери, которую скорее недолюбливала, чем любила. У неё был один свет в окошке — Славка. В своём вороватом, подлом, пьяном и хулиганистом Славке она одна находила золотые искорки. Благоустроенная дочь была без искорок. Ехать к ней Вера Ивановна не хотела. Но и жить здесь, где убили Славочку, уже больше не могла.

— Передай Аде, — сказала, как приказала, Вера Ивановна, — что теперь мы будем с ней встречаться в Москве. У Маратика. А с тобой, Владька, мы простимся навсегда. Я знаю, что ты Славку не любил. И знаю за что. Но Славка прощать умел, а ты — нет. Я тебя не осуждаю. Каждый живёт, как

Бог ему даёт. Спасибо, что пришёл. Книгу твою в поезде прочту.

...Через несколько месяцев Владька получил письмо из Москвы. На конверте адрес был накарябан почерком больного или малограмотного человека. Буквы словно шатались. Он вскрыл письмо и прочёл:

— Дорогой Владик! Не люблю писать письма. Да и почерк у меня, как у курочки Рябы. Совсем старуха стала. Никому не пишу...

Глаза слабые, рука дрожит. Но ты разберёшься. Давно собиралась написать, а теперь вот, после инфаркта, пишу кое-как. Боюсь, что написать не успею. Хочу перед тобой повиниться. Не понимала я тебя, Владик. Думала, что в тебе души мало. А вот прочитала твои рассказы про военное и послевоенное детство и поняла, что ошиблась. С какой любовью ты написал про мальчишек... Много узнала, и часто плакала. И Славку своего узнала, хоть он под другой фамилией и с лицом в рассказе на него непохожим. Оказывается, ты всё запомнил и хранил в сердце. Спасибо тебе. Пиши дальше. И так же. У тебя люди запоминаются, и они разные. Я в Москве тут много чего прочла. Забот у меня никаких. Только хлеб покупаю, масло и молоко. А всё остальное дочка делает. На старости лет без забот живу. Но лучше бы всё равно с заботами и... со Славкой. Обнимаю тебя, Владька. Не забывай старуху Веру Ивановну. У тебя столько раз угощала борщом... Помнишь?

Ещё бы! Владлен Германович Винс помнил про борщи, которые варила соседка военных лет, всю юность. Это были борщи со шкварками, с хорошо разваренным мясом, лучком, с тонкими пластинами моркови и незабываемым запахом. За свою длинную жизнь он таких борщей не ел ни в одном ресторане — ни в России, ни тем более за границей.

Выставка

Лёнку Мезмера Владька «во взрослом состоянии» сначала встретил на выставке... заочно. С утра Владька сидел на «конференции по хаосу», придумывая всякие жанровые и словесные пути для популяризации очередных научных проблем. В будни Винс работал тогда обозревателем по вопросам науки и высшей школы в областной газете, а по воскресеньям писал свои рассказы и повести, сбрасывая с себя по субботам стереотипы и прах ежедневной печати. К этой методе он привык уже давно и никаких изменений в неё не вносил. В рабочие дни он набирал информацию и трансформировал её в статьи и корреспонденции, просяживая часами в своё время за пишущей машинкой, а теперь за компьютером.

Субботы были днями чистки прозы, когда он перечитывал и правил то, что вылёживалось, то есть было написано неделю назад. А уж в воскресенье, когда Владькина душа творила, он начинал жизнь с правой литературной страницы. Правда, свой первый роман он писал и в будни, до работы в газете, педантично вставая в четыре часа утра. По молодости он восемь лет терпел такой режим. В то время субботы и воскресенья у него отнимали другие романы, не литературные. Но этот симбиоз утомил его, в конце концов, и

он сдался. Спать до утра было всё-таки полезнее. Однако на литературную работу, не менее любимую, чем газетную, Винсу времени не хватало. И он добавил на неё отпуска и праздники. Все свои газетные и литературные публикации свыше 500 строк он писал с утра и до двух часов дня. А с двух заседал, встречался со своими коллегами по литературному и газетному цеху, ходил на выставки, презентации, заседания и принимал читателей и авторов.

Обкатанный десятилетиями рабочий ритм так влезал в Винса, что любое его нарушение заканчивалось нервотрёпкой и ослаблением иммунной системы. От нарушения ритма Владька заболевал, срывался, впадал в смущение и сомнения. Он напоминал клячу, которую держала на земле работа, а отдых ей был противопоказан. Владька был убеждён, что именно в этом ритме материнская наследственность проявилась в нём гораздо сильнее, чем в форме носа, жгучих чёрных волосах или в прижатых, точно как у Ады, ушах. Мать, казалось, никогда не отдыхала. Ночью, просыпаясь, он видел одну и ту же картину — низко склонившуюся над письменным столом Аду, осторожно, чтобы не разбудить сына и не шелестеть бумагой, переворачивающую страничку очередного экономического труда. Всё, что она читала и изучала, «обрастало» бесконечными пометками, вопросами, восклицаниями и примечаниями. После смерти Ады, роясь в библиотеке матери, Владька просто поражался тому, с какой основательностью она работала. Это была школа любимого университета — лгу, который Ада, как и все остальные школы жизни, закончила с отличием.

Владьке подобное тщание было недоступно. Он гораздо позднее, чем мать, научился работать много. Институт он закончил провинциальный, во время учёбы немало халтурил, отвлекаясь то на девушек, то на институтский театр, то на бильярд, то на шахматы. Правда, ему повезло, что за город, где он учился, «зацепилось» много столичной интеллигенции, которую сослали, а не посадили и не расстреляли. Добрая половина педагогов Владьки пробилась при Хрущёве и Брежневе в известные профессора и даже в академики. Один из них был специалистом по готскому языку, другой знал историю христианства лучше, чем таблицу умножения, третий рассказывал о Кромвеле столь подробно, словно он сидел с ним в одном классе, а четвёртый к двадцати пяти годам был трижды кандидатом наук. Владька случайно попал в этот интеллектуальный круг, но уже не выходил из него до конца института. А позднее, когда мать реабилитировали, выяснилось, что некоторые из Владькиных педагогов учились в Ленинграде вместе с ней, и даже на одном курсе.

В жизни Винса не раз сходились концы давно утраченных связей и отношений. Некая благодетельность случайных совпадений тоже помогала ему и учила его.

Аду, не щадившую себя ни в чём, не устраивал ритм жизни среднего сына. Прежде всего, ей не нравилась его тотальная занятость.

— Половину из того, что ты делаешь, — говорила она с привычным экстремальным открытием, — я бы выбросила на свалку. Например,

твои репортажи с народных строек, твои очерки о передовиках производства, в которые сплошь и рядом попадают по решению парткомов. Подлинными героями времени в тени, ты их не видишь, не различаешь. Твоя работа должна быть выстраданной, пропущена через сердце, а не выполненной по заданиям и просьбам газет и журналов, в которых ты публикуешься. Ты человек с бойким, но пока с поверхностным пером.

Владька отбивался, кряхтел, молчал, но в душе чувствовал, что мать права.

— Кроме того, — говорила она горько, — в своей печатно-издательской толкучке ты забываешь про мать. Ты должен находить время, чтобы бывать у меня систематически.

— А Марат? — тут же спрашивал Владька.

— Марат живёт в другом городе, ведёт большую научную работу, аккуратно пишет мне письма, и я систематически бываю в Москве. По сути, он ко мне внимательнее относится, чем ты, живущий рядом.

— С тобой всегда рядом Борька, — парировал Владька.

— Один сын не заменяет другого, — вскипала Ада. — Я, не между прочим, рожала вас, а по отдельности.

Этот аргумент приносил полную победу Аде. Владька смирился и месяца два-три по субботам приходил к ней. Но только во второй половине дня.

Конференция по хаосу как раз проходила почему-то в субботу. Владька отсидел чествование академика, который лучше других разобрался в физическом хаосе, прослушал пленарные доклады и понял, как упростить в статье услышанную научную заумь. Затем потихоньку переместился к выходу. Но за спиной двух почтенных мужиков он услышал разговор, в котором всего одна фраза снова его обратила к детству.

— Игорь Георгиевич! На выставку Мезмера нельзя не сходить. Этот физик, к моему удивлению, оказался ещё и тонким лириком. Выставку Дом учёных свернёт через три дня. А сегодня Мезмер читает лекцию в нашем университете. Спешите, как говорится, видеть. Во вторник он уже должен быть в Штатах.

— Вы советуете, — услышал Владька другой голос, — с настойчивостью рекламы.

— С настойчивостью восхищённого человека, — поправил другой голос. — Вы согласитесь со мной, когда посмотрите выставку.

— Я уже сейчас согласен, вы убеждать умеете. Пойду.

Владька не вышел, а выскочил из института и торопливо зашагал к Дому учёных на выставку... Мезмера.

«Неужели про Лёньку шла речь? — предполагал он. — И что это за выставка? Он физик или всё-таки художник?»

Винс не отгадал. Дом учёных организовал выставку художественных фотографий профессора-теоретика Леонида Мезмера. Краткий пояснительный текст к выставке сопровождался фотографией. С портрета на Владьку смотрел Лёнька. Худошавый, с едва заметной иронической улыбкой и с тем же упрямо-честным взглядом, с

которым он смотрел на ребят, собравшихся его избивать в бесконечно далёком 1946-м году.

Фотографии Мезмера сразу напомнили Владьке картины любимых импрессионистов. Они не были чёткими, как напечатанные. Казалось, что фотографии сделаны с нарочитой задержкой. Эти снимки «плыли», туманились, двигались... Чудилось, что снятые вулканы и ручьи, заброшенные виллы и горные тропинки, итальянские дворцы и индийские храмы, парящие птицы и облака подгоняет ветер и... время. Все эти дворцы и виллы, птицы и зарастающие тропинки были «живыми», а не застывшими, они грустили и трепетали, торжествовали и разрушались на глазах, под бременем прожитых лет. Фотовыставка Лёньки произвела на Винса ошеломляющее впечатление. Мезмер не просто видел мир, путешествуя по белу свету. Он видел его объём и безмерность, он восхищался им и сострадал ему.

...Темпераментный Владька даже не поздоровался с Лёнькой, когда его встретил в университете, а сразу ему сказал:

— Теперь я вижу, что ты специалист по хаосу.

— Ты, видимо, посмотрел мою выставку, — сказал Лёнька, ничуть не удивившись. И подтвердил: — На снимках и на самом деле много хаоса. Я не лучшим образом отобрал их.

— Да ты что?! — возмутился Владька. — Это редчайшая выставка! У тебя не фотографии, нет. У тебя полотна, философски обобщающие жизнь, время, историю, минувший век...

— Ах, Владька! — добро и иронически улыбнулся Мезмер, обнимая Винса. — Ты всё такой же... Восторженный и страстный. В тебе хаоса больше, чем во всей физике. Но чтобы его было меньше, пойдём ужинать в ресторан.

— Нет! — чуть не заорал Владька. — У меня отдельная квартира и я живу один... после смерти жены. Холодильник забит. Предлагаю программу: сидеть у меня, наполнять рюмки, вспоминать и смотреть из моего окна, как ползут по реке пароходы, расцвеченные огнями. Устраивает?

— У меня столько дел завтра, — вздохнул Лёнька, — но я так давно никого не встречал с нашего посёлка... Мезмер ещё раз вздохнул и сдался: — Поехали.

...К часу ночи они выпили бутылку коньяка, и Владька вытащил из холодильника «гжелку», которая месяцами стояла в холодильнике на всякий случай. Встреча с Мезмером как раз и была таким случаем. Винс уже сильно захмелел, а спортивный Лёнька держался молодцом, будто вовсе и не пил.

— Хорошо держишься, — сказал Владька.

— А на Западе иначе нельзя, — пояснил Лёнька. — Если хорошо не держишься, то тебя не держат.

— Жестокий мир?!

— Как тебе сказать... — Лёнька откупорил «гжелку» и разлил водку. — В целом он менее жестокий, чем в России.

— Ты уже не говоришь «у нас»?

— Не выговаривается... Привык. Я гражданин США... «нау энд фомоуст».

— То есть?

— То есть навсегда... «форева».

— И тогда, когда тебе напоминают, что ты еврей?

— А мне не напоминают. Евреем я чувствовал себя только в России и на Украине.

— Ну, уж... — усомнился Владька, — антисемитизм есть везде. Его, например, легко заметить в демократической Франции. Недавно был там...

— Согласен: он есть практически везде. Но в Америке я его не замечаю, — сказал Лёнька и выпил водку. — Все, кто живёт в Америке — это американцы, и больше никто. Кроме того, там по закону прав у малочисленных народов больше, чем у «чистых» американцев. За дискриминацию засудят так, что мало не покажется. Наконец, им плевать, кто я по национальности, если не даром ем американский хлеб. Главное, чтобы я был полезен Америке.

— Ты мог быть полезен и России, — не без жалости сказал Владька.

— Мог бы, — согласился, вздохнув, Мезмер. — И поначалу очень хотел этого. Но меня «резали» то в отделе кадров, то в первом отделе, то в райкоме, то в обкоме... всяческие биревеы.

— Ты не забыл Славку? — удивился Владька.

— Как я мог забыть?! — пожал плечами Мезмер. — Я впервые понял, что такое еврей в России, когда он меня об...л.

— Или когда избил?

— Нет, когда об...л, — упрямо повторил Лёнька. — Шишки быстро зажили, спасибо Богатырю, а то бы добили. А вот унижения не забыл до сих пор. Впрочем, Славку я мог бы и поблагодарить... за отъезд.

— Уже не сможешь, — сказал тихо Владька. — Его застрелил охранник, когда он по пьяни пытался грабануть... еврейский магазин.

— Наш магазин всё ещё так называют? — спросил Мезмер изумлённо.

— Всё ещё... Заметь: ты говоришь «наш магазин», но не говоришь «наша Россия».

— Да-а... — Протянул Лёнька. — Это ты верно подметил. Но магазин... из детства, а оно запоминается и не меняется. Как там поселковые ребятки определились в жизни?

— Кто как, — ответил Владька и тоже выпил «гжелку». — Многие спились: Богатырь, Чуча, Юрка, Хильый, Олег... Но из нашей пацанвы, и это самое удивительное, вышли четыре доктора наук, а если с тобой считать, то пять.

— Можешь считать, в Америке каждый кандидат — доктор, — иронически разрешил Мезмер. — Год назад я за свои исследования по хаосу получил международную премию.

— Ну вот, — удовлетворённо подытожил Владька. — А если ещё и маму мою причислить, и Марата, то будет уже семь докторов наук. Недурно для нашего полудикого посёлка.

— А Ада Исаевна жива? — спросил торопливо Лёнька.

Владька отрицательно мотнул головой и снова молча наполнил рюмки. Они выпили без тоста, и никого не поминая вслух.

— Знаешь, — прерывая молчание, сказал Лёнька. — Мой отец очень уважал Аду Исаевну. Сейчас готов предположить, что он даже любил её. Во всяком случае, допускаю... Он сильно не хотел

уезжать из Сибири и нисколько не тосковал по Украине. Но после «превращения» меня из сибиряка в еврея, сразу же решил, что надо уезжать. Прежняя его должность в Запорожье была уже занята, он пошёл мастером в мартеновский цех, вскоре заболел раком и умер. Ты знаешь, что он мне сказал перед смертью?

— И что?

— Он спросил: «Лёня! Ты помнишь Аду Исаевну? Я сказал: «Помню». — Это хорошо, что помнишь. Так вот: бери в жизни пример с таких людей, как эта замечательная женщина. Никогда не поддавайся унынию. Это большой грех. Уныние — жизни не помощник, а евреи к нему склонны. Ты остаёшься один. Твоей матери до тебя дела нет. Поэтому пробивайся в жизни с помощью веры в себя и веры в людей. И ты состоишься».

— Что ж, ты состоялся, — сказал Владька так, словно уже всё знал о Мезмере.

— Да, состоялся, — уточнил он. И добавил: — Но не во всём...

Рано утром Владька вызвал такси и проводил своего давнего товарища до Академгородка.

Когда они прощались, он сказал Мезмеру:

— Мне кажется, что тебе не хаосом надо заниматься, а искусством. В твоих фотографиях на выставке я усмотрел грусть большого русского художника. В них есть нечто левитановское. Похоже, что, мотаясь по миру, ты всё-таки тоскуешь по России.

— Тебе показалось, — ирония чуть растянула губы Мезмера. — Я не тоскую по России. Это прошло. Жизнь моя устроена. Но ты прав: с собственной душой у меня сложные отношения...

Эти последние слова Мезмера нередко возникали в памяти Владьки. Его многие годы преследовало одно удивление: почему так развела жизнь ребят, а он помнил их с детства, которое досталось братьям Винсам в насквозь хулиганской Закаменке и на окраинном заводском посёлке, где без драки не проходило ни одного дня. В поисках ответа на не покидающее удивление он однажды написал стихотворение с «философией» той, окраинной жизни.

В нашей Закаменке,
Где мы росли,
Не жили паиньки.
И не могли.
В нашей Закаменке,
Где мы росли,
Не били маленьких.
И не могли.
В нашей Закаменке,
Где мы росли,
Лупили гаденьких,
Как могли.
Эти уроки
Все мы впитали
В сжатые сроки —
Пока вырастали.

Но и философия этого стихотворения Владьку не удовлетворяла. Он нуждался в полном и доказательном ответе на вопрос, почему почти вся ребятня, объединённая бедностью и безотцовщи-

ной, так разошлась в жизни?! Одни — в науку, а другие — в тюрьму, одни спились, а другие — нет, одни — в мастера, а другие — в шаромыжники?! Владьке многие годы казалось, что Лёнька Мезмер всё бы объяснил... Но больше они уже никогда не виделись.

Глухая пора

1951 год Владька прожил в Москве. Он не поступил в институт, в который мечтал попасть, хотя стал студентом другого вуза, но без тени интереса к тому, чему здесь учили. Он не любил математику, не умел чертить, и его совершенно не интересовали ни масштабы, ни проблемы мирового океана. После первой же лабораторной по химии он бросил посещать все занятия в институте и занялся самообразованием. До первой сессии (после неё ему грозило неизбежное отчисление из института) ещё было время для знакомства с Москвой, для театров и музеев и для свиданий со своей будущей женой, поступившей в Менделеевку без экзаменов.

Она, не в пример Владьке, была медалисткой.

Защитой и помощником для Винса в то время был Марат, поступивший в тот же ненавидимый Владькой институт, и... студенческий билет. Со студенческим билетом его пропускали в Ленинку, где он больше отогревался, чем читал, в общежитие, в котором ещё сохранял койку, в музеи — он бродил в них часами, и на вокзалы, куда его, пожалуй, пропускали без перонных билетов и без расспросов. В нынешнем понимании он был тогда бомж. Но Владька не унывал. Его защищала молодость и ничуть не ослабевший оптимизм, взращённый в нём и его братьях Адой Исаевной.

Хуже стало, когда в феврале 1951 года его выгнали из общежития как отчисленного из института. Сначала он ночевал на вокзалах, потом на переговорных пунктах, затем в привокзальных товарняках.

Марат делал всё возможное, чтобы помочь брату: он пристраивал его на ночёвки к своим московским приятелям, находил Владьке временную работу, после каждой стипендии кормил брата дней пять... Но всё как-то быстро заканчивалось: и работа, и деньги, и помощь приятелей. Сердобольность Москвы никогда не была долговременной. Совсем плохо стало Владьке, когда Марат, ради приработки, подрядился в матросы тралового флота и уехал на несколько месяцев из Москвы. И Владька остался один-одинёшенек среди столичного гама и суеты, без крыши над головой и без рубля в кармане. Но как раз в это время он получил два перевода — один из родного города от старой и любящей его учительницы, а второй от бабушки, помогавшей всем детям своих дочерей, посаженных в ГУЛАГ. Учительница прислала двадцать пять рублей, а бабушка — двадцать. Для Владьки это было целое состояние. Для начала он купил три плавленых сырка и пять пирожков с ливером. Пирожки он слупил в один присест в забегаловке рядом с почтамтом на улице Кирова, а плавленые сырки терпеливо носил в своём кармане до самой ночи.

Ту ночь — сине-тёмную и морозную — он запомнил навсегда. Сначала он торчал и подрёмывал на

переговорном пункте, изображая из себя ожидающего звонка из Варшавы, а когда его выгнали, то Владька поплёлся к Комсомольской площади, надеясь, что там он наверняка проникнет в один из трёх вокзалов, затерется среди пассажиров, согреется, а может быть, и выпится.

За тот пятидесятый — пятьдесят первый, учебно-не учебный год Владька Винс исходил Москву так, что даже через десятилетия, на склоне лет, не раз подсказывал приезжим в столицу, как и куда надо пройти. Но в тот день, запомнившийся ему на всю жизнь, он отчего-то сменил намеченный маршрут, и с улицы Кирова сначала спустился вниз к «Детскому миру» на площади Дзержинского, а затем добрался до Красной площади и почувствовал, что сегодня в ней есть нечто необычное.

Нет, часовые стояли у входа в мавзолей, как и всегда, недвижимо. Площадь была пуста. В декабрьском тумане, холодном и зловещем, монументально проступал храм Василия Блаженного. Плохо освещённые цум и исторический музей словно прятались в темноту. Куранты пробили час ночи, и из ворот Кремля скорее вылетел, чем выехал помпезный зим, тут же свернувший к Васильевскому спуску.

«Может, сам Сталин, — подумал Владька, — укатил к себе на дачу». Но тут же отверг своё предположение. По его представлениям за Сталиным должны были ехать несколько машин охраны. «Да и почему ему в такую морозную ночь уезжать?! — размышлял далее Владька. — Небось, ему есть, где поспать и в Кремле».

Кроме того, Владька чувствовал, что Сталин где-то рядом. Вот бы с ним встретиться, мечтал он. Должен же он прогуливаться после заседаний и совещаний. Например, в том же Александровском саду. «К ночи, — думал он, — Москва выветривается, бензином меньше воняет. Неужели вожди у нас передвигаются только на машинах?!».

«Не верю, — уверял себя Владька, — они должны и ходить. Впрочем, за стенами Кремля наверняка есть какие-нибудь парки для вождей, где они проветриваются. Зачем им Александровский садик, продуваемый насквозь ветрами с Манежной площади?! Так что мне никогда не встретиться с товарищем Сталиным... А я бы ему рассказал, как мы дружно жили при маме и как у нас всё поломалось, когда её посадили».

«Товарищ Сталин! — чуть не крикнул Владька на всю Красную площадь, — её посадили ни за что».

Но Владлен Винс не крикнул. Он укутался плотнее, натянул шапку на уши, поднял голову и... увидел Сталина. Он висел в небе, освещаемый прожекторами, синий и страшный. Ветер раскачивал его портрет, и то казалось, что он рядом, то парит над Москвой, над страной, а то и над всем миром. Владьке стало так холодно, что он съёжился и сжался. Он не мог оторваться от зловещего небесного портрета вождя. И чем больше он смотрел на парящий портрет синего вождя, тем больше Владька проникался уверенностью, что встретиться со Сталиным и просить его, чтобы он выпустил маму из лагеря, попусту. Не будет он никого прощать. Не будет! Вождь так

далеко от него... так далеко. Вождю не до людей, не до их горя.

Владька ни разу не плакал после ареста матери. Не заплакал он и сейчас, здесь, на Красной площади, которую любил и которой гордился, как самым центром великой советской страны. Теперь, уходя с Красной площади, он её разлюбил. Рядом с ней, за красными кирпичными стенами Кремля, жил синий и беспощадный вождь, не жалеющий ни людей, ни страну. Синий портрет, плавающий над Кремлём, ему рассказал о Сталине больше, чем сотни книг и статей, прочитанные Винсом за его долгую жизнь. Именно тогда, двадцать первого декабря, в ледяную зимнюю стужу, он понял, что Сталин диктатор, палач и обманщик. А точнее: он не понял, а почувствовал. Своим чувствам он доверял всегда больше, чем знаниям и фактам.

В январе Владька Винс снял угол у одинокой, больной и богомольной старухи на Малотульской. Тогда эту улицу ещё не застроили большими корпусами и вдоль неё тянулись покосившиеся деревянные дома с разными печными трубами. В маленьком домике, в котором теперь жил Владька, была всего одна просторная комната и длинные узкие сени с уборной в дальнем и тёмном углу и большой деревянной кадкой с водой, затянутой корочкой льда. Из сеней выходили в небольшой дворик, половину которого занимал сарай. В сарае лежали дрова и, что больше всего удивило Владьку, старые сёдла, какой-то давно не разобранный хлам из полусгнивших валенок, ржавеющих тисков, канатов, банок с остатками краски, пакли и разных тряпок.

За угол Владька не платил, так как подрядился отбрасывать снег от дома и чистить двор. Он платил за еду — по пятьдесят копеек в день. Только за обед. Завтрак и ужин на такую сумму ему не полагались. Устроил его к старухе приятель Марата.

— Ты поживи здесь, Владька, — говорил он, когда они подошли к дому, — пока братан не приедет с моря, не вернётся, а потом мы для тебя что-нибудь придумаем получше. Старуха молчаливая и вроде бы не вредная. Вот тебе пятёрка — больше дать не могу, а Марат рассчитается. Он наверняка приедет с деньгами. Иди, иди, — напутствовал Владьку приятель брата, — я уже обо всём договорился.

И Владька пошёл. Старуха сидела на широкой кровати в чёрном платье, за ней мерцала свеча, освещающая икону и всю комнату подслеповатым светом. Владька, поздоровавшись, стоял у порога.

Старуха спокойно молчала. Казалось, она смотрела и не смотрела на него одновременно. Такой взгляд был у святых на иконах. Он вызывал тревогу. Владька молчал.

— Ты не крестишься, — спросила, наконец, старуха: — Комсомолец?

— Комсомолец, — тихо признался Владька.

— Всё равно раздевайся и проходи, — разрешила старуха, — лицо у тебя чистое. Вижу, что не жулик.

Владька усмехнулся и стерпел, не ответил.

— Спать тебе на диванчике, — продолжала старуха, — в углу за печкой. Обедаю я в два часа. Не опаздывай, если у тебя дела будут.

Старуха это сказала так, словно сомневаясь, что дела у него могут, конечно, быть, но сомнительно, что они у него есть.

— С утра, — продолжала старуха определять для Владьки его права и обязанности, — отбросишь снег от дома, приберёшь двор, натаскаешь из колонки воды и нарубишь дров. Большие чурки в печь не суй. Печь топи с семи вечера. Недолго. Я жары не люблю, а ты молод, кровь ещё горячая — не замёрзнешь.

— Книги читаешь? — вдруг спросила старуха.

— Читаю, — не без удивления ответил Владька.

— За диванчиком есть лампа. Её зажигай. Верхний свет я не включаю. И платить за него надо, и ни к чему. Нам смотреть друг на друга незачем, а с тебя и той лампы хватит. И ещё, — непрерываемо изрекла старуха. — Ко мне батюшка приходит. Когда придёт — тебя в избе не должно быть.

На этом старуха все свои объяснения закончила... недели на три. Она молчала, когда он приходил и когда Владька уходил. Он здоровался, она кивала головой: мол, поняла. Если он по давней привычке включал верхний свет, старуха тут же сползала с кровати и, шаркая ногами, добиралась до выключателя и свет выключала, никак не выражая словесно своего недовольства. Похоже, как считал Владька, каждое слово ей даётся с трудом. Вначале молчание старухи Владьку тяготило, а потом он к нему привык, и оно его даже стало устраивать: он был свободен, имел крышу над головой и обед, а со своими обязанностями по дому он справлялся легко и с удовольствием. Особо нравилось ему отбрасывать от дома снег и колоть дрова. Он столько переколол дров в ту зиму, что потом всю жизнь колот их в охотку. Особенно на своей даче. Старуха усекала, с какой охотой, даже удовольствием её постоялец убирал снег и колот дрова.

Первые слова после трёхнедельного молчания, которые услышал от неё Владька, были такие:

— Ты не лоботряс.

Владьку эти слова ободрили — его давно и ни за что не хвалили, но своего удовольствия он никак не выдал. Отмолчался. После ареста матери, да ещё в шумной и говорливой Москве, он привык к одиночеству, уединённости и тишине в своей жизни. Даже на свиданиях со своей будущей женой он преимущественно отмалчивался. Лена рассказывала с восторгом о своём институте, о новых подругах, о каких-то замечательных профессорах, а чем Владька мог ей ответить? Рассказом о том, как он убирает двор у насторожённой и одинокой старухи? Или пересказом того, что он прочёл в Ленинке, в общем читальном зале, в котором Владька торчал изо дня в день? Это Лене не сильно интересовало... хотя она его и слушала. Но в ней уже «просыпался» будущий химик, а Владьку, кроме литературы, истории и собственного пропитания, вообще ничто не занимало. С каждой встречей их интерес к друг другу таял, сердечное волнение гасло, а неравенство нарастало. Во всяком случае, Владька всё чаще об этом думал, он замыкался и отдалялся.

К марту их встречи совсем сошли на нет. Он продолжал жить в доме старухи, оплачивая кор-

мёжку то тем, что выполнял дополнительные поручения хозяйки, то пришедшим от Марата денежным переводом, то колкой дров в соседних дворах на Малотульской улице.

Странное дело, но молчаливость старухи устраивала ещё и оттого, что она успокаивала Владьку. Старуха никогда с ним не обедала вместе, он никогда её ни о чём не расспрашивал. Ни приязни, ни неприязни между ними не возникало. Он приходил после библиотеки или очередного музея, а Владька за тот год посетил их едва ли не все в Москве, здоровался, получая в ответ кивок, мыл руки, садился к столу, всё прибирал и валился на диванчик, включая лампу. Так было и в тот вечер. Он уже засыпал, когда услышал:

— Меня зовут Агриппина Кондратьевна.

— А меня Владлен, — представился из своего угла Владька.

— Давай поднимайся, — донеслось до него, — будем вечерять вместе. Я тебя вареньицем побалую, Владлен... Имечко у тебя тоже комсомольское, видать. Словно Петром назвать не могли... По... христиански...

Удивлённый Владька соскочил с дивана и только сейчас заметил, что старуха не в чёрном, как он привык, платье, а в цветистом сарафане, волосы хорошо прибраны и на ногах у неё не валенки, а туфли с тесёмочками поверх ступни.

«С чевой-то она разоделась? — подумал он. — Уж не именинница ли?» Ещё больше его удивили свежая скатерть, две фиолетовые чашечки, две рюмочки такого же цвета, самовар, вазочка с вареньем и резной маленький графинчик с какой-то тёмно-красной жидкостью. Владька присел к столу. Старуха уже за ним восседала.

— Ты, похоже, не пьёшь? — спросила старуха.

— Нет, — сразу же подтвердил Владька.

— Ничего, — уверенно произнесла она. — Сегодня выпьешь — не сопьёшься. Да и комсомольцы твои теперь, после войны, не брезгают. Будут пить за Победу, пока с копыт не слетят...

— А что за день сегодня? — спросил Владька неуверенно.

— Какая тебе разница, — пробурчала старуха. — Ты ж неверующий... Просто поддержи компанию. А то ты молчишь, я молчу... Незатейливо живём. Могу тебе сказать, что раньше здесь говор не умолкал. Семь человек жило. Спали вповалку почти что. Теперь же никого: одного в кулаки зачислили, другой на работу опоздал — посадили, двоих война прибила. Вот так и раздробились по жизни и смерти... На твоём диванчике последний мой брат спал — его туберкулёз сгноил. Сегодня как раз пять лет, как Господь к себе его прибрал. Давай помянем. Его Петром звали.

Старуха разлила наливку по рюмкам. Они выпили. Наливка была густая, сладкая и приятная. Старуха подпёрла голову, тихонько и протяжно запела:

Ах, война, война, война...

От тебя устала.

Если б не было вина,

То совсем пропала.

У меня на сердце бронь,

Его стук не слышат.

А когда-то был огонь,
Да весь... вышел.

Последние слова старуха не пропела, а прошептала, заплясал огонёк от горящей свечи, откуда-то подую холодком, открылась дверь и на пороге появилась молодуха, укутанная шерстяным платком.

— Распутывайся и садись с нами, чайку попьём, — пригласила, как приказала, старуха, и пояснила для Владьки. — Племянница моя. Вот умру — дом ей останется. Она ждёт — не дожждётся...

— Да ты что, тётя? — запротестовала весело племянница, поглядывая на икону и крестясь. — Так грех даже говорить.

Племянница взяла стул, придвинула его поближе к Владьке и сказала озорно:

— Приятно посидеть с молодым человеком. Да хорошенький какой... Есть с кем согреться с морозу.

Владька сразу побагровел от смущения. И совсем запольхал, когда горячая нога племянницы притиснулась к его ноге. Он немного отодвинулся, но молодуха подошла к шкафу за рюмкой для себя, налила наливки и снова поставила свой стул вплотную к Владьке.

— Ты чего к нему жмётся? — не церемонясь, спросила старуха. — Не охомутила ещё, а уже жмётся...

Молодуха расхохоталась.

— А чтоб не убёг, — едва сдерживая смех, сказала племянница...

— Куда ему бежать, — вздохнула старуха, — он безкрышный, бесприютный. Сирота, небось.

— Я не сирота, — возразил Владька. Хмель уже ударил ему в голову с непривычки. Да и сопротивление из него выпирало, едва он улавливал хоть тень унижения или пренебрежения.

— У меня есть мама и братья, — пояснил он.

— Где ж твоя мама? — спросила сочувственно молодуха.

— Она живёт в Сибири. Скоро приедет.

— В Сибири не живут, — вздохнула молодуха, и снова перекрестилась. — В Сибири сидят. Так что она, твоя мама, не приедет, а выйдет. Не так, что ли?!

Владька резко встал, поблагодарил старуху и пошёл к диванчику, в свой угол. Он ещё долго слышал звяканье ложечек, перешёптывание двух женщин, их тихий смех. Ему было душно. Он накинул на плечи своё пальтецо, схватил шапку и вышел во двор. Пахло уже весной. Снег оседал и не скрипел под ногами как в зимние дни. Звёзды, словно помолодевшие, сверкали в тёмно-голубом и чистом небе. Владька смотрел на них с удовольствием. Он тоже был молод и полон надежд. Племянница хозяйки, которая на него насадала, усилила в нём ощущение молодости и долговечности.

— Вот если она сейчас выйдет, — говорил он лихо самому себе, — то я не буду от неё отодвигаться, я её поцелую, сразу, пусть она потом говорит, что хочет, пусть даже заедет по физиономии. Пусть!

Но молодуха не выходила.

«Уже поздно, — подумалось ему. — Что же она не уходит? Может, ночевать останется. Тогда, где она будет спать? Ей место только на диванчике. Значит, мне надо уходить... опять на вокзал тащиться. Как неохота!»

Владька постоял на дворе ещё полчаса, потом застегнул пальто и вышел на плохо освещённую Малотульскую улицу. Похолодало. До остановки идти было далековато. Но ему ничего другого, как он посчитал, не оставалось. Он пошёл и вскоре дом, где он приютился, скрылся в ночной темноте. Ночевал он в ту ночь на самом нелюбимом вокзале — Ярославском.

Поворот

Три дня Владька у старухи не появлялся. Он прожил их в генеральской квартире на Арбате, в которой жил после приезда в Москву верный товарищ Марата Александр Любарский. Отец Сашки был директором огромного военного завода в их городе. В Москве он имел квартиру, но, приезжая в столицу, почти никогда не останавливался в ней — его всегда отвозили с вокзала или из аэропорта в один и тот же номер гостиницы родного и всемирного министерства. Сашка, пристроенный в элитный вуз, был баламутом и озорником. В общезжитии он жить не хотел и кантовался в насквозь прокуренной квартире отца, где изо дня в день толклись его сибирские и московские товарищи — приятели, напомаженные девицы, начинающие поэты и уже устоявшиеся алкаши с замашками непризнанных гениев. Сашка всех привечал, принимал, как он говорил, на своём пересыльном пункте, но всегда на короткое время.

— Пойми, — говорил он, понижая голос, — здесь примелькаться опасно. Дом под жёстким контролем. Тут правительственная трасса проходит. Вон, смотри, на углу Ванька стоит...

Очередной «поселенец» подходил к окну и с опаской поглядывал на невзрачного мужичка, который часами топтался на углу Арбата, у входа в гастроном. Для убедительности Сашка Любарский любил на глазах своих приятелей у этого сексота прикуривать и фамильярно с ним здороваться. Он хорошо помнил, как подтягивался и суровел сексот, когда его отец раза два в году появлялся на Арбате, проверяя, как живёт сын. Сексот явно хорошо знал, кто отец у Сашки Любарского.

Но самый сильный довод Сашки, что надо сваливать из квартиры, был в его словах:

— Завтра генерал приезжает, прибраться надо.

Тут уже даже наглые приятели Сашки сматывали удочки и исчезали. Батяня, конечно, ехал в министерскую гостиницу, а Сашка устраивал для себя дни отдыха и уединения. Жизнь он вёл бурную, и в релаксации нуждался.

Один Владька Сашке не мешал в дни отдыха. Дисциплинированный и неприхотливый Владька мог сидеть в комнате старшего Любарского по четыре часа за книгой, ни одним звуком не обозначая своего присутствия. Кроме того, он убирал квартиру, ходил в магазин, не трепался по телефону и не поднимал трубку, пока Сашка не подойдёт. То есть все договорённости своего вре-

менного проживания в элитном московском доме он соблюдал неукоснительно.

Кроме того, Сашку как-то неосознанно тянуло к Владьке. Он ничем не походил на ребят из московской компании — не пил, не курил, не таскался с девками, не вслушивался и не встречал ни в какие разговоры о заграничных шмотках, космополитах, Берии, атомной бомбе и о Тито, который пьёт из «кровоавого корыта». Любарского это удивляло. Он помнил Владьку на заводском посёлке в их огромном городе совсем другим — азартным, шумным, самолюбивым, вспыльчивым и очень добрым, откровенным. А вот после ареста Ады Исаевны Владьку, впрочем, как и Марата, будто подменили. Марат сразу пошёл работать, посуловел, спал с лица, бросил многие компании, в которых они с Сашкой блистали и заводили свои первые романы, а Владька замкнулся, замолчал и совсем зарылся в книги. Сашке хотелось немного растормошить Владьку, ещё неиспорченного и ничем дурным, что Любарского очень удивляло. Он относился к младшему брату своего давнего и верного товарища доброжелательно и снисходительно. Но смутить и подзадеть Владьку любил.

Так было и в ту релаксацию, когда Владька в очередной раз прожил три дня в генеральской квартире директора огромного оборонного завода. Сашка, как и всегда, встал поздно, принял душ, сварил кофе и крикнул, не сомневаясь, что его постоялец уже давно проснулся:

— Владька! Канай сюда! Завтракать будем. Если ты совсем зачухнешь, то твой мореман с гордым именем Марат мне рожу начистит. Знаю я вас, Винсов... В драке вы волчата. Годик-другой — и волками станете.

На пороге появился Владька — вымытый и душевно чистый, с буйной копной вьющихся волос. Любарский отметил про себя: «А красивый мужик будет из него... Если, конечно, нормально причешется, приоденется и подкормится. А пока щёки вваливаются и на его двухцветную курточку страшно смотреть. Отдам-ка я ему свою старую кожанку. Но не возьмёт же, гад. Все Винсы — гордецы».

— Садись, Владька, — требовательно пригласил к столу Любарский. — Я тут наделал бутербродов со шпротами на десятерых. Ешь на здоровье.

Владька поблагодарил и присел к столу. Любарский помолчал, пока Винс втягивался в завтрак, а потом спросил серьёзно, ещё не улыбаясь:

— Ты хоть когда-нибудь гондон видел?

— Что-о?

Владька чуть не подавился после такого вопроса.

Любарский расхохотался и уточнил:

— Ну, презерватив...

Владька побагровел от смущения и ответил:

— У меня есть любимая девушка.

— Тогда тем более надо иметь гондон.

— Не надо, — отрезал Владька, то ли откачиваясь от предложения Любарского, то ли от продолжения дальнейшего разговора. Он встал из-за стола, собираясь уйти, но Любарский его удержал.

— Владька! — сказал он сердечно и укоризненно. — Отчего ты такой сумасшедший? Я же

только спросил... Кроме того, я знаю — Марат рассказывал, — что твоя дама сердца, пока диплом не получит, свои прелести не раскроет. А ты сейчас живёшь в Москве, чёрт знает где, у какой-то богомолки, выживающей из ума. В нашей столице подцепить заразу можно на каждом углу. На каждом! — патетически воскликнул Любарский, долил кофе в чашку Владьки и пододвинул к нему поближе тарелку с бутербродами. — Учти, — продолжал он, — в Москве можно жить как угодно, но без гондонов и, по крайней мере, десятки в пистончике, жить нельзя. Да ещё красивому гластастому парню...

— Это ты про меня? — спросил Владька

— Да, — подтвердил Любарский уверенно. — Это я про тебя, чего ты ещё не сознаёшь, потому что твоя комбинированная из двух тряпок курточка красоту Владлена Винса умалывает, прячет, задёргивает. Поэтому я тебе подарю свою старую вытертую, но ещё прочную кожанку. Ты будешь в ней модно смотреться, и Ванька на углу перестанет коситься на парня с космополитической внешностью. И мне спокойнее будет...

Любарский встал, открыл платяной шкаф и достал из него кожаную куртку с лысынами на локтях и на спине.

— Я не возьму, — отчеканил Владька и ушёл в дальнюю комнату.

— Чёрт возьми! — заорал Любарский. — Это, наконец, невежливо. До прихода отца я здесь хозяин и мы... не договорили.

Владька вышел из комнаты, протопал с яростным видом мимо Любарского и принялся из-под Сашкиных курточек вытягивать с вешалки свою — двухцветную, матерчатую.

— Спасибо за бутерброды, хозяин, — отчеканил Владька, уже открывая входную дверь.

Любарский стоял разозлённый и растерянный.

— Владька! — сказал он тихо. — Я очень прошу тебя сейчас не уходить. Поверь: среди тех сволочей, которые у меня кучкуются, ты...

— Я не сволочь, — докончил Владька.

— Точно, — согласился Любарский. И добавил. — Мне хорошо, когда ты у меня.

Владька остановился. Потом снял куртку. Потом сел. Потом сказал глупо и решительно:

— Я не доел бутерброд.

И тут они оба принялись хохотать.

Затем Любарский целый час уговаривал Владьку взять куртку. Он рассказывал, какую шикарную куртку ему привёз отец из ГДР, уверял, что лысины на той куртке, которую он предлагает Владьке, доводят до бешенства мать, а батяня, когда он в этой куртке, никогда не идёт рядом с ним, потому что такая вытертая куртка портит и чуть ли не оскорбляет его, Сашкин, авторитет и престиж генеральского сына. Наконец, он заверял, что обещал куртку Марату, и он согласился взять её, когда вернётся с промыслов.

— Ты просто братану передашь её — и всё. А до его приезда поноси сам, — уговаривал Владьку Любарский. — Когда-нибудь и ты мне поможешь. Кто знает, как наша жизнь сложится... Я ведь, по сути, шалопут. Сознаю... Институт мне противен,

работать не люблю, мозгами не выделяюсь, в вот куртку носить умею. Берёшь?

И тут Владька сдался. Он примерил куртку и согласился... её передать брату. Что ж, до его возвращения он поносит куртку сам.

— Вот и ладненько, — повеселел Сашка и снова спросил. — Но ты всё-таки раскрой тайну: гондон видел или нет?

— Нет! — выпалил Владька и чертыхнулся.

— Я так и знал! — хихикнул с удовольствием Любарский...

Вскоре Сашка собрался в институт.

— Владька! — напомнил он. — Сегодня приду поздно. Ещё захвачу семинар, наверное. Потом надо к батяне, почтение выказать, затем у меня неформальное общение... Читай Кербабаева. Его у нас никто не читал, а ты осилишь. Бутербродов тебе хватит до вечера... Ну, а дальше...

— Дальше — мне понятно, — донеслось из другой комнаты.

— Будешь уходить, — предупредил Любарский, — дверь прижми плотно, чтобы щёлкнул замок.

— Щёлкнет! — заверил Владька. Он уже снимал с полки сочинения Кербабаева.

...К дому старухи на Малотульской Владька подошёл уже в темноте. На улице, как в большой деревне, брехали собаки, и кто-то вдалеке с подвывом тянул:

На далёком Севере
Холодно, и тут
Тоже всё потеряно —
Радости не ждуг.
Нам на что надеяться,
Где нас счастье ждёт?!
Жизнь перемелется
И... уйдёт.

Через много, много лет эту песню Владлен Винс вспомнит, вздрогнет и закручинится также, как тогда на Малотульской. Потому что едва он припомнил Север, на котором холодно, как сразу же в памяти и сердце возник Марат. Они всю жизнь были связаны с братом невидимыми, но никогда не разрывающимися нитями. Эти нити постоянно разматывались, и отдаляли их, но по ним бежал и бежал живой и неиссякаемый ток матери.

«Где он бродит, Марат? Когда вернётся? И когда мама вернётся? Когда мы все снова будем вместе? — бессмысленно спрашивал у самого себя Владька, отворачиваясь от ветра и прикрывая лицо поднятым воротником кожаной куртки Любарского. Свою куртку, вместе с истрёпанной демисезонкой, он оставил на Арбате, посчитав, что для начала весны подаренной кожанки ему достаточно. Тем более, что днём светило солнце и в Москве было уже по-весеннему слякотно.

Между тем к вечеру подул ледяной ветер, пошёл снег и зима, будто назло Владьке, вернулась в столицу. Владька заледенел, пока добрался до Малотульской.

В доме не тускнел ни один огонёк, и не слышалось никаких звуков. А Владьке так хотелось согреться и заснуть в тепле. Он постучал и раз, и два, но никто не откликнулся. Владька был в

отчаянии. Он чувствовал, что заболевает. Владька ещё раз, но уже без всякой надежды пнул дверь и с радостью услышал некоторое шевеление в доме. Зажёгся свет, потом он услышал, как что-то грохнуло и упало в сених, заскрипел засов, и в проёме появилась нечёсаная молодуха в ночнушке. Владька вошёл в сени.

— Здравствуйте! — сказал Владька. — Извините. Я, наверное, разбудил бабушку.

— Здравствуйте и до свиданьица, — сказала молодуха. — Гуляйте, откуда пришли.

Дверь комнаты закрылась и, закрывая её, уже другой засов также противно заскрипел. Владька от неожиданности застыл в сених. Он больше не стучал, но и не двигался. А потом его пробил кашель. Сначала ненадолго, а потом он уже не мог остановить его. Владька так раскашлялся, что его просто выворачивало. Ему страшно захотелось пить. Он на ощупь нашёл кадку с водой, зачерпнул ковшом ледяную воду и, стуча зубами, напился. Потом сел на пол, при этом что-то задев. На голову ему упала связка лука, засунутая в старый женский чулок. Он улыбнулся, на что-то облокотился в темноте, и то ли заснул, то ли потерял сознание.

...Очнулся Владька на своём диванчике в углу, перед ним почему-то на коленях стояла молодуха с испуганным лицом, но уже не в ночнушке, а в платье, и повторяла одно и то же:

— Красавчик, не умирай! Красавчик, не умирай! Ты же ещё молоденький...

Владька хотел сказать, что он и не собирается умирать, но у него не получилось — ему было трудно пошевелить губами и сильно болело горло. Казалось, что в него кто-то засунул гирию. Он лежал и, кроме горла, не чувствовал своего тела. Он хотел ощупать его и удостовериться, что оно есть, никуда не делось, но и это ему не удалось: руки не поднимались, ноги не шевелились.

Потом он опять увидел молодуху. Она уже была в свитере, а не в платье.

«Зачем, — подумалось Владьке, — молодуха постоянно переодевается? И к чему это она всё время стоит на коленях перед ним?! Неловко же...»

Время от времени до него доносилось:

— Красавчик! Ну, попей горячего топлёного молочка с мёдом. Богом тебя прошу! Тебе прогреться надо, а то ведь помрёшь...

Владька вроде бы кивнул, соглашаясь с тем, что он попьёт молочка с мёдом, но почему-то его никто ему не дал...

В третий раз он не увидел, а скорее почувствовал молодуху: слева ему было гораздо теплее, чем справа, у стенки. Рядом с ним, чуть ли не в ухо, кто-то дышал.

— Кто это? — спросил он, удивившись тому, что у него теперь другой голос — слабый и писклявый.

В ответ Владька услышал тихий и счастливый смех.

— Всё-таки я тебя отогрела... отмолила... Очнулся, красавчик?! Что значит, бабий жар! А?!

Молодуха легонько повернула Владьку к себе, обняла и принялась нежно его целовать, шепча ему в ухо:

— Ты не волнуйся, красавчик! Мужик ты ещё никакой, но всё же живой. Это самое главное. И твоя мать, когда выйдет из тюряги, мне ещё за тебя в ножки поклонится. Вижу, что теперь ты жить будешь. А мне больше сейчас ничего от тебя и не надо. Кроме одного — спи и живи.

Когда он увидел молодуху снова, она уже была одета. За столом, кроме неё, сидел ещё один человек. Владьке показалось, что он с ним давно знаком. Особенно голос был знакомым — низкий, с мягкими переливами. Владька осторожно поднялся, кое-как влез в брюки, нацепил рубашку, кем-то выстиранную и хорошо отглаженную, и высунулся из своего угла. За столом сидел Марат и молодуха, отогрешившая его, как он вспомнил, от смерти. Он закачался от слабости, схватился за угол, сполз на пол и первый раз за последние дни не потерял сознания.

...Выздоровливал Владька долго, целый месяц. Сначала прошла боль в горле, потом он стал легче дышать и меньше кашлять. Целые дни он был один, а к вечеру прибегала молодуха, или приходил Марат. Они обязательно проверяли, съел ли он то, что ему было приготовлено. Молодуха заставляла его пить молоко с мёдом, а Марат обязательно приносил красную икру, которую Владька ел до этого раз в жизни — на банкете у мамы, когда она вскоре после войны защитила кандидатскую диссертацию.

— На что ты купил красную икру? — ворчал Владька на брата. — Откуда у тебя такие деньги? Лучше бы плавленых сырков купил. И дешевле, и... больше.

Марат хохотал и загадочно пояснял:

— На сырки у меня денег нет, а икрой накормил весь наш курс. Мне зарплату капитан икрой отдал. Целый бочонок привёз.

— Целый бочонок? — переспрашивал чуть ли не потрясённо Владька.

— Да мог бы и бочку привезти, — заверял Марат. — Но не с руки, неинтеллигентно возить икру большими бочками. Но и бочонок немало. Я уже с твоей спасительницей икрой рассчитался. Так что ешь, не смущайся.

— Кстати, Владька, — обаятельная улыбка преображала лицо брата, — твоя спасительница, похоже, неровно дышит. Как бы ты в этом домишке хозяином не стал... Смотри, Ленка приревнует.

— Она здесь не хозяйка, — отбилась Владька. — Хозяйка здесь Агриппина Кондратьевна.

— Старуха, что ли?!

— Да.

— Всё ты, братишка, проболел, — усмехнулся Марат. — Старуха в монастырь ушла, велела тебе кланяться.

— Как... в монастырь?

— Вот как — я не знаю, — ответил Марат, согнав с лица улыбку. — Устала, видимо, от мирской жизни...

Марат отдал Владьке три рубля и поднялся.

— Мне пора, братишка, я восстановился в институте и теперь надо корячиться, досдавать то, что пропустил. А для тебя нашёл новое жильё. До лета в нём перекантуешься, а там, глядишь, поступишь в институт. Но лучше не в Москве, здесь тебе явно не климат... Впрочем, решим, время ещё есть.

Через неделю я тебя отсюда заберу, а то ненароком женишься, а что мне потом мама скажет?

— Когда... потом?

— Вот увидишь, — сказал страстно и лихо Марат. — Потом будет.

Новая хозяйка пришла поздно. Ослабевший Владька рано ложился спать. Услышав стук, он поднялся, открыл дверь и тут же пошёл к своему диванчику. От слабости его ещё качало. Хозяйка сняла пальто и присела на его диванчик.

— Ну, красавчик, — спросила она, — как дышим?

От молодухи пахло вином и потом.

— Вы так долго работаете... — сочувственно сказал Владька.

— А разрываюсь между всеми вами, Красавчик, — просто и откровенно сказала молодая женщина. — Весь день колочусь на рынке, потом бегу покормить дочку с матерью — она инвалидка у меня, а уж к ночи — к тебе, не помираешь ли снова, Красавчик?!

— Не зовите меня так, — попросил Владька. — И скажите, пожалуйста, как вас зовут. Я до сих пор не знаю... Извините.

— Вот те на! — воскликнула молодуха. — Со мной спал, а по имени меня не знаешь. Сейчас я тебе скажу, как меня зовут. А лучше шепну...

Молодуха наклонилась над Владькой, поцеловала его в ухо и шепнула «Тоня я. Антониной меня зовут. Понял?»

— Понял, — сказал Владька и отодвинулся. По телу потекла испарина и у него закружилась голова. А Тоня приближалась всё ближе к нему, всё ближе...

— О, Красавчик! — запричитала она. — Да ты ещё весь мокренький и слабенкий. Тебя протереть надо. А лучше натереть. Я тебя сейчас так натру, что ты у меня завтра не пойдёшь — побежишь. Ты здоровенький мне нужен, а не потненький.

Тоня встала, разыскала в комодке какой-то пузырёк, бесцеремонно откинула с Владьки одеяло, повернула его на живот и принялась его растирать. Она растёрла ему спину, потом грудь, пятки... Она растирала его так, как будто он уже давно ей принадлежал, и больше никому. Затем она укутала Владьку, как куклу, накрыла двумя одеялами и своим полубубком, смачно поцеловала в губы и сказала:

— Всё, теперь ты у меня отболел. Завтра я тебя ещё лучше прогрею.

...Проснулся Владька в одиннадцатом часу. В доме уже никого не было. В окне играли солнечные лучи. Пахло варёной картошкой, пудрой и нашатырным спиртом. Владька с одного толчка соскочил с дивана и не почувствовал никакой слабости. Его не качало, не тошнило и у него ничто не болело.

— Я здоров, — пропел, а скорее прокричал он. — Я здо-о-ров!

Он мгновенно смёл оставленные ему оладушки и картошку, выпил два стакана чая, нацепил кожанку, от которой Марат категорически отказался, вышел во двор и поразился тому, что он просмотрел весну. А она уже буйствовала: солнце висело высоко в небе, а чуть пониже, но тоже высоко, летали и щебетали птицы, земля осво-

бодилась от снега, и отовсюду бежала капель — с крыш, из водосточных труб, с подсыхающих поленниц. Всё кругом звенело, свистело и шуршало. Это было пробуждение не только природы, но и... Владьки Винса. Ему хотелось действовать, двигаться, ездить, говорить, кричать, петь и влюбляться. Он не забыл, как его перед сном поцеловала Тоня. Но вспоминал он о ней с тревогой.

«Зачем мне эта Тоня? — размышлял он. — От неё водкой пахнет и нашатырным спиртом... Мне нужна Лена — умная, благоухающая, аккуратная. Она не могла меня забыть так быстро, я же не забыл, как она вспыхивала, когда я приходил».

«Ленку надо разыскать сейчас же, немедленно. Может, ей тошно без меня, — лихорадочно предполагал Владька. — А если не до меня, что ж, зато определённости будет, узнаю, что теперь ей не нужен. Этой весной должен быть поворот во всей моей жизни. Больше никакой неопределённости не хочу терпеть. Ни здесь, в Москве, ни у себя дома, нигде. Хватит!»

Владька вернулся в дом, положил на стол три рубля, принесённые Маратом, потом навёл порядок на дворе, наколотил дров на целую неделю, побросал свои вещички в саквояжик, доставшийся ему ещё от мамы, и написал записку печатными буквами, потому что почерк у него был настолько неразборчивым, что даже Ада Исаевна в нём едва разбиралась.

«Дорогая Тоня! — выводил он. — Спасибо Вам за всё. И за спасение тоже. Но больше я у вас оставаться не могу. Это нечестно и нехорошо. Желаю Вам счастья в личной жизни. И во всякой другой — тоже. Владька».

Размежевание

Марат сдал последний зачёт и почувствовал себя равноправным человеком в стране Советов: в море он не разнюнился, в институте восстановился, Владька с того света вернулся в этот, и ему, старшему сыну, не страшно будет смотреть маме в глаза, когда её освободят. Его, правда, беспокоил ещё Борька, но бабушка писала, что с ним всё в порядке, хотя едва ли так... Борька явно отставал дома, а в Питере, где всё пронизано страхом, подозрительностью, крохоборством и остатками старого столичного высокомерия, младшему брату наверняка достаётся по первое число. Бабушка его не сумеет — слаба стала — уберечь от презрения, жадности и недоброжелательства. Борька не начитан, не боек, у него замедленная реакция, он любит поспать, затаиться, а, кроме того, он постоянно смущается своей неповоротливости, своего незнания, всей своей нескладности. Хотя наверняка безотказен, выполняет всё, что ему предписывается. Но его вселенская доброта и отзывчивость вряд ли ценятся, скорее раздражают. В Питере столько пролито крови, что эгоизм возведён в абсолют. Без него не сохраниться, не выжить. А такие добрые люди, как бабушка, в Питере сейчас как случайные всходы жизни.

Вот так примерно размышлял Марат Винс, застёгивая морской кителёк, и надраивая башмаки с набойками. Его пригласили на встречу с земляками, и ему хотелось блеснуть. Стрелки на клешах напоминали острие ножа, пуговицы на

кительке горели под лучами солнца, а сохранившийся на впалых щеках румянец демонстрировал уверенность и даже благополучие.

Марат посмотрел в зеркало и хмыкнул не без удовольствия. Он понравился самому себе. Его острый и длинный нос ничуть его не портил. Глаза смотрели весело и лукаво, он был гибок, аккуратен и стремителен. Старший Винс быстро ел, быстро ходил и быстро соображал. Над высоким лбом нависали каштановые волосы с ровной укладочкой в полубоксе. Досаждало ему одно — он был невысокого роста, но зато хорошо сбитый, пропорциональный, за исключением носа, который, конечно, нарушал общее впечатление от молодого моремана, но и придавал ему некую стремительность, а иногда и агрессивность. Однако стоило Марату улыбнуться, как все сразу вокруг него добрели. У него была обаятельная улыбка врождённого искусствителя и чародея. Да ещё усиленная остроумием.

В любой компании Марат незаметно, но почти во всех случаях, становился её лидером и душой. И никаких особых методов ему для этого не требовалось. Достаточно было Винсу пошутить, что-то вспомнить и баста — все уже толпились около него и ждали, что он скажет.

Так было и на этот раз. Едва земляки встретились в Москве после его возвращения с флота, как принялись вспоминать, тарыхтеть и рассказывать друг о друге. Многие из них учились в элитных вузах столицы. Только Марат, по мнению всех, попал в самый захудалый вуз, что, впрочем, ему ничуть не мешало снова быть «первым лицом» в компании.

При встречах с земляками соблюдался один и тот же порядок: сначала они рассказывали о себе в Москве, как учатся, что там у них в институтах, кто в кого влюбился и т. п. Потом они, ещё недалеко оторвавшиеся от школы, вспоминали свой класс, своих учителей и свой город, который любили ничуть не меньше Москвы.

— А помните, — вспомнил Марат, — как появлялся в классе наш географ?

И все дружно принимались хохотать: ещё бы, как же такое можно забыть?!

— Сначала, — патетически восклицал Марат, — в классе появлялась его указка, потом его жопа, потом папка бумага с нашим журналом подмышкой, потом полусогнутая спина с накинутым пиджаком, засыпанным перхотью и, наконец, являлся сам Примус. Я до сих пор, ребята, понять не могу, почему он задницей в класс заходил...

— Не хами, Маратик, — тут же обрывала его Надька Строганова, — учившаяся в мгу. — Мы не на траулере... Если от тебя рыбой пахнет, то почему мы должны все также припахивать?!

— Согласен, — смеялся Марат. — Но между ж...й и задницей мало разницы.

Ребята снова закатывались в хохоте и принимались объяснять появление географа в классе.

— Это от презрения к нам, — кричал Любарский. — Географию мы считали второстепенным предметом... Он как с нами здоровался?

— Здравствуйте, балбесы! — напомнила Лариска Позднякова.

— Точно, — поддерживал Эдик Песчаный из физтеха. — Вы только вспомните, как он переживал из-за пустыни Калахари. Это когда Колька Присекин сказал, что она находится в Астраханской области.

Примус так раскипятился, что стал топтать ногами наш классный журнал.

— А я другое вспомнил... — Марат приосанился. — Представьте: про первый класс. В нём у нас висел портрет Крупской. Наша училка, по прозвищу Ворона, пришла в тот день строгая и напряжённая. «Дети! — сказала она. — Вчера умерла Надежда Константиновна Крупская. Прошу встать!». Все встали, молчат, а я вдруг заорал:

— Как же мы будем жить без Надежды Константиновны?!

И закричал так, что весь класс расхохотался. Ворона посмотрела на меня как на преступника, молча вышла из класса и не обращалась ко мне недели две.

— И как же ты живёшь без Надежды Константиновны? — спросила с ехидцей Надька Строганова и тут же получила чеканный ответ от Марата.

— Без Надежды Константиновны я живу хорошо. А вот без мамы — плохо, — ответил он, и первый раз за встречу не улыбнулся.

Он не забывал, что все его школьные друзья в Москве устроились гораздо лучше, чем он: трое живут у богатых родственников и в ус не дуют, Надька в общаге, но в комнате на двоих, Присекин уже получает повышенную стипендию, а верный кореш Саня Любарский пришёл на встречу с земляками в такой хрустящей новенькой кожанке, что все девчонки сразу принялись кружить возле него.

Пустобрёх Саня красовался, как мог. Ему пришлось почти всё: похабенькие анекдоты, фамильярные похлопывания, нагловатые комплименты и предложения... Девчонки отбивались от него без обиды и с натужным сопротивлением, в котором удовольствия было намного больше, чем нежелания. Марату ничего не стоило «подсечь» Саню и сбить с него ореол очаровашки. Тем более, что все девчонки знали, что Сашка в общем-то оболтус и лоботряс. Но Любарский был парень их круга — сытый, устроенный, с влиятельным папой. Он знал все московские новости, умел блеснуть своими знакомствами, достать билеты в элитный театр и подарить ко дню рождения такие цветы, на которые в их сибирском землячестве никто бы не решился. Словом, у Сани были средства — и не только материальные — чтобы понравиться и вскружить голову своим родным провинциалочкам, успешно и радостно осваивающим столицу.

Марат смотрел на своего дружка Саню, по-доброму усмехаясь, но и огорчаясь тоже. Он не забыл, как его встретила Москва, когда он приехал. Мамина сестра и её муж появление племянника встретили без тени восторга и даже без лицемерного намёка на доброжелательство. Помогать сыну своей арестованной сестры тётка не хотела, да и не могла. Первое, что Марат услышал от неё: «Ты мог бы учиться и у себя дома. Надеюсь, что у вас вузы ещё не отменили?! В Москве пробиваться гораздо труднее. Кроме того, ни у тебя, Маратик,

ни, тем более, у Владьки нет никаких оснований для столичных претензий. Вы явно не отличники... Не говорю уж о ваших мандатных данных. Так что надо смотреть правде в глаза и не строить иллюзий: в Москве не просто жить всем, а уж таким осколкам, как вы с братом, особенно».

Тётка закурила, и Марат в который уже раз обратил внимание, как она была похожа на маму. И курила также, и также не терпела никакой сентиментальности в отношениях ни с родственниками, ни с друзьями.

— Вижу, что ты оборван, хотя и аккуратен, — заметила тётка бесцеремонно. — Денег свободных у нас сейчас нет. В семье две дочки, сам знаешь... Твои сестрички, Маратик, тянут и тянут, заверяю тебя. Для сносно-приличной жизни в Москве нужно много денег. А много их никогда не бывает. Так что извини... Ада нас поняла бы. Ну, а уж как ты поймёшь, меня не сильно заботит. Однако помочь тебе надо. Скоро в Москве пойдут дожди, будет слякотно, холодно, дерьмово. Твои драные штiblеты такую погоду не вынесут. Но Лёнька сохранил ещё с фронта свои сапоги. Их надо носить лет пятьдесят, чтобы они износились. Ты их возьми себе.

— Спасибо, тётя Эмма, — сказал Марат, — я куплю другие ботинки.

— Перестань, — оборвала тётка. — Давай без церемоний. Когда купишь, тогда сапоги продашь. Их не жалко, у них давно уже пенсионный возраст. Да долго ты эти сапоги и не проносишь. У тебя какой размер?

— Сороковой.

— Сороковой?! — удивилась тётка. — Значит, ты и в этом в мать, а не в отца. Жаль... У отца твоего, как и у Лёньки, был сорок четвёртый размер. Прекрасно помню. Они в молодости менялись штiblетами. Здоровые были парни. Как-то на спор выпили залпом по пять литров молока. Кстати, твой отец после гражданской войны ещё долго служил в армии. Сапоги он носил мастерски: они всегда сверкали и не казались большими и тяжёлыми при его росте. Помню, что за Адой он ещё ухаживал в сапогах. А уж после университета снял, когда запонки приобрёл...

— При чём тут сапоги и... запонки? — спросил Марат слегка разобиженный категоричностью тётки.

Тётка хмыкнула:

— При чём? Да притом... Тебе ещё не на чем вкус оттачивать. Позднее поймёшь, что при бело-снежной сорочке, а уж Адка за этим следила, при запонках, модном галстуке и шляпе армейские сапожки смотрятся чужеродно, как на козле бабочка. Твой папаша был элегантный, красивый мужчина. Владька среди вас на него похож больше всех. И такой же гордый, независимый. Герман, конечно, мог кое-что и стерпеть... Но не стал. И вот его нет, а вы...

Тётка затянулась, вздохнула тяжело и, наконец, сформулировала:

— А вы тут... бедалагствуете без отца и матери. Иди, Марат, на кухню, — приказала она, — и поешь. Всё на столе. А я сейчас найду сапоги.

— Лёнька! — нежно и совсем другим голосом пропела тётка. — Ты не мог бы немного пре-

рваться? Пришёл Маратик и надо найти твои знаменитые сапоги.

«Никто из моих одноклассников, — думал Марат на встрече с ребятами из землячества, которое они в столице образовали стихийно, по зову души, — в таких сапогах по Москве не расхаживал. Странно, но после ареста мамы и его школьные друзья стали не такими, как были, и не такими, как я. Разбегались мы друг от друга, отдалились. А мне так хотелось рассказать им про свой тралфлот, как я плавал и работал, но Надька Строганова, которая дома вздыхала по нему, сейчас рыбой, видите ли, пахнуть не хочет.

«Да и почему ей должно быть интересно, — размышлял уже самокритично далее Марат, — как ловят рыбу на траулере «Зубатка»? Я не капитаном был, а матросом третьего класса и целый месяц шкерил треску. Надька обязательно бы спросила: «А что такое... шкерил?» Ну и я бы принялся ей рассказывать, что в мои обязанности входило распарывать брюхо рыбам и вытаскивать внутренности из них, то есть заниматься рыбодолом. И Надька, если бы выдержала и слушала, снова бы спросила: «А что такое... рыбодоло?» И пришлось бы ей и другим девчонкам объяснять, что это переносной стол, на который матрос третьего класса, то есть последнего, швыряет с палубы рыбу. А мы, другие матросы, тоже третьего класса, её шкерим обоюдоострыми ножами и вперемежку со льдом майнаем, а иначе — опускаем рыбу в ящиках в трюм. И так работали три недели, каждый день по четырнадцать — шестнадцать часов во время рейса. В Баренцевом море столько было трески, что комбальники (ножи) тупились на третий день».

Что я ещё мог рассказать про себя и про других матросов низших классов Надьке, благоухающей рижскими духами и распираемой удовольствием от того, что она учится в МГУ. Размежевала нас жизнь. Она среди элитных мальчиков, а на тралфлоте, по её представлениям, хулиганьё и пьянь страны. Для работы в нём виз никому не нужно. Корабли тралфлота в иностранные порты не заходят. Так что и детей врагов народа к рыбодолу пускают. Интересно это Надьке? Едва ли... Даже Сашка слушал меня со скучающей рожей. Один Владька сидел как онемевший, когда я ему рассказывал о моих морских путешествиях.

Да ещё мама обо всём расспросит и всё поймёт, когда вернётся. А вот когда?»

Отступ в будущее

Через сорок лет после той давней посиделки в Москве с одноклассниками Марат встречал Владьку, который прилетал из Швейцарии. Стояла жара, в Москве было нечем дышать, и Марат мечтал об одном — о прохладе. Но она его не ждала — ни в аэропорту, ни на даче, ни дома. Да ещё торфяники горели в Подмосковье, и горько-сладковатый запах этого не утихающего пожараща пропитал, казалось, в столице всё — дома, проспекты, аэропорты и людей. Астматики задыхались, бомжи прятались в кустах, собаки не бежали, а плелись на прогулках, а бесконечные машины только добавляли Москве смрада.

Самое обидное, что спастись от столичного смрада тем летом было нельзя и на даче — горящие и высохшие болота чернели в двух километрах. Кругом жара и духота были столь нестерпимыми, что хотелось нырнуть в воду и не выныривать, пока не придёт зима. Семейство Марата, задышавшегося от духоты, немного спал очиститель воздуха, подаренный доктору наук Винсу очередным аспирантом. У очистителя, как на посту, стоял астматик-тесть, а едва он отходил от него, как начинал задыхаться и глотать таблетки.

«Не хотелось бы Владьку, — прикидывал Марат, — сразу тащить домой после Швейцарии, где он жил в горах, в прохладе и уюте. Кроме того, утром он улетит к себе. Мама, уже узнавшая о наших пожарищах, звонила и просила, чтобы Владька не задерживался в Москве. Да и дома почти госпиталь, всех доконали жара и смрад. Но нам же надо поговорить, пообщаться... При нормальной погоде мы с Владькой, когда он в Москве, шляемся вдоль озера, у памятника космонавту Волкову или в парке у кинотеатра «Варшава». А сейчас куда пойдём?»

Марат оглянулся. Небывалое дело: аэропорт был почти пустой. Казалось, что никто не хотел ни летать, ни двигаться, ни говорить. Но как раз тут Марат услышал о прибытии самолёта из Берна...

«А поедем-ка мы с братаном на речной вокзал к вечеру, — решил он. — Сегодня дома торчать невозможно, а пить водку в такую жару — самоубийственно. Погуляем вдоль Москвы-реки, послушаем друг друга и повспоминаем. Давно мы с Владькой не общались...»

Марат увидел Владьку издали, когда он ещё катился по эскалатору. Брат был в лёгкой трёхцветной рубашке, напоминающей светфор, в белой шапочке с длинным козырьком, на которой красовался красный швейцарский крест, в мятых полотняных джинсах и в лёгких краснокожих сандалетах, весьма элегантных и едва ли дешёвых. За спиной торчал небольшой вещевой мешок со сверкающими под ярким светом молниями. Глаза Владьки, как и всегда летом, закрывали чёрные очки, в руке он держал синий и тоже весь в молниях и разноцветных наклейках чемоданчик.

Марат смотрел на Владьку снисходительно и любовно.

«Ишь, пижончик, — отмечал он, — уже к шестидесяти подкатывает, а держится молодцом. Выглядит процветающим тренером. Порода у нас такая — не унывающая. Забыл, наверное, как я его после путины застал умирающим в той, давно несённой, избе на Малотульской. Какой он был?! Худосочный идеалог, нищий, брошенный и... восторженный. А сейчас вон какой благоухающий и сытый торопится ко мне — разглядел... Красивый мужик, ничего не скажешь. Надо же! В нём нет никакой старости...»

Они обнялись, расцеловались, и Марат тут же сделал Владьке замечание:

— Очки снимай, когда старшего брата обнимаешь. Поцарапать можешь, сибирский валенок.

— Слушаюсь, граф! — отвечивал Владька. — В такую жару можно и джинсы скинуть.

— То-то! — удовлетворённо одобрил Марат. — И вообще — побольше почтительности.

Без ёрничества они, с детства оспаривающие первенство в семье, уже не могли. Возраст нисколько не мешал им поддёлдыкивать друг над другом, подшучивать, подсмеиваться и над своими успехами, и над своими слабостями, и над своими жизненными ситуациями. Они умели в серьёзном увидеть комедийное, в комедийном — серьёзное, в нелепом — восхитительное, а в случайном — вещее. Свои жизненные успехи они относили к малозначительным подаркам судьбы, но и успехи других их восхищали редко. Братья Винсы не знали зависти, в них напрочь отсутствовал пиетет к высоким должностям, званиям и наградам. А обожествление чего-то или кого-то они просто презирали, терпеть не могли. И всё это тоже было возвращено в них матерью, Адой Исаевой Винс. Она очень любила жизнь, но знала её относительность.

— Вы теперь у меня, — говорила Ада Исаевна сыновьям, — работники заметные и заслуженные. У вас звания и даже ордена. Мне, матери, это приятно. Ханжить не буду. А у Борьки ничего нет — ни званий, ни медалей, даже грамот нет. Зато сердце у него лучше, чем у вас. Его любят все, а вас только кое-кто, да и то ненадолго. Насмешники вы. Сколько раз вы ещё будете жениться, когда вас полюбят, наконец, навсегда? Меня это тревожит...

— Мама! — оборонялся Марат. — Пусть Борька хоть раз женится, тогда мы посмотрим — навсегда его любят или нет...

Ада Исаевна хмурилась и признавалась:

— Не знаю, что с ним делать. Невест около него крутится много. Но он у нас как исповедальня: грехи отпускает, а возможные невесты его в щёчку целуют и бегут грешить с другими. Но не с ним. А Борьке хоть бы хны, да и вам всё равно...

Ада Исаевна явно преувеличивала. Им было далеко не всё равно. К любым семейным событиям братья относились как к своим. В горе они мгновенно объединялись, в разлуке никогда не теряли информационные связи. Вот и Владька, едва переоделся в Москве, как сразу же спросил:

— Как там дела у Борьки, что мама пишет?

— Пишет? — удивился Марат. — Ты забыл, что мама не пишет? Она каждый день звонит. И по своей миленькой привычке звонит в то время, когда в Москве уже ночь. Жена безошибочно определяет, когда звонит мама. Тёща — тоже. Сын после десяти не реагирует ни на какие звонки. А я как сторож — жду звонка от мамы. Последние сообщения о Борьке такие: он отказался от очередной невесты и увлёкся вдовой из Красноярска, у которой трое детей. Увлечение в основном диспансионное. Он ехал из командировки и три часа с вышеназванной вдовой проговорил. Открыл в ней чудную душу, прекрасные голубоватые глаза, крепкий, скажем так, стан и тонкое понимание экономики заводика, на котором Борька вкалывает.

— Что же дальше? — спросил Владька.

— Пока ничего, — отчеканил Марат. — Идёт переписка, события медленно развиваются. Борька съездил на три дня в Красноярск. Отчаявшаяся мама отпустила его сразу, беспрепятственно. Он

приехал и сказал, что на красноярских Столбах ему понравилось.

— А вдова ему понравилась?

— Сведений никаких нет. Мать из него выцарапала одно: больше в Красноярск он не поедет.

— Слава Богу! — рассмеялся Владька. — Борька без мамы и среди чужих детей будет напоминать пугало, которое не знают, куда деть, кроме огорода.

Марат хмыкнул, и они поехали на метро до Войковской, но уже через час отправились на речной вокзал, подышать воздухом Москва-реки. Солнце садилось, в безоблачном небе синева была с красноватым оттенком, пахло шашлыками, бензином и машинным маслом. У ларьков и в павильонах стояли «лица кавказско-азиатской национальности» и торговали всем, в чём Москва нуждалась и не нуждалась.

Братья решили пойти пешком. Сначала они блуждали вокруг запущенной школы, где когда-то училась Зоя Космодемьянская, потом покружили по парку у памятника Волкова, но и здесь было пыльно и жарко. Кроме того, ураган, яростно прошедший по Москве, повалил многие деревья, и скромный парк стал, по сути, малозатененной площадкой для прогулок молодых мамаш с детьми и упитанных собачников со своими эрделями, королевскими пуделями и таксами, с одной стороны, а с другой стороны, продавали арбузы, сваленные горой на холстину, брошенную прямо на землю.

Всюду было как-то неуютно и душно. Братья сели на троллейбус и поехали к речному вокзалу. После громогласного Ленинградского шоссе на речном вокзале было прохладно и тихо. От больших керамических плит и мрамора исходил еле заметный холодок. На набережной отпыхал уже безумный дневной жар. Марат спросил:

— Ты помнишь, в каких сапогах я ходил в первую для меня московскую осень?

— В больших каких-то... — неуверенно ответил Владька.

— Не в больших, а в огромных. Их голенища я прятал в штанины своих клёш. Это были фронтовые кирзухи дяди Лёни. Мне их подарила тётя Эмма. Сапоги были сорок четвёртого размера, а у меня, как ты знаешь, сороковой. Еле таскал их. Я ненавижу эти кирзачи, но другой обуви у меня не было. Мне казалось, что тётка обошлась со мной бесчеловечно, унижительно. Да ещё она сожалела, что я приехал в Москву даже тогда, когда поступил в институт и уже учился. Меня спас от полного унижения и голода Химкинский порт, где я каждую ночь разгружал баржи с картошкой. На первые заработанные деньги купил нормальные ботинки, а сапоги-самоходы куда-то дел. Они были мне столь ненавистны, что не помню, куда я их... пристроил.

— Но сейчас, — продолжал Марат, — я очень благодарен тёте Эмме за те кирзачи. Они меня спасли от простуды. Первая московская осень была такой пакостной, холодной, туберкулёзной, что я бы её не перенёс без глупых для меня, унижительных, но, к счастью, непромокаемых кирзачей. Тётка, по нынешним моим оценкам, сделала мне роскошный, самый необходимый подарок. Я ей благодарен до сих пор.

С годами наши отношения с ней наладились. Мне жаль, что ты сторонился её. Да, она всегда была категоричной, ироничной, зычной... что ещё сказать в рифму?

— Необычной, — предложил младший брат.

— Правильно — и необычной. Впрочем, как все мамыны сёстры.

— А как она сейчас? — спросил младший Винс.

— Ты зайди к ней — увидишь...

— Я завтра улетаю.

— Да знаю, что улетаешь, — сказал недовольно Марат. — Но это частность, что улетаешь. А не частность в том, что ты никого из наших московских родичей, кроме меня, конечно, не пускал в своё сердце. В тебе живут до сих пор обиды юности.

— Нисколько, — не согласился Владька. — Никаких обид. Просто жизнь почти не пересекалась с ними. Я не чувствую их родственниками. И это нормально. Никаких общих интересов и почти никаких общих воспоминаний. Генетическая близость не рождает душевного родства. Кровь — это ещё не сердце. У меня с ними даже общего детства не было. Откуда же чувствам взяться?!

— Обожди, — прервал раздражённо Марат. — Посмотри на женщину в чёрном. Она на самом конце пристани стоит одна и смотрит на реку.

— Ну и что? — спросил равнодушно Владлен. — Где же смотреть на реку, как не на пристани?!

— Оставь свои сентенции! — прикрикнул Марат. — Мне кажется, что это... тётя Эмма.

Братья подошли поближе. Но набережная была гораздо ниже, чем пристань и им было плохо видно. День уже отгорал.

— Встань в тенёк и жди здесь, — приказал Марат. — Я пройду через вокзал и попытаюсь рассмотреть вблизи, кто это стоит на пристани.

Владлен подошёл к ларьку, купил две пирамидки мороженого и стал ожидать брата.

Вскоре Марат появился.

— Это она, — только и сказал он.

— А почему тётя Эмма вся в чёрном в такую жару? — с удивлением спросил у Марата Владлен.

— Скорее всего, потому, что она прощается с жизнью и с Москвой, — медленно, чуть ли не раздельно пояснил Марат. — У неё рак в последней стадии. Она о нём знает и держится с редкостным мужеством. Это замечательная женщина — тонкая и талантливая. Возможно, что ты будешь жалеть, что держался от тётки на расстоянии...

— Возможно, — согласился Владлен.

Они ещё раз прошли по набережной. Женщина в чёрном смотрела на реку по-прежнему. Она не прогуливалась по пристани, а стояла неподвижно, как памятник.

— Вспоминает, видно, о том, — предположил Владька, — что было в её семидесятилетней жизни.

Но вот тётка поклонилась — то ли реке, то ли Москве, то ли всей России — и медленно пошла в сторону вокзала. Племянники подойти к своей родной тётке не решились.

Марат взял пирамидку мороженого, но не развернул его. У ворот он опустил мороженое в урну, вздохнул и сказал брату:

— Мне не до сладкого сегодня.

А Владька мороженое съел, но торопливо.

Возвращение в прошлое

В начале лета Марат перешёл на второй курс, а Владька забрал свои документы с факультета журналистики полиграфического института, куда страстно хотел поступить. Взял по рекомендации секретаря приёмной комиссии — усталой и курящей женщины с пергаментными и обвисшими волосами.

— Молодой человек, — сказала она сочувственно, — у нас восемнадцать человек на место. Так что не теряйте времени с... вашими мандатными данными и оценками. Кроме того, к нам каждого второго примут по записке. Но не по каждой. Даже записка от Гулиа не принята во внимание.

— А кто такой Гулиа? — растерянно спросил Владька.

— Да какое вам дело?! — сказала с укоризной и усмешкой усталая курящая женщина. — Просто влиятельный и известный человек... Кроме того, вы не напишете сочинение на отлично. Я посмотрела на ваш аттестат. У вас по русскому языку четвёрка... А без пятёрки за сочинение вас к нам всё равно не примут даже в том случае, если бы у вас были родители с большим партийным стажем и рабоче-крестьянского происхождения, а не из... гнилых интеллигентов.

— Я постараюсь! — горячо заверил Владька.

В ответ ответственный секретарь приёмной комиссии улыбнулась, встала, нежно похлопала Владьку по щеке и сказала, понизив голос:

— Молодой человек! Вас не примут даже в том случае, если вы напишете сочинение лучше и грамотнее Чехова. Поверьте мне. Забирайте документы и поступайте в вуз, который недалеко от Москвы. Вас там примут по оценкам, которые вы получили, поступая в другой институт в прошлом году. Там недоборы на факультеты математики и иностранных языков. Запишите три города, где у вас будет шанс. И постарайтесь его использовать, иначе загремите в армию, и вам будет долго не до высшего образования. А через несколько лет, глядишь, у вас и мандатные данные будут уже другие...

В тот день Владька документы не забрал. Он поехал советоваться с Маратом. Брат на лето устроился для прокорма на работу вожатым в пионерском лагере. Уезжать в городок Подмосквья, где располагался лагерь, надо было с Курского вокзала, который Владька, пока он бродяжил в Москве, не освоил. Он ему сразу не понравился своей нескончаемой суетой, теснотой, гамом и шумом. На электричку шли толпы москвичей с рюкзаками, сумками и баулами. В этой толпе Владька без всякого груза и с тощим бутербродом в кармане выглядел белой вороной, хотя чернотой и глазами с синими белками он напоминал цыгана. Винс еле втиснулся в тамбур, прижался к стенке и застыл. На первой же остановке в тамбур втиснулись три девицы с перегруженными

и высоченными рюкзаками. Одна из них тут же попросила Владьку помочь ей стащить рюкзак со спины. Владька помог, но поставить рюкзак было негде. Тогда Владька повернулся боком, рядом с ним тут же встала девица, а рюкзак они кое-как разместили на ступеньках вагона.

С каждой остановкой и новой порцией пассажира девица приближалась к Владьке, и никому из них деться было некуда. От девушки шло такое тепло, что Владька затрепетал, засмутился. Его вежливые попытки отдалиться от девушки ни к чему не приводили. Тамбур не раздвигался.

— Да ты не смущайся, — без всякого колебания прошептала ему девушка, — можешь даже меня обнять, легче стоять будем.

Винсу показалось, что это ему послышалось. «Мы же с ней совсем незнакомы! — летели молниями его предположения. — Она не могла этого сказать».

Оказалось, что могла. Едва вагон в очередной раз дёрнулся, как девушка приникла к нему, обняла крепко Владьку и положила ему на плечо голову. Так прошло минут сорок. Минут тридцать из них они целовались. Владька был уверен, что теперь они не могут расстаться. Ничуть не бывало! Едва поезд подошёл к станции, где девушки-туристы выходили, как его страстная спутница подхватила свой огромный рюкзак и, как ни в чём не бывала, вышла со своими подружками из вагона.

— Пока, сладкий паренёк! — крикнула она Владьке. — Хорошо мы с тобой доехали... до конца.

Туристки засмеялись и деловито пошли по перрону. Потрясённый Владька даже не шелокнул.

Когда он, смущаясь, пекая и мекая, рассказал об этой поездке Марату, брат тут же спросил:

— А почему ты с ними дальше не поехал?

— Но я же к тебе ехал, — сказал робко Владька.

— Да-а... — протянул Марат с усмешкой. — Твоя преданность родичам не знает границ. А вдруг твоё счастье проехало мимо?!

Владька поёжился и вздрогнул. Ему очень не хотелось, чтобы счастье проехало мимо него. Но после ареста матери Владьку словно кто-то зажал и разжаться полностью ему никак не удавалось. Волю своим чувствам он давал с огромным трудом. Некий замок сидел в нём, который никак не удавалось открыть, отомкнуть. А вот в тамбуре его замкнутость и насторожённость ослабели, и он был этому рад и этим же смущён.

Марат повёл брата в столовку к знакомой поварихе. Едва увидев их, она покраснела, засуетилась и тут же принесла им сковородку с жареным мясом и картошкой. Пока они ели, она сидела напротив и любовно смотрела на Марата.

— А у тебя и брат подходящий. Ему можно и ещё одну сковородку с жарким принести. У меня сегодня целый отряд не обедал — в поход ушли. Хочешь?

Владька отрицательно покачал головой.

— Зато киселя хочешь, — непререкаемо сказала повариха. Она одёрнула белый халат, в котором с трудом помещалась, улыбнулась и, кокетливо переваливаясь из стороны в сторону, пошла за киселём.

— Шесть стаканов хватит? — спросила повариха.

— Мне хватит одного стакана, — заверил Владька.

— Остальное Маратик допьёт, у него аппетит не иссыхающий, — как о чём-то давно известном сообщила повариха.

Выйдя из столовой, они пошли в лес. Лагерь окружал густой ельник. В нём хорошо дышалось.

— При таком питании, — заметил Владька, — ты ряску наешь.

— Да уж, — хохотнул Марат, — здесь откормлюсь за всю войну. Катька старается...

— Ты за ней ухаживаешь?

— Ухаживаешь?! — Марат снова рассмеялся. — Владька ты такой деликатный... Будто ни в Закамке, ни на Восточном посёлке не жил.

— А если не ухаживаешь, то... как?!

— Не знаю, — уже без смеха признался Марат. — Катька подходит, а я... не отхожу. — Ну да ладно... — буркнул Марат. — Лучше расскажи, как у тебя дела?

— Никак.

Владька всё, в деталях, рассказал старшему брату и замолчал. Он ждал, что Марат предложит ему ещё какой-нибудь вариант, который бы удержал его в Москве. Ему незачем, да и некуда, было возвращаться в родной город. Владлена Винса никто и нигде в Советском Союзе не ждал. Он никому не был нужен. Кроме того, никакие столичные мытарства несколько его не отвратили от Москвы. Он не только территориально освоил столицу. Он влюбился и вжился в её ритм, шум, архитектуру, культуру, говор. За один бездомный год он узнал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Он не то чтобы это сознавал. Владька чувствовал, что теперь он другой, более взрослый и более самостоятельный. Однако ещё более самостоятельный старший брат сказал младшему:

— Это нехорошо, но нам, Владька, надо расставаться. Думаю, что в приёмной комиссии полиграфического института тебе правильно сказали. Вузы есть и на периферии. Все три города, о которых тебе сказали, — это максимум десять часов езды на поезде, в сущности, рядом. Всегда сможешь подъехать ко мне... А в Москве тебе не климат, столица тебя сломаёт. Ты сильно ранимый и гордый. И невезучий какой-то. Впрочем, гуманитариям всегда труднее.

— Но я не хочу уезжать! — выкрикнул Владька.

— А я не хочу, чтобы мой брат был между небом и землёй, — тихо, но отчётливо сказал Марат. — Я не хочу, чтобы ты умирал в старой избе с лампадой под присмотром доброй, но пьющей бабы. Определяйся, займись делом. Хватит дрова колоть. Учиться надо.

— Уезжай! — повторил Марат. — Я не знаю, как тебе сейчас помочь. Сам вишу на волоске...

И вот этот довод — «сам вишу на волоске» — подействовал на Владьку больше всего. Он сник, зажался и понял: уезжать из Москвы придётся. Понял он и другое, самое горькое для него: жизнь разводила Владлена Винса с последним родным человеком, которому он мог довериться и которого

любил. Он ещё думал тогда, что это размежевание ненадолго. А оказалось — на многие годы. Юность всех трёх братьев прошла вдалеке друг от друга, да и потом общение было эпизодическим, случайным и редко совпадающим с той душевной общностью, какая была, когда они жили вместе. Словом, «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».

Ещё один отступ

Когда Владька только стал получать приличные гонорары за свои статьи и книги, Марат уже давно зарабатывал на обеспеченную жизнь и... рестораны. Он в своём министерстве рулил отделом технического сотрудничества с зарубежными странами, ездил по всему миру и по долгу службы часто бывал на приёмах в самых разных посольствах. Чёрный костюм, идеально отполированные ботинки, в том числе и каблуки, со вкусом подобранный галстук и сверкающая белизной рубашка были у него не только при особых обстоятельствах. На его должности это считалось нормой работы и поведения. Полагалось ему также знать, что заказывать в ресторанах, куда приглашать своих зарубежных коллег, что пить и даже, сколько есть и после чего и на чем останавливаться, чтобы не перебрать и не расслабиться. В Марате всю жизнь безотказно работала внутренняя пружина напряжения, предупредительности и осмотрительности.

Зато с братьями, когда они появлялись у него, Марат расслаблялся «до упора». Он, как и мама, считал, что братья к нему приезжают голодные, и, первым делом, их надо накормить до отвала, ну и, конечно, выпить с ними. Его как-то не убеждало, что Борька совсем не пьёт, а Владька не пьёт водку, предпочитая ей красные вина.

— Дурак! — говорил, посмеиваясь, Владьке старший брат. — У нас с тобой очень густая кровь, в ней гемоглобина с избытком, на роту солдат хватит. Но при такой обильной густоте красные вина лучше не пить. От них кровь ещё гуще будет. Делай, как я — пей водку. Намного полезней. А то ты допьёшься до инсульта или инфаркта при нашем гемоглобине... Кровь метисов разжижать полагается...

Марат, разжижая кровь, выпивал рюмку водки, как ещё один благородный напиток.

Владька почти никогда не отдавался — всерьёз говорит Марат или нет. Разыгрывать братьев было его страстью с детства. Но его логика напоминала поток лавы — младшие братья с ней сладить не могли. И Владька тоже выпивал водку. Марат одобрительно крякал и авторитетно замечал:

— Мочиться будешь — сразу заметишь: всё стало жиже.

— При чём тут кровь, обормот?! — выкрикивал Владька.

— Кровь везде и всюду «при чём», — солидно изрекал Марат, и братья принимались хохотать.

Ещё больше подтрунивал Марат над Владькой в ресторанах.

Владька рестораны не любил. Особенно большие, стадиоподобные, со сталинским размахом. Он в них тушевался, быстро заказывал либо жареного судака, либо варёную говядину с картошкой,

либо элементарную яичницу с колбасой, но не со шкварками. И на этом его выбор ограничивался. Владьку раздражало, что в огромном меню более половины из перечня блюд он просто не понимал. Он не знал, что означают все эти «бламанже и консоме». А раз не понимал, то и не заказывал. О Борьке и говорить нечего — он со всем соглашался заранее.

Марат знал всё. Это даже чувствовалось. В каких бы ресторанах три брата ни появлялись, везде официанты подходили сначала к Марату. При изучении меню он проявлял такую эрудицию, что, казалось, официанты даже склоняются почтительнее перед старшим братом. Владьку особенно впечатляло, когда Марат обсуждал с официантом ресторанные салаты, соусы и другие приправы — грибные, мясные, фруктовые, овощные — с авакадо, кавказскими травами, бананами, киви и т. д.

При этом Марат отнюдь не красовался перед братьями. Он словно вёл задушевную и уважительную беседу с официантом, покоряя его естественностью, простотой и ресторанным профессионализмом. Заказывал Марат скорее на пятерых, чем на троих.

— Зачем так много? — спрашивал тихо Борис.

— Мы не доели на заводском посёлке, во время войны, после ареста мамы, — отвечал Марат, хитровато прищуриваясь. — Сейчас доберём.

— И где ты, брат Марат, всё это узнал о... жратве?! — удивлялся не без ехидства Владька. — Насколько помнится, с детства ты не разбирался дальше картошки, сала шпик и каши...

— Зато потом хорошо разобрался, — заверял Марат и нравоучительно продолжал. — Кроме того, Владька, русский писатель обязан разбираться в еде не хуже Гоголя. Иначе ему верить трудно — жизни не знает. А ты?! Почему у нас был культ личности? Потому что у нас не было культа еды. А есть хотелось. И хорошо есть. Поэтому верили тому, кто ел хорошо и говорил, что в будущем всё будет хорошо и для других. А если бы на самом деле ели хорошо и всё, то зачем верить в такое будущее?!

— У тебя какое-то желудочное отношение к отечественной истории, — хмыкал Владька. — Скорее даже — ублюбочное.

— Не ублюбочное, а блюбочное, — отбивался Марат. — Еда — одна из ценностей жизни. У нас она относится к потреблению, а не к наслаждению. Мы не умеем наслаждаться, красиво жить, не научились. Отечественная история не позволила.

— Потому что история была героическая, — решился на одну реплику Борька.

— А раз героическая, — подхватил тут же Марат, — то значит трагическая. Поэтому нам вечно было не до красоты жизни. Но по мне лучше культ еды, чем... беды. Он утверждает настоящее, на которое мы вечно ориентируемся, никогда не понимая, в чём ценность его. Туманность и непредсказуемость будущего позволяет обжигать людей в настоящем. Не хочу вас расстраивать, но я не люблю будущего, потому что там нас наверняка ждёт одно — гроб.

В ресторанах, да ещё с братьями, Марат хорошо. В нём гасла сосредоточенность, он острил,

балагурил, очаровательно улыбался хорошеньким официанткам и припоминал милые детали из военно-послевоенного детства, когда они ещё жили вместе с мамой.

Ходить в рестораны Винсы начали при Хрущёве, это стало обычным для них при Брежневле, а прекратили их посещать при Горбачёве и Ельцине.

— Сейчас это неприлично для порядочного человека, — утверждал Марат. — Ещё примут за обожравшегося от воровства чиновника. У нас в институте повесился доктор наук Прищепин. У него было четверо детей, и он впервые за жизнь свою семью не мог прокормить. Так что в наши дни пристойнее зайти в забегаловку или в простецкую столовку типа «Вилка и ложка».

Вот и в этот раз, когда приехал Владлен, они зашли в знакомую забегаловку, неподалёку от кинотеатра «Варшава». В забегаловку их загнал выпавший, наконец, дождь, спасительный для Москвы, изнемогающей от невыносимой жары.

Но в забегаловке ничего не было, пахло затхлостью, копчёным лещом и стояла скучная тишина. Братья выпили по рюмке водки, и Марат вдруг предложил игриво:

— Брательник! А пойдём-ка погуляем вдоль озера. Что-то одна пакость вспоминается в такую дрянную погоду. Да и свежим воздухом давно в Москве не дышали. Погуляем, глядишь, я и вспомню то, о чём и ты никогда не слышал.

— И я?! — удивился Владька.

— И ты, и ты, — заверил торопливо Марат. — Кроме того, у тебя есть возможность вспомнить юность в своих рассказах. А мне что при ностальгии остаётся — в отдел кадров идти?! Воспоминания легко просыпаются, когда рядом подходящая среда, собеседник. Ожившей памяти нужен верный брат или старый друг. Они поймут. А остальным чужая жизнь не интересна. Так что пойдём... Пока время на земле есть.

Отступ в прошлое

— Много лет назад, когда я учился в институте, — вспоминал Марат, — моя главная забота уже с первого курса состояла в том, чтобы где-то и хоть как заработать денег на эту самую учёбу. Заработать, чтобы помочь себе, тебе, Владька, а может быть, и нашему младшему братишке. Я был и остаюсь, прошу не забывать, старшим братом, который никогда не сомневался, что мама вернётся из заключения. Вернётся и спросит: «А как ты, Маратик, помогал своим родным младшим братьям, пока меня не было?» Этот никогда не прозвучавший вопрос мамы во мне звучал постоянно. Мне снились странные видения: ты погибашь в драке, Борьку бьют палками по голове, а по маме проезжает тачка с камнями. Как пишут журналисты, с позиций сегодняшнего дня нам ещё повезло, что мы с вами, братики сохранились. А спасло нас то, что мы все уехали из родимого города. Останься мы в нём — и хана нам была бы. Так как подходило время сажать уже детей врагов народа. Раньше всех это поняла бабушка, собиравшая внуков под своё крыло. Кроме нас с Владькой. Мы, беспробиточные, затерялись: я в море укатил, а Владька отлёживался у богомоль-

ной старухи и повышал своё самообразование, перечитав все книги в не вызывающей ни у кого подозрений квартире генерала Любарского.

— Марат! — спросил Владька. — Как ты в море-то попал?

— Боже! — вздохнул Марат. — Я лет двадцать ждал этого вопроса. И, наконец, ты, Владька, сподобился... Но раз вопрос всё-таки задан, то приличнее ответить, а не промолчать.

Итак, я прослышал, что в Мурманске есть работа. Ну, и покатил туда... Город встретил меня дождём и снегом. Всё чавкало, текло, и кругом зябли люди. В Мурманске в то время я знал одного человека — Володьку Кудасова из нашего института (он, такой же бедствующий парень, как и я, работал на инженерной должности на рыбном заводе). Володька помог мне пробраться в порт, где у стенки...

— У какой стенки? — уточнил Владька.

— Ну, у причала, — недовольно уточнил Марат и попросил: — Ты меня не перебивай, пока... Волна идёт и вспоминается хорошо. Потом, когда скину, всё поясню. А сейчас помолчи, лучший жанр для воспоминаний — монолог, а не диалог. Для меня, во всяком случае. Итак, на чём мы прервались?

— На стенке, — не без ехидства напомнил Владька.

— Ага! У стенки в порту стоял «Академик Павлов», судно типа «Либерти» водоизмещением 10 тысяч тонн. Тогда этот мурманский «академик» исполнял роль плавбазы Исландской экспедиции. Позднее, как помнится, её переименовали в Северо-Атлантическую экспедицию, что было ближе к истине. На базу грузили бочки, соль, так называемое промышленное вооружение и набирали команды для промысловых судов, экипажи которых уже по году отработали в море. Мне надо было попасть в один из экипажей. Но как?!

На моё сомнительное счастье какой-то умник, совершенствуя организацию производства, предложил применять в массовом порядке новый способ или метод — как тебе, Владька, будет понятнее — увеличения эксплуатации экспедиционных судов. С тех пор этот метод и называется вахтовым. При нём добыча морских продуктов длительное время шла без захода судов в порты.

Предложенный неведомым новатором метод создавал щели, в которые удавалось пролезть парням вроде меня. Тогда флот пополнялся новыми судами из гдр быстрее, чем формировались и оформлялись экипажи. Для ускорения процесса создали специальные комиссии из «искусствоведов» в штатском, политруков, мурманских партработников и других чиновников, успешно сидящих на тонкой шее нашего ущербного социализма. На каждое судно брали сразу... толпой. Среди отобранных был и я. Едва мы попали на судно, как у нас тут же отобрали паспорта и дали по анкете «для моряка заграничного». Это была первая и спасительная для меня ошибка комиссии «искусствоведов» и партчиновников.

— Многостраничная и объёмная анкета, — с горькой усмешкой продолжал рассказ Марат, — пестрела совершенно кретиническими вопросами. Один из них: служили ли вы, то есть мы, ребяташки от восемнадцати до двадцати лет, в царской

армии? Но к рождению молодых матросов царская армия уже не существовала десятилетиями, а жить тому, кого полагалось благодарить за наше счастливое детство и за такие анкеты, оставалось всего два года...

— А теперь, брат, давай я покурю, а ты потерпи, — предложил старший брат.

...Они брели под внезапно выпавшим дождём вдоль озера по мокрой траве. Навстречу им, быстро семеня ножками, и бдительно оглядывая каждый куст, торопливо шла живописная бабка — в пенсне на шербагом носу, в толстовке, не виданной братьями ещё с военных лет, и в длинной... чёрной юбке, насквозь промокшей. Самое неожиданное и забавное — в ушах бабки трепыхались маленькие серьги. Старуха мгновенно останавливала свой ход, напоминая бег, едва угляживала в траве что-то сверкнувшее или блеснувшее. Обнаруженные бутылки она критически осматривала и брала далеко не все, а лишь те, которые отвечали её требованиям. Затем она укладывала бутылки в рюкзак, который торчал на её тощей спине, как кривой горб, выросший от старости и убожества жизни.

— Подожди меня, — сказал Марат Владьке и спустился к озеру.

Вернулся он быстро, с потемневшими от воды штанинами и тремя бутылками в руках.

— Это вам, — сказал он, протягивая бутылки старухе. И добавил мягко, приветливо: — Вы зря торопитесь, справа на берегу ещё валяются бутылки.

Старуха тревожно, даже с опаской, посмотрела на Марата, но быстро смекнула, что этих мужиков ей ни к чему опасаться. Она легко стянула со спины рюкзак, уложила бутылки и спросила:

— Простите... Я вас не учила химии? У меня был ученик, очень похожий на вас...

— Нет, — улыбнулся Марат, — я учился в школе не в Москве. Правда, в Москве учился в институте, и химию мы сдавали.

— Позвольте узнать! — с категорической требовательностью учительницы спросила старуха. — А вы откуда?

Марат ответил.

— Ах, вы всё-таки сибиряк! — чуть не вскрикнула бабка раздражённо. — Москву просто заполнили провинциалы. Один сибирячок собирает бутылки как раз на берегу озера. Мне туда нельзя — побьёт...

Старуха враз подняла рюкзак и пошла дальше, ругая приезжих, которые вечно мешают москвичам жить.

— Вот тебе вместо благодарности, — буркнул Владька. — Ты даже этой бабке мешаешь в Москве.

— Но каков характер! — изумлённо воскликнул Марат. — Не сдаётся, серьги носит и занимается делами, не попрошайничает, и готова к борьбе со всеми. Чем-то маму напоминает... Старуха мне понравилась... Главное — не ноет и не просит.

— Мне — нет, не понравилась, — сказал Владька. — Московская ведьма.

— Ну да бог с ней! — Марат не хотел спорить. — Сейчас снова обещаю, что в последний раз за нашу

прогулку закурю, и мы продолжим путешествие по юности старшего, то есть требующего почтения, даже почитания, брата.

Марат глубоко затянулся, озорно сверкнул глазами и продолжил рассказ:

— Итак, мы, салаги, заполнили анкеты, единодушно написали, что не служили в царской армии, не имели братьев из бывших белых офицеров, не состояли ни в одной оппозиции, не примыкали — ни к троцкистам, ни к зиновьевцам, ни к кадетам. И даже представить не можем, что у нас могут быть родственники за границей. Пока я заполнял эту длинную анкету, Володька Кубасов, в форме и с двумя нашивками на рукаве, крутился на палубе «Павлова». Для поддержки меня и производя некоторое впечатление на проверяющих. Ну, а я не торопился и присматривался к процедуре. Знаешь, арест матери не постепенно, а мгновенно воспитал во мне осмотрительность. Тем временем экспресс-оформление и собеседование с салагами продолжались в ускоренном темпе. Затянутая процедура начинала всем надоедать. Я заметил, что заполненные анкеты, не вызывающие сомнений у членов комиссии, сразу же забирались, а вместо них салагам выдавалась стандартная форма заявления. Заполнил её, подписался — и ты уже матрос.

Вовка Кудасов подошёл ко мне и шепнул:

— Марат! Я обо всём договорился. Соглашайся на трюмного матроса. Несколько дней отпашешь по-чёрному на «Академике», а в море капитан базы пересадит тебя на тральщик.

Я согласился. А что же оставалось?! У меня в кармане было пятьдесят копеек...

Едва я согласился, как меня сразу стали торопить: «Давай скорей ксивы!» Но скорей не получилось. В это время я дошёл в анкете до того места, где требовалось сообщать о родителях. Как мне отвечать на эти вопросы — не знал. Сказать правду: мать сидит в лагере, отец расстрелян, как враг народа?! С такой правдой в заграничное плавание тогда не пускали даже трюмным матросом. Пришлось врать. Написал, что родители мои живут в Москве на улице Кирова. А к родителям причислил нашу тётку, мамину сестру и её мужа. Потом быстро заполнил анкету до конца и отдал её неприметному энкэвэдешнику. Но тут меня осенило! Что же я сделал?! У меня же отчество-то другое, не по имени дядьки, а по имени отца. К счастью, на столе стояла бутылка с чернилами. Мне ничего не оставалось, как «случайно» опрокинуть её на свою анкету... и на всё прочее, что было рядом. Ор поднялся такой, что думал, меня убьют. Но на цивильный костюм энкэвэдешника ни одна капля чернил не упала, скорее всего, это и спасло. Я взял с его стола испорченную анкету, смял её и положил рядом с собой, но не выбросил, чтобы не вызвать подозрений. Потом, поглядывая на испорченную анкету, якобы переписывая с неё то, что замазало чернилами, быстро заполнил новую анкету, в которой моё отчество уже полностью совпадало с именем дядьки.

Володька Кудасов мою «неуклюжесть» смягчил двумя бутылками водки, которую члены комиссии,

не исключая и энкэвэдешника, выдули, притомившись в проверках, за один присест.

В тот день мне везло. Я получил перевод от бабушки и повёл Вовку Кудасова в единственный тогда в Мурманске ресторан «Арктика», где на мелкие ключья разорвал испорченную чернилами анкету и медленно спустил анкетные клочки в галюн.

Конечно, потом на наши анкеты едва ли хоть кто-нибудь обратил внимание. В том числе и на то, что я был прописан в столице совсем по другому адресу. Эта была беспечность «проверяющих органов» — формулировка тупая, бесчувственная и даже смешная, но я с юности «впитал» её...

Перед смертью вождя страна уже изнемогала от репрессий и преследований всякого рода. Прекрасно помню, что в начале пятидесятых было много людей, которые не верили в то, что кругом «враги народа». Их обилие становилось бессмысленным, невозможным. Из моих одноклассников, например, в «дело врачей» поверил всего один наш кореш, запуганный вконец арестами родственников с детства. Все остальные посмеивались откровенно: «Лечили, лечили всех вождей и вдруг под старость самые именитые врачи стали врагами. Чушь какая-то». Страхофобия ослабела ещё тогда. А едва диктатор сдох, как она стала таять, как снег под солнцем.

Послесталинские преследования инакомыслящих разрушили массовую страхофобию не окончательно, но радикально. Усмешки вытеснили анекдоты, с которыми бороться было невозможно, да и глупо. Кроме всего прочего, экспресс-обследования юных кандидатов в заграничное плавание без права экипажам сходить на берег в иностранных портах, и, по сути, было бессмысленным. Сбежать тогда с наших рыболовных траулеров можно было только... в море, а точнее — на дно. Словом, анкеты запугивали, но не пугали. Потому никто из членов комиссии и не заметил, что я прописан в Москве на срок учёбы и совсем не по тому адресу «родителей», какой указал в анкете. Это уже почти было... до лампочки даже членам выездной комиссии.

В итоге Марата Винса зачислили матросом третьего класса в состав экипажа «Академика Павлова».

— На нём я три дня в порту катал, а для тебя, Владька, сухопутного шпака, укладывал в трюме бочки под сельдь, а на четвёртый день берега родимого Отечества остались за бортом.

— А что потом? — спросил Владька с нарастающим интересом. Ему казалось, что лишь сейчас, когда к ним пришла старость, он открывает для себя Марата.

— Потом недели две, — ответил брат, — прошли тупо, дремуче и серо, ничего из них не запомнил: ни быта, ни людей, с которыми жил в одном кубрике... Одна грубая и серая работа осталась в памяти. Однако слово своё капитан «Академика» сдержал и в море при первой же возможности поменял меня на матроса-промысловика, который рвался в порт. Так я попал на СРТ-245.

— Что это такое — СРТ? Другого названия у корабля не было?

— Не было, — ответил Марат. — Названия ему не полагалось. СРТ — и точка. То есть средний рыболовный траулер. Проработал я на нём четыре месяца, и все эти четыре месяца навсегда остались в моей памяти. Они оказались для меня важнейшим периодом жизни.

— Почему? Ты же говоришь, что работа была тупая...

— Не в одной работе дело. Хотя на СРТ она уже вряд ли была тупой. Скорее — трудной. Здесь, на траулере, я прошёл через то, что делает человека человеком, а не тварью дрожащей. Это многого стоит.

Салагу раньше оберегали

...Пересадка с огромного корабля на СРТ произошла в воскресный день. Шлюпку сильно болтало, хотя море волновалось балла на три, не больше. По небу плыли бело-серые облака, а спрятанное за ними солнце освещало море короткими бликами-венчиками. Но матросу Марату Винсу было не до солнца и не до облаков. Его посадили на вёсла, и он усердствовал, с благодарностью вспоминая уроки гребли на родной Оби, которые он усваивал как пионервожатый. Марат каждую неделю перевозил свой отряд на остров. Плоскодоночка была лёгкой и неустойчивой, ребята, возясь и радуясь, лодку раскачивали, но Марат всех благополучно перевозил. И та, давняя школа гребли вот сейчас ему помогала. Шлюпка не рыскала, не сбивалась с курса, а приближалась как раз к цели — к траулеру. Когда он перебрался на него, то был разочарован. В сравнении с «Академиком» траулер казался не судном, а судёнышком. Команда на нём — двадцать пять человек. И вот вся команда стояла на борту и смотрела, как новичок гребёт. На флоте каждое «действие», даже такое привычное для моряков, как гребля — испытание, некая проверка на то, не «шпак ли ты вонючий»?!

Нет, новый матросик не шпак, решила команда, гребёт прилично, на палубу забрался быстренько, не дрейфил и испуганно не озирался. Кажись, пойдёт.

Между тем Марат не то, чтоб не дрейфил — он трепетал от волнения и... разочарования. СРТ сначала представилось ему самым дном жизни, которое только и могла предоставить судьба начинающему студенту, взявшему академический отпуск для собственного пропитания и поддержки голодающих братьев.

— Здравствуйте! — сказал он сразу всей команде.

В ответ было снисходительное молчание. Марата рассматривали, как чужака и соплика. Он, вроде бы, должен стать своим. А вот станет ли — это надо поглядеть... И команда молча глядела.

— Дуй к капитану, салага! — услышал он.

Марат Винс пошёл к капитану. Это был двухметровый мужчина с волосатыми кулаками и бандитской рожей, немногословный, как скала. Марат представился.

— Откуда? — спросил капитан.

— Из Москвы.

— Это хреново, — сказал капитан и отвернулся. — А водку привёз?

— Нет.

— Лучше, — изрёк капитан. — В море сухой закон.

Капитан отвернулся и замолчал. Марат стоял и не знал, что делать дальше, но и спрашивать не решался. Отсюда, с капитанского мостика траулер выглядел совсем несолидно. Борты его выше моря были сантиметров на восемьдесят. Вода перехлёстывала через них играючи.

— Иди вниз. Там тебе объяснят, — наконец услышал Марат.

Он спустился вниз, а потом уже поднимался на мостик только для рулевой вахты. Чаще всего смотреть на кэпа ему позволялось с палубы. То есть снизу вверх, задирая голову. На мостике капитан напоминал громовержца, спустившегося на траулер прямо с небес. К счастью, никакого грома от него не исходило. Кэп был сильным, как исполин, знающий свою мощь. Подчинялись ему беспрекословно, не возражая, а уважая его.

Марат, как и вся команда, тоже вскоре оценил капитанское спокойствие и немногословность при любых обстоятельствах. Крик на судне ведёт к суете, бестолковщине, а то и к панике. А это опасно. С логера (СРТ) вымётывается до десяти километров сетей. Часами пароход (на гражданском флоте все суда по старинке называются пароходами, хотя давно уже это далеко не так) идёт с дрейфтерным порядком, то есть дрейфует с запущенным или работающим на малых оборотах двигателем. Дрейф требует истинного и напряжённого внимания. Всё и все должны быть наготове. На истерики и крики, если они случались, команда тратила силу, которая очень нужна была для работы. Дрейф для судна — это спокойное плавание.

На траулере все вымётывалось и выбиралось вручную. Даже в том случае, если в сеть попадала, к примеру, тонна рыбы. Дрейфтерный рол был единственный механизм, облегчающий ручную работу. Матросу Марату Винсу, младше которого на судне был один юнга в юбке, помогающий коку на камбузе, тогда и в голову не могло прийти, что через несколько лет он предложит усовершенствовать дрейфтерный рол и о нём расскажет солидная газета в публикации под рубрикой «Трибуна передового опыта». И уж тем более он не мог предположить тогда, что к нему на юбилей будут приходить адмиралы с большими звёздами на погонах и благодарить профессора Вина за большие научные заслуги перед флотом — гражданским и военно-морским. Благодарить и дарить очередные морские бинокли.

Тогда же у Марата Вина была совсем другая работа, не признающая никакой известности. Он был незаметным «винтиком» в большой морской экспедиции, которая вела дрейфтерный промысел сельди вблизи Гренландии и Шпицбергена. Организация экспедиции, также как и экспресс-оформление экипажей траулеров, велось в ускоренном темпе по одной вечной для России причине: народу опять было нечего жрать. Страна уже почти восемь лет жила после войны, а с бедностью сладить никак не могла — ни приодеться, ни прокормиться. А вот море Россию выручало. Прежде всего, селёдкой и треской. Поставляемые из покорённой и покорной гдр средние рыболовные

траулеры привозили в Россию с такой поспешностью, что не находилось времени придумывать им названия. А пароход без названия, как солдат без погон. СРТ с номером — и только. Но, избородив моря и выловив тысячи и миллионы тонн рыбы, СРТ всё-таки удостоились собственных имён, и стали «Алмазами» и «Измуродами». Эти труженники моря заслужили свои названия воистину потом и солью, сноровкой и редкостной устойчивостью в бушующих волнах.

Марат Винс, как моряк самой низкой в экипаже квалификации, был поставлен «на тряску» сетей, то есть на отдалённую от борта точку. Верхние и нижние поводцы ему сначала не доверялись. Их прикреплять к сетям и отстёгивать от них очень трудно, если нет сноровки. Один верхний поводец с карабином, а нижние крепятся морскими узлами. Терять время, работая с поводцами, нельзя. Но Марат прировнялся, и ему стали доверять.

Работа его, на первый взгляд, была незатейливая, чем-то напоминающая должность сторожа в очень убогой конторе — пустил, закрепил, открепил. Если, конечно, не учитывать, что по палубе траулера постоянно «гуляют» волны, и удирать, а уж тем более улепётывать от них трудно, а чаще — невозможно. Рыбак на траулере напоминает каракатицу, он передвигается медленно и расчётливо. Перед палубой моряк залазит в ватные брюки, телогрейку и бахилы, то есть в тяжёлые кожаные сапоги, голенища которых прикрепляются к ремню. А на ватную одежду и зимнюю шапку ещё надевают рокона-буксы, брюки с лямками и куртку. А на голове — зюйдвестка поверх шапки.

Кэп и остальное начальство носили ту же самую одежду, но не проолифенную, а прорезиненную. В таком обмундировании, да ещё среди многочисленных верёвок и сетей, ухо держи востро. Хотя для страховки у каждого матроса болтался на поясе обоюдоострый нож — камбальник. Он позволял мгновенно перерезать верёвку.

Марату Винсу, как матросу самому младшему (юнга во внимание не принимался, так как это была женщина, которая не выходила с камбуза) традиционно полагалось выполнять ещё общественные поручения. Типа таких: «Маратик! Принеси покурить!» Винс, торопясь, насколько мог, добирался до мостика, где лежали пачки «Беломора», прикуривал 14 папирос, все их засовывал в рот, чтобы не погасли, и, дымя как паровоз, спускался на палубу, где каждому рыбаку, начиная с... мастера, засовывал ещё дымящую папиросину в рот. Потому что в мокрых руках рыбаков папиросины мгновенно гасли и расплзались. А сухие руки, да ещё во время путины, были только у Марата. Эта услуга так приобщила матроса Марата Винса к курению, что он уже не избавился от «дымной привычки», хотя не раз пытался отказаться от курева. Ничего не вышло. Даже его железный характер тут отступил и сдался.

Но едва он пришвартовывался на палубу с дымящимися папиросами во рту, как следовала очередная просьба. «Маратик! Чайку бы... Нутро застыло».

И Маратик, гремя бахилами, тащился на камбуз за чаем. Что эта короткая и пустяковая просьба означала — он помнил всю жизнь. Он брал на

камбузе чайник литров на пять, швырял в него несколько пачек чая и кружку сахара и, накинув на шею верёвку с нанизанными на неё кружками для всех, кто работал на палубе, спускался вниз. Упасть с чаем и разлить его было никак нельзя, как бы траулер ни болтался в море. Запрезирали бы в экипаже. Кружки на шее при болтанке-тряске всё время унижительно звенели, и Марат в своей тяжелой робе напоминал при его полной обезжиренности отощавшую после зимовки глупую голодную корову с колокольчиками на худой шее.

В конце первого месяца он восстал и отказался во время путины таскать папиросы и чай. Это было его первое завоевание на траулере. Теперь он обслуживал моряков как все — по очереди, раз в десять — пятнадцать дней.

— Знаешь, — вспоминал Марат, рассказывая брату об этой своей крохотной победе на СРТ, лет через сорок, — я до сих пор помню всех мужиков траулера: Костю Рябчика — нашего тралмастера-дрифмастера, боцмана Дробана, радиста Боба. Они меня многому научили. А главное — помогли избавиться от комплекса члена семьи врагов народа. После этой экспедиции я уже никогда, нигде и ничего не боялся. Особенно, после того, когда они меня спасли.

Беседы с Рябчиком о жизни

Колоритность Рябчика проявлялась во всём: высокий, как капитан, упрямый, как свинцовая туча поздней осенью, исколотый татуировками от пальцев до шеи после двух отсидок в тюрьме за хулиганство, зверски требовательный на палубе и доброжелательный, заботливый и даже романтически настроенный человек в каюте — таким был Костя Рябчик.

С Маратом они сдружились, когда Винс восстал таскать команде каждый день папиросы и чай. Возможно, что он бы таскал их и весь рейс, если бы его не унизили. Этого Марат не прощал никому, как и его мать. Ещё на заводском посёлке при любой попытке унижения, Марат защищался, отбиваясь от оскорблений словами и кулаками. Так было и на СРТ. Шла путина, рыбы взяли много. Море не стихало. Волна даже в два-три балла радвала. Но за месяцы экспедиции такая волна была от силы три дня, не более. Марат вспоминал слова Маяковского «спокойный океан скучен» и осуждал любимого поэта, пассажира океанического лайнера первого класса. Их команда мечтала о такой «спокойной скуке». У них бешеный океан вызывал отчаяние и злость. Один раз за несколько месяцев в те самые три спокойных дня рыбакам удалось, не падая, спокойно выйти на палубу и в одних свитерах. Волна не захлёстывала палубу, не опрокидывала бочки. А рыба загружалась в бочки ёмкостью 100 литров. Рыбмастер тут же её солил, а бондарь и помощник бондаря затачивали улов. Марат с другими матросами бочки спускали в трюм, где их укладывали «в ряды». Тяжёлый труд для всей команды. При сильном волнении моря «ряды» ломались, бочки раскалывались и придавливали матросов, в том числе и салагу Марата Винса. Особого сочувствия это

не вызывало. Хочешь жить — умеи вертеться. А не умеешь — научим... в повторе.

— Эй! — вновь приказывал Марату рыбмастер, — студент хренов, полезай в трюм ряды править.

Опять кто-то при укладке бочек забыл сепарации — здоровенные доски, удерживающие бочки при волнении моря, а Марату — правь. Он возмутился: его посылали исправлять чужую работу.

— Сам полезай! — крикнул он рыбмастеру, который тут же в ответ ударил под волну салагу в лицо. Винс упал. Море как опрокинулось на него. Но вот волна схлынула и... наступила тишина. Марат поднялся, медленно подошёл к рыбмастеру и резким поселковым ударом располосовал ему камбальником рокон-куртку и фуфайку под ней. Он ни о чём не думал в тот момент, но одно знал: если не ответит — его поработят. Ни за что! Такого никогда не было и не будет. Рыбмастер тут же выхватил свой камбальник, и мгновенно был сбит с ног... боцманом.

— Ты что, сука, на салагу лезешь! Забыл, что салагу трогать нельзя, — заорал боцман.

С тех пор Марата Винса на СРТ уже никто салагой не считал. Его перевели ближе к борту под начало помощника дрейфмастера. А это уже матрос второго класса.

Дальше — больше. Винса пригласил в свою каюту на баке Костя Рябчик. В ней они часами во время шторма вели беседы о жизни. Первый человек, кто пророчил Марату Винсу большое будущее, был он — Костя Рябчик, исколотый татуировками с многочисленными истолкованиями. Бывший уголовник многому научил студента Винса.

Одна из любимых тем Рябчика — почему в России никогда и ни перед кем дрейфить не нужно.

— Потому, — внушал Марату Рябчик, — что у нас все запуганы. То должностью — вдруг снимут, то пайком — вдруг отберут, то анкетой — вдруг вспомнят. В каждом сидит страх. Если его выгнать наружу, то страх заставит притихнуть. Вывод: нужно обязательно давать сдачу. Ты вот, Марат, дал рыбмастеру сдачу — и правильно сделал. Он пахать на тебе хотел, а ты ему сказал — х...р. И верно сказал.

— Он меня резать хотел, — уточнил Марат.

— Соб...л бы, — опровергал Рябчик. — Хотелки у него такой нет. Да и мы бы ему не дали. Но и ты не зарывайся, научись зло забывать, иначе сам собакой станешь... Пролетарский писатель товарищ Горький писал, что жалость унижает человека. Ты в эти горьковские байки не верь, Марат. Пошёл он подальше... Сейчас людям, может, ничто так не нужно, как жалость. Я всё детство хотел, чтобы меня хоть кто-нибудь пожалел. Но некому было. Отец спился, мать спилась, меня уpekли в тюрьму, когда я дал сдачи. Но если бы стерпел, то гоняли бы как суку от унижения к унижению. Зато сейчас я даже Бога не боюсь. Если он покарает, то, значит, за дело.

...Через много лет Марат не раз вспоминал Рябчика. Например, когда его сын Вовка пришёл расстроенный домой и сказал:

— Папа! Ты воспитал меня таким добрым, что я не могу ударить человека даже тогда, когда меня бьют.

— Кто тебя бьёт? — встревожился Марат.

— Сегодня в метро ко мне пристали три пацана, требуя денег.

— И ты им дал?

— Нет, отвязался, но они меня... ботинками пинали. А я стерпел.

— Зря терпел, — взвился Марат. — В России так жить нельзя. У нас надо давать сдачи. Умеи держать удар.

— Но у меня, — сказал грустно Вовка, — нет опыта заводского посёлка и рыбного флота. Я сын живого профессора, а не арестованного «врагов народа».

— Я тоже сын профессора, — отчеканил отец, — но драться всегда умел. Да, я делал всё возможное, чтобы у тебя не было такой школы, как у меня. Но, видно, переборщил, не научил тебя защищаться.

Вскоре, правда, выяснилось, что Марат... не переборщил — его сын пошёл в школу самбо.

Вспоминал Марат Рябчика и при других обстоятельствах.

— Почему, — говорил Рябчик, — мы не доверяем своим людям? Что это за загранка без захода в заграничные порты? К чему нам шкандыбать через два моря, чтобы привезти рыбу в свой порт, а не загнать её с выгодой в чужом и выручить валюту?! Мы больше любим подозревать, чем считать. Почему «великому русскому народу» нельзя верить? Мы что хотим: загнуться в одиночку в своём раздолбанном величии? Кстати, Маратик, ни китайцев, ни американцев, ни англичан, ни французов я не считаю великими меньше, чем мы. Тебя, Марат, не печёт такая точка зрения?

— Нет, не печёт.

— А то, бл...ь, великие, великие, а приедешь в деревню к бабке — надраться хочется от тоски: в избах грязь, платят копейки, жратва, как всегда, — картошка, молоко, яйца, а штанов купить негде. Фрицы, которых мы побиили, уже наелись, а мы все ждём светлого будущего. Нет, лучше бы нам, в своём величии, не трещать, а работать, как мы в пугину. Сдаётся мне, Марат, что ты далеко пойдёшь и по миру ещё поездишь. Мой тебе совет: чужаков не подозревай и не остерегайся. Они такие же люди, как и мы с тобой, и с ними можно дружить и вместе работать. Ты по душе и работе о них суди, а не по цвету кожи или по национальности, которую вписал какой-нибудь дурак или жлоб в паспорт. Тот человек, у кого сердце открыто. А ты это почувствуешь, понимание в тебе есть. Видно, что отец с матерью не чурки были, корень в тебе здоровый, не согнёшься.

Позднее, вспоминая Рябчика, Марат пытался его найти, посылал запрос в «Мурмансельдь», в мвд и другие организации. Но не получил ни одного вразумительного ответа. Рябчик бесследно исчез в запутанной русской жизни, словно его и не было никогда на земле. Но не для Марата. Он подробно, до деталей, помнил многие беседы с Рябчиком до седых волос. Особенно беседы о минувшей войне, атомной бомбе... и о любви. А о чём ещё могли говорить через несколько лет после войны восемнадцатилетний юноша и крепкий мужик лет за тридцать, уже побитый жизнью, но не сломленный и не растративший силы?!

— Ты не смотри, — говорил Марату Рябчик, почёсывая плечи, на которых красовались одинаково выколотые женские головки, — что на палубе я зверь. Это работа. В море без матерка и е...ка с нашим народом не сладишь. Да и привыкли... Без злости работать не умеем. Отцов наших никто не щадил, ну и мы к жалости не склоняемся. Но тебе, Марат, я этого не советую. Ты «бери» людей вниманием, словом, умом, а где и жалостью. Можешь... За нож не хватайся, не для тебя это. Раз помогло, а во второй — напорешься, и наломаешь дров, как я вот... Ты не громила, росточку маленького и нрава тонкого. Но с характером, — посмеивался Рябчик, — петушок ты гордый, в обиду себя не даёшь. Хорошо! Однако башка всё-таки сильнее кулака. Тебе, чтобы всплыть в жизни, надо яростно крепиться. Наша власть, сволочь подколодная, сначала ни за что, ни про что устроит вечный покой родителям, а потом долго будет напоминать об этом их сыновьям. А чтобы не напоминала, придётся вкалывать за двоих, выбиваться из ряда. Это трудно, это злит окружающих, но другого пути у тебя нет. Ты думаешь, почему меня после двух судимостей берут в эту рыбную загранку... без загранки?! Да потому, что я уже с шестнадцати лет шляюсь «по морям, по волнам» с перерывами на отсидку. Но не это главное. Они знают, что я... пролетарско-крестьянского происхождения, кроме драки и пьянства, ничего не натворю. А это власти ближе, понятнее, даже роднее, чем выверты гнилой интеллигенции. Мою квалификацию они учитывают, а на вашу, интеллигентскую, им нас...ть. Дураки они! Моя квалификация — копейная. Траулер прокормит, но не научит. Дрифмастером, например, можно быть уже к концу экспедиции. Ухватливый ты парень и... с головкой нормальной. Но на флоте не задерживайся. Тебе не селедку лучше «ловить», а диплом инженера. Чувствую, что далеко пойдёшь и потом когда-то скажешь: прав был колотый Костя Рябчик. Скажешь и вспомнишь меня добрым словом. И не «бойсь»: оно до меня дойдёт.

Марат вспоминал и благодарил Рябчика всю жизнь, хотя далеко не всегда следовал его советам. Особенно в жизни личной. А о «личной жизни», о бабах и любви они говорили ничуть не реже, чем о войне.

— Знаешь, — хмыкал Рябчик, — лет до двадцати семи я был полный дурак в этой самой личной жизни. Только три «черты» в любой бабе меня интересовали: наверху, внизу... и фигура. Даже лицо не имело значения. С него, как говорится, воду не пить. Главное — добраться до ватерлинии, а дальше... — Рябчик пренебрежительно отмахивался рукой и уточнял горестно: — А дальше была скука. Я не знал, что с этими бабами делать после начала, о чём с ними говорить, какие планы строить. Хорошо ещё, что в море от них сбегал...

— Но года четыре назад, — не очень охотно заметил Костя, — одна баба меня сильно зацепила... Хочешь, расскажу?

— Конечно, — тут же согласился Марат. — Времени у нас полно, шторм не утихает.

— В родную деревню, — продолжал Рябчик, — приезжать я не любил. Ни хрена в ней не менялось... Как пили, так и пьют, как ждали луч-

шей жизни, так и ждут, как боялись Сталина и молились на него, так и боятся, и молятся. Тем не менее, приезжал. Тянуло. Деревня у нас красивая... Стоит на холме, и куда с этого холма ни спускайся, везде к речке выйдешь. Речка петлёй кружит вокруг деревни. А вдоль берегов с одной стороны сосняк тянется, а с другой — березняк. Осенью один берег зелёный, а другой — жёлтый. Когда солнце, один берег кажется золотым, а другой при ветре отчего-то море напоминает. Сосны высокие, ветки тяжеленные, запах от них смольной, дурманящий голову. Берёзы у нас прямые, белые, ничем не искорёженные. Зайдёшь в сосняк — никуда уезжать не хочется, зайдёшь в березняк — о любви думаешь, остепениться, мол, пора, сколько же мотаться можно по свету?! А придёшь в деревню — в дорогу засобираешься. Погодки одного хотят — выпить с тобой. Бабы начинают жаловаться: председатель — пьяница, хоть старый, хоть новый, на трудовни гроши дают, держать на подворье двух коров не разрешают, за водой к реке ходим, колонку третий год обещают поставить, да никак не соберутся. Послушаю всё это — и от злости зеленею. Как-то надоело всё это нытьё, пошёл к председателю и говорю:

— Слышь ты, мужик, я тебе на колонку денег дам — на треске хорошо заработал, но ты мне, пьяная рожа, расписку напишешь и на образах дашь честное слово, что колонку поставишь. Не хочу больше, чтобы бабка моя на речку ходила по воду. Согласен?

— Согласен, — сказал председатель, икнул, отпер свой конторский сейф и вытащил из него бутылку самогона.

— Две недели, — рассмеялся горько Рябчик, — мы пропивали с председателем и моими корешами тресковые деньги. Колонку, конечно, не поставили. Бабка, последняя из моей родовой, так и умерла под коромыслом с двумя вёдрами воды. Уже почти дошла до деревни, когда упала от разрыва сердца. На поминках, рассказывали деревенские старухи, вёдра, жалобно позвенькивая, докатились с горки почти до самой реки...

— Знаешь, Маратик, — вздохнул тяжело Рябчик, — в шторм спать я не могу, лежу с закрытыми глазами, а перед ними одна и та же картина: падающая замертво моя бабушка и позвенькивающие на ухабах и камнях вёдра, катящиеся к нашей кривой реке. Я не святой, в жизни сделал две-три подлости. Правда, не больше. Но главная моя подлость в том, что пропил деньги на колонку с ничего не значащим ни для жизни, ни для людей председателем колхоза. Вот уже третий год, как в деревню свою не езжу. А зачем? Последние корешки оборвались... Теперь Родины моей малой для меня нет. А Советский Союз я своей Родиной не считаю. Большой уж очень, какая на хрен Родина, если я везде в ней, кроме нашей железки, чужой?!

— Как так? — ошарашенно, даже немного испуганно спросил Марат у Рябчика.

— Да так, — ответил он холодно. — Раз отношение ко мне везде по бумажке, по отсидкам, по работе. Некому в Советском Союзе меня ни жалеть, ни любить, ни понять, что там у меня на душе таится и копошится.

— Так ты же говорил, — напомнил Марат, — что влюбился... — И добавил тихо: — ...по-настоящему.

— Да, по-настоящему. К нам в деревню приехали врачиху из Питера. Бабу лет двадцати пяти. Больницы у нас, конечно, не было, но существовал ФАП.

— Что это такое?

— Фельдшерско-акушерский пункт. В нём сидела старая деревенская повитуха. Она принимала от наших баб роды, а всех остальных лечила травами и самогоном. И себя тоже. Однажды она так насамогонилась, что по слепоте и пьяни отправила на тот свет дочку одного бригадира, единственного в деревне непьющего мужика. Он поднял хай, поехал в область. Уговорить-упоить его не удалось. Бабуку выгнали и для острастки, а скорее от страха прислали не фельдшера, как требовалось, а врачиху, аж выпускницу питерского меда. Больше того: она сама напросилась в глухую деревню. Но поставила одно странное условие: «Поеду только в ту деревню, где есть хорошие лошади». Не хорошие люди, а хорошие лошади. А у нас лошади были.

— Ну и вот, — рассказывал далее Рябчик, — приезжаю я после экспедиции в родную свою деревню, иду весь нафуфыренный к бабке: фуражечка с крабом, кителёк новенький, под ним тельняшечка, клёши как надо, новые ботиночки скрипят, а навстречу несётся тётка и справа на боку её сидит, как прилепленная — не болтается, сумка с красным крестом. И сидит она на коричневом жеребце так уверенно, будто не слезала с него с самого рождения. Неожиданная всадница лишь пронеслась мимо меня, а я уже затрепетал. Кроме посадки, в которой не было никакой неуверенности, ещё ничего не разглядел, а уже думал про эту дивчину, Марат, всё время, пока не добрался до своей бабки.

— Кто скачет по деревне с крестом на боку? — спросил тут же у бабки, едва мы сели за стол.

— Дохтор, — услышал в ответ. — Из самого Ленинграду, блокаду пережила. Её лошади вылечили.

Деревня уже, конечно, всё знала.

— Я, — улыбался Рябчик, — спросил у бабки, посмеиваясь: «Что: теперь лошади летят, а не люди?»

— А ты, Костя, не скалься, — заворчала бабка. — Она парализованная после блокады была. Её мать к лошадям приставила. Ещё больную, затаскивала нашу Веру на лошадь. И лошади её отогрели, ножки стали двигаться. Вот она и заскакала потом. Сейчас мастерица в спорте.

«Ну и ну», — подивился я, Марат. На следующий день встал и ни о чём думать не могу, кроме этой врачихи-фельдшерицы. Как же, прикидываю, её увидеть?! Зайти в ФАП? Но у меня ничего не болит. Гулять по главной деревенской улице, ожидая случайной встречи? Глупо. Бабки скажут: «Приехал моряк с печки бряк, делать ему не хрена, вот и шляется, приключений ищет». Кстати, деревню, Марат, я как раз больше всего не люблю за это — она всё истолкует по-своему и переверёт. Помог, как всегда, случай. Мой отец считал себя только рабочим, а никак не крестьянином, хотя прожил в

деревне до могилы. Работал он в кузнице и обслуживал своим умением всю деревню. Он подковывал и клеймил лошадей. К нему обращались за помощью механизаторы, водители, председатели колхозов, бригадиры, агрономы... Он никому не отказывал и с каждым, сам понимаешь, выпивал. Ну и спился быстро, отслужив в армии семь лет и дойдя в войну до Праги.

Пока я размышлял и выискивал пути атаки, на выручку пришёл случай. Заболела моя бабка и сразу стала к смерти готовиться. Вытащила из комода давно припасённое чистое бельё, бархатную чёрную жакетку, платок, расписанный синими павлинами, «курноски» — давно купленные туфли, но ни разу не одёванные, потому что когда-то сильно бабке понравились, и она их не решалась истрепать в деревне, блузку с кружевным воротником, два длинных полотняных полотенца и иконку, чтобы положили вместе с ней. Бабка пригасила свечу в лампадке, прочла молитву, прекрестилась и приготовилась умирать. Но меня это, Маратик, не устраивало — бабка была последней моей живой роднёй, совсем не хотелось, чтобы она «отбросила коньки». Побежал я к молодой врачихе. Прихожу, а она опять взбирается на жеребца. Да нет, не взбирается, скорее взлетает, собираясь к кому-то ускакать.

— Стой! Стрелять буду! — кричу я шутейно.

Она жеребца сдерживает и вскрикивает весело:

— А умеешь?

Я вначале даже не понял, так растерялся...

— Что умеешь? — переспрашиваю у неё.

— Ну, стрелять-то?

— Умею, я всё умею, моряк...

— Моряк плавать умеет, а солдат — стрелять, — смеётся она.

И так мне хорошо стало от её смеха, что я о бабке забыл. Вот тут-то и рассмотрел врачиху: гибкая, блондинистая, но глаза чёрные и малость какие-то диковатые, не русские. Не останови я её, она бы ускакала навсегда из моей жизни, но я вовремя опомнился...

— У меня бабка умирать собралась...

Врачиха соображала недолго:

— Залазь сзади и держись за меня — покажешь, где твоя бабка.

Я забрался на жеребца, осторожно прихватил врачиху за талию, и мы поскакали по главной и единственной улице нашей деревни, которая изгибалась точно так же, как изгибается наша река вокруг неё. Река кольцом и деревня — кольцом. Сейчас уж не скажу, скоро ли мы доскакали или нет до нашего дома. Другое запомнил — запах женщины и... жеребца, пота, лекарств и духов. Шибануло покрепче водки. До сих пор не забыл эту смесь. Ты, Маратик, слышал про такие духи — «Красная Москва»?

— Мама их любила, — вспомнил Марат.

— Почему любила? — спросил Рябчик. — А сейчас?

— Сейчас ей не до духов.

Марат никому, даже Косте, не рассказывал, где его мама. Рябчик, догадываясь, а то, возможно, и зная, где мать Винса, мог бы и расспросить своего молодого друга, но в экипаже действовал

негласный уговор: молчит рыбак — не тяни его за душу, не разноживай, захочет — сам расскажет. Кроме того, у многих в экипаже были пёстрые биографии, и повествовать о них не сильно хотелось. За рыбаков отдел кадров всё помнил и знал.

Марат, заинтересованный рассказом Рябчика, ждал продолжения. Однако Рябчик замолчал. Это означало, что он себе сам разворошил душу.

...Продолжил историю своей любви Рябчик, когда сырым и промозглым вечером, уже полностью доверяя своему другу, Марат признался:

— Мама у нас сидит. Как... враг народа.

— И отец? — спросил в ответ Рябчик.

— Отец уже расстрелян... как враг народа, — тихо, почти беззвучно, признался Марат. И добавил, — Хотя нам ещё об этом не сообщали. Мама всё время верила, что он ещё жив, а я уже нет, не верю.

— Почему? — тоже негромко спросил Костя.

— Я слушаю зарубежное радио. Там такое говорят... Нет, теперь не верю. Последнее письмо от отца мы получили из Магадана, в 1936 году. А сейчас начало пятьдесят третьего. Нет, не верю.

— И правильно делаешь, что не веришь, — страстно поддержал Рябчик. — На долгие ожидания силы понапрасну уходят. А тебе они ох как пригодятся, Маратик. Да и власть не способна у нас на жалость. Ей хлопнуть человека легче, чем два пальца... Ну, ты понимаешь. А мать придёт, вот увидишь. После войны усач уже не может столько перещёлкать своих, сколько до войны он потюкал. Постарел он, поосторожнее стал. Фронтовики не оппозиционеры какие-нибудь, покрепче будут, забирать их придётся с кровью. Так что вернётся твоя мать, поверь и... верь. И ещё...

Рябчик помолчал, усмехнулся, а потом печально и медленно произнёс:

— Предупредить тебя хочу... Сторонись неудачников. Тебе успех нужен. Ты его заработаешь. В России неудачники всегда завистливы. Они не умеют ни в чём себя винить. На других сваливают. Особенно на тех, у кого фамилии несимпатичные. А у тебя для России фамилия нехорошая, подозрительная. Для любого кадровика ты то ли из фашистов, то ли из жидов, то ли из прибалтов... Если выбирать будут, то Тюткина, будь он хоть трижды дурак, предпочтут Винсу. Тебе, чтобы пробиться, надо вкалывать и за Тюткина. Учи!

Рябчик столь страстно и убеждённо заверял и обучал Марата, что с Винса сначала слетала вся горечь, а потом она снова одолевала его. Марат каждый раз удивлялся тому, как Рябчик, злой и беспощадный на палубе, в работе, преобразался в крохотной своей каюте на полубаке, становясь мягким, лиричным, отзывчивым и добрым. Здесь он словно извинялся перед Маратиком за палубную злость и за всё то, что свалилось на жизнь Винсов в последние годы. В каюте бывший уголовник совсем не походил на палубного морского волка... Марат тогда ещё не представлял, что вскоре в жизнь его войдёт ещё один уловник, который спасёт молодого инженера Винса от отчаяния.

Марата удивляла в Рябчике его... саморазоблачительность, беспощадность к самому себе,

«любимому». Он себя судил строже, чем остальных.

— Ты на меня, — говорил Рябчик Марату, потягиваясь на своей кровати-низухе, — не молись. Не раз и сволочью был по слабости характера, глупости, пьянкам и тупому уголовно-деревенскому гонору. Вот и с Веркой не хватило характера и ума.

— А как?

— Да вот так, — неопределённо отвечал Рябчик и продолжал рассказ... Верка была не чета мне — баба умная и выученная. Она, помню, мне про Эрмитаж стрекочет, а меня сперва интересовал в ней только... нижний этаж. Не хвалюсь, Марат, — в этом деле постыдное занятие для мужика — хвалиться, но я быстро до этого «этажа» добрался, за месяц. Щедростью её повалил. И своей моряцкой способностью всё чинить, доставать, строить, что по тем временам ценилось больше всего.

— Впрочем, и по этим тоже, — усмехнулся Рябчик. — Я уже тебе говорил, Маратик, что был при деньгах. В тресковую путину схватил хороший куш. И весь его спустил не на Верку, а на её фАП гребаный — отремонтировал этот пункт, побелил, покрасил, аспирина и стрептоцида купил на три деревни, сделал этажерки для лекарств. Даже гинекологическое кресло, так, вроде, оно называлось, добыл для нашего фАПа. Верка от благодарности светила. Мы с ней в район мотали раз десять, выпрашивая то одно, то другое. И врачаха моя всегда сидела на жербеце впереди, а я сзади, что вызывало смешки по деревне. У нас так не ездят. Баба должна держаться за мужика, а не мужик за бабу. Но я крепко за неё держался, всё прощупал...

— Ишь, — язвили деревенские старухи, — прилепила его к себе, как половик. А ему нравится... Совсем себя потерял...

— Что же ты, Костя, впереди сидеть не мог? — спрашивал Марат.

— Верка не пускала. Она будто срасталась с лошадей, когда мы с ней... кольцевали по деревне. Казалось, ей всё равно, кто там сзади сидит. Никакого внимания на меня, пока мы скакали, она не обращала, словно полено подскакивало сзади, а не человек. Болтается — ну и пусть.

— Взял бы да поехал на другой лошади, — предложил Марат.

— Да где бы я взял, — невесело засмеялся Рябчик, — да и кто бы мне дал?! На всю деревню насчитывалось семь кобыл и один жеребец, прикреплённый к фАПу. Всё, что можно, из колхоза нашего забрали в войну. А всё, что осталось после войны, было меньше, чем у любого середняка, не говоря уже о кулаке, до колхозов. Кроме того, я сначала плевал на пересуды деревни, так как давно был в ней временным человеком. Приехал, сходил на могилы родных, порыбачил, погулял с друзьями, которые ещё не совсем спились, отоспался у бабки — и прощай-прощевай, гнездо родимое, здравствуй солёное море.

— А что бабка твоя говорила?

— Да она без умолку трещала, когда Верка вылечила её за три дня. Когда мы к нам прискакали, всё, что приготовила бабка для своего погребения, докторша сложила обратно в комод, потом поста-

вила моей старухе клизму, хорошо растёрла, дала аспиричику, укутала, напоила чаем с малиной и заставила принять слабое снотворное. Бабка продрыхла больше суток, встала и ещё... четыре года прожила. В Верку влюбилась...

— Как ты? — спросил Марат.

— Обо мне и говорить нечего... Докторша так залезла в душу и сердце, что я задыхался от волнения и гордости, готов был скакать с ней на жеребце, сидя сзади, хоть на край земли. Но моего смирения хватило ненадолго. Всё же место это неудобное для деревенского мужика — сзади. Самостоятельности во мне уже тогда накопилось больше, чем ума. Сперва стал препираться, потом уже нахальнее возражать, спорить, отказываться. Верка смеялась, но не уступала.

— Жеребец, — говорила она, усмехаясь, — ко мне прикреплен, вот я на нём и буду ездить впереди тебя.

— А я к кому прикреплен? — спрашивал у неё.

— Ты не прикреплен, — хохотала моя докторша, — ты прикомандирован. Но все командировки кончаются...

— Я смирялся. Ещё бы! Она мне казалась мудрой женщиной, — рассказывал, попыхивая сигареткой Рябчик, — а потом мы расстались навсегда с этой врачихой чудной, с ударением на «о», а не на «у». Меня «в перерывах» стали одолевать сомнения... Едва между нами случилось то, что случается у мужика с бабой — Верка перестала скрывать наши отношения. Я видел, что это ей очень нравилось.

— В деревне и так всё видно, — говорила она. — Ханжить незачем. Мы люди свободные, бездетные и независимые. Поэтому, когда скачем, можешь в обхват держаться за меня — так удобнее и теплее при встречном ветре. Не сиди сзади как чужой, всё равно никто уже не поверит в твою отстраненность.

— Но мне, Маратик, эта Веркина откровенность всё больше не нравилась, — поругивая себя, продолжал свой рассказ Рябчик. — Я всё-таки родом из глухой деревни. В ней привыкли таиться, особенно в чувствах. У нас о любви только поют, а не говорят на всю улицу. Веркина откровенность вызывала во мне подозрительность и ревность. Подумывал подловато: а не из тех ли она портовых девок, которые во многих постелях останавливались?! Хотя в любви докторша была женщина робкая, стеснительная. Ни о чём подобном раньше я даже не догадывался. По ночам все мои подзрения гасли, я понимал, что мне счастье привалило. И непонятно — за что. Поверь, Маратик: себе цену знаю. А вот всемо остального — не знал. Верка научила меня нежности. Она глаза мои растопырила на свет божий, потому что знала в сто раз больше, чем я. Книги, например, стал читать только после докторши. В Эрмитаже, Марат, был уже семь раз. Я раньше, до неё, слово «импрессионист» не слышал. Долго пугал импрессионистов с сионистами, о которых в газетах писали. А теперь на картины импрессионистов смотрю с большим интересом, чем на корабли и... на рыбу.

— Эх! — вздохнул Рябчик. — Было счастье, да тучи скрыли.

— Почему? — спрашивал Марат удивлённо.

— Потому, — признавался Костя Рябчик, — что я тупой по душе, мелко плавал в тонких отношениях. Красота души во мне не водилась. Конец им подошёл, когда Верка решила познакомить меня со своими родителями. Вот тут во мне во весь масштаб проявился подозрительный советский человек с уголовным прошлым, который так стал размышлять: «Ага, охомутать хочет, в ЗАГС потащит. Да ещё на домашний суд приведёт. А родители у неё тоже врачи. Как увидят они мои наколки... Нет, я человек свободный, меня пристань не манит. Я, можно сказать, отравлен морским простором. Сам понимаешь, Марат, для своей трусости наш человек обязательно найдёт необходимые объяснения. И я их быстренько нашёл! Самое подлое из них — у Верки едва ли могли быть дети. Она пережила блокаду и после неё долго лечилась. Да и позвоночник еле-еле выправила с помощью лошадок. Нет, зачем мне хомут на шею, зачем себя связывать с такой бабой?!

Словом, Маратик, струхнул я... Тихонько ночью попрощался с бабкой, старый дружок посадил меня на старый харлей, довёз до района, а оттуда я добрался до станции и укатил один в Питер, куда мы собирались поехать вдвоём с Веркой. Через месяц я уже бултыхался на эсэртешке, и это была самая плохая для меня путина, потому что я тосковал по деревенской докторше... до воя. Каждую ночь снилась она с растерянным и удивлённым лицом. Через четыре месяца я вернулся и узнал, что докторши моей в деревне уже нет. Так я переступил через своё счастье. Возможно, что для меня единственное в жизни.

Поворот к морю

После третьего курса Марату пришло время определяться со специализацией в институте. Самая популярная и авторитетная в нём была кафедра промышленного рыболовства. Её основал ещё до революции флотский офицер и дворянин Фёдор Ильич Баранов, которому чудом как-то удалось умереть своей смертью при советской власти. Это был учёный мировой величины и его научные труды издавались на многих языках и в разных странах. За место на кафедре под руководством Баранова шла драка. Марат в ней участвовать не хотел — ни математическое моделирование устойчивости промысла, ни селективность орудий лова его никак не интересовали. Отверг Марат и кафедру механизации рыболовства, потому что хорошо знал цену этой механизации... Он имел в вузе одно окно для заработка: когда после первой морской практики под командой Кости Рябчика напросился на работу в Белорусский Главрыбхоз, на должность техника по добыче. Здесь он сделал головокружительную карьеру за считанные месяцы.

...Едва Марат Винс появился в главке, как ему сказали:

— Каким на хрен техником? Ты же из Москвы, студент, скоро инженером будешь... У нас кадров не хватает. Поедешь не техником, а инженером в Полесский трест.

Через час приказ был подписан, и Винс покати́л в Мозырь. В тресте управляющий лениво взглянул

на приказ (личное дело Винса осталось в Минске) и ещё более лениво протянул:

— Никуда тебя, студент, посылать не будем — ни в прямом, ни в переносном смысле. Будешь пока исполнять обязанности главного инженера рыбхоза. Слышал про МТС?

Марат согласно кивнул.

— Ну вот, — сказал управляющий и икнул. — Это у нас вроде МТС... А теперь, раз ты уже начальник, мы твоё назначение закрепим.

Управляющий открыл сейф, достал бутылку, в которой плавал перец, разлил настойку по стаканам и сказал:

— С назначенщицем!

— Я не пью, — возразил Марат смущённо.

— Возможно, — согласился управляющий, — но когда-то всё равно начинать надо, товарищ главный инженер.

И Марат выпил. От растерянности своим стремительным карьерным ростом. Да и было от чего растеряться... Хозяйство треста было разрозненным и многочисленным — трактора, автотранспорт, лебёдки, краны, речной флот, сети... По меньшей мере, половина этого хозяйства находилась в ремонте, не работала. Ровно через два дня рекогносцировки по хозяйству Марат снова пришёл к управляющему трестом и высказал ему все свои сомнения.

— Знаний у меня для главного инженера ещё никаких, — сказал он решительно. — Моя полезность на высокой должности главного инженера вряд ли скоро будет замечена. Прошу меня освободить от таких обязанностей.

Управляющий трестом Иван Ионович Разбегов уже без всякой лени в интонации жёстко буркнул в ответ:

— Не тужишься. Я в 25 лет полком командовал.

«Бог мой! — подумал Марат. — Ещё один Гайдар».

Но тут услышал уточнение:

— Правда, полупартизанским полком. А теперь, инженер, послушай, что я твёрдо знаю, — пробасил Разбегов. — Ты у нас надолго не удержишься. Москвичи в провинции прорастают в редчайших случаях. Чаще бывает наоборот. Во-вторых, вижу, что ты не из воров, раз... пить только начинаешь. — Разбегов хмыкнул и продолжил: — Следовательно, на год-два у нас массовое браконьерство и воровство будут приостановлены. Не остановлены, — подчеркнул Разбегов, — я не белорусский мечтатель, а приостановлены. А это уже дело. Поэтому, Винс, не мотай сопли на кулак, а внимательно разберись со всем своим инженерным хозяйством. Съезди в командировку и побывай везде. А после нового года доложишь мне все свои прогрессивные предложения. Действуй! И запомни: я, как бывший партизан, в людях разбираюсь хорошо. И в хороших, и в плохих, среди которых и партизанов немало. Тебя пока отнёс к хорошим. Не подведи!

И, воодушевлённый Разбеговым, Винс не подвёл. Он сразу же собрался в командировку во все «точки» треста. Директору рыбхоза Мироносецкому это отчего-то не понравилось.

— Что ж, — сказал он, — начальству виднее, хотя к чему торопиться, когда не успел осмотреться?

Эта фраза была какая-то философская, не сразу понятная, с двойным смыслом. Но в неё Марат вникать не стал. Он взял карту треста с цехами, портпунктами, рыбколхозами, бригадами гослова и поехал всё это рассматривать и анализировать. Точнее — хотел поехать, но ехать молодому главному инженеру было не на чем. Весь транспорт — полуторка, отечественный козлик и трофейный виллис, были заняты. Денег на командировку тоже не было. Впрочем, как и ни на что другое — всё уже потратили. С большим трудом бухгалтерия нашла 980 рублей на зарплату новому главному инженеру, и он не поехал, а поехал в командировку вдоль Припяти, на берегах которой и размещалось всё подведомственное теперь Марату Винсу хозяйство. Лишь один рыбколхоз располагался на Днепре, в районе Чернобыля, но с белорусской стороны. От «точки» к «точке» Марат передвигался, по сути, автостопом, о котором в те годы никто и не слышал. То есть преимущественно пёхом и на попутных машинах.

По сравнению с Москвой и даже Мозырем народ здешний был гораздо доброжелательнее. Он легко знакомился с людьми, без особых трудностей устраивался на ночлег и беспрепятственно собирал нужную ему информацию. Казалось, что эти незнакомые люди его все и давно знают.

Впрочем, и в Мозыре было такое же впечатление. Здесь тоже через неделю с ним уже здоровались на улицах, и даже по имени и отчеству, ничего не путая. Мозырь, тогда областной центр Полесской области, был зелёный провинциальный и весьма уютный городок, но со своими портом, промышленностью и речным пароходством. Его живописность подчёркивали высокие берега реки, причудливая зелень и шумная жизнь. Населяли его преимущественно в те времена русские, белорусы, украинцы и евреи. Местечковый акцент слышался часто. В Мозыре каждый номенклатурный работник, а в их числе волею случая попал и Марат, примечался и выделялся сразу же.

Через три дня после приезда Винса пригласили в горком комсомола. Первый секретарь горкома, выпускница истфака мгу Дарья Васильева, при первом же знакомстве подчеркнула их общую «московскость». Марат на это отреагировал вяло. Однако к комсомолу он относился уважительнее, чем к партии. Партия легко предавала своих членов, соглашаясь с любыми, даже бредовыми обвинениями против них. А комсомол своих ребят защищал, как мог и в беде не бросал. Марат об этом помнил. Его приняли в комсомол с нарушением устава — не в четырнадцать, а в тринадцать лет. Мать в родном городе многие знали как активную коммунистку и убеждённую марксистку. Но после ареста большинство коммунистов мгновенно отвернулись от семьи Винсов. Комсомол был не сильнее, конечно, а смелее и человечнее партии.

В жизни братьев Винсов после исчезновения родителей случаи равноправного и доброжелательного отношения к ним были настолько редкими, что запоминались ими на всю жизнь. К таким «случаям» Марат относил и Дарью Васильеву, которая сразу предложила ему встре-

чать Новый год вместе с работниками аппарата горкома комсомола. Марат согласился, что ему впоследствии помогло. Но пока он передвигался по портпунктам и бригадам Озрыбхоза — единственного, в сущности, предприятия Полесского треста, которое в Мозыре попросту называли рыбзаводом. Да и правильно. Его промысловая часть располагалась в деревнях, за исключением днепровского рыбколхоза, находящегося в городке под названием Петриков. Впрочем, в деревнях размещались одни правления колхозов, а рыбаки жили на берегах рек и озёр. Задача Озрыбхоза состояла в организации и механизации добычи, приёмки уловов и обработки (преимущественно копчения) рыбы. А потом эту копчёную рыбу продавали через государственную сеть магазинов типа «Военторга».

Озрыбхоз немного походил на МТС в сельском хозяйстве. Он имел свой флот, свои холодильники, технические мастерские, береговую механизацию...

Командировка выпала Марату Винсу в скверное время: стояла поздняя белорусская осень, переходящая в зиму, с холодными промозглыми дождями, первыми снегопадами, пронизывающими ветрами и свинцово-фиолетовым от густых и тяжёлых туч небом. Марата от холода и озноба не спасали ни толстые кожаные сапоги, ни полушубок, выданные на складе и выкупленные позднее им, ни приятные размышления о предстоящих новогодних торжествах. Хотя принимали его везде хорошо, а вернее, тепло и в сопровождении ритуального «сутрева». От сутрева по своим моральным убеждениям того времени он отказывался, но встречи от этого не срывались. Марат имел на руках мандат, дающий ему право на сбор информации в общении с местными властями, милицией, прокуратурой, с руководителями всех звеньев озрыбхоза, а практически — всего треста.

Марат с утра до ночи обследовал лебёдки на постоянных тонях, где вытаскивали невода, лошадей, телеги, сани, катера и лодки, вытасканные перед холодной и снежной зимой на берег, знакомился с рыбаками — приветливыми и откровенными крестьянами, а точнее селянами, которые, кроме приусадебного огородничества, никак с землёй не были связаны. Они, все как один, жаловались на браконьерство властей и милиции, отбирающих у них без тени застенчивости уловы. Власть без оглядки рыбачила на реках и озёрах всякими способами, которые сама же провозгласила незаконными.

Действительность, которая открывалась перед Маратом, поражала и преображала молодого главного инженера. Из командировки он возвращался совсем другим человеком — возмущённым, решительным и даже властным. Проведённые в пеших переходах, и в основном уже по снегу, недели сильно поколебали его представления о созидательной роли партии, которая, якобы всё делает для народа. На глазах партии процветало почти тотальное воровство. Растаскивали буквально всё — рыбу, двигатели, шарикоподшипники, колёса, сети, топливо и лодки. А не разворованное находилось в таком состоянии, что Винс, исполняющий обязанности главного инженера,

не представлял, как всё это можно отремонтировать.

Воров от власти и милиции спланировала и некая идеология, с которой Марат в Белоруссии столкнулся впервые. Суть её выражалась формулой: «Нам можно». Почему? Да потому, что большинство из тех, кому «было можно», в войну партизанили. Кто героически, кто эпизодически, но горя хватанули почти все, кто остался жив. А погиб в Белоруссии каждый четвёртый мужик. В памяти живых эта статистика сидела, как привинченная навеки. Живые, выбившись после войны в начальство, считали, что именно на них лежит груз страданий всего народа. А такое испытание заслуживает компенсации, особого отношения. Но государство, которое они защищали, воюя с фашистами в лесах и болотах, с компенсацией не спешило — разорённая войной страна только вставала на ноги. Выходило так, что лучшей жизни надо снова ждать. Тогда и появился этот белорусский синдром с формулой «Нам можно, мы, партизаны, заслужили».

Больше всего удивляло Марата, что простой народ эта философия коснулась намного в меньшей степени, чем более образованное и более партийное начальство. В большинстве своём белорусы, как и всегда, терпеливо ждали отрядных перемен, стоически перенося новые невзгоды, сохраняя законопослушность. А власть «партизанского происхождения» словно с цепи сорвалась: она воровала, вырывала награды и льготы, брала взятки, спекулировала и жила, не оглядываясь ни на годы страданий и ничуть не заботясь о будущем. Она торопилась в своё удовольствие дожить и прожить то, что досталось ей, сохранившейся после войны.

Марат Винс, видя нищие белорусские деревни, спивающиеся от бедности и самоуправства власти бригады, раздолбанную и разворованную технику, кипел от возмущения и одновременно грустил, сочувствуя белорусам. Он понимал, что этот народ может, как никакой другой в стране, заслужил достойную жизнь, а ему платят неблагодарностью, обращаются с ним, как с загнанной лошастью. Жгучее недовольство от очевидной несправедливости, протест от такого унижения, взращённый в нём детства Адой Исаевной, звали к действию.

После командировки в кабинет Разбегова Марат скорее не вошёл, а вбежал:

— Иван Ионович! — Громко сказал он, едва поздоровавшись, — в нашем озрыбхозе многие воруют.

Управляющий в ответ расхохотался:

— А я и не знал, — сказал он ехидно. — Спасибо, что открыл глаза тёртому партизану. Ты что, забыл, зачем я тебя в командировку отправлял? — спросил уже грозно Разбегов. — Как раз за этим — как противостоять ворами, какую узду на них надеть, чтобы унялись и поостереглись. Не открывай мне Америк, не лезь в открытые ворота. Про воров и сам знаю. У тебя другая задача — как их унять, хотя бы укоротить, уменьшить. Ты мне давай свои предложения из своих наблюдений. Помозгуй, покумекай, а потом и посмотрим, стоящий ты работник, москвич, или я... ошибся.

Отрезвлённый таким приёмом у Разбегова, Винс засел за антиворовские рекомендации или, как сказали бы сейчас, за разработку бизнес-плана.

За три дня главный инженер Марат Винс исписал и исчертил три широкоформатные тетради в клеточку и оставил их в приёмной для Разбегова. А потом затих в ожидании, осознавая, что перегрузил начальство своими молодёжными размышлениями и эмоциями. Позднее, будучи всегда начальником на больших и малых должностях, Марат Винс, посылая «наверх» любые рекомендации, справки и отчёты, укладывался не более, чем на трёх страницах. Превышение раздражало и утомляло руководителей, не принималось во внимание и относилось к презрительному ряду воспоминаний, а не толковых рекомендаций. Чиновники, утопая в словословии на публике, в своей среде признавали только предельный и сухой лаконизм. Говорунов в работе эта среда выпихивала.

Из письма Марата брату Владлену через пятьдесят лет:

— Дорогой Владька! Разбегов был единственным в моей жизни начальник, который внимательно прочёл все три мои тетради и принял решение обсудить их на техническом совете, что меня тогда потрясло, хотя я и не понимал, зачем нужен областной трест, если в нём одно предприятие? Может, потому, что Иван Ионович был особенным белорусским партизаном — с башкой, хорошо мыслящей стратегически, с характером волевым и целенаправленным и редким в те времена умением выделяться и отдаляться от неприглядного окружения вокруг него.

Марат на заседании технического совета пришёл немного растерянным. Двойственные чувства одолевали его: с одной стороны, его радовало, что проведённую им работу оценили, и будут обсуждать. А вот как? Он не знал, чего ждать — признания или разгрома. По хмурому молчанию членов технического совета он, скорее, ожидал разгрома. Но случилось иначе...

Разбегов ничем — ни оценкой, ни интонацией, ни вопросом — не выдавал своего отношения к тому, о чём написал в своих трёх тетрадях Винс. Он не перебил ни одного специалиста, выступавшего на техническом совете. А потом, весьма афористически, подвёл итог обсуждению:

— Вы видите, — спросил он у технического совета, — что у меня на носу бородавка?

Технический совет молчал, соглашаясь тем самым, что у управляющего действительно есть на носу бородавка, но ничего вслух не фиксируя.

— Так вот, — продолжал Разбегов, — бородавка эта не красит лицо ни одного коммуниста, ни одного управляющего трестом, ни одного заслуженного партизана. Я это сознаю, но как свести бородавку — не знаю.

Такая же безобразная бородавка сидит и на нашем тресте. Это браконьерство и воровство. И мы тоже не знаем, как её свести. Потому что смирились, потому что привыкли, потому что бородавка нас не жжёт, а даже, возможно, приносит нам удовольствие, с ней мы красивше, хоть как-то выделяемся... Зато нашему молодому глав-

ному инженеру бородавка противна. Потому что он молодой и в красоте лучше разбирается. А ещё важнее для нас, что он знает, как свести бородавку, о чём он и написал в прочитанных и не очень-то одобренных вами тетрадках.

— В связи с этим, — продолжал Разбегов, — предлагаю Марата Винса назначить директором нашего озрыбхоза, пока нынешний директор Радецкий будет проходить двухмесячные курсы в Астрахани. Согласны?

Технический совет продолжал дружно молчать.

— Вот и добренько, — заметил Разбегов и закрыл заседание технического совета, добавив с ухмылкой. — Вижу, что все согласны.

Так Марат Винс стал и. о. директора. Его карьера развивалась в ускоренном темпе, что тревожило Марата. Хотя ему хватило двух месяцев, чтобы понять суть руководящей работы. Первый урок Марату дал главный бухгалтер хозяйства с анекдотической фамилией Мичман. Его, а не Марата слушались беспрекословно. Главбух откровенно игнорировал поручения и. о. директора, которые он принимал после коллективного и вполне демократического обсуждения плана поставки заказчиком выпущенной продукции.

Мичман покорно кивал головой в его кабинете, а потом вдруг выяснялось, что большие партии мороженой рыбы по распоряжению главбуха отправлялись совсем по другим адресам.

Разгневанные заказчики, конечно, приходили к Марату, а не к Мичману. Особенно допекал Винса директор авторемонтного завода из соседнего городка. Когда этот директор открывался и успокоился, Марат спросил:

— А что делаете вы, когда не выполняются ваши письменные распоряжения?

— Прежде всего, — услышал он в ответ, — советуюсь с юристом.

Марат навсегда запомнил этот совет и пользовался им, когда работал в министерстве или когда был заместителем или директором разных институтов, заведовал кафедрами, был членом вака и на всех других должностях. Но впервые с юристом он советовался в Мозыре, от которого узнал, что если во второй раз не будет исполнен подписанный директором предприятия приказ, то директор вправе отстранить главбуха от работы, хотя главбух и числится в номенклатуре треста. Больше того, Винс был вправе даже уволить главбуха и отдать его под суд.

Второй урок, который извлёк Марат из своей первой руководящей работы — ни при каких обстоятельствах не выпускать из внимания работу и исполнительскую дисциплину бухгалтеров и снабженцев. В России, склонной к воровству, их нельзя пускать в самостоятельное «плавание».

И последний, возможно, что самый главный урок, состоял в том, что руководитель ни с кем не должен делиться своими полномочиями. Он может со всеми, с кем хочет, обсуждать проблемы. Но принимает решение сам и только он. А иначе он не руководитель и обязательно будет кем-то унижен. И тут Марат опять вспоминал маму, её слова: «Не допускай, чтобы тебя унижали».

Однако после беседы с юристом он тогда, в Мозыре, не принял, окончательного решения, стерпел. Марат ждал нового выверта от Мичмана. И он вскоре последовал, когда Винс обнаружил очередную переадресовку продукции. Его подписание пренебрегли во второй раз. Марат вызвал главбуха и потребовал письменного объяснения. И тут вдруг услышал:

— Ты что, гадёныш, к маме захотел? Это мы устроим. Сиди тихо, в обиде не будешь.

Из письма Марата через пятьдесят лет к брату Владлену:

— Ты не можешь представить моё смятение, когда я услышал эти слова Мичмана. Никому в Мозыре ни слова не говорил о маме. Но тут же вспомнил, как однажды рассказывал Мичман, что ещё до войны он служил в войсках НКВД, и если мне что надо, то у него хорошие контакты. Я поблагодарил и отказался от его помощи. Но служил в этих войсках Мичман ещё до войны, давно. Нет, подумал я, он узнал о маме от кого-то здесь. Но от кого?! В конце концов, я догадался: в комнате, которую снимал в квартире некоей Лейбович, лежало письмо мамы из лагеря. Любопытная и сладкоголосая мадам Лейбович, конечно, его прочла, и информация тут же добралась до Мичмана. В Мозыре, как и в глухой деревне Рябчика, все и всё друг о друге знали.

В тот же день он пошёл к Разбегову и рассказал ему откровенно обо всём. Реакция его на услышанное была решительной и конкретной:

— С завтрашнего дня, — сурово сказал он, — будешь жить в своём кабинете. Хотя бы потому, что скоро ты будешь сидеть в моём кабинете.

Разбегов тут же вызвал завхоза и приказал ему немедленно переоборудовать кабинет Марата в жилую комнату, и принести в неё кровать и постель, поставить шкаф, умывальник и оставить телефон. Далее он продолжил:

— Мичмана мы уберём. Эта сволочь давно надоела. Впрочем, как и вся наша разжиревшая банда с партизанскими корнями. Мичман мне уже несколько специалистов подставил. Тебя, Винс, я в обиду не дам. Хотя совсем съесть Мичмана пока не могу. Пошлю его в Петриков, а тебе дам своего главбуха. Как ни странно, но не менее честного, чем ты.

— Но должен тебе сказать, — уже почти кричал Разбегов, — что ведёшь ты себя неправильно, в нашем городе так жить нельзя. Ты что: совсем отдалился от местных? Торчишь, как дурак, день и ночь на работе, а надо и с партхозактивом общаться. Это тоже, если хочешь, работа. Ну, скорее, не работа, а правила игры. Мне недавно рассказывали на одном торжественном заседании в горкоме, что тебя тоже пригласили, а ты не пришёл. Это гордость, заносчивость... или жить не хочешь?! У нас свой круг любит встречаться по-домашнему. Смотри, как бы о твоей гордости в обкоме не узнали... Тогда и я не помогу. Да и трест наш ликвидируют. И давно пора. А рыбхоз останется, и тебе в нём работать. Тобой уже интересовались. Сам понимаешь — кто. Этот интерес мне не понравился. Я сказал, что ты ценный специалист. Пока они затихли. Но после моего перевода в этом городишке, советую тебе, не

задерживайся. И ни работой, ни любовью себя не вяжи и не изнурай. Ни к чему тебе это здесь. Тебе другой полёт отмерен...

— И ещё, — в конце беседы сказал Разбегов, — ты пока и. о. директора. Директором, я ещё успею, назначу кого-нибудь из местных. И когда он будет раз в месяц устраивать на Припяти коллективные рыбалки, ты на них приходи. Не рассыпешься, если примешь одну-две рюмки. Ни Припяти, ни Чёрному морю, ни тебе хуже не будет. Понял?

— Понял, — покаянно сказал Марат.

Разбегов крепко пожал ему руку, тепло приобнял, и изрёк своё любимое слово: «Действуй!».

Больше они никогда не встречались с русским партизаном в Белоруссии — седым, высоким, в полувоенных кителях и гимнастёрках, с тремя рядами наградных колодок и с внимательным, озорным взглядом человека, умеющего понимать и ценить людей. Сразу после отъезда Разбегова трест был ликвидирован и его площади занял рыбзавод, в мозырском просторечии, или озрыбхоз — по документам. Новый директор хозяйства, назначенный ещё уехавшим Разбеговым, в «инженерные» дела Винса не лез. Марат предполагал, что он получил такие указания. На самом деле равнодушие директора объяснялась совсем не этим. Директор был партийным выдвиженцем и специального образования не имел. Двухгодичная совпартшкола укрепила его идеологически, но уж никак не технически. Директор очень доверял партийным решениям и партийной прессе. Дарья Васильева, с которой Марат сдружился, как и с некоторыми другими работниками горкома комсомола, всё время говорила ему:

— Маратик! Ты должен о себе заявить. В обкоме тебя плохо знают. Ну, почему бы тебе не написать пару статей в нашу «Надднепрянскую правду». Ты ведь, — очаровательно улыбаясь, говорила Дарья, — не только красивый, но и умный. Это не часто встречается...

— А что: есть и такая правда — надднепрянская? — спрашивал, смеясь, Марат.

— Есть, есть, — заверяла Дарья. — В нашей стране правда многокрасочная... На любой цвет.

...В комсомольских кругах в начале пятидесятых годов романтизм ещё не угас окончательно, а цинизм уже расцветал. Двойная мораль партии не проходила бесследно и для комсомола.

В конце концов, Дарья убедила Марата, и он рассказал на страницах местной «Правды» о механизации лова рыбы речными неводами и о передовых технологиях в озрыбхозе. Беседа с Винсом вышла под рубрикой «Трибуна передового опыта». Марат забыл о ней на следующий день. Но ему о публикации напомнили. И не раз. Его срочно вызвал директор. Когда Марат пришёл, то директор сиял.

— Звонил первый.

Марат не понял.

— Кто? — уточнил он.

— Первый секретарь обкома, — строго пояснил директор, удивляясь непониманию Винса. — Он очень доволен вашим выступлением в газете.

— Спасибо, — ответил вежливый Марат.

— Я был бы вам благодарен, — продолжал директор, — если бы вы постоянно выступали в газете под рубрикой «Трибуна передового опыта».

— Но у нас мало такого опыта, — возразил Марат. — Постоянно не выйдет...

— Но уж эта ваша задача, как главного инженера, — важно сказал директор и пошёл к своему креслу.

Марат пожал плечами и ничего не пообещал.

Потом ему звонила восторженная Дарья — в аппарате о похвале начальства узнавали мгновенно. Марат уже понимал, что Дарья хотела бы перевести их дружеские отношения в новую степень. Чтобы избежать этого, Винс опять отправился в длительную командировку по объектам озрыбхоза, пообещав Васильевой, что вернётся к 8-му марта, и они обязательно вместе встретят женский праздник.

В этот раз он отправился в командировку совершенно уверенным в себе. Он ехал на машине, а не преодолевал пёхом белорусские сугробы. Было, как и тогда, в первый раз, серенькое и низко висящее небо над скромными и скорбными деревнями, и речки, набухающие ото льда уже перед близкой весной, проседающие сугробы и не холодный, но бодрящий ветер, напоминающий о скорых переменах в природе. Марат предчувствовал, а быть может, только ожидал, что этой весной 1953 года будут перемены и в его жизни. Хотя едва ли он мог представить в своей командировке, что 1953 год станет переломным для всей страны, как и для него. Но у Винса не было никаких предположений, что той же весной он будет на грани гибели. Но уже в другой поездке. А пока он проверял состояние техники, неводов и других орудий лова, катеров, организовывал завод запчастей, спецодежды (то есть сапог и брезентовых плащей) и, куда бы ни приезжал, пил самогон. Без него не решалась ни одна задача, хотя самогон Марат ненавидел, да и пить не умел. Но в Белоруссии тех лет не умели решать дела без самогона. Как раз из-за отворачивания к этому местному поилу, Марат сократил командировку и решил досрочно вернуться.

— Я тут всё переделаю, — лихо обещал Марат самому себе, но пока он повернулся на бок и быстро заснул в своей крохотной гостинице. Его рано разбудил бригадир Григорий Иванович Чернецкий, с которым они договорились вместе вернуться в Мозырь.

— Пан инженер, — услышал Марат сквозь сон. — Вставайте, пан инженер. Злодий подход.

— Кто?! — ничего сначала не поняв, переспросил Винс.

— Сталин сдох, — уже внятно повторил Григорий Иванович. — Может, нам теперь полегчает...

Марат вскочил, не зная, что делать: то ли одеваться, то ли радоваться, то ли торопиться в Мозырь... Новость была ошеломляющей. Впрочем, никаких действий от пана инженера бригадир Чернецкий не дождался. Пан инженер снова залез под одеяло и быстро заснул. И спал ещё долго, как в детстве, когда ему не надо было идти в школу, а маме — на работу. То есть в самые счастливые дни в семье Винсов.

...Едва он вошёл в свою комнату-кабинетик, как затрещал телефон — знак принадлежности к номенклатуре Мозыря. Звонили из горкома комсомола и приглашали срочно явиться к первому секретарю. Марат поморщился. Формулировка «срочно явиться» отдавала начальственным канцеляритом. Такой тон не для отношений, которые были у них с Дарьей. Марат без всякого удовольствия пошёл в горком. Помощница Васильевой тут же сказала:

— Проходите. Вас ждут.

Марат покраснел. В приёмной сидело человек восемь, ожидая, когда их пригласят.

Дарья буквально бросилась к нему.

— Маратик! Что делать? Умер Сталин. Надо решить, как комсомольцы будут с ним прощаться. Марат помолчал, постоял и очень спокойно сказал:

— Я — никак, — бестрепетно ответил Марат. Второй раз, услышанное ещё в командировке от бригадира Чернецкого сообщение, что «злодий подход» он переживать не собирался.

— Но я хотела посоветоваться именно с тобой, — растерянно сказала Васильева. — Ты же знаешь, что в эти же дни дома у меня назначен вечер. Ты будешь?

— Буду, — твёрдо пообещал Винс. — Но не вижу никакого противоречия. Днём прощайтесь с вождём всех народов и племён, а вечером отметим по-человечески восьмое марта. Там и увидишь, чего стоит твой руководящий актив.

Дарья Васильева была в шоке от предложения Винса. Но чувства её оказались сильнее скорби.

...Из письма Марата брату Владлену через пятьдесят лет:

— Представь, чуть ли не в день похорон Сталина мы отмечали Международный женский день. И отмечали хорошо, весело. О Джугашвили не говорили ни слова. Я пресекал всякие разговоры на эту тему. Завесили окна одеялами и вовсю пели. У Дарьи были песни Утёсова и сосланного колымского певца, имя которого я забыл: то ли Козин, то ли Казин... Никогда не радовался так, как в тот день. Даже водку впервые пил с удовольствием. Ни один из присутствующих нисколько не скорбел и не собирался, как ты, ретивый комсомольский балбес, ехать в Москву на похороны Сталина, да ещё на крыше вагона. Мозырский комсомольский актив чётко определил свою позицию: «И без нас закроют». Это было общее мнение, в том числе и секретарей комсомольских организаций мвд, мгб и других силовиков.

...Когда сейчас партийные старички умильно вспоминают, что вся страна плакала, когда не стало тирана, — не верь. Врут они! Далеко не вся страна плакала... Но старичков этих не осуждаю. Им хочется лучше думать о годах, когда они правили. Это была их жизнь, их молодость, чернить то зверское время они не могут. Да и кому охота себя перечёркивать?! Для меня кончина Сталина быстро забылась и по другой причине: началась путина и очередная борьба с браконьерами, в которую я влип по глупости и по поверхностному знанию тогдашней белорусской жизни.

Валентин Курбатов Он жив, ты жив, мы живы



...Но славен будет он, пока
Живу хотя бы я...

Возвышенные эти строки на полях «Памятника» были бы самонадеянны, если бы не были искренни. В них есть деревенская простота. Их мог написать самодеятельный поэт, если бы среди этого рода художников ещё оставались чистые души. Но они принадлежат иронисту, которому его острый слух доставляет столько же поводов для улыбки, сколько для настоящей печали, потому что ирония, если она не зубоскальство, — дитя раненого сердца.

Это написал Тимур Кибиров. Стихотворение называется «1999» и возвращает нас на 10 лет назад, когда мы шумно и, признаться, не очень достойно отметили 200-летие поэта. Наша юбилейная чрезмерность, «клевета обожания», которая смущала М. О. Меньшикова, опять давала повод «ревнителям поэтической чистоты» засомневаться: точно ли Александр Сергеевич жив или это уже одна наша лень и пустая привычка, боязнь выйти в «чисто поле», чтобы увидеть новые пути и опоры. Вот этот-то род внешне отважной, а на деле только суетливой мысли и вызвал досаду Кибирова:

Архивны юноши кривят
Брезгливые уста,
Уже два века норовят
Сместить его с поста.

...Оспорить трудно дурака,
А убедить нельзя.
Но славен будет он, пока
Живу хотя бы я.

Вот и мы не будем «оспоривать дурака», а поглядим только, отчего же никак два века, несмотря на усилия даже таких замечательных «архивных юношей», как Писарев и Маяковский, всё-таки не могут «сместить его с поста». И не могут сегодня, когда наша «всемирная отзывчивость» почти уже ничего, кроме всемирности, и не оставила, когда, вместо корней, у нас один ветер, и уж впору ждать, кто бы нам отозвался?

Я вот уж буду участником 42-го (страшно сказать!) Праздника поэзии и 15-го (тоже не шутки!) театрального фестиваля. Чего-то успел увидеть и о чём-то подумать. И они как-то сошлись во мне, эти Праздники, как и в сердце каждого псковского человека, и их не разорвать. И мысль легко соединяет их и иногда подменяет один другим.

Куда отнести Д. Н. Журавлёва, читавшего Пушкина в 67–69-м годах в августе в Тригорском доме, когда «ложился на поля туман», когда по столам тригорских барышень уже стояли яблоки, и всё дышало предвестием осени и счастьем. Как забыть

его чудную старую школу чтения с этим его чуть нарочитым «ды» («О, лето красное! Любил бы я тебя, когда б ни зной, ды комары, ды мухи...»). А театр И. С. Козловского, немного провинциальный, полтавский, когда он непременно становился на колени перед выбранной в театре барышней при пении романса «Я помню чудное мгновенье» и целовал ей комсомольские руки, смущая её до гибели. И что было чтение П. Г. Антокольского с его артистической школой, когда его или пушкинская любовная лирика (тогда поэты на Празднике ещё читали Пушкина) вывела на сцену тень вахтанговской «Турандот».

Они сходятся в моём сознании — праздники и фестивали, и скоро я уже не смогу разорвать в памяти рецептеровских мальчиков, которые выросли на наших глазах и мальчиков альманаха «Илья», которые третий год приезжают в июне и августе и приносят в Михайловское дух лица и молодой игры. Хотя они, может, в одном только моём сердце и сходятся.

И я надеюсь, что однажды мы соберём поэтов и актёров для общего праздника и оглянемся друг на друга, и услышим слово во всём его богатстве, которое нажил театр, и поймём всю глубину его нового существования, которое нажила поэзия. И, может быть, поймём, что поражения Праздника есть и поражения театра, а победы театра есть обещание побед Праздника.

Ведь это горе, что мы сейчас больше делим Пушкина, чем сходимся вокруг. Ни Пушкинский праздник, ни фестиваль пока не создают братства, не вырабатывают счастливого чувства единства, жадного желания собраться на будущий год и обняться и увидеть, что они сами, (мы сами!) теперь Пушкин и Россия, любовь и молитва, национальное сердце и спасение.

Что была поэзия тогда, при начале Пушкинских праздников? Государство свободы. Не одной политической (хотя мы чувствовали и её эхо), а высшей, редкой свободы света и Слова, которое было вначале. А потом всё пошло съёживаться. И я отлично понимаю горечь восклицания покойной поэтессы Татьяны Глушковой «Но был весь мир провинцией России, теперь она — провинция его». Это могло бы быть сочтено самонадеянностью русского сердца, когда бы не отозвалось, скажем, в еврейском сердце Анатолия Добровича, который уже в Израиле написал:

Для нас весь мир — окраина России.
Мы в пылком, но поверхностном родстве
С любимы инородцами, включая
Израильян...

Это «пылкое поверхностное родство» как раз и звалось «всемирной отзывчивостью» и ни у кого не вызывало улыбки, а как-то всеобщее было отнесено к одной из черт русской физиономии. А теперь мы с нашей фанаберией привозного европеизма (так и видишь, как его поставляют трейлерами по русским дорогам), с нашим рязеным демократизмом, чтобы не быть уличёнными в отсталости, торопимся приобщиться ко всем «измам». И увязаем в них, как в разлитом клее. И вот мне уже мерещится в стихотворении уже помянутого мной Анатолия Добровича что-то всеобщее, легко пересекающее границу, словно поэты первыми объявили право безвизового проезда.

Прощание с отчизной Пастернака,
очищенной до символа, до знака,
где в честь Христа даёт сама природа
концерты листопада, ледохода.

Прощание с отчизной Мандельштама,
где слово столь масштабно и неожиданно,
где мысль кружит водой неукротимой,
как полная река перед плотиной.

Прощание с отчизной Гумилёва,
где волком и жасмином пахнет слово.
С отчизной Фёта и отчизной Блока,
где «глубоко» — не то же, что «глубоко».

Я тягую к России не прельщаюсь.
Что вам с того — я сам с собой прощаюсь.
Хочу по-русски, как умею, честно,
отпеть себя, куда не исчезну.

Это ведь и мы прощаемся с отчизной Пастернака, Мандельштама, Блока, словно переехали в какой-то внутренний Израиль. И тоскуем по России, словно видим её из гоголевского прекрасного далека, только в отличие от него, воротиться не можем, потому что, как сказано у того же Добровича: «Россию огняли как ногу, культя нет-нет и заболит...».

И, конечно, в этом новом контексте не мог не претерпеть изменения и Пушкин. Куда бы он делся от времени, если он — дыхание жизни, если он наша генетика и в каждом из нас голубеют его глаза и смеётся его свобода.

Я тут не беру той поэзии, которая славит Пушкина напрямую, как В. Костров («Браво, Пушкин! Браво, Пушкин! Браво!»), как П. Рязанов («А он идёт, идёт к барьеру, и пал он нечистой сражён»), или просто окликает в помощь, как Юрий Казарин «А в поле Пушкин мнитися. Где сочиняет снег да жмурится волчица — хороший человек». Эти венки поэту несчётны и сложенные в хрестоматию перетянут по объёму всё написанное им самим.

Я о другом. О том, как Пушкин является сам, когда его не зовут, а он, смеясь, протискивается в стихотворение, где скрытой, где прямой цитатой. Сегодня чаще цитатой иронической. Когда время «потекло» и «поехало», он перестал быть высоким образом, иконой (всё перестало быть иконой), и пришёл братом, насмешником, старинным всё понимающим другом, ободряя нас, что это только с виду времена меняются, а для зоркой музы и

умной свободы они те же. И чтобы поговорить, скажем, с нынешними властителями, достаточно вспомнить, как он говорил с властителями прежними, и не сдаться этим нынешним, потому что (вспомню Кибирова ещё раз):

Нельзя же быть настолько лживым,
Пока сердца для чести живы!
Пока свободою горим —
Настолько пошлым и тупым.

И даже когда поступится отчаянье и трейлеры «цивилизованного общества» готовы будут раздавить тебя и лишить главного твоего спасения — поэзии, приговорив её к смерти, то и тут встанет за спиной Пушкин: «Ничего! Это они только с виду всеильны!»

Читаю замечательную Ирину Евсу с её холодной мужской иронией и только руками всплескиваю.

В кольчуге и с мечом, торчащая в седле?
А может на скамье с бутылкой и стаканом?
Приятель, ты о чём? Я — памятник себе
И развалюсь другим подобно истуканам.
Одесса и Москва, Тбилиси и Бишкек
Едва ль продолжат путь к последней из утопий,
Забьют ко мне тропу сирень и бузина,
Истает бледный серп, как профиль Эккермана.
Стихи, ты говоришь? — Но скоро им хана —
Слависта корм сухой, добыча графомана...

Ах, время, время! И не потупится, словно это и не о нём, хотя никогда ещё, может, не звучало ему укора прямее и жёстче. Ирина не назвала напрямую пушкинский «Памятник», в котором ещё «Одесса и Москва, Тбилиси и Бишкек» были только верстовыми столбами поэтической славы, а не пунктами забвения. Но мы-то слышим его в каждой строке, и, видя, как сужается горизонт «Руси великой», тоже устающим сердцем чувствуем осыпь памяти и вот-вот повторим за поэтессой «Стихи, ты говоришь? — но скоро им хана!» А только само спокойное мужество интонации и вставший за каждой строкой Пушкин говорят, что сомнение мимолетно, и «хана» ещё подождёт.

И не знаю почему, но даже не на такой высоте, в простой поэтической шалости, когда поэт улыбается поэту через без малого два столетия, я слышу тот же привет бессмертия и надежды. Григорий Кружков сядет за океаном готовить лекцию для чужестранных недорослей, а мысль, отвлечённая ненастьем, улетит в Михайловское, и Пушкин, ни разу не пересекавший границы, легко подсядет к товарищу в Вашингтоне, протащив через таможенную родную зиму:

«Зима. Что делать нам с тобою в Вашингтоне? Спросонья, не поняв: чей голос в телефоне, бубню: Что нового? Как там оно вообще? Тепло ль? И можно ли в Гарольдовом плаще гулять по улицам? Иль, напрягая веки, опять у Фолджера сидеть в библиотеке...»

И закончит уж совершенным озорством: «Но бури Севера не страшны русской деве. Особенно, когда она живёт в Женеве». Так что вместе с Пушкиным легко пересечёт границу и «дева юная»

вместе с михайловским или тригорским крыльцом и морозным поцелуем. Только вдохнёшь, что она теперь пересекает эту границу не только в стихах и русский поэт, того гляди, останется на крыльце один.

Так смешливой, но внутренне печальной цитатой Александр Сергеевич будет заглядывать в стихи Бахыта Кенжеева:

покуда смерть играет в прятки
и для того, кто сам большой
двуногой жизни беспорядки
шуршат мышиною вознёй.

Или, совсем не прячься в стихи Игоря Иртеньева:

Но чувства добрые здесь лирой пробуждать
В благословенном этом месте
Боюсь, придётся обождать
Лет сто. А как бы и не двести.

Правда, когда цитаты зачастят, скоро заметишь, что иногда добрые коллеги норовят проехать за чужой счёт, прикрыв свою наготу чужим платьем, обмануть заёмным блеском. Любое пушкинское слово нажило за века столько смыслов, побывало в таких переделках, что поневоле под его защитой покажешься себе молодцом. Да и просто легче пересидишь непогоду. Впрочем, есть ещё и та сторона, что нынешним поэтам самим по долгу братства хочется вырвать Пушкина у оседлавшей его пошлости: обнимемся, брат, тебя норовят перевести в ширпотреб, «мальчикам в забаву».

Вот и у Кибирова, и у Ирины Евсы именно этот оттенок. «Стихи, ты говоришь? Но скоро им хана!» Но Пушкин-то за неё, за него, за их общих товарищей «в искусстве дивном», задетых наглой прозой мира, знает, что и он сам, и они, лучшие его товарищи, — не просто стихи. Они — смысл и суть мира, память его цельности и живого единства, которое одно держит подлинные стихи посреди потребительской вьюги, заметающей человеческие смыслы.

Мир боится пушкинской простоты, потому что она, как Евангелие, ставит человека перед бездной неба и любви. Боится и дезертирует в сложность.

Мне нравится, как лирический герой, дитя словесных туманов, бьётся у Михаила Поздняева в посвящённом Битову стихотворении нрзб (это, как мы помним по публикациям рукописей означает «неразборчиво!»):

Ред... (нрзб) лету... (нрзб)
О чём он там бубнит, надменные потомки?
О славе, о любви, нрзб судьбе?
Попробуй разбери, душа его потёмки.

Бьётся бедный герой в снежной мгле, заверченный бесами, и вот-вот сдастся с давно опустившим руки ямщиком:

На тыщу вёрст нрзб ночная мгла.
— Пошёл, ямщик, пошёл! нрзб не видно!
нрзб страна...

И мы уж готовы за ним повторить про страну и дорогу. А только путь и выход всё в нём — Пушкине, в его действительно античной цельности, в его умении при страшной мудрости гения взять и написать рядом с «Пророком» «На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны». И птичка будет не одна символическая свобода, а и сама живая благовещенская птичка. Осмелься! Верни душе детскую простоту и любящее сердце, и вон уж метель улеглась, и слова лежат молодые и свежие, как в день творения.

На тыщу вёрст окрест словесная руда.
И лес, где в трёх соснах мы кружим по привычке.
Не верь своим глазам. Доверься Божьей птичке:
«Редует облаков летучая гряда...»

Редует, редует. Не для всякой души, а всё, как веки, — для увидевшей небо, однажды и навсегда узнавшей, что смерти нет. А как в один забор современников упрёшься, как «на первый-второй» пойдёшь рассчитывать в поисках славы, так, глядишь, и опять — «в мутной месяца игре». И опять «нрзб» не видно. И уже спрашиваешь с Бахытом Кенжеевым перед той же летучей строккой:

Но где генералы отважные от
российской словесности? Где вы и кто вам
в чистилище, там, где и дрозд не поёт,
ночное чело увенчает сосновым венком?
...Да что, если честно, накоплено впрок
и вашим покорным?
...что делать, учитель? Твои облака
куда тяжелее, чем было обещано.

И, слава Богу, что тяжелее. А только «Не верь глазам своим. Доверься Божьей птичке», и облака опять, как впервые, полетят летучею грядой.

Смирить себя, и радость обрести;
Душа прозрачна, как вода в горсти —

Это подхватывает зрелую пушкинскую свободу саратовская поэтесса Светлана Кекова, которую так благодарно, так полно слушала Поляна на 40-м Празднике, узнавая в ней царственную мудрость «Вновь я посетил»:

Ты жив ещё, и большего не надо.
Пусть жизнь течёт, как слёзы по лицу;
Седой пастух в горах нашёл овцу,
Нечаянно отставшую от стада.

Этот седой пастух не один евангельский Спаситель, посевший за века наших заблуждений. Это тоже давно седой Пушкин, всё не устающий врачевать нас, отбившихся от стада, которое мы, забыв человеческое братство, снисходительно относим к толпе и черни. А что я не своевольно пристегнул к нему Кекову, я услышу через несколько стихов её сборника — всё о том же: о преодолении слова для жизни, а уловок формы — для торжества света.

И поэтому Богу мои не нужны слова.
 Нужно в этом мире опять научиться жить,
 Черпать воду в проруби, молча рубить дрова,
 Голубям на завтрак оставшийся хлеб крошить.
 И просить Создателя: даруй потоки слёз
 Тем, кто хочет душу омыть от греховных скверн,
 Как молился Пушкин в послании к Анне Керн.

Может, никогда ещё «чудное мгновенье» не оказывалось в таком контексте, не читалось так, не сияло такой новизной, не попадало в молитвы. Много надо было понадевать со словом и сердцем, чтобы «божество и вдохновенье» отряхнули романную сладость и опять загорелись спасительным огнём. И Пушкин ещё не ходил этой дверью. Но, раз вошёл, значит, пора. Он знает, когда и с какими словами войти.

«О, Музы! Не оставьте в суете без малости своей — без вдохновенья, — пишет у себя в Орле поэт и философ Владимир Ермаков, — пока не соберу в стихотворенье слова, слова, слова — всегда не те».

Вот то и беда, что слова устали быть словами и просят жизни, и поэты, как трава из-под снега всё поворачиваются к Пушкину, у кого что ни слово, то и жизнь. Словно эти слова и состояли у него не из букв, а из самой материи жизни. И он потому и впрыгивает цитатами в чужие стихи, как прыгал бывало в Тригорские окна, что хочет вернуть в русское слово полдень и ласку, счастье жить и видеть. Иначе зачем стихи? Они только тогда и поэзия, когда ты не видишь слов, а сквозь и мимо них — жизнь, жизнь! жизнь!

Мы слишком заковали реальность в словесное платье (так уже и шьём из готового, а чаще просто перелицовываем!), и вот она потребовала освобождения и вот-вот перебьёт стёкла книжных шкафов, чтобы слова — в шею, а день — в окно.

Как весело мне было увидеть у Алексея Машевского эту ветреницу-жизнь, сметающую исчерпанные стихами листки со стола, чтобы разбудить поэта:

...и с криками бежит соседский мальчик голый,
 Застигнутый врасплох, дождю наперерез

(лето — вот и бежит голый, а зимой у Пушкина бежал, «в салазки Жучку посадив»)

Я слушаю, пока читаю Сологуба,
 Как в вёдра бьёт, стекая с крыш, вода

(читал бы Пушкина — не слышал, ибо вода стучала бы в вёдра в самих страницах, а тут уж только поэзия. И дальше только улыбнётся):

И, отвлекая от стихов,
 Все эти звуки
 Берут мой грешный ум,
 Усталый, на поруки,
 Куда-то далеко от мира уводя.

Да в мир, в мир и уводят, спасая от слов, «всегда не тех» — в забытую, забитую словесной пылью

жизнь, напоминая то, что у Кековой выговорилось так свободно

Ты жив ещё и большего не надо
 Пусть жизнь течёт, как слёзы по лицу.

Только вот редко она теперь течёт так облегчающее, так светло и горько. И не зря и у Пушкина нынешний день чаще выкликается не свет, а то «Бесов», то «Памятник», то «жизни мышью беготню», то ту печальную строку, то эту, словно и он потемнел, как день. И не надо ничего долго объяснять, довольно сказать только «покоя сердце просит», и душа сожмётся. И явится с этой строкой «незримый рой гостей», кто когда-то с него, первого, даже не говорил, а выдыхал эти слова, чтобы они стали самим русским воздухом. И потом уже навсегда вперёд, как вырвутся эти слова, так и воскреснет и Пушкин, и этот «незримый рой».

Конечно, ещё можно улыбнуться с Еленой Елагиной

«На свете счастья нет,
 Но есть жара и лето», —
 Одилию сулит раздетая Одетта...

И счастье блеснёт ёлочной игрушкой и даже поманит, будто оно есть — так хороши, особенно среди зимы, эти жара и лето, и Одетты-Одилии пляжей.

А можно, что сегодня в нашем сердце чаще, особенно с поры, когда мы простились с историей, поступив в цветную тщету однодневности, задохнуться в печали, и те же слова повернутся неизбывной стороной, как у Елены Лапшиной:

...и ждать утешенья под этой тяжёлой рукой, —
 За слёзы на нашей тщете даже Бог не осудит, —
 Где только тупое терпенье приносит покой,
 Хотя бы немного покоя, раз счастья не будет.

Неужели это и станет огнине нашим припевом? По Пушкинским праздникам я вижу это всё чаще, когда читатель идёт на Поляну за минувшим светом, а находит разочарование и сомнение. И корит поэтов вместо того, чтобы вместе с ними обернуться на время, которого они одинаково «подставленные» дети.

Но, слава Богу, поэзия всё не торопится сдаваться. И всё помнит, что о ней так обязывающее написал покойный философ Владимир Библихин «Философия и поэзия относятся к вещам, которым не мешает, чтобы их забыли. Они умеют и так. Мысль и слово держатся собственной силой и сами создают пространство, в котором потом находится место для всего». Только бы не ухорила пушкинская ясность, а счастье и покой — Бог с ними.

Повторим за Александром Кушнером: «Хотелось бы верить в прибавку добра / и думаешь утром: пора, брат, пора», но и не обманемся вместе с ним «Но смотришь со страхом вечерней порой: / кто скачет, кто мчит под холодной мглой». Да, впрочем, уже и без страха — привыкли. Но Пушкин, слава Богу, навсегда научил нас бодрствованию и вере в святое русское слово, которое сорок лет собирает нас на поляне и 15 — на сцене,

чтобы мы не поддавались смертному греху уныния и, оставив «надежду славы и добра», всё-таки глядели бы вперёд без боязни. И как в иные дни по слову того же Александра Кушнера, «и утешал нас если не Господь, то русский стих на всех его этапах», так и впредь он под пушкинским небом нас не оставит.

И уже ясно, что после нового потопа, на который напрашивается потерявшая рассудок земля, голубка, вылетев из Ноева ковчега, принесёт старику Ною, как знак земли и обетования, поэтическую строку, где вместе с пушкинской птичкой будут «и с ласточкой Катулл и с воробьём Державин», и где слово нынешнего поэта поместится в середине легко и согласно.

И мы опять будем спасены.

г. Псков

Виктор Кальсин

Липнет нить к веретену



Не впервые увидело солнце воинов будто спящих, заспавшихся после нелёгких ратных своих трудов, восходило, не удивляясь, погружённое в долгие думы; и туман, отступая, вился, шипел змеино, злопамятно, росы зернистые, грузные по железу ползли калёному. Доброе утро, земля плодородная, чёрная, вспаханная копытами, впитавшая воедино жизни вчерашних пахарей, в споре упрямом вынудивших острые жала из ножен; бились нещадно, не чувствуя боли, оглушённые кровью и ржаньем. Нет, не проснутся воины, не взнимут похмельные головы, не заведут дремучую песнь о путях и подвигах и не расскажут с гоготом о прелестях белых жён. Земля, и в тебя вонзались свистящие жгучие стрелы, реки твои мутнели, звери бежали в страхе; не осуди, приемли детей неразумных, вздорных, руки раскинувших навзничь, успокоившихся, уснувших. Весть молчаливую, длинную ветер понёс в селенья; волчица трусит по склону — ищет разогнанный выводок; кони спустились в пойму — ослабил бы кто подпруги. Доброе утро, земля и солнце, сияние дня восславьте.

Томь

Река в то время была томной —
соответственно и назвали.
Теперь же отмели, как скулы,
проступают со дна.
Словно старуха, оставшаяся одна,
Выползла на солнышко, на завалину.

Ни тебе варягов, ни греков,
ни Троянской войны:
Из неведомой миру Шории
От нечего делать волокла валуны —
и жизнь прошла.
В стороне от всеобщей истории.



Песок аравийский струится, струится,
листает пустыня пустые страницы,
и юная пальма, стройна и крылата,
печально плывёт в зазеркалье заката.

И видится ей в чередѣ отражений
берёзовых роц золотое круженье, —
размашисто осень идёт по Сибири,
вздымаются кедры всё выше и шире.

Дожди

Клочки обрывки полосы
нечёсанные волосы
как ополчение на войну
как липнет нить к веретену
дожди в беспамятство идут
кочевники-номады
как ничего не надо
как монолог и бред
как денег больше нет
на цыпочках сомнамбулы
качаясь как параболы
в безбудущность в безбрежье
в страну где все приезжие
как рельсы заржавелые
как белое — по белому
как куры зёрнышки клюют
дожди как проклятые льют



Чертовски хочется превратиться
в нечто,
подобное дереву,
растущему в пространстве-времени:
корни питаются прошлым,
тело — в тепле, в сейчас,
макушка озарена будущим.
В пространстве-времени...
Что так и есть,
но несколько вверх тормашками:
растём —
и всё глубже зарываемся в прошлое.

Листья

За здравие или упокой
их осень носит за собой
со всеми-всеми именами.
Врасплох застигнутый волной,
повинно никнет головой
и оседает город в пламя.

г. Кемерово



Анатолий Байборodin Блаженны кроткие

Размышления по прочтении книги
Александра Щербакова «Деревянный всадник».
Москва, издательство «Лепта», 2007

Размышления о крестьянской России были зачином моего давнишнего очерка «Русский быт», и они жданно и гаданно явились, когда читал книгу писателя Александра Щербакова «Деревянный всадник», где мой земляк, енисейский сибиряк, с завидным знанием, сыновей любовью живописал крестьянский ремесленный мир. По прочтении книги бывшие размышления обрели даже некую трагическую завершённость, хотя автор и не пропел заупойную русскому селу.

История России есть История Крестьянства, ибо даже на рассвете минувшего века крестьян в нашем патриархальном Отечестве проживало более девяноста процентов в сопоставлении с иными сословиями. Разумеется, к закату века, когда осатаневшая цивилизация перепахала раскалёнными плугами природный мир — Творение Божие, крестьянство на Руси изрядно поредело; но даже бывшие сельские жители, что переметнулись в иные сословия, а порой и те, пуповины коих отроду не вязались с матерью-сырой землёй, в сокровенной родовой глубине души и по сей день не утратили крестьянского духа и сладостно томительной тяги к земле. Но, увы, письменные труды по истории Государства Российского, прежде царского, грешили тем, что запечатлели лишь историю великокняжеских и царских дворов, историю верховодящих сословий да ратбу и тяжбу за власть и земные сокровища, историю государственного и хозяйственного строительства, историю войн, смут и кровавых бунтов, историю религиозных преобразований и явлений мудрости мира сего. А двухтысячелетняя повседневная народная — суть крестьянская — жизнь, история развития народного духа — опять же крестьянского — прозябали в забвении. Не случайно, писатель-этнограф Михаил Забылин, создатель славного сочинения «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия», печалился: «Читая лекции отечественной истории в наших учебных заведениях, преподаватели этого предмета мало говорят об обычаях и образе жизни наших предков, почему бытовая сторона нашего народа в своём прошлом почти потеряна для нас». Михаил Забылин скорбел о незапечатленной судьбе сельской Руси полтора века назад, когда в крестьянстве ещё цвела и красовалась испоконная обрядовая культура, несметные, самородные ремесленники дивили мир художеством, а что уж говорить о нынешней поре, когда национальное русское уничижается, истребляется сатаниловым варварством — и доморожденным, и сквозь воровски отпахнутые российские ворота хлынувшим

дьявольски-ярким, бурливым потоком из земель заходящего солнца.

В советский век, в отличие от царского, власти вроде и обернулись лицом к деревенской жизни, но, облаив её многовековое духовное и творческое наследие, как дикость и рабство, так перепахали сельский мир, что к закату двадцатого века от исконного села осталась жалкая труха. Впрочем, виной тому и железная поступь цивилизации, не будь она помянута к ночи, словно тракторными гусеницами раздавшая соломенную и деревянную крестьянскую Русь, и сколь не скакал наивный жеребёнок за стальным конём, а всё одно, запалился и пал бездыханно на пыльной обочине. Сколь не радела советская власть брежневской поры о сельском хозяйстве, по России-матушке пошло необратимое вырождение крестьянского мира и духа, а посему вороватая и прозападническая власть, что дьявольски воцарилась в России на порубежье веков, легко столкнула деревню в беспросветную нужду и пьяную печаль. Хотя, как убеждает читателя Александр Щербаков в книге «Деревянные всадник», сельский мир дюжил и во второй половине ушедшего века, и непременно возродится, ибо неисповедимы пути Господни.

По глаголам Божиим, «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»; в Земле Русской, хотя и наделённые вселенской мудростью, по-детски кротко жили крестьяне, отчего испокон веку страдали от сильных обезбоженного мира сего, пока не добрали до края. Разрушение крестьянского (суть, христианского) мира стало самой великой трагедией России, ибо сокрушился тысячелетний русский земной лад, гармонично прилаженный к небесному, и несчастный, душевно и духовно ослепший народ закрутился в суетной жизни — в чёрном омуте греха и порока. Рушилась в сознании спасительная державность — «раньше думай о родине, а потом о себе», общинная братчинность — «за други своя не жалея живота», домо-строевская семья — «за мужика завалюсь, никого не боюсь», целомудренные браки, что вершились на небесах, — «но я другому отдана и буду век ему верна»; и русский человек, подобно западному, вдруг мучительно ощутил своё полное и страшное одиночество в мире, свою незащищённость, но если западный утробный человек, обузданный законами, смирился, уткнувшись в корыто с хлебом, то русский, не приваженный жить без божественной народной идеи, от безыдейности и одиночества кинулся во все тяжкие, но без радостного азарта, а с мучительной тоской — «душа болит».

Да, как скорбел Михаил Забылин, «бытовая сторона нашего народа в своём прошлом почти потеряна для нас...». Почти, но не потеряна напрочь, и перво-наперво благодаря писателям-народоведам царской России, таким как Забылин, Максимов, Сахаров, Калинин; благодаря и советским певцам деревенского мира Шергину, Акулову, Можаяву, Абрамову, Шукшину, Носову, Астафьеву, Белову, Распутину, Личутину; в этом ряду, созвучная книге Василия Белова «Лад», полноправно может встать и книга Александра Щербакова «Деревянный всадник». «Александр Щербаков, — писал Виктор Астафьев, — из числа тех последних, наверное, «деревенщиков», что унесли в своём сердце частицу тепла из русской избы, свет чистых небес, яркие краски полей и лесов».

Рождалась книга, как я смекаю, от случая к случаю, долгие годы, если её первые произведения Астафьев читал ещё в лета вологодского житья и написания «Царь-рыбы». Позже Виктор Астафьев осчастливил в ту пору ещё молодого писателя и журналиста Александра Щербакова похвальным напутным словом к одной из его книг о крестьянском житье-бытье: «Очень любопытную прочёл я однажды книгу о деревенских ремёслах, и не просто ремёслах, а о ремёслах как бы «вымерших», но, в общем-то, всё же необходимых — о стекольщиках, пимокатах, печниках, «отыскивателях водяной жилы» — копателях колодцев, а выделывателях шкурок, о плотниках, столярах, о каменотёсах и многих-многих других. Написано это было с таким глубоким знанием предмета и так занимательно, что очерковую книжку я прочёл залпом, а случается это в наше время не так уж часто...».

Хворь нынешней российской прозы — и родной русской, и неродной, одинаково заражённой западной беллетристикой, — журнализм, а посему, что греха таить, переживал я за брата по ремеслу: не одолела ли эдакая напасть и Александра Щербакова, коль молодые да и зрелые лета мой земляк спалил в журналистике. Но, редкий случай, когда пристальное, по сути, журналистское изучение, потом степенное изложение материала живо слилось, художественно сплелось с поэтическим повествованием, не сотворённым, но рождённым из пронзительных впечатлений деревенского детства и отрочества.

Тут надо оговориться, что и журналистка журналистике рознь. Лет десять мне довелось в Иркутском государственном университете читать студентам-журналистам практическую стилистику русского языка, и я скоро понял, что для большинства из них журналистика — информация, представительская, рекламная и полурекламная, а то и сплетенная, с горелым душком. И все рвутся на телевиденье, где, вроде, уже и не востребованы ум, воображение и благолепный слог, где хватит за глаза поставленного голоса, смазливой личины, а у девушек ещё и цапельных ног, растущих «от ушей». Я, грешен, случалось, невесело подшучивал, сочинив байку про нынешнюю тележурналистику... Приходит к дрессировщику ослов эдакая теледидва, садится на осла (другой раз восседет на капот машины, на генератор, сепаратор, свежий труп,

коль эдак ныне стильно) и, махнув телеоператору: мол, снимай, Федя, съёт дрессировщику микрофон в лицо и с умным видом вопрошает: «Скажите, пожалуйста, почему ослы, которые, по наблюдениям специалистов, не отличаются большим умом, так чётко выполняют ваши команды?». «Ну, что я Вам, девушка, скажу... — задумывается дрессировщик ослов. — И Вы где-то учились, чему-то научились, так и ослы...»

Но это я смехом помянул, а если серьёзно: то нынешняя журналистика — за малым исключением, скудоумная, бездушная информативная журналистика без Бога и царя в голове, и очерк, увы, пылится на чердаке, словно искусная крестьянская утварь, которая и в деле ловка, и тешит, греет душу красотой, умудряя природными вселенскими знаками и чертами. В советской журналистике, что дивом перепало ей от бывлой царской, вершинным жанром почитался очерк, который нет-нет да и граничил, а порой и жанрово сливался с рассказом, отчего величался другой раз и писательским. Вот такие писательские очерки, порой неотличимые от лирических сказов, и вошли в книгу Александра Щербакова «Деревянный всадник». Впрочем, книга открывается не очерками, а прекрасной повестью «Свет всю ночь», и повествование — сердечный земной поклон родимому очагу, роду-племени, деревенскому детству и отрочеству — созвучно очеркам, и там пристальное и подлинное описание крестьянского житья-бытья.

Многое в книге для меня родное, потому что и сам четверть века прожил в сибирской деревне, а вторую четверть века то оплакивал, то воспевал крестьянский мир, но многое я со светлой завистью и открыл для себя, ибо, в отличии от Александра Щербакова, выходяца из южно-сибирского хлебобобового села Таскино, рос и мужал я среди степных скотоводов и скотогонов в северо-восточном Забайкалье, под самым боком у студёной ветровой Монголии, где хлеба, увы, путём не вызревали, и хлеборобство для меня так и осталось за семью печатями. К тому же, когда я ещё пешком ходил под стол, крестьянский мир, наводнённый техникой, уже утрачивал вместе с деревенскими ремёслами и свой исконный дух и образ. Это особо скорбно выразилось в безбожно расхристанных районных сёлах, что, смешно и грешно задрал штаны по самые лядвии, кинулись догонять город, но, не обрета интеллигентности, а усвоив лишь принаряженные городские пороки, так и раскорячились копытами на двух берегах — не город, не село, пока ещё не Содом и Гоморра, но уже и не крестьянский мир. И ещё, покаюсь: в нынешние годы деревенское моё бытование, на кое тяжёлым и тёмным пластом легли почти три десятка городских лет, почти утасло в душе, и лишь изредка вспоминаться, как сон, как нечто увиденное со стороны, бывшее не со мной и мало волнующее. Отмолился родному селу и окрестной природе, пора грешному и у Бога прощения молить. А посему читал очерковые рассказы Александра Щербакова и дивился тому, что писатель не спалил в суетной журналисткой жизни светлую и печальную любовь к родному очагу, что душа его на крылах вещей поминаний

снова и снова спасительно витает над родимым селом, над русским творческим миром.

Русский... Стоит нам произнести это величавое слово, как в сознании сразу же рождается: христианин, крестьянин... Примечательно сказал об этом писатель Александр Куприн:

«Когда говорят «русский народ», я всегда думаю — «русский крестьянин». Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял восемьдесят процентов российского народонаселения. Я, право, не знаю, кто он, богоносец ли, по Достоевскому, или свинья, по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно много должен: ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке, и за всё это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность».

Я уже толковал в прежних очерках, что наши русскоязычные «просветители-западники» ныне не так откровенно толкуют о рабской сущности, лени, темноте и забитости русского крестьянина. А то наперебой талдычили. Это отношение, родившись в прошлом веке среди демократических «просветителей», полвека внушалося нашему народу разрушителями русской государственности, православия и народности. А ведь дореволюционный русский мужик — благодаря воцерковленности, духовной трезвости, благодаря исключительному земледельческому и ремесленному таланту, любовному знанию природы, трудолюбию и удивительной выносливости — кормил хлебом не только Российскую Империю, а и пол-Европы, хотя и сам нередко перебивался с хлеба на квас. Вот вам и лень... А если говорить о рабской сущности русского крестьянина — да, он, христианин, жил рабом Божиим, и свободу понимал духовно, как свободу от пороков, кою жаждал, хотя и не обретая, ибо лишь Господь без греха. А случалось, и, утративший волю терпение, бунтовал заради земной воли, и рекой лилась кровушка по русской земле. Грешно было говорить и о темноте и дикости русского крестьянина, который создал сверхгениальную и необозримую обрядовую культуру, далеко превосходящую народные культуры европейских народов. Подтверждение тому русская песня, как вершина народной культуры, о которой сказал даже и не русский человек — Рудольф Вестфаль, крупный немецкий учёный, исследователь античной филологии и поэзии, знаток немецкой и русской культуры:

«Поразительно громадное большинство русских народных песен, как свадебных и похоронных, так и всяких других, представляют нам такую богатую, неисчерпаемую сокровищницу истинной нежной поэзии, чисто поэтического мировоззрения, облечённого в высокопоэтическую форму, что литературная эстетика, приняв раз русскую песню в круг сравнительных исследова-

ний, непременно назначит ей безусловно первое место между песнями всех народов земного шара. И немецкая народная песня представляет нам много прекрасного, задушевного и глубоко почувствованного, но так узко течение этой песни в сравнении с широким потоком русской народной лирики, которая не менее немецкой поражает ваше впечатление, но зато далеко превосходит её своею несравненной законченностью формы... Философия истории имеет полное право вывести из этого дарования самые светлые заключения для будущности русской истории».

Мы сказали о русской народной культуре, которая в песне нашла своё наиболее полное и совершенное выражение и которая, по мнению немецкого учёного, далеко превосходит культуры народов мира с точки зрения высокой поэзии. А уж о духовно-нравственном здоровье русского крестьянина, обретшего Свет христианской Истины, и говорить лишне, поскольку оно, это духовное здравие, было почти идеальным, если сравнить с нынешним состоянием национального духа, траченного чужебесием.

Свою душу крестьянин оберегал верою, молитвою и постом; оберегал традиционным домостроем, жизнью среди природной красоты и чистоты; оберегал и каждодневным и натуральным, созидательным трудом — вольный, азартный, вдохновенный труд укрощал плоть, отвращал её от грехов и пороков, в праздности затягивающих душу зелёной болотной ряской.

В очерках Александра Щербакова и слышатся эхом отзвуки великого крестьянского мира и лада. Но автор любовью не приукрашивает деревню — и стародеревенские жители маялись грехом и горе мыкали; оценка деревне дана лишь в сравнении с нынешними временами, для села так похожими на последние. Но я не впадаю в грешное унынье, ведая, сколь у нас по Руси талантливых певцов крестьянского мира, подобных писателю Александру Щербакову, благодаря которым не умрёт село, но, вспомнив себя в красе и мудрости, оживёт и заживёт по-божески, по-русски.

И писатель не унывает, глядя на безрадостное нынешнее сельское житьё-бытьё, — верит, заиграет праздник и на деревенской улице. «Не спорю, попритухли ныне по сёлам ремёсла. Но это временно. Придут мастера. Не мною первым замечено, что отменно смекалист русский трудовой человек. Две самые сильные «тяги» живут в его открытой и бесшабашной душе: первая — к справедливости, за которую он готов голову положить, вторая — к мастерству, к искусности и сноровке, которые давали бы ему право гордиться своим умением, уважать себя и знать себе цену. Недаром искони богата Россия мастерами-умельцами. И не зря говорил мой отец: «Что ни село — то ремесло».

г. Иркутск

Николай Шадрин От Бирюсы до Шумихи



Ёлки выкинули светло-зеленые кисточки и теперь стояли непривычно пёстрые, как кедровки. Ельчик сощипнул, размял, понюхал — не надышишься! А на вкус — кисленькая! Он шёл по скользкой после дождя дороге. След Майки уводил его в тайгу. Вот же коровёнка! Проплутает ещё день-другой — присохнет, совсем перестанет давать молоко. Ельчик выбрал сук и, махая им, как шашкой, рубил лозу. Дорога, надломившись на взгорке, наклонилась вниз, и Ельчик, сунув «шашку» меж ног, превратил её в коня. «Н-но-о!», — крикнул мужицким диким голосом и поскакал, разбрызгивая грязь. Вылазка в тайгу для пацанов сопрягалась с ужасом перед Огнёвкой. Укус её был лют и смертелен. Убежать от Огнёвки невозможно даже на коне. Змея эта не ползала, а сцепившись — хвост с головой, — каталась колесом. И только одно средство давало шанс спастись: бежать на солнце! На солнце Огнёвка катиться не могла — слепла!

Дорога вильнула вниз, к речке, стало прохладно, запахло сыростью. И он заметил, что утерял Майкин след. Вот прошёл мужик в сапогах сорок последнего размера. Вон кабарожка как шильцем натыкала — перебежала дорогу. Ещё разные следы — Майкиного нету! Повернул обратно — и нашёл «свороток» дорожки. Полезла, дурёха, в чашу! Прислушался, не звякнет ли ботало? Тишина. Только удавлено хрипит кукушка. Пока Ельчик бежал по дороге, как-то и не думал об опасности, теперь же вдруг стало неловко на душе. Вокруг старые мрачные ели. Под ногами мягко мнётся ягель, иногда беззвучно треснет перепревшая ветка. Сквозь сучья звёздами вспыхивает солнце. Лето стояло в самом начале, всё ещё цвело, до ягод далеко. Он срывал то медунку, то хвощ, то ещё какую съедобную травку, прыгал с колодины на колодину, думал свои нехитрые ребячьи думки, как вдруг... что-то остановило. Оглянулся по сторонам — всё спокойно, тихо. Увидел ворону. Совсем низко. Сидит на сучке, чистит клюв. Вообще, вороны детей подпускают ближе, чем больших, но эту, подпрыгнув, можно было бы схватить за хвост. На другом дереве — тоже... И ещё одна! Ельчик понял, что что-то не то. Осторожно, стараясь не шуметь, сделал круг — и вышел к завалу. Кто-то наломал веток, свалил в кучу. Постоял ещё, послушал — всё спокойно. Подошёл — и глазам не поверил! В завале Майка. Лежит — ноги в стороны.

Над завалом гудели мухи. Снял одно деревце. Что-то не так... Нога ярко-коричневого цвета. И рога — белые острые. Отлегло от сердца: не она! Он стоял, ничего не понимая: зачем же убили? Кому надо? Обошёл валежник — и по широкой полосе

утоптанной травы, взрытой земле и шерсти на сучьях понял, что корову тащили волоком. Но кто мог? Замер с открытым ртом, надеясь услышать что-то, что открыло бы загадку. Тишина. Только царапает коготками по коре птичка поползень, да щёлкает чекан. Отвалил ещё коряжку — открылась рваная рана. Голова коровы свёрнута, как у тряпичной куклы, откинута на сторону.

Ельчику стало вдруг жарко, и волос пополз к макушке! Присел, боясь оглянуться от мысли о том, что где-то рядом затаился медведь. Осторожно отступил на несколько шагов — и припустил быстрее ветра, перескакивая через кусты и валежник. Сердце выросло до размеров футбольного мяча и стучало, рвалось. Вдруг затормозил, замер, долго стоял неподвижно. Заметил место — и опять припустил вниз по горе.

Оказалось, что у Морозовых пятый день, как пропала нетель. Узнав о случившемся, Морозиха убивалась, как по близкому человеку, причитала, рвала на себе кофтенку.

В деревню Зорьку не повезли. Оставили на месте — мясо успело «загореться» и в пищу не годилось.

Охотники двое суток сидели в засаде. Но медведь учуял. В первую ночь ходил вокруг, трещал сучьями, стонал, к приваде не приблизился. На вторую ночь не показался вовсе. То же и на третью. Охотники не знали, что делать. С одной стороны, он не мог оставить добычу, с другой — ни слуху и ни духу. Весной дни длинные, но бегут с необъяснимой скоростью: не успели посадить картошку, подошла пора овощей. А тут ещё и сплав плотов, заготовка дров — в баню некогда сходить. Днём его искали с собаками, ночью сидели на приваде — бесполезно. Медведь ушёл. Пришлось отступить. Как вдруг стряслась ещё одна беда: задрал бычка. А через день, в каком-то километре от деревни, ещё двух ярок. Здесь его видели «в вид». Но охотников не случилось — преспокойненько скрылся в тайге. Вся деревня всколыхнулась. Опять кинулись мужики заряжать патроны, уходили на всю ночь в лес. Но теперь, когда зверь наделал столько жертв, непонятно стало: где его караулить? Вспоминались страшные случаи, когда зверь задирает охотника или ягодника. А лет пять назад напал на палатку геологов и задавил всех до одного...

Зверя охотники так и не нашли, но нашли и пригнали в деревню Майку. Она, конечно же, присохла, и Зыряновы остались без молока.

Медведь между тем являлся в самых неожиданных местах. Пошли ребята в тайгу за черемшой — набросился. Память, правда, никого не помял, но страху нагнал такого, что боязно стало

в лес показаться. Бабы стыдили мужиков. На чём свет стоит пушили Югана Жуза, грозились вызвать из города «настоящих» охотников. Мужики хмурились, дымили самосадам. Юган запил.

И вот как-то после игры в двенадцать палочек маломощный Ельчик брякнул, что может добыть медведя! Такого хохота Аскиз ещё не слышал.

— С...те на него — он перегрелся! — реготал Хобот, тыча в Ваську Ельчика пальцем.

И в самом деле, что дёрнуло так сказать — бог его знает. Ельчика тут же окрестили Охотником. И не просто, а с самым гнусным оттенком. Скоро стали дразнить его траппером, а там уж и вовсе неприлично. Ельчик позеленел от злости.

— Не бери в голову, — утешал его Коля Четолкин, — меня вон как звали, да перестали же. Главное, не обижаться.

— Выбражуля номер пять, разреши по морде дать! — не унимался Хобот и действительно поколачивал.

В голове пустота и странная лёгкость. Спать не охота. При виде мужиков с ружьями, с собаками на сворке становилось весело. Верилось: сегодня возьмём! До рассвета далеко.

От болота поднялись дымные столбы тумана. Птицы проснулись, и каждая свистела, щebetала и пыхтела — кто во что горазд.

Верховодил охотой Юган. В неверном предутреннем свете он вытягивался, странно приседал, трепыхался вширь. Глаза вылезали из орбит, то вдруг становились, как у мышки.

— Он в Волге залёт, — говорил Юган шёпотом, как будто зверь мог подслушать. — Вчерась бабы видали.

Мужики загалдели, как гуси: «Ага! Ага! Видали!» У ног Югана вился пушистый, с хвостом-крендельком Полкан, лучший бельчатник Аскиза. Полкан жалобно скулил, трепетал ноздрями и всё перебирал лапами в предчувствии счастья охоты. Дядя Митя Башкин явился с цепным кобелём, людоедским Мальчиком. И собаки захрипели, оскалились, вздыбились, а через секунду Мальчик, горя красным светом глаз, уже вертелся в кольце зубастых морд, — какая-то сучка, завизжав «ав-ав-ава!», кинулась домой. Собаки с рыком и утробным урчанием впивались в бока и шею Мальчика, но лохматая шерсть забивала им пасть, не давала добраться до трепетного тела. Едва же сахарный клык Мальчика касался чьей лапы — следовал хруст и визг. Охотники бросились растаскивать собак. Кто-то бил Мальчика стволом по голове истерически орал: «Застрелю его!» Дядя Митя поймал пса за ошейник, выхватил из собачьей свалки. Мальчик, приплясывая на задних лапах, ошетиленный, громадный, как медведь, хрипел и рвался в драку.

— Не брал бы ты его, — поморщился Юган.

Надо знать, что он всю войну скрывался в тайге, а дядя Митя вернулся с фронта в орденах и медалях. Юган авторитетом не был. Дядя Митя так и сказал. И даже крепче. Юган затрясся, плюнул, чмокнул своему псу и ушёл домой.

— Ну, што, мужики? — взял руководство охотой Башкин. — Пошли, што ли?

И легкомысленные мужики согласились. Если Митрей победил Гудериана, то кому и верховодить? Вон, какой у него кобель, такой медведя задавит и не засмеётся. Пыхтя самосадам, с шутками и прибаутками двинулись к Волге. По дороге Мальчик ещё пару раз начинал драку, но полного разворота не дали.

Наконец и ручей Волга. Лог узкий, холодный, с глетчером льда. Сняли ружья. Зарядили пулями. Собаки подобрались, забеспокоились на особый, тревожный лад. Вышли к той полянке, где накануне бабы стронули медведя. Спустили собак. Уткнувшись носом в землю, разбежались между кустов. Рыжая сука Джанга заскулила таким звуком, что все собаки дрогнули, оставили свой след, кинулись к ней и остановились, как бы не желая мешать, признавая за нею главенство. Джанга повела верх по ручью, покрутилась в ольховнике, кажется, потеряла след, но, сделав полукруг, уверенно потянула вверх на косогор и вдруг, не сдержав счастья и ужаса, твякнула рыдающим голосом раз! Другой! Бросилась сквозь заросли малины. Собаки кинулись туда же, Мальчик, видя, что все бегут, вообразил в своей дурной башке, что собаки испугались его! Рыкнул и закатился косматым стукотом непобедимой ярости. Настиг, сбил и в ключья изорвал Джульбарса! В какую-то минуту Мальчик разметал всю свору и возвращался к хозяину счастливый, вполне довольный жизнью и собой. Выполнил собачий долг. Потрудился. Он жарко облизывался и жаждал ласки. Башкин с размаху пнул его в морду так, что кобель дважды перевернулся в воздухе.

Тем временем Джанга с плачущим лаем уходила всё дальше в гору, к хребту. Охотники, хватая воздух открытыми ртами, обдирая руки о колючий малинник, карабкались по крутику. Кто падал, скользил по косогору и снова лез. По лаю слышно было, что настигла, остановила зверя! Охотники, собаки рвались сквозь заросли вверх. Вдруг Джанга резко, как бы удивлённо взвизгнула — замолчала. Охотники онемели, ожидая лая, но он не возобновился. Мужики заматерились и опять полезли к хребту, туда, где скрылся медведь, где смолкла собачка.

Башкин хотел убить Мальчика на месте, но тот так растерянно, так преданно заглядывал в глаза, лизал руки... Дядя Митя крикнул и подался домой окольной тропой, подальше от людей.

Такого жуткого позора мужики Аскиза ещё не переживали. Бабы поносили их последними словами и чуть ли ни сами собирались в тайгу на облаву.

И вдруг! Сначала этому не поверили. Слишком уж чудесным, сказочным представлялось избавление. Слишком неправдоподобным явился подвиг.

Но Ельчик с Четолкиным стояли на своём, и ничего не оставалось, как пойти увидеть своими глазами. То есть поначалу никто и слушать не хотел, но стоило согласиться одному, как за ним потянулись и другие, и вот уже весь Аскиз, в очередной раз забросив дела, откочевал в тайгу.

— Ну, ребяташки, если врётё — мало вам не будет! — стращали бабы.

Мужики шли молча, дымили махрой, на Ельчика косились ревниво. Они нутром чуяли, что пацаны не брешут, что именно так и нужно было брать. На повороте в лог из-под ног с глухим выпуклым треском взлетел рябчик, сел на ветку. Даже не взглянули! Чем ближе подходили к месту — тем больше волновался Ельчик. То есть они с Четолкиным своими глазами видели его в западне, но ведь «банька» ветхая, гнилая, а зверюга — что мамонт, подналяжет, развалит — и останешься хлопущей на веки веков. Миновали ельник, ступили в белый трепетный осинник. Подняться на взгорок — там и она. Ставил её дед лет сорок назад, до той ещё войны. Дед тоже здесь. Идёт, спотыкается, глаза горят. И Васька знал, что молодильным яблоком вдохнула в деда силы гордость за него. Три дня назад они с Колей отыскивали дверь, подняли, вставили в пазы, насторожили. Но самое трудное и грязное было — тащить Зорьку на салазках. Её за это время разнесло. Вскипела червём, хвост оголился позвонками. Не смотря на естественную в таком положении вонь, ребятишки для обмана косолапого ещё натёрлись мхом, хвоей — чтоб ни грана постороннего запаха.

— Эва-на!

Все увидели замшелую, с виду даже хрупкую, а на деле несокрушимо прочную бревенчатую «баньку». Народ так и хлынул посмотреть, прильнули к щелям, какое-то время ничего не разбирая, и вдруг изнутри так рыкнуло, что любопытных, как ветром отнесло.

— Е-есть! Е-есть! — тряс головой и чуть не плакал от счастья дед Зырянов. — А? А-а?! — едва не строил хитрых рож мужикам.

— Вот охотники дак охотники! — раздольно, диким голосом пропела Малкина. — Вот дак да-да!

Мужики в смущении тупили глаза.

Медведь, будто чувствуя конец, ревел страшно, как бешенный бык.

Никогда ни один человек не был так вознесён и увенчан такой громкой славой, как Ельчик. За сорок километров вверх и вниз по Енисею при упоминании Аскиза теперь непременно добавляли: «А-а, это то, где парнишка медведя добыл!»

2

В мире нет ничего более нудного, чем перебирать животники. Крючки въелись в снасть, поводки расплелись, черви, как макароны, раскисли — то ли дело их копать! Ельчик и к этому отнёсся как к охоте. Он не копал лопатой землю, а выходил в поле и переворачивал лепёшки. Самые крепкие, живучие черви живут под лепёшками. Но не под каждой их можно найти. Если на сухом шевяке дырки — знай: облюбовали его себе земляные муравьи. К такому и подходить не стоит. Если же лепёшка свежая — и коню понятно: обходи стороной. Если же сухая, прошлогодняя, пышная, как торг из русской печи, — переворачивай и не зевай, хватай бордовых упруго вьющихся червей, суй скорей в жестянку.

Ельчик набрал полную банку, присыпал землёй, пригнул рвано отрезанную крышку и с лёгким сердцем поспешил домой. Среда — в клуб придет передвижка!

Выбрался на древнюю тропу и, звонко шлёпая голыми подошвами, закатился в сторону Аскиза. Перебежал через Топорок по плахе, цепляясь за забор, миновал озеро грязи, дёрнул ремешок щеколды и оказался во дворе.

Дед опять городил забор. Майка сначала научилась брать его через верх, а когда жерди подняли — овладела техникой ломания забора.

— Деда, я накопал!

— Поставь на стайку, чтоб курица не склевала, — проговорил, держа во рту гвозди. — Поешь там. Да руки-то помой, ирод! — прокричал в спину мелькнувшего внука.

Тот, что-то проворчав, вернулся, побрякал хоботком пустого умывальника и убежал к столу. Через пару минут выскочил на крыльцо — в руках кусок хлеба с салом.

— Деда, я в кино! — и кинулся к воротцам.

— Васька! — затрясся дед. — А ну воротись! С животниками поедем!

— С животниками рано, счас поздно темнеет! — как швейная машинка, отчеканил и, не дав деду вставить слово, убежал. Дети, конечно, цветы нашей жизни, а Ельчик крепко смахивал на цветок репейника.

В деревне тихо. Низко над горой — большущее солнце. По дороге в розовом облаке — унылое стадо. За ним — такой же унылый пастух. Когда корова сворачивала с прямого пути, он просыпался, оглушительно стрелял кнутом и на всю деревню орал нечленораздельным матом. Собаки, лёжа у своих ворот, так же уныло смотрели на стадо. Наконец оно прошло, оставив после себя густой запах мочи, шерсти и парного молока.

Васька по грязному переулку выскочил к клубу. Движок тархтел, пуская голубые кольца дыма. У входа кучковалась ребятня.

— Какая картина?

— «Первая перчатка!» — ответили в несколько голосов.

Васька взвизгнул и крутнулся на пятке. После «Чапаева» и «Александра Невского» это был лучший фильм. Но недолго ликовал Елец — общили:

— Плаху кинемеханик прибил!

Васька даже не сразу сообразил: как это прибил? А в кино как ходить? Дело в том, что они забирались под крыльцо, проползали под полом, вылезали на сцену через дыру — за кулисы. И вот плаху самым возмутительным образом приколотили. Билет в кино стоил не бог весть какие деньги, но у большинства не было и вовсе никаких. Вся ребятня ходила «на пробируху». Теперь оставался один способ, самый бездарный: ждать, когда к механику подойдёт девушка покрасивше, — и что есть мочи в зал! Пацаны, как бы между прочим попинывая банки и подбирая бычки, обошли клуб, приблизились к закулискому окну. Намертво забито жостью и досками. Сеанс горел синим пламенем. Ребята приуныли. Народ всё гуще валил из переулков в клуб. Хобот попытался прорваться под прикрытием красавицы Горбуновой, но был схвачен и выброшен пиночьями вон. Механик объявил безбилетникам бой. И когда нетерпение пацанов дошло до градуса кипения, когда уж

выключили свет, затрепал проектор и начался журнал, Рябинин закинул удочку:

— Чё дадите, если проведу?

— Иди ты на-а...

— Пошёл бы я, да очередь твоя.

— Ну, как?

— Как!.. — И открыл до гениальности простой план: залезть на потолок, поднять плаху и спуститься по верёвке вниз! План встретили с восторгом. Отыскали железяку для подъёма досок. Взобрались на чердак. И тут встал вопрос: где же начинается закулисная часть? То-то получится конфуз, если начнёшь спускаться с потолка перед экраном! Они ложились на потолок, припадали ухом, чтоб определить, где висит экран. Рябинин отмерил шестнадцать шагов, подумал, накинул ещё парочку.

— Здесь!

Клуб располагался в бараке. И в другом его конце жила семья Хрущёвых. Говорят, что они провертели в стене дырку и сквозь неё смотрели кино. Это неправда. Иначе Хрущёвы не ушли бы в клуб. Они ушли. Осталась только ветхая, девяносто летняя старуха. Умаявшись за день, прилегла на кровать. Пробуждение её было ужасно! На неё сыпалась извёстка и песок. Старуха оторвалась от подушки, не понимая ничего. В избе столбом стояла пыль, потолок трещал по швам. Думая, что спит, успела спросить: «К худу или к добру?» И тут из дыры в потолке, как из чрева ада, поползли болтающиеся ноги. Старуха обмерла и заревела лихитомом. Ельчик видел, что спускается не в клуб, но поделаться ничего не мог — обратно не выскочишь. Воленс-ноленс — пришлось прыгать на старуху. Та заблуждала в мистическом ужасе. Едва Ельчик соскочил, как на неё обрушился Рябинин. Кто был после, Ельчик не видел: его вынесло вон. Он так перепугался, что, забыв кино, убежал на яр. Стало как-то неуютно, сумрачно в душе. Всё валилось на него, то одно, то другое: Хобот поклялся придушить, теперь ещё Хрущёв. И не то чтоб он боялся, но... Как будто кто грозно покосился в его сторону — и всё в мире присмирело.

Дохнул студёный влажный ветер, вековые тополя шумели смятенно, испуганно, роняли отжившие ветки. И по траве, расчёсывая её на пробор, бил вихрь в том и другом направлении. Ельчик чувствовал себя виноватым во всех земных грехах, тоска сдавила его сердце. Одиноко стоял он на высоком яру с испуганно поджатыми плечами. На Енисее взбухали тяжёлые волны, по гребню вскипали барашки, ветер срывал с них белую пену. Надвигалась ночь. Надо идти, помогать деду ставить снасть. «Первая перчатка» «улыбнулась», но он почти так же радостно побежал домой, как час назад в кино.

Кино началось. Механик поставил большую бобину, вышел покурить. Ельчик уж проскочил было мимо.

— Э-э, пацан! — окликнул «кинщик» резко.

Остановился.

— Это не ты...

Замотал головой и уж готов был поклясться, что ни сном, ни духом, как тот добавил:

— ...медведя поймал?

Сердце Ельчика подпрыгнуло и сладко обмерло.

— Я-а, — сказал самым тихим скромным голосом.

— А чё не в кино?

Ельчик вздохнул, поковырял большим пальцем ноги землю, демонстрируя финансовую несостоятельность.

— А можно? — протянул так нежно, что самому стало противно.

Механик не кивнул, а только остался недвижим, и этого оказалось достаточно, чтобы Ельчик в то же мгновение унёсся в чёрный зал, пролетел меж рядов, вскочил на сцену и растянулся под экраном меж друзей. На экране грохотали боевые рукавицы, начинался бой! «Первая перчатка» ещё с прошлого раза сделала то, что весь Аскиз спал и видел себя боксёром. Пацаны незаметно для себя делали нырки и уклоны, замахивались на крюк, кроше и апперкот. Едва бой кончился — тут же его обсудили. Весь экран тем временем заплыл поцелуем — они сопроводили его сочным сосущим звуком. Кому-то с отрывистым щелчком прилетело пулькой в лоб. А Никита Крутиков уже ехал в Сибирь и всё отказывался от порции чая.

И вдруг, будто кто легонько окликнул... Васька оглянулся — белыми пятнами лица зрителей, уж хотел отвернуться, как замер под прямым, упорным взглядом. Даже мурашки побежали по спине. В темноте, против бьющего лучом конопроектора, невозможно рассмотреть лицо, но Ельчик знал, что там Апраксина, и это переполняло ощущением невесомости. Оглянулся вокруг — все пялились на экран. Юрий Рогов выколачивал из Никиты Крутикова мозги, и Ельчик задержался на картинке, но очень скоро опять «шепнуло в ухо», потянуло обернуться — и сразу же наткнулся на упорный, чуть исподлобья взгляд. Ельчик перевёл дух и облизал пересохшие губы. В него втрескалась графиня Апраксина! Он потряс головой, отвернулся и какое-то время не смотрел ни на экран, ни в Машкины глаза. Это что ж такое? Почему случилось? Он даже хотел встать и уйти, чтобы там, где-нибудь в другом месте, разобраться со всем, что с ним произошло. Но на экране опять железно грохотали перчатки, опять звенели челюсти и атлеты один за другим падали на пол. «Ерунда!» — отмахнулся Ельчик. Досмотрел фильм до конца. И уж когда зал загремел, роняя скамьи, а ребячья лавиной кинулась на выход, он не побежал, как следует, со скамейки на скамью, а пошёл в проходе, как взрослый. Как девчонка! И едва выбрался на улицу, включил пятую скорость — и убежал домой на помощь деду.

Они благополучно поставили животники, а потом ещё посидели в лодке, глядя, как густо засевают звёзды ночь, слушали плеск присмирившего Енисея, и во всё это время Ельчику неотступно светил волшебный взгляд.

3

Обряд докатился от первобытной языческой дикости. Дело случилось на праздник рождения травы, когда по полям и увалам взорвутся первые цветы: туманно-беззащитные на пушистой шейке анемоны — по-нашему пострелы; расцветут оран-

жевыми розами жарки. После бесконечно долгой зимы человек, окунаясь в буйство природы, не мог не спятить на какое-то время. Шалел, как шалели перелётные птицы, как дурели в поисках пары одинокие медведи, как глохли, теряли рассудок на токовищах глухари. И девушки сбивались в озабоченный день табунками, плели венки, делали фонарики, свистки из пустивших сок ивовых прутьев; омывались в холодном, как жидкий кислород, таёжном озере, раздували самовар и, конечно же, гадали. Выбиралась банька по-чёрному. Девушке завязывали глаза, и она должна была найти на ощупь в стене оконце, холодеющее от ужаса, просунуть руку и... осязать. Осязнуть она должна была то, что называется попкой. И если подворачивалась голенькая — к худу, к бедности. Если же не вовсе — ликуй, невеста! Ждёт тебя богатство! Предрассудок, конечно, суеверие. Но обряд такой был, жил в этих местах сотни лет.

Главным очарованием весны была, есть и пребудет во веки веков молодая трава. Сочная, яркая, с металлическим просверком под солнцем. Листва ещё полупрозрачная, с желтизной, помятая такая. И сошедшие с ума от весны девчонки бегали по юной, щекочащей пятки траве, раскинув руки, продирались сквозь кусты, чтобы пальцами, ладонями, грудью испытать прикосновение народившейся листвы, вдохнуть, запомнить горьковато-пряный аромат.

На кургане расстелили скатерть белую. От самовара наносило дымком сосновых шишек. Здесь же — хромовый сапог для разжигания самовара. На скатерти конфеты в подушечку, заварные калачи, бутылка браги, заткнута жёваной газетой. Веселись, душа моя, наслаждайся юностью!

После ледяной купели в озере, после прогулки по тайге и «семи капель» пенного спиртного у бедных девчонок закружилась голова, и, воровато оглянувшись, подались-таки к баньке на яру! Даваясь от хохота, скользнули меж жердей, остановились в смятении.

— Ну, что?

Пищали, повисали друг на дружке.

— Ну, кто начнёт?

Хихикали, поджимали плечи, подталкивали подружек окну.

— Чиво это я?! — упруго вывернулась Эрна.

— Катька — ты!

— Ну дак прямо!

— А! — махнула рукой бедовая Морозова. Подошла к окошку, зажмурилась и по самое плечо засунула руку в баню.

— Ай! — схватила Эрна её за бока. Морозова взвизгнула, отпрянула прочь.

— Ну, что? Что?

Морозова трясла кудряшками и не знала, что сказать.

— Было?

— Нет, кажется. Ничего не помню, девки! — Опять визг и хохот взахлёб.

Морозова тем временем незаметно отошла к яру и через платок, чтоб не обжечься, принялась рвать метёлку за метёлкой ядовито жгучую крапиву. На толсто унавоженном берегу росла необыкновенная крапива-жалица!

— О-ой!.. — донёсся потрясённый, удивлённый голос. — Было! Что-то было!

— Какое? — Все сыпанули к Эрне.

— Голое, — покривилась та, и девчонки опять покатались со смеху.

— Да правда же! — рассердилась Эрна.

Девчонки скоро присмирели, испуганно притихли. Чёрный квадратик окошка теперь представился им жутким. Но прошла минута-другая, и опять загорелось испытать судьбу.

— А ну-ка, Машка! — подзуживала Морозова. — Апраксина, какой тебе жених достанется? Давай! Давай, не трусь! — А сама между тем зачем-то набросила нахлёстку на скобу и зачинила дверь.

Графинечка только головой трясла да приседала от ужаса.

— Не бойся, Машка, это не кусается!

Девчонки схватили пищащую, изо всех сил упирающуюся Машу, потащили к окну.

— Суй руку, Машка, суй! — И вдруг Морозова протолкнула огненно жалящий веник в чрево чёрного окна — и недра бани содрогнулись от нечеловеческого рёва. Девчонки, опрокидывая друг дружку, сыпанули из огорода вон. Дверь заплясала, задёргалась, задымилась от ударов, распахнулась, и Борька Хобот, не касаясь земли, пролетел через огород, скатился с высокого яра, пропрыгал по берегу, поскользнулся на льдинке и бомбой ухнул в реку.

Он сидел в ледяном Енисее, ни на секунду не переставая материться. Губы посинели, глаза вылезли из гнёзд, морда в сажу — вылитый нечистый.

4

Все знают, что волосец впивается в ногу и потом по сосудам пробирается к сердцу. Знают, что волосец вырастает из конского хвоста. Если вырвать такой волос, то на корешке всякий увидит головку. Но редко кто догадывается, что если этот волос положить в банку с водой и поставить на солнце, то через двенадцать дней он оживёт! Обращаться с ним нужно осторожно — так и норовит впитаться в палец!

Взял с поддонника банку — волос шевельнулся! Поплыл! Елец едва не выронил её. Прикрыл банку фанеркой, выскочил на улицу. Первым попался Юрка Гитлер. Показал ему волосца. Молодой граф Апраксин в изумлении открыл рот и пустил тягучую слюну.

— Эй, пац-цаны! — прозвенел Васька в сторону школьного двора. — У меня волосец вывелся!

Те бросили игру и во все лопатки кинулись к нему. То есть они видели волосцов и прежде на тёплом мелководье заливного луга. Но вот так, выведенного в банке, — впервые! Ельчик открыл банку. Волосец лежал неподвижно.

— Затаился, — ядовито прошипел Елец.

— Волосе-ец! — с уничтожающей издёвкой прогундосил Хобот. Ельчик резко кинул банку к его морде — Хобот отпрянул, как от гадюки. Пацаны захохотали. Видно было, как, увеличенный кризисной банки, волосец поднялся со дна и, извиваясь, проплыл, ища выхода, в стенке. Пацаны завизжали диким визгом счастья.

— Волосец! У Ельца волосец!

— Ага! Ага — волосец, — корчил рожи Хобот и вдрут брякнул: Ты его поймал!

Пацаны на секунду присмирели, глядя на Ельчика: неужели правда обманул?

— Ей-богу, высидел! — перекрестился тот — и у пацанов отлегло. Значит, можно выводить самому! И тут встал вопрос: что делать с опасным зверем? Хобот следил за его движением, собрав морщинки напряжения на узеньком лбу.

— Давай меняться, — сощурился Елец, — я тебе волосца, а ты мне пистолет. — У Борьки был старинный пистолет — зависть пацанов Аскиза.

— А ну, покажь! — клонул-таки Хобот.

— Только в моих руках!

Борька долго следил за волосцом, но тот, сделав полукруг, затаился.

— Он дохлый!

— Дурак, сам ты дохлый! — Пощёлкал по доньшкуну, и волосец в туманно-радужной оболочке воды стронулся, поплыл, норовя выскочить наружу. Пацанва опять завизжала.

— Давай! — сипло выдохнул Хобот, и толпа покатила в переулок. Борька шагал впереди победителем, гордый сознанием, что обдурил Ельца. Вот и тесовые ворота, за ними монотонно бухающий лай сошедшего с ума на почве злобы кобеля.

— Обождите! — Хобот юркнул в воротца.

Ельчик незаметно поболтал воду, чтобы придать зверю бодрости. Наконец Хобот вернулся, зыркнул по сторонам, выгасил из-под рубахи пистолет. Золотая насечка сверкнула под солнцем, и Борька засомневался было, но хитрый Ельчик, состроил кислую мину и потребовал к пистолету чего-нибудь в придачу.

— Здоговорились: за пистолет! — красно надулся Хобот. Ельчик замаялся и как бы через сильную неохоту протянул банку, — каждый цепко ухватился за вождельный предмет, и по счёту «раз, два, три!» — мена состоялась.

— Казённая печать: назад не ворочать! — скрепил обмен Хобот.

Борька убежал со своим волосцом домой, а Ельчик перебросил пистолет из руки в руку, несколько раз пальнул: кх! кх! И великодушно разрешил поддержать остальным. Пацаны жадно обхватывали рукоятку, ствол, пытались оттянуть курок, нажимали на гашетку — им до судорог важно было не только рассмотреть, а и потрогать. Фуфаев понюхал и лизнул дуло. Тут же начали играть в дуэль. Все попеременно побывали Пушкиным и Лермонтовым. На их дуэли получалось, что сначала Лермонтов убивал Пушкина, а потом наоборот. За Ельчиком ходила толпа. Колька Башкин надоедливо канючил помянуться: пистолет — на велик. Наконец Ельчик согласился. Все знали, что велосипед без одной педали, кататься на нём можно только с горы, и Ельчик тут же сменял его на килограмм жамок. Обливные эти жамки завезли в Аскиз, кажется, ещё при Колчаке, и к описываемому времени они приобрели каменную твердь. Грызть их — всё равно, что грызть кусок гранита. Редкий аскизец не сломал об жамки хоть один молочный зуб. И все свято верили, что жамка и обязана быть такой.

Сначала на лавке Хоботовых засучил ногами и взвыл под ремнём Борька. Потом вспыхнула перепалка между Хоботихой и тётей Клавой Башкиной. Ругались сибирские бабы до посинения губ, до пенных припадков. В ход шли самые необструганные, первобытные слова, перелистывались самые тёмные страницы биографий. Наконец имущество вернулось к прежним владельцам.

Кроме жамок, разумеется. Да Елец отказался принять обратно волосца под тем предлогом, что он сдох от неверного ухода. Обманутый Борька клятвенно обещал утопить Ельца в Енисее.

Впрочем, уже на второй день об этом в Аскизе позабыли. Пришло ужасное известие: из моря Лаптевых прорвался... кит! Уже миновал Красноярск и подвигается к Аскизу, грозя застрять в порогах, заткнуть собой реку. Нависла угроза катастрофы. Но миновал день-другой. «Пропагандист» всё так же ходил в город и обратно. Позабылся и кит.

5

Жизнь человеческая — юдоль, и самое большое наказание посылаётся ещё в розовом детстве в виде бревенчатой школы. Особенно невыносимой и горькой эта чаша становится весной. Когда пригреет солнышко — коровы, гуси, куры выскочат из вонючей стайки па рыжие луга. Когда в груди зудит нестерпимое желание скинуть сапожишки, пробежаться босиком по мягкой, как пакля, траве: мяч отлетает от земли со звоном в небо, зовёт играть в лапту. И невыносимо сидеть за партой, зубрить: «жи-ши, ча-ща», — бросить бы всё, убежать в чащу, пострелять из поджиги, век не вспоминать грамматику. Ну, она, может, когда и пригодится, но немецкий-то! За каким лядом пацану немецкий? «Эр гейт ин ди шуле» — в школу — пошёл! Это и по-русски сказать гадко. Педагогам мало: им надо довести ученика до последней грани унижения — «бляйбен!» Это значит «оставаться». «Геен ин ди шуле» — или будет тебе большой бляйбен на второй год. И ведь доходит человек до такого изуверства, что назначит диктант!

У Ельчика никогда не было своего листка. И получилось же! Кольку Башкина, наверно, солнцем перегрело — дал пописать в своей тетради. Разгладил её Ельчик, задумался. Учительница что-то лопочет про «гартен» — а что это такое, фиг его знает. Башкин пыхтит, потычет в чернильницу с дохлыми мухами и скрипит, выводит немецкие буквы: «Вир геен ин дер гартен». Обмакнул перо, понёс над партой, и как его затащило на Васькину половину — капнул! Ельчик скрежетнул о дно непроливашки, брызнул в Колькину тетрадь. Тот мгновенно ответил — и даже закрыл его тетрадь, чтобы каждая клякса отпечаталась дважды! И тут Васька начал потихоньку дрожать, надуваться лицом, покраснел до сизого отлива: обе тетради Кольки Башкина.

— Алле руихь биттэ, — попросила учительша.

Вдрут что-то до боли знакомое мелькнуло Кольке в Васькиной тетрадке — обмер, осознав, какой понёс урон. Едва не продырявив чернильницу, сминая стальное перо, зачерпнул чернил, брызнул Ельчику в лицо, но и у того уже перо готове — Коля в одно мгновение стал пёстрым,

как яичко кулика. При этом моргнуть он запоздал, и глаза воссияли посиневшими белками. Васька икнул и полез под парту. Коля вскочил, вращая глазницами.

— О боже! — ужаснулась Морозова.

— Алле руихь!

Коля сел. Васька вылез из-под парты как ни в чём ни бывало! Только красен до поту да потихоньку трясётся.

— Ракалия! — Дед Башкина владел в Тверской губернии пахотными землями, и у внука иногда прорывалось нестандартное словцо.

Учительница между тем издавала какие-то звуки, класс старался записать их латиницей.

— Гут, гут, — лицемерил педагог.

— Как же «же» по-немецки? — сморщила лобик Ханжина, не в силах отвести взгляда от синих, в пол-лица глаз землевладельца. Он странно затаился. Ельчик понял, что после уроков предстоит «пойти за школу». И принялся громко вздыхать, тереть лоб, щёки. Когда, наконец, внук помещика взглянул, Ельчик злобно прошипел:

— Здорово ты меня!

— А ты?! — опешил Коля.

— Ты-то больше!

И всё! Колька облегчённо вздохнул и расплылся в улыбке. Оба были счастливы. Колька моргал и тёр глаза, Васька слюнявил промокашку, скоблито себе пёстрые щёки.

6

По деревне Аскиз распространился аромат свежих опилок. Совхоз поставил пилораму, и теперь она целыми днями распускала хлысты на широкие плахи. Под горкой выросли курганы опилок, и пацаны выдумали в них кувыряться, рыть окопы. Ельчик даже ночевал. Рабочие выключили раму, принялись складывать плахи, и Ельчик юркнул в галерею. Там холодина, темно, вкривь и вкось идут ремни, замерли зубастые пилы. Пацанов потому и гоняли, чтоб не подлезли под пилу. Ельчик просеивал опилки у транспортёра, выбирая канифоль. Слышно было, как наверху засмеялись. Прислушался — разговор о курганах. Он знал, что это пустое. Многие пытались их копать, да ничего, кроме черепков и угля, не нашли. И вдруг, будто током дёрнуло — «скит». Много лет назад охотники как будто бы видели скит, вроде даже встречали монахов в тайге...

— Там должны быть иконы, — сказал рамщик. — А это хрен да хрен какого века. Одна потянет тыщ на сто.

— Да иди ты! — не поверил Чапа.

— На полсотни без булды!

— Ёп-пэ-рэ-сэ-тэ! — присвистнул Чапа. — Это ж две «Победы»!

Ельчик закусил язык и сел на пол. У него дыхание перехватило: две «Победы»! Кажется, и за мысли несут наказание, — Ельчик вдруг оказался в аду! Всё вокруг загрохотало и завизжало! Пилы, растворяясь движением, с пением и хрустом врезались в плоть кедрового бревна. Сверху сыпануло щепой, снизу вздымалось облако пыли, приводные ремни норовили захлестнуть, утащить в зубчатые шестерни...

7

С первым теплом ребятишки уходили в лес за черемшой. Соберутся ватажкой — и айда с ночевой. Идут, рассказывают анекдоты, говорят непристойности. На поэтический манер, но такие, что в обществе повторить никак нельзя: про бабу с банкой, которые бегут друг за дружкой, или уж вовсе о том, что кто-то во мху стоит по самые колени. И при этом толкотня, бросают грязь с припевом: «На кого бог пошлёт!» И стрельба из «чмокалок». Весело. Здесь же игра: за моргушки — по макушке. А как тут не моргнёшь, когда такой лоб, как Хобот, тычет тебе в глаза рогаткой пальцы. Моргнул — получиай по затылку. А оплеуха у него — искры сыплются из глаз!

За плечами у всех по мешку: с лямками и парой картошек в углах для крепости узла. Башкин рассказал анекдот: Екатерина Вторая, по случаю поездки на паровом катере Кулибина, попросила Пушкина написать стишок — и великий поэт без запинок выпалил:

Екатерина на катере,

Катись к такой-то матери!

А Хобот всё крадёт за Ельчиком, выжидает момент для подножки. Зацепил — тот клонул носом, устоял, засмеялся, дальше пошли. Много накопело у Борьки на Ельчика, всё ищет, чем бы покрепче насолить. Выломил «бумеранг». Пару раз бросил вдоль дороги, а на третий — опять же в Ельчика. Подошли к Топорку. Через речку — колодина. Вода внизу туманным омутом, на мелководье скачет, висит с камня трепетным прозрачным козырьком, бурлит, пенится. Втемяшилось Ельца испугать. А тот ступил на валежину да и прочёл: «Господи Боже, помилуй мя». Над самой глубиной Хобот подскочил и уж руку занёс — подопревшая кора, мыльно скользнула под ногой, летит ему навстречу омут из чёрной реки — так и сожгла его ледяная вода! Выскочил на камешник, глаза от страха белые, трясётся, как осиновый лист. Ребятишки смотрят, молчат. Хобот проморгался, отплевался.

— Ну, Ельчик-солопет, — отстучал зубами дробь, — сча вылезу и убью.

— Замучишься пыль глотать.

Борька шёл по гальке — за ним тёмный след.

— Б... буду — убью.

— Хватит тебе, — заступился было Башка.

— Тебя не спрашивают — ты не всплясывай! — а сам всё шарит, выбирает камень покруглей.

Ельчик, неловко смеясь, отступил, повернулся, пошагал по дороге: от дерьма подальше — воздух чище. Но едва остались друзья за поворотом, как тайга изменилась. Такая весёлая, безопасная — стала сумрачной. Ельчик запел: «Взвейтесь кострами, синие ночи... — Голос пискнул и пресёкся, так что стало ещё страшней, но он поддал звук, и постепенно энергия песни взяла своё, и уже шагал, как солдат, отмахивал рукой. — Мы пионеры, дети рабочих!» И теперь уже тайга присмирела, притихла: кто это там такой сильный идёт, никого не боится? Чёрными серпами ласточки высоко в небе чертят облака и вдруг вспорют воздух у самого уха. Впереди на дороге

ласки затеяли играть: кувыркаются, прыгают — всем весело весной, все кучкой. И опять чёрной волной накатила тоска. То есть Васька привык болтаться по тайге в одиночку, но то по необходимости; совсем другое дело — знать, что вон там, за поворотом, друзья, а подойти к ним не могли. Изгой. Ельчик вздохнул. Вот бы настоящий автомат найти! За кем бы тогда побежали пацаны? Или ящик гранат. Или — самолёт! Вот бы да! Завёл бы, подождал их. «Эй! Кого прокатить?!» Забрались бы в фюзеляж, моторы бы взревели — и п-полетели! А Борька внизу по лужам бежит, машет руками — и всё меньше, меньше. А пацаны хохочут, плюют на него с высоты. «Да нет», — качнул головой. Даже и теперь, на вершине могущества и славы, он всё-таки не желал врагу такого унижения. Пусть покатается и Хобот. И вдруг пришла мысль напасть. Спрятаться в кустах, зареветь медведем — все перетрухают. А потом ка-ак выскочить: «Ля-ля-ля, а это я!» Остановился. Пацанов не слышно. Что ж так долго? Раз ступил с дороги на обочину, другой. Ноги в мох уходят, как в перину. Звучно зацарапав коготками, взлетела белка на кедрушку, выглянула с одной, с другой стороны, мелькнула хвостом. И опять тишина. Да где ж они? Не могли же вернуться домой. Присел на сырой мягкий мох: в двух шагах пройдёшь — не заметишь. И как только спрячешься, тут-то и начинает жить тайга: на колено взобрался рыжий муравей. Машет кулаками, как Никита Крутиков. Замрёшь, и посылаются тонкие далёкие звуки, и даже как будто уши немножко шевелятся навстречу шелесту и шороху. «А это что такое?» — насторожился Ельчик. И увидел Югана. Бодро, широким шагом возвращался из тайги по дороге в Аскиз. После дальней дороги не только не устал, а даже подпрыгивал, как козлик. За плечами мешок, но не с черемшой, а... навроде с кирпичами. Но — что больше всего удивило, — заслышав ребят, пригнулся и юркнул с дороги в кусты. «Марала убил!» — догадался Елец.

Показались пацаны. Шли молча. Слышно, как жулькают сапоги Хобота. Да и штаны с каждым шагом: фру-фру. Когда проходили мимо, Башкин сказал: «У меня дома ещё полметра осталось». Ребятишки засмеялись. Ельчик знал этот анекдот и уж шевельнулся, чтобы вылезть, но вспомнил про Югана, затаился. Ребятишки скрылись — и Жуз вернулся на дорогу. Какое-то время стоял с открытым ртом, слушал, и Ельчик не дышал, чтоб не выдать себя. Юган, устраиваясь поудобней, подбросил мешок на спине — громыхнуло что-то деревянное. Ещё поозирался, скаля крупные жёлтые зубы, и той же лёгкой бесшумной походкой продолжил свой путь.

Скоро Ельчик догнал пацанов, но до самого Девичьего плёлся метрах в двадцати, потом всё ближе, ближе.

— У кого пятки горят?! — заревел Борька и принялся орошать дорогу, стараясь попасть Ельчику на ноги. И весь остаток пути принуждён он был избегать нападков от мучителя, а о встрече с Юганом как-то совсем позабыл.

8

Когда же на следующий день вернулись домой, их ожидало ужасное известие — убили Югана.

Ребятишки сразу побежали смотреть то место, где его нашли, где лежал до прихода милиции. Свежесрубленный лапник не успел привянуть, пожелтеть, и оттого, что прикрывал его, сами эти ветки казались теперь страшными. Такого события Аскиз ещё не знал. Юган никому ничего плохого не делал. Чувствовал вину перед деревней и вёл себя тише воды ниже травы. Кому надо было его убивать?

Ельчик обошёл роковое место, невольно шаря глазами в поисках улики, — ничего особенного не попало. Трава истоптана. Нашли его ещё накануне, то есть в тот день, когда Ельчик встретил Югана на дороге. Значит, убийца уже тогда искал его, и Юган знал и боялся. Закололи его в спину. И вот убийца ходит по Аскизу, ухмыляется в кулак, может, готовится резать кого-нибудь ещё.

В избушке Жузов — плач. Во дворе пугающе высокий, свежевоструганный крест. И крышка гроба. Юган оставил вдову — тётю Нюсю и троих ребятишек. У них и так-то жизнь была не сахар, а теперь и вовсе... Бабы плакали, жалели сирот.

Подозревать было некого. Но всё-таки «думали». На дядю Митю Башкина! Мужики, побывавшие на фронте, вспыхивали, как спичка, легко хватались за нож и топор. А дядя Митя воевал в разведке, снимал часовых. Тётя Нюся на вопрос: «Были ли враги у мужа?» — ответила: «Да нет, никаких врагов у него не было. Вот разве только Митька Башкин». Запричитали и на дворе Башкиных.

9

Енисей почернел, взялся туманом. На противоположной стороне шумела тайга, особенно громко бормотал пережат. Уж если что и умел Елец, так это удить рыбу. У пацанов ничего — он же тянет одну за другой. Волшебство! Но всё гораздо проще. Как музыканты учат отпрысков играть гаммы, петь сольфеджио с пелёнок, так и дед Зырянов научил: где, в какое время, перед дождём или после, на полную луну или на ущерб, на что, на какой даже глубине кто клюёт. В иные дни Ельчик накалывал на крючок комок глины, плевал на него, мочился в Енисей: «На с... рыба всяка!» — закидывал — и выдёргивал трепещущего окуня в ладонь величиной.

Над ухом уже ныли комары, жгли шею и плечи; плохо стало видно поплавок. Ельчик выжидал, когда Гитлер хоть на секунду отойдёт, оставит свою удочку, но тот мёртвой хваткой вцепился в гнущее, из старой тынины удилище и на просьбу сходить посмотреть, как разводят костёр, только дёргал плечом.

— Не клюёт?

Граф Юрка вытащил из чёрной воды крючок, поймал, поправил червяка, поплевал и забросил опять. Ельчик хлопнул себя по щеке, яростно поскрёб загорбок.

— Хочешь, научу?

— А?

— Как ловить! — просвистел яростным шёпотом. — Беги на шивер и топни!

— Ну да!

— Спорим!

— Кто спорит, тот г... не стоит.

— А кто молчит, тот по ушей в г... торчит.

Какое-то время Гитлер светил из сумерек недоверчивым взглядом.

— Закон?

— Только не сильно, а то акула клюнет.

Гитлер вскочил, присел, разминая затёкшие ноги, и как ветер унёсся на шивер. Ельчик снял с кукана сорожку, скоренько насадил на Юркин крючок. Слышно было, как тот дважды топнул о скалистый шивер и заскрежетал обратно. Подбежал, выхватил из речки удочку.

— А-а-а! — заорал, как под ножом.

— Клынуло? — осведомился Елец.

— А-а! Во... А-а! — далеко по Енисею разнёсся вопль Апраксина. Бросил рыбу в банку, насторожил удочку и опять часто-часто заскрежетал по гальке к шиверу.

Ельчик насадил сразу двух пескарей. Юрка вернулся — и опять над рекой взвошёл его вопль. На третий раз не пожалел, приготовил стерлядку-веретёшку. Он один на весь Аскиз умел ловить её на удочку.

— Ты спляши там — рыба любит.

— Сам знаю! — Юрка убежал на шивер, и слышно было, как пыхтел и выкаблучивал в меру своих невеликих хореографических сил. Когда вернулся, потянул стерлядь — Васька хотел подсобить.

— Я са-ам! — заверещал злым голосом. Когда же наконец выудил, то на этот раз не закричал, а наоборот, что-то сообразил, быстренько смотал удочку, нанизал рыбу на таловый прут и убежал домой.

Такого предательства Васька не ожидал.

Над костром на рогулке парил котелок. Ребятишки курили сухой таловый корень, чистили картошку, лук, рыбу. Елец тоже закурил, с удовольствием потягивая обжигающе-кисленький дымок. Он смотрел в яркое лохматое пламя, на кипящую влагу на сучке, и ему казалось, что он уже вполне взрослый, способный на самостоятельную жизнь человек. И хорошо было бы вот так вот прожить компанией безо всяких школ и учителей. Хотелось потянуться, разлечься на песке, но песок уже остыл. Котелок пустил первую тоненькую трель, испуганно смолк, как будто набираясь сил, и запищал опять. Рябинин, закинув ногу за ногу, дыма «сигарой», рассказывал анекдот.

— Поехал Пушкин с Лермонтовым на лодке на охоту. — глаза его искрились. — С ними Наталья Гончарова и Екатерина Вторая. Лермонтову захотелось пукнуть. Он говорит: «Пушкин, долбаните-ка из ружья, а я тем временем под шумок...» Пушкин прицелился: б-ба-бах! Лермонтов не растерялся. И так раз, другой — всё хорошо. Пушкину тоже приспичило. «Давай, говорит, Лермонтов, теперь ты!» Лермонтов прицелился в лебедя, на спуск давнул — осечка. А Пушкин — б-ба-бах! Екатерина Вторая говорит: «Фу, какой невежа!»

То, что ответил Александр Сергеевич, — решительно никакая бумага не вытерпит.

Ребятишки засмеялись.

Как это всегда бывает, костёр обступила особенно густая, непроглядная тьма, и все невольно жались к огню. Котелок булькал и распространял сводящий с ума аромат ухи из только что пойман-

ной рыбы. Коля Четолкин, по-взрослому хмурясь, резал хлеб.

— А соль?

Пацанва вздрогнула и растерянно забегала глазами. Всегда так: и рыба, и хлеб, и картошка, а соль забывается. Коля скромно улынулся, достал из кармана мешочек. Ребятишки по-волчьи облизнулись и ещё ближе посунулись к костру. Коля засыпал соль, бросил в уху уголёк, помешал ложкой, попробовал — все смотрели только на него. Четолкин кивнул. И наступил блаженный миг, когда снимается котелок, ставится на песок и его окружает алчущая братия. Обжигаясь и поэтому, крупно кусая хлеб, ребятишки черпали отдающую рекой и луком уху, скрипели песком на зубах, толкались, шутили. По мере убывания ухи ложки стибали, чтоб сподручней доставать со дна. Но вот уха съедена, ложки «вымыты» сухим песком. Опять выпала минутка тишины — и невольно вспомнился Юган. Об этом давно бы говорили, но здесь сидел Коля Башкин — при нём неудобно.

— Чё про отца-то слышать?

Колька поник головой, ничего не ответил. Так получилось, что все улики падали на него.

— Это не он, — сказала Колька, и ребятишки сочувственно покивали, но и с сознанием того, что больше некому. Им как будто хотелось, чтобы Колька покался, сознался в преступлении отца.

— Да нет, дядя Митя в спину бы не ударил, — заступился Рябинин, но прозвучало это не твёрдо.

— Не-е, не мог. Дядя Митя не мог! — вразнобой поддержали другие.

Коля ещё ниже опустил голову, и щека сверкнула слезой. В костре что-то взорвалось и тоненько запищало.

— А где он, как вы думаете? — и все поняли, о ком это.

— Он сорок дней будет тут шататься, прощаться с землёй.

— А нас видит?

— А то нет!

— Вот бы спросить: кто его?..

— Спроси.

Ребята помолчали, кто-то с опаской оглянулся.

— А говорят, он огненную голову видел.

Эту историю знали все. Юган ночевал в тайге. Проснулся ночью — перед ним огненная голова. И так пла-авает...

— Надо было её ударить наотмашь — она бы золотом рассыпалась! — прокричал дурным голосом Хобот.

Ребята вздрогнули. Рябинин плюнул.

— А может, она приходила к нему рассказать?

Внизу басовито проревел пароход. Раз, ещё и ещё!

— «Человек за бортом!» — насторожился Рябинин.

Все опять тревожно помолчали, глядя в темноту.

— Дура-ак! «Человек за бортом» — пять коротких! — Немножко поспорили и опять замолчали. Обычно в такие вечера шёл разговор о ведьмах, оборотнях, которыми в каждой сибирской деревне

хоть пруд пруди, но случай с Юганом перевешивал всё.

Из собравшихся здесь, у озера его видел только Четолкин.

— Я с маманей картошку сажал. Смотрю: бабы куда-то ламанулись. Я говорю: что-то случилось. А она: «Сча как звездану лопатой меж глаз — узнаешь!» А там уже кричат: «Убили! Убили!» Я за ними к озеру. Прибегаем, гляжу — а он лежит. И лицо прямо бледное-бледное. Вот, как огонь. Или — вон, как полено, — показал свежий скол полешка. — Ага, вот прямо такое...

Снизу с победным громом громкоговорителя приближался пароход. «И-эх, встречай, покрепче обнима-ай, чарочку хмельную полнее наливай!» — ликовала «Мария Ульянова».

— Живут же люди! — позавидовал Михез. И все согласно промолчали. Маленькая радость их братства показалась вдруг такой бедненькой, почти постыдной.

— Погнали! — засобирался Четолкин. — А то мать задаст.

Все зашевелились, собирали нехитрые вещички, похватали пылающие головни — золотое пламя, сея искры, полетело и, зашипев, бесследно кануло в чёрной реке. Запахло горьким дымом, через минуту берег погрузился во тьму. Не было видно ни друг друга, ни дороги. Поэтому говорили особенно громко. И уж когда поднимались по крутизне сыпучего яра, Ельчик толкнул Четолкина в плечо:

— Слышь, Кося, а мешок куда девали?

— Какой?

Ельчик объяснил.

— Мешок? — переспросил Четолкин. — Никакого мешка не было. А чё?

— Д-да... — поспешил замяться Ельчик, — так.

— Нет, а чё?

И Ельчик как-то против воли рассказал о последней встрече с Юганом. Ребятишки обступили, слушали, затаив дыхание. Уже прошёл пароход со своим громом и музыкой, а они всё слушали, как будто сами видели высокую сутулую фигуру лесника с мешком за плечами.

— И когда он подбросил мешок, — возбуждаясь воспоминанием, вскрикнул Елец, — был такой звук, — потряс в воздухе рукой, подзывая нужное слово, — как будто колодкой по колодке!

Большинству ребятишек отцы сами тачали сапоги, и поэтому все хорошо знали деревянный стук колодок. Но откуда взяться колодкам в мешке у Жуза? И, главное, куда потом делись?

10

Собаки нервно прохаживались, натягивая поводок, тревожно скулили. Уж сколько лет ребятишки Аскиза травили собак. Маленькие шавочки заливались лаем, но в бой вступать не спешили. Полкан, взьерошив загривок, кинулся на одну такую, та ловким перекатом опрокинулась на спину, и весь вид её говорил: «Ты чего, Полкаша, милый, я ж пошутила!» — а хвост между ног у нежно-лысого живота дрожал вполне беззащитно. Собаки, как и люди, лежачих не бьют. Да и сравить-то их не так-то просто. Даже если хозяева орали: «Сю, Борзя, Сю!» — за этим не обя-

зательно следовал бросок, хрип и костяной звук клыков. Всё-таки хозяева малолетние, да и у собак свои отношения: антипатия и что-то похожее на дружбу. Тех же, что сцепятся, видно сразу. То есть они даже как бы и внимания друг на друга не обращали, могли приветливо вильнуть хвостом знакомцу, но по особенному — в горстку — следу, по тому, как вдруг как бы подрастут на упругих лапах, по жёстко ошетиенному загривку ясно, что готовы к драке в любую секунду. У них свой ритуал: сделают кружок, рыча и скалясь, косятся, выворачивают белки, стоят, захлёбываясь рыком, и, если злобы не достанет, могут потерять друг к другу интерес. Опадёт шерсть на загривке — и побежала собака, повиливая хвостом. И никакого унижения в этом нет, просто не нашли нужным сцепиться сейчас, а выпадет чёрная минутка — тогда другое дело, тогда бой до ключев шерсти и кровавой пены.

Ельчик привёл Марсика. Звезда Марсика закатилась давно, он стал неопрятно клочковат, шёл от него старческий запах, с левой стороны не хватало клыков. Но когда-то был лучшим бойцом Аскиза! И собаки помнили это. Даже звероватый Полкан только хрипел да выкапывал свои сахаристо-белые клыки, но кинуться на Марсика не посмел ни разу.

Схватки устраивались на высоком яру, и, бывало, собаки, сцепившись, скатывались в Енисей, продолжали лютою грызною в реке, а уж быстрое течение размывало, растаскивало их. Марсик, не обращая внимания ни на кого, выбежал на яр и, будто рассердившись на кого-то на той стороне, несколько раз пролаял, скоро успокоился и принялся нюхать — кто-то набродил здесь по берегу. Молодым, быстро набравшим рост кобелькам, тоже не терпелось попробовать силы. И два таких молодца решили заработать имя на драке со стариком. Они задорно, боком, подскочили к Марсику, залаяли напористо, вызывая на бой. Марсик оскорбительно не замечая их, тропил полёвку. Забирался носом в норку, шумно фыркал, скрёб лапами землю и опять рывками зарывался по самые уши, нетерпеливо всхрапывал — где-то рядом трепетала, верещала от ужаса теплокровная добыча. Молодые кобели, не встречая отпора, всё больше смелели. Другие собаки оставили свои разборки и внимательно следили за назревающей дракой. Многим не нравилось поведение Марсика. Он не должен был позволять так дерзко твякать на себя этим зелёным ублюдкам. Полкан, раздувая щёки пузырьём, два раза взлаял на своего бессменного соперника. Марсик вылез мордой из норы, отряхнулся, добродушно оглянулся на нахалов. «Давай, давай!» — как будто кричал молодой кобель. — Принимай бой, если ты считаешь себя настоящей собакой!» Марсик, не находя для себя ничего интересного, опять занялся мышью — всхрапывал, лез в нору. И тут кобель сделал ошибку — подскокил на какое-то неприлично близкое по собачьим меркам расстояние, — и Марсик в одно мгновение преобразился в того непобедимого красавца, которого ещё помнили старые собаки. Хвост закрутился в тугое кольцо, шея вздулась, выгнулась дугой, как на крыльях подлетел к забияке и не укусил, а

с налёту коротко ткнул грудью — кобелёк кубарем скатился по откосу вниз, вскочил, глуповато тьякнул, мол, ты чего это, Марсик? — я же ведь ничего. Старые собаки улыbnулись и как будто облегчённо вздохнули.

Это была лучшая минута в жизни Ельчика. Марсик своим поступком научил его уважать силу, споровку, показал ему, что жизнь полна не только суеты и горя, а ещё и небывалой радости, которая, как молния, прорезает сумерки буден, освещает смыслом жизнь на многие годы вперёд.

Пацаны не могли гладить чужую собаку, и поэтому все лавры блестящей победы достались Ельцу. А безразличный к славе Марсик вдруг страшно сконфузил хозяина — вспылал любовью к молоденькой голенастой сучке. Та рычала на него, не кусала, а как-то на змеиный манер била резцами в плечо. Марсик униженно хихикал да всё пытался понюхать у неё под хвостом... Такова доля героя.

Настоящего боя в этот день так и не случилось: основной соперник Полкана — Динго — блистал отсутствием. «Приручённого медведя» Мальчика благоразумно не выставили. Если он появлялся на улице, то, как магнит опилки, собирал на себя всех собак Аскиза, с ним дрались скопом, всей стаей.

Ребятишки занялись новым делом: пошли пускать палы. За кроткое влажное лето траву выгоняло выше человеческого роста. И весной, с наступлением настоящего тепла, она превращалась в порох. Пацаны поджигали — и рыжее, кипящее пламя охватывало всю долину косматой волной, катилось, погоняемое ветром, оставляя позади чёрную землю. Считалось, что это очень полезно для нового урожая.

Изображая собою татарскую конницу, ребятишки скакали на прутах, размахивали деревянными саблями, рубили сухое будыльё. И вдруг Ельчик увидел Апраксину. И завизжал так, что в войске Чингисхана за один такой клич получил бы похлёбку из человеческих пальцев и чин тёмника. Галопом пронёсся он мимо. Графиня даже не взглянула, как будто не заметила, — и это так и должно было быть! Ельчик взлетел на гибком зелёном скакуне на курган, остановился и поглядел из-под руки окрест. Его разворачивало к девочке в синем платье, но он знал, что не сделает этого ни за что на свете: каменные идолы имеют глаза, а курганы — уши. Тайна есть тайна, и он унесёт её с собой в могилу.

— Аллюра! За мной! — прозвенел закладывающим уши голосом и сломя голову покатился с кургана вслед за уползающей с треском и свистом огненной волной. На чёрной сожжённой траве под телеграфными проводами попадались опалённые тушки птичек. Их ребятишки бережно собирали, хоронили и ставили кресты.

Обратно Елец пошёл под яром. Льдины обтаяли сверху и снизу, и, казалось, висели в воздухе сантиметров на тридцать над камешником. Ельчик собирал красивую, с узором, гальку, совал в карман. Между валунами попался чёрный кружок. Потёр его, прочёл: «Да вознесёт вас Господь в своё время». Медаль.

— Чё ищешь? — услышал над собой.

Поднял голову — Пашка-рамщик.

— Это ты огонь пустил? — спросил, оглянувшись туда и сюда, спустился под яр. — Рыбу, что ли, колешь? — Он подходил и смотрел пустыми глазами. И как будто коробило его. Он вроде как зевал.

Ельчику стало не по себе от его странных потягиваний. Пашка подошёл, сел на валун, уставился на скалы той стороны.

— Говоришь, по черемшу ходил? — Вроде и не жарко, а Пашка весь блестел от пота.

— Вы захворали, — сказал ему Елец, а сам с камушка на камушек — и подальше от него.

— Погоди. Ты, пацан, — как будто зацепить хотел крючковатым пальцем. — Да ты не с...! — Но сказал это таким голосом, что Ельчика морозцем продрало по спине. — Ты чё? — и хочет казаться добрым, а самого всего корёжит.

— Чё вы? — красно вывернул Васька нижнюю губу.

— А чё ты с...шь? Иди, — похлопал ладонью по камню. — Иди, а то хуже будет.

И тут Ельчик заметил на яру второго, пригибаясь, длинными азартными прыжками тот бежал вдоль по яру. Ельчик припустил во все лопатки. Но куда там! Сзади тяжёло бухали, настигали сапожищи. Впереди, обрушив пласт песка, скатился с яра Чапа, растопырил лапы, безумной радостью сверкнули глаза — и Ельчик забился в кольцо горячих рук.

— Ды ты чё, дурак? — успокаивали те. — Ты чё перепугался?

Его отпустили. Стояли, дышали часто.

— Ты чё? — улыбались рамщики. — Ты же медведя словил — ты чё?

Ельчик одновременно всхлипывал и смеялся. Они не держали, но стояли с двух сторон, чтоб не вздумал убежать.

— Ты чё?

— А чё?

— Чё испугался-то?

— Ништяк, — нашёл в себе смелость для фени Елец.

За ухом Пашки — «гвоздик» «Байкала». Он взял его, размял, закурил.

— Как это додумался словить?

— Так, додумался, — нервно смеясь, отступил Ельчик.

— И по черемшу ходишь?

— А что, нельзя?

Чапа заступил ему дорогу.

— Ты видел Югана?

Ельчик не мог отвечать — от носа к углам губ его пролегли дугой две белые морщины.

— Никого я не видел, — пропищал Васька.

— Во-о! — больно воткнул палец в грудь Пашка. — Не ви-дел! — проговорил тяжело и раздельно. — Ничего не видел. И мешка-а не видел!

— Не видел, дяденька, — торопился согласиться Ельчик.

Пашка погладил по голове, взял и закрутил ухо — так, что Ельчик заверещал.

— Ты его не видел, — ещё раз повторил Пашка. — Проболтаешься — убьём. Иди, толкнул в спину.

Чапа дал ему на прощание такого пинка, что Ельчик пролетел метров шесть.

— Запомни!

Ельчик сидел и плакал. Он не мог подняться. Ноги не держали. И, как ни странно, по новизне ощущения это ему почти нравилось. Он собирался с духом, пытался привстать, но ноги в суставе проворачивались, как у игрушечного гимнаста. Ребятам с лесопилки, кажется, было не по душе, что он расселся.

— Ты чего там плясешь?

Он объяснил, что не может идти. Пашка засмеялся.

— Так тебе и надо. — Они ещё постояли на берегу, побросали камушки в реку и, не взглянув на Ельчика, ушли. Через какое-то время он почувствовался. Поднялся. И сначала кое-как, чуть ли ни на карачках, поплёлся домой. Он на себе постиг мудрость: «Ешь пирог с грибами да держи язык за зубами». Но в то же время как бы и начал прозреть — ведь ни с того ни с сего уродовать не стали б. Значит, эти двое молодцов замешаны. И всё это каким-то образом связано с мешком, которого не нашли. Не они ли и забрали? То есть убивать из-за какого-то мешка — это не уклады-валось в голове. Но ведь за что-то побили. Что-то здесь было не то.

Дед копался в огороде. Ельчик с самыми благими намерениями подошёл, хотел предложить свои услуги, но тот схватил палку и несколько раз треснул по загорбку.

— Варнак! — тряс он бородищей. — Целый день он где-то мычется, ирод! За хлебом — самому! За водой — самому!..

11

Неспроста дед опалился на Ельчика. Вечером к ним принесло тётку Ульяну. Дед постелил белую скатёрку, поставил солёные огурцы, нажарил глазунью. Надел чистую рубаху и белые шерстяные носки.

— Ты бы, может, Вася в кино сбегал, или как?

Елец смотрел наглыми глазами и не шевельнулся с места.

— Ну ладно, — согласился дед. — Садись-ка, Никитишна.

Никитишна порхнула корявыми пальцами вдоль платка, поджала увядшие губы, угнездилась на лавке. Дед, суетясь, налил в стаканы пенной браги.

— Спасибо, что не побрезговала, — каменно стукнул стаканом об стакан и загулял кадыком в зарослях на шее. — Ух, язва! — скривился фиолетовыми губами. — Противна!

— Противна, как нищему гривна, — с достоинством возразила Никитишна и медленно, беззвучно, как младенец, высосала стакан до доньшка.

— Закусывай, закусывай! — суетился и юлил дед не хуже Марсика. — Вот огурчик, — потыкал пальцем.

— Я лучше яишенки — эт-то-то по зубам, — зацепила яйцо со свесившейся слизью сырого белка и смачно проглотила.

Скоро брага оказала благотворное действие. Старики раскраснелись, повеселели.

— Ни лешего йись не могу! — не захотела лицемерит «невеста». — Тут-то ишо зубы торчат, а там-то ни лешего не осталось. — Она засунула

свои неухоженные крестьянские пальцы в рот и принялась показывать чёрные пеньки. — Эт-то-то видишь — пусто? Зашатался, как Петей ходила. А эт-то-тот — возьми и выкрошись. Это уж Танечкой ходила, — выговаривала, свистя и квакая, с пальцами во рту. — А раньше-то, помнишь? — наконец оставила жевательный аппарат. — Сплошь как чеснок были!

— Э! Может, чесночку! — и, не смотря на protests Никитишны, убежал на кухню, притащил головку чеснока, такого же подгнившего, как и их отслужившие век зубы. Минутку помолчал.

— Ну дак чё же? По другой вдгонку? — Теперь было заметно, что дед действительно когда-то был лихим казаком, пожалуй, даже и урядником, или кто там у них ходил в командирах? Выпили по второй.

Дед подсел к Никитишне поближе.

— Васька, — рывкнул, — давай-ка погуляй, неча тут глядеть!

Васька тяжёлёхонько вздохнул. Слез с сундука, подался на улицу. Что-то говорило ему, что все беды на земле от женщин. Зачем только выдумали жениться? И дал себе клятву оставаться холостым! Едва выскочил на улицу, как столкнулся с Гитлером. Опрятно одет: в башмачках, в коротких штанишках на помочах, но без панамы. Мать, покупая её Юрке, и подумать не могла, что на всю жизнь приклеивает этой панамой бессмысленное, глупое прозвище.

— Хайль, Гитлер! Ты куда?

Юный граф насутился и ответил:

— Иметь верблюда, — но не выдержал тона и объяснил: в кино.

— Деньги есть?

Гитлер, зная, что этот товар легко может поменять хозяина, мотнул головой. Васька вздохнул, некоторое время шли бок о бок, по той самой дороге, по которой когда-то пращур Ельца пробороздил на лодке. Прадед его был так чудовищно здоров, что ставил шитик на сухую дорогу, забирался в лодку и, отталкиваясь шестом, проходил через весь Аскиз. Тая плутоватую ухмылку, аскизцы рассказывали и ещё об одном его подвиге. У прадеда была одна такая штучка, на которую он мог повесить полное ведро воды. Ходил ли он с этим ведром по Аскизу — история скромно умалчивает.

— Скажи: чайник.

— Чайник.

— Твой отец начальник, — наградил Гитлера.

Незаметно выбрались к клубу. Там, как всегда в день кино, толпа. Работает движок. Не надеясь на совхозный дизель, механик возил с собой свой. Пацаны норовили коснуться пальцем маховика.

— Куда ты, дурак, заматает!

— А ну-ка! — топнул механик, но пацаны не разлетелись, как обычно, а только чуть отступили, и механик вынужден был крутиться вокруг — он не знал, что в это самое время пацаны постарше отдирают доски от окна. И едва застрекотал лентопротяжный механизм и клубную тьму прорезал больно-белый луч, пацаны один за другим полезли в окно, пробрались на сцену и разлеглись под экраном. Васька, как бы по забывчивости, оглянулся в зал, пробежался взглядом по бледным

пятнам лиц — её не было. И что-то надломилось в душе, стало тоскливо и одиноко в многолюдном зале. Он смотрел на громадные лица на экране, и ему уже неудобно становилось от положения слишком задранной вверх головы. Забывшись, начал показывать на экране театр теней. Сначала у него явился зайчик, испуганно присел, задрожал. Следом за ним выскочила собака и беззвучно залаяла. Потом выехал индеец на коне... Фильм был китайский — что-то о строительстве свинарника, — и кому-то театр показался даже интересней: в зале засмеялись.

— Э-э, пацаны! — гулко прикрикнул механик. — Выгоню.

Ельчик кувыркком перекатился на ту сторону экрана — и то, что было справа, теперь очутилось в левом углу, и наоборот. Интересней фильм от этого не стал. Впрочем, нет, какой-то гоминда-новец пригашил с собой взрывчатку, чтоб подорвать почти достроенный сарай. Это нужно было посмотреть. Перекатился обратно и уж уселся было в необходимую позицию, как сердце дрогнуло и медленно заколотилось: глаза опять смотрели на него!

Кино кончилось. Елец соскочил со сцены, вьюном протиснулся в проход, толпа прижала его к ней и медленно понесла на выход. И когда их вынесло на улицу и идти вместе стало уже невозможно, Ельцу понадобилось внутреннее усилие, с каким человек выдёргивает дратвой зашатавшийся зуб.

Ельчик уже не думал ни о Югане, ни о Башкине, ни о врагах с пилорамы — он летел домой, не замечая луж. Но есть в любви что-то развращающее душу. Так Ельчику вдруг вспомнились цыпки — и в первый раз испытал что-то вроде стыда за свою дублёную кожу. Решился намазать колонию цыпок сметаной.

Дома его ожидало зрелище, не сравнимое ни с каким кино. Надо знать, что дед давно уж бил клинья под бабушку Ульяну, и она к тому относилась сочувственно. Однако же неперенным условием брака ставила сбритие усов и броды. «Борода — или я!»

Когда Елец влетел в избу, в первую минуту ничего не заметил. Подбежал к столу, отрезал краюху хлеба, схватил холодную, с сыринкой, картошку — и только тут обратил внимание на то, что дед как-то странно торчит посреди избы. Смотрит на него. И — о боже! Он увидел! С Ельчиком случилась истерика. Закатился хохотом до родимчика, как, бывало, в раннем детстве от плача. Да и здесь он хохотал и рыдал одновременно. Ельчик не думал, что такое возможно: как грецкий орех, морщинистые скулы деда внезапно переходили в щёки детской свежести. Юный дед смотрел на внука с ненавистью, и это только подливало масла в огонь.

— Из дома я ни на шаг — пока не отрастёт! — провиждал дед тоже со слезами.

Перед сном Ельчик решился: вымыл руки и ноги! Потом нашёл банку со сметаной, взявшейся нежно-белым пушком плесени, намазал место скопления цыпок. После этого немножко поплясал перед дедом — и уж потом подался спать. То ли

операция с цыпками, то ли что иное, но он никак не мог уснуть.

— Тебе-то чё кряхтеть, — прогудел дед, — спи давай!

Через какое-то время дед задышал глубоко, что-то с треском лопалось у него в носоглотке. Где-то завyla собака — к покойнику. И малопомалу на Ельчика нахлынули воспоминания, и опять гвоздём засел в голове вопрос: за что побили рамщики? Почему так плохо то, что он видел Югана, почему нужно забыть про мешок? Что же было в том мешке? Что-то угловатое, похожее на кирпич. Но для кирпича легковато. Что же там глухобрякнуло? И Ельчика пот прошиб от мысли о том, что догадался! Вспомнился давно подслушанный разговор на пилораме о древних образах. Иконы там были, вот что! И кто, как не Юган, знал дорогу к скиту? Значит, нёс иконы для рамщиков. Те обещали деньги — и при расчёте всё это у них произошло. А Башкин, выходит, вовсе даже ни при чём. Васька сел и поморгал в темноте широко открытыми глазами, теперь оставалось найти иконы.

Дрожа от страха, оделся, вышел во двор. Старый Марсик спал в конуре и даже не шевельнулся. Тьма кромешная и тишина — собака выть перестала. Он понимал, что если рамщики будут прятать иконы, то именно этой ночью! Ясно, что кто-то проболтался им о вчерашнем разговоре у костра. Но проболтался сегодня. Не мог же он ночью попереться к ним! Они струсили, сделали первое, что пришло в голову: надавать Ельцу пинкарей. А сейчас уж, поди, сидят да хватаются за голову: а ну как нагрывают с обыском! Дело расстрельное.

Между тем подошёл к избушке бабки Секлетины, где квартировали рамщики. Во дворе заскулил Фунтик — собачка величиной с рукавицу. Окна погашены. Дизель выключили уж с полчаса. Тишина. Может, опоздал? Открыл рот, чтобы был слышен и малейший шорох. В стайке тяжело заворчалась свинья. На настехе ночным голосом, по-птичь, пропищала курица — и опять тишина и кромешная тьма. Ельчик присел на ещё хранящее дневное тепло брёвнышко, приготовился ждать, хоть до утра. Но чем дольше сидел, тем больше нападало сомнение: а не на пилораме ли прячут? Ведь не могут же хозяйничать в доме Секлетины — у неё хоть и старые, да всё-таки глаза. То есть поначалу Ельчик думал, что прятать будут где-нибудь в огороде, в сарайчике... Потом смутила мысль о подполье. Самое удобное место! Рядом — и никто не видит. Юган полвоинья так скрывался. Вырыл ещё одно подполье, Милицынеры спускались, заглядывали в кадки, пробовали огурцы — и в голову не приходило, что дезертир полёживается в трёх шагах. Лаз к нему был очень узок — щель.

На окраине, у болота, залаяли собаки. На пилораме прячут! В опилках! Там иконы год пролежат, и ничего не случится.

Над горой поднималось зарево, всходила полная луна. Стало видно дома, заборы. В окне Башкиных кровавый отсвет лампы. Взобрался на завалинку — тётя Клава зашивала мешочек. Передача дяде Мите. Поедет в город с «пяти-

часовальным» теплоходом. Хотелось кликнуть ей слово утешения, но только крепче стиснул зубы и побежал к лесопилке.

Через пять минут он был на месте. Забрался на холм опилок, закопался и затих. Опилки начинали потихоньку преть, и в них был тепло, как на русской печи. Ельчик, хоть и верил в Спасителя мира, но, живя в таёжном Аскизе, не мог не пошатнуться в сторону язычества. Он поминутно придумывал какие-то свои молитвы. И сейчас три раза щёлкнул себя по затылку и подбросил щепотку опилок: «Чтобы всё было хорошо». Иногда молитва могла состоять из «недышания», плевка на какую-нибудь ветку, хлопка по дороге. Карман его вечно был набит камушками, стёклышками. Это были его обереги. И помогало! Например: соседи, Маркеловы, поставили пленницу впритык к их забору. Тут и святой соблазнится. Да ещё и дровишки кончились чуть ни на Крещение. Ельчик, бывало, и не воровал, а потихонечку беремце-другое тягал. Маркелов, естественно, убилье заметил. Расколот пару поленьев, начинил порохом — положил на видном месте. А Ельчик к тому времени перешёл на забор Худоговых. Маркелов уж и думать позабыл про свои деревянные бомбы. Вот сидят в один прекрасный вечер за столом, чаёвничают. Вдруг печка — б-ба-бах-тара-рара-рах! Кирпичи по всей избе, на полу костёр и дым столбом. Самого Маркелова так и отрубил кирпидоном. И не пожалуешься. Не расскажешь даже никому.

Ельчик уж плыл в счастливую страну сновидений — как вдруг что-то выдернуло из ощущения блаженной немоты в беспокойную явь. Он злобно передёрнул плечами, потянулся и, не докончив зевка, застыл. Перед ним стоял, смотрел холодным пламенем глаз волк. Чуть шевельнулся, луна заиграла на его шерсти мерцающей волной. Секунду Васька оставался недвижим и вдруг заорал что есть мочи. И тут же из чёрного зева нижней галереи выскочили двое. Волк повернулся к ним, ляснул зубами и с неохотцей, вразвалку, подался в сторону болота. В ту же секунду налетели рамщики, выдернули Ваську из опилок.

— Ё-моё — он!

Целую минуту смотрели на него во все глаза и молчали не в силах вымолвить ни слова.

— Ёп-пэ-рэ-сэ-тэ! — Они держали его за руки, смотрели и как будто боялись поверить собственным глазам.

— Ты что — дурак?! — наконец пришёл в себя Пашка. — Ты!.. — Опасность заставляла действовать, и они бегом поволокли его к пилораме. Васька понимал, что нужно орать, но горло будто заложило. Затащили в нижнюю галерею. В конце её, за поворотом, — чулан. Протолкнулись туда. На столе свеча. Ваську бросили к стене так, что прилип. Чапа с Пашкой, как с цепи сорвались: матерились, минут пять размахивали руками. Васька молчал. Все их ругательства сводились к одному: Васька сам виноват — они хотели по-хорошему.

— За каким хреном ты припёрся?! — Чапа ударил раз, другой — Васька не выдержал тумачков здорового парня — упал. А Чапа только-то разошёлся и в затмении рассудка несколько раз вляпал в стену, обдирая кулаки о горбылёвую

обшивку. — Что будем делать? — вдруг зловеще успокоился он.

— Только не здесь! — отшатнулся Пашка.

Чапа длинно ухмыльнулся и ничего не сказал. Васька поднялся, быстрым движением обтёр кровь. Он не плакал. Старался быть как можно меньше. Чтоб не замечали, чтобы как-нибудь забыли. Чапа сунул в рот папироску, посидел так с минутку, прикурил от свечи. Глубоко-глубоко затянулся, сжигая папироску до половины, оглянулся на Ваську. Васька понимал, что сейчас будет очень плохо. И в голове его стало ясно до звона.

— Криволицкий знает, что я здесь, — выдохнул он.

Рамщики даже присели. Он видел, как волос на голове Чапы пополз к макушке, увеличивая лоб.

— А-а... — прохрипел Чапа курицей — хотел что-то сказать и не мог. Чё... чё ты... А?

— Он знает, что вы здесь прячете иконы.

Мужики разинули рты и выкатили на него полные ужаса глаза. Свеча давала слабое освещение, но Васька видел, что Чапа побелел, как стенка. Самого Ваську трясло так, что колени стучали одно об другое.

— Ты откуда... — заговорил было Пашка и вдруг завыл, как собака: — И-а-а! А-а-о!

— Где Криволицкий?

— Я ему не комиссар.

И бандиты будто очнулись: в самом деле, чего это они? Откуда может знать этот соплиивый недомерок, что замышляет участковый.

— Где ты его видел? — выговорил Чапа известковыми губами.

— Около вашего дома. Фунтику колбасы давал.

Рамщики переглянулись. Пашка потянулся шеей — не хватало воздуха.

— Во вли-ипли, — шёпотом пропел Чапа, — во вли-ипли... Я же говорил. Говорил! — пролаял Пашке в лицо.

— Куда бежать? — завизжал тот. — Сразу сцапают! Надо было не... это! — и осёкся.

Чапа люто уставился ему в глаза.

— Ты опять? — проговорил тихо, но таким голосом, что и у Васьки зашевелился волос на затылке. — Ты опять? — всхрипнул Чапа носом.

— Сдаваться вам надо. — Васька трясся от страха.

Бандиты уставились на него.

— Он на пушку нас берёт! — сверкнул глазами и растянул в улыбку губы Чапа.

— Вас Рябинин видел, — вертелись мысли в голове у Васьки. — Это ты Югана пырнул.

Чапа сел и обхватил голову. Пашка шажок по шажку тронулся к выходу. Чапа вскочил!

— Сдавайся... — проблеял Пашка, — раз им всё известно!

— Кто там был? Какой Рябинин?

— Рябинин-старовер, — дрожал всем телом Васька. — Он за Юганом следил от самого скита.

Пашка жалко улыбался и кивал.

— Я пойду скажу, что вы здесь, — выговорил Васька и тронулся на выход.

Чапа молчал. Пашка тоже. Уже в галерее догнал утробный рёв: «Сто-ой!» — и это подействовало, как взрыв пороха на пулю: он вылетел под ясную

луну и припустил так, что рубаха раздувалась пузырями. Он летел по улице Аскиза быстрее ветра, прямее, чем стрела. Через пять минут уже колотил руками и ногами в двери участкового. Тот долго кашлял, хрипел на разные голоса: «Хто?» Наконец открыл, и Ельчик влетел в провонявшие солёными огурцами и капустой сенцы. А ещё пятью минутами позже милиционер гремел каблуками по пустынной дороге в сторону лесопилки.

— Надо народ подымать! Могут оказать сопротивление.

— Ни филия они не окажут! — покрикивал на Криволицкого Елец.

У магазина к ним примкнула сторожиха с ружьём и собакой. Вышли к болоту. Всё тихо. Начали просыпаться птицы: щебетали, гудели, кричали. В воздухе стоял арбузный аромат осинových опилок.

— Где они? — бодрясь, крикнул участковый.

Елец указал на чёрный вход. Криволицкий, сделав крюк, подошёл к галерее сбоку.

— Выходить по одному! Вы окружены!

Пашка сидел за столом при свече. Чапы не было.

— Он ушёл... — бормотал Пашка, как в бреду, — я говорил, чтобы не уходил, а он ушёл. Скажи, что я был за тебя! — лебезил он, — Скажешь, ладно? Я же говорил, что зря он так сделал!

— Не с... в компот, — отчеканил Елец, — там ягодки!

Через неделю в родной Аскиз вернулся дядя Митя Башкин. Вечером того же дня пришёл он к Зыряновым с бутылкой и шматом розового сала. Ельчику была торжественно преподнесена трофейная губная гармошка. Над Аскизом опять взошла звезда Ельца. И в кино на него неизменно сиял влюблённый взгляд прекраснейшей из русских графинь.

12

Ельчик по натуре был конечно же лентяем. Тяпать картошку, пропалывать лук — представлялось ему высшей мерой наказания. Но иногда на него находило, срабатывал ген далёкого предка-крестьянина, и он показывал чудеса. Например, окучивал картошку сначала по периметру, потом «резал» огород крестом вдоль и поперёк и после этого «уничтожал» каждую четверть в отдельности. Здесь, впрочем, срабатывал какой-то другой, не крестьянский ген.

Одним из самых нудных занятий считается чистка вилок и ножей. Он умудрился сделать из этого праздник. В нужное время собирал аскизскую ребятню под яр — вырезать из песка атлантов, зверей, целые города с дорогами и лестницами. После пары часов вдохновенной работы ножи и вилки сияли, как луна. Но сегодняшнее ваяние и зодчество радовали мало. Он знал, для чего готовится застолье. Дед ценой упорства победил сердце бабки Ульяны. Готовилась свадьба.

В сибирских деревнях пили всегда. И крепко. Но только по праздникам. Перерыв мог продолжаться месяц, а то и больше. Не всякая суббота становилась поводом для рюмки. У бабки же Ульяны в этом смысле рыльце было заметно в пушку. У деда тоже. Елец нутром чуял, что от

нового союза ничего хорошего ему не перепадёт.

Енисей, разливаясь по весне, подмывал долину, и то в одном, то в другом месте из яра вылезали гранитные плиты — каменная домовина прежде живших на этих берегах людей. Гранитные эти гробы за сотни лет переполнились песком. Пацаны пытались в них ковыряться, но, кроме костяков, не находили ничего.

— Ма-ать моя была женщина! — светло изумился Коля Четолкин. — Поце, меч!

Слома голову кинулись к нему.

— Дай подержать!

— На! — сделал неприличный жест.

Ребятишки с завистью смотрели, как он машет бронзовым клинком. Меч не заржавел, а только покрылся слабым налётом, будто мукой его присыпали.

— Я Чингисхан! — строил зверские рожи Четолкин.

Гром гремит,
Земля трясётся —
К нам в Аскиз
Батьи несётся!
Ё карганай!

Ребятишки облепили Четолкина, кланчили подержать — наконец меч пошёл гулять по рукам. После этого уж никто не захотел делать атлантов — все пошли копать курган. Ельчик остался один. Вообще-то он старался в последнее время держаться поближе к людям: Чапу так и не поймали. Вполне возможно, что околачивается где-нибудь рядом. Ножи сияли, но вилки всё ещё пестрели пятнами, как деревенские девчонки веснушками. Эти веснушки надо оттереть.

— Вася. — Позвал вдруг небывало нежный голос.

Обернулся — дед. Какой-то странно тихий. Разительный контраст старика и подростка в его лице сгладили щетиной. Смотрел добрыми, печальными глазами — и ничего не говорил. И так что-то больно сжало Васке грудь, — он понял, что готовится горькая пилюля, раз её понадобилось подсластить таким медовым голосом.

— Всё чистишь, — пригорюнился дед.

— Кончаю! — отозвался бодро, разрушая медоточивый тон, и несколько раз воткнул вилку в песок по самую накладку.

— Да-а... — широко, не хуже Майки вздохнул дед и театралью закручинился: — Ну дак там-то тебе будет легче.

— Где? — Насторожился Елец.

— Да в интернете-то, — как о деле всем известном и всеми одобренном отозвался дед.

Васька несколько долгих минут смотрел на искрящийся золотой рябью бликов Енисей.

— Там казённая одежда, питание, гимнастика, — не своим голосом пел дед, и Елец прекрасно различал в нём интонации бабки Ульяны. — И школу-то кончишь, и специальность получишь. — Дед помолчал. — За Майкой ходить не надо будет.

— А её куда?

— А зачем она? — светло удивился дед.

Елец даже оглянулся посмотреть: не впал ли в детство окончательно? Нет, лоб, как стиральная доска. Притом из старой позеленевшей меди.

— И дом продадим к лешему! — не переставал радоваться дед освобождению от собственности, будто собрался в святую обитель.

«Ганька — врач, Зинка — учительница, а ты, тётка Ульяна, — г...нюха», — повторил мысленно Елец деревенскую характеристику.

— Никуда я не поеду.

— Пое-едешь, — отстраненно и даже безразлично уронил дед. — Куда тебе деваться.

По реке плыли гуси, утки. Одна испугается, взлетит — и следом за нею остальные забарабаният крыльями по воде, дробят золотой Енисей на осколки.

— Буду в стайке жить.

— Живи! — так же безмятежно отозвался дед.

Ельчик воткнул в песок три ножа — один за другим, по самую рукоятку.

— Тебе стыдно будет.

— Стыдно — у кого видно, а у меня не видно. — Дед легко поднялся и пошёл прочь.

Ельчик ненавидел его в эту минуту. «Ништяк, — огрызнулся на удар судьбы. — Переживём!» — и продолжал чистить вилки с ещё большим ожесточением, напевая для ритма модную песенку тех лет: «Один американец засунул в... палец и думает, что он заводит патефон». Вычистил вилки, ополоснул — и они засверкали под солнцем, как новые. «Старый — что малый, — оправдал деда в сердце своём. — Пропьётся, проснётся, опять за ум возьмётся».

— Ништяк! — крикнул в бесконечно широкий Енисей, собрал столовый инструмент и поспешил домой: кто его знает, может, действительно сторгуют кому.

Рубил дом прадед из векового листвяга. И теперь, по прошествии ста лет, дом не только не подгнил, не пошатнулся, но, кажется, стал ещё крепче. Брёвна почернели, налились чугушной тяжестью. И всё-то в нём хранило след жизни минувшей. Особенно на подложке. Валялись там в вековой пыли старинные журналы, прялки, кросна, тусски, прадедовские ружья — чем старше, тем аляповатее. Одно — с громадным гранёным кованым стволом и курком — килограмма в полтора. Но при этом со смехотворно узеньким каналом — только мизинчику в пору пролезть. На курке под пружиной клеймо: «1802». Более позднее — с 1849 года, уже аккуратнее: круглоствольное, с кокетливым раструбом и двумя ребристыми колечками, будто копейки впаляли в него. И всё это бросить? Ельчик даже остановился от возмущения.

Зашёл во двор. Из конуры торчали лапа и хвост. По двору бродили куры, что-то искали в пыли, деда не видать. Заглянул за загородку — Майка. Привязана. Так рано она не возвращалась никогда, и уж тем более её никто не привязывал. Майке это тоже не по шерсти, она крутилась на верёвке и дико пучила глаза. Ельчик только сейчас заметил, какие у неё, оказывается, красивые глаза. Большие, чёрные, с дымно-фиолетовым зрачком и длинными ресницами. Красавица, а не корова. Выскочил Марсик, сгорбленный, в лохмотьях, и залаял как-то бестолково, сипло, зло. Лаял он вроде бы

на Ельчика, но при этом смотрел в сторону. Стоял посреди двора горбатой образиной и лаял. «Что-то все у нас умом тронулись», — горько усмехнулся Елец. И тут на крыльцо, улыбаясь во весь рот, выскочила «двоюродная» мать, бабка Ульяна.

— Лё-оня! — пропела на фальшивой ноте любви. — Лё-оня пришёл!

— Я — Васька, — хмуро возразил Елец, и бабка Ульяна захохотала, как ведьма. Ельчик протянул сверкающий столовый инструмент. Бабка забрала его своими корявыми руками и рассыпала — к гостям.

— Пойдём, Вася, я тебя покормлю! — по визгливости голоса и химической радости в глазах — ясно, что успела клюкнуть.

— А где дед?

— Шут его знает, унесло куда-то! — захохотала старуха, как ненормальная. Прошли в избу. — Садись-ка, сынок, — погладила по голове и даже прижала к жёсткой холодной груди. Ельчик вывернулся.

На столе жареная рыба, в стеклянном кувшине молоко. От хлеба сочился ядовитый запах самогона.

— Ешь-ка рыбку, рыбка в сметане! — всё лучилась гостеприимством Ульяна. — Давай-ка, наминай!

И странное дело, ещё пять минут назад Ваську тряс волчий аппетит, а сейчас кусок не лез.

— Да как ты его поймал?

— Кого? — не понял Ельчик.

— Да медведя-то! Он же вон какой! — замахнулась старуха под самый потолок.

Может, Ульяна действительно была ведьмой: Ельчик за разговором о баньке и звере как-то незаметно прикончил скворороду рыбы, выпил молоко и съел облитый самогоном хлеб.

— Вот ток, по-нашему! — похвалила его бабка. — Ты не робей — троём-то нам веселей станет.

Во дворе бестолково забрехал кобель.

Явились покупатели за Майкой. Бабка Ульяна передала им повод из передника в полу, — чтоб корова слушалась хозяина, дала молоко. Приняла пачку засаленных купюр. И как ни надоела Майка Ельчику капризами, но, когда её потянули со двора, нахлёстывая хворостинкой по бокам, что-то повернулось в душе, и он убежал на сеновал, чтоб остаться одному. Вечером, когда попытался было попенять за продажу коровы, ему радушно возразили:

— Козу купим! Молока столько же даёт, а оно у ней куда пользительней.

— Да и карахтером мягче, — поддакнул дед.

13

С продажи Майки у Зыряновых закрутилась копейка, и Ельчику купили новые тапки. Ельчик обулся и пошёл по Аскизу. Удача, так же как беда, не ходит в одиночку. Не только Ельцу купили тапочки, но и лесхоз получил новую машину. И не обыкновенную, а шестиколёсное чудо, трофейный «студебекер». Вся деревня сбежалась на него посмотреть. Рык его мотора, струя синего дыма из выхлопной трубы — всё повергало в изумление. Пацаны выдумали новый ритуал: дотронуться, ошутить мощное живое дрожание его. Ельчика

же больше всего изумил вентилятор радиатора. Он представился ему пропеллером. Вполне возможно, военная машина, могли и оснастить, чтоб в минуту опасности «взмыть под облака». Дядя Толя поднял капот и, выставив Аскизу на обзорные засаленный зад, ковырялся в моторе. И вдруг этот полубог, гордость Аскиза, вылез чумазым лицом из-под капота.

— Дай-ка ключ на двенадцать.

Елец оробел от обращения божества, только хлопал глазами, не в силах постичь, что такое «на двенадцать».

— На-те! — грубо оттолкнул его Хобот и подал дяде Толе разлапистый железный ключ.

Дядя Толя одобрительно моргнул и опять нырнул в мотор. Хобот гордо оглянулся вокруг: поимел общение с дядей Толей. Ельчик не обиделся, ему хватало счастья видеть этот агрегат, рычащий, покуривающий кривоколенную трубу. Скоро пацанам прискучило глазеть на заморскую диковину. Кому-то взбрело залезть на длинное широкое крыло, а Хобот, как всегда, ступил за край — не содрогнулся забраться в кабину и надавить там на клаксон. Дядя Толя, как всякое божество, умел не только миловать, но и жестоко карать: Хобот был выброшен из кабины за ухо и ещё в воздухе награждён пинком. Пацанов отогнали от кабины прочь. И тут — о неблагодарность! Уж от кого, от кого, но от Башкина-то он не ожидал. Тот заметил Ельчикову обувь, выдулил глаза и заорал во всю глотку: «Папе сделали ботинки на резиновом ходу, папа ходит по избе...» — и так далее, со всеми подробностями. В какую-то минуту Ельчик был прозван американцем, растоптан и осмеян.

Сумрачно стало у него на душе. Обогнул самый высокий курган долины, вышел на берег. Тапочки успели запылиться, протёр рукавом, и они опять воссияли чёрным лаком. Всё-таки места для настоящей печали в душе не было. Забежал до половины кургана и, растопырив руки крыльями, побежал-полетел вниз так, что чубчик завернулся, будто ветер, сама природа погладила, потрепала его по голове, и это ощущение было радостно до слёз. Он опять и опять взбирался на крутой курган и сбегал вниз. Здесь, у берега, особенно густо вились стрижи, кричали что-то на своём цвиркающем наречии. Вниз по Енисею плыл громадный плот-кошель. Снизу, нагоняя волну, шлёпал красными плицами белоснежный «Спартак». Ельчик выбежал на берег и заполоскал ладонью в воздухе.

— Мимо пристани семь дорог, а на пристань — поперёк! — Это заключение часто действовало, и пассажирский пароход проходил на всех парах, без остановки. — Мимо пристани семь дорог! — скакал и кривлялся Ельчик и вдруг увидел Апраксину и поспешно отвернулся. Он слышал, как она засмеялась. Потом, совсем рядом простучали лёгкие шаги. Он не знал, как себя вести: вскочить и побежать вместе с ней или посидеть, подождать, когда подойдёт сама. Ельчик всё подпрыгивал, подёргивался, вертелся, как будто его поджаривали на сковороде. Но вот за спиной всё стихло: ни смеха, ни звука шагов. Обернулся — никого! И будто солнце закатилось. Вскочил, пробежал по одной тропе, по другой — пусто. Только иволга в

лесу свистит: «Никитку видел? — и сама же себе отвечает: — Видел, видел!» Опустил голову и побрёл, куда глаза глядят. Чуть поодаль от тропы — муравейник. Кишит, шевелится, рубиново светится тельцами насекомых. Ельчик сорвал сухую травинку, очистил до тоненькой дудочки, облизал, положил на кипящую муравьями кучу — и так вздрогнул от страшного шёпота:

— Попался, который на базаре кусался!

Он нахмурился и стал смотреть на муравьёв. Маша тоже молчала. Он взял соломинку, отряхнул от сердитых насекомых, обсосал их кисленький сок.

— Что это?

— Муравьиная кислота, — пробурчал неприветливо.

— А мне можно?

Он провёл соломинкой по языку и положил на муравейник. Они стояли, смотрели, как соломинка мохнато покрывалась муравьями.

— Готова? — Она говорила естественно, без науги, ей не нужно было искать слова. Наконец он счёл возможным достать соломинку, передал графинечке. Она облизала, прищурилась одним глазом, чмокнула и передёрнула плечами.

— Укус! — засмеялась она.

— Сама ты укусу.

Конечно, можно было выломить соломинку каждому свою, но это им как-то не пришло в голову, и попеременно слизывали терпкий, кислый, пахнущий муравьями сок. После этого не заставил себя ждать зверский аппетит, и Ельчик научил Машу шелушить молодые побеги сосны и ёлки, выкапывать луковки саранок. Они обтирали их, снимали верхний слой, но земля всё-таки скрипела на зубах и давала свой дремучий привкус.

— Вы правда графы?

— Да, — ответила просто, на минутку задумалась и пояснила: — Папа жил в Харбине. Перешёл границу, чтобы жить в России. А наши его посадили. Потом расконвоировали, мама приехала к нему. И там родилась я. В Курейке. А потом приехала сюда, — закончила с таким вздохом, будто мешок картошки снесла.

Ельчик знал про дядю Петю — он работал лесорубом.

— Скоро нам разрешат поехать в Россию, и мы уедем. — Она опустила голову, и волосы закрыли ей лицо.

— Ну и уезжайте!

— А ты как поймал медведя в бане?

Ельчик объяснил, что банька — это та же мышеловка, только большая и крепкая. Мишка любит тухлятину, и, если привязать её к створке, медведь собьёт его — дверь упадёт и запрет зверя в баньке. Машенька дробно засмеялась. Спереди у неё было два больших зуба, и когда улыбалась, то эти два зуба выглядывали, делая её похожей на ручного зверька — так что всё время хотелось дотронуться. Ельчик вдруг заорал диким голосом, по-обезьяньи быстро взобрался на молоденькую берёзку и, стигая её, плавно опустился на землю. Берёзка выпрямилась, тряхнув своей прозрачной зеленью. Ельчик, наверное, ждал, что Апраксина похвалит, но она ничего не сказала, а сощипнула прошлогоднюю заячью ягоду. Ельчик тоже

отправил в рот несколько метёлок крошечной сладковато-пряной ягоды.

— Здесь природа богаче, чем в Курейке, — похвалила их сиятельство Аскиз. — Но в России всё-таки лучше. Там груши, вишни, яблоневые сады.

— У нас тоже насадят.

— Здесь очень холодно, здесь яблони не вырастут.

— Ага! Не вырастут! — Ельчик как-то не привык разговаривать с девочками, и всё у него прорывалась та интонация пренебрежения и напора, с какой пацаны разговаривают между собой. — Ранетка же в питомнике растёт!

Все аскизцы питомник упорно называли питомником, как и гумно — гувном.

И тут закуковала кукушка. Ельчик испуганно обеспокоился, похлопал и слазил в карман.

— У тебя копейки есть?

Она потрясла головой, сияя своими резцами.

— Падло, — Ельчик не считал это за ругательство, — опять весь год денег не будет, — и объяснил, что если на кукушкино «ку-ку» позвенеть монетами, то будь спокоен: на целый год обеспечена безбедная жизнь.

— Работать надо, чтобы были деньги, — возразила Маша.

Ельчик оглянулся на графиню скептически: весь Аскиз с утра до вечера вкалывает — а до изобилия далековато. Машенька нет-нет да и сверкнёт глазами на Ельчика: её поражало в нём умение приспособиться. Знает, что можно кушать, а чего нельзя, изловил медведя, рыбу удит как никто в Аскизе. Только что ж он такой неухоженный? Разве можно носить такие штанишки?

— А где твои родители?

Ельчик чуть заметно дрогнул, выхватил из воздуха жёлто-полосатую муху, оборвал ей крылья.

— Харюз на такую хорошо клюёт. — и тут же без перехода: — Говорят, ты стихотворения пишешь? — и по интонации было понятно, что стихотворений он не одобряет.

— Пишу, — призналась графиня, вытянулась в струнку, запрокинула руку за голову:

Она стояла у берёзы,
Где пролетел последний гусь.
В глазах её блестели слёзы,
А на сердце появилась грусть.

Наклонилась, вроде продолжала искать заячью ягоду, но всё-таки заметно, что ждёт похвалы.

— Складно, — уронил Ельчик хмуровато, и она востыла, как солнечный зайчик.

— В стихах это самое главное! — захлёбывалась она. — Когда стих получается, то, как будто крылья вырастают! Прямо так... — она по-балетному повернулась на одной ноге, взмахнула и плавно опустила руки. — Ты умеешь... — хотела спросить, умеет ли он играть на фортепиано, но решила, что с этим лучше повременить.

Они шли по логу, взбирались на небольшие скалы, разговаривали, и им в голову не приходило обсудить свою тайну: обоюдный взгляд в чёрном зале. То было другое, то было — табу! Это как будто не с ними происходило.

— Заячья капуста, её едят, если пить охота. И они отдирали от ржаво-коричневых уступов скалы зелёные розы заячьей капусты.

Снежно-белые, светящиеся изнутри облака закрывали солнышко, чтобы через минуту-другую оно вырвалось ещё более весёлым. Скалы нагрелись под весенними лучами, и на их тёплых уступах так радостно было сидеть, болтать над пропастью ногами. На новые Васькины тапочки Маша не обращала внимания.

— Скажи: на бане два стакана.

— На бане два стакана.

— Тебя любят два цыгана! — сунул в рот сведённые кольцом пальцы — и Машенька оглохла от режущего свиста. Она встрепенулась и попросила больше не пугать её так.

— А ты письма кому-нибудь пишешь? — спросил он сердито.

— Нет.

— Я тоже.

И тут Ельчик увидел их! Они крались к скале. Ельчик увидел сначала одну спину, потом ещё — и на душе похолодело. Он знал, что сейчас начнётся!

— Это... Апраксина, ты иди домой.

— И правда, — будто очнулась она.

На горе гулко, громко, как может только чёрный дятел, стучало по дуплистому дереву, и этот звук отозвался в душе ожиданием беды. Машенька ступила со скалы на косягор и, придерживаясь за кусты, начала спускаться. Пацаны стояли внизу с задранными лицами и отсюда казались плоскоголовыми коротышами. Желна барабанила нудно и однообразно. Маша спустилась к ручью и прямо пошла на пацанов. Те расступились. И тут Петька Фуфаев затянул противным немусыкальным голосом:

Огуречики да помидорчики,
Ельчик Машу целовал
В коридорчике!

Остановилась, строго, по-взрослому, как она умела, посмотрела и вдруг громко и раздельно:

— Да. Целовал. А вам завидно? — И всё! И ни один пацан не чмокнул, не сделал неприличного движения. Стояли бестолковым, бессловесным стадом, переминаясь с ноги на ногу, и уж намного позже, когда почти скрылась за черёмушником, Хобот прокричал вслед гнилое слово.

14

— Бочку с салом или казака с кинжалом? — Мелюзга делилась на команды, готовилась во что-то играть.

— Катилась торба с высокого горба, в этой торбе: хлеб, соль, пшеница — с кем ты хочешь жениться? Говори поскорей, не задерживай честных и добрых людей! — И ещё через минуту радостный крик: «Фюллер голя!»

— Гитлер, пойдём клад искать!

Тот скорчил было физиономию, но магическое слово «клад» победило, и, прокричав: «Поце, я не игров!» — припустил вслед за Ельчиком.

Вошли во двор. На заборе тяжёлая шкура с когтями и чёрным пятком аккуратно снятого носа.

Из конуры выскочил Марсик и не залаял, а пустил вибрирующую сильную ноту на манер джазового певца. Пару раз кашлянул и вернулся домой.

Ельчик решил-таки провести ревизию дома. Вдруг продадут, и канут все веками собранные вещи. К тому же где-то должен был валяться «косарь», привезённый дядей Ваней аж с того германского фронта. Да и мало ли чего там может лежать? Из сенец, осторожно ступая между кринок, поднялись по лестнице в неподвижный сумрак полночи. Сквозь щели ретиво били пыльные лучи. Поднесённый к их лезвию палец вспыхивал, как лампочка. Здесь и там притихли, затаились вещи прошлых веков.

— Не бойся! — подбодрил Елец Юрку. Каждый шаг по потолку отдавался в доме, как глухой удар по барабану, да ещё и щели начинают струить песок, поэтому Ельчик выбрал такое время, когда все разбрелись по делам. На чердаке всегда приходит вопрос: ну, и где же тут искать? Юрка тем временем углядел прадедову пицаль, сграбастал и пытался взвести курок. Дурак, это и взрослому не каждому под силу.

— Это пушка, Вася, да же? Ручная пушка?

— Сам ты ручная пушка.

— А это что? — поднял с пола ещё дореволюционный фонарь «молния». — Можно, я возьму? Гитлер радостно горел глазами и то передёргивал затвор, то кидался вертеть колесо самопряхи. Ельчик прошёлся, наступая на втопанную в песок «Русскую мысль», на «Пробуждение».

— А это что? Расчёска?

— Бёрдо. Ткут им! — отобрал у Юрки и повесил на крюк.

Глаза молодого графа сияли, он не знал, за что схватиться: приставлял ко лбу то громадный маралий рог, то костяную «лопату» сохатого.

— Ёк-ка-лэ-мэ-нэ, вот это вышка!

Васька пересыпал песок, тыкал щупом здесь и там — не попадалось ничего. Наконец на что-то наткнулся... Вырыл — икона! В белом серебряном одежде. Богородица Дева с маленьким Спасителем на руках. Пацаны, притихнув, несколько минут разглядывали.

— Ты в Бога веруешь?

Юрка был всё-таки ещё очень мал и не знал, что это такое.

— Ну, веришь, что Бог есть?

— Конечно, верю.

Они перекрестились и поставили икону на «боровок» к трубе. После этого Ельчик ещё помогал по чердаку, но не нашлось ничего нового.

Гитлер набрал полные руки всяких безделушек:

— Можно, я домой возьму?

Ельчик что-то отобрал, что-то разрешил забрать. Спустились по лестнице вниз — и Гитлер, как ветер, унёсся со двора.

О том, что тело, согласно второму закону Ньютона, инертно — знают все. Но что-то подобное свойственно и духу. Человек с утра настроился на поиски клада и уж не мог избавиться от нависшей блажи. Где-то в горах ожидала счастливица «золотая седёлка» бирюсинского хана. Но где она?

На школьном дворе обычный визг, автоматные очереди.

— Ты убитый!

— А кто меня убил?

— Бунька-торопунька тебя убил!

Ельчик повернул в сторону Топорка, прошёл мимо курганов: о раскопках не могло быть и речи — на каждый всему Аскизу полмесяца работы. И тут его взгляд зацепился за горб синей горы. Сердце ёкнуло: «А ну как там, в пещерах?» И, сдерживая себя, почти побежал в ту сторону. На такое дело хорошо идти вдвоём, но как-то так получилось, что в последнее время рассорился со всеми. Даже Коля Четолкин при встрече отводил глаза. Оно конечно, шкуру напополам не делят, и Ельчик заслужил её больше, а всё ж таки обидно. Одному всё, другому — шиш на постном масле. Елец нырнул в зелёный туннель, вскипевший черёмуховым цветом, зашагал вверх по Топорку. Впереди по тропе бежала птичка-плисточка. Отлетит на десяток шагов, обернётся, подождёт, встрепенётся, взлетит, скользнёт над землёй в падающем полёте, опять пробежится и посмотрит — мол, скоро ли ты там? А Ельчик шагает всё быстрее, и уже кажется, что Топорок течёт вместе с ним в тайгу. А вот и свороток к пещерам, и как будто дохнуло оттуда январём и тленом. Ельчик побежал вверх по тропе, цепляясь за ёлки.

Около пещеры всегда сыро, тропа перед ней пружинит под ногой. Даже птицы здесь молчат. Зев пещеры открылся неожиданно. Чёрный провал, и вокруг рыжие камни, поросшие рыжей колючей травой. Зелень здесь ещё не начиналась. Только одинокая синица по-зимнему скрипела: «цвинь-цвинь, цвинь-цвинь». Неужели когда-то стоял перед этой пещерой хан с золотой седёлкой в руках? И что заставило прятать? Инались за ним? Уезжал ли куда в далёкий поход и хотел сохранить до срока?

В кармане любого пацана рядом с чмокалкой бренчит коробка спичек. Ельчик выломил палку, надрал бересты, сделал факел, но всё не торопился в пещеру — будто что не пускало туда. «Зайду, посмотрю — и сразу обратно». Ещё не зажигая факела, ступил за «порог». Наверное, здесь в прошлые годы останавливались люди — стены закопчены дымом костров. Ну, и где здесь хан мог спрятать седёлку? Посередине пещеры лужа. В неё каплет. Вглубь уходил каменный коридор. Вытянув руку вперёд и ощупывая ногой, шагнул раз, другой, третий — наступил на что-то мягкое. Наклонился, пощупал — тряпье. Замер и стоял какое-то время, не шевелясь. Наконец достал спичку, чиркнул — зимнее пальто. С воротником. Чуть в стороне — железная миска. Может, туристы оставили? Запалил факел — и пещера предстала во всём мрачном великолепии. Береста плевалась жидким огнём и, скручиваясь, плотней наворачивалась на палку. Откуда-то сверху, из щели, доносился скребущий душу писк летучей мыши. Ельчик осмотрелся, вздохнул, пошёл дальше. Потолок опускался, а пол поднимался вверх, но идти ещё можно. Он уже бывал здесь с пацанами, да так получалось, что ни разу не добрались до конца. Обязательно кто-нибудь принимался орать, пещера усиливала звук до грохота — и все выле-

тали вон! Ельчик подавался вглубь, внимательно осматривая выступы и многочисленные карманы, куда можно было сунуть эту самую седёлку. Обернулся — света не видать, значит, коридор сделал поворот. И тут страх сжал сердце так, что трудно стало дышать. Хотел уж вернуться, но всё-таки заставил себя сделать ещё несколько шагов. Факел высвечивал выступы, карманы и камни с одной стороны — это напоминало каменное дно, когда ныряешь на глубину, и течение быстро пронесит тебя над валунами и ямами. Дальше дорогу загоразивала ель.

Мохнатая, чёрная. Ельчик ещё подумал, что если в пещерах не растут. Постоял какое-то время. Всё казалось, вот чуть сунься — и выскочит какой-нибудь пещерный медведь. И именно поэтому Ельчик всё-таки шагнул в щель между ёлкой и скалой. Иголки затрещали, запахло палёной хвоей. За ёлкой каменная коморка. И вдруг в глаза бросился сундук. Сундук... открытый. Ельчик постоял с минуту, изо всех сил прислушиваясь. Всё тихо. Подойти к сундуку не решался. Повёл факелом — освещение изменилось, тень съехала в сторону, и он увидел, что никакой это не сундук, а иконы! Они стояли прислонёнными к каменной стене. Ельчик отчётливо рассмотрел золото нимбов над головой святых. И тут сзади захрустели камни! Он похолодел. Мгновенно понял: кто вошёл в пещеру! Нужно было гасить факел, но не стало сил шевельнуть ни рукой, ни ногой.

— В рот меня по ж... бритвой! — выругались в гроте, и это вывело Ельчика из столбняка. Он несколько раз ткнул факелом в каменную стену, но факел только пуще разгорелся! Если бы лужа! Ельчик ударил ещё несколько раз — береста соскочила, развалилась на пылающие куски. Ельчик заверещал, как летучая мышь, и бросился во тьму. Налетел на какой-то камень, ещё ступил пару шагов — и треснулся в стену! Он знал, что эта пещера кончается рукавами, нащупал и забился в щель. Отскочившая под ёлку береста тем временем подпала хвоей, ёлка затрещала и мгновенно превратилась в косматый, опрокинутый вверх водопад огня. В пещере загудело и стало светло. Ельчик видел, что залез в самый маленький отводок и виден со всех сторон. Собрался в комок, метнулся к одному рукаву, к другому — и забился в каменную нору. Опять послышалась брань. Пылающая ёлка упала. Ельчик видел, как её затаптывали два здоровенных мужика. В одном сразу узнал Чапу. Наконец был затоптан последний очаг. На Чапу напал чох. Он плевался, сморкался, чихал так, что с потолка сыпались, стучали по полу камни. Прочихался. Замер. Ельчик понимал, что его выслушивают. Тьма и тишина продолжались несколько минут. Чиркнула спичка. И Чапа начал обход. Ельчик взмок от пота.

— На месте? — спросил второй — Ельчик узнал дядю Гришу Ханжина.

Чапа не ответил: глухо хлопая, перелистывал иконы. Ельчик закрыл глаза, как будто мог помочь себе этим стать невидимым.

— Какая же сука зажгла? — стало слышно, как он хлопал ладонями по стене пещеры, постепенно приближаясь.

— Сыро, — пробасил Ханжин, — она сама у те загорелась. Ага.

Какое-то время не было слышно ни звука.

— Я в прошлом году так же веников нарезал, — продолжал Ханжин, — в кучу побросал, да ещё дожди прошли — запыхало, любо поглядеть! — Чиркнул спичкой, прикинул и остатком огонька повёл вокруг.

Чапа шарил уже совсем рядом. Ельчик онемел и как будто потерял сознание. Чапа залез в соседнюю нору. Чихнул. Ельчик готовился выскочить, но не было сил.

— Ну, ты чё там? Мышь тебе, что ли, подо- жгла?

Чапа выругался и опять зачихал, сотрясая пещеру.

— Простыл здесь, падла, на хрен. — Говорил сиплым, насморочным голосом.

— А и мотай! На вокзале сцапают! — Ханжин захохотал.

— Вот же падла! — Чапа ругал Пашку, покойного Югана, Кривоуцкокого, весь Аскиз и его, Ельчика! — Вот бы кого бы, блин, придушил-то, как щенка. Убил бы и...

— На хрена же убивать?

— Убил бы и... — тупо повторил Чапа.

Дым от ёлки поднялся под потолок — они при- сели на корточки. Ельчик видел, как светлячком наливаются их папиросы и опять тускнеют.

— Зря ты связался с этим барахлом, Говорят тебе, здесь золото занёжано.

— Идите вы все на...! — Чапа впал в истерику, стал хватать и швырять в стены камни. — То бол- тали, курганы забиты золотом! Ага! Забиты! За иконы сулили золотые горы! Ни хре-на! Откуда здесь золото?

— Я сидел с урканом, — поднял голос Ханжин, — говорит, сопровождал сани с золотом. Следил. Бирюсу прошли, а в Лиственке не появились. Сечёшь? Здесь где-то.

— «Здесь где-то!» — передразнил Чапа и опять принялся лаять Аскиз, Кривоуцкокого, Советскую власть и, наконец, самого Ханжина — за то, что тот мало приносит жратвы.

Ельчик потихоньку обтерпелся в своей норе, только согнутые выше ушей ноги затекли, да в бок всё глубже впивался острый камень.

— Блин-перемать! — верещал Чапа. — В натуре, сука, знаю козла — на берегу моря живёт. В «Победе» катается, жена красотка — всё на иконы!

— Они тебе ещё покажут, — усмехнулся Хан- жин.

И вдруг оглушила тишина. Опять стало слышно, как каплет в лужу у входа.

— Слышал?

— А?

— Кто-то ходит, — прошелестел Чапа.

— Кому надо? — глухим барабаном отозвался Ханжин.

Ельчику стало страшно, что услышат стук сердца.

— Подь, позычь, — просочилось чуть слышно.

Ханжин крякнул, громыхнул сапогами раз, другой — и опять тишина. И тут Ельчик с ужа- сом почувствовал, будто остренький волосок шевельнулся в носу — он изо всех сил прижался

носом к камню, чтоб не чихнуть. «Волосок» занемел, отступил. Ельчик дышал теперь только ртом. Опять захрустели шаги, неясным силуэтом явился Ханжин.

— Пацан там бродит... — прошептал он. — Апрускиных, — и опять хохотнул. — Он с Ельчиком всё кучкуется, гляди — и тот тут.

Чапа замедленно поднялся.

— Дай я его найду! — и столько мольбы и страсти было в его голосе, что у Васьки шевельнулся волос.

— Сиди! — выругался Ханжин. — А то так найду — своих не узнаешь.

Чапа молчал.

— Чтобы носа не высовывал! — грозился Ханжин. — Я за тебя садиться не собираюсь!

— Да ладно! — отмахнулся Чапа с блатной интонацией — и тут же тишину взорвал липкий, хлесткий звук.

— Ты мне ладной, козёл! — и опять звон удара на всю пещеру. — А то наладнаю! Всякая шелупень мне: «ла-адно!» — Наверное Ханжин очень обиделся, потому что не отказал себе в удовольствии ударить ещё пару раз.

— Да ладно тебе! — уже другим, исполненным преданности голосом взмолился убийца.

Они опять закурили и молчали, как показалось Ельчику, не меньше получаса.

— Ну, я пошёл, — уронил наконец Ханжин и тронулся на выход.

— Гриша, — проскулил Чапа, — самогонки приноси, а?

— Г... тебе на лопате, а не самогонки!

Чапа плюнул и выругался. Дождался, пока смолкнут шаги, и дал себе волю. Он честил своего благодетеля последними словами, до изнеможения, наконец, выдохся, сел. Но сидел теперь не спокойно, а как-то капризно: ворочался, дрыгал ногами. Сходил за пальто, разостлал его, выбрал из-под пальто камни, лёг и, кажется, заснул. Васька не однажды ночевал на берегу Енисея и в глухой тайге без костра, но никогда у него не было такого ледяного, такого неудобного ложа, как здесь. Да ещё не пикни, не дохни поглубже.

Наверное, Чапа, всё-таки почувствовал, что не один. Неожиданно вскочил! С минуту не шевелился. Погремел иконами. И принялся опять шарить в каменных рукавах, постепенно приближаясь. Ельчик готов был рвать волос на голове за то, что не вылез при Ханжине, — тот не дал бы в обиду! Чапа хлопал уже возле устья его норы, сунул руку поглубже, и Ельчик чувствовал, как шевельнулся воздух от движения пальцев убийцы у самого лица. Замер. Окаменел. Не дышал. Но, наконец, тот прошёл мимо, долго шарился в других углах, подался в грот. В трудные минуты жизни Васька обращался за помощью к Богу. Молитва у него каждый раз выходила новая, но Бог, кажется, слышал его, помогал. Во всяком случае, не терял из виду надолго. Стыдно признать, но в эту самую минуту он опустил до мысли, что не успел износить свои тапки. И даже прикинул, кому достанутся. Его в них едва ли положат. Деду тапки, конечно, малы. По всему выходило, щеголять в них бабке Ульяне.

Но вместе с тем ни на секунду не отвлеклся от Чапы. И Бога-то молил об одном: чтобы увёл его из пещеры хоть на пару минут. И беззвучно шевелил губами, крестился в сторону древних икон. Может, и правда, что религиозное чувство заразительно. Но скоро в каменную молельню вошёл Чапа, встал на колени и со вздохами и рыданиями принялся молить о том же: чтобы вывел отсюда, помог избежать наказания, дал возможность заработать на иконах.

— Я понимаю, — хныкал Чапа, — это грех. Да ведь их купят верующие люди. Будут тебе молиться. А что толку, в натуре, что стояли в тайге? Кто там тебе на них помолится? Медведь? У него и души нету! Он — язычник! — и опять кланялся до каменного пола и бил себя в гулкую грудь. Потом сел и замер в оцепенении. Вдруг опять вскочил и начал мотаться по пещере и наконец закричал: — Я ноюсь тебя! Ты — деревянная доска! Докажи, что ты рысь, а не фраер! — Он обозвал Всевышнего, делал непотребные жесты, вёл себя в высшей степени нескромно.

Ельчик забился в свою нору трепетным комком. Замер, будто умер, и только его сердце стучало и стучало.

— Эй! — орал Чапа. — Я убил Югана! Чего ж ты не остановил меня?! — и опять принялся обзывать Бога, как недавно лял Криволуцкого. Но скоро вспышка миновала, и опять бухнулся на колени, и опять неліцемерно плакал, просил простить и помочь. — Сердца разбитого и сокрушённого не отвергай! — орал уже с укором, точно Господь вёл себя не вполне достойно своего высокого положения. И то ли уж так неумоготу стало Ельчику, то ли с ума на минутку спятил, взял камень и легонько стукнул в потолок норы. Чапа содрогнулся и замер. Невозможно было понять: откуда звук? Опять принялся шарить и здесь, и в гроте, перевернул все иконы — ничего. Одиночество и страх давно уж подвинули Чапу в помешательство. Он упал на колени и целовал камни, посыпал трухой голову, называл себя червяком, вонючкой и молил Бога послать знак. Ельчик, пережив ужас обыска, молчал.

— Господи, я сволочь, мозгльак, пидор македонский! Не обижайся на меня, чё ты, в натуре? Ты велик, а я букашка, блоха перед тобой. Что мне делать? Бросить всё и убежать? Но у меня нет ни шиша! Всё вбухал в это дерь... — поспешно ударил себя по губам и опять зарыдал: — Прости меня, господи! Как скажешь, так и сделаю! Только скажи... — Он ждал несколько минут. Ельчик молчал. У самого Бога руки не доходили до такой скотины, как Чапа. — Показалось! — проорал Чапа с блатным вызовом. — Мне показалось! Никакого стука...

Ельчик отчётливо стукнул два раза. Чапа застыл.

— Господи! — опять упал на колени и долго бормотал что-то сквозь слёзы, поминутно повторяя «прости!»

У Ельчика чесался язык крикнуть: «Катись из пещеры, чтобы духу твоего не было!»

— Господи, верю, что ты велик, верю, что ты всё можешь, Помогите мне — каждый день буду ставить

свечу! — Чапа замолчал. Ельчик не шевелился. — Господи, слышишь ли ты меня?!

Ельчик уж замахнулся на удар, но сдержался. Что-то слишком скоро обратился Чапа в истинную веру. Не выслушивает ли? Раньше вон где молился, у икон, а теперь подобрался к самой норе. Не хитрит ли? И сердце опять заколотилось. Но смущала и другая дерзновенная мысль: а что, если заорать. — Чапа сдохнет от разрыва сердца. Медведь уж на что зверюга, а подкрадись к нему, гаркни в ухо — и отжил котёнок! Чапа молчал, не шевелился. Ельчик не шевелился и почти не дышал.

— Или это... ты? — заговорил вдруг Чапа другим, сиплым, дрожащим от ужаса голосом. — Это ты?! А?

Ельчик уже не дышал.

— Ты?! Ты пришёл мне на помощь?! — и Чапа завизжал звериным воем, запрыгал по пещере, как шаман. Спятил с ума. На время, по крайней мере. Он бесновался с полчаса, пока не выбился из сил и не свалился на лежанку. Через какое-то время донеслось его глубокое мерное дыхание. Он даже начал всхрапывать. Не так, как притворно храпят, а взаправду, по-настоящему, с глубоким дыханием. Кажется, можно было вылезть, — Ельчик Никак не мог решиться. Если бы здесь лежал саблезубый лев — он как-нибудь набрался бы сил, но Чапа стал для него страшнее льва... Ждать дальше невозможно. Другой такой случай неизвестно когда повторится. Обмирая от страха, начал выпрямляться. Ноги занемели, не слушались. Это так удивило, что на какое-то время забыл о Чапе и уже смелей лез из каменной норы в спальню зверя. Неожиданно осознал, что не только выбрался, но уже стоит на слабеньких, отсиженных ногах. В двух шагах от него лежал самый страшный хищник на земле — Чапа. Спит или только затаился? На Ельчика напал такой страх, что едва не полез обратно в спасительный рукав, но вовремя образумился и, сдерживая барабанную дрожь зубов, трясаясь всем маленьким телом, шагнул раз, другой.

Чапа хрюкнул и начал подниматься! Ельчик сел. Рот его открылся, но на крик не стало сил. Чапа не встал, а только повернулся на другой бок и засопел. Ельчик несколько раз тихонько вздохнул и, цепляясь руками за воздух, тронулся дальше. Уже на выходе из кельи под ногой треснуло, и тут какой-то ветер подхватил его и вынес из пещеры прочь. Он бежал, как кабарожка, ужасаясь звуков своих шагов, и, наверное, разбился б о берёзу, будь здесь спуск покруче, — но вот в подошвы твёрдо ударила дорога, бежать стало трудней, спуск кончился. Очнулся он уже у Топорка. Свобода! Ельчик каждой клеткой осознал радость этого состояния тела и духа. Он упал на горячий камешник, приник к весело бегущему Топорку. Он пил, взмывавая грудь. Под другим, кочковатым, свесившим траву до самой воды берегом речка непроглядно черна, как бы подёрнута сизым туманцем, и, взглянув туда, Ельчик внутренне содрогнулся, вскочил и опять закатился в сторону Аскиза.

В деревне действительно жили несколько кержацких семей. То есть никто из них не кричал: «Я — стар-ровер!» Даже и в церковь-то особенно не ходили — хотя б потому, что никакой церкви

в Аскизе не было. Но все знали, что Рябинины, например, кержаки. И Горбуновы — кержаки. Ельчик рассказал об иконах Мосею Рябинину. Мужики-староверы без лишнего шума вооружились дрекольем и подались неспешным шагом в пещеру.

Иконы стояли на месте. Чапа — испарился. Ясно, что спрятался в каменной норе. А, может, ещё раньше смылся, как Ельчик треснул сучком, убегая. Мосей Рябинин чуть не плакал от благодарности за спасение святынь. Ельчина наперебой зазывали в кержацкие семьи Аскиза, сажали за стол, одаривали то тем, то другим. Он чувствовал, что приобрёл в лице старой веры верного заступника, — но на душе его кошки скребли. Чапа, конечно, раз узнает, кто опять обвёл его вокруг пальца. Теперь и по Аскизу ходить стало страшно. А тут маслята подошли, земляника вот-вот. Ельчик только холодел от мысли о встрече с врагом. Но редко кто догадывался об его опасениях. Над Аскизом опять воссияла Ельчикова звезда. Да так ярко, что Хобот, не убоявшись кержацких багогов, поймал героя в переулке, наподдавал до кровавой юшки: «А штоб не задавался!»

Про Ханжина Ельчик не сказал ни слова.

15

Зыряновы купили козу. Молока она давала почти так же, как Майка, и шлёндрой оказалась не меньшей. Дух первопроходца жил в этой пузатой, с розовым мешком вымени скотинке. (Может, в неё вселился Кук, или какой другой великий путешественник?) Бродяжничество было её страстью, и Ельчик ежедневно шарился по ближним и дальним зарослям в поисках козы. Постоянный страх встречи с Чапой настолько расшатал его нервы, что он наладился кричать по ночам.

— Может, нам тебя сдать в самашедший дом? — сочувствовал дед. — Подремонтируют.

Ельчик наконец решился просить у деда отцовское ружьё. Тот почесал спину, сморщившись своим «юным» лицом, поскрёб поясницу, собрав на лбу стиральную доску, и отозвался с вечным философским спокойствием:

— Бери. Может, Бог даст, глаз себе вышибешь.

Так Ельчик был допущен до святая святых, до ящичка с порохом, пистонами и пулелейкой.

Он рубил на чурке чапыжник — вдруг негромко торкнуло в калитку. Перебросил топор с руки в руку, пошёл через двор. Калитка отворилась, и на обсиженный курами настил шагнула она, графинечка Апраксина. Осмотрелась, улыбнулась своей ясной улыбкой.

— Здравствуй, — пропела, держа перед собой что-то, как будто бы... мяч.

Ельчик нахмурился и стал боком, загораживая вход. Куры, привыкнув быть хозяевами на своём дворе, приблизились к гостье, одна клюнула у самых её ног.

— Вот тебе... — протянула Маша мяч, — яблоко. От бабушки. — С пальцев ей капал рассол, Ельчик думал, что яблоко бывает красного цвета, — а это какое-то бурое. Автоматически взял и стоял, не зная, что делать. Машенька опять обжала глазами двор и опять улыбнулась.

— Разрежь, — протянул он яблоко обратно.

Машенька зажала его руками, и яблоко, чмокнув, разломилось, обнажив медово-жёлтую плоть с коричневыми семечками. Ельчик проглотил свою половину и отвернулся, ожидая, когда она справится со своей. Съела, обтёрла губы потылицей руки.

— Сладкое?

Ельчик как-то даже не разобрался во вкусе: не то кислое, не то сладкое.

— На капусту похоже, — ответил он хмуро.

Она толкнула его пальцем в грудь и засмеялась. Ельчик видел, как бабка Ульяна следит сквозь щель горящими глазами.

— Ты вот что... — подняла указательный палец графиня. — Ты один в лес не ходи. Если что — меня позови. Договорились?

Он кривенько усмехнулся и переступил с ноги на ногу.

— Ну, я пошла...

Калитка захлопнулась — Ельчик какое-то время стоял, тупо глядя на серые доски калитки.

— Твоя, что ли? — донёсся страстный шёпот старухи. — Чё она тебе приносила?

— Яблоко.

— И-ишь ты, я-аблоко, — поразилась бабка Ульяна. — Ничё девочка. Это которых? Не Апрак-синих ли?

Ельчик пошёл рубить хворост. Всякий раз от встречи с Машенькой в нём оставалось ощущение невесомости. Не заметил, как запел: «Он подошёл ко мне походкой пеликана, достал визитку из железного кармана (жилетный карман для пацанов Аскиза оставался «terra incognita»). Для костра под самогонным аппаратом не годились ни берёзовые, ни лиственничные дрова, как слишком жаркие. Здесь шли дрова таловые. Агрегат пыхтел, пускал из трубки белый пар, кашлял ядовитым первачом. Бабка подставляла бутылку за бутылкой, направляя влагу в горлышко по нитке. Обмакивала в самогон щепу и смотрела: горит — не горит. Время от времени опрокидывала лафитничек и смачно хрустела солёным огурцом. Молодые переживали самое счастливое время жизни: медовый месяц! Дед уже валялся на койке и пускал пузыри. Когда он спал в подпитии, можно быть спокойным — ни один бандит к избе и носа не сунет. Всю ночь напролёт дед матерился последними словами: то подымал в атаку пластунов, то не давал растащить хозяйство большевикам. Дело доходило до скандалов со Сталиным: «Аа, ты, такой-сякой, обрадовался! Думаешь, ты царь?! А вот этого не видел, б...дюга! Што? Што ты на меня устаурился?! На, на-а, режь меня на куски, глазом не сморгну! Не на такого нарвался, б...дюга!» Не матерился он только в диалогах с Колчаком. «Виноват, ваше превосходительство! Виноват! На броненосце через Иртыш! По льду, ваше превосходительство! Виноват!» — и даже руку вскидывал к козырьку. Ельчик, случалось, брал его за мизинец, начиная расспрашивать — и дед отвечал. Таким образом выпытал, где он выбросил шашку и кресты. Ельчик поначалу даже не понял, что такое «вусури». И уж на другой день, в твёрдой памяти и ясном сознании, дед объяснил: «Речка такая — Усури». Грех признаться, но Ельчик спрашивал сонного деда и о сердечных делах.

Туповато, впрочем, деревянно спрашивал: «Кого ты любишь?» И подопытный дед расплывался в улыбке: «У-улю».

Уля хрустела вялым огурцом и давала наставления внуку:

— Ты этим не зашибайся! Ничего хорошего в этом нету. Болесь! — но при этом глаза её предательски сверкали, и видно было, что нет большей радости бабке на земле, чем эта «болесь».

Аппарат забулькал — Ельчик поспешил выдернуть пару головёшек, отрегулировал меру пара. Бабка Уля переменяла бутылку. Васька вернулся из огорода во двор, ещё немножко потюкал хвостинки.

Вышел на улицу. Свиньи подняли из грязи дырявые свои пятаки, утробно захрюкали. Швырнул деревяшкой — зашевелились, поднимая вязкую волну. И тут чуткое ухо Ельчика уловило стук движка — кино! Так и ошпарила его счастливая мысль, и он, мгновенно забыв свои химические опыты с перегонкой браги, кинулся на берег. У клуба народ. Дверь клуба уже всасывала зрителей, и по эту сторону оставались только вечные безбилетники. Хобот дважды кидался в наглую пробируху, но чёрный зал не захотел принять его, оба раза выплёвывал вон. Ребятишки, как осы перед банкой варенья, вились вокруг клуба, но сегодня он был, точно Брестская крепость — вполне непреступен. Чердак заколочен, окна забиты, оставалось только делать подкоп. Впрочем, если б Ельчик подошёл к механику, сказал: «Здравствуйте, я — Ельчик» — его пустили б. Но это было бы предательством по отношению к друзьям.

Фильм начался. Хобот принялся было бросать в заколоченные окна кирпичи, но тут же был схвачен разъярёнными зрителями, натянут за уши и за чуб.

Наконец пацаны наплевали на кинематограф, пошли заниматься ещё более весёлым делом — играть в футбол!

Кажется, весь интеллект ребячьего Аскиза работал в одном направлении: как бесплатно пробраться в кино. Пробовали рыть подкоп. Измерили верёвкой расстояние от яра до клуба — вышло двадцать восемь полных шагов. Прорыли три — песчаный потолок рухнул. Что делать? Четолкин предложил систему зеркал — это никого не вдохновило. Рябинин выдумал ещё один способ: два пацана несут на плечах третьего. Он — в отцовском пальто. Оставалось только отдать механику трояк, сделать несколько шагов по тёмному залу и где-нибудь в укромном уголке развалиться на три составляющие. Так, по крайней мере, мыслилось. Здесь же и отретпировали, пытались говорить басом, хоть в тёмном зале хватало бы и шёпота. Но, как это нередко случается, хорошо задуманное без видимых причин рассыпалось, как карточная баня. Рябинин сам вызвался принести отцовский дождевик — и не принёс. Собака! И тогда Ельчик придумал новый способ пробирухи. Подкрался к механику со спины, сел на кукорки, прислонился к стене. Вид у него был самый безразличный. Но это только так казалось. На самом деле он ждал момента, когда механик оторвётся от дверного косяка — чтобы с проворством фокусника про-

скочить за порог. Наконец момент представился. Хобот не был тупицей, но во всём, что ни делал, сквозила унылая прямолинейность. Уж который раз он кинулся внаглянку. Механик тоже дома время не терял, репетировал — одним цепким движением поймал за шкурку и выкинул вон. Но этого оказалось достаточно, чтобы Ельчик перескочил за порог и застыл в той же позиции «на кукорках» у стены, но уже в зале. И механик не заметил, не обратил внимания! Во-первых, в нём победной трубой пела радость перехвата, во-вторых, вроде всё так и было: что-то маячило сбоку, да и сейчас маячит. Наконец поток зрителей иссяк. Механик закрутил дверь, ушёл в аппаратную. Ельчик тихой сапой дверь открыл, запустил пацанов — и все татарской конницей ломанулись к экрану! Теперь бояться нечего — механик фильм не остановит, не позволят мужики. Расселись, Елец обернулся в зал, где обыкновенно лучились глаза, — там белыми пятнами маячили чужие лица.

Шёл замечательный фильм «Подвиг разведчика». Не до Машеньки!

Фильм кончился, наши победили! Ельчик вихрем пронёсся по скамейкам, и уже на улице, под звёздами его оглушила новость: Машу укусил энцефалитный клещ.

Всю весну им читали лекции об этом клеще. Девочки и зубрили пили ярко-жёлтые, невыносимо горькие пилюли — и нате вам. Заболела. Ельчик, когда ему сказали, повёл себя, как дурак, — засмеялся. Он понимал, что это свинство, и готов был сквозь землю провалиться, а стоял, как скотина и хохотал. После этого он убежал к гремящему в то время суток Топорку и молча просидел на кургане до полной темноты. Он плакал, даже принимался петь, как это делало жившее здесь сотни лет назад племя Бирюса, — горловым пением. Таким пением ребятишки умели вызвать дождь. Говорят, это же помогает при укусе гадюки. Ельчик был в полном отчаянии. Он понимал, что его языческого пения ничтожно мало. Церкви в Аскизе не было никогда, но жили староверы и даже семья молчаливиков — смогут ли помочь они? Дядя Рома-шофёр — еврей, дядя Ваня-китаец — буддист. Если бы собрать всех, чтобы помолились Богу, ведь Бог един, тогда бы, конечно, помогло, но ведь они никогда не соберутся. Стесняются друг друга. Да и не очень-то и любят. Вот что... К ночи из логов и ущелий выходит стужа, Ельчик продрог до костей, и наконец ничего не оставалось, как пойти домой. Он бежал по белеющей из тьмы тропе, а сам всё думал о несчастье. Энцефалитный клещ поражал мозг и дыхание, и редкий человек оставался в живых после укуса.

Дед с бабушкой к этому времени как будто протрезвели, но были легки душой до того, что сидели на диване и пели на два голоса:

Они ехали долго в ночной тишине
По широкой украинской степи...

Дед ревел треснутым басом, бабушка визжала винчивающимся в уши дискантом.

— Деда, отправь меня в интернат!

Старики замолчали и какое-то время тупо смотрели на него.

— Да го-осподи! — спохватилась бабушка Ульяна. — Внушек пришёл! Васенька! Садись-ка поешь!

Дед закашлялся, выкатывая побелевшие с науги глаза, бабушка ловко похлопала его по спине.

— Никакого интернату! — астматически прошипел дед. — Прокормим! — и от умиления на своё великодушие налил сивухи всклень — себе и жене сердца своего. — Прокормим и выучим! — будто клятву зачитал.

Ельчик сел за стол, но кусок становился поперёк горла. И ведь что это такое — энцефалит? Почему он губит приезжих? У коренных сибиряков, говорят, выработался иммунитет.

— Деда, а правда, что энцефалитный клещ нас не берёт?

— Клещи? Ни в какую! Нам никакой клещ не страшный! У нас прабабки — чёрные татарки, а их никакая язва не брала.

И тут на Ельчика снизошло! Взял жестяной будильник, забрался на полати. Завёл на четыре часа утра и тут же, как в прорубь, провалился, уплыл в страну сновидений.

Они играли в войну. Башкин стрелял в него в упор из автомата, и надо было бы бежать, ноги, будто в грязь увязли, не поднять.

— Да не черти ли его уколачивают! — донёсся плачущий крик снизу. — Васька, за каким лешим ты его туда затащил? Выключи сейчас же, ирод!

Его будто шилом укололо. Вскочил — свежий, как огурчик. Скатился по лесенке на печку, с печки на пол — и был таков. Он бежал по сонному, серому Аскизу на «пятичасовальи» «Пропагандист». Пробравшись на катер оказалась ничуть не трудней, чем в кино. Ельчик даже к трапу подойти не стал. Пока там продавали билеты, он мог бы пять раз проскочить туда и обратно по причальному канату. Над Енисеем висел клочковатый туман. Кое-где проглядывала гора противоположного берега, а то всё было — как чай с молоком. «Пропагандист» задрожал, заурчал двигателем. Говорили, что в нём стоят танковые движки, немецкой буквой «V». Не взглянуть на них Ельчик конечно же не мог. Быстренько нашёл дверь машинного отделения и, обмирая от страха, спустился по железной лестнице. Там грохотал, вертел маховиками, блестел маслянистыми колёсами двигатель. Но что больше всего поразило Ельца, это вода! Он не понял, как это может быть в трюме, в машинном отделении — открытая вода?! То сеть позже, может, и допёр бы, что это просто вода в чёрном от мазута поддоне, но догадаться до этого не успел — выгнали. Ельчик пошатался по палубе. Попытался поднять цепь. Потом перелазил в салон, сел на свободное место и под звук биения железного сердца «Пропагандиста» заснул сладким сном.

Город встретил разноголосицей клаксонов, каменными громадами домов, нарядной публичкой. Ельчик сначала даже растерялся. Спросил одного, другого про больницу — махнули один в одну, другой совсем в другую сторону. И как-то неуютно стало на душе, как бывало в тайге, когда случалось заблудиться. Но здесь всё-таки люди — вон, сколько их бежит. И наконец выпытал у тётенки, где лежат больные с укусом клеща.

— Надо тебе на шестёрке, мальчик, ехать. До краевой, там спросишь.

Понадобилось выяснить, что такое «шестёрка». Оказалось, автобус. Дождлся. В нём кондуктор, как кобель на привязи. Два раза выгоняла, пока доехал до больницы. Там дело пошло легче. Нашёл корпус третьего отделения. И здесь свой контролёр, только в белом платье. Не пускает! Ельчик объяснял, что приехал аж из Аскиза, и даже сверкнул послушной слезой — не пускает, старая карга. Но небо помогло. Подошла страхолюдная тётка, оглядела Ельчика с ног до головы.

— Это что тут за Гаврош?

— Вынь да положь девятнадцатую палату! Кровь, говорит, приехал сдавать.

Тётка откашлялась в кулак — пальцы, как у дяди Вани-китайца, жёлтым-жёлты от табака.

— Деньги понадобились, — глянула ещё строже.

Ельчик пошевелил пальцами в тапочках, хотел сказать, что денег-то у него — как грязи, да решил не ерепениться.

— Я бесплатно, — и принялся опять объяснять, что у него иммунитет и что если его кровь влить в вены Марии Апраксиной, то все энцефалиты в ней загнутся, как мухи.

Старуха задумалась. Контролёрша стояла навытяжку, как солдат на часах.

— Деда говорит, что во мне кровь чёрных татар. — Ельчик ждал, что старуха улыбнётся, но нет, морщины между глаз пролегли ещё глубже. И сердце ёкнуло от мысли, что Машеньке совсем плохо. Старуха хлопнула себя по карману — он догадался, что там у неё папиросы.

— Иди в процедурный, — кивнула, и Ельчик беззвучно зашагал в тапочках по коридору.

В процедурной ему прокололи палец, высосали кровь, собрали в стеклянную трубку. Потом положили на деревянную кровать и с хрустом всадили лошадиную иглу в вену. Откачали по трубке целый стакан вишнёвой, почти чёрной, пенной крови.

— Гемоглобин хороший, и кровь первый номер, — похвалила сестра.

После этого Ельчику дали сладкого чаю с булочкой и... пятьдесят рублей деньгами! Никогда в жизни не держал он такой суммы. В голове вихрем пронеслись неограниченные возможности: кино, пряники, перочинный нож. А если приехать сюда всей пацанвой — вообще!

— Голова не кружится?

Ельчик помотал головой — нет, не кружится.

— Ну, иди.

Контролёрша спорила с уборщицей, и Ельчик вспомнил, что, говоря про девятнадцатую палату, она подняла глаза. Значит, Маша там. Юркнул по лестнице вверх. Выскочил на второй этаж, и тут его качнуло, закружилась голова, но он справился с собой, быстро нашёл нужную палату. Всё здесь было белое. А ручка — кто б проверил — стеклянная. Обмотана бинтом, но видно, что стеклянная! Ельчик потянул её на себя, вошёл в палату. Пахло, как от «фершала» дяди Серёжи.

И он увидел её — и к полу прирос.

Машенька лежала на кровати. Перед нею табуретка с красным яблоком. Руки открыты и

такие тохонькие, что сердце Ельчика замерло и вспикело слезой. Он стоял молча, неподвижно. Машенька лежала с закрытыми глазами, но видно, что живая. Он глубоко, с перерывом вздохнул. И тут она открыла глаза, какое-то время смотрела туманно, безразлично, и вдруг, будто движок в ней заработал, глаза засветились! Она поморщилась, рот её открылся, и непонятно было, то ли хочет заплакать, то ли что сказать.

— А-а ну-ка марш! — прогремело у него над ухом, и он очутился в коридоре. — Ну что за дурак! — ругалась врачиха. — Апраксина тяжёлая, нельзя её тревожить!

Ельчик шёл, моргал глазами, и всё перед ним странно расплывалось. «Какая же она тяжёлая? — ещё подумалось ему, — как щепочка высохла».

Он вышел на улицу и какое-то время бездумно брёл по тротуару вдоль аллеи чахлах тополей. Потом спросил старушку, как доехать до вокзала. Указала ему остановку «шестёрки». Сел в автобус и сделал то, чего не делал никогда: купил билет! Он не только сохранил его до конца проезда, но — до самого Аскиза, и даже продал его Хоботу за дореволюционную пулю.

До отхода оставалось два часа, и он побежал в магазин «Охотник». Там всегда стоял особый воздух: резко пахло резиновой лодкой, кожей амуниции, набитым чучелом лося. На особой полочке прислонились к стене ружья: тупки, ижевки, карабины. Одноствольные, двух- и даже трёхствольные. На стене — патронташи. Под стеклом — манки, пули, дробь, пистоны. Ельчик лёг грудью на прилавок и блаженно присмирел. Здесь он мог бы стоять целый день, и не наскучило б. В то несвободное «сталинское» время ребятишкам свободно отпускали и дробь и порох. Он отоварился, ещё раз оглянулся на матово сверкнувшие стволы ружей — подался в гастроном. Он знал, чем угодить деду с бабкой! Деньги ещё оставались — и набрал дефицитных в Аскизе дрожжей. Душа его ликовала!

Покупать два билета в один день было бы непростительной глупостью, почти свинством, и Ельчик мышью проскользнул по канату на родную палубу. И такой уж выдался удачный день — штурман в белой фуражке пригласил его в рубку, а когда легли в фарватер, дал порулить! Ельчик, какое-то время робея, держался за штурвал и, наконец, вообразив себя капитаном, чётко перевёл рукоятку на «полный вперёд».

— Э-э! — остановил рулевой. — Давай-ка, дружок, а то мне зарплату не за что будет...

Ельчик, ощущая ногами биение и щекочущую дрожь судна, обошёл палубу и только после этого нырнул в душноватый, пропахший деревенским людом салон. Человек так устроен, что, стоит ему сесть в поезд или на пароход, на него нападает зверский аппетит. Все пассажиры, как один, развернули пожитки, постелили полотенца, салфетки, газеты, вывалили варёные яйца, присыпанную укропом картошку, сало, городскую колбасу. Прижав к груди, половинили бритвенно-острыми ножами буханки, смачно резали репчатый лук. Перенести созерцание этой массовой обжираловки не было возможности, но и уйти не хватало сил. Ельчик неотрывно смотрел на жующие,

причмокивающие, бугрящиеся раздутыми щеками рты.

— Э-э, а ты-то чё? — И, как будто обрадовавшись новому делу, со всех сторон стали протягивать снесь. Он не жеманился. Скоро опьянел от еды — и уснул, так что едва не проехал мимо родимого Аскиза. Возвращение на родину — счастье, это знают все.

Первый, кого он встретил во дворе, была... Майка! Её коровье сердце так прикипело к Зыряновым, что редкий день не останавливалась перед их воротами, не принималась тупо, натужно мычать, изливая слёзную тоску по милым сердцу хозяевам. Теперь она перепрыгнула через задний заплот и ходила по двору, наслаждаясь знакомыми запахами. Ельчик обнял её полукомолую голову, принялся гладить по шее сверху и снизу, по жировым складкам. Надо знать, что он делал с Майкой цирковые номера. К их дому от Топорка тропа вела через овраг, и Ельчик всякий раз командовал: «Сигай!» И Майка сигала — только титьки мелькнут враспырку. То ли она сама начиталась Павлова, то ли узнала об условном рефлексе от знакомых собак, но потом, уже на берегу, стоило поставить перед ней барьерную палку, а Ельчику крикнуть: «Сигай!» — как Майка вскидывалась всем неуклюжим коровьим телом и преодолевала барьер под хохот ребяти.

Ельчик ещё постоял какое-то время, наконец оттолкнулся и вошёл в избу.

Помогла ли Машеньке татарская кровь, или оказали действие лекарства, но совершилось чудо — она выздоровела. Только на иных словах в речи как бы стала слегка спотыкаться. Но она росла такой милой девочкой, что весь класс, невольно подражая ей, стал тоже заикаться: «Ныну», «я пы-пошёл», «зы-замечательно».

Пётр Матвеевич, отец её, приходил к Зырянову, благодарил за внука.

— Чё мне его благодарность, — сипел вечером дед, — кабы бутылку какую принёс — вот бы благодарность дак благодарную была! — Но он лукавил. Посещение Апраксина его как мёдом смазало. Смотреть даже особо стал: с задором. И походка-то поменялась. Но прошёл день, другой, подвиг Ельчика померк, слинял в чередё обычных дней, как полиняли и забылись его прежние успехи.

16

— Эй, Елец! — Хобот умел выговаривать это особенно ядовитым оттенком. — Ползи-ка!

Пацаны угодливо захихикали.

— Ты не вздумай чего поломать у себя — мы твой дом покупаем! — предупредил Хобот.

Как будто гром прогремел с ясного неба. Это должно было случиться. Жизненный путь деду освещало единственное кредо: «Хорошо, когда выпьешь, — да ишо!» Мог он просадить дом со своей любезной женой. Запросто! Переедут в её халупу, продадут козу, спровадят Ваську в интернат.

Ребятишки обозначили кирпичами ворота, готовились играть в футбол, но не до игры стало Ельчику. Прошёл мимо, спустился к Топорку, сел

на остренький курган, согнулся в три погибели, и странные мысли пришли ему на этом скорбном месте. Ведь тогда, на берегу, дед не пугал его, а как пророк предвещал последствия союза с бабкой Ульяной. Понимал, что это больно стукнет по Ельчику, и готовил к испытаниям. Выходило, что дед не только слабенькая, повинная рюмочному делу душа, а ещё и мудрый старикан, авгур. И Ельчику пришло время подумать не только о себе, а и о нём. Он поднялся с кургана и подался домой.

Чета молодых встретила песней, и казалось, нет на свете силы, способной поколебать этот семейный союз. «Нет уж, фигушки!» — упрямо покачал головой внучек. Он как будто заболел. Поклевал чего-то за столом и забрался на полати. Он уж не думал о предстоящей потере целого мира под названием старый дом, он думал об одном, может, даже не вполне хорошо деле: как рассорить старика со старухой. Это было трудно. Во-первых, встречаясь утром, они светились друг на друга радостной улыбкой, и разговор их так и звенел целый день, не перерываясь, как ручей по камушкам. Если же выпивали, что случалось почти непрерывно, тогда уж вовсе души не чаяли друг в дружке, так что стыдно рассказать. И всё-таки Елец сумел углядеть невидимую трещинку: оба были жадноваты до зелёного змия, и бывало, припрятавали друг от дружки яд на опохмелё. С пенсии дед делал заначку: пару-тройку «красненькой» в дровянике, в завалинке или под кроватью. Ельчик как бы от чистого сердца, на голубом глазу, открыл тайник в сарае. Бабка бережно взяла бутылку, обтёрла фартуком, понесла в избу.

— Де-ед! Гляди-ка какой гриб у нас в дровах вырос!

Дед потупился, смущённо крякнул. К обеду бутылка украсила стол. На другой день бабка уже сама спросила внука — нет ли ещё таких тайников? Ельчик сказал, что не знает, но тут же побежал, откопал бутылку из завалинки, а рядом положил яйцо. Стала бабка вечером собирать куриную дань — бутылочка!

— Де-ед! — радостнее прежнего пропела она, — ты погляди-ка, чё я нашла!

Дед нахмурился. Выпили и эту. На двоих оно, конечно, маловато. (Ельчик, не судите его строго, предвидя разворот событий, слямзил бутылку из-под кровати, сунул в бакин валенок. А на пустое место не содрогнулся, мерзавец, поставить бутылку чернил.) Бабка вечером обыкновенно обувалась в валенки — грела ревматизм. Сунула ногу — да там клад! Дрогнуло старушечье сердце, ничего не сказала деду, спряталась в кладовку, сбила сургуч, приложила — развеселилась душой! Градус такой, что в пору «Ой мороз, мороз» затянуть! Дед хмурый, как осенняя туча. Нет-нет да и сунется под кровать, к источнику радости, а достать боится — со старухой придётся делить. А её и так уж штормит, по горнице от стенки к стенке кидает. Рано лёг дед на свою кровать. Захрапел. Ельчик не спит, ждёт: что-то будет? Бабка тоже засвистела, защёлкала плёнкой в старой гортани. Приподнялся дед. Замер. Всё спокойно. Полез под кровать, нашарил бутылку, вытащил пробку. Приложился, пьёт — вроде, всё

нормально, горькое, а вино таким и бывает. Вроде даже опьянел. Завалился на подушку.

Просыпается назавтра — как увидела старуха, хрюкнула — и на стенку от него! Губы, шея, грудь — в фиолетовых потёках — страшнее упыря. Неделю после этого и «пурлепти», и «пурлегран» дед делал ядовито-синим. Холодок пробежал между дедом и старухой. Ельчик в прежнее время и не пикнул бы даже, а тут — разболтал. Несколько дней Аскиз трясся от хохота. Мужики приходили, чтобы как-нибудь увидеть, как дед мочится чернилами.

— Это эта ведьма разнесла на хвосте, — жаловался внуку, — ты-то не болтнул ли кому?

— Ш-што т-ты, деда!

И уже не светились дед со старухой при взгляде друг на друга, не звенел ручеёк разговора.

— Это чё же творится! — шепталась бабка Уля с соседями. — Дед-то мой с кругу спивается. До чернил добрался — разве это дело? Не-ет, нету мужика — да и такой-то не больно нужен.

Дед бросил бриться, оброс какой-то колючей проволокой ржавого цвета. Но Ельчик понимал, что это ещё не разрыв. И в самом деле, через тройку дней размолвка позабылась. Выпили опять. Старуха покаялось, что вылакала бутылочку, но при этом категорически отрицала факт подмены вина на чернила. Ельчик понял, что сглупил, едва не попался. Дальше нужно действовать тоньше. «Молодые» опять зажили душа в душу и даже не деляли друг от друга заначек!

Хоботовы пришли смотреть дом. Пинали стены, тесали даже топором, залезали в подполье и на чердак. Дед с бабкой просили задаток — Хоботовы воздержались, надеясь сбить цену до самой смехотворной. Нетерпеливым молодым требовалось праздновать медовый месяц, жуировать, но уж вовсе «за так» хватило ума дом не продавать.

Ельчик нутром чуял, что через день-другой сошедшая с ума от счастья пара согласится на всё. Надо было что-то предпринять. Он знал, что бабка Уля какое-то время «крутила любовь» с дядей Ваней Лисицыным. Вообще-то никаким дядей Ваней он быть не мог — просто: Ли Си Цын, но так уж привыкли называть: дядя Ваня Лисицын. Дед курил трубку. Только трубку. От одной затяжки из неё, даже без табака, Ельчик пьянел на целый день. Дядя Ваня-китаец курил самокрутки. И вот Елец стал собирать бычки и ронять их — то на улице перед воротами, а то и во дворе, даже в огороде. Дед, всю жизнь проведший на охоте, не мог не прочитать этих ясных следов. Нахмурился, опять стал похож на старого ежа. Ельчик вдруг ни с того ни с сего полюбил играть у столярки дяди Вани. Китайцы варят тянучку, и вот настал такой день, когда он угостил тянучкой Ельчика. Елец расшаркался, но сразу жевать её не стал, а вытащил тянучку вечером, за ужином.

— Откуда это у те? — выпучил дед глаза.

— Да... так, — натурально смутился Елец.

Дед кирпично покраснел лицом и шеей. Есть он в этот вечер отказался.

— Дёрнуло тебя с тянучкой! — ядовито прошипела бабка Уля и пошла ублажать старика. Но настоящего примирения в этот раз не получилось.

Опять пришли Хоботовы, опять пинали дом в углы и по бокам — цена, против их ожидания, не упала ни на грош. Да и сам хозяин предстал грозной, неразговорчивой тучей. Баба Уля старалась за двоих: всё тараторила, шутила, смеялась, но последнее слово оставалось за дедом, а тот упёрся — ни в какую. Хоботовы помнили блеск нетерпения в его глазах, помнили, как в прежние приходы сбивали цену до трёхсот рублей вдруг. Решили обождать. Куда, мол, он денется! Откуда было им знать про Ваню-китайца?

— Сто, Уася, — приветствовал он Васюку с английским акцентом, — опять писала?

Ельчик захватил с полу золотисто-белую воздушную стружку, зарылся, шумно понюхал — чихнул.

— Путь здолова! — дробно захихикал Ли Си Цын. — Дед ницево не слюзыт?

— Не стружит, — вздохнул хитрый Елец. — Рубанок у него лопнул.

— Лёпнула любанка. Зайду.

— Заходите, дядя Ваня! — И был таков.

И надо же случиться — дед как раз подался по воду. Возвращается. Подходит к воротам — вот он, окурок! Опять! Свеженький! Вода в вёдрах так и взбурлила, так и вздыбилась стоячей волной. Воротца не крикнули, а взорвались от пинка, распахнулись. Он! Иван-китаец! Скалится жёлтыми зубами, трясёт седой бородой, глаза щёлочкой — смеётся, язва! И на деда напало то состояние бешенства, с каким шестнадцатом году с шашкой наголо летел в атаку на немецкую батарею, — он завизжал, засеменял ногами на месте, вёдра полетели: одно на сарай, другое в конуру. Оттуда жёлтой молнией сквозанул насмерть перепуганный Марсик. Куры, сея пух, полетели враспынную. Очаровательная Уля побелела, как скатерть. Ли Си Цын не закричал, не кинулся в сторону, а только плотненько закрыл свои узенькие глаза, чтобы не видеть происходящего. Дедом уже вполне руководил спинной мозг, его будто по воздуху поднесло к чурке, в следующее мгновение длинно сверкнуло лезвие колуна — и чурка беззвучно распалась на две половины. Бабка Уля к этому времени успела прийти в себя, подхватила Ли Си Цына под ручку — их как ветром сдуло со двора. Дед вдребезги разнёс внутренний забор, открыв этим для любого гостя святая святых куреня — самогонную аппаратуру.

Будто на стенку наткнулся, уронил колун. Убежал в избу, ототкнул логушок, набулькал ковш пенной, ещё сладкой, неуходившейся браги. По-детски постанывая грудью, высосал три ковша. Благостно присмирел, достал свою вонючую «соску», набил самосадам и скоро надымил в избе так, что невозможно было рассмотреть, сколько времени.

На другой день пришла молчаливо-непреступная бабка Ульяна. Забрала кастрюлю, сковороду, будильник, козу Катюку и ушла с богатым приданым к дяде Ване-китайцу. Дед не проронил ни слова. Ельчик облегчённо вздохнул. Хоботовы в отчаянии кусали локти и рвали волос.

Но не следует думать, что Ельчик так уж незаметно обвёл всех вокруг пальца. Через пару недель,

на ночной рыбалке, дед беззлобно, с отрешённой грустью упрекнул:

— Это ведь ты нас развёл, — зацепил веслом воду, с шумом расплеснул по чёрному телу реки. — Живое об живом и думает.

И Ельчику стало душно от жаркого стыда. Больше об этом они не говорили ни разу.

17

Чапа не давал о себе знать, и о нём постепенно забыли. Да ведь ничего особенного в том, что в окрестностях Аскиза ошивался уголовник. Каждое лето из лагерей бежали эски, пробирались по Енисею к железной дороге. А там: рецидивист ли ты, безвинно ли попавший на зону — разница небольшая, в голоде человек скоро звереет.

Староверческие иконы и жуткий случай с Юганом сделали то, что поход в скит стал неизбежен. К тому же классная руководительница Ельчика приехала из степной курской стороны — она как-то вдруг влюбилась в горную, со скалами и бездонными пещерами тайгу. И просто не могла не повести ребятишек на поиски скита. Пусть даже действительно караулит его злая Огнёвка. Правда, были взяты меры: самописная карта, компас, тройка ружей, от комаров — «репудин» в большом количестве. Трезвые головы советовали воздержаться от похода: всё-таки энцефалитный клещ, медведь, да и сам-то скит — кто его видел? Уж если охотники в нём никогда не бывали, то где же найти ребятишкам? Но пришло лето, дни сыпались, как песок в часах, однообразные, мало интересные — душа просила приключений! И в одно прекрасное утро — тронулись.

«Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих!» — ладно, звонко выпевали девочки. Пацаны, стеснясь, подтягивали им. Ельчик вышагивал с ружьём на плече и топором за опояской, он ожидал, что все будут пялиться на него, но нет, каждый занят своим делом. Было сыро, прохладно, а солнце светило ярко, обещающая жаркий день. В лесу, в кустах, в траве взахлёб пели слетевшиеся со всего света пичуги; по речке плавали чирки. Учителыша только ахала да спрашивала: «А это что за птичка поёт?» Ельчик отвечал грубо — нет ничего ужасней, чем прослыть подлизой. И вдруг его будто баннным паром обдало — спотыкаясь, гремя котелком, за ними бежала Апраксина. Глаза красны от слёз, но вся лучилась светом счастья — отпустили! Она подбежала и пошла рядом с Ельчиком. Ему и радостно, и неловко, он только пучил глаза да шипел что-то невнятное. Пётр Матвеевич в дочке души не чаял, баловал её. Вот и сейчас она оделась в модную курточку с вельветовой вставкой — в «штаниках».

Под песню шагало легко, невесомо, будто каждый слог, каждая нота пружинно толкала в пятки, несла над земляной дорогой в чёрную тайгу.

— А это что за лог?

— Поганый!

— Почему такой?

— Кот в нём сдох, — серьёзно объяснил Башкин.

И Ельчик, отпрыск местного рода, должен был объяснять, что кот здесь ни при чём, а много лет

назад ходили в этот лог молиться, жившие здесь в прежние времена, «чёрные» люди.

— Кыргызы, — пояснила учительница, — здесь жили кыргызы. А от капища что-то осталось?

— Осталось, — всё не устал шутить Башкин. — Рожки да ножки!

Ребята посмеялись и тут же присмирели, заробев от мысли, что в этот узкий мрачный лог, заросший поднебесными елями, собирались на молебен легендарные кыргызы. А учительница продолжала рассказ о первобытных дикарях, населявших прежде пойму Енисея, и что они, между прочим, были каннибалы. Ребятишки уже не рвали конскую пучку, не поливали друг дружку струями воды — слушали.

Оказывается, и американские индейцы тоже вышли с этих берегов. Давным-давно, ещё при мамонтах, перебрались они по Берингову перешейку в Америку, а перешеек тем временем размыло — получился Берингов пролив, — вот и застряли енисейцы в Америке.

Как-то незаметно, за разговорами, подошли к ручью с гордым именем Волга. Учителыша хохотала, как первоклашка, и трижды перепрыгнула её, не замочив пятки. Наверное, для того, чтобы потом рассказать, как за минуту трижды форсировала Волгу. За Волгой вправо отвалился Первый Медвежий, и Ельчик объяснил, что раньше он назывался Первым Девичьим.

— А почему Первый Девичий? — защебетали девочки.

Но этого Ельчик не знал.

Шагали по изрезанной колеями дороге. Началась широкая долина с густым ельником. Справа к облакам уходила голая гора с чёрными остовыми обугленных деревьев. Всё сплошь заросло малинником.

— А где тут медведи сидят?

— Вон медведь! — указал на валун Башкин, и пацаны сделали из этого игрушку: пугались то пня, то выворотня, и всякий раз девочки визжали вместе с ними.

— Ну, хватит, из-за вас тайги не слышно! — рассердилась классная.

Над головой синими кулачками висели кедровые шишки; в ельнике мелодично посвистывали лесные курочки-рябки. В дорожной грязи отпечатались сохатинные следы. Хищный когтистый след росамахи. Учителыша только ахала да нервно подхихикивала. Кажется, уж и сама не рада, что завела ребят в такую глухомань. Лога один за другим — Медвежьи.

— Крокодиловых логов у вас нет?

— Нет, — успокоил Башкин. — Только Мёртвый остался.

От такой топонимии как-то сама собой пропала охота к анекдотам и шуткам. Тайга не любит смеха и звонкого голоса — ученики заговорили приглушённо, короткой фразой. Дошли и до Мёртвого ручья. У горы — избушка. Так и кажется, на курьих ножках. Крыта корьём и об одном окошке.

— Здравствуй, Бабушка Яга! — прокричал Башкин, но никто не засмеялся. Только улыгнулись да зябко поёжились. Лямки уже успели оттянуть плечи, уставшее тело искало отдыха, настоящего

привала. Остановились у речки. Пили с ладоней и ртом скачущий по камням Топорок. Достали хлеб, варенные вкрутую яйца, зелёный лук. Молоко в бутылках, заткнутых бумажной пробкой. Бутылки после еды не выбрасывали, а ополаскивали и клали обратно в котомки. Башкин шиковал каменными жамками. Одну дал Машеньке, и та не отказалась.

Пацаны, из какого-то непонятного желания покрасоваться, — хоть и красоваться-то особенно нечем, — разделись, искупались в чёрном омуте. Выскозили на камешки с посиневшими губами и гусиной кожей по всему телу, изо рта тянулась вязкая слюна. Старались не дрожать. Только зубы само собой всё выстукивали барабанную дробь. Малолетний Петька Фуфаев показывал «пушку на колёсиках», спуская резинку трусов. Вообще пока всё шло очень даже весело. Отдохнули, собрались, пошли по обузившейся дорожке вглубь. Малина подступала зелёной стеной; весёлой, светлой зеленью зеленели куртины Иван-чая. И вдруг — рёв! Так, что волосы дыбом и крик застывает в глотке. Выскочил из зарослей Башкин, регочет — то-то весело ему, перепугал друзей до колик.

— Ну дурак, Колька, ну дурак! — даже слёзы навернулись у учительши.

Посмеялись, пошлёпали дальше. Марьино коренье уже отошло, зато все кусты вдоль дороги кипели белой пеной цвета. Тайга благоухала запахом пихты, кедра, цветов — голова кружилась от пряного аромата.

Из-под ног вырвался рябчик, замешкался, сел на сучок. Ельчик сорвал с плеча ружьё — бухнул выстрел, ветерок отнёс молочно-белое облако дыма, и рябчик, трепеща крыльями, упал в траву. Ребятишки подхватили. Всё горло и зоб — голы.

— Дурак, Елец, самку убил.

— А это самка? Да, самка? — требуя, чтоб её разуверили, кричала Апраксина.

Горько стало Ельчику, неуютно на душе, но не бросать же дичь. Приторочил к поясу, зашагал вперёд, никому ничего не говоря. Как назло, вылетели ещё три рябчика — стрелять по ним не стали, прошли мимо. Солнце поднялось, припекало спину, голову, дети распарились, снимали куртки. Шли молча, слушая дробный перестук шагов по утоптанной тропе. Тропа становилась всё уже, всё чаще ныряла под зелёный половичок травы. И горы здесь, вдали от Енисея, пошли мельче, ребята ощутимо выходили на всхолмлённую таёжную равнину. В таких местах всего легче заблудиться. Рябчики пугали треском крыльев всё чаще. Пацаны, сначала как бы через неохоту, начали постреливать и скоро наколотили на добрую похлёбку. Солнце тем временем заметно склонилось к закату; вода в ручье бежала еле-еле. Пришло время подумать о ночлеге, о заготовке дров. Нашли сухостойную листовицу. Ребятишки, по-взрослому поплевав в ладонь, принялись рубить. Учительница с девчонками встала подальше, под ёлкой. Сухостоина вздрагивала, роняя на землю сучки, наконец хрустнула в комле, плавно поплыла и, с эхом ударившись о землю, распалась на три части. Девчонки мыли в речке картошку, чистили лук. Запахло дымком. Заплясал на поленьях огонь — и сразу упали сумерки,

а сердце мягко сдавила тоска по оставленным дома родным. Овеял холодком мистический страх перед ночёвкой в тайге. Глаза невольно перебежали от дерева к дереву, а трезвый ум успокаивал робкое сердце мыслью о том, что медведь в тайге всё-таки большая редкость. Ободрали рябчиков, выпотрошили, бросили в котёл — и распространялся аромат такой притягательной силы, что все невольно обступили костёр. Известно: мужики у костра греют колени, бабы — попку, она у них почему-то мёрзнет. Сейчас же ни один человек не повернулся к огню спиной, даже вполне взрослая учительница.

Ельчик с Башкиным непрерывно стучали топорами: нарубили жердей, пихтового лапника, соорудили вместительный шалаш. И, не отдохнув, опять принялись за дрова, по опыту зная, что, сколько ни заготовь, всё равно не хватит. Темнота в тайге наступает вдвух, почти без перехода, и вот уже от костра полетел в небо золотистый серпантин искр. Картошка на костре варится быстро, рябчики быстрее того. За день ребятишки промялись, жрать захотели, как волки, и многие, не в силах дожидаться похлёбки, кусали, глотали чёрный хлеб. Но вот, наконец, зачерпнули по первой ложке «буржуйской» еды. Учительница кушала рябчика впервые и всё не уставала радоваться, как будто у неё случился день рождения. Башкин всё шутил: доставал из миски мяско и орал на всю тайгу:

— Кто бросил в котёл лягушонка?!

Девчонки пищали, плевались, замахивались на него ложками, но есть не переставали.

— Это Августа Прокофьевна, — негромко прогудел молчаливый Фуфаев. Все так и попадали друг на дружку от хохота.

После еды пришла сонная усталость. Глаза слипались, будто смазали их мёдом. Вечером на человека нападает глупость, это известно, здесь же все перецеголяли самих себя. Выдумали вырезать на стволах формулы: $C + П = Л$. И при этом все прекрасно понимали, что такое «С» и кто такая «П». И Ельчик с приливом ужаса и счастья увидел нацарапанное: $З + А = Л$. И это тоже неспроста! Получался зал. Тот чёрный зал, где они впервые посмотрели друг на друга. Никто их не дразнил, не верещал: «тили-тили тесто». А так, как будто шутили по этому поводу: мол, зна-аем, не пробтаемся.

И вдруг Ельчику стало тепло, будто что согрело щёку, будто развели ещё один костёр. Она! Стоит, смотрит блестящими глазами.

— Вот тут, — повернулась спиной и отогнула хомутик свитера. — Не видать?

Он остолбенело глядел на её худенькую шею, на особенно круглый позвонок — там, где расходятся плечи.

— Не видать?

Он деревянно, неловкой рукой отвёл завивающиеся в крупные кольца волосы. И увидел клеща. Защипнул — Машенька выгнулась дугой, засмеялась, отскочила.

— Там клещ!

— Там родинка, — смеялась она, блестя влажными зубами.

— Клещ лазит, — туповато стоял на своём Елец.

Она покачала головой и прищёлкнула языком:

— Р-родинка!

Он погрозил ей кулаком: мол, чтоб была всё-таки поосмотрительней, не шутила бы с клещами.

Когда ребята наконец угнездились, стали засыпать, он перенёс костёр поближе к шалашу; вымел старое кострище, сверху накидал лапника, завалился и проспал до зари в тепле, как на русской печке. Другие заснули не вдруг и проснулись ни свет ни заря. Перебаламутили весь лагерь. Наварили концентратов и уже в шесть часов выступили на поиски скита. Тропы давно уж не было никакой. Постепенно иссяк и ручей. Выбрались на плато. Ельник рос здесь так густо, что невозможно продрасться. Шли звериными тропами, но они, как говорили в Аскизе, безутышно петляли, и наметить хоть самый приблизительный маршрут было трудно. К тому же не выславшаяся масса хором зевала, плелась еле-еле, засыпала на ходу. Многие откровенно хныкали, просились домой. Поблужав по тайге полдня, согласились, что найти скит на этот раз, пожалуй, не удастся. Перекусили у какого-то ручья с золотым песком в тенистом омуте. Засобирались домой. Но дорогу домой, оказалось, ещё нужно найти. То есть компас исправно указывал «север», и Аскиз, естественно, находился на востоке, но, не зная дороги, можно было выйти к Енисею километров на двадцать выше, в дикие скалы. Учительница забеспокоилась. Вертела карту так и этак. Но рисовали её примерно, выпуская второстепенные ручьи, и теперь стало непонятно, в вершину какой речки они вышли. Была и ещё одна ужасная возможность: свалиться в бассейн Боготола, а тот вообще впадает не в Енисей, а аж в Обь. Учительницу начинал прорирать зыбкий ужас. Бежать! Скорей бежать из этого гибельного места! Свою тайную надежду, Ельчика, она теперь без слёз сострадания видеть не могла. И без того небогатый «евонный» гардероб сейчас был представлен лохмотьями. Да и сам маленький, жалкий, несчастный какой-то. Где, какого медведя мог он поймать?! Горюшко. Ружьё через плечо висит, перекосило всего. Августа Прокофьева кашлянула в кулак, указала пальцем для себя самой восток.

— Ну что же... Домой?

Все обрадовались, и только у неё одной, кажется, сердце обмерло на секунду тоской по не случившемуся. Ведь где-то здесь стоит он, не крикнет. Не с такой мелюзгой и не такой оравой надо было идти. Над головой зашуршало — на сучок выскочила, свесила рыжий хвост белка. Она нервно подёргивалась, но смотрела с любопытством. И её выражение как будто говорило: да миленькие вы мои, куда же вас занесло? Учительница ещё решительней продиралась сквозь непроходимый ельник и не уставала подбадривать детей. Но странное дело: чем дальше уходили на восток, тем выше вставали скалистые горы. Где же Топорок с его плоским истоком? И всё-таки, не смотря на то, что шли явно не туда, учительница верила плавающей в вязкой жидкости стрелке: «красный нос всегда на

мороз!» Пусть иным путём, но рано или поздно должны выйти к Енисею.

— Августа Прокофьева, — подёргал Ельчик за рукав, — мы в Бирюсу увалимся, надо держаться левой.

Учительница послушалась, стала забирать левой. Попали в ручей, пошли по ручью, и здесь началось непонятное: он повёл их сначала на восток, затем отклонился к северу, потом потёк на запад и, наконец, на юг. Этого не могло быть! Августа Прокофьева выросла в зоне магнитной аномалии, и поведение компаса было ей не в диковину, — но утешения от этого было немного.

— Чёрт крутит... — заметил Ельчик хмуро, — надо одежду вывернуть шиворот-навыворот и сапоги поменять.

Но это было суеверие, и учительница не могла пойти на него даже под страхом смерти. Ельчика высмеяли.

Рябки тем временем вылетали чаще прежнего, и пацаны опять наколотили их на хорошее варево. «Ничего, — успокаивала себя учительница, — не пропадём». Ведь в глубине души именно о такой экскурсии она и мечтала.

Просмеяли Ельчика не зло, но обидно: «У Васьки всё бабкины сказки!» Повторено это было несколько раз, и, что самое невыносимое, — он видел, как засмеялась Апраксина. «Когда так — тогда так!» — сказал он в сердце своём, отстал и поплёлся теперь позади всех. Он даже хотел в ожесточении души, чтобы заблудились ещё больше, чтобы наконец вывернули одежду и поменяли обувь. Впереди зашумели — как выяснилось, нашли тропу! Ельчик внимательно смотрел себе под ноги, но никакой тропы не видел. «Пусть командуют, — вздохнул, — куда-нибудь выйдем». Но вот опять загалдели. Так и есть! Набредли на свою утреннюю стоянку. Валяется брошенная газета «Красноярский рабочий», яичная скорлупа. Оно, конечно, в тайге прямо по компасу не пойдёшь, обязательно отклоняет тебя чащобы и скалы — да не по кругу же! Нечистый крутит. Ельчик видел, как многие перекрестились, поплевали через плечо. Учительница, бледная от свалившейся беды, уверяла, что ничего сверхъестественного в этом нет, что правая нога шагает шире левой и, когда нет чёткого ориентира, правая нога заворачивает человека на круг. Дети слушали понуро. Колька Башкин с Фуфаевым сняли и вывернули куртки. Верные учительше девчонки коснели в атеизме.

И тут впереди кто-то умильно, сладким голосом пропел:

— Ой, Ма-ашенька!

Ельчик выдвинулся, чтоб посмотреть, кто это там так сердечно восхищается Апраксиной, и похолодел от ужаса: девчонки ловили медвежонка.

— Ой, какие мы холё-осеньские, — не успела договорить учительша, как из чащи ураганом вылетел громадный, с жёлтыми клыками зверь — и все, кто были на поляне, сыпанули в разные стороны. Ельчик не мог бы объяснить, как оказался на другой стороне ручья метрах в ста от поляны. Он орал и скакал, как заяц: за ним гнались! С ужасом слышал он треск и сап за спиной. Взлетел

на пригорок, скатился в ложок и ударился вниз со всех ног.

— Вася! Вася!

Обернулся — Апраксина. Остановился, хватая воздух ртом.

Сердце прыгало к самому горлу. Они так перепугались, что не смели шевельнуться. Но всё было спокойно. Пела-заливалась иволга, какая-то птица отрывисто дудела на всю тайгу: «до-до-до!»

Наконец страх стал ослабевать, и всё-таки не было в мире силы, чтоб заставила вернуться на поляну.

Они не говорили об этом, но оба думали, что учительницу зверь растерзал. Ельчик только теперь вспомнил про ружьё и две «пули» в кармане. Какого же труса он разыграл!

— Нечистый насрал... — прошептал он. — Одежу вывернули — вот он и всплыл. — Это всем известно: надел рубаху шиворот-навыворот — будешь бит.

Осторожно, стараясь не треснуть сучком, не шелохнуть веткой, шаг за шагом, на цыпочках подались вниз по ручью. Где-то недалеко должны были быть ребятишки — никто не смел подать голос, чтоб не накликать медведицу. Молчал и Ельчик. Только всматривался в щажу во все глаза. Он как бы и хотел вернуться к той поляне, но, делая крюк, всё дальше и дальше уходил от неё. То есть они останавливались и до немоты в ушах слушали: не позовёт ли кто? Нет. Все молчали. И это молчание гнало их дальше от страшного места. И уж когда надежды на встречу не осталось, Ельчик усмотрел под ёлкой Петьку. Он трясся, пускал слюни и не мог выговорить ни слова. При виде Ельчика ещё больше перепугался, но, осознав, наконец, что это свои, бросился к Маше, схватил её за руку и только приплясывал на месте. На вопросы о том, где остальные и что случилось с Августой Прокофьевной, ничего сказать не мог. И даже то, как сам здесь оказался, не мог объяснить. Он только тыкал рукой в ельник да говорил: «Вон! Вон!» — так его перепугала медведица. И тут Ельчика осенило, и он даже удивился, почему другие не сделали этого до сих пор. Взвёл курок и выстрелил. Он знал, что ни один медведь в мире не пойдёт на выстрел. Где-то за хребтом бухнуло и прокатилось по увалам замирающим отголоском. Ельчик, Маша и Петька, спотыкаясь, цепляясь за кусты, полезли в гору на выстрел. Через какое-то время бухнуло и прокатилось пустой бочкой ещё и ещё — в другой стороне. И уже стреляли, не переставая. «Дураки, весь порох пожгут», — проворчал скуповатый Ельчик. На особенно неудобных, непролазных местах он подавал руку Машеньке, — та — Петьке, и так — паровозиком — ползли вверх по косогору в сторону хохочущих на всю тайгу ружей. Теперь уже и кричали. Подали голос и зыряновцы. Выбрались на хребет. Остановились перевести дух. Внизу сверкучей саблей изогнулась речка. Ветер дул упругий, тёплый, настоящий сухой ароматом сосняка.

— А почему ты — Зырянов? — спросила Маша, прислоняясь к бугристому стволу.

Ельчик объяснил, что были раньше племена зырян — вроде нанайцев.

— А ты — почему?

— Апраксина? — И глаза её улыбнулись. — От пращура Апракши. Он из Золотой орды вышел к нам и крестился.

— А я — Фуфаев, — напомнил о себе Петька. — Куфайка, значит.

И здесь бухнуло уж совсем недалеко — ребятишки закричали и запрыгали на месте. Страх перед медведем отлетел. Все до безумия обрадовались обретению единства.

— Ой, и перепугала! О-о-ой, как перепугала! — смеялась и плакала живая-целёхонькая учительница. — Все здесь? Все ли? Все? — перебегала глазами от ребёнка к ребёнку. — Каждый пощупайте соседа!

Девочки облепили её со всех сторон, как черти грешную душу. Вдруг выяснилось, что нет Эрны Дыннер, — пришли в тихий ужас, принялись кричать. Эрна отозвалась неожиданно близко — и новый всплеск счастья!

Наконец тронулись домой. Ельчик выбрал направление, и скоро «свалились» в нужный лог. Ельчик его знал, как пять своих пальцев. Шли весело, бодро, но стоило щёлкнуть сучку или сорваться с места рябчику — замирал отряд.

— Сча избушка будет! — крикнул Ельчик.

И точно, не прошли и сотни метров, как вот она, избушка.

До дома восемнадцать километров! У избушки разбили стан. Последний. Солнце стояло высоко — можно добраться до дома до потёмок. Развели костёр, навесили котёл, ободрали рябчиков. Многие, ткнувшись где придётся, мгновенно засыпали. Другие, наоборот, были лихорадочно возбуждены, опять и опять перетолковывали случаи на водоразделе и находили всё новые потешные моменты. Ельчик был грустен и молчалив. Машенька спала на толстой подстилке из ржавых ёлочных иголок. Петька Фуфаев затих, ткнувшись ей в колени. Ельчик укрыл их лапатышкой. Отошёл к речке, где пацаны, поднимая камушки, кололи пиццу.

— Башка! — крикнул он нарочито грубо.

Колька зло скосоротился в ответ и продолжал бродить в ледяных струях речки.

— Ни филия там нету!

Башкин упорствовал, покрываясь гусиной кожей синюшного отлива.

— Давай останемся, а? — жалобная нотка прорвалась-таки в голосе Ельчика.

Башкин посмотрел снизу, из речки, но свысока. Синие губы его расплзлись в торжествующей ухмылке.

— Ски-ит искать, жадина-говядина! — прокричал с неожиданным ехидством. — Жадный долго не живёт — заболает и умрёт!

Ельчик вернулся к костру. Похлёбка побелела, вязко пузырилась. Девочки ставили миски, резали хлеб.

— Студенты, подъём! — скомандовала Августа Прокофьевна соням.

Те зашевелились, притворно недовольно хмурились. Бодрствующая часть хохотала. И тут Ельчик набрался смелости, подошёл к учительнице и сказал, что ему нужно остаться в тайге. Августа Прокофьевна сначала не поверила ушам.

— Зырянов! Вон на полотенце нож — нарежь меня и можешь отправляться на все четыре сто-

роны. — Понятно, что скоро отпускать не собиралась. Ельчик принялся канючить, говорил, что ничего не боится, привык бродяжить, что нужно проверить ягодники, и если не сделает этого, то дедушка ему уши оборвёт. — Пойдём смотреть всем коллективом! — поджала губы учительница. — Если уж так необходимо.

— Да пусть, Августа Прокофьевна! — заступилась Эрн. — Он же в тайге, как марал, неделями живёт.

Учительница не сказала ничего.

— Правда, Августа Прокофьевна, он привык. Он даже зимой в тайге ночует. Чёрт ему сделается! — уговаривали все. — А то ведь убежит.

Учительница так расстроилась, что обед начался в тяжёлом молчании. Но долго продолжаться это не могло. Да и всем известно: голодный человек — злой человек, и никогда он не бывает так добр и благодушен, как после сытного обеда. Раз надо проведать какие-то ягодники — пусть! Колхоз — дело добровольное!

— А не будет дед меня ругать?

— Не-ет, — заверил Ельчик, — ш-што вы?!

Башкин кривенько ухмылялся, но ничего не говорил. Ельчику оставили весь хлеб, сахар и прочую снедь. Табор поднялся, осмотрелся, тронулся в путь. Ельчик оставался один. И тут на него навалилась такая тоска, что слёзы закипели, навернулись на глаза. Никогда ему не было так горько и одиноко, как в эту минуту. Он уж дёрнулся было догнать, но тут Башкин оглянулся, засмеялся.

— Прибежишь, куда ты денешься!

И он остался.

18

Лучше всего след выпечатывается на снегу и в грязи, но и на траве его видно: лист мнётся, переворачивается внутренней, светлой стороной. Опытный человек заметит это сразу. Но проходит день-другой, трава поднимается, расправляется — и след пропадает. Чрез неделю ни одна собака не прочтёт. После гибели Югана прошёл целый месяц, но Ельчик, как ему казалось, нашёл его тропу. По следу на... ёлках! Тот ломал на пути лапки — и теперь они «заржавели», порыжели, висели в лесу, как красные флажки. И никто на это не обратил внимания! То есть, конечно, иногда ветку ломит рогом и марал, но случается это редко, а здесь метка на триста-четыре ста шагов. Зачем Юган это делал — непонятно. Может, к скиту трудно подойти? Боялся заблудиться? Едва ли. Ельчик взглянул на слабо дымящий, потухающий костёр, поднял с земли мешок, заправил руки в лямки — и пошагал на водораздел. Теперь он шёл иначе. Он не боялся ничего! Конечно, ружьё на плече, но самое главное — то, как простился с друзьями! Когда они подошли к повороту, который должен был их разлучить, Машенька Апраксина запела вдруг в высшей степени неприличную по меркам того времени песню:

Виновата ли я, виновата ли я,

Виновата ли я, что люблю! —

звенела она в самоубийственном восторге на дребезжащей, высекающей слезу ноте — и весь отряд грянул, как с горы покатился:

Виновата ли я, что мой голос дрожал,

Когда пела я песню ему!

И седая, вся в белых известковых потёках дырявая скала дрогнула и загрохотала на всю тайгу:

Ночью звёзды горят, ночью ласки дарят,

Ночью все о любви говорят!

Ельчик тогда чуть не взлетел от восторга и с этой минуты уже не боялся ничего. Миновал избушку, нырнул под полог ельника — и содрогнулся всем существом, увидев взлетевшую шею динозавра! Светло-рыжая, длиннопрянувшая из кустов полоса обернулась на дереве желтоглазой рысью! Ельчик сдёрнул ружьё, рысь зашипела, показав белые гвозди зубов. Он уж приложился, но что-то крикнуло: «Не стреляй!» Он знал, что это голос судьбы. Она ставила условие: если не убьёшь ты, то и тебе будет хорошо. Мгновение было упущено, рысь прыгнула на землю и была такова. «Дурак! — покачал головой. — Такой трофей!» Но в конце концов не за этим он отправился в тайгу. Значит, рысь шла за отрядом. Это бывает. Она любит пройтись вслед за человеком. И теперь он нет-нет да и останавливался, слушал: не хрустнет ли под пуховой лапкой сучок?

Выбрался на водораздел и ещё издали заметил «беличий хвост» — рыжую еловую лапку. Тропа здесь едва угадывалась. И даже не тропа, а как бы возможность её. Ельчик весь обратился в глаза и уши. Он слышал падение листка шагов за тридцать, почти на таком же расстоянии различал ползущего по стволу ели шелкопряда. Слышал, как на разные лады шипит и посвистывает ветер в хвое сосен. Он всё шагал и шагал по едва уловимому коридору, и всякий раз, когда смущал вопрос: куда теперь? — впереди показывался «беличий хвост» надломленной ёлки. И всё-таки пару раз он сбивался, уклонялся в сторону и тогда делал широкие круги, пока не находил следующую метку. Теперь уж не оставалось сомнений: вешки указывали путь. Но куда? Неужели к скиту? Или, может, к какой-нибудь ловушке? Вешки вели увалами, косогором: то вильнут к Бирюсе, то шарахнутся в сторону, но всё в одном направлении — вглубь. Вдруг над головой обвално загрохотало, заставляя съёжиться, втянуть шею в плечи: с лиственницы один за другим сорвались, постояли какое-то время в воздухе глухари — и тяжело, часто стуча крыльями, набирая скорость, ушли в сторону Бирюсы. Ельчик покачал головой и продолжал путь. Рябки летели из-под ног поминутно — он не стрелял. Теперь нужно быть особенно осторожным. Солнце склонилось к вечеру, а конца тропы не было и не предвиделось. Пора подумать о ночлеге.

Поел хлеба с сосновыми побегами, черемшой и консервами, запил ключевой водой. Нарубил пихтового лапника, навалил кучей, забился в середину. Замер. Наступил самый тревожный час природы, когда дневные птички заснут, а на

смену им вылетают на бесшумных пуховых крыльях глазастые совы, нетопыри; когда по тропам побегут беспокойные, скорые на расправу ночные хищники. Тайга погружалась в скрытую для глаз человека, исполненную мистической тайны работу. Кто-то пищал пронзительным, мяукающим звуком. Ельчик знал, что сейчас самый гон у медведей, да и рысь добавила страху, — он положил топор в головы и не выпускал ружья из рук. В ворохе лапника что-то потрескивало, попискивало, шевелилось. Ельчик знал, что это не змеи и даже не мыши — так шуршит, улегаясь, хвоя. Деревья вокруг почернели. Высыпали звёзды. Небо осветилось с одной стороны кровавым цветом, постепенно переходя в бархатисто-фиолетовый. Ельчик не уставал удивляться громадности неба, но сейчас впервые заробел при виде неземной его красоты. Так и ожидалось, что что-то должно произойти, что неспроста расцвело это великолепии. Не может быть, чтобы это случилось само собой, без цели.

На другой стороне лога заревел кто-то раскатистым рыком, как лев в зверинце. «Козёл! Это козёл!» — поспешил успокоить себя Васька, обмирая от ужаса. А сам уже читал молитву, вверяя себя вечному и милосердному Спасителю мира. И всё-таки, коченея сердцем, Ельчик понимал, что прекраснее этого грозного вечера у него уже не будет. Не вдохнёт такого густого, пахнущего смолой, цветами и хвоей воздуха.

Эту ночь он спал плохо. Мёрз. И всю ночь, баюкая его, тенькала на ёлке невидимая птичка. С нею было спокойней. Веселей. Перед рассветом стало совсем зябко, и Ельчик вылез из логова, отправился дальше. Лес тем временем наполнился птичьим гомоном, ясным светом, вошло и пригрело щеку солнце. Иногда на пути встречались глубокие карстовые ямы, метров на тридцать уходя воронкой в землю. На склонах этих ям особенно густо росла черника. Ягода уже вылупилась из опавшего цвета, смотрела в мир чуть заметной короной на сизой маковке. Есть их ещё невозможно — зеленец. Солнце поднялось в полнеба, обогрело спину, напекло плешь, а вешки всё маячили впереди, не приводя никуда. Ельчик останавливался в тяжёлом недоумении: да человек ли их оставил? Не он ли манит в беду? И приходилось играть с собой, как с маленьким: ну вот до того перевала ещё дойду — и поверну обратно. На перевале опять обманывал себя: ещё рано, кто ж с утра возвращается домой? Когда же солнце свалилось на другую половину дня — с одной стороны напала нешуточная тоска, но вместе с тем и очевидный резон идти вперёд. Теперь уж так и так ночевать в тайге. Тропа то и дело выводила на богатейшие ягодники. Все низинные места, как в скотном дворе, истоптаны зверьём. Но в вид не встретил ни одного. Постепенно тайга начала затихать, из логов потянуло предвечерней сыростью, и в добавок ко всему пропали вешки! Ельчик делал круг за кругом — нет. И такая обида закипела в груди у мальчика, что слёзы навернулись, но он не заплакал, а грубо, по-мужицки выругался. На сердце полегчало, но вешки не обозначились. Что делать? Вокруг, сколько хватал глаз, сине-зелёными волнами расплескалась тайга. Прямо перед Ельчиком

громоздились чёрные голые скалы. Взобраться на них никакой возможности. Да и зачем?

И его оглушила неожиданная мысль: а не он ли это? Природная ограда! Но что может быть за этим каменным массивом, как не голая скала? Наметил взглядом путь: по скале косо вверх тянулась щель. Обходить скалу, искать тропу удобнее, не было времени, и он, приторочив ружьё, топор и мешок, чтоб не болтались, направился к щели. Едва ступив на каменный карниз, отпрянул: из-под ног живым ручейком потекла гадюка. Как-то сразу пропала всякая охота лезть на эту чёрную скалу. Солнце между тем позолотило тайгу косыми лучами. Что, если там, наверху, один голый камень? Окочуришься за ночь от стужи. Ельчик вздохнул, перекрестился, поплевал через плечо и тронулся по расселине вверх. И чем выше поднимался, тем шире распахивалась безбрежная тайга. Тем более жутко и радостно было видеть застывшие волны зелёного моря. Ельчик не мог бы сказать почему, но ясно чувствовал, что путь, выбранный им, много раз хожен. И не недавно, а именно много лет назад. Как-то подозрительно легко шагало по нему. Он даже опасался западн. Кто знает, что было на уме у тех монахов? Ступишь на какой-нибудь камень — обрушится на голову скала, или провалишься в тартарары. С высоты уж невозможно было смотреть вниз: дух занимался, щекотало в груди, подгибались колени.

Как это всегда случается, вершин оказалось несколько. Сначала видится один предел каменной горы, заберёшься — с него открывается следующий, а там ещё. Ельчик боялся, как бы не сдуло с голой, отполированной ветром скалы! Он уже не шагал, а полз на карачках, цепляясь руками и ногами. Не смотрел в утонувший во мгле лог, ни на уходящий круг бордового солнца, а только приговаривал в лихорадке сквозь слёзы: «Ой, куда это я!» Зыбко тряся всем телом. О спуске не могло быть и речи — при свете дня, и то едва ли.

Наконец вершина! И то, что он увидел, на всю жизнь отпечаталось в сердце. Впрочем, он был уверен, что уже видел его. Когда-то, в другой жизни. Может, во сне. Может, ангел нашептал ему в ухо об этом ските. Перед ним открылась чаша, заросшая лесом. На дне — блюдце-озеро... На берегу деревянная церковь, венчанная луковкой с крестом. Долина небольшая: метров триста в поперечнике всего. Но всё здесь было особенное — и воздух, и свет, даже деревья незнакомые. Рай. Это был рай! То есть, в общем, всё очень походило на кратер вулкана, но чудно обустроенный, обжитой. «Батюшки...» — покачал головой Ельчик. И в самом деле, такого чуда он и во сне не видел.

И вдруг что-то стронулось в тени расселины — волос шевельнулся. На него смотрел горящими глазами... Чапа! Невольно отступил, нога скользнула, поехала, и он потерял равновесие.

19

Крошечный огонёк разгонял тьму на пару шагов, не больше. Они сидели за столом. Ели сныть-девятильник. Чапа варил эту траву, ею и питался.

— Меня там не ищут? — сложил руки на столе и склонил покающую голову.

— Н-нет... — замылся Ельчик, — сразу милиция искала, а потом бросила.

Чапа вздохнул.

— А зачем же ты его? — не удержался Ельчик.

Чапа закрыл глаза, кажется, прочитал про себя молитву.

— Это не так было, — возразил он. — Да и я тогда был другой. — Он замолчал, и замолчало всё. Только тенькала на улице та птичка, что баюкала Ельчика прошлой ночью. — Я его выследил, — качнулся Чапа, — до самого скита ветки заломал. Там уж, у Аскиза, деньги ему сую, а он, как медведь... — Чапа помолчал. — Свалил, вцепился в шею, аж захрустело. И как я его из-за голяшки вытащил — не знаю...

Опять надолго замолчали. Птичка всё цвенькала во тьме.

— Не понимаю, — опять шевельнулся на скамье Чапа. — Не понимаю.

— У него же дети, — напомнил Ельчик.

— Да-да, дети, — повторил Чапа шёпотом. — Дети. Куда их дети...

Больше они не сказали ничего. Разошлись по углам, заснули до утра. Едва Чапа шевельнулся на своём топчане, проснулся и Ельчик — задышал с сонным сапом. Чапа подошёл, постоял над ним, вышел на улицу. Ельчик тоже поднялся. Ружьё, топор — всё на месте. Вышел — и ахнул! По озеру плавали стаи уток, гусей, даже лебеди. Даже пеликан! Деревянная церковь будто зависла в облаках цветов. На деревьях — бульбочки молоденьких яблок! Ельчик сорвал одно, разжевал — язык связало, но не поддался желанию плюнуть зеленец, проглотил. Чапа развёл костёр, и дымок вознёсся, таял в небе.

— Вот рай-то на земле! — Чапа уже успел зарасти бородкой и теперь ничем не напоминал того негодяя, каким знал его Ельчик. — Видимо, там лава, — указал в землю. — Тепло оттуда. — Оглянулся вокруг, и видно было, что не устаёт удивляться скиту. — Только как же рыба в воде? — пожал он плечами. Я думал, там какая-нибудь серная кислота.

Ельчик спросил о монахах.

— Не знаю, — округлил глаза, — не знаю... — оглянулся по сторонам и прошептал одними губами: — Может, туда забрали, — указал на небо.

Варево меж тем упрело. Ельчик достал хлеб, «Частик в томатном соусе». Чапа даже застонал при виде такой роскоши. Но Ельчик заметил, что бывший враг его ничего не ест животного. Не притронулся и к частику. Ельчик отдал ему весь хлеб. Хотел оставить топор и даже ружьё — Чапа отказался. «Зачем оно монаху?» И в самом деле, ружьё здесь было ни к чему. Птички садились на плечо, клевали крошки с ладони. Когда Ельчик черпал воду из озера — утки не взлетели, а, наоборот, всей стаей поспешили к нему, что-то негромко крикая, любопытно глядя. Ельчику не просто неловко, а жутковато становилось от этого всего. Тут и правда поверишь, что человеческие

души уходят в братьев наших меньших. Как же после этого охотиться?!

И, не смотря на все чудеса и прелести скита, Ельчику не терпелось убраться поскорей.

Чапа не удерживал. За топор поблагодарил. Спросил, куда делись иконы. Ельчик сказал, что передал староверам.

— Ну, и слава Богу, — прикрыл глаза и покивал. — Так-то лучше. — Если скажешь, что видел меня, — ничего! — окончательно смирился он. — Меня четвертовать мало.

Ельчик заверил, что не скажет никому.

Вошли в церковь. В глаза бросились пустые оклады. Вынес Юган. На аналое — книга. Обтрёпанная с голым корешком. Чапа открыл её, как дед Зырянов, с задней страницы, указал на буквы: SHZE.

— Видишь?

— Ну.

— Это значит, что написана в 1367 году. За тридцать лет до Куликовской битвы.

Ельчик только головой покачал.

Чапа дал на дорогу сушёных груш и яблок из скитского сада. Ельчик никак не мог уяснить, вколлотить себе в сознание то, что в его краях растут фрукты! Поднялись на гребень чёрной скалы. Простились. Чапа при этом поцеловал ему руку, и Ельчик непроизвольно обтёр её об штаны. Чапа коротко усмехнулся: мол, ничего, всё хорошо. Мухоловка села ему на голову, что-то скоро-скоро заговорила — и Ельчик почти понимал о чём! Чапа подставил ладонь, она прыгнула на неё, обтёрла клюв и улетела, будто её выбросило. Ельчик засмеялся от неловкости и умиления.

— Я ведь и здесь нагресил! (напакостил) — прошептал Чапа и покачал головой. — Да дал Бог увидеть мерзость свою.

Ельчик смотрел на него и молчал. Чапа закрыл глаза и махнул: иди, мол. Ельчик отступил на косою карниз, оглянулся на лежащую далеко внизу плоскую тайгу — сердце захолонуло. Отвернулся — Чапы уже не было. И как-то жутко стало: да был ли уж он?

Обратная дорога коротка, и к полуночи он добрался до Аскиза. О ските не рассказал никому. А со временем и сам стал всё крепче сомневаться: да было ли это? Не приснилось, не померещилось ли? В тайге это часто случается. Напридумает себе человек, размечтается и сам поверит, а за ним — и все остальные. Как покойный Юган с огненной головой.

Но осенью того же года произошёл ещё один случай. Тётя Нюся, вдова Югана, дёргала на грядке лук и — выворотила золотой слиток в кулак величиной! Её, конечно же, забрали, долго держали в кутузке, добивались признания. Тётя Нюся только плакала да твердила о луковой грядке. Наконец следователь плюнул, отпустил глупую бабу домой. Никаких двадцати пяти процентов ей, естественно, не выплатили.

Ельчик догадался, откуда свалился самородок, но промолчал и в этот раз.

Елена Донская Человек середины



131

Елена Донская ■ Человек середины

Прозы у меня не получится. Я человек середины. Я и не замахваюсь на прозу. Мой жанр называется «путевые заметки». Мало ли кто где путешествует. Вот Карамзин путешествует по Европе времён Французской революции. (Карамзин — как хорош! Нежные черты, трость, шляпа, чёрная карета. Может быть, я немножко путаю его со Стерном. Но это не беда: скоро я избавлюсь от поверхностности и постараюсь говорить только о том, что я знаю очень твёрдо. Скорее всего, я буду вообще молчать). У Карамзина получились «Записки русского путешественника». Я тоже путешествую — путешествую по своей жизни с карандашом в руках. Это ведь никому не заказано. Было бы время.

Итак, Записки человека средней руки.

Глава первая

Диалог культур всему виной

— У тебя в голове гремучая смесь из христианства, популярных психологических книг и Бог знает ещё чего.

— Ну, во-первых, это, конечно, враньё. Это ты меня с кем-то путаешь. Ещё в университете мне впервые попала в руки книжка Германа Гессе «Игра в бисер». Помнишь, там на 124 странице рассказано, что наша эпоха — это эпоха фельетона. Так её Гессе назвал. Это значит, что народонаселение узнает свою правду не при личном продумывании книг философов, писателей, культурологов и пророков, а из миллиона газетных статей, авторы которых никакой правды не знают, но рассуждать о ней хотят.

Я ещё тогда обрадовалась этой 124 странице. Популярных психологических книг и астрологических прогнозов в свежей газете я не читала и не читаю.

Но, во-вторых, ты, конечно, прав. И сказать «гремучая смесь» — это ещё ничего, это ещё ласково сказано.

Ты слышал про диалог культур? Вот от него я и страдаю. В моей голове эти самые разные логики миропонимания затевают такую безобразную потасовку, что так бы и дала им по заднице.

Когда вы с Маней входите в дом, жуя мороженое и дразня друг друга «а Маня трясоножка», «а Володька сейчас умрёт от трясоножества», мой первобытный человек вопит, кричит и машет руками. Он плачет при слове твердь (!) в любых его модификациях, стоящих рядом с моими близкими. Вы разве не знаете, что это говорить нельзя? Потому что слово твердь — это и есть сама твердь. Я не хочу вашей тверди.

Ничего такого со мной не происходит: «в сознании человека культуры конца 20 века разные логики миропонимания вступают в диалог». То есть хочу — посмотрю на некоторое событие как человек мифопоэтического сознания, хочу — в античной логике миропонимания, хочу — в средневековой или нововременной. Ничего такого у меня не получается. Я не хочу, а смотрю, как первобытный человек на что-то одно, не хочу, а на другое смотрю, как христианин. Это у вас, умных мужчин, хочу — не хочу. И при этом ты, например, можешь время от времени произносить: я, мол, вполне неверующий. (Что в это время происходит с моим первобытным человеком и с христианским (тут они спеваются и вопят вдвоём), можно себе представить). Ты, оставаясь собой, можешь посмотреть на мир через очки древнего грека. Ох, эта ваша спасительная внеаходимость. А у меня никакой внеаходимости нет. Ты бы, наверное, мог сказать: ну, что ж, учись. Это мне напоминает любимый анекдот психотерапевтов. Приходит пациент и говорит: доктор, я боюсь. А доктор отвечает: не бойтесь.

Я всему могу учиться, пока не проснулся мой мифопоэтический человек. А вот потом уже не могу. Попробуй предложить первобытному человеку посмотреть на себя в античной или христианской логике миропонимания. Ну, что, съел?

Нет, вообще-то гипотеза верная: в «человеке середины» конца 20 века существуют разные логики миропонимания. Только ему, наверное, было бы легче, если бы не существовали.

Мой мифопоэтический человек родился в детстве, задолго до того, как я узнала о диалоге логик. Что я могу для нас с ним сделать? Я пытаюсь найти самое первое его появление. Когда появился мой первобытный человек? Какой он? Как я его узнаю?

Глава вторая

Страх и трепет

Моим первым мифопоэтическим человеком была мёртвая кошка. Очень маленькая девочка идёт вечером посередине, между родителями, загороженная вчера и завтра, справа, слева, вперёд и назад на веки вечные до самого моря. А на тротуаре лежит мёртвая кошка. Вокруг темно, но на кошку падает свет витрины молочного магазина. Чего ты стала? Пойдём. Смотри, она совсем засыпает. Может, надо взять её на руки? Когда живая кошка спит, её можно взять за лапу, и лапа тяжёлая. А эта кошка не такая. Пойдём. Не надо плакать. Нет, хватит плакать. Сколько

можно плакать. Мёртвая кошка — это я. Точно я, это не ошибка, я, самая любимая, и одеяло на ночь подоткнули со всех сторон, теперь я — мёртвая кошка, и меня сейчас выбросят в чёрное-чёрное туда, где отвратительно, как жирная вода и следы на стенках таза, когда моют посуду. Ну, почему ты плачешь.

Во-первых, это эмпатия, и мир маленького ребёнка так хрупок. И, во-вторых.

Нет, не мёртвая кошка, а ещё гораздо раньше. Помнишь про колодец времени в «Иосифе»? У каждого есть свой колодец — вот и спускайся.

Есть очень большая комната, в ней одно окно, а часть комнаты отгорожена стеной наполовину, как в залах музея. На эти дополнительные стены в музее вешают дополнительные картины, а в моём колодце это дополнительная граница между бабушкой и родителями. Я живу на границе — моя кровать перпендикулярна этой стене. В самой середине — круглый стол, и в воскресенье его накрывают бархатной скатертью. Прекрасный бордовый бархат — это знак воскресенья. И водить по бархату рукой в одну сторону и в другую, и смотреть, как меняется его цвет, — это прекрасное воскресное занятие.

Но в полумраке на бабушкиной стене портрет — большущая фотография в деревянной раме. Такие портреты бывают и в других комнатах у других людей, но *такого* портрета не бывает, и он есть тайна нашего дома. На фотографии нестарый лысый мужчина в очках без оправы, какие сейчас не носят, он смотрит всегда на меня, и мне нравится блеск его гладкой щеки. Это папин отец, отец моего отца, и бабушкин муж.

А чего не бывает — так это того, что на портрете за ним. На всех других портретах сзади ничего, серенькое нечто, похожее на стену или штору. А на этом портрете сзади чёрное и белое разрушение. С этим можно сравнить только одно слово: роды. Однажды об этом слове разговаривали мама и её подруга. Это слово означало разрушение, разруху, разваленный дом без передней стены, развалы кирпичей и вещей. Порядок — это бархатная скатерть в воскресенье, это доктор Померанцева и лежание в большущей бабушкиной кровати, когда у меня температура, это ночной поезд, когда наступает лето. А *роды* — это разрушение всего: нет ни доктора Померанцевой, ни поезда, а только эта стена с побитыми кирпичами. И за папиным отцом на портрете тоже были *роды*. Не серенькое спокойствие, а чёрное и белое разрушение.

Этот человек с портрета никогда с нами не жил, о нём никогда не говорили, но о нём шептались. По вечерам приходили друзья и смеялись в кухне, потому что в комнате в восемь часов ребёнку нужно спать, но их смех и слова замечательно можно было слушать в комнате после восьми часов. А вот об отце отца шептались так, что не слышно было ни единого слова. Интересно, что было бы, если бы ребёнок об этом спросил. Но ребёнок не спросил никогда. Потому что понимать, о чём нельзя спрашивать, и не спрашивать об этом, — вот что такое настоящее доверие и родство. В этой волшебной сказке нарушения запрета не будет, мы никому не откроем тайны

нашей закрытой комнаты и только этим спасёмся от беды.

Папа сильно болел, ему никогда нельзя было взять ребёнка на руки или быстро подойти к трамваю, мама плакала, бабушка не разговаривала с мамой, и всё это точно можно было исправить, если бы приехал папин отец. Если бы он к нам *вернулся*. И всё же, по-честному, было ясно, что его возвращение — это всего лишь сладкие детские мечты, что не может *вернуться* человек, на портрете которого, сзади — разрушение. Ему неоткуда *возвращаться*. Потому что его нигде нет. А вот думать об этом и представлять его возвращение можно. Но рассказывать об этих мыслях — нельзя.

Когда я выросла и разбирала семейные бумаги, я узнала, что папиного отца расстреляли в 38 году, а в положенное историей время была получена справка о его реабилитации. Родители пережили войну и болезни, расстрелы и реабилитации, прижились в этой жизни и родили единственного ребёнка — ненаглядную девочку Лену.

Второй мой мифопоэтический человек — это пространство и самое лучшее в нём: деревья и облака.

Отцу отца с его портрета видно было всю квартиру, даже коридор и входную дверь. Он видел меня, когда я спала, он вообще следил с портрета за всем происходящим. Не виден ему был только один уголок комнаты за «музейной» стеной. И когда я немного уставала от его взгляда, я придумывала себе маленький деревянный домик посреди квартиры и там пряталась.

Но зато, когда я оставалась в доме одна и меня пугал и не отпускал огромный белый человек, лицом которого была входная дверь с её цепочкой и замками, я молила о помощи папиного отца. Отец отца строго смотрел с портрета через всю квартиру в коридор, и белый человек, презрительно скорчившись, отворачивался от меня. Я убегала в кухню подальше от поединка этих сил, от встречи этих взглядов.

Я знаю, что ты скажешь. При чём тут мифопоэтический человек? — у каждого ребёнка миллион таких историй. Кто в детстве не строит маленьких домиков и не видит во всём людей? Вон том Платонова, завёрнутый в белую бумагу. Рассказ «Никита». Читай, наслаждайся, сравнивай с собой и не морочь себе голову.

Да, я тебя слышу. Кого же мне и слышать, как не тебя? Слышать и слушать нужно умных мужчин. Это же я человек середины. (Так, ощупываю голову, я ещё жива, кровожадные феминистки ещё меня не съели).

Всё, о чём я хотела спросить (кроме того, о чём спрашивать нельзя), чего я не знала и не понимала, всё это знал и понимал мой папа. Его признавали чужие люди. Бывало, я шла себе по улице, наслаждаясь движением пространства, своими деревьями и облаками, и вдруг меня огорошивал вопросом встречный знакомый: а что твой отец думает о событии имярек? Вынь да положь. Да позвоните, спросите, я ещё не знаю, что он думает о событии имярек. Я пока что спрашивала у него своё мнение о других событиях.

Я плохо разбираюсь в жизни, я не знаю, что и подумать о глобализме и антиглобализме, о западном или самостоятельном пути России и т. д. Я до сих пор брожу в лабиринте проклятых вопросов без всякой спасительной нити. Скоро, когда я изоблусь от поверхностности, я буду рассуждать только про н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Это, может быть, единственное, что я знаю твёрдо. Может быть, я даже знаю наизусть все причастия и отглагольные прилагательные в русском языке.

И всё же про моего мифопоэтического человека ты не совсем прав. Платонов описывает мир ребёнка, будучи взрослым писателем, Платоновым, собой. Это же пресловутая вненаходимость. А мой первобытный человек не умер в детстве, он постоянно отвоёвывает себе территории, укрепляет их и не отдаёт. Он толкается, гонит других, ведёт мелодию, и я боюсь тебе о нём рассказывать. Ты скажешь: что за доморощенная мистика, — как будто у первобытного человека мистика может быть не доморощенная, а философски осмысленная. Я оттягиваю разговор о нём не потому, что это приём ретардации. Может быть, я его немного стесняюсь, но клянусь, что это последняя остановка.

Я рассказывала о пространстве. С тех самых давних пор, из самой глубины колодца, я хорошо понимаю пространство. Я люблю и должна его мерить ногами, а оно обтекает меня и приветствует деревьями и облаками. Пространство бывает хорошим и плохим. В хорошем есть деревья и облака или хоть кто-нибудь из них. А если нет никого, то подступает бесстыжее голое солнце, мой враг и враг моего племени. Наверно, мы — люди воды, мы можем плыть и пить, пока солнце нас не иссушит.

Самое плохое пространство, в котором не видно облаков и деревьев.

Я живу в чудесном доме под облаками, и рядом с моими окнами — три тополя, соединяющие небо и землю. Страшно и трудно нам в бую, далеко до земли и до неба. Разломить в середине, убить нас могут ветры, и так далеко до корней. Ветры качают и валят, страшный танец ветров напрягает наши корни и жилы. Мы стары, мы гнёмся больно и трудно, и брат наш недавно упал, побеждённый ветрами.

Вот уже восемь с половиной лет я рассказываю об облаках и деревьях отцу. Не потому, что мой христианский человек не верует в Бога, а потому, что не знает, как там обстоят дела с облаками и деревьями. А дальше — тишина. Дальнейшее — молчанье. Какие сны приснятся в смертном сне?

Облака и деревья знают наше родство, и пространство говорит мне: смотри, — но как их понять?

Я была беременна, и незадолго до родов мне сказали, что в городе появилось узи — такой телевизор, где можно посмотреть ребёнка в животе. Пока знакомые договаривались с врачом, я стояла во дворе старой больницы.

И тут пространство стало играть со мной в игры. Это был старый двор, но вырезанный по своему контуру от земли до неба и прикрытый, как крышкой, облаками. Как гигантский бидон,

в основании которого не круг, а двор. И даже солнце сжалилось над моим племенем, не желая немедленно нас сжечь. Кто-то играл моим зрением, как кинокамерой. Я видела общий план двора, а потом каждую щербинку на каждом каменном крыльчке — в многократном увеличении. Только планы меняли не постепенно, а резко, и камера каждый раз была неподвижна. Мне виден был этот двор во все дни его жизни сразу: внятен рост травы и ветшание стен. Мне ясны были все лабиринты коридоров и крыльчек старой больницы, как будто я была её архитектором.

Если бы это была литература, то такое видение персонажа назвали бы приёмом остранения. Так Толстой описывает военный совет в Филях глазами маленькой девочки, лежащей на печи. Это делается для того, чтобы читатель действительно *увидел* это событие, а не пропустил, как мы пропускаем, что попало. Увидел, как впервые. Но кому нужно играть со мной в остранение? Кому и зачем нужно, чтобы я увидела этот двор, как впервые?

Ребёночек на узи оказался замечательный, лежит прекрасно, будет здорова, счастлива и жениха найдёт хорошего.

Через две недели я проснулась на самом рассвете от перерезающей живот боли. Деревья качались за окном, а облака неслись прочь, не внемля.

Знакомые сказали: к нам приезжать не надо, если боль, потому что нет круглосуточного детского врача.

Скорая привезла меня в дежурный роддом. Дежурная гуманистка конца двадцатого века сказала: вы будете плохо рожать, и очень скоро, потому что ребёнок неправильно лёг. Может быть, вы повернёте его правильно? Мы не сможем. Так что же мне делать? Лежите.

Если бы она была шаманом моего племени, это значило бы: надо просить помощи умерших предков. Но у неё это ничего не значило. Кроме того, что мой живой ребёнок, который четыре месяца толкается руками и ногами, ей не интересен. А детский врач вообще-то есть. Нужно ли быть первобытным филологом, чтобы услышать магическое слово «вообще-то»?

Как можно лежать? — нужно в округе искать помощи. Моя палата, выкрашенная в бежевую краску, была пуста. Из окна — цементный забор до неба. В коридоре молчаливый чёрный телефон. В комнатах чужие женщины едят, лежат и сидят на кроватях. Спокойствие каравана верблюдов в пустыне.

Люди в белых халатах, где вы?

В безмянной комнате за белой дверью умыльницы, тазы, инструменты. И рядом с этим хламом, на кушетке, покрытой оранжевой детской клеёнкой, на эмалированном подносе, прикрытый белой пелёнкой, — мёртвый новорождённый ребёнок.

Знает ли каждый из нас, что такое боль, страх и твердь?

В коридоре по чёрному телефону я сказала: заберите меня отсюда. Какая скорая? Я уезжаю, немедленно. Такси, поливалка, мотоцикл, самосвал. Договариваться? С облаками. Я ничья уже — я великого сонма. Я жду на улице. Ты не хочешь им даже сказать?.. Документы. Не хоч.

Такси привозит в тот самый двор с острашением. Ты оказываешься в том же месте, но теперь оно уже грозит гибелью. Двор теперь был обычным, но просто чёрного цвета, будто надеты тёмные-тёмные очки.

Я опять пыталась понять, что мне хотело сказать пространство этого двора, о чём кричал мне мой первобытный человек, и не могла. Я поняла только, что здесь мне суждено испить великий страх. Но разве может первобытный человек не идти в лес? Он боится и идёт. Он и хочет идти назад, да пути назад нет.

Разве кто-то описывал страх?

Голубые кафельные стены от пола до потолка. И всюду кровь. Кровь на соседней оставленной постели. Кровь между ногами женщины, когда бросаешь случайный, мельком, боковой взгляд, идя по коридору к месту пыток. Это родзал. Зачем это видеть? Кто её так положил?

О вы, бездушные потомки, разве вы не знали, что красное, что кровь на голубом невыносима? Что красное рядом с голубым усиливает страх тысячекратно. Голубые кафельные стены сжимают сердце всё туже и туже, и оно лопаётся под пальцами стен, и вся кровь вокруг — это кровь разбрызганного сердца.

Ещё несколько раз виделось мне такое странное место, как двор больницы, и обычно оно норовило устроиться между жизнью и смертью.

Сначала мне казалось, что речь пространства, обращённая ко мне, по функции приёма похожа на сны в литературе.

Не сны у Достоевского, а сны у Пушкина. У Достоевского последняя правда о человеке — это его собственное слово, а сны говорят нам то тайное, чего без снов, в ясном свете разума, человек сам о себе сказать не может.

Но герой видит сны по воле автора, Михаил Михайлович, ведь так же? Автор заставляет героев видеть сны, и он же заранее сочинил читателя, который заметит, что к Свидригайлову приходит Марфа Петровна, а Раскольников только что видел во сне убитую им старуху.

У Пушкина иначе, у него в «Онегине», в «Капитанской дочке», в «Метели», в «Борисе Годунове» сны — это возможность повернуть голову, стать на цыпочки, изогнуться... и заглянуть туда, куда заглядывать нельзя. Сон похож на смерть, где нет ни прошлого, ни будущего, и только во сне можно перегнуться, заглянуть — и не слететь с круга.

Сны у Достоевского позволяют посмотреть внутрь человека, а у Пушкина — за угол. Так и должно быть: задолго до психоанализа Тютчев знал, что бездн для человека две — внутренняя и внешняя. Нас влекут обе.

А кто я: читатель, герой, царь, царевич, король, королевич?

Станным местом была лестница больницы, и во вторник, провозжая меня к лестнице, отец сказал: «Я умру...» В палате я кормила его тёплым пюре, а он, отказываясь от газет, журналов, книг, приёмника, магнитофона, качал головой, и смотрел куда-то в ту сторону, куда я не могла посмотреть, и видел то, чего я не видела.

Лестница уже стала странным местом за пять дней до этого, а теперь я заплакала, стоя с папой у

лестницы, и говорила: нет, нет... Я думала, смерть пройдёт стороной. Ровно в назначенное время я перестала плакать, оставив папу у лестницы, потому что в зубе у меня был мышьяк и меня ждал стоматолог. Больше отца живым я не видела. У меня осталось его письмо из палаты реанимации, где почерк был не папин, а мысль уже терялась.

А что надо было *делать* после странного двора и странной лестницы? Может, в странном дворе я делала всё, как надо? А у странной лестницы нет? Какой стоматолог? Какой мышьяк? Лечь на эту лестницу лицом, обнять её ступени и не двигаться, пока смерть не уйдёт по лестнице вниз, в свою преисподнюю.

Глава третья

Развилка

Здесь развилка. Следующая глава может называться *Герой и судьба* или *Бог-отец*.

Что надо делать в странном дворе и у странной лестницы? Мой мифопоэтический человек на время покидает меня. Он-то знает, что делать, — для этого у него есть мифы нашего племени.

На распутье камень, а на камне надпись — что ждёт путника на тех путях. Богатырь должен на всём скаку, не слезая с коня, прочесть надпись и выбрать правильный путь.

Так то ж богатырь. А я посижу на этом распутье в смешанном тихом лесу. Обочина светлой песчаной дороги, облака, рядом столбик, ставший серым от дождей, где на четыре стороны света лесником написаны стёршиеся числа, которые абсолютно правдивы. Тишина — это звуки леса.

Я сижу на земле, на обочине светлой песчаной дороги, держу в руках спутанный ком нитей и прошу помощи у хора. Я прошу отцовской и твоей ясности мысли для меня, женщины, человека середины.

Кто я? Звено в своём роду, герой? и боги приглядывают за нашей судьбой с высоты. Я часть своего рода, и моя роль — это роль дочери. Ифигения, Антигона, Исмена. Можно ли назвать меня героем?

Боги и герои, судьба, нити судьбы, Парки, Мойры, смерть, Стикс, Харон, туманная переправа, чертог теней.

Нет, за роль дочери спрятаться мне не удастся. Я здесь одна. Всё чаще, всё обыкновеннее я разговариваю с Богом.

Кто я? Что я здесь делаю и зачем? Бог, добро и зло, под временным небом чистилища, душа, смерть.

Интермедия первая и единственная О читателе

Поговорим о Риме. Дивный град. Невозможная красота. Поговор-о-рим о Риме. Я читатель. Эта красота для меня. Я её вижу и слышу.

Бог — человек. Писатель — герой.

Писатель — читатель — герой.

Что это за читатель такой? Почему он появляется? Зачем эта роль? Кому он нужен?

Лидия Яковлена Гинзбург говорит, что писательство — один из способов переживания жизни. И я ей верю. Кто-то переживает жизнь, сажая огурцы и капусту и пристально глядя на их ежедневные превращения или внезапную гибель. Другой переживает жизнь, ремонтируя железные дороги, а третий — железные зубы. Все способы странны. Писатель — не лучше и не хуже. Он не может иначе переживать жизнь, кроме как опытая её.

Всё верно. Читатель не нужен.

Но я же знаю, что это не так: «Читателя, советчика, врача!»

О. М. зовёт одного — или троих?

И как нашёл я друга в поколении,
Читателя найду в потомстве я.

Читатель — это друг? Собеседник? Может быть, писатель лукавит? Беседу в прямом значении выстраивают двое: реплика одного влечёт реплику другого. Читателю же преподносят *произведение* — оно выстроено и завершено. Это такая особенная «реплика». А теперь «побеседуем».

«Нет лирики без диалога. А единственное, что толкает нас в объятия собеседника, — это желание удивиться своим собственным словам, плениться их новизной и неожиданностью».

Только не говорите, что поэты — это нарциссы, которые смотрятся в зеркало читателя.

Всем писателям необходимы читатели. Достоевский самим текстом конструирует читателя, который один может увидеть то, чего не видят герои.

Лишь читатель может сопоставить приходы Марфы Петровны к Свидригайлову и сон Раскольникова, где смеётся убитая деревянная старуха. Лишь читатель, сопоставив, может найти ту «общую точку» между Свидригайловым и Раскольниковым, о которой смеясь говорит Свидригайлов. Свидригайлов «точку» чувствует, но не видит. Писатель создаёт читателя, ещё один глаз в пространстве, ещё одну роль в этом мире.

Может быть, ему нужен *брат*, Энкиду, которому писатель доверит видеть то, что видит он сам?

Писатель — демиург, «создатель миров моих». И человек: мы видим его черновики — ход строительства. И почему-то в роли демиурга его так тянет дать своему читателю те возможности, которых нет у человека. Которых нет у писателя в роли человека.

Первая возможность — заглянуть туда, куда заглядывать не след.

«Бессмертие... пришло бессмертие...» Чьё бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепёке.

Мне снилось, что лестница крутая
Меня вела на башню, с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник,
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался...

Может быть, и Демиургу в роли демиурга хочется того же, и он создал нас видящими сны?

Вторая возможность — спутать роли, и она описана у Пушкина.

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел её романа...

Про роман жизни не очень понятно.

В жизни я человек. Меня ставят в положение читателя романа жизни, то есть из системы Бог — человек переводят в систему писатель — герой — читатель. Появляется эта пресловутая третья роль — читатель. Чем отличается читатель от человека-героя? Сейчас я это произнесу. Читатель не действует, это глаз-ухо, *брат*, свидетель.

Предложение почитать роман жизни, кроме красоты самой идеи, имеет психотерапевтический оттенок. Сейчас *ты* раздвоишься. *Ты* человек и герой своей жизни. Но *ты* и читатель её.

Как герой, ты действуешь, и на всех развилках твоей судьбы решения приняты тобой. И ответ за все решения держать тебе.

Но если ты устал быть человеком-героем, побудь читателем собственной жизни. Теперь ты читатель. На всех развилках твоей судьбы решения приняты не тобой, а *другим* тобой. Судьба сложена, роман написан «до сейчас», и ты размышляешь о том, как *он* мог поступить.

Отстранись, почитай, и, возможно, у тебя снова появятся силы и желание стать героем этого романа, то есть человеком.

Мы плачем вместе с героями, бывает, плачем, даже когда они не плачут. В последней вещи Трифонова один из его героев говорит, что страдание и сострадание — это нерв литературы. Я страдаю с Эдипом и за него, я переживаю катарсис. Но не моими действиями произведена судьба Эдипа. И он берёт и несёт ответственность в этом мире за свою судьбу. А я — только за свою.

Сам же Пушкин от ответственности не отказывался.

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

Пушкин в роли человека читает свиток воспоминаний о своей жизни с отвращением, но ничего не позволяет себе забыть, то есть вычеркнуть или смыть, а значит — принимает ответственность во всей её полноте.

Просьба пристегнуть ремни: на взлёте, на посадке сильно болят уши, а в середине пути тошнит и болтает. Если уж летишь, точно будет болтать.

Кто я в этом мире? Писатель, читатель, герой? Хор?

Глава четвёртая Герой и судьба

Портрет папиного отца на стене — это была наша тайна. А внизу под тайной сразу была красота.

Под портретом стоял чудесный бабушкин диван. У него была спинка, замечательные круглые валики-бока, зеркало и две полочки. В других домах на таких полочках стояли слоники, а у нас — красота. На полочках были две глянцевые твёрдые фотографии — портреты бабушкиных сестёр. Бабушка не разрешила их брать в руки, но как это было возможно? тем более, что дедушка с портрета — разрешал. Рассматривать эти фотографии можно было двумя способами: или стать коленями на диван лицом к спинке и держаться рукой за валик, или, когда никого нет дома, взять их в руки и сидеть со всеми удобствами на диване.

Во-первых, фотографические портреты были не чёрно-белые, а коричнево-бежевые. Поэтому ничего опасного в них не было — одна только нежность, хрупкость и красота.

На каждом портрете посередине стояла юная женщина, в таком длинном белом платье, что из-под него виднелись лишь белые туфельки, и в белых прозрачных перчатках до локтя. Платья и перчатки стоили удивления — таких больше нигде не было, и мне никогда не надоедало их рассматривать. Платья были из тончайшей ткани с чудесными, вышитыми белым шёлком, цветами по подолу. Может быть, чуть-чуть это было похоже на нарядные гардины маминой мамы — их вешали только весной на пасху.

Сначала женщины казались одинаковыми — из-за длинных платьев и причёсок: подобранные выющиеся волосы и «случайные» локоны вокруг лица. Но потом я их, конечно, различала.

На каждом портрете внизу была надпись: Рига. Фотография Иозельса. 1910 год.

Чем больше я на них смотрела, тем яснее становилось, что уж если жить на свете, то только такой, как они, и ни на что другое ни за что не соглашаться. Ни за что.

Каждый месяц бабушка шла на почту и отправляла в Ленинград пятнадцать рублей, а квитанции зачем-то скалывала скрепочкой. В Ленинграде жила та сестра с портрета, у которой губы были тоньше, а глаза больше, и она была очень бедная.

Вторая училась в Ляйпциге, как говорила бабушка, была врачом и умерла «на тифе» в гражданскую войну. Совсем молодой: ничего, ни детей, ни следов, ни могилы.

Вообще всё я узнавала постепенно — кое-что мне рассказывали, а многое можно было подслушать и понять. Как я любила бродить вечерами, когда тихо в доме — ведь ребёнок спит — по лабиринтам взрослых разговоров, событий, имён!

Постепенно я поняла, что эта бабушкина сестра из Ленинграда, тётя Бетси, странная. По бабушкиному мнению, она странно живёт.

Тётя Бетси жила во втором доме по улице Рубинштейна, соседнем с автоматом-закусочной на Невском, и я заметила, что взрослые при сло-

вах Невский и улица Рубинштейна значительно кивают.

«Остановиться» у неё было нельзя — она жила в крошечной комнате для прислуги в *своей* квартире-коммуналке. Как это: в *своей* квартире-коммуналке? Это слово при рассказах о ней повторялось ещё раз: её муж умер *своей* смертью в конце тридцатых годов. Как будто можно умереть чужой смертью.

Потом, когда я стала взрослой, я узнала, что слово смерть — хорошее слово. Оно и означает *свою* смерть, потому что с — «хорошая» приставка: сдоба, счастье, смерть. Другие смерти называются «гибель».

Тётя Бетси знала три языка: немецкий, французский, английский, — а такие люди даже по улицам Петербурга не ходят стадами. И могла бы заработать переводами, но *не хотела*. Она соглашалась только на устные переводы: читать с листа со своих немецкого, французского и английского. А писать не хотела. Читать с листа стоило тридцать копеек лист.

Всё своё свободное время тётя Бетси проводила в кино. Окрестности улицы Рубинштейна кишели кинотеатрами, билет на дневной сеанс стоил всё те же тридцать копеек, и тётя Бетси норовила каждый день два-три раза побывать в кино.

Бабушкины приятельницы выслушивали рассказы о тёте Бетси с изумлением и осуждением. Не по возрасту живёшь всё равно как не по чину берёшь. Так нельзя.

Когда наступало лето, и меня увозили в отпуск, тётя Бетси приезжала из своего северного Питера к бабушке в наш дом-музей на фрукты-овощи. Иногда на пару дней мы пересекались. В первый раз я увидела её лет в пять и удивилась. Я-то ожидала увидеть ту бабушкину сестру с диванного портрета.

Так вот какой теперь была прекрасная Омиэр — крошечной и кроткой.

Выяснилось, что эта бабушкина сестра и диванная — разные сёстры. То то, а то то. Я была тогда уверена, что старые люди и рождаются старыми.

Эта бабушкина сестра приезжала только к нам — *больше у неё никого не было*. Её молодые дети погибли в блокаду: сын погиб на фронте, а дочь вышла на улицу и не вернулась.

Вообще довольно рано я стала понимать, что не родиться было гораздо проще, чем родиться. Именно мне.

Одна бабушкина сестра погибла молодой, у другой погибли дети.

Мамины тётки не уехали в эвакуацию и остались в Сморгони. Они погибли, потому что во время войны немцы, папа сказал, фашисты, а мама — немцы, *нас* убивали. *Нас* убивали. Этого достаточно, чтобы некоторое время ничего не спрашивать.

Папин отец вообще пропал. От него ничего не осталось — остался только портрет, папа и шесть бежевых томиков Пушкина в тканевой обложке издания тридцатых годов. На них было непонятное слово ГИХЛ.

В этом Пушкине я и нашла фразу, сразу всё объясняющую. *Кто* меня *волшебной* властью

из ничтожества воззвал. Без *волишебной* власти *кого-то* родиться невозможно.

Я видела это так: мои родственники едут с огромной скоростью на лыжах, лыжня кручёная, сложная, и всюду палочки, которые нельзя сбить. Нет ни неба, ни деревьев, а только блестящая снежная пыль и свет, но, если сбиваешь палочку, сразу попадаешь из света в чёрную смерть. То есть это не просто палочки, а палочки погибели. Такая игра, где от одной палочки погибашь ты, твои дети и внуки на всё будущее время до самой бесконечности. Там, где был ты, остаётся пустота на веки вечные, дыра, которую ничем нельзя заполнить.

Мне казалось, что все эти тётки и бабушки не смогли проехать, сбили свои палочки, и их дети и внуки не родились. Получилась я одна — родилась за всех.

С десяти лет я вела дневники — мне хотелось силой удержать время, каждый день жизни.

Нет, были, конечно, весёлые и ловкие родственники, которые не сбили свои палочки. Мама в эвакуации в Алма-Ате заболела брюшным тифом и чуть не умерла. Её брат Толик в двенадцать лет продавал на базаре их тряпье и воровал маленькой маме еду. Однажды его чуть не убили за воровство, но он убежал.

Мамин брат Толик выжил, женился на москвичке и переселился в Москву. Мой папа, приезжая из Москвы, рассказывал истории о родителях его жены, и все очень смеялись в кухне после восьми вечера, когда ребёнок спит.

Родители жены Толика долго жили в Москве *в баракке*. Это было непонятно. Удалось выяснить только то, что мы не живём *в баракке*. Казалось, что *в баракке* — это как во мраке. И во мраке этого барака было очень много соседей и очень тонкие стены.

Отец жены Толика — огромный великан — имел странную профессию: он развозил книги, но не был шофёром. Он приносил время от времени книгу и говорил Толику: вот, я взял, почитай, тебе пригодится. Маленькая и худенькая мать жены Толика спрашивала мужа: Соля, ты купил эту книгу? Нет, Дина, — отвечал он, — я её взял. Как это взял? — спрашивала мать жены Толика испуганно. — Как можно взять книгу? Тогда отец жены Толика громко кричал: Да, Дина, да, я украл эту книгу! Я её украл! Я украл эту книгу! Мать жены Толика, находясь в обмороке, приговаривала: Тише, тише, соседи услышат.

Вообще мать жены Толика, напуганная на всю жизнь, говорила «Тише, тише, соседи услышат!» по всякому поводу. И когда это совсем надоело её великанскому мужу, он громко-громко кричал: Всё, Дина, всё, пойдёшь и сдайся! Сдавайся! Иди и сдавайся!

Взрослые в кухне не задавали папе никаких вопросов. Им было понятно, что значит «напуганная на всю жизнь».

Толик был замечательный родственник: мало того, что он не умер, не в пример другим, не сбил свои палочки — он ещё всё умел делать руками, и когда он приезжал из Москвы, у нас наступало время великих починок. Все неработающие лампы, текущие краны и поломанные стулья приходили в

себя и возвращались к деятельности. У него была над ними *волишебная власть*.

Но Толик и его дети были далеко в Москве, а рядом больше никаких детей не было. Если представить себе, что все бабушки и дедушки были посажены густо, как цветы на клумбе, то к моему рождению на клумбе оставались одни дыры.

И тогда мне пришлось в голову выяснить, все ли так сложно было родиться или это случайная особенность нашей семьи.

У родителей были ближайшие друзья, они назывались дядя Сеня, тётя Нина и их дочь Танечка. И я решила понять, каковы были её шансы на рождение.

Я уже знала, что ничего такого у взрослых спрашивать не надо. На вопрос: Как родилась Танечка? — бабушка ответила полную чужь: Скоро ты это будешь учить в школе. Взрослых надо наводить на нужные темы — дальше они сами всё расскажут.

Дядя Сеня, тётя Нина и Танечка жили на очень центральной улице, в коммуналке, в *своём* доме. Оказалось, можно жить в коммуналке не только в *своей* квартире. Это был небольшой двухэтажный дом, где никакой ребёнок не мог попасть в туалет без сопровождения взрослого. Идти в туалет нужно было через весь этаж по лестницам, переходам и террасам, но зато по дороге можно было заглянуть во двор.

У родительских друзей было две комнаты, и во второй жила бабушка Ксения Александровна. Лицом и фигурой она была похожа на тётю Бетси — все они становились крохотными и кроткими. Большую часть комнаты Ксении Александровны занимали цветы самых разных размеров и оттенков зелёного, а в уголке ютилась горка с необыкновенными чашками и круглый столик на одной ноге.

Я не часто бывала в этой комнате, но если все родители хотели спокойно попить вино и поговорить, то у Ксении Александровны испрашивали разрешения сдать ей детей. С круглого столика тогда снималась вязанная крючком узорная салфетка, и на матовой тёмной поверхности Ксения Александровна раскладывала пасьянсы.

Как-то она рассказала, что есть такая примета: увидев падающую звезду, нужно немедленно загадать желание. Я никогда не видела падающих звёзд, а Ксения Александровна видела. И желание её сбылось, но через шестьдесят лет, когда оно было уже не нужно.

Я всё запомнила про пасьянсы, звёзды и желания. В пятнадцать лет в августе я увидела множество падающих звёзд. Каждую ночь я смотрела в чёрное звёздное небо, а они всё падали и падали. Я загадывала желания, и все они скоро сбылись, но не менее скоро оказались не нужны, как и желание Ксении Александровны.

Как-то за пасьянсом и выяснилось, что отец Ксении Александровны был мэром нашего города и проложил трамвай. А все братья Ксении Александровны, как я смутно и ожидала, *погибли молодыми*.

Всё сходилось, всё получалось правильно: Танечкины родственники тоже сбили свои вешки, и она осталась единственным растением на своей

клубе. Только не заметно было, чтобы это её тревожило. Я считала, это потому, что у нас с ней огромная разница в возрасте — два года.

Потом я узнала, что Ксения Александровна и её родственники — дворяне, а братьев её расстреляли: они были офицеры и белогвардейцы.

Но самые страшные, самые многочисленные палочки всё-таки были на пути моего отца. Казалось, на его путь устремились все существовавшие палочки.

Глава пятая

Герой и судьба. Продолжение. *Отец*

Я убит подо Ржевом.

Конечно, родители были могущественны. Я чувствовала, что они меня *спасут* и есть что-то большее, чем я сама. Гнездо, дом над моим маленьким домиком в середине квартиры. Из чего строится гнездо? Лишь боги знают... Например, ты идёшь по улице, и бесчисленные знакомые останавливаются с мамой, или с отцом, и начинается: «Неужели это ваша? Ой, какая рыженькая, похожа на папу, а сколько?». Все они тебе давно надоели, но так должно быть.

В какой-то момент ты сам должен стать этим гнездом, и горе тебе, если у тебя не хватит сил, или чувств, или просто знакомых.

В пять лет я тяжело болела, и в шесть, прямо в день рождения оказалась в больнице. Больница состояла из высокого второго этажа: палата девочек на 15 человек, палата мальчиков на 15 человек, а в середине столовая на всех. В палате меня не любили — это называлось: она *воображает*. В общем, *воображуля*.

Гуманиты из детской больницы запрещали свидания родителей с детьми. Последнее слово педагогической и медицинской мысли гласило, что свидания вредны больным детям. Поэтому каждый день мои родители вдвоём появлялись под окнами палаты девочек и пытались со мной поговорить. Я залезала на подоконник и смотрела на них через стекло, а сзади меня залезали девочки постарше и побольше. Они дотягивались до форточки и кричали моим родителям в форточку: она дура. И воображуля. Но родители меня не разлюбивали, а шли ко входу в больницу. А я шла через столовую к парадной лестнице. Так мы и стояли: они внизу парадной лестницы, а я наверху, и ни разу за два месяца ни они, ни я не нарушили запрет. Детские врачи и архитекторы-специалисты полагали, что если чьи-нибудь родители поднимутся, то лестница рухнет. Потом нянечка поднималась от родителей ко мне с литровой банкой клубники. Я знаю, что люди любят клубнику, но вот уже много лет подряд видеть её не могу и ничего клубничного в ней не вижу.

Я читала, что счастье — это прекращение боли. Через два месяца больница кончилась.

Если бы меня отпустили, я бы прыгнула с этой лестницы вниз к родителям, кувыркаясь в воздухе, и сломала себе руки, ноги, шею и рёбра. Об этом, видимо, знала медицинская мысль, и поэтому вниз меня за руку свела нянечка, испортив полёт.

Какое может быть лечение сердца, если шестилетняя воображуля два месяца подряд испытывает сердечную боль.

Все мои дети провели в совокупности до 14 лет в детских учреждениях в одиночестве одну ночь. Впрочем, они, может быть, и хотели побывать в детских учреждениях. Я имею в виду детские сады, пионерские лагеря, больницы, санатории.

Сразу после больницы меня увезли за город, и там папа начал писать большую работу, которая и стала *делом его жизни*.

Когда я прочитала у Ахутина про амеханию в греческой трагедии, — невозможности действовать в условиях необходимости действовать, — то сразу её узнала: я стою два месяца наверху лестницы, а родители внизу.

Но почему? Ведь они умели действовать, и у *кого-то* была *волшебная* власть. Может, моя болезнь — это такое маленькое событие, из-за которого кто-то не станет применять волшебную власть?

Человек с портрета, отец отца, был сначала замнаркома в Москве. А потом пошёл на понижение и был до 38 года крайздравом в большом русском городе.

В 34 году к бабушке пришла нестарая женщина с седой прядью надо лбом. Это была рижская гимназическая подруга Эля. Однажды в спортивном зале гимназии бабушка упражнялась с гантелями, случайно ударила Элю по голове и проломила ей череп. Эля не умерла, а на месте удара у неё осталась седая прядь.

Муж Эли попал под предыдущую волну репрессий, отсидел пять лет и вышел. Врачи всюду были нужны, но бывшего «врага народа» никто не хотел греть на своей груди и прятать под своим крылом.

Отец отца направил мужа Эли на свободное место, а человек, присланный из крайздрави, уже находится под крылом крайздрави.

Когда в 38 году деда забрали, никто не приходил и не подходил, и вдруг пришла Эля. Она поняла, что должна поделиться с бабушкой некоторыми незаемными знаниями. Эля объяснила, что такое *10 лет без права переписки* и что значит *сидеть на месте*. Завтра придут за тобой, а послезавтра детей заберут в детский лагерь.

Бабушка уехала из города, провела с детьми месяц в деревне и разослала просьбы о работе в места ссылки. Первым пришёл ответ из Казахстана, и там они вскоре оказались.

Заведующий облздравом в Актюбинске был хороший мужик, бывший фельдшер, он объезжал свои владения в тележке в одну лошадь. Тележкой он сам и правил, а за лошадкой, видимо, сам и ухаживал. Бабушка долго выбирала время и место, остановила его где-то в поле и призналась: она жена врага народа. Он равнодушно сказал: «Зачем рассказываете? — тут все такие», — тронул свою лошадку и уехал.

Разве можно не говорить, не признаваться? Приходилось бесконечно *признаваться*.

Зачем? Почему? Всё равно узнают? Хуже будет? Или чтоб было всё по-честному, как драки в школе в Ростове, *кто сильнее*: один на один, голыми руками, до первой крови или *до пощады*.

Но что было по-честному? Потом, потом, потом я спросила у бабушки про смерть деда. Она сказала: *время было такое*. Как будто бы не люди увели из твоего дома — и не понарошку, а нарочно — живого здорового человека, с которым ты спишь ночью и растишь детей днём, увели не за преступление и не на войну — а чтобы убить. Не люди — землетрясение, раскалённая лава, шквал.

Наверное, только так и может пережить это человек *середины*. Стать зрителем, хором, а не героем.

Время было такое.

А иначе нужно вопить, кричать, биться, висеть на крюке, выкалывать себе глаза.

Если ты *не человек середины* — у тебя есть выход. Измученный рот, которым кричит стомилионный народ.

Это герой висит на крюке и выкалывает себе глаза, а человек собирает вещевой мешок в изгнание: сандалии, пару посохов, ну чего там ещё? — и, если удаётся, становится временно зрителем, хором. Читателю труднее, у зрителя хоть есть хор, а читатель молчит — боится помешать своим криком соседям.

Время было такое. Хотел узнать свою судьбу, тайну рождения, ушёл из царства, чтоб избежать судьбы, но не получилось. Тогда время было такое.

В Актюбинске уже и не дрались в школе по-честному, по-ростовски, а только зажав в руке камень.

Родители были могущественны, и сквозь всё их могущество упорно пробиваются три мои жалости к отцу: две детские и одна последняя, предсмертная. Две «больничные», «лестничные» и одна фотографическая. Две короткие и одна долгая.

Первая, самая ранняя, когда он смотрел на меня, шестилетнюю больничную воображаю, стоя внизу лестницы. Я точно помню, что, глядя на его лицо, жалела его, а не себя.

Последняя жалость — «Я умру...».

Только боги знают, как жалок нам тот, кто живёт уже не здесь, не желая ни здешних новостей, ни здешних смыслов. Как непонятно для здешних жителей он смотрит не на нас уже, а рядом, и видит невидимое нами.

Но не сразу, а потом, я понимаю значение этого взгляда, и тогда слёзы заливают моё сердце.

Отец — опора, даже в самой сильной своей боли и страдании, александрийский столп рода, а вокруг него вьюнком вьются остальные — вдруг выскользнул, исчез со своего места, а мы, не заметив, побежали дальше и только потом обнаружили себя жалкой кучкой листьев на земле.

Вставай, поднимайся, расти — другого выхода нет.

Третья жалость — это жалкая папина фотография. Какого времени — не знаю, спросить не у кого. Отец сфотографирован в солдатской гимнастёрке без погон и в пилотке.

Лето 42-го? Отец надевает солдатскую форму и уходит. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Но почему так жалок? — он хотел *туда* идти, и не боялся, и думал, что *там* без него — никак.

У Воннегута в «Бойне номер пять» собираются ветераны через много лет после войны, а жена одного из них не хочет и слушать об этой войне. Я сейчас — как эта жена. Заткнуть уши. Жалость. Потому что мальчишки.

Мальчишки, не знающие ни ценности жизни, ни себя, ни людей, ни богов. Ни коварства людей, ни коварства судьбы.

Мальчишки, за всё дающие ответ, а ответ один. Начальник послал украсть картошку в полковой кухне. Пойди возьми — там сейчас наши чистят. Поймали — трибунал. Сержант положил в твой вещевой мешок украденные им ботинки. Пусть пока лежат у тебя, пригодятся. Нашли — трибунал.

Нельзя идти красть картошку, нельзя класть к себе украденные ботинки. Но они же старше, они умнее, они же знают. Значит, можно.

Кто в 17 лет, уйдя с порога своего гнезда, знает правила этой игры? Ты поймёшь их через десять лет. Или через десять минут.

Начальник штаба ночью ведёт пополнение и не знает пароля. Он ушёл несколько дней назад. Ты на посту. Ты не пропускаешь — они все всё равно идут. Выстрелил в него — трибунал. Не выстрелил, пропустил — трибунал.

Кто повара, парикмахеры, автоматчики? А ты никто, тебе 17 лет? Вот бери противотанковое ружьё. Оно весит пуд. Лыжный батальон. Снега. Как здорово — мы будем подстреливать танки. Нас учили три месяца.

Рана в живот. Кровь и снега. Если ног уже не чувствуешь, то их нет? Санитары, волокуша — судьба. Ан нет, не судьба, не тот медсанбат. Другого полка. Нужно 538907-го, а этот 538908-го. А пошли вы!.. Офицеры, командиры, я не ваш, я ничей. Я — великого сонма всех убитых и раненых этой великой войны.

Кто посылал Андрея Болконского в медсанбат нужного номера? Кто посылал Гектора в 17 лет красть картошку под дулом трибунала?

И падают стрелы сухим деревянным дождём — это гармония. Это с богами, это на глазах у богов. А тут лава, неразбериха, сталкер, зона, великие капканы при каждом шаге.

Есть ли богам дело до этой войны?

Не тот медсанбат. Могли выбросить за порог. Но не выбросили. Могли поймать с ботинками. Но не ловили. А санитары пришли. А кровь ушла в снега, но не вся.

Нет, это действительно *волишебная власть*.

Боги, боги, я не стою своего рода. Я не расту в этой земле за всех нерастущих. Друзья мои, я не стою вашей дружбы. Мои возлюбленные, я не стою вашей любви.

У каждого ли есть дело его жизни?

Герои рождаются героями, как дубы из желудей. Но мало родиться — надо стать собой. Кем мне стать? Ифигения. Антигона, Исмена. Кто я? О боги, боги, что предназначили вы мне?

Я не стою своего отца.

Поезд. Сон. Я одна. Где мои дети? Вспышки света. На остановке входят люди. Так много людей. Но я одна. Входит мой давний-давний друг. Вспышка света, которого светлее не может быть. Он успевает сказать: Это магний. Это конец. Как

хорошо, что ты пришёл. Как хорошо знать, что это магний и что я умерла не одна.

Четыре дня — четверг, пятницу, субботу, воскресенье — я стояла на пороге длинного коридора, в конце которого умирал мой отец. Амехания. В реанимацию нельзя войти. В понедельник я не закрыла его глаза.

Поник ладьи отважный кормчий нашей.

Для Антигоны нет реанимаций, порогов, коридоров, креонтов.

Я не знаю, как живут другие люди и как они прощаются с прошлым.

Можно ли ненадолго опустить ношу и побыть читателем, зрителем, хором? Я прошу помощи у хора.

Но хор молчит.

Глава шестая

Бог-отец

У меня было поочерёдно три детские кровати. Первая и вторая стояли у «музейной» стены, так что человек с портрета меня не видел. Первая была деревянная, а с боков сетка, которая доходила стоящему ребёнку до шеи. В первых кроватях моих детей вместо сетки уже были столбики. У второй кровати спинки держались на завинчивающихся блестящих шариках. Днём я их потихоньку развинчивала, и кровать шаталась. Каждый вечер папа их завинчивал, удивляясь саморазвинчивающейся конструкции кровати. Меня никто никогда не заподозрил, потому что я была очень хорошая девочка.

Во времена второй кровати на «музейную» стенку повесили коврик из шёлковой ткани с бахромой.

Если есть во мне некий физиологический оптимизм, то он — родное дитя этого коврика. Я предлагаю родителям всей земли использовать случайный опыт моих родителей. А поскольку этого коврика давно нет в живых, то его надо описать.

Главное, что в нём было, — это мир и покой. Можно даже сказать: покой и воля. Коврик был огромным заросшим парком, и справа в этом парке была круглая арка каменных ворот, ведущих в замок. За воротами виднелся большущий дом с окнами и башня с облаками. И всё вокруг было окружено огромными деревьями старинного парка. Слева по дорожке от меня-зрителя к каменной беседке шли две дамы в длинных платьях и маленьких шляпках.

У бабушки были две фразы: *Это хорошо* и *Это не хорошо*.

Не хорошо повторялось даже чаще. Не хорошо, когда ребёнок болеет, не хорошо, что у меня маленькая нога и не растёт, не хорошо, что ребёнка водят вечером в гости.

Но было же и слово *хорошо*, и всё хорошее было в деревьях, дорожках, каменных вазонах с цветами на коврике. *Хорошо* — это не сидеть на скамейке, а непременно идти, как шли дамы в длинных платьях. *Хорошо* было там, в коврике.

До сих пор мои хорошие сны происходят в огромных залах, соборах, колоннадах и замках.

Если гасили свет, и невозможно было разглядывать парк и замок, то мы с моей куклой отправлялись туда, где все уже побывали: в папину войну, мамину эвакуацию и бабушкино землетрясение в Крыму. У меня всегда была одна любимая тряпичная кукла, делившая со мной ложе, и когда она совсем развалилась, мне с трудом нашли *точно такую*. Вдвоём с этой куклой мы попадали в самые страшные места, но всегда выпутывались, и я изо всех сил прижимала к себе её спасённое тельце. А награда, отдохновение после пережитого — это всегда было возвращение в парк и замок. На дорожку парка.

Если бы я заслужила в следующей жизни быть не в геенне огненной, то я хотела бы быть в этом парке и войти в этот замок.

Про раскручивание шариков и путешествия с куклой никто не знал, а в жизни я была *очень хорошей девочкой*.

Да мне бы никто и не дал быть плохой.

Есть одна не объяснённая фраза, которую я встретила в папиных магнитофонных воспоминаниях. После рассказа о войне отец говорит: «Мы не были потерянными поколением. Никто бы и не дал нам стать потерянными поколением».

Родители были не только могущественны — они были едины. Однажды, когда я *плохо себя вела*, они посмотрели друг на друга, взяли с двух сторон мою кровать и вынесли в коридор. Не надо забывать, что в коридоре темно, а входная дверь была лицом огромного белого человека.

А вот как можно не дать поколению стать потерянными?

Какая *хорошая девочка*, говорили взрослые. Как это мне удавалось, не знаю — *хорошей девочкой* я не была.

Может быть, я не орала последним криком, когда взрослые меня обижали, потому что навсегда запоминала их преступления и давала клятвы.

Первое их преступление — мокрые и мятые рукава. Мне было года полтора — меня ещё ставили на скамеечку возле умывальника, — когда я написала кровью в сердце первую клятву.

Взрослые не заворачивали мне рукава при мытье рук, и эти мокрые шерстяные жабы оставались на руках. До сих пор я чувствую их запястьями (хотя множество неприятных ощущений взрослости давно забыто), до сих пор свои длинные рукава поддёргиваю почти до локтя, и кланюсь чество: я всё исполнила и не намочила рукава ни одному ребёнку на свете.

Второе их преступление — еда насильно. И в этом я перед детьми неповинна.

В *еде* и *рукавах* папа не участвовал, но в третьем преступлении был замешан. Он заставлял меня здороваться с соседями.

Это моё свойство — не здороваться с соседями — сильно вредило репутации *хорошей девочки*. Родители огорчались, просили, приказывали, кричали — но с соседями я не здоровалась. Они думали, что я забываю, витаю, воображаю, наконец, но это было не так.

Хорошие соседи были, но я и с ними не здоровалась, потому что не любила *соседей*. По уже понятному мной и ненавистному *соседскому праву*

они могли остановить любого ребёнка из своего дома и задавать ему вопросы.

Соседи казались мне последними дураками, потому что вопросы они задавали всегда одни и те же, — значит, ответов не запоминали. Похоже, их интересовали не ответы, а сам процесс задавания вопросов...

Мне казалось, не поздороваться с соседями — значит не дать им права задавать вопросы. Потом я поняла, что это не помогает, — просто первым вопросом становилось: «Ты почему не здороваешься?» Это оскорбительное *ты и почему...* Сказать хоть слово — значит, протянуть нить между собой и ими. Я молчала.

Для меня до сих пор загадочно происхождение *соседского права*. Это право возраста или право величины и веса?

Теперь я отношусь к соседям иначе. Когда соседи задают мне вопросы, я им благодарна. Я благодарна вниманию, контакту и цивилизованности.

Дело, наверное, не в вопросах — дело в неравенстве. Их вопросы были дурацкими: сколько тебе лет? в каком ты классе? как зовут твою учительницу? что ты больше любишь — чтение или арифметику? И через две недели опять: в каком ты классе? Я смутно чувствовала, что мы играем не по правилам. Я ведь не могла спросить у них: а вы любите свою работу? а как зовут вашу жену?

Клянусь, что я не задала в подъезде или в лифте ни одного праздного вопроса детям и любому мало-мальски самоходному ребёнку говорю «вы».

Когда мне было 9 лет, на отдыхе я попросила купить мне купальник. Родители удивились и отказали. Они были, как водится, едины. Они справедливы и точно заметили, что грудь у меня ещё не выросла, стесняться нечего, и плавок довольно. Я плакала, на пляж не ходила, но через пару дней пошла — делать было нечего. С того времени я долго не любила своё тело и грудь, и простила их только тогда, когда они родили и выкормили мне ребёнка. А на нудистские пляжи я до сих пор не хожу.

С душой было полегче — к ней отношение было неплохое. Со времён второй кровати и коврика я знала, что у меня есть душа. С самого начала она находилась в правой щеке, но теперь её местоположение мне не так ясно. Когда я спросила свою дочку в соответствующем возрасте: где у тебя душа? — она, не задумываясь, показала ямку на шее. Здесь.

Бог знает, что мы делаем душе и телу своих детей.

Родителей надо простить — за кроватку в коридоре рядом с лицом огромного белого человека, за рукава и купальник — за всё простить, и принять начальные условия души, тела и судьбы. Потому что детство, как ни крути, истиннее всей жизни и полно слёз.

Если родители тебя любили, были могущественны и прекрасны, то ты не в силах с ними проститься и никак не можешь простить. И каждое возвращение в детство терзает и мучит: если это коврик, то мучит невозможностью рая, а если купальник — реальностью тех мук.

Если же родители тебя не любили, и ты выстрадал своё детство под сварой неласковой матери, то ты будешь страдать его всю жизнь.

Мы-то простим. Нас кто простит?

Похоже, в моём мире нет милосердного Бога. Есть лишь тот, суровый к своему жестоковейному народу. И некому меня простить.

Может ли отец мне простить одинокую смерть? Сердце моё провалилось в воздушную одинокую яму. Я не знаю, что он видел тогда у лестницы. Я не знаю, хотел ли он умереть. Согласен ли был умереть. Может быть, они шествуют *там* от славы к славе. Что там с тобой, ответь мне, скажи. Где б души ни витали, друг мой милый, видишь ли меня? Может, и шествуют. Но мне всё равно за него страшно. Может, и шествуют, но вера моя слаба, и мне за него страшно. Кто может знать при слове расставанье, какая нам разлука предстоит? Мы не в силах пережить разлуку и заполняем её провал воображением. Разлука! Душа человека какие выносит мученья! Со смерти отца у меня *там* родной человек, но где взять столько воображения в помощь? Эх ты, *воображляя*. Там у меня любимые писатели за границей: живут себе... А вот когда за границу уезжают друзья, начинаешь представлять и справляться: как там за границей. Как *там*? Мы уходим *туда* без тела, дома, земли, но с чём же? Как жалки и понятны мне древние египтяне, клавшие с собой своему умершему всё необходимо нужное. *Запасы*.

Когда моей дочке было четыре года, в наших магазинах как раз было полное запустение. Взявшись «за ручки», мы с ней бродили по окрестностям в поисках пропитания. Это называлось «гулять с ребёнком». Выйдя из очередного магазина, дочка укоризненно на меня посмотрела: ты почему здесь ничего не купила? — Но там же ничего не было. — Она огорчилась: там немножко было, а бабушка сказала, сейчас надо хватать всё подряд.

Возвращаясь с этой прогулки, мы тащили кучку продуктов, и дома дочка должна была разложить их по местам. К обеду я не нашла хлеб и сметану, хотя мы их покупали. Она прибежала и объяснила, что спрятала их под своей кроватью, где у нас лежало несколько банок тушёнки, *в запасы*.

То, что мы берём *туда* с собой — это хлеб и сметана под кроватью.

В 13 лет я прочитала в «Испанской балладе» Фейхтвангера: «Я любил её больше, чем свою бессмертную душу», — и остановилась на бегу. Оказывается, моя душа в правой щеке бессмертна, и её надо сильно любить.

Мне кажется, *здесь* отличается от *там* возможностью *растить душу*. *Здесь* нам дано время *растить душу*. Со смертью это время окончено, и мы приходим *туда* такие, как есть, чтобы войти в новые времена. К этому портрету уже нельзя добавить ни одного слова, ни одного штриха.

Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем.

Мне было бы страшно сейчас умереть. У меня всего-то и есть взять с собой, что н и нн в прича-

ствиях и отглагольных прилагательных да горстка чужих стишков. Я не уверена в *сокровищах* своей души. Хватит ли их на вечность?

«Я к смерти готов».

Что же это значит: путь пройден, душа взращена? Стихи написаны?

Готов ли отец был к смерти? Или я отпустила его неготовым?

Что там, в той «загранице»?

Души вне времени, им внятно прошлое и будущее. Вечные зрители...

Но тогда душа продолжает расти. Видеть и знать — это уже чувствовать, понимать и меняться.

Иначе было бы слишком жестоко — миллионы счастливых младенцев: Фёдор Михайлович придумал, а Господь воплотил?

Чтоб мой отец, историк, видел и не мог осознать? Он, способный в конце заново передумать нашу историю и — бесстрашно — всю свою жизнь? Чему я учился и учил?

Я знаю: нам не дано помыслить о *там*.

Самое страшное, если Богу нет дела до *них*, а все им вместе — до нас.

Если Он и не смотрит на *них*, и все они вместе — на нас. Оставленность, одиночество — связующая нить растаяла в вечной тьме.

Лучше суровый взор, пристрастность, суд.

Две силы есть, две роковые силы...

Одна есть Смерть, другая — Суд людской.

Мне не хватает здесь роковых сил, да и судов маловато будет.

Анна Андреевна дополнила Фёдора Ивановича.

Одни глядятся в ласковые взоры,

Другие пьют до солнечных лучей.

А я всю ночь веду переговоры

С неукротимой совестью своей.

В три года я уже любила свою куклу и знала, что у меня будет муж и ребёнок. Одна любимая кукла. В шесть лет после больницы я знала, что буду врачом. Я буду могущественной, как отец, и защитой от огромного человека с белым лицом, как дед с портрета.

Когда я смотрю в зеркало, то вижу, как ни странно, себя, а не новые дивные дивы. Но есть и другие зеркала. Внутри нового простого зеркала проступает давнее — дорогое, красивое, чуть тусклое и плывущее. Там я вижу ту прекрасную женщину, которой хотела быть и могла стать.

Я не стала тем, кем задумала меня шестилетняя воображуля. Ни могущества, ни защиты, ни чудесного поприща врача.

Суд зеркал.

Однажды мы купили флюоресцентную бумагу с вырезанными на ней звёздами. Отец стоял на столе и клеил на потолке надо мной созвездия.

Летом я полночи читала под открытым окном. Когда я гасила свет, зажигались звёзды на потолке, а я смотрела на них и на звёзды в небе за окном. Блекли звёзды в доме, и ярче становились звёзды в небе. Это были одни и те же звёзды.

Ты одновременно мой папа в синем домашнем костюме, который я купила сама. И ты мой гроз-

ный Бог, теперь, когда ты ушёл в мир смерти, где нет ни времени, ни прошлого, ни будущего, теперь ты знаешь обо мне всё, ты теперь мой грозный, не имеющий облика Бог-отец. Всё Ты. Я плачу и молюсь Тебе, прости, спаси меня и помилуй.

Я, рождённая своим одним-единственным Богом, не выполнила данных ему обетов. Я не стала собой. Я не свершила своих свершений. Я поклялась любить и терпеть. Я не умею любить и терпеть.

Сон. Большой и просторный дом, замок. Много воздуха и пространства, прохладные переходы, но я знаю, что нет отца.

Я бреду одна по огромному дому, зная уже, что отца нет. Я ищу комнату с узкой дверью, где написано его имя.

Отец лежит на высокой больничной койке без спинки, укрытый одеялом. Я подхожу к нему, и комната становится маленьким осенним садом. Сумеречный воздух холодает и становится сероголубым. Я наклоняюсь над отцом, чтобы поцеловать его в лоб, а он улыбается мне. Долго же я спал, — говорит отец. — Пойдём погуляем. Он легко встаёт с высокой больничной койки, и мы трогаемся в путь. Из сада мы выходим в город. Это не город, а скорей вокзал, привокзальная суета. Мы на мосту над путями. Рельсы сияют серым и розовым на тёмной уже земле. Мы вдвоём переходим мост и незаметно оказываемся вновь в том саду, откуда вышли в город. Мы садимся на скамью возле ровной площадки с гравием и цветами, и я понимаю, что это свежая могила.

Сумерки сгущаются, и я спрашиваю наконец: отец, как мне жить?

Он говорит: ты помнишь?

И я отвечаю: нет. Когда-то у меня было чувство юмора и диплом.

Он говорит: есть высокая, недостижимая проза, но никому не заказано напрягать свои слабые силы и видеть в этом свой, никому не заказанный смысл.

Я плачу: но что мне делать? скажи слово, назови по имени.

Он хочет сказать это слово, но начинает сереть и таять, а потом укрываться одеялом на больничной койке, и я кричу ему вслед: Я никогда не забуду, что ты пришёл ко мне ещё раз. И знай, что каждый вечер я благодарила Бога, и каждым утром молилась. Слышишь, молилась, молилась!

Я верю во встречу.

Значит, нету разлук.

Существует громадная встреча.

Значит, кто-то нас вдрут

в темноте обнимает за плечи,

и, полны темноты,

и, полны темноты и покоя,

мы все вместе стоим

над холодной блестящей рекою.

Может быть, это Нева у стрелки Васильевского острова, и она, как моя любовь, превышает меру и грозит гибелью, а может быть, это излучина реки Леты.

Я надеюсь, на берегу этой реки меня простят.

Юрий Гладышев На краю



143

Юрий Гладышев ■ На краю

Старик брёл по песчаным холмам, поросшим редким кустарником. Порывистый сентябрьский ветер то налетал на одинокого путника, хлеща в лицо, то затихал, словно собираясь с силами для нового рывка. Время от времени старик оставивался, чтобы отдышаться, поворачивался спиной к ветру и взглядом измерял пройденный путь.

Постояв немного, натягивал поглубже кепку, засовывал руки в карманы куртки неопределённого цвета, шёл дальше.

Окружающий пейзаж не отличался разнообразием красок. По серому небу плыли рваные облака. Справа от старика, сливаясь с горизонтом, простиралась такая же серая пустыня. Слева, метров через сто, заросли камыша, дальше — степь, и только где-то далеко там, на самом краю этой степи синели короткие полосы леса.

Картина была настолько безрадостной и унылой, что от этого, видневшаяся впереди, берёзовая роща выглядела оазисом. К этой самой роще и шёл старик — Тимофей Егорович Воронков, последний житель деревни Черёмушки. Почти семьдесят лет прожил он в этих местах и кому как не Тимофею знать, что не всегда здесь так, как сейчас пустынно и мрачно.

Теперь трудно представить, что каких-нибудь двадцать пять лет назад, на месте этой пустыни было большое озеро похожее на море, потому как противоположных берегов его не было видно. И не вороны кружили в небе как сейчас, а мартины и чайки. А рыбы сколько было в озере, в каждой прибрежной деревне рыбхоз. Глянешь с берега — там катер, там баркас.

Старик остановился. Глянул в сторону пустыни, словно надеясь увидеть картину из прошлого — бескрайнюю гладь воды, услышать рокот набегающих на берег волн. Но вместо солёных брызг прибоя, сыпанул ветер в лицо Тимофея горсть песка.

Надо идти, немного осталось. Старик побрёл дальше, продолжая рассуждать про себя, что, рассказав об этом несведущему человеку, впервые попавшему сюда, не поверит, а если поверит, то очень удивится. Эх да что там кто-то, Тимофею и самому иногда кажется, что не было никакого озера, что была здесь всегда эта пустыня и что жил он всегда один в своей заброшенной деревне, где его дом — единственное уцелевшее жильё. Но разве память обманешь, ведь вся жизнь здесь прошла. Вся, если не считать тех семи военных месяцев.

В конце сорок четвёртого, его семнадцатилетнего паренька из сибирской деревни, призвали в

армию. Два месяца в запасном полку под Новосибирском, потом дорога на фронт, до которого он так и не доехал. Эшелон с пополнением немецкая авиация разбомбила в восточной Польше, только границу переехали. Затем два месяца в госпитале, дальше служба в тыловой части. Ну а после Победы, в июне сорок пятого, демобилизовали подчистую. Получилось, что ушёл Тимофей последним из деревни, а вернулся в числе первых, с мужиками старших возрастов.

Наконец, под ногами зашуршал ковёр из жёлтой травы и сухой листвы. Ну, вот и дошёл. Старик опустился на пенёк спиленной берёзы, он всегда садился здесь отдохнуть. Снял кепку, провёл рукой по редким, мокрым от пота волосам, вытер слезящиеся глаза, шумно высморкался. Километров пять будет от его дома до берёзовой рощи. Вроде бы не так далеко, да что-то последнее время всё труднее преодолевать эти километры. Пять сюда, пять обратно, вот тебе и все десять. А ведь этот путь Тимофей проделывал каждую неделю, ну разве что зимой реже. То буран закрутит, то мороз шибко прижмёт. Посидев немного, старик встал, надел кепку и пошёл по знакомой тропинке.

В берёзовой роще располагался пионерский лагерь. «Пионерским» Тимофей называл его по привычке, как сейчас называется лагерь, когда не стало пионеров, старик не знал, да и не интересовался. Хорошее когда-то было место. Корпуса лагеря утопали в зелени деревьев. Сразу за лесом начинался песчаный пляж, с многочисленными грибочками, волейбольными сетками. В былые годы на этот пляж съезжался люд со всей области. По выходным и праздникам берег был усыпан отдыхающими, кругом автобусы, легковые машины. Народ купался и загорал, чем не море, ни какого юга не надо. И вот нет теперь озера. Озера нет, а лагерь остался. Приезжает ребятня на летние каникулы. Только купаются они теперь в большом бассейне. А это, конечно же, совсем не то.

Тимофей, цепляясь за кривую берёзу, встал и пошёл по ведущей вверх тропинке. Впереди показался первый жилой корпус, одноэтажный и длинный. Тропинка стала ровной идти, стало быть, легче, да и ветра здесь почти не было. Чуть больше месяца назад бегала по этим вот дорожкам шутливая ребятня, весело здоровались: «Здрасьте!», а теперь дорожки завалены листвой. Выкрашенные в весёлый жёлтый цвет строения грустно смотрели пустыми окнами, отражая в стёклах синее небо.

Был бы Виктор дома — который раз забеспокоился старик — а то ведь получится, зря тащился. Но вот ряды корпусов кончились, и за футболь-

ным полем показался крепкий, бревенчатый дом. Печная труба дымила.

— Слава богу, дома, — подумал Тимофей и пошёл веселее, как будто не было долгого пути, изнуряющей борьбы с ветром. Уже бежит навстречу Шарик, небольшая похожая на лисичку дворняжка. А возле забора стоит и гулко бухает Альфонс, здоровенный пёс, с претензиями на овчарку и дога одновременно. Шарик, выполнив свой долг перед хозяином, перестал лаять, приветливо завертел хвостом и прижал голову к земле, как будто кланяясь.

Тимофей наклонился, погладил собаку. Шарик весело скакнул и побежал рядом. Альфонс так и не сдвинулся с места, ещё раз гавкнув равнодушно, зевнул и улёлся там где стоял. Старик подошёл к калитке, для приличия крикнул:

— Эй, хозяйева, есть кто дома?

Но дверь веранды уже открылась, и на высокое крыльцо вышел мужчина в наброшенной на плечи телогрейке.

— А, последний из могикан, проходи, проходи.

Хозяин спустился с крыльца, пошёл навстречу. На вид ему было лет пятьдесят с небольшим, крупного телосложения, слегка лысеющий. Поздоровались за руку.

— Ну что, Тимофей Егорыч, не одичал ещё на своём хуторе? Переезжать ещё не надумал?

— Дык куда мне, Вита, переезжать, сам знаешь некуда, да и не к кому.

Конечно же, Виктор знал, что не осталось у Тимофея ни одного родственника и ехать ему действительно не к кому. Много лет назад умерла жена. Единственный сын погиб в армии. Служил в Чите в автобате. Старик рассказывал, что офицер, который гроб привёз, говорил, дескать током Тимофеева сына убило, в боксе мол трансформатор мокрыми руками выключал, вот и стукнуло. Поди, разберись, как там было, ведь гроб не открывали. Так что лежит Андрейка рядом с матерью на Черёмушкинском кладбище. Разве их бросишь? Была у Тимофея ещё сестра старшая, в Новосибирске жила, но в прошлом году померла от рака.

Виктор сделал рукой приглашающий жест:

— Ну что, пошли в избу?

— Подожди, отдышусь, покурим на воздухе.

Сели на ступеньки крыльца. Старик достал из внутреннего кармана куртки пачку нарезанных из газеты листов бумаги, из бокового круглую жестяную коробочку, когда-то в таких продавались леденцы, а сейчас там лежал самим выращенный самосад, стал сворачивать сигарку.

Виктор был некурящим, пока Тимофей мастерила папироску, сидел, одной рукой придерживая съезжающую с плеч телогрейку, другой чесал за ухом пристроившегося у ног Шарика. В лагере Виктор исполнял сразу две должности: в летнее время завхоз, в зимнее сторож. Было время когда он, как и весь персонал, приезжал сюда только на период работы лагеря, а жил с семьёй в Чистоозёрном, районном центре. Жена Вера тоже работала здесь же, столовой заведовала. Дочка, пока была маленькая, все три сезона в лагере обитала, ну а как из пионерского возраста вышла, дома

оставалась, под бабкиным присмотром. Потом в Новосибирск уехала, в институт поступила. Когда отучилась в Чистоозёрное вернулась, учительницей в школу пошла работать, замуж вышла. Подумали Виктор с Верой и решили оставить квартиру дочке, а сами перебрались сюда. Так и живут здесь, вот уже двенадцатый год.

Тимофей свернул папироску, вставил её в рот, чиркнул спичкой, привычно спрятав огонь в сомкнутые ладони. После первой затяжки закашлялся, аж слёзы выступили. Деликатно отвернулся, сплюнул. Второй раз затянулся уже спокойно.

— На станции давно был?

Станцией старик называл Чистоозёрное.

— Да вот в понедельник с отчётом ездил.

— Гнедка запрягал?

— Ну а кого же ещё, не Альфонса же...

Раньше был у Виктора старенький Москвич, но полтора года назад движок стуканул, теперь ездит на казённой лошадке.

— Ну, как там, Советская власть ещё не вернулась? — продолжал разговор Тимофей.

— А она никуда и не уходила, в Белом доме всё те же сидят, только они теперь демократами называются, да флаг другой повесили.

Старик кивнул, вытащил изо рта сигарку, держал он её на манер трубки двумя пальцами, большим и указательным.

— Что заказывал-то, купил?

— Да, конечно.

— Вот и ладно, а то я тут хватился, сахару нет, так и чаёвничал впустую.

Помолчали. Тимофей, докурив, сунул окурочок под каблук, потушил, посмотрел куда бросить. Виктор встал, снял с плеч телогрейку:

— Ну, пошли.

— Пойдём, коль зовёшь.

Тимофей тоже встал со ступенек, выбрав, наконец, место, куда бросить окурочок, бросил.

— Петровна-то дома?

— Дома, где ж ей быть.

Прошли большую веранду, на которой стояли старый диван, стол, холодильник, зашли в избу.

— Вера, встречай гостя, — с порога сказал Виктор.

Вера, молодая женщина, с возрастом полнеющая, стояла у окна и на разделочной доске резала лук. Повернув голову в сторону вошедших, не отрываясь от работы, кивнула:

— Здравствуйте, Тимофей Егорович.

Старик стянул с головы кепку, провёл ладонью по волосам

— Здравствуй, Петровна.

При Вере Тимофей всегда чувствовал себя как-то неудобно. Говорил, тщательно подбирая слова, движения становились неуверенными, неловкими. Почему так происходило, он, и сам не смог бы объяснить. Наверное, от общества отвык, а от женского тем более, думал старик.

Жена Тимофея Мария двадцать лет как померла, лёгкими болела. Сорока ей тогда не было. После этого сходилась с одной. Прожили недолго. Такой уж видимо Тимофей человек к кому привык — так навсегда. Да и сожительница оказалась бабой сварливой, во всём пыталась навязать своё. Ну да долго Тимофей терпеть не стал, запряг кол-

хозную лошадь, молча погрузил её вещи и отвёз на прежнее место жительства. С тех пор так и живёт бобылём. Сказать правду он и по молодости не шибко бойким с девками был. Хотя девок и бабёнок свободных после войны навалом было, а мужиков наоборот не хватало. Так что все были нарасхват и здоровые, и те, кто войной покалеченные, а Тимофей-то с виду целый был, ну только контузией помятое.

Пока старик снимал сапоги у порога, Вера Петровна вытерла руки о фартук, заправив выбившуюся прядь чёрных с сединой волос, за ухо, пододвинула к столу табурет. Табурет был фабричный, покрытый белым пластиком с крупными привинченными ножками. Тимофей хотел было сесть, но Вера взмахнула руками:

— Тимофей Егорыч, у нас тепло, снимайте куртку.

Старик виновато улыбнулся, стал снимать куртку, хозяйка подхватила её, повесила на вешалку за занавеску.

— Сейчас обедать будем, вот только за жарку сделаю.

Тимофей сидел, поджав ноги под табурет. На кухне было тепло и уютно, а когда Петровна высыпала с разделочной доски на сковородку нарезанные лук и морковь и всё это заскворчало, в воздухе вкусно запахло. Тем временем Виктор, повесив телогрейку, подошёл к умывальнику и отвернув барашек крана, стал мыть руки. Умывальный объединял в единое целое бак с водой, раковину, тумбу с ведром, в которое стекала вода. Бак закрывало широкое зеркало. Тимофей, оглянувшись на шум воды, засуетился, вскочил, чуть не уронив табурет, тоже подошёл к умывальнику. Виктор, вытерев руки, повесил ему на плечо полотенце.

Наконец уселись за стол. Хозяин нарезал хлеб. Вера Петровна налила в глубокие тарелки дымящийся борщ, отдельно выложила мясо.

— Вовремя Вы, Тимофей Егорович, пришли, как как раз вчера хлеб выпекала, возьмёте буханки три.

— Спасибо Петровна, хлебушек — это хорошо, с пенсии рассчитуюсь, как всегда.

— Да вы кушайте, кушайте.

— Благодарствую, — старик взял ложку, аккуратно окунул её в сдобренный сметаной борщ, хлебать старался бесшумно. К мясу не притронулся, несмотря на уговоры, стеснялся, из-за полной разрухи во рту процесс пережёвывания стал большой проблемой.

Затем пили чай, хозяйева с пряниками, Тимофей с намазанной на хлеб сметаной, которую догадливая хозяйка поставила на стол. Поели. Вера Петровна взяла с плиты кастрюлю с кипятком, вылила в небольшой тазик, разбавила холодной водой, стала мыть посуду.

— Ну, что, Егорыч, пойдём, новости посмотрим, — сказал Виктор, глянув на настенные часы.

Просмотр новостей всегда входил в программу визита Тимофея. Газет он отродясь не читал, а вот «известия», так старик называл все новостные программы, посмотреть любил. В его Черёмушках уже давно не было электричества, вследствие чего

старенький телевизор Тимофея стал бесполезной мебелью. Виктор щёлкнул кнопкой, сел в кресло, Тимофей присел на краешек дивана. На экране замелькали картинки рекламы. Рекламу старик не жаловал, сидел, рассматривал комнату, в которой было чисто убрано, стены не по-деревенски заклеены обоями, под потолком люстра, на полу палас. Из мебели: диван, два кресла, маленький журнальный столик, полки с книгами. На двери, ведущей в спальню шторы.

Но вот на экране появилась заставка новостей. Диктор начал вещать о последних событиях в стране и мире, его рассказ продолжали корреспонденты с мест.

Когда передача кончилась и опять пошла реклама, мужики вышли на крыльцо. Тимофей сидел на ступеньках, курил, задумчиво смотрел куда-то вдаль, за футбольное поле. Виктор стоял рядом, оперевшись на перила.

— Витя, а Ельцин с какого года?

— С тридцать первого, кажется.

— Значит, помладше меня будет, а ходит, говорит, Брежнев, да и только.

— Болеет он, сердце у него, операцию будут делать, шунтирование

— Оно конечно, — покивал головой Тимофей, хотя, что такое «шунтирование» не понял, вздохнул.

— А я вот что-то не пойму, Чечню отдали, что ли?

— Да, я думаю, они сами не поймут.

— Это ж надо, у себя в стране такую войну устроили и всё зря выходит. Какую силищу, немца побили, а чеченов не можем. Это как, а?

Виктор перегнулся через перила, сорвал длинную травинку, очистил стебель, ковырнул им в зубах.

— Партизанская война, Егорыч, днём — мирный житель, ночью — бандит.

Тимофей опять закивал головой.

— Как бандеровцы, выходит, тех тоже долго выковыривали.

Вспомнил Тимофей далёкий сорок пятый. Весной его после госпиталя отправили в хозроту конвойного полка. Полк стоял в небольшом городке Бориславе, что на Западной Украине. Подразделения полка регулярно выезжали на операции по ликвидации бандеровских банд, появляющихся то на одном хуторе, то на другом. Однажды целый взвод не вернулся с такой операции. Двадцать восемь солдат внутренних войск осталось лежать на лесной дороге, в глубоком тылу Красной армии, которая уже штурмовала Берлин. Взвод погиб, но вернулась одна из машин. Водителя сразу же в госпиталь отправили, больше его никто не видел, говорили, рассудком тронулся. А в кузове, с посечёнными пулями бортами, обнаружили тело командира взвода. Солдат полка строем водили смотреть на того лейтенанта, чтобы помнили, где служат, чтобы злее были. На расстеленной плащпалатке лежали две половинки человека, его распилили на циркулярной пиле. Те, кто на фронте успел побывать, ещё крепились, а вот молодёжь необстрелянную, при виде человеческого мяса, кровавых внутренностей, тут же повыворачивало, пооблевались все.

— А ты, Егорыч, с двадцать седьмого года же? — прервал воспоминания голос Виктора.

— С двадцать седьмого.

— Это когда ж ты повоевать успел?

— А я и не успел.

Виктор удивлённо посмотрел на Тимофея.

— Вот те раз, ты же ветеран? Медали имеешь, я их в шкафчике видел, помнишь, когда дратву у тебя брал.

— Медали-то имею, да что с того.

Было видно, что старик недоволен таким поворотом разговора. Но Виктор упорно продолжал:

— Ну, как что с того, их просто так, наверное, не дают.

Тимофей заёрзал на ступеньках, достал газетку, табак, стал сворачивать самокрутку. Котельников терпеливо ждал. Наконец, лизнув бумагу, старик закрепил изделие, чиркнул спичкой, закурил. Говорил он с перерывами, в паузах глубоко затагиваясь.

— Жил у нас в деревне Семён Одинцов, ну, ты его не застал, он аккурат в 65-м помер, от ран значит... На три года старше меня был. В сорок втором на фронт забрали. В разведке полковой служил, до Берлина дошёл, три ордена имел, медаль «За отвагу», ну, там за взятие городов... Вот ты говоришь медали, а мои железяки после войны дадены, по праздникам значит... Как День Победы, так медальку, а последний раз вообще орден дали, Отечественной войны. Во как, да чтоб такой орден на фронте дали, знаешь, что сделать надо было?

Виктор поднял руку, хотел было что-то сказать, но старик вдруг разошёлся, даже голос повысил:

— А ты не перебивай, спросил, так слушай, — плюнул на окурок, бросил за крыльцо.

— Было дело, один раз нацепил я эти медальки, будь они неладны. Аккурат в восемьдесят пятом, на День Победы собрали в районе ветеранов, значит. Ну и за нами машину прислали в Черёмушки, нас тогда человек пять было, фронтовиков, значит.

Тимофей замолчал, пошевелил губами, загибая пальцы.

— Ну да, пятеро, Лёнька-то Хрошилов, после умер в июне. Ну так вот, бабёнка приехала, шустрая такая. Она-то и уговорила меня медали надеть, что б значит, при полном параде был. Приехали. Начальство с трибуны речи говорит, пионеры цветы дарят, кухня полевая с кашей, правда, сто грамм наркомовских, как в восьмидесятом, не наливали, тогда ведь уже Горбач у власти был. Оно, конечно, всё это приятно, что там говорить. Ну, как каша гречневой из котелков поели, повели нас в школу. По классам развели, получилось по два-три ветерана. Ну, то, да сё, учителька и говорит: «Дети, задавайте вопросы товарищам ветеранам», И вот пацан один, наученный, конечно, руку тянет и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, за что вы получили боевые награды?». Понимаешь? Напарник-то мой, моряк бывший, значит давай рассказывать как он, понимаешь, героически защищал город-герой Севастополь. А я, старый дурак, сижу, провалиться готов, медалей на пиджаке много, а как ребятишкам объяснить, что, мол настоящих-то среди них нет, одни юбилейные.

Ну, пока моряк заливал, встал я к училке подошёл, тихонько ей сказал, что мне, мол, выйти надо, вроде как по нужде. В общем, в класс я больше не вернулся. А как домой приехал, закинул я железки эти в шкафчик, где ты их и видел, и больше не доставал. Вот какой праздник получился.

Тимофей встал, застегнул куртку.

— Не доехал, Витя, я до фронта. Немец по дороге разбомбил. Контузило меня, ещё дверью вагонной накрыло. Пока лечился, война кончилась. Ну, а в мирное время негодным для службы меня признали.

Сказал, как итог подвёл и Виктор понял, что старик не будет больше на эту тему говорить. Тимофей посмотрел на солнце.

— Пора мне, загостился.

— Да куда ты, Егорыч, побыл бы ещё.

— Не, пойду, день, вон, всё короче становиться, а мне ещё корову управить надо, какое никакое, а хозяйство.

— Ну, тогда я сейчас.

Виктор направился к двери, но Тимофей остановил его.

— Витя, ты это, извини меня!

Котельников удивлённо посмотрел на старика.

— За что, Егорыч?

Тимофей, сам того не замечая, коврыл жёлтым ногтем деревянную поверхность перила.

— Да шумнул тут на тебя.

Виктор пожал плечами.

— Да я даже и не заметил, ну даже и шумнул, значит, так надо было, наплюй и забудь.

Дверь за Котельниковым закрылась и Тимофей один остался на крыльце. Старик осмотрел двор. Крепко тут обосновались Виктор с женой, основательно. Большой сарай с редким для этих мест крытым сеновалом. У сарая поленница в два ряда, ограда чисто выметена, в низине огород соток на тридцать. Котельниковы держали корову, бычка, десяток овец, поросят, кур. Хорошо было Тимофею у этих людей. Но он никогда не злоупотреблял их гостеприимством, как будто боялся что надоест и в следующий раз не так радушно встретят его, и тогда всё, пропал он. И дело было вовсе не в том что Котельниковы снабжали его необходимыми продуктами. В крайнем случае, можно было пройти ещё километра три, и отовариться в магазине в Удино, что по другую сторону рощи, там он ещё иногда работал, по определённым дням, правда.

А пропал бы Тимофей потому, что окончательно съело б старика чувство одиночества и безысходности в забытой богом и людьми его деревне.

А так посидит часок, поговорит, и как-будто подзарядился человеческим теплом на целую неделю.

Дверь веранды открылась. Вышел Виктор, за ним в накинутах на плечи пальто Вера, в руках она держала два полиэтиленовых пакета.

— Вот, Тимофей Егорыч, тут хлеб, а тут крупа гречневая, вермишель, консервы рыбные, спички я тоже положила, ну, там ещё так по мелочи. Может ещё чего надо, так вы скажете.

Старик засмутился.

— Спасибо, Петровна, и что бы я без вас с Виктором делал. Дай Бог вам здоровья!

Не любил Тимофей этого момента, каждый раз чувствовал себя на вроде нищего, которому подают, хотя и расплачивался аккуратно, с каждой пенсией.

Принял пакеты, неловко потоптался на месте.

— Ну, пошёл я, значит, до свидания.

Старик повернулся, пошёл к калитке, Виктор за ним.

— Тебе, Егорыч, может, по хозяйству помочь что-нибудь, так я бы подъехал.

— Да нет, Витя, пока сам шевелюсь.

Виктор у калитки, Вера на крыльце стояли и смотрели как старик, немного сгорбившись, идёт через футбольное поле, входит в лес и скрывается за жёлтым баракком. Вера вздохнула и пошла в дом. А Виктор ещё стоял, опершись на столбик забора. Он представил себе, как Егорыч будет плестись по переметённой песком дороге, как примерно через час с небольшим, дойдёт до своего домишки, такого же ветхого, как он сам. Сколько раз предлагал старику довести его домой на лошади, но тот неизменно отказывался. Думая о Егорыче, Виктор вдруг поймал себя на мысли, что, он чувствует какую-то вину перед стариком, но причину этому объяснить не мог.

— Тимка! Пошли купаться. — Над забором показалась конопатая Стёпкина физиономия.

— Пошли, а куда, на Сибирячку или на озеро?

— Не, — Стёпка уже сидел на заборе, — на озеро, с баркаса нырять, мужики его возле Маркиной горки причалили, там глыбоко, во, — Стёпка махнул над головой.

— Ма, я на озеро, — крикнул Тимка, выбегая за калитку.

— Смотри там, недолго, папке в поле обед нести, — послышалось вслед.

Вскоре пацаны уже бежали по жёлтому берегу, впереди сверкала бескрайняя гладь озера. Яркое светило солнце, где-то стрекотали кузнечики. Бежать было необычайно легко, ноги только на миг касались горячего песка. Вода всё ближе и ближе. Уже пахло солоноватой прохладой. Но вдруг откуда-то сверху послышался нарастающий вой, на песок упала огромная крестообразная тень. Вой всё нарастал и нарастал, давя на уши и вселяя в душу ужас. Тень двигалась стремительно и вот она уже у кромки воды, но вода тоже двигалась, она уходила от тени, озеро уходило, удалялось от пацанов.

— Воздух! — Тимка оглянулся, к ним бежал его отец, в натальной рубахе, в засученных до колен штанах, босиком с литовкой в руке. Непрерывно, короткими гудками сигнализировал невидимый паровоз. Впереди ужасно грохнуло, ударило по ушным перепонкам, горячая волна подхватила Тимку, подняла и шарахнула о землю, стало нечем дышать...

Тимофей дёрнулся, открыл глаза, сердце учащённо билось. В комнате было тихо, в верхней части окна над занавеской сверкала звёздами осеннее небо. Старик побряхтел, тяжело поднялся, сел. Долго сидел, крепко уцепившись за железный уголок кровати. Затем опустил ноги

вниз, прошёл на кухню, накинул на плечи куртку, обул сапоги, толкнул дверь, вышел в сени. Долго возился с крючком, наконец оказался на улице. Глубоко вдохнув свежий воздух, Тимофей, задрал голову, посмотрел на небо. Тысячи звёзд украшали небосвод. Разбросанные по краям, они собирались в центре в густой Млечный путь. Старик открыл калитку и пошёл по улице в сторону озера. Через некоторое время, пройдя сквозь заросли камыша, он вышел на песчаный берег. От сырого песка тянуло холодом. Тимофей только сейчас заметил, что не надел штаны. Длинные сатиновые трусы выглядывали из-под куртки. Зачем он сюда пришёл, Тимофей не знал. Просто стоял и ждал. И вот со стороны пустыни, там где было когда-то озеро, старик заметил светящуюся точку. На первый взгляд эта точка мало отличалась от звёзд. Если бы не то обстоятельство, что она находилась гораздо ниже и главное она двигалась, а точнее приближалась. И вот это уже не точка, а шарик. По мере приближения шарик превращался в светящийся голубой шар, немного сплюснутый в полюсах. Время от времени по нему сверху вниз опускались оранжевые кольца. В шагах тридцати от старика шар прекратил движение и замер. Странно, но Тимофей не чувствовал ни страха, ни удивления. В диаметре шар был примерно десять метров, шума он никакого не производил, вокруг было тихо, как и раньше. Повисев, шар опять поплыл и через несколько секунд оказался над стариком. Тимофей задрал голову и увидел что-то вроде иллюминатора, из которого исходил зелёный свет, и этот свет опускался на него ровным лучом. И вот Тимофей уже внутри этого луча, а точнее столба света. Этот свет был мягким, не слепящим и прозрачным. По тому, как стала удаляться земля Тимофей понял, что он поднимается вверх, поднимается медленно и плавно. И опять он не удивился и не испугался. Прошло немного времени, и вот Тимофей уже внутри шара. Огляделся. Вокруг сплошной туман, ни пола, ни потолка, ни каких-либо стен — только туман. Но постепенно часть этого тумана стала сгущаться, образуя определённую форму. Сначала еле различимо, затем всё чётче проступали очертания женской фигуры, покрытой тонким, белым покрывалом. Материя покрывала голову и складками спадала в низ, закрывая туловище. Видны были, пока расплывчато, только овал лица да рука, которой женщина придерживала край покрывала у груди. «Где же я её видел? — силится вспомнить Тимофей. — Да это же Богородица!».

Между тем, голубая дымка рассеялась, и старик ясно увидел лицо женщины. «Мария!» Это была его Мария, покойная жена. Перед Тимофеем стояла молодая женщина, почти девушка. Такой Маша была в первые годы их совместной жизни, такой она была на фотографии, на которую они снялись вместе в пятьдесят втором году. Но он помнил другую Марию, с бледным, исхудалым лицом, на котором проступал нездоровый румянец, с синими венами на шее от постоянного кашля. Старик посмотрел в глаза женщине, они излучали доброту и понимание.

— Здравствуй, Тима, — услышал он знакомый голос.

— Здравствуй, Маша, — как-то неуверенно ответил Тимофей, его голос прозвучал сдавленно и хрипло.

— Не забыл меня? — слегка, краем губ улыбнулась Маша.

— Отчего ж забыл, помню, — Тимофей смущённо тербил полу куртки.

Он вдруг вспомнил, как он одет. Как должно быть смешно выглядит без штанов в трусах, с худыми ногами в широких голенищах сапог.

Лицо Марии стало печальным.

— Знаю, плохо тебе тут одному, заждались мы тебя.

Тимофей поднял голову.

— Это, что ж, и Андрейка с тобой, значит?

— Все вместе были, а теперь только я и Андрейка.

— А мать, отец?

— Не дождалась они тебя, пришло время и они ушли.

— Куда ушли?

— Туда, откуда пришли.

— Как это?

— Ты всё узнаешь, Тима, потом. Помни только что всё проходит, но ничто не кончается. И ещё помни, что умирать не страшно, не бойся смерти, её нет. Приходи скорей.

Опять стал наплывать туман, голубая пелена медленно заволакивала пространство между Тимофеем и Марией. Старик понял, сейчас всё кончится. Он лихорадочно соображал: «Надо что-то сказать на прощание».

— Машенька, — никогда он при жизни не называл так жену, — Машенька, ты это... Ты такая... — Тимофей подбирал слова, — а я видишь какой, старый я стал.

— Глупый ты, Тима, — черты Марии уже расплывались, сливаясь с туманом, голос удалялся, — нет там ни старых, ни молодых, каждый выглядит так, как выглядит его душа. Всё, Тима, пора мне, помни, что я тебе сказала.

А туман всё гуще и гуще, до того густой, что потемнело всё вокруг. И уже не видит Тимофей ни Марии, ни голубого шара, ни звёздного неба. Приятная усталость навалилась на него, хочется спать.

Проснулся Тимофей поздно. Стрелки старого будильника показывали пятнадцать минут десятого. Старик не поверил своим глазам. Всю жизнь он вставал с гимном, в шесть часов утра. Нет уже того гимна, давно не работает радио, а привычка осталась. С улицы послышалось протяжное мычание.

— Ах ты, Боже мой, — подхватился старик, — что же это я, ведь Бурёнка не доена.

Он стал быстро натягивать штаны, путаясь в пуговицах, застёгивал рубаху. Кое-как, одевшись, схватил с сенцах подоюник, хлопнув дверью, выскочил во двор, поковылял к деннику. Бурёнка стояла, перевесив голову через верхнюю жердину, выжидательно смотрела в сторону избы.

— Сейчас, сейчас, милая, ты уж прости меня, дурака старого, проспал я.

Оправдываясь, Тимофей крутился вокруг коровы в поисках скамейки, вспомнил, что не

захватил воду помыть вымя, махнул рукой, на корточках под брюхом устроился и начал доить. Когда тугие струи молока забили по дну подойника, старик немного успокоился.

— Как же это так, отродясь не было такого, что бы я проспал, опять же дверь на крючок не закрыл на ночь, а вроде закрывал.

Тимофей ещё долго ворчал, пока доил корову, пока выпускал кур из сарая. Управившись, старик поставил ведро с молоком в сени, вернулся в денник, накинуд на рога коровы петлю из старых вожжей, потянул на улицу. Пока не лёг снег, Тимофей водил Бурёнку в сквер возле клуба. Собственно клуба, как такового, давно уже не было, осталась только кирпичная коробка. Лет пятнадцать назад там произошёл пожар. Как это случилось, так толком и не узнали. То ли молодёжь подожгла по пьянке, то ли ещё что. К слову, и молодёжи-то тогда оставалась пара девок, да тройка парней сопливых, ещё доармейских. Тимофей ослабил повод, корова шла сама, вровень с ним, иногда опуская голову, на ходу срывая траву. С неё-то, с молодёжи, и началась вся эта «эвакуация». Сначала так, вроде понемногу, уезжали, кто помышленной на учёбу в город. Ну, девки, конечно, кто замуж выйдет в другую деревню, иль в Чистоозёрку. А когда колхоз развалился, валом поёрли. Оно может быть и правильно, что им тут без работы, без денег сидеть. Те, кто остались, самые никудышные, быстро спились. Колхоз прикрыли, а вместо него что? Фермер тут один объявился, из Елизаветинки. Из остатков колхозного стада ферму держал. Некоторые деревенские на него работали. Да и то денег они от этого фермера не видели. А так: то зерном рассчитается, то комбикормом, реже мясом. Года два эта артель процарилась, потом разорился фермер и всё, совсем плохо стало. Один доход в деревне остался — пенсионеры. Вот и жили за счёт стариков их сорокалетние, пятидесятилетние дети. Жили, пока те жили. Тимофей остановился возле разобранного дома.

Вот и Бурмачихину избу раскидали. На той неделе мужики на грузовой приезжали, вроде как из Песчаного. Подошёл поближе, постоял, опустив голову, как над могилой. Бурмачиха до последнего оставалась в деревне. Сколько дочь не уговаривала, не звала к ней переехать в это самое Песчаное, не соглашалась. Поначалу Тимофей был только рад такому обстоятельству, всё не один в деревне, даже шефство над старухой взял, помогал, чем мог. Но постепенно Бурмачиха стала сдавать. Сначала от коровы пришлось отказаться, затем от птицы, не могла уже ходить за хозяйством, хворать стала часто, в избе запустение началось. Как-то проходил Тимофей мимо, видит, ходит Бурмачиха по ограде в одной нижней рубашке нечёсаная, косматая, бормочет что-то. Прислушался, а это она с мужем своим, давно умершим разговаривает. Мол, городьба заваливается, крыша на сенцах прохудилась, течёт, а тебе хоть бы что. Поначалу вроде как ругалась, а потом давай уговаривать, звать. После того случая не выдержал Тимофей, попросил Виктора отзвонить в Песчаное, чтобы дочка забрала старуху. На следующий день приехали на жигулях, чуть ли не силой увезли Бурмачиху, да как оказалось ненадолго. Через полмесяца померла

она, а перед смертью шибко просила похоронить её на Черёмушкинском кладбище, возле мужа значит. Так и сделали

Старик потянул Бурёнку, пристроившуюся рвать траву у сломанной калитки, пошёл дальше по улице. Идёт Тимофей мимо ям да развалин, бурьяно заросших, старается по сторонам не смотреть, а память упрямо подсказывает где, чья изба стояла, да какие люди там жили. Вот здесь, к примеру, в большом бревенчатом доме проживал с семейством сам Егор Семёнович Берест. Официально должность Егора Семёновича называлась — директор Удинского рыбхоза, а практически был он в 50-х—60-х годах хозяином двух деревень: Удино и Черёмушек. В Удино была первая бригада, в Черёмушках — вторая. Хоть контора рыбхоза находилась в Удино, проживал Берест, в Черёмушках. А что ему, с начала-то в бричке ездил, а потом на газике. Кроме рыболовецких бригад в рыбхозе был завод по переработке рыбы, тоже в Удино находился. Строгим был Егор Семёнович начальником, но опять же справедливым. В общем настоящий хозяин и спрашивал и заботу проявлял. Процветали деревни при нём. Особенно рыбаки хорошо жили. Да и колхозные не в обиде были. В деревенском магазине было то, чего и в районном не было. Чистоозёрское начальство с Берестом старалось дружбу водить, сам первый секретарь к нему частенько навещался, в баньке попариться, то, сё, отдохнуть значит. Говорили, что был Егор Семёнович большим начальником где-то на Каспии, тоже по рыбному делу и что, мол однажды выступая на каком-то собрании с трибуны о Хрущёве нехорошо отозвался, вроде как даже дураком назвал. Ну, донесли конечно, посадить не посадили, а вот сюда с понижением отправили. Правда то или нет, только верил народ, что Берест такое мог вытворить. Да, крутой был мужик. Жалко, что перевели его, уже при Брежнев, с повышением. Это ещё до того, как дамбу эту проклятую строить начали, из-за которой озеро высохло. Берест бы не допустил, до Москвы дошёл, а озеро отстоял бы. Это уж точно. Как-то Виктор показал Тимофею Чаны на карте. На ней озеро было похоже на цветок, каждый лепесток цветка отдельное озеро, между собой они связывались проливами. Поэтому, наверное, и название во множественном числе — Чаны, каждое озеро — чан. Та часть Чанов, на берегах которого находились Удино, Черёмушки, Песчаное и ещё пара деревень, называлась Удинский плёс, видимо потому, что Удино было самым крупным из перечисленных. До революции село было волостным центром. И вот в начале семидесятых пролив, который соединял Удинский плёс с остальным озером, перегородили дамбой. Для чего это сделали, никто жителям прибрежных сёл не объяснял. Сначала никто и не понял, что произошло. Между тем, из-за дамбы, в озеро перестал поступать приток свежей воды и оно стало чрезмерно солёным. Рыба начала выбрасываться на берег. Целые тонны рыбы. А потом вода стала уходить, оставляя после себя пустыню. Тимофей вздохнул, поплёлся за Бурёнкой, которая тянула в сторону клуба. Свернули в проулок, пошли мимо сада-огорода бабки Липуны. Почему сада? Да потому,

что Липунья выращивала на своём огороде всё, что могло вырасти в Сибири. Тополь, кедр, берёза, ель и тут же вишня, яблоня, слива, не говоря о смородине, черёмухе, малине, шиповнике и других кустарниках. В деревне Липунья, а точнее Вера Эдуардовна Липунина, появилась после войны. Было ей тогда уже за сорок. Кто она, откуда никто, из деревенских толком не знал. О своей прошлой жизни женщина говорила неохотно. Но по всему было видно, что человек она городской, образованный, хотя и к физическому труду привыкший, потому как работала Липунина и в поле, и на ферме не хуже деревенских баб. Году в пятьдесят седьмом приезжал к ней какой-то мужчина, худой, с седым ёжиком волос. Костюм на нём висел как на вешалке. Как встретила Липунья гостя, что у них там произошло, неизвестно, только пробыл тот недолго, в тот же день уехал. И до этого-то не очень общительная, после встречи с ним замкнулась Липунья ещё больше. А по деревне пошли слухи, что кто-то слышал от участкового, что мол приезжий был из «этих», рассказывающие многозначительно подмигивали, из бывших врагов народа, которых в те времена стали выпускать из лагерей. Липунья же вопросов никто не задавал, то ли из вежливости, то ли помня недавнее время, из страха. С фермы она ушла, возраст не позволял. Работала уборщицей в школе, иногда поражая молодую учительницу своими познаниями в педагогике. А всё свободное время Липунья проводила в огороде, который с годами превратился в сад. Сельчане по разному относились к её пристрастию — одни восхищались, другие удивлялись, третьи крутили пальцем у виска. Дружбы женщина ни с кем не водила, как впрочем, ни с кем и не ссорилась. Со всеми одинаково вежливая, малоразговорчивая, до самой смерти прожила одна в своей избушке. Как жила так и умерла тихо, в своём саду. Обнаружили старуху пацаны, в очередной раз залезшие поживиться плодами Липуньеного труда. Липунья лежала, крепко обхватив ствол берёзы. Мужики потом рассказывали, что кое-как разжали ей руки. Может плохо стало, ухватилась за дерево, да так и сползла на землю. Хоронили, скинувшись, всей деревней. Сообщать о смерти одинокой женщины было некуда, дома у неё нашли только старую фотографию. На ней Липунья ещё молодая, а рядом тот самый мужчина, что приезжал. В довоенной форме ещё, на петлицах ромб — комбриг значит.

Тимофей попытался найти ту берёзу, да где там, из-за долгой неухоженности сад превратился в джунгли.

Проулок кончился, старик обошёл большую яму, которую осенние дожди наполовину заполнили водой. На этом месте стоял дом Пашки Плотникова. Был Пашка, что называется знатным комбайнёром, даже орден в своё время получил. Весельчак, балагур, а главное отменный гармонист, поэтому не обходилась без Пашки ни одна свадьба, ни одна деревенская гулянка. Где Пашка появлялся, там сразу же шутки, смех. Весёлый был мужик. Вот только когда худые времена настали, когда сначала прекратило существование рыболовецкое хозяйство, затем колхоз развалился, работы не стало, приуныл Пашка, всё больше

стал к стакану прикладываться. Сидит, бывало, на лавочке возле дома изрядно подвыпивший, наклонив голову к гармошке, и пиликает что-то грустное, заунывное. Не долго так-то он протянул. Повесился в своём сарае. Кто бы мог подумать, что Пашка-весельчак так кончит. Тонкой души видимо был человек.

Тимофей остановился, оглянулся. На месте Пашкиной избы яма, по соседству ещё одна такая же, сколько таких ям по деревне, как воронок после бомбёжки. Когда ехали на фронт по освобождённой от немцев территории, нагледелся Тимофей на уничтоженные войной такие же деревни. Вот такие же воронки да печные трубы на месте сгоревших домов. Ну так то война была, а сейчас что? Слава Богу уже пятьдесят лет мирно живём. Войны нет, а деревни разбомбили. И по всей стране так. Это как же понимать? Стало быть не нужны стране ни мясо, ни рыба, ни хлеб, ни молоко. Что в России народ есть перестал? Оказывается нет, не перестал. Однажды разговорились с Виктором на эту тему, а он говорит:

— Пошли, что-то покажу.

Вышли во двор, Виктор поднял картонную коробку, в которой цыплята сидели, откинул сверху марлю:

— Читай.

А на коробке написано «Масло сливочное, сделано в Новой Зеландии». А эта Новая Зеландия находится где-то возле Австралии, на другом конце земли. Во как. Вон в Удино какой масло-завод был, всю округу маслом снабжал, в Омск возили. Да что там масло, а курятина из Америки... Старик плюнул, потащил корову в клубный сквер, благо уже почти дошли.

Когда-то ухоженный сквер, подобно Липуньному саду, превратился в дремучий лес. Пройдя по аллее, заросшей лопухами, Тимофей подошёл к стеле. Стела, или как в деревне называли памятник, была выложена из кирпича и заштукатурена. Прямоугольная снизу, она заканчивалась длинной пирамидой, со звездой наверху. Бронзовая краска, которой был покрашен памятник, во многих местах облупилась. На прямоугольной части был привинчен металлический щит с выдавленными буквами. Сверху было написано «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины». ниже шёл длинный список черёмушкинцев не вернувшихся с войны. За стелой просматривалась большая поляна. Тимофей бросил повод и Бурёнка привычно пошла к месту выпаса. Проводив корову взглядом, старик подошёл к памятнику, постоял, затем, нагнувшись, кряхтя, вырвал выросший у подножья репейник, отбросил в сторону. Вытерев руки о штаны, Тимофей стал водить жёлтым от табака пальцем по выдавленным буквам на щите. Многих из этих людей, чьи фамилии здесь написаны, он помнил по своему довоенному детству. Но вот палец, опускаясь вниз по списку, остановился на надписи:

= Воронков Е. В. 1903—1943 гг. =

Всего сорок годков отцу было отмерено, а сынок вот уже скоро восьмой десяток разменяет.

Это было летом сорок третьего. Тимофей на закате пришёл с сенокоса. Зайдя в дом, он увидел мать, сидящую в полутёмной горнице. Никогда

Тимка не видел её такой. Мать просто сидела, перебирая руками край фартука и слегка раскачивалась. Широко раскрытые глаза смотрели куда-то в пространство, казалось, что даже вошедшего сына она не заметила. Тимка понял, что произошло что-то страшное, и уже догадываясь, что именно, не хотел верить.

— Нет больше папки, сынок, — голос матери прозвучал как-то спокойно. Она не кричала, не билась в судорогах, как это происходило со многими деревенскими бабами, она сидела и раскачивалась.

— Как нет? — спросил Тимка, хотя и так было ясно.

— Вот, — мать кивнула на бумажку, лежащую на столе.

Тимофей подошёл, взял прямоугольный листок: «Ваш муж рядовой Воронков Егор Васильевич пал смертью храбрых...» Не дочитав, бросил похоронку и выскочил на улицу, а перед глазами стоял отец, улыбаясь он говорил: «Эх ты, Алёша».

Старик похлопал по карманам в поисках корочки с табаком. Почему-то эта присказка отца всплывала в памяти, когда Тимофей вспоминал его. Отец так говорил в тех случаях, когда у Тимки что-то не получалось или он попадал в какой-нибудь конфуз. Почему Алёша — понятно, это имя и слово — недотёпа — для отца означало одно и то же. Постояв ещё немного у стелы, так и не закурив, старик направился к Бурёнке. Нашёл волочившийся за коровой конец вожжей, привязал их к забитому в землю куску водопроводной трубы. Проверив узел на прочность, пошёл в сторону клуба.

Здание было построено лет сто назад, и изначально это была церковь. Даже сейчас, по развалинам, можно было судить о добротности и красоте строения. Выложенное из красного кирпича, но состояло из двух частей широкой и узкой. Узкая была высотой около пяти метров, широкая метра на три выше. Купола с церкви стащили сравнительно недавно, в середине шестидесятых. Тянули тросами, зацепленными за трактора, по два на купол. Потом крышу застелили шифером, расписные стены заштукатурили, в широкую часть построили второй этаж, получился клуб с большим кинозалом, фойе, кинобудкой и библиотекой. Клуб-то получился хорошим, куда там районному ДК, но вот только лет через пятнадцать стали черёмушкинцы вспоминать слова деревенского долгожителя деда Пантелея. Тот когда последний купол рухнул перекрестился и сказал:

— Не стало церкви, не будет и села.

А ведь так оно и вышло. Тимофей поднялся по ступенькам на высокое крыльцо клуба и через аркообразный дверной проём вошёл внутрь. Пройдя через небольшой коридор, оказался в гулком фойе, осмотрелся. Стены были покрыты копотью, пол был засыпан мусором. Валялись сломанные стулья, бумага и ещё что-то. Когда-то здесь стоял большой бильярдный стол, покрытый зелёным сукном. Мужики и парни перед фильмом кто умело, кто похуже, гоняли костяные шары. Пока одни стучали киями, другие активно болели, подавали советы. А вон в том углу на длинных чёрных ножках стояла радиолка. Под Хиля и Пьеху

молодёжь, а то и взрослые, кто как мог, танцевали. Иногда радиолу заменял Пашка со своей гармонью, какая тогда начиналась пляска, да ещё и с частушками. Но это обычно по праздникам: Новый год, октябрьские, День Победы, опять же на Выборы. На Выборы или как говорили в деревне — на выбора, привозили всякие дефицитные продукты: фрукты, колбасу и другое. Обязательно пару бочек пива. Торговали или на улице, если лето, или тут, в фойе, если зима. День выборов всегда был выходным, даже в страдную пору и народ охотно шёл отовариваться, погулять, а заодно и проголосовать за блок коммунистов и беспартийных, особенно не задумываясь над личностью, единственного кандидата в депутаты. Старик прошёл в кинозал, вернее туда, где он был. Стена слева была наполовину разрушена, на полу груды разбитого кирпича, мусор, на месте сцены — яма. Глядя на эту разруху, трудно было представить, что это помещение когда-то заполнилось народом. Обилитившись у входа, степенно заходили взрослые и шумной ватагой вваливалась ребятня. Какое-то время в зал стоял гул. Ребятишки толкаясь, выдёргивая друг друга из кресел, занимали передние ряды. Мужики подначивали какого-нибудь одного бедолагу, выбранного на этот вечер мишенью для шуток. Бабы громким шёпотом обсуждали наряд нечаянно выделившейся модницы-односельчанки. Проходило какое-то время, и кто-то выкрикивал: «Начинай», другой подхватывал: «Кино давай», могли и свистнуть, но киномеханик включал свой стрекочущий аппарат только тогда, когда билетёрша выключала свет в зале. И вот наконец из одной из амбразур, расположенных под потолком, ударял луч света и расплывался по экрану. Народ постепенно затихал. Сначала смотрели киножурнал. Мелькали колхозные поля, заводские цеха, трибуны партсъездов и сидящие в зале невольно чувствовали себя частью этой красивой, счастливой и очень правильной страны. Тимофей опустился на уцелевший ряд стульев — кресел, соединённых по четыре, закрыл глаза. Казалось, что зазвучит сейчас уютное: «Когда весна придёт не знаю...» или запоют, запляшут, помогая себе руками и глазами, пышноотелые индианки. А то разольётся лавой красная конница вслед за развешиваемой буркой Чапаева. Но чуда не произошло. Дыра в потолке, через которую виднелся другой потолок, библиотечный, обгоревшие доски сцены, разрушенная стена неумолимо возвращали к печальной действительности. Старик опустил голову, снял кепку, вытер слезящиеся глаза. Волной накатила тоска. Но вдруг вспомнились слова косоглазого артиста, из какой-то комедии: «Всё, кина не будет, кинщик заболел», издавая звуки, похожие на хрюканье, Тимофей то ли смеялся, то ли рыдал:

— Всё, кина не будет, клуба не будет, села не будет, озера не будет, ничего не будет!

Худые плечи тряслись, в такт скрипели стулья-кресла. Немного погодя старик успокоился, поднял голову, упёрся взглядом в стену туда, где когда-то был экран.

— Умереть бы, — сказал он.

Слова прозвучали неожиданно громко и отчётливо, в них одновременно была и решительность

и просьба. Тимофей встал, надел кепку, одёрнул полы пиджака. Сейчас, несмотря на свою тощую старческую фигурку, он был похож на солдата, стоящего по стойке «Смирно», то ли перед знаменем, то ли перед начальством. А может, именно так предстают перед высшим судом те из смертных, на плечи которых не давит тяжесть грехов прожитой жизни. И хоть не совершил в этой жизни каких-то больших дел и великих подвигов, но на хлеб всегда зарабатывал честно своим горбом. Пришло время защищать Родину, не уваливал и не его в том вина, что так и не пришлось ему ни разу выстрелить по врагу, довелось бы, воевал бы как мог, за чужими спинами не прятался. И сына вырастил неплохим человеком, а что прожил он совсем недолго, опять же, это не в его отцовской власти было. С людьми Тимофей жил по совести, без подлости, без большого обмана. А если что и было... Ну, в общем, так, готов к ответу и всё тут. Слёзы высохли сами собой, в голове, как в прибранной и хорошо проветренной избе, было светло и чисто, думалось легко и ясно. Да и из тела, на какое-то время, как будто ушли стариковские болячки. Тимофей оглядел вокруг, как бы ища кого-нибудь, чтобы поведать о своём удивительном состоянии. И вдруг на стене, в глубине сцены, он увидел изображение человеческой фигуры. Не отводя взгляда от стены, спотыкаясь об обломки кирпича, Тимофей подошёл ближе. Да, действительно, из-под облупившейся штукатурки явно просматривался силуэт женщины в длинном одеянии, с ребёнком на руках. Подойти ещё ближе мешала яма, заваленная горелыми досками. Старик сделал пару шагов в сторону, угол отражения солнечных лучей попадавших в кинозал через пролом в стене, изменился, Тимофей отчётливо увидел тускло играющий красками образ Пресвятой Богородицы.

Контраст цветного изображения с серым фоном стены придавал увиденному необычайную реалистичность. На какой-то миг Тимофею даже показалось, что он слышит шорох одежды, а ребёнок на руках Богородицы шевельнулся. Старик перекрестился, опустил глаза, что-то знакомое было во взгляде девы Марии, эта приветливость и сочувствие, эта одежда в виде покрывала, всё казалось недавно виденным. Тимофей посмотрел ещё раз на изображение и словно горячая волна заполнила душу, волна радости и надежды.

— Ах ты, Боже мой, как же я мог забыть.

Не отводя взгляда от образа, он медленно перекрестился.

— Спасибо тебе, Мария, — сказал старик, сам на осознавая, кому предназначались слова благодарности, то ли деве Марии, то ли Маше, его жене. Тимофей повернулся и пошёл к выходу.

Теперь он знал, что надо делать. Кончилось его невыносимо тоскливое одиночество. Выйдя из клуба, он было направился к тропинке ведущей из сквера, но вспомнив про корову, вернулся и пошёл к стеле.

Как будто удивлённая столь ранним возвращением, Бурёнка шла неохотно и старику приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы тянуть её за собой.

— Ничего, ничего, Бурёнушка, у Виктора тебе будет хорошо, он хозяин справный, и хозяйка у него хорошая.

Уговаривая корову, Тимофей перебирал в памяти события прошлой ночи. Неужто это был не сон, конечно же не сон. Он вспомнил всё, до мельчайших деталей. А тот факт, что дверь в сених не была закрыта на крючок, окончательно убеждал его, что всё это было наяву. старик поверил потому, что ему очень хотелось верить.

Бурёнка, словно поняла, что упираться бесполезно, понуро шагала за Тимофеем. Но тот неожиданно остановился, повернулся к корове. Глаза старика блстели, сам он был необычайно возбуждён. Если бы Бурёнка умела говорить, она бы наверное сказала, что никогда прежде не видела хозяйка таким. Тимофей сдвинул кепку на затылок:

— А я вот, Бурёнка, к своим ухожу, ждут меня, понимаешь, измаялся я вконец. Знаешь, как там будет хорошо, всем вместе-то. А здесь что, тоска одна. Виктор с Верой, они вдвоём, опять же, дочка с внучкой рядом. Что ещё надо, живи и радуйся. А мне для кого жить, я, вот, как тот пень трухлявый, ни ствола, ни веток, зачем торчу, не знаю.

Корова воспользовавшись остановкой, опустив голову щипала траву. Тимофей погладил её по шее.

— Эх ты, животное, разве ж понять тебе душу человеческую, тебе-то никого не надо, если быка только, да и то раз в год.

Старик замолчал, продолжая гладить корову, смотрел куда-то выше горизонта.

— А ведь как хотелось жить, тогда, в сорок пятом, под бомбёжкой.

До лагеря оставалось около километра. Справа от дороги уже забелели первые берёзы, изредка разбавляемые зарослями акации и черёмухи. Верхушки деревьев были сплошь облеплены грачными гнёздами. Поэтому и называли эту берёзовую рощу — грачёвая. Гнедко, почуввав близость дома, прибавил ходу, норовя перейти в галоп.

Натягивая вожжи, Виктор притормаживал коня, а когда с большой дороги свернули на лесную, вообще пустил его шагом, пусть поостынет. Фургончик на резиновом ходу, или по-местному, ходок, мягко катился по шуршащей сухой листве. Котельников ездил в райцентр, получил зарплату, заехал в милицию, написал заявление по поводу срезанных проводов — вчера обнаружил: сняли от столовой до прачечной, метров двадцать будет. Ну, конечно, к дочке заехал, завёз им груздей нынешнего посла. Жалко, внучку повидать не удалось, в школе была. Зять дома был, посидели, поговорили, вроде как наладилось у них. Борис сейчас мясом занимается, скупают в деревнях, да в Омске продаёт. На этом целая артель у них образовалась. Виктор поначалу не одобрил новое занятие зятя, спекуляция да и только. Потом смирился, понял, что в нынешние времена каждый выживает как может. А то ведь им ещё недавно туговато приходилось. Борис-то механиком в сельхозтехнике работал. А там, в связи с всеобщим развалом, платили нерегулярно с большими задержками. Да и у дочки-учительницы зарплата известно какая,

не разгуляешься. Ну вот и дом. Гнедко остановился у ворот, стоял пофыркивая. Виктор слез с фургона, закинул вожжи коню на спину, стал открывать ворота. Вера уже стояла на крыльце.

— Ну, как дела, Витя?

— Да всё нормально, мать, жалование получил, Татьяну с Борисом попроведал, сумку, вон, насобирала она чего-то.

Вера спустилась с крыльца.

— А у нас новость.

— Что за новость? — Виктор взял коня под уздцы, завёл в ограду.

— А вот посмотри, — Вера махнула рукой в сторону денника.

В деннике стояла корова. Котельников посмотрел на корову, перевёл удивлённый взгляд на жену.

— Это ж Тимофеева Бурёнка, как она тут оказалась?

Вера пожалала плечами.

— Не знаю. Утром, как ты уехал, слышу — мычит. Пошла, а она тут за корпусом привязанная. — Вера показала на висащие на перекладине вожжи. Виктор подошёл, потрогал их, задумчиво разглядывая корову, та равнодушно жевала жвачку.

— Странно. Что, в Черёмушках трава кончилась?

Вера развела руками, разбирайся, мол, сам, взяла с телеги сумку и пошла в дом, на крыльце оглянулась.

— Корова не доена была, видимо, с ночи здесь. — и зашла на веранду.

Постояв немного, Виктор взялся было распрягать Гнедка, уже развязал чересседельник, но передумал, снова натянул ремешок и привязал его к оглобле. Зашёл в дом. Жена разбирала содержимое сумки. На столе уже лежали колбаса, конфеты, какие-то кулёчки. Виктор присел на табурет. Продолжая сортировать, Вера посмотрела на мужа.

— В Черёмушки собрался?

— Да понимаешь, странно как-то это всё, непонятно.

— Да уж, непонятно, ты бы хоть поел сначала.

Виктор задумчиво покачал головой.

— Нет, не хочу, у Татьяны поел.

Посидел ещё немного.

— Ладно, поеду.

Теперь Гнедко не торопился, нехотя рысил между песчаных холмов, а там, где дорога была перемертена песком, переходил на шаг. Котельников сидел, свесив ноги с телеги, изредка понюкая коня. Ему явно не нравилась эта история с коровой. Какое-то беспокойство закрадывалось в душу. Зачем старик привёл корову? Если надумал куда-то отлучиться, предупредил бы. Да и куда ему отлучаться? Привычный пустынный пейзаж не прибавлял оптимизма, вокруг было тихо. Даже бесноватый всю неделю ветер перестал дуть. Только карканье пролетающих ворон изредка нарушало тишину, да однажды сорвалась из камышей испуганная сова и понесла своё круглоголовое туловище в сторону далёкого леса. Но вот показались первые развалины Черёмушек. Не раз бывал Виктор в этой заброшенной деревне, но всегда при виде разрушенных домов, заросших бурьяном

улиц, ему становилось жутковато. Казалось, что остался ты один на планете и вся она покрыта вот такими руинами и пустынями. Наверное так будет выглядеть Земля, если вдруг случится ядерная война. Въехав в деревню, Котельников остановил коня у избы Тимофея. Хотя избы этот небольшой домик, назвать было трудно, скорее хатой. Из-за дефицита леса, дом был сделан с камышовой начинкой. То есть снаружи доски, а внутри камышовая плетёнка, обитая дранкой и замазанная глиной. В здешних местах таких домов было большинство. Накинув петлю уздечки на столбик калитки, повернув вертушку, Виктор вошёл в ограду. Огляделся, прислушался. Увидев бродивших по двору кур, даже обрадовался, какие никакие, а живые существа. Обратил внимание, что куринная поилка, разрезанная по вдоль шина от трактора «Белорусь», до краёв наполнена водой, возле неё приличная куча зёрна.

— Тимофей Егорыч! — крикнул Виктор подвывая к сенкам.

Тишина. Замка на входной двери не было. Котельников толкнул её, дверь неожиданно громко закричала. В полутьме сеней Виктор обо что-то зашпунулся. Нагнувшись, разглядел Тимофеевы кирзачи. Сапоги на месте, значит и хозяин должен быть дома. Ещё раз окликнул старика, ничего. Спать ещё рановато, а может... Открывая дверь в дом приготовился к худшему. Пахнуло стариковским одиночеством, почему-то именно так про себя назвал Виктор запах Тимофеева дома. На кухне никого не было, только последние осенние мухи бились в немытое стекло окна. Стол, два табурета, старый шкаф-комод у стены вот и вся мебель. На столе стояла керосиновая лампа. Прощорканые до бела в некоторых местах давно не крашенные полы были отсительно чистые. Котельников осторожно заглянул в горницу. Наспех заправленная кровать с круглыми никелированными набалдашниками на спинках, старенький телевизор, накрытый большой кружевной салфеткой, в углу деревянный сундук, на стене в рамках портреты. Сундук был открыт, возле него лежали стопки одежды, белья. Виктор присел возле сундука на корточки, но ничего такого, что бы внесло ясность он не увидел. Рубашки, пододеяльники и тому подобное, старик или что-то искал, или куда-то собирался. Ну слава Богу хоть жив. Котельников хотел было уже подняться, но увидел лежащую на полу матерчатую ленточку, сложенную пополам. Подняв её, стал разглядывать. На краях материи были видны остатки белой кожи. Повертев находку Виктор наконец сообразил, что это такое. Это было ушко от хромового сапога. Подкладка хромачей сделана из светлой свиной кожи, а к подкладке пришиты матерчатые ушки, за которые берутся, натягивая узкий сапог. Видимо обуваясь, Тимофей потянул её сильнее чем надо за это самое ушко и оборвал его. Старик явно куда-то наряжался, сколько помнил его Виктор, тот постоянно ходил в кирзовых сапогах. Что за случай такой заставил его прифрахериться? Так и не ответив на этот вопрос, Виктор поднялся с корточек, стал рассматривать портреты, их было два. На одном молоденький, ушастый Тимофей, в гимнастёрке без погон рядом с молодой жен-

щиной. Заколотые у висков волосы, в ушах простенькие серёжки, на шее бусы. Красавицей её назвать было трудно, но было что-то особенное во взгляде. Устало, спокойные глаза смотрели приветливо и умиротворённо. На втором портрете парень в солдатской форме. На голове фуражка, на петлицах эмблемы автомобильных войск. Сын больше походил на Тимофея, те же оттопыренные уши, те же черты лица, только глаза материны, взгляд её. Ещё раз оглядев комнату, Виктор прошёл на кухню, сел на стоящий возле стола табурет. Только сейчас он обратил внимание на лежащий на столе, под керосиновой лампой листок бумаги. Приподняв лампу, Котельников вытащил его и пододвинул к себе. Это был тетрадный лист в клеточку, исписанный аккуратным разборчивым почерком, чаще всего так пишут люди, редко держащие ручку в руках.

«Дорогие мои Виктор и Вера. Не осталось у меня ближе вас никого на этом свете. Поэтому к вам моё последнее слово. Спасибо, что не брезговали стариком, помогали и привечали. Прожил я семьдесят годочков и больно мне от того, что только на старости лет я понял, что такое человеческое счастье. Счастье — это когда ты кому-то нужен. Когда человек кому-то нужен — он живёт, а потом, так, понапрасну небо коптит. Будьте нужны друг другу, не ссорьтесь по мелочам, пожалеете потом, да поздно будет. А я уйду к своим...».

Следующие три строчки были тщательно зачёркнуты, но потом шло продолжение:

«Бурёнку заберите себе, хорошая корова и курей тоже. Витя, наверное, искать меня будешь, так это не надо. И ещё, умом я не тронулся, не думайте, с этим у меня всё в порядке. На том прощайте. С уважением Воронков Тимофей Егорыч. Написано 27 сентября 1997 года».

Отложив листок Виктор задумался. А задуматься было над чем.

Старик решил покончить с собой? Тогда почему не надо искать? Наверное, самый отчаявшийся самоубийца хочет, что бы его похоронили по-человечески. Нет, тут что-то не так, Виктор чувствовал, что главное в записке было написано в тех строчках, которые были зачёркнуты, даже можно сказать заштрихованы. Дорого бы он отдал, что бы узнать их содержание. Размышляя, Котельников рассеяно рассматривал кухню, его взгляд остановился на комод, так Тимофей называл посудный шкаф и тумбу с выдвигающимися ящиками. За мутными стёклами виднелась посуда: тарелки, чашки с рисунками на боках, даже гранёный графин. Внезапно пришла мысль: «Документы, если старик куда-то уехал...». Встав с табурета, Виктор подошёл к комоду. За узорчатую ручку потянул на себя правый ящик. Вытащив его полностью, поставил на стол. Сел, стал вынимать содержимое. Сначала достал цветную жестяную коробку. Открыв крышку разложил на столе одну за другой шесть медалей. С чистыми ленточками они были как новенькие, только на одном жестяном кружляше темнела каска, у изображённого там солдата, видимо металл окислился. Взгляд Виктора задержался на медали с профилем Сталина «За победу над Германией». Последним на стол лёг лучистый орден Отечественной войны 2 степени.

Котельников отставил в сторону пустую коробку, но в ней неожиданно что-то звякнуло. Перевернув её, Виктор вытряхнул на ладонь серьги со стеклянными красными камушками и почерневшими застёжками. Он узнал их. В этих серёжках была жена Тимофея на их двойном портрете. Закончив с коробкой, Виктор вынул из ящика перетянутую резинкой стопку документов: пенсионное удостоверение, удостоверения на медали, свидетельства о смерти, аттестат зрелости на имя Воронкова Андрея Тимофеевича, какие-то квитанции. Всё, ящик был пуст. Дно ящика аккуратно застелено пожелтевшей газетой. Виктор провёл по газете рукой, под ней что-то было. Отогнув угол, вытащил паспорт, внутри паспорта лежали деньги. Отложив деньги в сторону, Котельников перелистнул первую страничку: Воронков Тимофей Егорович. Так, и куда же ты, Тимофей Егорович, подался без паспорта, без денег? Виктор медленно складывал содержимое ящика обратно. В голову навязчиво лезла мысль о Тимофеевом самоубийстве. Все факты неумолимо говорили об этом. Посмотреть, что ли, в сарае? Задвинув ящик на место, Виктор вышел во двор и направился к сараю. Но в тёмных клетушках, кроме выскочившей с громким кудахтаньем курицы, никого не было. Побродив по двору, заглянув в туалет, Котельников вышел за калитку, сел на вкопанную возле неё скамейку. Стал рассуждать.

Оружия у старика не было, отравиться ему нечем, утопиться негде, остаётся одно — повеситься, а чтобы повеситься, нужно либо дерево, либо потолок.

Котельников оглядел улицу. Домов с уцелевшими потолками в деревне осталось не больше десятка, осмотреть недолго, вон хотя бы с того начать. Виктор встал со скамейки и направился к крайней от озера полуразрушенной избе. Привязанный Гнедко косил взгляд на удалявшегося хозяина. Солнце уже начинало катиться к закату. «Посмотрю, сколько успею», — Котельников прибавил шаг. Чем ближе конец улицы, тем почва становилась песчанее, мягче, постепенно переходя в сырой песок. Виктор уже остановился у намеченной им для осмотра избы, примерился, как ему преодолеть завалившуюся изгородь, но неожиданно запнулся. На дороге лежал прогнивший с одного конца столбик от забора. Невольно опустив взгляд, Котельников увидел то, что заставило его остановиться. Это были следы. Чётко выделяющаяся на песчаной дороге цепочка следов вела в сторону озера. Нагнувшись, Виктор стал разглядывать отпечатки. На обуви, оставившей след, отсутствовал протектор, носок узкий. Похоже, что туфли. Шаря взглядом по дороге, не разгибаясь, Виктор медленно шёл по следу. Через несколько шагов остановился, присел на корточки. Рядом со свежим отпечатком туфлей он обнаружил более старые, обсыпавшиеся по краям следы от кирзовых сапог, но следы эти вели в обратном направлении. Виктор выпрямился, потёр лоб. «Ну что, Шерлок Холмс, думай. Положим, следы от кирзачей принадлежат Тимофею и его следы более поздние, а вот чьи следы от туфлей? Кто мог ходить здесь в туфлях?». Представился почему-то человек чуть ли не во фраке и в цилиндре. «Ага,

это киллер приходил за Тимофеем». Виктор невольно усмехнулся. «Да, хреноватый, Витя, из тебя сыщик». Котельников только сейчас обратил внимание на то, что, рассматривая следы, он вышел за деревню и оказался на берегу. Солнце опустилось уже совсем низко, надвигались сумерки. И как ни любопытно было узнать, куда ж это направился человек в туфлях, надо возвращаться. Виктор уже было развернулся, чтобы идти в деревню, как его вдруг словно озарило: «Белая ленточка на полу! Это же не туфли, это хромовые сапоги. На подошвах хромовых сапог нет протектора. Значит, это следы Тимофея. А следы от кирзачей? Да всё просто. Старик сначала приходил сюда в кирзовых сапогах, поэтому отпечатки от них старые, полусасыпанные. А вот в хромовых он прошёл не так давно, ну, может, вчера вечером или ночью». Виктор посмотрел на заходящее солнце, неумолимо темнело. Немного поколебавшись, он повернулся и подобно собаке-ищейке, опустив голову, пошёл по следу. Шёл ускоренным шагом, иногда переходящим во что-то похожее на бег. Благо, что несмотря на сумерки, следы на светлом песке были достаточно заметны. Преодолев песчаный холм с зарослями камыша, Виктор остановился. Здесь следы кончались. И кончались они неожиданно и непонятно. Судя по всему, шедший остановился и какое-то время топтался на месте. И всё. Сколько ни всматривался Виктор, следов ведущих дальше или обратно он не обнаружил. Получалось одно из двух: либо старик должен стоять до сих пор здесь, либо он улетел, испарился, вообще исчез. От таких выводов становилось не по себе. Жутковатости добавляла наступившая темнота. Впрочем, чем больше темнел горизонт на месте заката, тем ярче зажигались звёзды на осеннем небе. Белый кругляш луны ненавязчиво разливал свет по бескрайней равнине.

Жёлто-синий милицейский уазик, скрипнув тормозными колодками, остановился у ворот, посигналил. Участковый — розовощёкий, рыжеволосый крепыш, не выходя из машины, только приоткрыв дверцу, кивнул Виктору.

— Ну что, садись, поехали, покажешь, где про вода срезали.

В машине, кроме участкового и сержанта-водителя, сидел молодой парень в гражданском. Судя по репликам между рыжим капитаном и парнем, Котельников понял, что последний был то ли следователем, то ли дознавателем. Подъехали к столовой, походили, посмотрели. Парень слушал с интересом, а участковый явно скучал, мол, ясно всё, как всегда. Вообще казалось, что капитана больше беспокоили его забрызганные грязью сапоги, которые он с досадой рассматривал во время разговора. Следователь уселся на пенёк, положил на колени кожаную папку, стал составлять протокол осмотра места преступления. Сержант под его руководством бегал с рулеткой между столовой и прачечной, что-то измерял, потом принялся срезать висевшие концы проводов, укладывая их в полиэтиленовые пакеты. В это время рыжий, видимо, чувствуя себя здесь главным, стоял в стороне и тщательно считал

грязь с сапог пучком травы. Виктор подошёл к нему.

— Тут такое дело, старик один пропал.

— Какой старик? — спросил участковый, не отрываясь от своего занятия.

— В Черёмушках жил, Воронков Тимофей Егорыч. Позавчера ездил к нему, не нашёл.

Капитан отбросил в сторону траву, достал носовой платок, стал вытирать руки.

— Криминал есть? Ну, там, следы убийства, ограбления или воровства.

— Да в том то и дело, что никаких следов.

Рыжий посмотрел на Виктора так, как смотрят на несмышлёного ребёнка.

— Ну, дак, в чём проблема-то? Ушёл твой дед к какой-нибудь бабке, вон, в Удино, например. Сидит там сейчас, самогон кушает.

Участковый подмигнул:

— Или ещё чего делает, а ты тут панику разводишь, — и повернувшись к парню крикнул:

— Жень, ну ты скоро?

— Да всё уже, вот только протокол подписать надо.

— Вон, завхоз подпишет, да жена его, поехали. — И первым направился к машине.

Заехали к Котельниковым, вызванная Виктором Вера расписалась в протоколе. На прощание капитан сунул пухлую руку и, как бы вспомнив, сказал:

— А насчёт старика, дело о пропаже заводить всё равно ещё рано, глядишь, и объявится.

Уазик газанул, выбросив из-под колёс куски грязи, юзя, покатыл по лесной дороге.

— Ты записку-то Тимофееву показал ему? — спросила Вера.

— Нет.

Виктор представил, как бы ухмылялся рыжий участковый, читая последнее письмо старика.

Эпилог

Прошло несколько лет. Тимофей Воронков так и не нашёлся. Лагерь по причине отсутствия финансирования закрыли, но Котельниковы по-прежнему живут в роще, сторожат оставшееся имущество, которое принадлежит какому-то ООО. Иногда сюда приезжают крепкие ребята на иномарках, из которых выпрыгивают весёлые девчата, чуть-чуть старше пионерского возраста. Пока гости обоих полов парятся и купаются в построенной недавно сауне с бассейном, несколько мангалов наполняют рощу запахом шашлыка. А тем временем соседняя деревня Удино доживает последние дни. Уже отключено электричество, не работает насос на водокачке. Один раз в неделю в деревню приезжает машина-водовоз. Воду разливают по количеству душ. А душ, точнее, стариков и старух с каждым разом становится всё меньше и меньше. Остановится водовоз возле дома, водитель сигналит, психует, почему никто не выходит, не выносит фляги под воду. Подойдёт к нему какая-нибудь старушка и скажет:

— Езжай, сынок, дальше, отмучилась Кузминична, вчера закопали.

Рано сейчас ложатся спать в Удино, керосин экономят. Только не спится старикам, ворочаются с бока на бок, вздыхают всю ночь. И только под утро приходит сон, похожий скорее на забытье. Снится им в эти короткие предзвездные минуты кому голодное детство, кому военная молодость, кому колхозный, почти бесплатный, труд, но память обязательно вытащит из прошедшей жизни что-нибудь светлое и радостное. И от этого не хочется просыпаться старикам.

г. Зеленогорск



Вероника Шелленберг Видеть не предметы, а цвета...

Реальный случай. Один замечательный омский художник шёл как-то в центре города со своей картиной через милицееское оцепление, поджидующее серийного убийцу, которому, кстати, досталось по заслугам...

156
Дни Стихи

Руки любимого,
сотканые из звёзд,
несут меня над землёй.

Ветер
освистывает деревья,
перемещает сияющие города
(сверху это отлично заметно),
а солнечный ветер
траектории спутников
гнёт...

Но только не моего!

Моего
надо ещё удерживать, уговаривать —
остановись, остынь!
Хотя бы над Тихим и Атлантическим...

Чувствуешь —
грядёт глобальное потепление?

Настолько
губы любимого
горячи...

В сторону зимы, разлуки вдоль,
в плацкартном поезде,
о нежности твоей забыть пора бы...
Клочковатый снег, но запечатано окно,
от духоты меня уволь!
и вот — на несколько минут разрешено —
буран, Барабинск.

В нежности оборванной — ожёт,
как будто губы на ветру в железо вжал, не удержал,
а губ не жалко.
Шар, хрустальный шар зимы, растресканный тоской,
а там, внутри, на узкой полке боковой —
темно и жарко.

Нежные
придумали дышать
друг другу вглубь
за отворот души и свитера,
сколько можно жадных рук не разжимая.
Западно-Сибирская железная дорога —
это в сумерках свистящая одна из очень многих-многих ран...
и рано утром — ножевая...

Картина не продана...
Утром на площади
мерзкий ветрище, дождище, досада...
Картина — да вот она:
шмель, шевелящийся в чаше цветочной,
медовой, бордовой,
в преддверии сада...

А тут в оцеплении
в оцепнении
форменно мокнут
унылые стражи порядка.
Купите картину! Недорого! В эту погоду
не то, что собаки, маньяки
гуляют навряд ли...

В дожде искажился
трамплин музыкальный —
набивший оскомину всем рисовальщикам
профиль театра...
Купите картину! Недорого...
И — натурально
шевелится шмель,
приседая на задние лапки
для низкого старта.

Сейчас он взлетит,
над гранатом кружа,
и ружьё разрядится,
и прыгнет тигрица
сквозь круг Зодиака.
Художник проснётся...
Сон, прерванный этим полётом шмеля
повторится другому,
а пуля достигнет маньяка.

Картина не продана...
Что ж... продолжается дождь,
оцепление снимут,
пора в мастерскую, обратно...
А где-то вдали
Сальвадора зрачок
сумасшедший, как выстрел, как нож,
просверкнёт,
замечая собрата.

Алтай. Долина Каракольских озёр.

1.

Русалка
высокогорных озёр
вырастает не больше ладони
женской.
А рыб
в озёрах, текущих из ледника,
просто не существует.

Откуда взялась
утиная семья на Караколах, —
мне не известно,

но поднимаясь до снега и оборачиваясь,
(а долина прогибается чашей,
а вода просматривается до
крупнокаменистого дна), —

я видела клинообразные волны
от четырёх уток,
пока они не исчезли,
пока туман
и сами озёра не скрыл.

Как холодно
на уровне снега в июле!
Вблизи удивляешься —
снег
покрыт каменной серою пылью
не сплошь, а подобно
чешуе серебристой рыбы.

А говорила, рыба на Караколах не водится!
Просто она,
не достигая воды,
остаётся в снегах.

Камень, который я обняла,
чтоб не съехать по скользкому склону —
немигающий рыбий глаз.
Он видел меня вблизи.
Видел то облако, то меня.
Настолько плотно
небо подходит к горе,
чем выше гора.

Никакой ностальгии!
Если я там была —
вечно пребуду там,
и маленькие зверьки,
что пищат при появлении человека, —
привыкнут ко мне.

2.

Ручьи...
У каждого свой тембр — не тембр... наречие...
Когда пропадают в расщелину —
будто бы поезд идёт.
По крупным камням —
низкий гул.
Бубен цыганского табора —
издалека...
Вблизи — потрескивание костра,
только быстрее и громче.

Да!
У воды и огня
есть одинаковые,
обоюдоострые слова.

И это
бубен и табор, и поезд подобны речи ручьёвой,
а не наоборот.

А ручьям не до нас.
Они пересекаются, переговариваются,
не зная, где нарекутся рекой.

Туман... иначе слишком подробно
камешки вижу на дне.
Один поднимаю...
Округло пятнистый, как птичье яйцо.
Высыхая,
камень меняет цвет.

~

Спасу нет от милых мелочей...
Вроде бы вчера ещё — ничей
сел на поезд — прошлое долой,
содрано, как старой краски слой.

А теперь — крючочки, узелки,
ищущие жадные зрачки.
Хоть беги, а хоть огнём гори —
чуткое присутствие внутри.

И со мною та же маята —
видеть не предметы, а цвета,
будто бы идти на глубине,
а куда — вникая не вполне.

И ещё ни тяжести, ни зла
железнодорожного узла.

157

Возле брошенного дома
притулился одинокий
фонарь.

Вплоть до самого рассвета
жёлтый колокол качается,
как будто кто глухой звонит, звонит,
да только колокол
без языка.

Да и без толку!
Пустырь за этой улицей,
ни бани, ни пивнушки,
ничего, куда бы в полночь
мог податься человек,
мелькнув под светом фонаря.

Только дом один услышит
«били-боммм...»,
Квадратным оком, тёртым боком
отражая свет звенящий,
в нём мерцаая, пропадая,
наклоняясь к фонарю.

Так стоят они доньне,
на отшибе,
вдруг да кто-то заблудился...
задыхается от ветра, замерзает
в полуночных пустырях.

Может, бродит он, бездомный,
там, где нету ничего для человека...

Что ж так долго не идёт?..

Ключи,
потерянные осенью,
в весенней луже обнаружатся
заржавленные по зубцам,
и надо же —
у самого крыльца.
Поднимешь —
голова закружится.

Вздохнёшь —
о воздух горло стачивая...
Сдвигая,
будто глыбу серую,
я тяжело, но всё же верую,
что где-то
будет всё иначе...
в садах течёт вода живая...

Ключи со скрипом поворачиваю
и открываю.

Какое шикарное лето
мелькает капустницей белой
над фиолетовой клумбой...
Какие слова!
Для шершавых сибирских обветренных губ
непривычны, но мёду подобны...
И хочется быть
загорелой и глупой.

Петунии, настурции, терции...
Птичьи тельца
растворяются в мареве синем,
вибрируя часто крылами.
О, ангелы лета!
Воробышки, бабочки, осы,
витайте-летайте,
на лётном своём языке говорите над нами!

Успеется стыннуть,
ютиться и зябнуть,
сжиматься и в щель забиваться,
метель коротая.
О, зяблик, воробышек,
если нельзя нам
взлетать, то хотя бы позвольте стоять
в освещении рая —

в уюте петунии, настурции, мальвы...
Ворочать в гортани язык,
что ещё не оттаял...
Узорные тени следить...
По сибирской привычке
тепло оставлять про запас,
как любовную тайну.

Это чистая радость побега —
потянулась за снегом рука.
В декабре перебьёмся без снега,
а в апреле — никак.

Так и хочется встать на колени,
разбирая постскрипtum зимы,
так и хочется в тундре оленьей
раскурить голубые думы.

И рвануться — следами, слезами,
прожигая зимы полотно.
И жалея, и тут же терзая
снег, сольющийся с небом в одно.

Снег, стреноживший это цветенье...
Стой, весна, закусив удила!
Я ещё не промёрзла предельно,
я ещё до конца не бела.



А не плохо бы вдвоём
жить из ниоткуда...
На ветру построить дом —
трепетное чудо.

Чтобы даже и в метель
плыл бы дом — пробелом,
и стелилась бы постель,
и свеча терпела.

Чтобы летних трав настой
в доме воздух чистил —
дух ромашковый, густой,
и тысячелистный.

Золотистый полумрак
наши тени комкал,
и читался Пастернак
наизусть, негромко.

Заячий петлял бы след
около порога,
и примерно сотню лет
нас никто не трогал.

Только раз, один лесник,
с сединою волчьей,
взять пришёл бы дробовик,
да исчез бы в полночь.



Всё, что восходит долго
под действием чистой росы,
они покупают дорого —
волосы и часы.

Но кто они и откуда,
смеющие платить?
Распухший кошель Иуды
тяжелеет в пути...

Дыбом встающие космы
путают верх и низ,
когда пульсирует космоса
часовой механизм.

И не вернуть обратно
ни стрелки, ни волоска...
Им тоже это понятно,
не страшно просто... Пока...



Снова зритель театральный
понимает всё буквально.
Бутафорский снег мерцает,
револьвер находит цель:
деревянный, — он стреляет,
юный Ленский умирает...
Но — действительно! — не тает,
снег не тает на лице.

От волнения чуть не плача,
вздрагнул зал: вот незадача!..
А меня — не «пробивает»
(и не знаю почему).
...Пробивает снег секущий
над речною чёрной гущей.
Снег, не тая, пролетает
сквозь меня — во тьму, во тьму.
Только что же — над живою —
кто-то плачет надо мною?
Револьвер дымящим дулом
съел снежинки февраля,
ветер охнул, в кудри дунул...
Или кто меня придумал?
Что же вертится бесшумно
без меня
моя Земля?..



Омск,
он
меньше всего — каторжанин.
Свобода дышит рывками
сквозь поры державы.
Но камень Сизифа
принял ли кто-нибудь
так тяжело на грудь,
как Земля...

Сибирь —
сиплая Родина...
Сизая Родина...
Голубка моя...

г. Омск



Игорь Кузнецов
**Комната, в которую
ты вошла...**

160

Дни
стихи



Смешай разные элементы — получишь воздух,
спи, головой на подушке со своими растрёпанными волосами.
С тобой — поэт, веб-мастер, царя небесного олух,
город со свадебными лентами, траурными колоколами.
Выжги правую грудь или левую, как амазонки,
не помню точно, как они из лука стреляли.
На этом кончается вся античность. Ломки
наутро. Кран из нержавеющей стали
закручен до срыва. Так что над нами не каплет.
Спи, наяда, дриада, русалка, нимфа,
опять желтушный фонарь одноногой цаплей,
бросает тень на проспект и закипает лимфа.
Это — когда на ногах шерсть встаёт дыбом,
не то, что хоббит, скорее — бегут мурашки.
Воздух твой наполняю табачным дымом,
тем более чая в чашке всего полчашки.
Просто поставим друг друга на автореверс,
и я застыну с трубкой в наборе тональном.
Смотрю сквозь тебя, внутрь тебя и через...
Спи сладким сном. В дурацком районе спальном.



Съедены яблоки, синее блюдо, с сеточкой,
оставшееся от них, вместе с трёхмерным снегом,
падающим организмом многоклеточным,
сочетается идеально с предновогодним светом.
Не повторяй за мной, сказанное вполголоса,
иначе снова начнётся движение Броуна.
Взгляд продолжается, после смыкания век, а волосы —
будущее шампуня, заколки или короны.
Всё относительно — время и прочие ёмкости.
С клубком Ариадны кот играл и распутал.
Тесей заблудился, а позже нашли его кости,
не реактивный артрит, но смесь мела с грунтом.
Впрочем, смерть — это акт, не половой, но последний.
Сложно дойти до Бога, лучше открыть воду и слушать море,
записав «аутизм» в прошлогодней карте болезни,
листая страницы Библии или Торы.
Между одной декадой и новым годом,
прошли хороводы, божжи, послы, волхвы.
Мы идём по мосту в роддом, мы оттуда родом,
завязать пуповины, как гордиевы узлы.
Ной уплыл, посадив в ковчег борхесовский bestiарий,
когда Нед Ленд с Конселем ловили русалку.
Цвет ночи не голубой, а скорее — карий,
и Ариадна в слезах, разбивает прялку...



Вот и застыла ночь на свежевывмытых окнах,
уже не хранитель экрана, но есть в ней что-то от DOS'a.
Короче, пришёл апрель, что ни хорошо, ни плохо,
как результат — первый дождь — азбукой Морзе.

Как результат — по утрам — сонная доза,
делает из меня — не сову, но и не человека,
и абстинентный синдром авитаминоза,
заставляет трястись руки, дёргаться веко.

В этом огромном пространстве и бесконечность
забудится, будет плакать, искать свою маму...
И ты, как самая распоследняя Герда... А вечность
здесь ни при чем, и за Кая я не проканою.

Мир инфицирован. Вирус, увы, полиморфен.
Это видно из свежевывмытых окон.
Сколько ни кури, ни прихлёбывай кофе,
симптом очевиден, как твой потемневший локон.

Ни выходить во двор и ни открывать балкон,
там бесконечная слякоть и скользкие лужи.
их так много, что мусор выбросить в лом,
хотя и дома мне он не очень нужен.

Слово, ириской кис-кис прилипает к зубам,
жить в воскресенье, в апреле становится глупо.
Небо, занявшись рассветом, расходится напополам,
гаснет фонарь на проспекте. Так наступает утро.



Время, которое забирается под матрац,
напоминает — уже начало июня,
наступает не то утро, не то абзац,
проникает в рот ложкой невкусного студня.
Нет горячей воды. Не постирать носки.
Чужие стихи в голове-копилке-свинье
Ни обиды, ни радости, ни тоски,
Зеваю чаще, тут уж дыши — не дыши.
истина в самогоне, в пиве, но не вине.
Не ищи её в «Каберне», и в «Мерло» не ищи.

Я хочу съесть сардину в масле, хочу любви.
Это просто как дважды два или трижды пять.
Ты бросаешь в лицо мячом и кричишь «Лови»,
мы берёмся за руки. Лето. Идём гулять.

Мы играем в себя этим летом. Мы видим сны.
В лабиринтах судеб, в подъезде друзья кируют.
Твои летние туфли в прихожей, с капельками росы.
Ты берёшь меня под руку. Шепчешь на ухо «аут»...

Если заснуть — во сне не захочешь курить.
Присниться палатка, река или другая страна.
Перевернуться на бок и дальше жить,
и потихоньку сходить с ума.



Первый раз я приехал сюда год назад.
Комната мне знакома.
Как и то, что у тебя под одеждой. Вечер.
Ты выдаёшь одноразовый пропуск. Дома:
холодное пиво, стихи, необратимость встречи.

Ты сама
своему сердцу и врач, и сторож.
То забудешь таблетку выпить, то потеряешь ключи.
И (случайно) смугляющим шёлком кожи
заставляешь поверить в абсурд. Молчи.

Знаешь,
в моём доме, давно позабытом Богом.
Тишина везде, лишь бега мышинные на слуху.
Сон, за последние ночи, вошедший в моду,
о том,
как пульсирует жизнь
в горячем твоём паху.

Расставаться, бывает, сложно. Дурная привычка.
Несмотря на то, что в деревне прозрачней небо,
говорю сам с собой, прикурив от последней спички.
Потому как
редко случается поговорить с соседом.

День продолжается в пыльных разводах окон.
Ветер меняется. Ты дождалась звонка.
Твой полупрофиль. Чтобы потрогать локон
тянется
и замирает
моя рука.

Твоё сердце больше не девственно. Не помогут
ночные прогулки, тем более — по мосту.
Можно молиться на Радугу, можно — Богу,
а остаться собакой
с банкой,
привязанной к своему хвосту.



На тридцать пятой сигарете, в четыре часа,
День всех влюблённых переходит в утро,
согласно февралю — пятнадцатого числа,
и со щёк твоих осыпается пудра.
Типа, химическая свадьба Розенкрейца,
в преддверии, созданного «Химпромом» смога,
на обед — китайская лапша и морковь корейцев,
на ужин — другой географии много.
Взмахи, всплески собственной крови,
бегущей по каналам артерий, вен,
заставляют дёргаться ресницы и брови.
Мистика. Комната с гобеленом.
Это просто — небо. Это — крикнуть «да»
размывающей глотку холодной ангине,
и пока из крана — бежит вода,
я дрейфую в стакане со льдом, на льдине.
В общем, никогда не играй в домино,
потому что кости, тем более — рыба.
Заглянув, в окно, ты увидишь дно,
обнажившееся под силой отлива,
там сидит и вяжет старушка Макошь.
Далеко внизу, лежит Танин мячик,
и внезапно, ты громко и жалобно плачешь.
Но и это уже ничего не значит.



С 9-го октября начинается чёрная полоса.
Чувствую, эта болезнь никогда не кончится.
Со мной говорят непонятные голоса,
переведи их речь, мой лингвист, моя переводчица.

Я люблю тебя, как живу, бессистемно, проходят дни.
С лета, даже когда и горячей воды не было.
Приезжай скорей, или я приеду. Скажи, обними.
Лихорадка ты, мания, шизофрения, эбола.

Я учу наизусть эсэмэски, употребляю спирт.
Мальчик без мамы курит, сидит и стонет.
Этакая продлёнка. Старо как мир.
То, что меня разрушает, оно и кормит.

Чем прирастёшь? Любовью ли, горем, болью?
Самое страшное время — 17.10.
То, что в венах текло, оказалось кровью
и заражено тобою, с июля, за месяцем месяца.

И не то, чтобы выдумал, выстругал батька Карло.
Люблю всё сильнее, поскольку почти не знаю.
Я съедаю твои билеты, но счастья мало.
Напившись — плачу, звоню, а потом — икаю.

И снятся твоя улыбка, губы, ресницы, плечи,
и с ними твои же вещи: сапожки в пакете, колготки,
и этот обидно короткий с тобою вечер,
впрочем, такая тоска лечится водкой.

Так и летаю, падаю, кречет ли, кочет.
Впрочем, уже и ноябрь месяц не за горой.
Сердце качает кровь, значит, биться хочет,
значит, ещё один раз я проснусь с тобой.



Мир начинался комнатой, плюс шаги
гладили против шерсти зелёный ковёр,
оставляя на нём геометрию ступни.
Пространство кончалось там, где дремал коридор.

Катая во рту кругленькие драже
чужих имён, не зная хозяев их,
вкус испарялся, и я понимал — уже
не позову её, поскольку мой голос тих.

Пока пульс учащён и тревожен взгляд,
любой диалог по сути своей сложен.
Но так сложился логический жизненный ряд,
поэтому пульс учащён и взгляд тревожен.
Светает немного быстрее. Февраль дуреет,
дурнеет, его больше никто не хочет,
чувства, выращенные в оранжерее,
капризны, как орхидеи. И сердце глохнет.

Любовь начинается позже, чем сердце ёкнет,
покуда не скрипнет внутри маховик железный,
а ресницы, что от избытка влаги мокнут,
так сказать, критерий совсем не верный.

Город, вползая в спальню, крадётся еле-
еле. Щёлкает пальцами, кожа его тонка.
Я валяюсь в полупустой постели,
почти у самого выхода из тупика.

Неожиданность

В панцире белом река — подобна заснувшей рыбе,
несёт потоки чёрной воды, подо льдом где-то.
Домик твой, стоящий на отшибе,
с моей точки зрения, т. е. со стороны проспекта.

Стрелки часов в объятиях друг друга,
ты сидишь у окна, почти что вполоборота,
касясь едва-едва ресницами стёкол
окна. Начинается бег по кругу...

Это почувствовали даже стены дома,
уставшие от зимы, ждущие лета.
Ощущение нарастания в горле кома,
увеличивалось, скользя по линии трафарета.

Это не то, чтобы грусть; не хандра, и не то, чтобы
город на тебя дохнул, бросая то в жар, то в холод.
Может быть, просто работает медленно почта,
может... впрочем, всегда найдётся какой-нибудь повод.

Несутся пушистые облака по небесной трассе,
ночь светла, и легка, под вуалью печали.
Но внезапно к тебе приходит счастье
оттуда, откуда его вообще не ждали.

г. Кемерово

Дни память

Владислав Ходасевич Первый лавр



Не люблю стихов, которые
На мои стихи похожи.
Все молитвы, все укоры я
Сам на суд представлю Божий.

Сам и казнь приму.
Вы ельника
На пути мне не стелите,
Но присевшего бездельника
С чёрных дорог моих гоните!

Памятник

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершённое так мало!
Но всё ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрёстке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

*Со колчаном вьётся мальчик,
С позлащённым лёгким луком.
Державин*

Поэту

Ты губы сжал и горько брови сдвинул,
А мне смешна печаль твоих красивых глаз.
Счастлив поэт, которого не минул
Банальный миг, воспетый столько раз!

Ты кличешь смерть — а мне смешно и нежно:
Как мил изменницей покинутый поэт!
Предчувствую написанный прилежно,
Мятежных слов исполненный сонет.

Пройдут года. Как сон, тебе приснится
Минувших горестей невозвратимый хмель.
Придёт пора вздохнуть и умилиться:
Над чем рыдала детская свирель!

Люби стрелу блистательного лука.
Жестокостью шалости, поэт, не прекословь!
Нам всем даётся первая разлука,
Как первый лавр, как первая любовь.

Елена Сороколетова

Портрет



Поздравляем автора
со славным юбилеем!

Редакция «ДиН»

Белая ворона

Наверно, я кажусь излишне скромной,
Упавший локон нервно теребя.
В кафе нарядном «Белая ворона»
Вороной белой чувствую себя.
Мне так давно уже не по карману
Неприхотливый, в общем-то, досуг:
Элитные кафе и рестораны,
Где подадут, заменят, унесут.
Мои гуманитарные дипломы
Для жизни привилегий не дают.
Стирать, готовить, убирать по дому,
Ремонт затеять и создать уют
Сумею. Только горькою отравой
Настигнет мысль на полпути ко сну,
Что я решительно имею право
На горничную. Ну, хотя б одну!

Ачинским художникам

Нарисуй мне, художник, весну,
Чтобы холст изнывал от цветенья,
Чтоб от красок переплетенья
Задохнулась душа на мгновенье
И познала свою глубину.

Напиши мне картину, творец,
От листочков застенчивых клейких
До преддверия сумерек летних, —
Я войду в неё, как безбилетник,
В нужный поезд попав, наконец,

В твой талант, сокрушитель основ,
В гениальность, подобную бреду,
И до станции Осень поеду...
Нарисуй мне весну как победу
Над засилием серых тонов!

Сегодня музыка с утра
Во мне звучит, не умолкая.
А то, что летняя пора,
Смотри-ка, невидаль какая.

Пора распахнутых окон —
Вспорхнуть прямое искушенье.
Черёмухи со всех сторон
Предвосхищают очищенье.

И камень падает с души,
Беспечным мыслям потакая.
А то, что жизнь прошла в глуши —
Смотри-ка, невидаль какая.



Прощеньем не дарю
Меня бы кто простил.
За всё благодарю,
На что хватило сил.
Что выдул, как сквозняк, —
Бесценное, — мой мир,
За совесть, что меня
Всю выгрызла до дыр.
Преградам и врагам
(О, твёрдостью сильны!)
Плачу втридорога:
Урокам нет цены.
Зачем я забралась
На новый Эверест,
Где стала жёстче власть,
Где стал тяжелее крест?
Прощеньем не дарю, —
Меня бы кто простил!



Он мужествен, что краток век,
Он от безумья спасся верой.
Смирился с мыслью Человек,
Что он среди людей не первый.
К чужим галактикам летит,
Врачует рак, чуму и пьянство.
Но он истерзан и разбит
В межчеловеческом пространстве.



За что такая неба синева?!
Черёмуховых запахов безумье?
И нежно к лету ластится листва,
На цыпочки привстав для поцелуя.



О, прошлое, в чём
Твоя нежная власть?
Под старый мотив, пусть нечасто
Как сладостно
К воспоминаньям припасть
И вымолить капельку счастья!

г. Зеленогорск

165

Портрет
Елена Сороколетова



Евгений Мамонтов Контрасты

Азарт, шаманы и справедливость

Я забыл, что такое азарт. Не в смысле, как он переживается, а как определяется научно. Как назло, при переезде у меня потерялась энциклопедия. Иногда полезно что-нибудь забыть и потерять. Есть шанс почувствовать себя первооткрывателем.

Я прекрасно помню зал московского ипподрома, и как кидался к ограждению при звуке колокола мой приятель, даже когда не делал ставок. Но просвещённые читатели нашего журнала обязательно захотят узнать точнее и глубже. Им мало ссылок на личный опыт какого-то там автора, выигравшего в незапамятном году семнадцать рублей с мелочью. Этого мало.

Кстати, тот же приятель по ипподрому имел исключительный дар давать после недолгого раздумья удивительно точные формулировки всему на свете. Например, спросишь его: «Андрей, что такое спорт». А он подумает и ответит: «Затрата физической энергии в непрерывных условиях взаимного соревнования и абсолютной непродуцируемости».

— А что такое музыка?

— Скажу, — говорит, — если одолжишь мне ставку на тройной экспресс в следующем заезде. — Говори!

— Музыка есть одновременное звуковое изображение чувства движения и движения чувства.

Вот такие люди ходили на ипподром... Энциклопедий не нужно!

Но приступим к нашим изысканиям. Известно, что люди делятся на азартных и не азартных. Примем это как теорему пока. А можно ли разделить человеческую деятельность на допускающую и исключаящую азарт? Попробуем.

Занятия, предполагающие азарт, — карты, спорт, вообще игры, коммерция, война, общественная деятельность, даже наука и кулинария в какой-то степени. Действия, исключаящие азарт... Тут сложнее: чистка картошки и туалетов в армии, составление бухгалтерского годового отчёта, ожидание автобуса и окончания рабочего дня, посещение стоматолога, коммунальные платежи... Чувствуете, что тут как-то расплывчато, всё это не род деятельности, не профессии, а, скорее, ситуации. То есть один и тот же человек может быть в одном случае азартен, а в другом — нет. Например, серьёзный коммерсант, просчитывающий каждый ход в течение рабочего дня, может вечером превратиться за карточным столом в азартного игрока. Тогда как профессиональный игрок вряд ли допустит присутствие азарта за тем же столом; будет холоден и трезв. Учёный, начисто забыв

самые азы теории вероятности, может купить лотерейные билеты и трепетать в ожидании розыгрыша. Или какой-нибудь военный, сухой адепт субординации и строевой подготовки, вдруг с горячностью примется доказывать вам, что весь мир опутан сетями сионистского заговора. То есть, получается, что наша исходная посылка не верна. Люди не делятся на азартных и не азартных, но как бы кочуют из одной области в другую.

Причём азарт как раз и появляется, когда они покидают область своей профессиональной деятельности, становясь дилетантами, любителями. Почему так? Мне кажется, что профессионалу присуща дисциплина мышления, над ним довлеет целый арсенал заученных правил и приёмов, который достаточно строго регламентирует его действия. Дилетант свободен от этого. Он рассуждает не по правилу, а по вдохновению, какие бы нелепые формы оно ни принимало. Увлекается. То есть азарт — есть некое производное от свободы, рождённое на стыке вдохновения и безрассудства.

Мы познаём мир благодаря трём вещам: анализу, интуиции и откровению. Анализ это когда вы точно знаете, что зарабатываете в месяц X денег, ваша супруга Y денег, и, откладывая каждый месяц определённую Z сумму, вы сможете к концу года съездить на Фиджи / купить холодильник / расплатиться по кредитам. Интуиция — это когда, несмотря на все расчёты, вы чувствуете, что это не удастся. Откровение — это когда вам снится, что у вас за гаражом зарыт клад, вы берёте кирку, натываетесь на высоковольтный кабель и в результате удара током обретаете дар ясновиденья, с которым успешно гастролируете по стране и даёте одновременные сеансы на стадионах.

По своей природе азарт глубоко чужд анализу и, несомненно, родственен интуиции и откровению. И мне кажется, что некоторые вещи можно было создать только в состоянии высокого азарта. Вот взять и доказать невозможное — что параллельные линии пересекаются, что Земля круглая и вращается, что пространство искривляется, а время движется неодинаково в разных точках; будучи полным неудачником к своим сорока, взять и отправиться, руководствуясь безумной картой, чёрт знает куда и открыть дорогу в Индию, которая потом окажется Америкой.

Главный герой и двигатель азарта — есть некий призрак. Чаще всего — обманщик и искуситель. Это он заставляет одного безумца составлять комбинации выигрышных чисел в лотерее, другого изобретать вечный двигатель, третьего не расставаться с первым выигрышным «счастливым»

пятаком из автомата. Кстати, призраки требуют уважения. Вспомните Пиковую даму. Они род духов. А духи способны не только навредить, но и помочь. Издревле человечество обращалось к ним с самыми насущными и сокровенными чаяньями. Люди дерзали просить у них несбыточного. Например, воскрешения. Приходил шаман и вскрешал. Пускай в одном случае из ста. Пускай даже никогда. Неважно. Он хотя бы попробовал! Не опираясь ни на какие научные знания, следуя одним лишь тёмным преданиям и инстинктам души, ритуалам с огнём, бубном и костями животных. Некое священное безумие поселялось в нём ради того, чтобы повергнуть в прах железную биологическую логику.

Современный азартный игрок от простого картёжника до политика в своей высочайшей интенции стремится к тому же — кидая кости или соратников по партии — забраться на вершину, просто разбогатеть или стать диктатором, но совершить чудо: из «я — обыкновенное ничто» превратиться в «я — всё!», и каждый из них понимает, что годы упорного труда приведут его разве что к повышенной пенсии и ишемической болезни, тогда как Случай, этот могущественный призрак, может дать всё и сразу. Бросая монетку в автомат или садясь за стол рулетки, человек как бы неосознанно подписывается под тем выстрадавшим в каждодневной, подневольной жизни осознанием, что справедливости невозможно достичь никакими законами — действие в согласии со спонтанной природой не определяется никакими догмами.

*И забуду я всё — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав.
Ив. Бунин*

Велосипед

В определённом возрасте начинаешь меньше дивиться, как хорошему, так и дурному. Монотонная однообразность каждодневных впечатлений притупляет восприятие. Жизнь больше не калейдоскоп с весёлыми стёклышками, который вы когда-то в детстве вертели перед глазами, ваша жизнь теперь — расписание поезда, в котором вы сами и машинист, и тепловоз, и пассажир, томящийся перед окном купе однообразием пейзажа. А рядом в то же окно жадно смотрит мальчик. И с улыбкой глядя на него, вы завидуете свежести и остроте его чувств, но не можете вернуть их себе.

Я попытался. Я просто сел на свой старый велосипед и поехал по мосту. Мост кончился и начался лес. Я городской житель. Для меня коза — животное дикое, пророшенная в банке на окне луковница — сельское хозяйство, а три берёзы у городского фонтана — уже роща. Так что, может статься, это был не вполне лес — там, за мостом, тем более, что дорожка была асфальтированной, но для моих подзасохших в городе чувств достаточно было деревьев и травы по обочинам. И всё это сочеталось с беззвучным и лёгким полётом. Я тихо летел. А рядом со мной летела стрекоза. Навстречу шмель. И я улыбнулся.

Как будто произошла реинкарнация, и я был принят в царство насекомых. И никто из них не удивляется, что я, такой тяжёлый и несурзанный,

лечу рядом с ними. Удивительно, но как только я ощутил себя одним из них — может быть, всего на миг — соответственно уменьшились и все мои человеческие заботы. Тревог у меня осталось ровно столько, сколько может вместить сердце шмеля.

Кстати, у них есть сердце? Ну, не важно... Даже если есть, они об этом никогда не задумывались. Кстати, они вообще думают?

Бездумный, катил я дальше, следуя плавным поворотам дороги, и смотрел на самые обыкновенные вещи новыми глазами. Асфальт кончился. Я крепче сжал хромированный руль, подсакивал на гальке, и эта тряска заставила меня окончательно забыть все докучные соображения и расчёты, которые вечно вертятся у нас в голове. Игла соскочила с дорожки. Ехать в тишине было приятно.

Широкая поляна. Лилии, васильки и другие цветы, названия которых я не знал. Низкое, как это всегда кажется на равнине, небо и облака такой скульптурной лепки, будто они приплыли сюда напрямик из головы Буонарроти, прямо со стены Сикстинской Капеллы, только без ангелов.

Под дубом посреди поляны я спешился и огляделся. Я ничего не думал. Ничего особенного не чувствовал. Я просто смотрел. Смотреть и видеть без всяких мыслей было хорошо. Да и что такого я мог подумать об этом дубе или васильках. Всякая моя мысль их бы только испортила.

Дальше и дороги не было, просто две колеи, то поднимающиеся, то опадающие в зачёсанной ветром траве. Колесо попадало в норы сусликов, и звонок дребезжал на руле, а я подпрыгивал на старом скрипучем седле и, наверное, поэтому скоро почувствовал себя всадником.

Если до этого я только опустошался, из головы моей высыпался всякий хлам, то теперь стал наполняться. И первым было вот это ощущение всадничества. И это не просто езда верхом. Новое самочувствие овладело мной. С таким самочувствием легко войти в кабинет директора и попросить прибавки. Просто так, ни за что. Удобно расположившись в кресле напротив и улыбаясь, как улыбаются плохие, но страшно обаятельные герои в кино.

Однако замечу сразу, я всё ещё пребывал в нашем с вами цивилизованном мире. Но когда я перешёл вброд со своим «конём» мелкую быструю речку и оказался на острове, поросшем ивами, с европейской цивилизацией было покончено. Я стоял и смотрел вперёд глазами индейца. Пускай индейца из голливудского вестерна, но всё равно. У меня уже была своя мораль, свои повадки — у меня был снова я сам, такой, каким мне хотелось и единственно стоило быть.

Но вот я остановился, сам не знаю почему. Пейзаж вокруг — небольшая поляна и берёзы над рекой — был настолько хрестоматийным, что попадись он мне где-нибудь на выставке картин, я бы только кисло отвернулся. Но здесь, радостно освещённый живым солнцем, перебиравшим глянцевитую листву на фоне ярко-голубого неба с кружащим в глубине ястребом, он тихо заворожил меня. Я стоял и пил это место.

А потом погода испортилась.

Прошёл короткий холодный дождь, а за дождём опустился туман. Вернее сказать, меня накрыло туманом, который шёл по реке, двигался ровно по её руслу десятиэтажной белой стеной, как волна цунами, но в абсолютной тишине. И всё стало нереально. Я подошёл к самому берегу и вспомнил рассказ Акутагавы, о том, как, заблудившись в тумане, один горожанин попадает в страну водяных. Неба больше не было, и реки не было, потому что всё вокруг было небом и рекой одновременно, медленно текло куда-то, завихряясь белыми воронками, женственными изгибами каких-то восходивших кверху спиралей. Но это было только в самом начале, а потом всё замерло в плотном молочном сумраке. Еловая хвоя стала казаться чёрной, а стволы выше середины таяли в тумане. Вода у моих ног была такой, что казалось по ней можно ходить. Издали шёл непонятный гул, нарастал, приближаясь, захватывая всё вокруг, тревожа. Я не мог понять, что это и в напряжении ждал. И тут, наконец, всё разрешилось резким рыдающим хрипом, и в молочной пелене совсем близко я увидел мутные огни парохода.

Пароход ушёл, и велосипед остался моим единственным механическим другом в этом лесу. Теперь мне и, правда, оставалось полагаться только на него. Веря в его одушевлённость, я потрепал его по кожаному седлу, осторожно тронул язычок звоночка и повёл в поводу.

С тех пор я стал выбирать время и отправляться на велосипедные прогулки за мост. По утрам солнце ложилось на воду так, что в её зелёной глубине были отчётливо видны камни и две трубы-утопленницы, мягко заметаемые илом.

Моё зрение стало цепким. Я легко узнавал тот же самый белый камешек на дорожке, сломанную ветку. И как однажды бросились в глаза несколько опавших лимонных листочков на тропинке под молодыми берёзами.

Я всегда останавливался в том самом месте у реки. Очарование не проходило. Даже не истончалось. Хотя я ждал этого, зная, что всё на свете когда-нибудь приедается. И не мог понять, почему здесь этого не происходит. Дело в том, что чудо — если вдруг взять и заговорить о чуде — каждый раз было новым. Однажды остановившись тут и глядя на эту пыльную, белую, между зелёных холмов дорогу, я чётко вспомнил страницу книги, которую читал, лёжа в кирзовых сапогах и полушубке на широком подоконнике железнодорожного блокпоста. Увидел серое небо и пустые железные шкафы из-под электрооборудования. Банку с окурками папирос на полу... Как будто там оказался. Вы скажете, что же чудесного? Шкафы какие-то, окурки... Конечно. Согласен. Но юность! Мне тогда было двадцать. И я всё почувствовал, как тогда и — самое главное — удивился тому, какой я стал теперь. Почему? Неправильно!

В другой раз, поглядев отсюда на облака, я вспомнил розовую пластмассовую кружку с ручкой. А вторую не вспомнил, хотя их было две. Мы с отцом их купили, когда только приехали в этот город, и у нас не было кухонной посуды. А в комнате не было мебели, и стояли только две раскладушки. На полу, когда мы приходили, шевелился белый тополиный пух, густо налетающий

через открытую дверь балкона. Я опять увидел всё это, как тогда. И снова почувствовал страшную и неправильную дистанцию между собой тогдашним и сегодняшним. Зачем?

Откуда могла возникнуть здесь пляжная душевая с кисловатым запахом, вытертыми посередине до белизны досками настила, ржавым крапом и гвоздём для одежды. Мокрый песок был коричневым, а сухой белым и пыльным, когда идёшь через пляж за пирожками и лимонадом и саднит порезанная об ракушку пятка. И вдруг при взгляде на цветник, на высокие стебли космеи становится грустно, понимаешь, что лето на исходе и скоро в школу.

А однажды я здесь вспомнил два вечерних неба. Одно, глянцевитое и немного гнущее, с белым авиалайнером и красной надписью Аэрофлот, а другое настоящее, вечернее, за окном аэрокасс, но оба уже связанные друг с другом детской радостью предвкушения и неизвестно откуда примешавшемся запахом парикмахерской. Я понял, что тогда, в четыре года, нарисованное и настоящее мало отличались друг от друга. Нарисованное было настоящим. А настоящее было так же хорошо, как нарисованное. То есть не было разницы между обещанием, мечтой и её исполнением. В жизни взрослого любая мечта, если и сбывается, то обязательно не так, как задумано, а с каким-нибудь подозрительным довеском или перекосом.

Появляясь на этой тропинке у реки, я каждый раз не знал, чего именно я жду — ну, какого-то особенного состояния — и каждый раз получал его без всякого обмана или искажения. Как в детстве, когда не знаешь, что тебе подарят на Новый год, но выходит так, что дарят именно то, что ты хотел.

Постепенно я сделался наркоманом этой точки в пространстве. В пользу этого говорит то, что страсть моя была тайной, пик эйфории кратким и острым, а долгое пребывание в городе становилось чем-то вроде ломки.

При большом желании сюда можно было добраться и пешком, но мне всегда казалось, что без велосипеда оно не подействует так, как нужно. Велосипед был не столько транспортным, сколько психофизическим средством, вроде бубна шамана.

Иногда мне приходило в голову, что даже марка моего велосипеда имеет значение. Такого уже давно не встретишь на улицах. Все ездят на спортивных, складных, горных, многоскоростных. Здесь тебе и Audi, и Hummer, и Land Rover с Peugeot, но чаще их китайские близнецы. А такого не было ни у кого — чёрный, большой с дребезжащим передним крылом и надписью на раме «Урал» — то, что осталось от слова УРАЛ.

Он смотрелся так, как бы смотрелась на улице среди Рено и Тойот, допустим, Победа или Испана-Сюиза. А может быть так, как выглядит в современной квартире на фоне всех этих микроволновок, стиральных машин с программным управлением и пылесосов с влажной уборкой старенькая швабра из чулана, на которой прабабушка сто лет назад, распустив волосы, вылетала, смеясь, навстречу полной Луне.

Да, я просто садился — и улетал. Это стало моей жизнью. Я просто не понимал раньше, что уже давно не жил, а теперь опять начал.

Я часто менял маршрут ради разнообразия, благо разветвлённая топография просёлочных дорог это позволяла. Иногда ехал совсем уж по узкой тропинке, скрытой в густой траве, доходившей мне до пояса. Мгновенно узнавал по обгорелому пню или кусту шиповника, что здесь надо вильнуть колесом влево, чтобы не попасть им в нору суслика, как позапрошлый раз. За травой не видя под колёсами земли, я ехал как по карте, только эта карта была живой. И вот однажды, остановившись на такой тропинке под старыми деревьями, в приятном светлом сумраке я почувствовал знакомый уже, радостный толчок внутри и мгновенное перемещение. Я открыл, что заветная точка не одна. Есть вторая — вот здесь. Это было как открытие нового материка или жизни на другой планете. Оказывается, и здесь тоже! — изумлялся я. Теперь на свете было *два* места, где можно жить. Это много. А что если отыщется ещё и третье?

Не помню, когда именно я понял, что мне больше не нужно ничего искать, потому что я обнаружил эту точку в себе. Вернее, догадался, что она всегда, с самого начала, там и находилась. Просто я забыл. Разучился. А велосипед вернул меня. Напомнил. И стало немного стыдно того, каким я стал, и жалко того мальчишка, которым я когда-то был. Я ехал, всё это поняв, печально обрадованный, тихий, смотрел, как высоко вверху чертит небо невидимый самолёт, а высокие цветы по обочине оставляли зелёные пятна пыльцы на моих руках, с музыкальным звуком, цеплялись за спицы велосипеда. А впереди столбиком стоял суслик, выжидая последнее мгновение перед тем, как метнуться в свою норку, прочеркнув этим ещё один миг в моей, такой большой, но не бесконечной ведь жизни.

Я постарался запомнить.

Дневник Обломова

Это может прозвучать странно, но многие из нас не уверены в собственном существовании. Мы скорее *привыкли* к мысли, что существуем, нежели ощутили её во всей полноте. В детстве ещё случалось засмотреться в зеркало, дивясь безотчётно вопросу: почему я это я? Теперь мы смотримся в него прагматично: во время бритья, поправляя причёску или желая убедиться, что вчерашняя вечеринка не оставила на лице слишком красноречивых следов.

При этом никто, конечно, не выражает открыто своей неуверенности, часто сам о ней не подозревает. Мы вообще думаем о себе куда реже, чем нам это кажется. Мысли о своей зарплате, семье и головной боли не в счёт. Это всё лишь связанные с вами «предметы», но не *вы* в том высшем и уникальном смысле, которого мы не умеем и боимся касаться в своих размышлениях.

Величайшие умы человечества становились в тупик, пытаясь ответить себе на простой вопрос: кто я?

Ну, а люди попроще, великим не чета, легко с этим справляются и говорят «я слесарь» или «я

редактор». Но разве общественной ролью — по сути, функцией — и половой принадлежностью исчерпывается весь наш смысл? Такое и помыслить было бы обидно...

И, может быть, важнейший для человека вопрос «кто я?» так и остаётся для многих без ответа до самой смерти.

А то, на что ответ не найден, как бы и не существует вовсе. Говоря языком науки: факт считается отсутствующим вне его интерпретации.

Нас всех не существует, господа! Мы загадочней любого нло.

И при этом вокруг столько вещей, которые *есть!* Вас нет, но есть сигарета и, зажигая её, вы тут же воплощаетесь в курильщика. Вас нет, но есть ваш автомобиль, и за рулём вы уже материализовались как водитель. Не отсюда ли наша тяга к вещам? Чем больше вокруг нас вещей, тем прочнее осязаем мы своё существование, тем глуше и отдалённой проклятый вопрос «кто я?».

Классики марксизма писали, что труд создал человека. Обезьяна взяла в руки палку, и начался её путь к «гомосапиенсу». Опять предмет, какая-то палка! А без неё, значит, так бы и прыгал по деревьям, счастливый в своей незамутнённой, животной несмысленности.

Счастье, что большинству недосуг забивать себе этим голову.

Это мне от праздности, на обломовском диване мысли такие приходят. А на работе вот, за весь день, ни одной, честное слово...

Работа, вообще, всякая активная деятельность, может быть, всего лишь средство от того, чтобы по-настоящему задуматься. Впрочем, это ещё Паскаль в 17 веке сказал.

А вот, что до других людей касается, которые Паскаля не читали или читали, вроде меня, так, урывками... Вот почему думаете, я иду в магазин и покупаю тефлоновую сковородку? Думаете, я рекламу посмотрел — и теперь жарить на ней себе буду что-нибудь такое изумительно вкусное и не пригоревшее? Да Господь с вами! Не стану я ничего жарить. Ну, может быть, так, пару раз. Я куда острее отождествиться хотел с тем парнем из рекламы, успешным, жизнерадостным, который эту сковородку или там брючный ремень покупает. Он-то ведь существует *вполне*. В отличие от меня, с моими вопросами. Он в этот мир вписан и в нём укоренён. Про него даже кино вот сняли, пусть маленькое, рекламное. И все его теперь знают, а меня кто?

А уж если взять большое кино, то тут вообще... Настоящая жизнь и есть. Мы ведь ещё с детства это чувствовали своей безошибочной отроческой интуицией. И потому играли так самозабвенно в индейцев и мушкетёров, что именно жили в эти минуты самой полной своей жизнью. И чётко отвечали, кто мы теперь, — д'Артаньян. А завтра Оцеола, сын Инчучуна, вождь с белым пером. Мы были вписаны в некий сценарий и потому уже неуязвимы для превратностей судьбы, когда сегодня ты «царь», а завтра «раб».

Но, в принципе, это не страшно, пусть не царь, пусть раб, главное, убедиться, что существую.

— Я есть! — главный крик человека от древности, до наших дней. Смотрите, какой на мне гал-

стук! Смотрите, какая зажигалка, какая машина! Как я умею свистеть, а ты так? Слабо? Я существую!

И свойственно это всем. От великих до самых маленьких, рядовых и незаметных. Александр Македонский, ложась спать, читал «Илиаду» и потом клал её под подушку. Зачем, думаете? Сомневался, что существует! Мечтал подвигами своими сравняться и тем как бы воплотиться в гомеровских героев, Менелая, Аякса, Гектора...

А Пётр Иванович Добчинский, о чём Хлестакова умолял, помните? Об одной лишь, но грандиозной услуге. Скажите, дескать, Его Величеству Императору, что существует де такой на свете, живёт Пётр Иванович Добчинский. И всё! Потому что если сам император о тебе знает, значит, ты уж наверняка, точно и всенепременно *есть!*

Один писатель из англичан, Оскар Уайльд, написал, говорят, такую статью, «Упадок лжи» называется. Так вот он там в пику Аристотелю пишет, что не искусство в наше время подражает жизни, как это раньше считать было принято, а жизнь подражает искусству.

Мы подражаем любимым героям из книг, фильмов, рекламы, потому что мир принадлежит им, экранным теньям, кинозвездам, призракам на целлулоидной плёнке... А мы? Да кто же нас знает, кроме соседей... С детства, неосознанно меняя вкусы и вырабатывая привычки, мы проходим через целую эволюцию пристрастий и увлечений, разыгрывая внутри, для самих себя, Пирсов Броснанов, Бредов Питов и... да подставляйте сами, кто вы! И здесь полная свобода для нас. Я знаю девушку, которая, посмотрев «Пиратов Карибского моря», внутренне перевоплотилась в Джека-Воробья. И ещё знаю вполне гомофобного парня, который после фильма «Небо. Самолёт. Девушка» на три дня внутренне превратился в Ренату Литвинову и был при этом счастлив

В высшей степени странно кажется всё это. Люди с паспортами, пропиской, алиментами, судимостями и проч. неосознанно тянутся в поисках своего «я» к каким-то миражам, выдумке.

И ничего странного на самом деле, потому что ни паспорт этот, ни прописка ни на йоту не приближают нас к реальной жизни, скорей, даже наоборот — выжигают в нас эту самую жизнь своим формально-бюрократическим мороком. У Джека Воробья не было паспорта, а у Джеймса Бонда он был фальшивый. Зато у них есть бесконечно насыщенная динамикой жизнь и некий суррогат бессмертия. Даже Дракула, умирающий в каждом фильме, возрождается по воле нового режиссёра в следующем. И умирает он, думаю, каждый раз счастливым и уверенным в том, что — как кровопийца — прожил эту жизнь не зря. А в чём уверены мы?

Управление страхом

Посвящаю моему лабрадору Монти.

Мы откладываем деньги на чёрный день, ходим к доктору и в церковь, покупаем поливитамины, презервативы и новые покрывки. И ещё делаем массу необходимых вещей только ради того, чтобы защитить себя. При этом знаем, что всё

равно умрём. Ну, разве что, те, кто ходят в церковь, надеются как-то обойти и это. Всю жизнь мы только и делаем, что беспокоимся за своё и чужое здоровье, деньги, благополучие, положение и т. д. И вот автор, удручённый такой картиной, решил отыскать хоть одно существо на свете, которое не пеклось бы об этом. Или пеклось не так мучительно, как это приходится делать нам. Сразу скажу, что Будда и его коллеги по небесам — не в счёт. О них потом.

Я сразу вычеркнул женщин, пенсионеров, социально незащищённые категории, а с учётом России это практически всё население. Остались только военные и очень высокопоставленные люди. Но, приглядевшись, я понял, что и они ходят под Богом и никак не защищены от превратностей судьбы, начиная от зубной боли и кончая авиакатастрофой. Что за ерунда такая! Президенту нужна защита от оппозиции, генералу от другого генерала.

И тут я посмотрел на свою собаку. Она лежала на полу, полуприкрыв глаза. Очень спокойный, жизнерадостный пёс. Он, конечно, нуждается в защите, но никогда её не просит и вообще ни о чём не беспокоится в жизни. Он по молодости страшно пуглив. Однажды испугался снеговика, которого слепили дети. (Надо признать, снеговик вышел жутковатый). Но он никогда не загадывает наперёд, не тревожится ни о завтрашнем дне, ни о старости, ни о смерти. И вообще едва ли подозревает об их существовании. Я даже не знаю, в сущности, кем он считает меня. Такие категории, как Хозяин или Бог, недоступны его сознанию, хотя бы потому, что животные вообще обходятся без слов. И я понял, как он счастлив. А вслед за этим тут же подумал — с чего же начался наш страх? Когда?

Вот приблизительно 20 миллионов лет назад человек, если верить Дарвину, «выделился» из среды окружающих его существ. Ну, допустим. И что же он почувствовал, «выделившись»? Да ничего хорошего. Посмотрел внимательно вокруг. На животных, птиц, бабочек. Посмотрел потом на себя и плюнул. И как тут не плюнуть, посудите сами! Клыков и бивней нет, когтей нет, крыльев нет. Даже шерсти приличной нет. А жить хочется. Оказавшись в компании существ, по всем показателям превосходящих его, древний человек сделал то же самое, что делает в подобных ситуациях современный. Наш современник чтобы скрасить своё ничтожество может гордиться дедушкой адмиралом или министром, например. А древний человек выдумал себе — тотем. Священное животное, которое он стал считать своим предком. Теперь уже не так стыдно было глядеть в глаза саблезубому тигру. Можно было даже плюнуть ему в глаза, если твой прадедушка — мамонт.

Через какие-то семь миллионов лет — глазом моргнуть не успеешь — человек научился изготавливать примитивные орудия труда, успешно коллективно охотиться. И понял, что животные — это, в сущности, так, ерунда. С ним по сравнению. Потому что у человека — разум. Хоть и доисторический.

Однако ж и с этим разумом страшновато было. И особенно одиноко, надо полагать, именно бла-

годаря разуму. Гиенам или там минтаю не бывает одиноко. Они не ощущают своей экзистенциальной заброшенности в чуждый им мир. Вот когда человек впервые осмысленно попросил защиты и тут же её нашёл в лице Бога. Своего вечного отца.

Но этот остроумный фортель удался лишь наполовину. Ибо экзистенциальный страх перед окружающим миром сменился страхом перед Богом. Правда, этот новый страх был более рационален и, следовательно, более управляем.

Всю свою историю человечество только и училось тому, как лучше управлять страхом. Это и была первейшая, метафизическая форма защиты. Сначала шаманские камлания, ритуальные танцы у костра и жертвоприношения, материалом для которых могли успешно служить пленники из чужих племён. Потом возведение величественных храмов посредством рабского труда подневольных гестарбайтеров. Потом Моисей получает ковчег с заповедями. В течение девяти веков после этого аналогичные послышки приходят другим выдающимся личностям, включая пророка Мухаммеда. После этого человечество, разделившись на этнически-религиозные группы, начинает активно отстаивать ценность корреспонденции, полученной именно их пророком. Начинаются религиозные войны. По их результатам наиболее талантливые душегубы объявляются истинными защитниками истинной веры. Им уготован рай.

Религиозное воспитание в Европе прямо начинается со страха. С того, чего надо бояться. И оказывается, что главным нашим врагом является собственная натура и её потребности. То есть всякий занимающийся мастурбацией подросток видит где-то на краю своей сексуальной грёзы ад с кипящей серой. Несколькими веками такого воспитания создали благодатную почву для невротических расстройств и грядущей славы доктора Фрейда.

В двадцатом веке позиции религии сильно потеснил научный прогресс. Доктрина, построенная на позитивизме, искала свои лекарства от страха. Если прежде больному предлагали в основном молиться, то теперь можно было рассчитывать и на медикаментозное лечение. Главным же противовесом страху жизни и смерти сделались материальные блага. С целью их добычи человечество едва не уничтожило всю окружающую природу, но этот шанс у него ещё остаётся. И тут явился новый страх — страх экологической катастрофы. Каждый новый шаг в борьбе со страхом рождает новый страх. В какой-то степени, мы все винтики огромной машины, вырабатывающей страх и средства защиты от него одновременно. Может стать так, что если мы перестанем бояться, нам станет попросту нечего делать. И это тоже страшно.

Один приятель моего двоюродного брата из Томска жил в частном доме и очень боялся крыс. Ставил повсюду мышеловки и вечно сам в них попадал, когда шёл ночью в туалет. Его история — это история страха всего человечества в миниатюре.

И поэтому я снова смотрю на свою спокойную собаку. Завидую.

Человеку для того, чтобы достигнуть просветления, нужно совершить очень многое. Собаке — достаточно родиться.

Пиковая дама — свобода печати

Не везёт в картах — повезёт в любви, — гласит известная поговорка. Интересно, что при этом с любовью сопрягаются именно карты; не кости, не домино и не шахматы. Может быть, это потому, что любовь есть род безумия, а карты выдуманы были как раз в качестве игрушки для одного из безумных французских дофинов.

Карты, безусловно, самая сексуальная игра.

Шахматы слишком рациональны, домино немедленно ассоциируется с пенсионерами во дворе, и только бильярд может быть сексуальным при условии, что на вашей сопернице мини-юбка. Но карты всё равно впереди. Я ещё помню, как моего школьного приятеля Стасика вызывали с мамой на педсовет, потому что застучали его на перемене с колодой порнографических карт. Такого бы не случилось, поди, если бы мальчик вовремя увлёкся здоровыми пионерскими играми вроде «Зарницы». Кстати, по поводу «Зарницы» его тоже вызывали, потому что он там курил. А курить пионерам было нельзя. Это допускалось только для комсомольцев и членов партии.

В общежитии техникума, куда Стасик определился после восьмилетки, играть в карты можно было, сколько хочешь. И курить.

Но нельзя было играть с девушками в карты на раздевание, тем более во время преподавательской проверки. И Стасика выгнали из общежития. Тогда он стал играть в карты на дому с девушкой, которая была не против раздевания. И они пожепились. Теперь — играй, сколько хочешь вроде бы. Да?

Но молодая жена выгнала Стасика и выбросила на улицу его вещи, когда узнала, что он играл с её подругой. Оказалось, что играть на раздевание можно только с ней.

Увлечённым людям, энтузиастам — нелегко в этой жизни.

Мы с вами живём в регламентированном мире, где раз и навсегда установлены определённые правила игры. И тех, кто их нарушает, ждёт наказание. Эти нарушения могут быть разными — от противоправных действий до смешных пустяков. Так, например, одного моего знакомого уволили с работы за то, что он постоянно брал ключи от директорского туалета, вместо того, чтобы пользоваться общим. «Зачем ты это делал?» — спросил я. Оказывается, он там читал книгу, стихи японских поэтов. На рабочем месте ему мешали проникнуться очарованием средневековых хокку и танка. А директор в это время приплясывал перед запёртой дверью.

А если находятся вдруг такие могучие революционеры, которым по плечу низвергнуть существующие правила, то взамен низвергнутых они тут же устанавливают новые. Причём по-настоящему бескомпромиссные реформаторы не останавливаются на полпути. Начав с крупного, они рано или поздно доберутся до мелочей. Переименовывают названия улиц и месяцев, как это было во времена Великой Французской Рево-

люции. Тогда же «демократизация» коснулась, между прочим, и карт. Короли, дамы и валеты слишком напоминали былой строй. Было решено заменить королей — мудрецами, дам — добродетелями, валетов — героями. Четырьмя мудрецами стали Люций Брут (пики), Жан Жак Руссо (трефы), Катон (бубны), Солон (черви). Каково оно было, должно быть, сладко зайти с Брута или побиться козырным Руссо!

Добродетелями оказались: Могущество (пики), Единение (трефы), Благоразумие (бубны) и Правосудие (черви). Героями: Муций Сцевола (пики), Деций Мус (трефы), Горацій (бубны), Ганнибал (черви).

Причём изображения этих исторических и аллегорических личностей выполнены были изначально не кем-нибудь, а великим живописцем Давидом. Отчётливость композиции и искусная выдержанность стиля тому подтверждение. Впрочем, первоначальная чистота этих рисунков быстро утратилась, проходя через руки разных гравёров и литографов, за которыми не имелось уже никакого надзора.

На третьем году Республики гражданин Симон Вернандо получает привилегию на изобретённые им новые революционные карты. Здесь уже король червовый — гений войны, трефовый — гений мира, пиковый — гений искусства, бубновый — гений торговли. Дамы: червоная — свобода совести, трефовая — свобода брака, пиковая — свобода печати, бубновая — свобода промыслов и профессий. Валеты: червоный — равенство обязанностей, трефовый — равенство прав, пиковый — равенство званий, бубновый — равенство рас.

Забавно представить, как подобная новация могла бы выглядеть в нашем государстве ещё недавно. Короли: Маркс, Энгельс, Ленин и генеральный секретарь цк КПСС. Дамы: Партийность, Народность, Классовость, Интернационализм. Валеты: Павлик Морозов, Павка Корчагин, Карацупа, Стаханов.

Благодаря таким преобразованиям, способ игры изменился бы самым освежающим образом. Приходилось бы говорить в пикете, вместо «четыре дамы», «четыре Партийности». А, вместо квинты или терца от короля или валета: квинт от Энгельса или терц от Павлика Морозова.

С приходом перестройки колоду пришлось бы переделать: Горбачёв, Ельцин, Сахаров, Солженицын — в короли: Гласность, Плюрализм, Ускорение, Перестройка — в добродетели...

А сегодня? Придумайте сами по газетам...

Получается, что с одной стороны у нас вся эта страшно серьёзная политика со своими амбициозными притязаниями, будь то «тысячелетний Рейх», не протянувший и 20 лет, или мировой коммунизм, а с другой — внешне непритязательная забава с цветными бумажками. И политика при этом сопоставлении оказывается куда эффективнее, чем карты. Принцип карточной игры сам по себе содержит в себе вечный элемент — элемент случайности. То есть как раз то, чего пытается избежать политика.

А есть ведь ещё гадание на картах, вещь задушевная, артистическая. Особенно если гадает вам

старая цыганка, эдакая прожжённая ведьма, родом откуда-нибудь из Молдавии. И врёт она вам так складно, что и денег не жалко, а только думаешь, играла бы она в покер, так уж точно у неё в колоде было бы не меньше девяти тузов. И вот вы слушаете про интерес червоной дамы, дальнюю дорогу и свиданье в казённом доме, и если у вас ещё осталась фантазия и воображения, то, закрыв глаза, можете представить, что вы больше уже не бизнесмен, не менеджер, не читатель глянцевого журнала, словом, не жертва постиндустриальной эпохи, а какой-нибудь поручик от инфантерии, с лёгким сердцем отправляющийся на Кавказ, чтобы добыть себе славу под началом генерала Ермолова или умереть от чеченской пули, прижимая к ране батистовый платок, подаренный вам сегодня на балу какой-нибудь там княжной Мэри.

Контраст

Вся наша жизнь построена на контрастах. (Какое удовольствие начать с банальности). Чёрное-белое, добро-зло, жизнь-смерть, любовь-ненависть, Бог-дьявол, свобода-рабство, трезвый-пьяный, Россия-заграница...

Почему так?

Зачем эти крайности?!

Я человек мягкий, меня крайности пугают. Я гармонию уважаю. Оттенки там всякие, полтона, нюансы. Недоговорённость... А тут сразу тебе — шарах — повестка. «С вещами на призывной» Или: «Вы уволены» Или: «Ваша кредитная карта аннулирована» Или ещё: «Милый, мы должны расстаться» Или просто: «О-о, как вы пополнили...» Ну, зачем так? Не тонко это...

Но я смиряюсь. Я понимаю, крайности нужны. Хотя бы чисто технически. Если бы не было правой и левой стороны, то не было бы и того, что посредине. В конце концов, все мы живём где-то между севером и югом, востоком и западом, при всей относительности этих понятий. Но если бы их не было — где бы мы жили?

Итак, присутствие крайностей залог наличия моих любимых полутонов.

Однако люди всё больше тяготеют именно к крайностям. В чём тут дело, не знаю. То ли темп современной жизни таков, что некая центробежная сила жмёт людей к полюсам, то ли так проще. Экономичней. Можно прочитать двести томов Всемирной Библиотеки и так и не определиться в жизни. Мямлить что-то в ответ на простые вопросы. А можно вообще ничего не читать — обрить башку, купить армейские бутсы и на все вопросы отвечать очень чётко. Мол, во всём виноваты инородцы. Даёшь Россию для русских! И шабаш. Ведь проще же! И при этом никто не скажет тебе, что ты дурак. Особенно, если вас трое и на каждом бутсы.

Один мой знакомый — педагог-экстремал. Или экстремист. Любит работу с молодёжью. Исключительно поставлен удар левой снизу. Но это уже такие чисто педагогические детали. И молодёжь к нему тянется. Вплоть до того, что, знаете, по ночам звонят. Спрашивают, как здоровье.

Я это не из любви к насилию рассказываю, а просто беру такие контрастные характеры.

Кстати, может быть, вы не знаете, но по некоторым сведениям, только вот эти самые «контрастные» характеры и попадают в рай. Я в данном случае опираюсь на слова Ангела Лаодикийской Церкви: «Не горяч ты и не холоден, но тёпл, посему извергну тебя из уст моих». Это надо понимать так, что в рай попадают праведники (думаю это «горячие», хотя такое определение мало к ним подходит в нынешнем толковании этого слова) и грешники («холодные», что уже лучше вяжется с нашим новоязом, если перевести его в cool — прохладный и он же крутой). Почему попадают первые, ясно. Но вторые? Это тоже не сложно — подразумевается, что тяжесть прегрешений их так тяжела, что рано или поздно неминуемо приводит к самому острому раскаянию. А раскаявшийся грешник по тамошним расценкам идёт как один к десяти праведникам, а иногда и как один к ста, в зависимости от колебаний курса. Так что быть cool всяко cool, что тут на земле, что там на Небе.

А я вот не хочу. Мне за остальных обидно. Что же это значит? Средний, так сказать, человек, честный труженик, скромный семьянин, иными словами человек, не взваливший на себя ни страшных грехов, ни креста подвижничества — ему уже пути в рай нет, он «тёпл»? Не честно это. И вслед за пушкинским Сальери я повторяю: «Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше!»

Одним из самых значительных контрастов мне кажется даже не контраст между белым и чёрным, а контраст между движением и неподвижностью. Я бы сказал, что он наиболее психологичен и вмещает в себя больше смыслов. Вспомните Обломова и Штольца. Две жизненных позиции, два мира, две философии. В детстве, в школе, мне казалось, что тип Обломова уникален и является едва ли ни гротеском, экзотическим исключением из жизненного правила. Ну, в самом деле, что это такое — всё время лежать на диване? Мечтать без всякого толка? Это же просто скучно! Другое дело — Штолец! Динамика, калейдоскоп событий, планов, стран, свершений, вечное преследование цели. Всё это было тогда так согласно с моей собственной юностью и собственными планами.

А потом я прочёл книгу. Даже в том, что я её вдруг прочитал, уже было нечто обломовское, потому что прочитал я её тогда, когда было уже «не нужно» по программе, не для дела, так сказать. И Штолец бы, к примеру, при таком раскладе читать её не стал. Но тогда я этого нюанса не понял. А вот теперь строй мыслей Обломова показался мне неожиданно убедительным и современным. Некоторые его суждения носят просто непреходящий характер. «А наша лучшая молодёжь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцую? Ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания... мы в первом ряду кресел, мы на балу у князя N... а сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие!»

Телевиденья во времена Гончарова ещё не было, но у его Обломова готов заранее ответ и телевиденью: «Как? всю жизнь обречь себя на заражение

всесветными новостями!» — восклицает в ужасе Илья Ильич.

В сущности, очень не случайно, что у Гончарова Штолец — немец, а Обломов русский. Здесь если угодно разница — контраст — между западом и востоком, протестантизмом и православием, Римом и Византией, действием и медитацией.

Современный мир построен на движении, динамике, и русскому человеку волей-неволей приходится принимать участие в этой гонке. Но пока он мчится, покупает, продаёт, оценивает, подсчитывает, ругается, что не сошлось с прогнозом, и делает ещё массу чёрт его знает каких там маркетинговых операций, где-то на заднем плане греет его простая мысль, вроде, вот доживу до субботы и пойду в баню, отключу сотовый и напьюсь, а наутро в воскресенье буду лежать весь больной, слабый, и только пиво холодное так, понемножку из горлышка, и снова в дрёму. А потом отпуск будет. А когда дострою дом, вообще всё брошу. Заведу кроликов.

Немец, тот, может быть, сразу кроликов завёл бы. Но целую ферму. А наш — так, для души.

Победа медицины

Каждый человек стремится к победе. Это почти закон природы. Только не всегда понятно — природы внутренней или внешней. Мы устроены так, или мир так устроен, что нам постоянно чего-то не хватает, и требуется преодолевать эту нехватку, побеждая что-то внутри себя или снаружи.

Прямо не знаю, отчего — но мне не нравится никого побеждать. Вроде бы и честолюбия, и здорового эгоизма у меня в достатке. А побеждать не люблю. Мне жалко. Я стараюсь завершить спор, когда вижу, что кладу противника на лопатки. А это происходит почти всегда. Сам не пойму, почему я так умён! Отчего я так жалостлив?

И это ещё не всё. Скажу вам больше, мне нравится проигрывать. В юности я всегда выбирал слабую команду, и только играя за неё, мог позволить себе чудеса спортивной отваги и напористости. Я продолжал сражаться в самой безнадежной ситуации. Тренер хвалил мою волю к победе. Но это не правда, я заранее знал о поражении. И только поэтому сражался во всю силу. Я был спокоен и уверен, только когда мне не грозила победа. Кто меня так воспитал? Загадка. При этом я не испытывал ни вражды, ни зависти, ни отвращения к победителям. Они мне нравились. Мне не нравились побеждённые. Хмурые, досадующие, посрамлённые. И я, естественным образом, не хотел быть причиной их появления, т. е. победителем. В своё время не обратившись к детскому психологу, я могу теперь сколько душе угодно, самостоятельно решать эту загадку, исследуя перепутанные провода причинно-следственных мотивов.

Природа не видала такого концептуального лужера, как я.

— Всё просто. Здесь одно из двух, — сказал мне искушённый в науках психотерапевт-любитель, — Это либо гордость, либо трусость.

— Почему «либо»? — спросил я.

— Верно, — сказал он, — необыкновенная гордость и самая жалкая трусость одновременно.

— А это как?

— Ты слишком горд, чтобы стараться побеждать кого-то. В душе ты поставил самого себя так высоко, что тебе даже противно состязаться с кем-то, если это не носит формы шутки. С другой стороны, ты настолько труслив, что боишься быть победителем. Победу необходимо удерживать. И позор низвергнутого победителя куда острее.

Вот представь, играешь ты в футбол или там пинг-понг с мастером спорта или просто пацаном, который старше тебя. Тебе не страшно, даже если он выиграет, никто не будет над тобой смеяться. Не испытывая этого психологического давления — ты играешь прекрасно, но проигрываешь, уступая в мастерстве. А если ты сам старший и тебя обыграет малец или даже ровесник — это уже удар по самолюбию. А самолюбие, гордость, то есть, у тебя о-го-го!

— Что же делать? Это ужасно!

— Да, — кивнул он, закусывая, — Теперь тебе уже ничто не поможет.

— Почему?

— Потому что основные черты характера формируются до пяти лет. Ну, по другой версии, до двенадцати. Но тебе всё равно — уже поздно.

— Что ж, совсем никак? — спросил я несколько свысока, не веря в такое бессилие современной науки.

Видимо, моя интонация его уязвила.

— А что вы хотели! — сказал он, макая в соль и откусывая ещё головку зелёного лука, — для этого надо переимпринтировать весь внешний контур.

— Это больно? — спросил я.

— Не-а... сложно.

— В смысле дорогого?

Он посмотрел на меня с жалостью: «Технически...»

— То есть, ты это не умеешь? — спросил я.

— Не надейся меня подколоть. Просто операция сложная. Для неё условия нужны.

— Раз нужны — так и говори, я ещё в магазин схожу.

— Не в этом смысле, — сказал доктор строго, но потом примирительно согласился, — ладно, иди.

Это было недалеко, и я скоро вернулся.

— Хорошо, сейчас я создам тебе новую личность, — сказал он и закурил в задумчивости. Я смотрел, как он курит.

— Приготовься стать другим человеком.

— Готов, — отозвался я.

— Ты должен следовать установкам своей новой личности, чего бы с тобой ни случилось, понял?

— Да.

Он посмотрел на меня.

— В книжках это очень долго описано, но я упростил процесс, — сказал он, вытирая рот и пальцы, — Выбросил кое-какие чисто буржуазные детали, вроде полисемантической трансмутации перцепции с апперцепцией. Это понятно?

— Разумеется, — кивнул я.

— Так вот, — считай, что тебя больше нет. И вообще никогда не было.

— Готово, — сказал я.

— Хорошо. Теперь скажи, у тебя есть любимый киногоерой? Ну, там Человек-паук?

— Нету.

— Почему? — удивился он.

— Ну, потому что, как же у меня может быть любимый киногоерой, если меня самого теперь нет.

— Это молодец. Но не перегибай. Герой пусть будет. Значит Человек-паук.

— Можно другого? — спросил я.

— Какого?

— Мне нравится Билли Боб Торнтон в фильме братьев Коэнов «Человек, которого не было», он там играет парикмахера...

— Не пойдёт, — отрезал он, — ты уже и так человек, которого нет. Два — много. Бери Паука!

— Может, можно Индиану Джонса?

— Ладно. Этот пойдёт. Теперь самое главное, — он жестом пригласил меня сесть, и мы пропустили ещё по стопочке, которая не оказала на меня ни малейшего воздействия, согласно моему новому статусу.

— Теперь считай, что ты — Индиана Джонс. И всё, что ты делаешь, делаешь не ты, а он.

— А что нужно делать? — спросил я. Я опасался, что придётся прыгать на ходу по крышам вагонов и спускаться в тоннели, кишасище крысами и пауками, в гробницы всякие...

— Ничего, — успокоил он, — что хочешь, то и делай или вообще ничего не делай, но если делаешь, помни, что теперь это не ты делаешь, а он делает. А тебя вообще больше нет.

— И всё?

Специалист посмотрел на меня: «Ну, можешь поаплодировать, — улыбнулся он, — Если хочешь, купи себя шляпу, как у него. Чтобы в образ лучше войти».

Вы не поверите, но с тех пор меня не узнать. И не из-за шляпы. Я положительно убедился, что наша медицина творит чудеса даже на любительском уровне. Не прошло и дня, как я безжалостно обыграл в шашки своих племянников. Потом доказал одному знакомому, что все мы не произошли от обезьян. А когда он согласился, я нарочно доказал ему, что мы всё-таки от них произошли. Поправил своего начальника, делающего в словах неверные ударения. И в бильярдной подошёл к самой красивой девушке, предлагая ей партию. Я прежде кия в руках не держал. Но это неважно. Потому что я — Индиана Джонс.

Сам не пойму, как это мне раньше могло казаться, что я всего лишь пишу статьи для журналов.

Холостяки

На востоке есть обычай. Когда рождается девочка, водой, оставшейся от её первого купания, поливают цветы в доме. Когда рождается мальчик — воду выплёскивают на улицу. Это символизирует, что женщина рождена для семьи, мужчине — принадлежит весь мир.

Если этого не достаточно для объяснения природы холостяка — читайте далее.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, говорил граф Толстой, женатый на своей супруге Софье Андреевне по большой любви и имевший огромную семью, из которой он сбежал ночью,

чтобы простудиться и умереть на станции Астапово в 1910 году.

Он был образцовый семьянин. То есть так может показаться. Тринадцать детей. И при этом всех мог обеспечить материально. Вплоть до того, что, уже став взрослыми, они не спешили устроиться на работу. Папины гонорары позволяли им проводить время в счастливой праздности и философских беседах. Я уже не говорю о том удовольствии и гордости, которые и дети, и их мать, Софья Андреевна, должны были испытывать за своего всемирно знаменитого отца и мужа.

Если человек, всю жизнь воспевавший семейные ценности как главное человеческое счастье, на девятом десятке сгибает ночью в окошко от этого самого счастья — бежать, куда глаза глядят, то тут есть, отчего развести руками. Жизнь наша устроена, конечно, с недостатками, но в чём — в чём, а в иронии, в умении посмеяться над человеком, ей не откажешь. Но пускай другие смеются над графом Львом Николаевичем, а я не стану. Этот человек в 82 года отважился на то, чего не решаются сделать иные молодые мужчины — одним решительным поступком вернуть себе свободу. Недаром для феминисток всего мира Толстой до сих пор враг номер один.

Автор этой статьи относится к категории людей достаточно простодушных, а именно к тем, кто верит, что ответы на важные жизненные вопросы можно получить из книжек. Поэтому я и обращаюсь к Толстому ради того, чтобы на его примере понять, что лучше: быть холостяком или опробовать-таки на себе все стороны семейного счастья?

Кажется — зачем ходить так далеко. Есть статистика, согласно которой женатые мужчины лучше питаются, реже страдают гастритом и язвой и в целом живут дольше холостяков. Но я лично знаю человека, который специально записался в контрактники с прохождением срока службы в Чечне, лишь бы только иметь веские (в том числе и в моральном плане) основания, чтобы покинуть свою семью. Вопрос, значит, не исчерпывается одним питанием, если человек меняет наваристый домашний борщ на перловую кашу без масла и даже готов подставить свою башку под чеченскую пулю.

Распространено мнение, что холостяки просто трусы, которые боятся женщин, боятся серьёзных отношений и ответственности в браке. И это верно. Есть ещё мнение, что они эгоисты и себялюбцы, которые живут для собственных наслаждений. И это тоже верно. Я лично не вижу ничего особенно позорного в такого рода трусости и эгоизме. Это честнее, чем завести семью и потом избивать домочадцев. Граф Толстой, конечно, жену не бил. Но вот что он писал в дневнике под конец жизни: «Моя проблема в том, что я не могу относиться к её (Софьи Андреевны) словам, как к бреду». (Симметричная запись в дневнике Софьи Андреевны: «Лёвочка абсолютно ненормальный»). И это написали люди, которые в первые месяцы знакомства трепетно угадывали мысли друг друга.

Сегодня разница между женатым мужчиной и холостяком сильно преувеличена. Её практически

не существовало бы в современном обществе, если бы образ холостяка не фетишизировался определённой категорией женщин. В прошлые века безбрачие мужчины было обусловлено конкретными причинами, как то принадлежность к монашескому ордену, жреческой элите или просто экономическим расчётом, исходя из которого средневековые феодалы Европы, например, позволяли вступать в законный брак только старшему из сыновей, чтобы не делить принадлежавшие им земли между всеми отпрысками рода и таким образом не расплыть своё богатство. Ещё в XIX веке во Франции существовал закон, по которому во французскую академию принимали только холостяков. Сегодня остались только рудименты матримониальной политики. Причём обратного свойства. Так, например, считается, что нехорошо главе государства не иметь семьи. Фигура первой леди страны могла бы считаться официальной должностью с вполне определённым набором гуманитарных полномочий.

Да и как чисто психологический тип «убеждённый холостяк» практически сошёл со сцены. Кстати, вы заметили, что все великие сыщики — Огюст Дюпен, Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро — были холостяками. Возможно, именно аналитический склад ума удерживал их от брака и помогал раскрывать преступления. А у нас вот любой майор или даже капитан в уголовном розыске обязательно женат. И с раскрываемостью плохо. Нет ли тут взаимосвязи?

Сегодняшний женатый мужчина может завтра развестись и стать холостяком. Холостяк же, напротив, жениться. И даже более того, женатый может умудриться гулять от супруги направо и налево, тогда как скромный холостяк будет хранить безукоризненную верность подруге, с которой он встречается раз в месяц. Таким образом, мы видим, что формальный статус в данном случае не показатель. Важнее характер человека.

Если бы я был безответственным человеком, кропающим статейки от случая к случаю, то не замедлил бы предложить читателям какой-нибудь новомодный тест для определения характера.

Например, такой.

Итак: отправляясь на вечеринку вы:

Надеваете обручальное кольцо — (0,5)

- Снимаете обручальное кольцо — (1)
- Надеваете его на левую руку — (1,5)

Какую женщину вы выберете себе в подруги, если на Земле их останется только три: домохозяйку (0,5), стриптизёршу (1), симпатичную барменшу (2-ной мартини со льдом), всех троих (1,5). Где предпочтёте провести выходной: займётесь спортом (со стриптизёршей) (1), пойдёте к друзьям (0,5), останетесь дома (у симпатичной барменши) (1,5 из холодильника)

Если квадратный корень от полученного в итоге числа совпадает по первой цифре с номером телефона вашей тайной подруги, то вы ближе к типу холостяка, и брак для вас — тяжкое испытание. Если не совпадает, то может быть, вы его неправильно записали? Или у неё есть ещё другой телефон.

г. Владивосток

Травы и звёзды

Письмо из Томска

176
Письмо из Томска

Литературная студия при Томском государственном педагогическом университете «Литературная среда» начала свою работу в октябре 2005 года, что явилось возрождением существовавшего лет двадцать назад в Томском пединституте аналогичного объединения студентов, пишущих стихи и прозу. Тогда выпускался трогательный рукописный журнал, сохранившийся в отделе редких книг нб тгпу. Полиграфические технологии с тех пор шагнули далеко вперёд, а университет талантами не оскудел. В первые же дни работы заблестали «звёздочки» тонкой рассказчицы Инги Авериной и сочинительницы фолк-рок-песен Ирины Рубан. Теперь они обе выпускницы филфака тгпу. На этом же курсе учились Татьяна Чихунова, автор песен, и Наталия Щитова, сочиняющая стихи, философские новеллы, притчи и сказки. Зимой 2006 года состоялся блистательный дебют рассказов Инги Авериной в альманахе «Сибирские Афины», что принесло автору заслуженную премию по итогам годового конкурса рассказов. Ирина Рубан успешно дебютировала с песнями на свои стихи на XVIII областном конкурсе молодых поэтов им. М. Орлова. В качестве музыкального сопровождения Ирина использует гитару, флейту, ударные и другие инструменты, её группа «Живой Зодиак» выступает в Томске и окрестностях.

Многие нынешние студенты тяготеют к прозе, пробуют себя в разных жанрах, ищут свой стиль. В течение учебного года студийцы знакомятся с классиками и современниками, писателями, художниками, музыкантами; обсуждают свои новые произведения. Лучшее из написанного публикуется на страницах газет «Томский учитель» и «Штудент тайм». Участие в городских литературных конкурсах и фестивалях подтверждает высокий уровень студийцев. Прослеживается связь поколений — старшекурсники делятся с новичками опытом совмещения учёбы и творчества. Общими усилиями мы стараемся создать среду, благоприятную для творческой реализации и развития, предлагая начинающим поэтам и прозаикам стимулы для дальнейшего совершенствования, взаимно обогащая друг друга.

Елена Клименко,
руководитель литобъединения тгпу
«Литературная среда»,
член Союза писателей России

Ольга Радионова

В магазине игрушек
Я выбирала пушистого медвежонка.
Но денег хватало
Только на тряпчатого зайчика.

В бездонном море
Я ловила золотых рыбок.
Но попадались
Только мелкие пираньи.
В своём гардеробе
Я искала самое красивое платье.
Но смогла найти
Только достойные заплатки для старого.

И вот я!
В старом заплатанном платье.
С тряпичным зайцем в руке.
Смотрю на мелких пираний в аквариуме.
И счастлива, что у всего этого есть я.

Лейла Рустамова

Спасибо за фантики,
От моих любимых конфет,
спасибо, что песни другим посвящаешь,
я твой берегу, волшебно, сентиментально — свет.
Спасибо за то, что даже меня не знаешь.
Спасибо за то, что на фоне судьбы неизбежно
Хрустальной фигуркой надежды сияешь.
А роль той фигурки наполювину печалью сыграна,
спасибо за то, что даже меня не знаешь.
Пусть иду босиком по углям угасающих слёз,
Пусть ищу в лабиринтах мыслей ответ,
Спасибо за то, что не принял меня всерьёз,
и ещё раз — за фантики от
моих любимых конфет.

Инга Аверина

« Нас тоже сдадут в утиль,
Но путь наш был чист и светел,
Ведь когда на море штиль —
Дыханье матросов ветер... »

Борис Бек

Сны капитана

Жил-был Мужчина. Одиноким и без вредных привычек. Не слишком глуп, не слишком умён, просто жил себе и жил. Обычно. В его отдельной квартире каждый вечер его ждал телевизор. Цветной и преданный. А вместе с ним ещё поселилось Одиночество. И Мужчина жил с Одиночеством, как с родственником, к которому вроде бы давно привык, но всё же мечтал разменять с ним квартиру.

Одиночество никогда не беспокоило его в рабочие дни, оно мягкими кошачьими лапами подкрадывалось по выходным, начиная с тапочек у порога в пятницу вечером. И они вместе смотрели телевизор. Всё подряд: безнадёжные новости, идиотские шоу, фильмы с плохим переводом. А иногда читали книги и даже пытались утром и вечером бегать трусцой. Потом, правда, перестали, из-за аритмии и отдышки. Так и жил Мужчина круглый год со своим Одиночеством, барахтаясь последним, недоеденным, солёным огурцом в банке: с работы домой, из дома на работу...

А ночами Мужчине снилось море. Море и корабли. Такие большие и внушительные. С выбеленными корпусами, высокими мачтами, гордыми флагами...

И море принимало эти корабли, солёное, рыбное море, позволяло ходить этим огромным судам и развиваться их гордым флагам. Сны про корабли были яркие, такие смелые, такие значительные сны... Мужчина видел в них себя матросом. Он стоял на палубе одного из этих кораблей и вглядывался в море, а бескрайняя стихия уводила его взгляд к горизонту, на линию между небом и водой... Мужчине казалось, что плыл он на этом корабле долго-долго и видел много моря, разных стран, столиц, портов, проституток...

...Потом он просыпался и лежал с открытыми глазами, думал о чём-то, наверное, мечтал, о своём, морском...

А Земля вертелась... Она поворачивалась к Солнцу разными местами и в тех местах, что оказывались ближе всего к светилу, получалась весна, а если ещё ближе, то лето. В это лето Земля и Солнце похоже что-то не поделили, потому что слишком уж было пасмурно и дождливо...

Были выходные. Мужчина как обычно сидел дома. Одиночество жарило ему яичницу и они вместе смотрели телевизор, набирая килограммы лёжа на диване. Дождь всё шёл и не переставал.

Глазунья получилась аппетитная, но чего-то не хватало. Майонеза. Без него никак. Конечно, кусочек яичницы потоптался в горле Мужчины и нехотя провалился вовнутрь, но было всё равно не вкусно.

Делать нечего, мужчина взял зонт и вышел за майонезом. Не ленивее, чем кусок съеденной

яичницы он дошёл до магазина и купил две пачки майонеза про запас. Он уж было собирался идти обратно: Одиночество просило его не задерживаться, но остановился у витрины соседнего отдела. На стеклянных полках стояли маленькие игрушечные копии военных кораблей. Они были почти как те, большие, с выбеленными мачтами и гордыми флагами. Мужчина стал внимательно рассматривать их, всё было как настоящее, и даже застывшие фигуры матросов казались отважнее и мужественнее.

— Вам что-то поближе показать? — послышался голос из-за прилавка.

Мужчина поднял глаза и увидел Женщину. Какую-то любопытную. Она наблюдала за Мужчиной, который внимательно разглядывал корабли на витрине.

— Нет, спасибо, я так вижу, — ответил он продавщице.

— Это военные корабли Британского флота. Точные копии. Девятнадцатый век, — продолжала Женщина.

— Вы знаете, как выглядят военные корабли Британского флота?

— Не, там просто написано было на коробке...

Её милое лицо улыбнулось. Она была прекрасна. Не мадонна, конечно, но её прелесть была также очевидна как-то, что Джоконда мымра.

— А вы были когда-нибудь на море? — спросил Мужчина.

— Нет, но я про него читала.

— Как же так? Вы никогда не видели море? — Мужчине показалось это не справедливым. Он даже расстроился. Как такая прекрасная женщина и никогда не видела моря?..

— А хотите, я покажу вам море? Вы увидите горизонт, чаек, медуз, а если повезёт, то и дельфинов...

— Чайки? Медузы? Я так об этом мечтала! Увидеть горизонт и морские волны, слышать голоса далёких птиц в высоком небе... Господи, неужели всё это где-то есть...

И пока ещё месяц Земля грела свои бока Солнцем, Женщина из окна своего купе уже глядела на горизонт и наблюдала как вода бьётся о волнорезы, а Мужчина смотрел на Женщину, и думал о том, что его Одиночество тактично отказалось ехать с ними.

Наверное, постеснялось Женщины или обиделось на что. Оно не закатывало истерик, не выясняло отношений, просто тихо исчезло. Расставание с Одиночеством Мужчину совсем не расстроило, хоть они и жили дружно, наоборот, в его отдельной квартире, думал он, теперь появиться больше места...

А ведь многие люди боятся и избегают Одиночества. Они из-за этого даже заводят кошек или собак, а некоторые женятся и всю жизнь думают, что это любовь и что спать под одним одеялом теплее. Теплее... Но ведь любовь — это больше чем тридцать шесть и шесть... Поэтому настоящая любовь приходит только к тем людям, которые не избегают Одиночества и не боятся оставаться с ним с глазу на глаз, эти люди знают, что любовь — это не забавные СМС в обеденный перерыв...

Мужчина и Женщина целыми днями купались и лежали на песке. Песок прилипал к их коже, потом быстро высыхал на солнце и осыпался. Они лежали на берегу моря, рядом друг с другом поворачиваясь к Солнцу то спиной, то животом, и руки их вытянутые вдоль тела, едва соприкасались... Она походила на неизвестную, удивительно красивую планету, а он на спутник этой удивительно красивой планеты... И она нежно положила ему свою руку на ладонь. Его дыхание на миг замерло, от прикосновения, от женственности её рук, от тепла и шёпота:

— Спасибо тебе за море...

А когда они приехали, Женщина стала жить в отдельной квартире Мужчины. Они сошлись характерами. Тапочки. Воскресенья. Яичница. Они жили долго и счастливо. И, конечно же у

Ирина Рубан

по пояс травы,
коси не коси.
ты смотри, мои крылья
носи не сноси.
и летай высоко —
не чета мне — земле.
не считай облаков,
вспоминай обо мне.

мне не равный,
мне не данный,
музыкой в саду.
летний вечер полутайный,
яблоки в меду.
слишком сладкий,
слишком гладкий
для меня кусок.
я для вас, мой мальчик,
просто
без рывка —
прыжок...

у дождя светлый путь,
по направлению в землю.

я сегодня пишу книгу травы у себя в огороде,
я оставлю место в книге любви для заметки о вашем уходе.

уехать от вас в деревню, где не ловит сотовая связь,
а наших слов простая вязь останется вздыхать о трубках телефона.

них были дети, похожие на маму и папу, на папу больше, и мама ему это простила...

А по ночам Мужчине снилось море. Море и корабли. Такие большие и внушительные с выбеленными корпусами, высокими мачтами, гордыми флагами...

И на палубе стоял капитан...

И смотрел далеко-далеко в море, и думал о чём-то, наверное, мечтал, а бескрайняя стихия уводила его взгляд к горизонту, на условную линию между небом и водой...

Алексей Куцевич

Кризис очередного возраста

Восклицание глаза сменилось вопросом.

А вопросы менялись, остался лишь смысл.

Вопросы сползали и капали с носа

На календарную летопись чисел.

Холодно. Даже в июне мне холодно —

Я годовым обрастаю кольцом.

Сердце тревожным предчувствием сковано...

Холодно. Месяц смеётся в лицо.

Пожили. Сколько ни било судьбою, но пожили,

Нервно смеясь над шальными удачами.

Нажили — есть то, что наше. Так можно ли?

Надо ли? «Вещи в себе», мы собой озадачены.

«Мы» — это я и моё подсознание.

(Знание...) В памяти, словно открытки —

Отрывки из жизни моей. Осязание

Знания прошлого — словно улитки,

Той самой, на склоне. (А, может, и возле.)

— Смотрите! Смотрите! Я — воздух, я — воздух!

Я — небо! Я — месяц! Я — сосны! Я — звёзды!..

В каком направлении выдержан возраст?

От жизни до смерти? Сквозь тернии — в космос?

От истины — к храму? От знаний — к абсурду?

Газеты. Диваны. Седеющий волос.

Разбитые нервы. Наборы посуды.

Подруги. Приятели. Блудная муза.

Союзы. Альянсы. Поникшие плечи...

И свечи. (Потом я не буду обузой.

Останется дым и беспомощный вечер.)

Как прежде, уже никогда я не буду как прежде.

Из прошлого — тысячи ликов наружу.

Там, в прошлом, я был благодарен надежде.

Я был... Я был младше. И, может быть, лучше.

Александр Балтин

Медея

(ироническая пьеска)



Актовый зал. Пустая сцена. Служитель втаскивает из соседнего помещения два стула, устанавливает их рядом с другими.

Служитель Экзотика... Эх-хо-хо... Вот это экзотика. Раньше бывало всё больше политические деятели разные... или генералы. Знаменитости всякие. Генерал, выигравший кампанию, интересней, конечно, чем какая-то кинодива или киномагнат. И вид такой — сразу видишь победителя. Н-да. Победителя от побеждённого сразу отличишь... хотя по каким признакам — Бог весть! Боли, может, в глазах меньше, или наоборот... Спортсмены часто бывали. Выигрывает турнир — и к микрофону. Улыбается, шутит. Тоже вроде полководца. Но спортсмены веселей. А теперь... не сказать, что докатились, но всё же неловко как-то. Хотя интересно послушать, о чём её спрашивать станут. Известно ведь всё. Обсказано многократно (смотрит на часы). Не спешат, однако, господа журналисты. Пресс-конференция с Медеей, видать, не слишком интересует. Так. Стулья пересчитать. Два, три... (бормочет невнятно). Ну, вроде всё. И ведь не победительница... не кинодива. Одно слово — миф. К тому же трагический. Ого! Кажись, идут. Ага, вон первые. Ладно, смываться пора. Не моё это место. Заметят — скандала не оберёшься. Кхе-кхе... как же — пролетарий! А что — я меньше ихнего видал? (исчезает в боковой двери).

Появляются **Х.** и **У.**

Х. Однако, странно: пустота. Неужели мы — первые?
У. Что странного? Хорошо! Бери любые места. Готовь блокнот.
Х. Давай поближе.
У. Боишься прослушать?
Х. Нет-нет. Всё поудобней. На слух не жалуюсь вроде пока.
У. Как с вопросами?
Х. А что? Сориентируемся по ходу.
У. И кому вообще пришла в голову идея устроить подобную конференцию?
Х. Кому? Да не суть! А согласись — занятно. Только вот спрашивать неясно о чём.
У. О прошлом, понятно. Не о будущем же.
Х. Да я не о том. В мифе вроде всё сказано. Скандалчик тут не выудишь. Ну, дочь царя. Ну, влюбилась в принца — или в кого? В чужестранца? Ну, наворочала дел. Древняя история. Что в ней сейчас-то?
У. Что? Не знаю. Может, что и есть. Какое-то хоть разнообразие среди всеобщей обыденности.
Х. Это газетной, что ли?

У. А то какой же?
Х. Ну-ну. Не цапай руку, которая кормит.

Занимают места у сцены.

Х. А где, интересно, местный пролетарий? Коллег нет, так хоть с ним покалякать.
У. О чём ты с ним калякать собрался?
Х. Да так, вообще. Пролетарий ведь не то, что мы. Книг не читает, думает — шут его знает, о чём он думает. Но что ни ляпнет — смешно. Фельетончик потом сбачать можно, или даже рассказик.
У. Ну, нет твоего пролетария. Зато вон коллеги прутся. Вижу красный нос А.

Входят **А., В., С.**

Х. А я — очкастую рожу В.
В. Ладно, ладно, сокол. Посмотрим, кто быстрее матерьялец сварганит, да побольше монет загребёт. А то вишь — очкарик.
Х. Очкарик и есть. Кобра очкастая. Поэтому и монет больше гребёшь — въедливый очень.
В. Въедливый? Не въедливость важна, а ум. Книжки надо читать, преимущественно умные. В свободное от писанины время.
С. Может, у него свободного нет. Слушай, Х., что ты там про Вальтера накропал?
Х. Про Вальтера? Это который чемпионат выиграл? Так то и накропал, что гомик. Раз гомик — так гомик, ничего не попишешь. Их вообще развелось — с души воротит. Но публике нравится. Хавают — деньги сыпятся. А мне наплевать — лишь бы платили.
С. Он на тебя в суд подаст.
Х. Судиться замается. Я в этих делах учёный. Тем более — известно из первоисточника — от его партнёра. Так что фиг он рот откроет, этот Вальтер.
А. Ладно вам, господа, дело прошлое. О настоящем думать надо. Кто-нибудь вообще помнит миф?
Х. Вот Х. помнит. Он мне уже схему набросал.
А. Схему? Это как?
У. Как там у тебя? Царская дочка. Увидела чужестранца, втюрилась, и — поехали.
В. Дракона она там какого-то усыпляла.
С. Вот и расспросим.
А. Вон Д. идёт. Интеллектуал наш недоделанный. Всё сейчас в деталях распишет. Никакой Медеи не потребуется.
У. Д., а Д., подлец ты этакий. Как ты у меня сто монет в воскресенье выиграл, а? Это не безобразие? Они ж у меня последние были!

179

Александр Балтин ■ Медея

Д. Не садись играть на последние. И вообще — карты это тебе не статейки кропать. Тут думать надо. Разрабатывать стратегию. Изучать чужую...

А. Ладно хватит теоретизировать! Расскажи нам лучше про Медею.

У. Кому Медея, а мне бы сотню вернуть.

А. Бодренько накатаешь — вернёшь и с лихвой.

Д. А что рассказать-то?

А. Побольше, побольше. А главное — в деталях. Из чего сок жать.

Д. Да ты больше пену гонишь. До сока не доберёшься. Я не говорю про суть.

А. Лаяться я сам умею.

Д. У этого мифа столько вариантов... будто не один миф, а несколько. А может их и есть несколько, только с одними героями. Явится — расспросим. Вообще-то уже пора начинать. Чего тянут?

У. Ну, а что там самое пикантное?

Х. Во — на счёт сотни забеспокоился.

Д. Кому что. Мне, например, больше всего нравится, как она Пелея извела, помогая своему избраннику. Это уж после всех дел — основных то есть, когда они на какой-то примчались — остров не остров — и она убедила двух Пелеевых дочерей — во дуры! — что для омоложения отца необходимо расчленив его надвое — половины сварить, и она восстановит их, уже в молодом виде. Продемонстрировала искусство на баране — получилось. Агнец вышел. Ха-ха-ха. Ну, те дуры поверили, папашу — надвое, и — капут. Впрочем, власть кажется всё одно к Ясону не перешла.

Толпой входят журналисты.
Отдельные голоса.

- Видишь — не опоздали.
- Дай сотню до завтра.
- Что, пить не на что?
- Как ты его продрал! Аж перья летели!
- А Д.-то уже здесь!
- опередить его думал? Как же!
- Интересно, кто первый явился?

На сцене появляется Распорядитель.

Распорядитель Рассаживайтесь, господа. Не беспокойтесь: мест хватит. Хотя сегодняшняя встреча не может не вызывать повышенного интереса. Тише, господа. Тише. Время суетиться не пришло. Тише, прошу (звенит в колокольчик). Так. Всё. Итак, господа, мы начинаем серию встреч с героями античности, с персонажами древнегреческой мифологии. Мы долго колебались, кого пригласить первым. Кандидатура самого известного из них — Геракла — отпала, покамест отпала — в связи с его невоздержанностью в питии. Тесей не смог вырваться из Аидова кресла, как и его собрат по несчастью — Пейрифой. Ахилл — опровергая расхожие рассуждения о своей смерти — скрывается в каких-то лесах от жужжащей, постоянно преследующей его стрелы, пущенной Парисом. Пока длились наши поиски, к нам явилась, предлагая свои услуги, госпожа Медея. Итак — первая наша встреча — с Медеей. Поприветствуем, господа. Прошу аплодисменты.

Под аплодисменты
на сцене появляется Медея.

Распорядитель Так, так. Прошу вас, госпожа Медея. Сюда, пожалуйста. Сюда.

Сумбур голосов.

- А хороша вить!
- Ещё бы — гречанка!
- Гречанка! Время-то скоко прошло!
- Что ей твоё время!
- Прямо кинозвезда. Или примадонна.
- Куда там! Ни одна звезда не дотянет!

Распорядитель Тихо, тихо, господа. Госпожа Медея. Это микрофон, в ваше время такого не было, он — для усиления голоса, когда будете рассказывать или отвечать, говорите, пожалуйста, сюда, в эту ребристую штуку. Ну-с, господа, я думаю, для начала госпожа Медея скажет пару слов о себе? Или — нет необходимости?

Х. Пожалуйста, пожалуйста. Биографию в двух словах.

У. Вечно ты всё затянуть норовишь!

Распорядитель Да, госпожа Медея. Основные, так сказать, факты биографии.

Медея (медленно) Биографии?

Распорядитель Вот-вот. Кто отец и так далее...

Медея Я думала, в этом нет необходимости. Но... раз просите... Я — дочь царя Колхиды Ээта, и — здесь источники расходятся, а сама я толком не помню — то ли океаниды Идии, то ли самой Гекаты — покровительницы волшебниц; кажется, к тому же, я внучка Гелиоса, так что солнечный жар у меня в крови. История с аргонавтами вам, вероятно, известна — как эти люди явились за золотым руном, и что Ясон возглавлял поход, и вряд ли бы добился победы, если б не моё волшебство, да Афродитины выкрутасы. Перед его красотой я не смогла устоять, а обещание жениться окончательно решило дело; я стала ему помогать, и кончилось это трагедией. Потом я бежала с ним, ибо что меня ожидало дома? Едва ли благодарность отца, ха-ха. Происки Алкиноя способствовали нашему бракосочетанию. В Иолке я помогла Ясону расправиться с Пелием, обманув его дочерей, и ничуть не жалею о жестокости, с которой это было проделано. Нас изгнали из Колка — чего ещё ожидал Ясон со своей мстью? — и мы поселились в Коринфе, где я родила Ясону двух сыновей, и в благодарность получила предательство: он задумал жениться на Главке. Тут уж пришёл мой черёд мстить: я послала ей, якобы в подарок шикарный пеплос, пропитанный ядом, и она сгорела, как факел, вместе со своим поганым отцом. Потом я заколола Ясоновых детей, и дала дёру в пределы, которые вряд ли появятся хотя бы на одной карте. Легенда расцветила мои дни — не верьте многочисленным сплетням — якобы я оставила детей у какого-то алтаря — нет, я заколола. Именно заколола, а не отравила их. Потом ещё болтали, что в Афины вернулся — инкогнито — Тесей, и я убедила мужа попытаться погубить пришлеца, опасаясь за власть, которая могла перейти к нему. Какое мне дело до власти? Слухи поженили меня с Ахилл-

лом якобы на Блаженных островах, куда я перенеслась после того, как мой сын, Мед, захватил половину Азии. Не верьте этому. Пустые домыслы, бредни. Было всё так, как я вам рассказала. Вот и всё. Теперь, как я понимаю, вы будете задавать вопросы?

Распорядитель Да, да, совершенно верно. Прошу вас, господа. Соблюдайте очерёдность — время не ограничено.

Вопрос Госпожа Медея, что вы думаете о времени? Сумели ли вы обыграть его? Ваша внешность столь изумительна, что...

Распорядитель (хватаясь за голову) Господа, господа!

Медея (спокойно) Внешность? Это следствие золотых слов, разбросанных вокруг меня. Это уж не моя заслуга.

А время... что я думаю... время чрезвычайно однообразно. Серая или бесцветная полоса. Отчасти река, только неошутимая — ни искупаться, ни сгинуть; но в эту воду всё же можно вступить дважды, противоречая нашему мудрецу. Молодость, зрелость, старость — подобны шагам, уютным шагам в недружелюбно журчащем времени, и старые открытия, кажущиеся новыми, свидетельствуют о том, что это всё та же вода. Время, наверно, хорошо одним — оно стирает боль.

Вопрос Много ли боли вы узнали?

Вопрос Прошу прощения, но вы не ответили на вопрос — сумели ли вы обыграть время?

Распорядитель Спокойнее, господа.

Медея Обыграть? Конечно, нет. Мифы тоже кончаются, гаснут, покидают сознание. Время было бы в выигрыше, но оно не играет. Насчёт боли... Было больно видеть Ясона и думать о невозможности заполучить его. Афродита сыграла со мной злую шутку. Никогда не поймёшь эту богиню. Потом, когда я решила помочь Ясону, боль прошла, и дальше, пока длился наш путь, меня даже не тревожили сожаления. Боль вернулась, когда я узнала его планы относительно Главки, но тогда ненависть и жажда мести сильно разбавляли её, уменьшая крепость. Затем, уже в колеснице, уносящей меня вверх, я поняла, что всё кончено — боль ушла навсегда, осталось время, а время эквивалентно скуке, а не боли. Об этом я уже говорила.

Вопрос Нет, нет, не было такой формулировки. Так ли это?

Медея Пожалуй, так. Скука. Вечная скука. Вечная зевота. Земное колдовство — плохая подмога. Впрочем, надо у Кроноса спрашивать, как ему не надоела вся эта волюнка.

Вопрос Вам не надоел ваш образ?

Медея Что? Мой образ? Но это вы видите какой-то образ. Мне было просто интересно жить. Не скажу — безумно интересно, но что-то всё-таки щекотало нервы, радовало. Огорчало...

Вопрос Вы считаете свою жизнь заурядной?

Медея Мой милый (насмешливо) кто же считает свою жизнь заурядной? Моя жизнь была хороша для меня, и — точка. И... мне бы не хотелось рассматривать прожитые дни, как повод для трагедии.

Вопрос Вы негативно относитесь к написанному о вас?

Медея Негативно? Нет! тут скорее вопрос жанра, вернее путаницы жанров. Это должен быть скорее фарс, или трагикомедия. Ведь например страх Ясона перед этим драконом был просто смешон — дракон старый. И без моих чар полусонный, победить его — пустяки. Потом напридумывали, что он убил дракона, по рукоять меч свой всадил — в глотку там или сердце... А он и про меч свой забыл, растёкся от страха, как медуза, стоял и ждал, пока я произведу необходимые манипуляции — мне было так забавно, но и не буду врать — мило — что я сознательно нагнетала таинственности. И Ясон, глядя на затейливые пассы моих рук, верил в грозную силу чешуйчатого существа, отжившего свой век.

Вопрос Извините, создаётся впечатление, что вы не слишком высокого мнения о своём бывшем избраннике?

Медея Ну, вы же читали Еврипиду? Ха-ха...какие симпатии может вызывать предатель? А впрочем... Что теперь-то. Влюблена, влюблена была, как кошка. Афродитина пелена. Могучая богиня, не чета какому-нибудь Танату, того вообще смертный одолел.

Вопрос Как это соотносится с вашим утверждением о трагикомичности ситуации?

Медея Очень просто. Было невыносимо смешно наблюдать за мной со стороны. Царская дочь, спятившая от чужеземца.

Вопрос Госпожа Медея, как вы относитесь к любви?

Медея Ха-ха... я не эксперт в этом вопросе. Моя любовь была неудачной. Обращайтесь к Афродите.

Вопрос И всё-таки.

Медея Всё-таки? Очень неврастеничная штука.

Вопрос А счастливая любовь?

Медея Счастливая? Это когда похороны супругов приходится на один день, а смерть — уста в уста? Нереально. Хотя... Отчасти я сама нереальна.

Вопрос Элоиза и Абельяр?

Медея Это было много веков спустя. Я с ними незнакома.

Вопрос Что такое реальность?

Медея Ну, уж кого спрашивать — так меня. Реальность, реальность... С одной стороны, то, чего можно коснуться, — дерево, камень, вода. С другой, — то, что кажется возможным объектом прикосновения. Скажем, боль. Что может быть реальнее боли, а, поди, прикоснись. Впрочем, боль всегда ассоциируется с чем-то конкретным. Раздавленные виноградные гроздья. Разбитый кувшин, и молоко среди черепков. Может быть, реальность — это поверхность — то бишь: она поверхностна. Это не так уж плохо, по крайней мере, ладонь или взгляд стыкуются с первой сущностью предмета. То, что в глубине, — малодоступно, а это видишь, значит, отчасти, ощущаешь. В конце концов, можно сказать и так: реальность нереальна. Видимость затуманивает суть. Впрочем — это уже из области метафизики. Я в ней не очень сильна.

Вопрос А смерть?

Медея Смерть? Та же метафизика.

Вопрос И всё же?

Медея (с улыбкой) Умрёте — узнаете.

Вопрос Поскольку вы пребываете в этом состоянии много веков, хотелось бы большей точности.

Медея Точность здесь невозможна. Смерть — это зыбкость. Торжество дрожащих волн. Воздушных флюидов. Воздух плюс вода плюс солнце плюс память плюс невеста чего... Можете громоздить до бесконечности любезные вам категории. Но уж по крайней мере — не тупик. Нет, не тупик. Там, в сферах, куда попадает душа, и начинается это — бесконечное. Бесконечная скука. Ха-ха...

Вопрос Как вы относитесь к своему прошлому?

Медея Моё прошлое — это реальность мифа. Я всё это когда-то прожила, и — как мне к этому относиться? Было и было. Предположить повторение былого нелепо. Время не совершает таких закидонов. Да и если б оно — повторение — было возможно, я б всё равно ничего не смогла б изменить — из-за сил, явно превосходящих мои. Я уж не говорю о Мойрах, но тягаться с Афродитой...

Вопрос Как вы сейчас оцениваете собственную историю?

Медея Слишком похожие вопросы. Зачем мне её оценивать? Повторю: жизнь имеет большую ценность, нежели воспоминания.

Вопрос А как отнёсся ваш отец к вашему предательству? Вероятно, у него была своя точка зрения на происходящие события?

Медея Вероятно. Но об этом стоит спросить его самого. Я-то откуда знаю? Верно, осудил, и по-своему был прав.

Вопрос Значит ли это, что вы осуждаете себя за бегство с Ясоном? За помощь в похищении руна?

Медея Что руно? Обыкновенная шкура. Ну, золотая... Ценность? Может, и велика с человеческой точки зрения, но едва ли чрезмерна с точки зрения колдуньи. А отец... Верно, тут примешивалась ревность, отцовская ревность к чужому, к соблазнителью. Отец думал, что я всегда буду возле него. Иллюзия! Дочери уходят быстрее, чем того бы желали отцы. Тут уж ничего не поделаешь. Не думаю, что я предала его интересы — я отстаивала свои. Грани стираются. Государство отступает перед влюблённостью. Отец этого не понял бы. Наверное, он очень злился. Представляю себе его лицо! Но что он мог поделать? Я применила своё — и немалое! — искусство. Стрелы, пущенные за кораблём в разгар погони, я останавливала, и они, замерев, падали в воду. Едва ли я вообще думала об отце.

Вопрос Как вы понимаете вину?

Медея (смеётся) Вина? Это когда виноват.

Вопрос А если серьёзно. Вы виноваты перед отцом? Ясон виноват перед вами?

Медея Ясон? О да! Променять меня на эту тварь! Забыть детей, которых я ему родила. Да ещё эта маска — лицемерная маска — мол, он поступает, как лучше — для меня же. Не помню уже всей его казуистики. Помню, что эта дура держалась за него обеими руками. Ну, и получила! Нет, Ясону нет прощения в моём сердце. А отец... вот он-то, наверное, меня простил. Да, я, наверное... Перед ним виновата... его святыни и всё такое... А, право, надоело! Такая древность. Не помню я...

никакой вины за собой не чувствовала — влюблена была и всё!

Вопрос Вы считаете, влюблённость оправдывает всё?

Медея Всё оправдывает только смерть.

Вопрос Что вы думаете о смерти?

Вопрос Что такое время?

Распорядитель Господа, господа, повнимательнее, пожалуйста. Об этом уже спрашивали — раз-нообразьте вопросы — редкая гостья, а вы всё о смерти, да о смерти. И не все сразу — соблюдайте очерёдность.

Вопрос Есть ли бессмертие?

Медея (лукаво шурясь) О да! И оно очень приятно.

— Как?

— Что оно такое?

— Что вы имеете в виду?

Медея То и имею. Уж не длительность загробного бытия. Оно-то понятно, что бесконечно. Но та беспечность, с которой люди относятся к бессмертию, уморительна. Умудряются верить, во что угодно, а в то, что очевидно... Оно понятно — страх... Куда ж от него деваться... а всё ж чудно...

Вопрос Значит ли это, что смерть — реальность?

Медея Опять вы лезете в метафизические дебри. А что ж она такое? Конечно, реальность. Впрочем, может быть именно последняя реальность на пути в ирреальное.

Распорядитель Господа, господа, поконкретнее. Поменьше философии.

Вопрос Было ли вам страшно, когда вы бежали с Ясоном?

Медея Страшно? О нет! Я была хорошо вооружена. Влюблённость плюс магия — что может одолеть такую сумму? Ясон — тот да. Казался испуганным, особенно, когда увидел погоню. Может, я фантазирую, но голос, отдающий команды, всё же дрожал.

Или наговариваю? Время это, знаете ли. Его пласты не соскоблить, даже если уже не нуждаешься в теле.

Вопрос А было ли всё это?

Медея (улыбаясь) Ну, это вам видней. Все вы много читали, и раз собрались здесь, то, наверное, уверены, что было.

Вопрос А вы?

Медея Я? Сложно ответить. Сложно отличить реальное от иллюзий, по крайней мере, прожив столько, сколько прожила я. Часто одно входит в другое, потом опять, и так до бесконечности, как в восточной игрушке.

Распорядитель Господа, я попросил бы держаться в рамках. Наше присутствие здесь гарантирует реальность происходившего тогда.

— Это вопрос открытый, можно и поспорить.

— Ну, спорить ещё здесь не хватало, тоже — любитель дискуссий!

Распорядитель Господа, спокойнее, спокойнее, не затевайте споров — они чреватые скандалами. Задавайте вопросы уважаемой госпоже Медее.

Вопрос Вы любите спорить?

Медя Спорить? Никогда не задумывалась об этом. Бывало, я спорила с Ясоном.

Вопрос А с отцом?

Медя С отцом — нет, никогда. Но споры с Ясоном ни к чему не приводили — оставался только осадок в душе. Значит не люблю. Да и зачем?

Вопрос Но если не совпадают взгляды?

Медя Пространство велико. Всегда можно отстраниться. Зачем теснить друг друга? Это проклятое пространство вместит всех — с избытком. Прошлое, будущее — ведь оно держит в себе и то, и другое... Для десятков и сотен мнений точно найдётся место.

Вопрос Что для вас значит материнство?

Медя Немногое. Так, или иначе — оно менее важно, чем влюблённость, магия, реальность, иллюзия. Хотя... это тоже иллюзия — будто дети — твоя плоть. К тому же свою плоть убивать сложнее. Наверное, я была дурной матерью. У меня другие функции. Я всё-таки не Ниоба.

Вопрос Ваша магия — что она такое?

Медя Это очень древняя наука — или искусство — тогда всё смешивалось. Быть может, смешивается и сейчас, но вы разучились воспринимать это. Магия шла от Гекагы. Вскормленная земельными соками, настоящая на жертвоприношениях магия увеличивала своё могущество день ото дня, час от часа. О, магия — это густая ирреальность, забирающая, засасывающая в себя всё — прежде всего явь. Магия была моей первой влюблённостью. Ясон стал второй. Но к тому времени я была уже слишком искусна, чтоб навыки испарились.

Вопрос До каких пределов простиралось ваше могущество?

Медя Этого никто не знал. И меньше всех я. Иногда казалось, что мне подвластно многое, очень многое: стихии, предметы, люди — всё мешалось в кипучем круговороте. Но не так это было. Ибо потом, уже годы спустя, я не могла вернуть себе мужа, отобрать его у рыжей потаскухи, царевой дочки. Вот вам и магия. Видать, сок распутства сильнее. Это, впрочем, к делу не относится.

Вопрос Так значит, если вы говорите о сопернице, да ещё в таком тоне, миф всё же был реально-стью?

Медя Не большей, чем все ваши жизни.

Вопрос Вы говорите загадками.

Медя Наши оракулы всегда говорили загадками. Ищите шифр.

Вопрос Существует ли он?

Медя А иначе существование мифов не имело бы смысла.

Вопрос А оно имеет?

Медя Думаю, да.

Вопрос Что для вас важнее — день или ночь?

Медя Магия действенной ночью. Любовь — прекрасней. Влюблённость — невыносима. Смотря что иметь в виду. Так или иначе, ночь красивей, особенно там, у нас, с дыханием моря, абрисами кипарисов, точками звёзд.

Вопрос А звёзды, верно, были роскошными?

Медя (восторженно) Да! Блёстки серебра, серебряные гвоздочки, складывающиеся в прихотливые узоры; медовые капельки, брызги молока... Глядя на них, можно было чувствовать себя счастливой.

Вопрос О чём вы думали, глядя на звёзды?

Медя Да ни о чём. Или обо всём сразу. Ступенька за ступенькой, образ за образом. Это было как восхождение по бесконечной лестнице, или как волшебная музыка.

Вопрос А вы любили музыку?

Медя (задумчиво) Да, пожалуй. Сложно было тогда не любить музыку. Специально я ей не занималась.

Вопрос Была ли музыка в почёте?

Медя Если вы изучали историю Эллады, то должны знать. Нового я вам ничего не скажу.

Вопрос Думали ли вы о бессмертии, глядя на звёзды?

Распорядитель Господа, опять скучная метафизика. Поближе к земле, к быту, господа.

Медя О бессмертии? Нет, не думала.

Вопрос Было ли у вас любимое блюдо?

Медя Ха-ха... Ну, и вопрос. Я обожала медовые ковриги. И ещё мясо ягнёнка, зажаренное на углях.

Вопрос А виноград?

Медя Фу, терпеть не могла виноград. Рот распирает слюной, чуть не давишься, сладкая гадость!

Вопрос Ну, а вино? Доставляло ли оно вам удовольствие?

Медя Вино я пила очень умеренно. У нас в ходу было лёгкое вино — оно не кружило голову. Иногда было приятно.

Вопрос Что лучше — вино или молоко?

Медя Молоко. Конечно, молоко. Звёздное молоко.

Вопрос Что это значит?

Медя Млечный путь. Удовольствие пить глазами.

Вопрос Что важнее в любви — глаза или уши?

Медя Разумеется, глаза. Любовь рождается на днище взгляда.

Вопрос А уши? Приятны ли вам были Ясоновы нежности?

Медя Ещё бы — он был отменный говорун.

Вопрос Только ли говорун?

Медя Что означает ваш вопрос?

Распорядитель Господа, это переходит всякие границы!

Вопрос Каков он был в постели?

Распорядитель (хватается за голову) Ох-хо-хо!

Медя Ах, вот оно что! Видно, в этом мире ничего не изменилось!

Вопрос Что вы имеете в виду?

Медя (встаёт) Запомните вы, господа сплетники, чёртовы балаболки, дешёвые писаки — вы, ничтожества, — Ясон был героем, который остался в веках, тогда как вам и три дня не удастся задержаться в чём-нибудь воспоминании — после ваших ничтожных смертей. Он был героем — он не мог быть плох в постели, вы, импотенты несчастные!

— Значит, плохи были вы?

— Почему он вас бросил?

— Вы испытывали оргазм?

— Часто ли он кончал?

Медя (кричит) Вы — мелочь, отребье, как вы...

- Сколько вам требовалось предварительных ласк?
- Долго ли тянулась прелюдия?

Медя Заткнись, сволочь (хватает микрофон, кидает в зал).

Распорядитель А... побери вас всех! Что за безобразия. Как вы смеете?

- Заткнись, пачкун. Ну, ты, мифологическая стерва, отвечай на вопросы, или...

Медя легко опрокидывает стол. На сцену летят стулья. Крики: «Отвечай, дрянь!».

Медя исчезает за сценой. С шумом, ломая стулья, сшибая распорядителя, журналисты лезут на сцену.

Затемнение.

Свет.
Среди разворочанного зала появляется служитель.

Служитель А ведь образованные вроде люди — не чета мне, пролетарию. А туда же — давай всё крушить. Наводи теперь порядок! (поднимает стул) Эх, ещё и поломали... Ну, не гадство, а? Медю эту чуть не разорвали. А ведь красивая баба. Почтище иной кинозвезды будет. Что им от неё надо было? Отвечать, что ли, отказалась? Бред, да и только. Распорядитель бледный, рожа в крови... дрался с кем-то, что ли? Или остановить кого пытался? Тут остановишь... Эх, господа, господа... И кому это нужно... стулья поломали, стол разнесли... Ладно. Бог вам судья... моё дело порядок наводить (Начинает медленно расставлять стулья).

г. Москва

ДиН ревью

Русская сибирская поэзия

Антология. XX век.

Кемерово, 2008.

Нечаев Антон

ПомоГимн

сборник стихотворений
г. Красноярск: «Платина», 2008

Алямовский Вадим

РасСказки для взрослых

г. Красноярск: «Семицвет», 2008

Белых Мария

Кабинет поэта — ночь

стихи, г. Красноярск, 2008

Сергеева Екатерина

Маленькие кошки

стихи, г. Красноярск: «Касс», 2008

Ерёмин Николай

Кто виноват?

стихи и рассказы
г. Красноярск: инк сфу, 2008

Ерёмин Николай

Час расплаты

поэзия и проза, г. Красноярск:
частное издание Николая Негодина, 2008

Аторин Сергей

Всё будет хорошо

стихи, песни, г. Красноярск: «Семицвет», 2008

Жуковский Иван

Наедине с мечтой

стихи, г. Красноярск: «Красноярский писатель», 2008

Александр Балтин

Алхимия

стихотворения, г. Москва, 2008

Альманах «Русло»

выпуски №5, №6
г. Красноярск, «ЛИТЕРА-Принт», 2008

Бийский вестник

литературно-художественный,
научный и историко-просветительский альманах
г. Бийск, №1-2, 2008 (17-18)

Лидия Иргит

Счастья граммов семь

стихи, перевод с тувинского Дианы Кан
г. Абакан, 2008

Андрей Канавщиков

Цивилизация троечников

сборник публицистики
г. Великие Луки, 2008

Огни Кузбасса

литературный журнал,
г. Кемерово, №2-4, 2008

Сибирские огни

литературно-художественный
и общественно-политический ежемесячный журнал
г. Новосибирск, №1-8, январь 2008

Татьяна Секлицкая

Про девочку Лизу и волшебный посох

— Посмотри на себя! — с укором сказала мама, — Ведь зелёная вся без воздуха стала. А там такой воздух — не надышишься, сосняк кругом, речка. Кормят хорошо, детей много, весело.

— Я сказала — не поеду! И не уговаривай меня! — упрямо твердила Лиза. «На себя бы посмотрела, — думала она, — Самой бы куда-нибудь в сосняк надо, а не в командировку».

— Ну, что мне с тобой делать? — мать устало опустила на стул. — В городе пыль, духота... И тебе ещё рано оставаться одной в квартире.

— Не поеду я в этот лагерь! Сама туда езжай, если он тебе так нравится!

— Елизавета, не дерзи. Ты прекрасно знаешь, что мне нравится, когда ты здорова. У тебя только два выхода: лагерь отдыха и деревня. В городе ты не останешься! — мама резко встала и вышла из комнаты.

А у Лизы на глаза навернулись слёзы. Лето только началось, подружки пока никуда не собирались уезжать. У них было столько планов на ближайшие тёплые деньки! И вот, пожалуйста, — маму срочно отправляют в командировку.

Впервые Лиза поехала в лагерь после окончания первого класса, и там ей ужасно не понравилось: подъём — по сигналу, еда — по сигналу. Ну, прямо дрессировка детей, а не отдых! А в деревне была просто скука. Она находилась рядом с городом, и все, кто мог, сделали городскими жителями. Остались только самые стойкие старики, поселились пожилые дачники, да ещё какие-то нетрезвые личности бродили по пустынным улицам. Из-за них-то строгая Лизина бабушка и не выпускала внучку одну со двора. И Лизе приходилось играть с собакой, разговаривать с поросёнком и курицами. Дня два-три это её развлекало, но потом становилось тоскливо, и девочка снова рвалась в город к подружкам.

Сейчас мама уезжала на две недели, и за Лизой присматривать было некому. Хотя девочка и считала себя вполне взрослой и самостоятельной, ей было только десять лет. Жили они с мамой вдвоём, а бабушка и дед, занятые хозяйством, летом в город не приезжали. В лагерь Лиза твёрдо решила не ехать, хотя мама с трудом достала путёвку. Оставался один вариант — деревня. «Потерплю две недельки, — успокаивала себя девочка. — Это совсем недолго. А потом мама придет. Только чуть-чуть потерпеть». Лиза вытерла слёзы и пошла на кухню к маме.

Деревня протянулась двумя длинными широкими улицами вдоль речки Мокрухи. Дом бабушки и деда стоял на невысоком берегу, а огород плавно переходил в прибрежный луг, и речка протекала

почти по огороду. За речкой был лес. Он клином спускался с двух округлых холмов в распадок, а самые смелые берёзки подобрались к речным зарослям и замерли в нерешительности возле реки.

Лиза была девочка тихая, осторожная и немного трусиха. Первые дни в деревне она не отходила от бабушки, помогая ей управляться по хозяйству: полола грядки, поливала огород, кормила кур, рвала траву поросёнку, а к вечеру третьего дня увязалась с дедом на речку. Это была небольшая сонная речка, с берегами, заросшими тальником, черёмухой и смородиной, возле которой всегда прохладно, сумеречно и немного жутковато. Одна Лиза сюда никогда не ходила.

Дед захватил с собой маленький топорик и верёвку: «Сейчас мы с тобой, Елизавета, тальника подрубим и у куриц заплот заплетём, а то они повадились через дыру в огород лазить. Всю морковку поизрыли!»

Лиза вприпрыжку бежала впереди по тропинке. Солнце горячо припекало спину. Прибрежный луг пестрел множеством цветов, над ними белыми тучками трепетали бабочки. Около зарослей тальника Лиза остановилась и оглянулась на деда.

— Иди, иди, я тут буду, а ты посмотри вон там, — дед махнул рукой влево от тальника, — смородина нынче рясно цвела: ягод много ли?

Лиза пошла по тропинке мимо кустов смородины. Мелкие зелёные ягоды гроздьями свисали с веток, но с этого краю было их не очень много. Дед где-то в тальнике начал тюкать своим топориком. Лиза хотела осмотреть кусты смородины с другой стороны, но неожиданно наткнулась на заросли крапивы. Обходя крапиву, она зашла в полумрак прибрежной кущи. После солнечного цветочного луга с обилием бабочек здесь казалось совсем темно. Трава почти не росла, под ногами зачавкала чёрная грязь, кое-где из неё бугрились корни черёмухи, валялись сломанные ветки. Лиза обошла крапиву, осмотрела смородину и решила пройти до тальниковых зарослей по самой кромке берега. Тальник рос недалеко: слышалось, как дед рубит ветки, и девочке было почти не страшно. Вода в реке не двигалась. Ветви деревьев так переплелись над ней, что едва пропускали солнечный свет. Казалось, что это не речка, а длинное чёрное зеркало лежит среди кустов: и страшно, и заглянуть в него хочется.

Вдруг дед перестал стучать топориком. «А может, здесь какое-нибудь чудовище живёт, вроде лохнесского?» — промелькнуло в голове у Лизы. Но тут топор снова застучал, и девочка, усмехнувшись в душе своим страхам, направилась к

тальнику. Она шла, нарочно шумно чавкая ногами и с шелестом раздвигая кусты. Вдруг нога, попав на осклизлый корень, подвернулась, и девочка со всего маху упала в грязь, раскинув в стороны руки и ноги, и задев при этом что-то металлическое: оно с шумом шлёпнулось в воду.

— Ну, ты, корова неуклюжая! — услышала девочка сзади мальчишеский голос. Лиза резко повернулась, села в грязь и от неожиданности заплакала. Сквозь слёзы она увидела у самой кромки воды мальчишку приблизительно одних с ней лет. Он был злой и взъерошенный.

— Смотреть надо, куда идёшь, — сердито сказал он. — Я уже полный котелок наловил. Ну, что ревьешь? Вставай!

Лиза поднялась. Руки были в грязи, болела ушибленная коленка. Мальчишка подбирал в мятый котелок рассыпанную Лизой рыбу и что-то зло бормотал себе под нос. «Сейчас подберёт и бить будет», — со страхом подумала девочка. И тут она услышала голос дедушки:

— Лизавета, ты где? Иди сюда.

— Я здесь! — крикнула она дрожащим голосом и, потирая грязную коленку, пошла сквозь заросли к тальнику. Но дед уже сам шёл к ней навстречу.

— Где же ты так вымазалась? — спросил он. — Упала, что ли? Ну, иди к воде, обмойся хоть. А-а-а, Митрий, здорово, здорово! — радушно воскликнул дед, заметив на берегу мальчишку.

— Здравствуйте, Семёныч, — солидно ответил тот и пожал протянутую дедом руку.

«Совсем, как взрослый», — подумала удивлённая Лиза. Пока она обмывала в речке грязь с рук и коленок, дед расспрашивал мальчика о рыбалке, о каких-то домашних делах. Мальчишка отвечал не торопясь, обстоятельно, и Лизу снова удивило то, что они разговаривают, как два совершенно равных взрослых человека. С Лизой дед никогда так не разговаривал. Вроде ничего особенного из себя этот мальчишка не представлял: белобрысый, в старых потёртых джинсах, в выцветшей футболке, но что-то в лице его было привлекательное, хотелось пристальнее взглянуть, чтобы понять.

А дед уже закончил разговор:

— Ну, Митрий, ладно, пошли мы с Лизаветой.

— Внучка, что ли? — спросил мальчик.

— Ага. Из города погостить приехала, — ответил дед, взяв Лизу за руку. — Ну, пошли, помощница.

Лизе стало обидно: как с маленькой с ней дед разговаривает, и за руку взял даже! Она резко выдернула свою руку и быстро пошла вперёд. А дед, казалось, и не заметил её обиды. Когда они отошли от берега, он сказал: «Хороший парнишка, семья только на нём и держится. Отец его пьёт беспробудно, а мать больная, да ещё сестрёнка младшая. Обо всех заботится, всем помогает. Редкий мальчишка». Дед замолчал, закинул на плечи вязанку тальника, несколько веток взяла Лиза, и они пошли по тропинке к заходящему малиновому солнцу.

Умываясь перед сном, Лиза заметила, что потеряла где-то серебряную цепочку — подарок мамы. Было досадно, но она не сказала об этом бабушке,

а только когда легла спать, вспоминала о маме и даже чуть-чуть поплакала.

Утром Лиза попросила деда, чтобы он сходил с ней к реке, на то место, где были вчера, может, и лежит там цепочка в грязи или среди травы.

— Погоди, Лизавета, некогда мне сейчас экскурсии устраивать — дел полно. Сходила бы сама по тропиночке да поглядела: может, и валяется где-нибудь в траве твоя цепочка, — и дед пошёл ремонтировать изгородь.

— Внученька! — позвала бабушка, — Иди, поросёнку крапивы нарви.

Лиза взяла корзину, дедовы верхонки и пошла в конец огорода. Там на меже росло много крапивы и лопухов. Крапива была молодая, яркая Лиза быстро нарвала полную корзину и хотела уже идти обратно, когда услышала: «Эй! Погоди-ка!» Девочка оглянулась: по тропинке от речки к ней шёл вчерашний мальчишка. Лиза поставила корзину на землю.

— Привет! — сказал мальчишка, подойдя поближе. — Это твоё?

И он протянул Лизе раскрытую ладонь. На ней серым бугорком лежала цепочка.

— Ой! — обрадовалась Лиза. — Где ты её нашёл?

— Там, на берегу лежала, — мотнул головой мальчик. — Замочек у неё слабый. Ты упала, а он и расстегнулся, видно. Наладить бы надо. Ты пока не надевай, а то снова потеряешь.

Лиза бережно взяла цепочку и положила её в карман.

— Спасибо тебе, — сказала она и взглянула мальчику прямо в глаза.

Так вот что было привлекательным в его лице — глаза! Наверное, именно такие вот глаза и называют красивыми: небольшие, обрамлённые пушистыми ресницами, они, казалось, излучали мягкий голубоватый свет.

Мальчик кивнул на корзину:

— Поросёнку рвала?

— Ага. А ты что тут делаешь?

— Бельё на речке полоскал, — смущённо улыбнулся мальчик. — Мамка стирала с утра. Сейчас развешаю пойду.

Он ещё немного постоял, переминаясь с ноги на ногу, потом неожиданно спросил:

— А ты рыбу ловить любишь?

— Не знаю, — пожала плечами Лиза, — я её никогда не ловила.

— Хочешь, я завтра с утра за тобой зайду? У меня вторая удочка есть. Пойдём ловить к дальнему мосту. Там хорошо клюёт.

— Ну, заходи. А во сколько?

— Часов в пять утра.

— Так рано? — удивилась Лиза.

— А позже там уже делать нечего будет.

— Что, всю рыбу переловят?

Мальчик усмехнулся:

— Нет. Рыба плохо клюёт потом. Да я тебе всё завтра расскажу. Только теплее одевайся, штаны какие-нибудь надень, а то комары все ноги объедят.

Лиза кивнула.

— Ну, ладно, пока! — мальчик повернулся и быстро пошёл по тропинке к реке.

Лиза посмотрела ему вслед. «Даже не извинился, что коровой меня вчера обозвал», — подумала она. Но обиды не было. Наоборот, стало как-то легко и радостно: цепочка нашлась, и мальчик оказался неплохим человеком. Лиза подхватила свою корзинку и весело зашагала к дому.

Бабушка разбудила Лизу рано. Лиза быстро вымыла лицо холодной водой, заплела наскоро волосы, натянула свои старые джинсы. Они ей были коротки, но, если их заправить в сапоги, то носить ещё можно. Бабушка принесла из чулана лизину прошлогоднюю куртку и дала на голову ситцевый платок. Есть не хотелось. Лиза взяла яблоко, рассовала по карманам два пирога и вышла за ворота. Краешек солнца показался из-за леса и сразу же спрятался в длинные тёмно-синие облака. Дул прохладный ветерок, было зябко.

Мальчик пришёл, как и говорил, в пять часов. Он нёс две удочки и помятый котелок, тот самый, что опрокинула недавно Лиза. «Как его зовут-то? Митрий, что ли? — подумала Лиза. — Так дед его зовёт. Какое-то странное имя»

— А как тебя зовут? — решила спросить она.

— Митька. А тебя — Лиза, да? — он смущённо улыбнулся. Лиза кивнула.

— Ну, тогда пошли, — сказал Митька и зашагал впереди, топая большими сапогами. На нём была большая же, видно, отцовская куртка и серая бейсболка на голове. Идти пришлось долго, на другой конец деревни. По дороге больше молчали. На все вопросы Митька отвечал односложно и как-то неохотно, сам же ни о чём не спрашивал. И Лиза вскоре тоже примолкла. Так они и дошли до моста в полном молчании.

Перейдя мост, Митька свернул направо в заросли черёмухи. Лиза пошла за ним. Поплутав немного между кустов и травы, мальчик остановился на берегу и стал разбирать свои снасти. Он показал Лизе, как надо забрасывать удочку, скатал шарик из хлебного мякиша и нанизал его на крючок. Наконец, они расположились недалеко друг от друга и замерли, глядя на поплавок.

— Неудачно мы сегодня пришли, — сказал Митька, помолчав немного, — клёва не будет.

— Почему? — спросила Лиза.

— Погода меняется. Смотри: солнце в облаках, и ветер подул. Дождь будет.

Мальчик поглядела на облачное небо, на речку, на свой поплавок. Ей показалось, что он шевелится.

— Мить, а Мить, — позвала она. — Ключёт у меня.

— Да нет, это течением немного шевелит. Когда ключёт, поплавок под воду ныряет, — объяснил Митька.

Здесь, возле моста река не была похожа на зеркало. Видно было, как она медленно течёт, шевеля склонённые до воды ветки тальника и листья осоки. Рыба всё не клевала. Зато прилетели крупные и злые комары. Они так и норовили сесть на руки или впиться в лицо. Лиза хотела спрятать руки в карманы и вспомнила про пироги, что лежали там. Она достала их, один дала Митьке, другой съела сама.

Ветер подул сильнее, стало холодно.

— Мить, может, мы не на том месте сидим? Может, здесь и рыбы-то нету? — спросила, соскучившись, Лиза.

— Есть здесь рыба, — ответил Митья, помолчав. — Только затаилась: дождь чувствует.

Он вытащил леску из воды, поправил что-то на крючке и снова закинул её. Лиза вздохнула. «Не нравятся мне рыбу ловить, — решила она. — Зря я пошла».

Ветер налетал порывами. Он выворачивал наизнанку листья тальника, от чего они казались серебристыми. Вскоре мелко закапал дождь.

— Ну, всё! — сказал Митья. — Домой надо идти. Смотри, как небо затянуло. В другой раз порыбачим.

Лиза с облегчением вытащила из воды крючок и, поглядев, как это делает Митья, сама смотала удочку. Они быстро направились к мосту.

Когда перешли на другой берег, дождь уже полил по-настоящему.

— Пошли огородами — так быстрее, — предложил Митья и, свернув влево на тропинку, зашагал между кочками и кустами. Лиза поспешила за ним.

Через некоторое время они перелезли через плетень и пошли по узенькой тропинке вдоль реки. Забор между огородами не было. Тропинку вскоре размыло дождём, мокрая трава липла к сапогам, мешая идти. Порывистый ветер гнал потоки воды, лившиеся с неба.

Митья оглянулся на девочку, семенившую следом за ним. Платок её промок, нос покраснел, она стала похожа на замёрзшую птичку.

— Надо дождь переждать, — сказал мальчик и свернул на другую тропинку, едва заметную в траве. Она привела их к маленькой избушке с позеленевшей от старости крышей. Дверь была полуоткрыта.

— Кто здесь живёт? — спросила Лиза.

— Никто. Это раньше баня была, — ответил Митька, прислоняя удочки к стене. Лиза робко зашла вслед за ним в избушку. Сквозь маленькое грязное окно едва пробивался свет. Пахло пылью и плесенью. Когда глаза привыкли к полумраку, Лиза увидела длинную лавку вдоль стены, прогнивший и проваленный местами пол. В углу по стене тоненькой струйкой сочилась вода. Справа от входа была дощатая перегородка. Заглянув за неё, Митья сказал:

— Здесь печка раньше была, разобрал её кто-то и кирпичи унёс. Иди сюда, тут сухо.

Лиза поставила котелок и прошла вслед за Митьей. Там, за перегородкой, было ещё темнее. Почти под самым потолком притулилось маленькое пыльное оконце, больше похожее на щель, которое скупно пропускало дневной свет. Присмотревшись, можно было различить полку у противоположной стены и справа в полу неглубокую яму.

— Всё, что от печки осталось, — кивнул на яму Митья.

— А чья это баня? — тихо спросила Лиза.

— Ничья, — ответил мальчик, взбираясь на полку. — Раньше кузнечихина была, а теперь — ничья.

— Как это — «ничья»? — удивилась Лиза.

— Пропала эта Кузнечиха года два назад. Старая была, сгорбленная, вот с таким носом, — Митя показал. — Прямо ведьма. Не любили её в деревне и боялись.

— Ой, Мить, а нам ничего не будет, за то, что мы в её баню зашли? — испугалась Лиза.

— Ну, вот уже и струсила! Не бойся. Мы же ничего не трогаем: переждём дождь и уйдём.

Они помолчали, послушали, как дождь барабанит по крыше. Лиза сняла с головы мокрый платок.

— Ты чего стоишь? Лезь сюда, — предложил Митя.

С его помощью Лиза взобралась на полоч, и они уселись рядом, болтая ногами. Отсюда в грязной щёлке окна можно было разглядеть кусочек серого неба и струи, падающие с крыши непрерывным потоком. Лиза вздохнула: «Не скоро, видно, дождь кончится». Но Митька вдруг воскликнул:

— Ого! Смотри! — и показал рукой куда-то в угол.

Лиза взглянула туда, ничего не заметила, но подумала, что там может быть крыса, и, на всякий случай, быстро поджала ноги.

— Ничего не вижу, — дрожащим голосом проговорила она.

— Да не туда смотришь! Ты вниз смотри, где яма.

Лиза посмотрела на чёрное пятно ямы и вдруг ясно увидела узкий лучик света, пробивающийся прямо из земли. Он был тоненький-тоненький и немного дрожал.

— Что это? — шёпотом спросила Лиза.

Митя спрыгнул на пол и подошёл к яме.

— Из-под земли светит, — сказал он тихо. — Раскопать бы надо. Вдруг там клад?

— Нет, вряд ли, — задумчиво сказала Лиза. — Ну, кто бы здесь его спрятал? Да и не светятся клады никогда.

— Откуда ты знаешь? Можно подумать, каждый день клады находишь, — насмешливо спросил Митька и добавил: — Неси-ка котелок, попробуем раскопать.

Лиза вышла в предбанник, взяла котелок и выглянула наружу. Дождь ещё шёл, но стал мелкий, а ветер утих.

— Мить, а может, пойдём домой? — спросила она робко. — Дождик уже кончается.

— Давай котелок. Мы быстро, — успокоил он её. — Только посмотрим, что здесь светится — и домой.

Он взял котелок и стал сгребать им землю к краям ямы. Котелок вскоре заскрежетал обо что-то твёрдое.

— Что там? — спросила Лиза, присев на корточки у ямы.

— Камень тут какой-то.

— Кирпич, может?..

— Нет, шире. Отковырнуть бы его чем-нибудь.

— Сейчас, посмотрю, — Лиза вышла из бани и оглянулась по сторонам в поисках чего-то подходящего. За углом она увидела половинку ржавых вил с двумя зубцами.

— Это подойдёт? — спросила Лиза, вернувшись.

— Ага! — радостно согласился Митя.

Камень неожиданно легко поддался и, отодвинув его в сторону, дети увидели ровный белый свет, льющийся как бы из глубины и сбоку одновременно. Митя расширил образовавшееся неглубокое отверстие и опустил в него обе ноги. Они упёрлись в каменное дно. Свет лил справа, освещающая это дно, которое, казалось, светилось само, потому что было молочной белизны.

— Митя, я боюсь, — прошептала Лиза. — Давай, всё зароем, как было, и пойдём домой.

Митька молча вытащил ноги из ямы и опустил туда голову.

— Ого! — воскликнул он, поднял голову и взглянул на Лизу. — Там подземный ход!

Его лицо снизу освещалось фантастическим светом и казалось нереальным и немного жутким. Лиза поняла, что домой он сейчас не пойдёт. Да и ей самой стало интересно узнать, что же там, под землёй. И, пересиливая свой страх, она кивнула головой: «Полезли!».

Митька живо скинул куртку, бейсболку, сапоги и, опираясь на руки, ужом проскользнул в отверстие, метнулся вправо и исчез. Через мгновение раздался его голос: «Не бойся, лезь!». Лиза тоже сняла куртку, склонилась над ямой, вытянула вперёд руки и «нырнула» вслед за ним. Справа бил в глаза яркий белый свет. Лиза поползла ему навстречу.

«Осторожно, не упади!» — услышала она Митин голос, но упала бы, если б его руки не подхватили её. Подземный ход кончился, не успев начаться. Они стояли под самой кромкой какого-то рва или обрыва. Эта сторона обрыва была в тени, а противоположная ярко освещалась солнцем. Она была желтовато-белая, как сухое молоко. А они с Митей вылезли из-под камня, нависшего козырьком над обрывом. Под ногами была коричневая сухая глина, кое-где поросшая травой.

— А где же баня? — спросил вдруг Митя.

Он сбежал вниз, проваливаясь в сыпучей глине, и попробовал заглянуть за камень, из-под которого они вылезли. Лиза осторожно пошла следом. Ноги её съезжали, глина осыпалась, и, чтобы не упасть, приходилось держаться за кусты полыни. Остановившись рядом с мальчиком, Лиза взглянула вверх. Никакой бани там не было, а был ещё один обрыв, как первая ступенька гигантской лестницы.

— Ничего не понимаю, — пробормотал Митя. — Куда нас занесло?

— Может, пойдём обратно? — робко спросила Лиза.

— Успеем, — рассеянно ответил мальчик, осматриваясь кругом. — Ого! — вдруг воскликнул он и показал на дно обрыва. Оно было усыпано валунами разной величины.

— Вперёд! — и Митя запрыгал вниз.

Лиза, скользя по осыпающейся глине, робко поспешила за ним. А Митька уже стоял босыми ногами на самом большом валуне и оглядывался по сторонам. Девочка тоже сняла сапоги и влезла на валун. Он был горячий, верхний слой его осыпался под ногами белой пылью. Кое-где между валунами росла трава, слева травы было больше: даже валунов не было видно. Справа же трава

почти не росла, а обрыв поворачивал куда-то вбок. Лиза посмотрела вверх: там голубело чистое небо. Было так тихо, что слышалась далёкая песня жаворонка.

— Митя, а куда мы попали? — спросила Лиза. — Где наша деревня?

Митька молча пожал плечами, перепрыгнул на другой валун, потом на третий, наконец, сказал:

— Я не знаю, где мы. Но ты не бойся: ход-то вот он, над нами. Только вверх подняться — и дома.

Лиза тоже перепрыгнула на другой валун, потом ещё и ещё. Это было так здорово — прыгать по горячим шершавым валунам друг за другом, но стало жарко и захотелось пить.

— Может, домой сходим, попьём и вернёмся сюда? — спросила Лиза.

— Пошли, — согласился Митька, — но сегодня не получится: дел у меня ещё много.

Он вздохнул, посмотрел по сторонам, как бы ожидая чего-то, потом резко повернулся и нехотя стал подниматься по теневой стороне обрыва, глубоко проваливаясь в сухую глину. Лиза взяла в руки сапоги и пошла следом.

Они молча добрались до отверстия под нависшим камнем и оглянулись назад. Тёмную сгорбленную фигуру женщины на дне обрыва дети увидели одновременно. Она сидела на валуне, опираясь руками на палку. Было непонятно, как и откуда эта женщина появилась там. От неожиданности Лиза даже выронила сапоги. Но тут услышала спокойный Митин голос:

— Это нас ждут.

Взяв Лизу за руку, мальчик потянул её за собой обратно на дно обрыва. Лизе совсем не хотелось идти к этой женщине, но Митя был сильнее, и ей ничего другого не оставалось, как спускаться вниз, скальзывая по осыпающейся глине.

— Я привёл! — крикнул Митя женщине.

Она поднялась с валуна, тяжело опираясь на палку, и спросила:

— Зовут Елизаветой?

— Ага, — подходя ближе, заверил Митя. — И глаза зелёные, и коса русая — всё, как вы велели.

— Ладно, некогда нам, — прервала его старуха. — Погода меняется. Надо успеть. Пошли.

Голос её звучал удивительно молодо, хотя сама она была очень старая, с морщинистым тёмным лицом и крючковатым носом. Длинные седые волосы её были аккуратно разложены по плечам и украшены цветами. Старуха повернулась и быстро пошла к густым зарослям зелёной травы. Она шла, будто не касаясь земли, только её шёлковая чёрная юбка шелестела по валунам. Митя потащил девочку следом за ней.

Когда подошли к зарослям, Лиза увидела, что среди травы прячется маленькое чистое озерцо с водомерками на зеркальной поверхности и с синими стрекозами над водой.

— Всё, — сказала старуха, повернувшись к детям. — Митька, уходи! Девчонка останется со мной.

— Нет! — вдруг решительно возразил Митя. — Я её не оставлю.

Старуха посмотрела на небо и нетерпеливо махнула рукой:

— Ну, тогда отойди и отвернись.

Митя отошёл назад на несколько шагов и остановился спиной к ним.

— Елизавета, — первый раз за всё время обратилась старуха к Лизе, — ты мне нужна. Это я просила Митьку привести тебя сюда. Только тебе я могу передать свою силу.

Лиза, совершенно сбита с толку, молча хлопала глазами.

— Иди за мной и делай всё, что я тебе скажу, — продолжала старуха. Она шагнула прямо в воду и поманила за собой Лизу. Девочка, как во сне, шагнула следом. Озеро было мелкое, вода едва доходила Лизе до колен. Старуха шла дальше, бормоча что-то себе под нос и разгоняя подолом водомерок. На середине озера она остановилась и резко повернулась к Лизе.

— Войди в моё отражение, — приказала она.

Лиза подошла к старухе и стала рядом, прямо в её отражение в воде. Старуха снова начала что-то бормотать, поднимая руки к небу. При этом Лизе показалось, что голос её стал тоньше и тише, да и сама она вроде как уменьшилась.

— Умойся из отражения! — приказала старуха.

Лиза наклонилась, зачерпнула пригоршню воды и плеснула себе в лицо.

— А теперь испей из отражения! — совсем пискливым голосом крикнула старуха. Лиза с удивлением заметила, что колдунья уже стала ниже её ростом и продолжает уменьшаться прямо на глазах. Девочка зачерпнула воды и сделала глоток.

Когда она опустила руки от лица, старухи не было! Лиза оглянулась по сторонам: в нескольких шагах от озера стоял отвернувшийся Митя, над озером кружились стрекозы. И всё. Больше не было никого! Лиза подняла глаза к небу: прямо перед ней, из-за белой стороны обрыва поднималась, клубясь, иссиня-чёрная туча.

— Митя, смотри! — крикнула девочка и вдруг услышала странный звук, напоминающий то ли далёкое пение хора, то ли гудение проводов. «Бежим!» — Митя схватил её за руку и потащил за собой по дну обрыва, затем — в гору по осыпающейся глине к подземному ходу. Лиза, задыхаясь и чуть не падая, крикнула:

— Постой, я не могу так быстро!

Тогда Митя остановился, обернулся назад и показал на белую сторону обрыва: «Смотри!». Лиза оглянулась и почувствовала, как внутри у неё что-то оборвалось от ужаса и омерзения: по той стороне быстро спускались вниз какие-то существа, похожие одновременно и на крыс, и на тараканов. Они двигались, перебирая конечностями и издавая этот непонятный звук, который нарастал по мере их приближения. Существ этих было так много, что казалось, будто вся сторона обрыва начала шевелиться. Лиза завизжала и бросилась вверх, цепляясь за траву руками. Митя не отставал от неё ни на шаг. Вскоре они добрались до отверстия под камнем. Митя помог девочке влезть и подал ей её сапоги. С трудом протискиваясь, Лиза поползла по ходу и вылезла наружу, в баню. Руки дрожали от страха и напряжения. Она попыталась очистить от глины ноги и джинсы, но ничего из этого не получилось. Митя задер-

живался. Лиза уже надела сапоги и куртку, а его всё не было. «Ну, где же он?», — с досадой подумала девочка и подошла к яме. Ход почему-то был засыпан землёй.

«Может, я нечаянно сдвинула камень и закрыла ход?» — предположила Лиза и стала разгребать землю руками. Но хода не было, как будто его не было здесь никогда.

Не веря тому, что случилось, Лиза всё разгребала и разгребала землю, сначала руками, затем обломком вил. Но в яме была только чёрная сухая земля с мелкими стёклами, крошками кирпичика и корнями травы. Даже плоский камень куда-то пропал. «Где же?.. Где же?..» — растерянно бормотала Лиза, роясь в земле. Потом она заплакала и стала тихонько звать: «Митя, Митя!..». Но никто ей не ответил.

Поняв, что все её усилия бесполезны, Лиза села на краю ямы и заревела в голос. Она совершенно не понимала, что с ней сейчас произошло, где она была, куда делся подземный ход, где теперь Митя, и что она скажет дома и Митиным родителям, когда её спросят о мальчике. Она плакала от собственного бессилия, размазывая грязными руками слёзы по щекам, плакала долго и безутешно.

— Ну, хватит уж вьгь-то! — вдруг услышалось у неё за спиной. Девочка вздрогнула и обернулась: в углу на полке сидел какой-то старичок. Когда он вошёл, Лиза не видела. На голове его была войлочная шляпа, в каких обычно парятся в бане, из-под неё глядели странно круглые глаза, а тонкий нос был похож на огрызок карандаша. Низ лица скрывала клочковатая бородёнка. Одет он был в серенький пиджак, грязные кальсоны и калоши.

— Всё нуто ты мне вывернула воем своим, — продолжал старичок ворчливо. — Слезами горю не поможешь. Ты почто без посоха-то воротилась, девонька?

— К-какого посоха? — всхлипнула Лиза.

— Палка такая. Называется «посох», — объяснил старик. — Ты у Кузнечихи силу переняла? Переняла, раз меня видишь. Нужно было и посох забрать. Нешто она тебе не сказала, что без него ход не откроешь в ясную погоду?

— Кузнечиха? Нет, не сказала, — Лиза передёрнула плечами и снова всхлипнула.

— Зябко? — спросил старичок. — Ну, пойдём на крыльчик посидим, погреемся на солнышке.

Он легко прыгнул с полка и направился к двери, шаркая калошами. Лиза пошла за ним. Старичок оказался невысоким, чуть выше Лизы, а калоши у него почему-то были обе на правую ногу. На улице ярко светило солнце. Тучи разошлись, но трава ещё была мокрая, а от старого крыльчика бани и от стен шёл парок. Птицы в прибрежных кустах весело щебетали, и в лесу за речкой куковала кукушка. Старичок присел на крыльцо, Лиза примостилась рядом.

— Ты кто? — спросила она старичка.

— Банник я. При бане этой, значит, служу, — старичок повернулся к Лизе, и она увидела близко его глаза: совсем без ресниц, круглые, бледно-жёлтого цвета, со зрачками-чёрточками. Прежде Лиза обязательно бы испугалась, а сейчас страха не было. Она только чувствовала: этот старичок

может ей помочь. А старичок стал рассказывать Лизе, что в этой бане он живёт уже много лет, что ему теперь здесь холодно и одиноко, потому что Кузнечиха ушла через ход, а баню никто давно не топил, и даже печку вынесли. Ещё он сказал, что ход открывается только в дождливую погоду, и, что если б посох был у Лизы, она могла бы сделать любую погоду, какую только захотела. А Мите там оставаться нельзя: у него силы нет. Обыкновенного человека там могут погубить.

— Кто? — испугалась Лиза.

Старичок взглянул на девочку и сказал:

— Они. Эта нежить всякая ихняя.

Лиза сразу же вспомнила множество мелких противных существ, спускавшихся с белой створны обрыва.

— Я могу его спасти? — спросила она.

— Ну, а кто ж ещё? — вопросом на вопрос ответил банник. — Тебе ж силу передали.

— Что ещё за «силу»? Зачем она мне?

— А это, чтобы всякой нежитью управлять. Ведь Кузнечиха на покой ушла, а без хорошей хозяйки порядка среди нежити не будет: избалуемся.

— А как я могу Митю спасти?

— Подумать надо. Такое дело сходу не решишь.

Лиза встала с крыльца:

— Мне домой пора.

— Иди, — вздохнул старичок, — только вещи Митькины не забудь.

Лиза снова вернулась в баню, собрала, как могла, свои и Митины вещи, котелок. Удочки у крыльца пришлось оставить: не хватило рук.

— Я потом зайду, заберу удочки.

— Заходи, может, чего и придумаем, — сказал ей вслед банник.

Лиза брела по тропинке, еле передвигая ноги. Митины вещи ей казались невероятно тяжелы, ноги то и дело спотыкались, в голове было пусто, и виски сжимало. Бабушка увидела её первой.

— Лиза, внученька! — испуганно воскликнула она. — Что с тобой? Где ты была? Где Митя? Господи, грязная-то какая!

Лиза остановилась и протянула бабушке Митины вещи.

— Митя остался там, — с трудом проговорила она.

Бабушка, почувствовав неладное, обхватила Лизу рукой и повела её в избу. Там она сняла с девочки грязную одежду, умыла её, посадила за стол, налила молока, поставила какую-то еду, и всё что-то говорила, говорила успокаивающим голосом. А Лиза покорно ей подчинялась, чувствуя только усталость и пустоту в голове. Она с трудом заставила себя выпить стакан молока, пошла в спальню и легла на бабушкину кровать. Но стоило только закрыть глаза, как сразу увидела перед собой крюконосое лицо, обрамлённое седыми волосами. Лиза позвала бабушку и стала ей сбивчиво рассказывать про подземный ход, про рыбалку, про Кузнечиху, про обрыв, про озеро, про крыс, похожих на тараканов, про то, как Митя не вылез из подземного хода. А про банника она почему-то забыла рассказать. Но бабушке и без этого показалось, что Лиза бредит и несёт всякую чепуху: у внучки явно была температура.

— Внученька, ты бы лучше поспала, — бабушка ласково погладила девочку по голове, — а я тебе чаю с малиной заварю.

Хлопнула входная дверь. Послышался голос деда:

— Лиза, ты дома? Там мать Митрия спрашивает. Где Митрий-то?

Лиза глубоко вздохнула:

— Я же говорю: он там остался. Ход закрылся, и он не успел выбраться.

— Где «там»? — вошёл в спальню дед.

— Ну, там, где подземный ход кончается. Он мне помог выбраться в баню, а сам не успел, — у Лизы задрожали губы. — Я копала, копала, а его нет!..

Бабушка вывела деда из спальни, и Лиза услышала, как она тихонько что-то ему рассказывает. Потом она громко сказала:

— Пойди, вещи Митины отнеси, да расскажи, что случилось. Может, вместе сходите, поищите возле старой бани. Вроде, там мальчишка потерялся.

Лиза слышала, как дед с бабушкой вместе вышли во двор, и ей вдруг стало легче и спокойнее на душе. Она верила, что дед должен обязательно что-то придумать, да и отец Митин с ним пойдёт. Они возьмут большие лопаты, откопают ход туда, к белому обрыву и спасут Митю. И Лиза уснула.

Но вечером её ждало разочарование. Бабушка рассказала, как они вчетвером — Митины родители и она с дедом пошли к кузнечихиной бане. Никакого хода не нашли, хотя почти весь пол оторвали и всю землю под ним перерыли.

А ночью вдруг баня загорелась. Её никто не тушил: не жалко было, да и на отшибе она стояла.

Наутро бабушка не отпускала Лизу от себя ни на шаг и разговаривала с ней, как с тяжело больной. Лизе очень хотелось сходить к старой бане и посмотреть на пожарище, можно ли теперь найти то место, где был подземный ход. Но она знала, что бабушка её ни за что не отпустит туда одну. И только после обеда, когда, по обыкновению, бабушка прилегла отдохнуть, наказав девочку строго-настрого со двора не выходить, Лиза решила сбегать туда, где ещё вчера стояла старая баня. Солнце пекло нещадно, и на огородах никого не было. Только чья-то серая кошка сидела в траве возле пожарища и умывалась. «Ну, вот теперь и не найдёшь, где тут ход был», — растерянно подумала Лиза, осторожно ступая по жирно блестящим головешкам. Она стала разгребать ногой угли и вдруг наткнулась на обломок ржавых вил. Лиза так обрадовалась, будто нашла самородок. Если вилы здесь лежат, значит и ход должен быть где-то возле них. Девочка воткнула вилы в землю, чтобы приметить место. Только жаль, что банника на пожарище не было.

«А что если он вместе с баней сгорел?» — испугалась Лиза. Она хотела позвать его, но подумала, что имени не знает. И вообще, есть ли у банников имена? Лиза немного постояла в нерешительности, но потом всё же позвала шёпотом: «Банник, а банник!». И тут же почувствовала, как что-то тёплое и пушистое прислонилось сзади к её ногам. Это была кошка, та самая, которую Лиза только что

видела в траве. Девочка наклонилась и погладила её. Кошка блаженно сощурила глаза и замурлыкала.

— Киса, кисонька, — приговаривала Лиза. — Хорошая, пушистая... Ты чья такая здесь ходишь?

Кошка посмотрела на Лизу прищуренными жёлтыми глазами и вдруг сказала:

— Ничья я. Сама по себе теперича.

От неожиданности Лиза вскрикнула и села прямо в траву. А кошка вдруг покатила вокруг девочки клубком — и вот уже перед ней стоит старый банник.

— Ой, как я испугалась! — проговорила Лиза.

— Ну, это ещё не самое страшное, — ответил старичок. — Да и не к лицу тебе бояться. Сила тебе дадена: ото всего защита есть.

— Какая сила? Не знаю я ничего про силу! Меня никто не спросил, хочу я эту силу или нет! — с обидой возразила Лиза.

Банник вздохнул и присел рядом в траву. Лиза заметила, что рукав его пиджака был прожжён в двух местах, а кальсоны испачканы сажей. Она вспомнила, что хотела узнать, есть ли у него имя, и спросила:

— А как тебя зовут?

— Зовут-то меня Фокой, только давно меня по имени никто не звал. Отвык я, — сказал он тихо и смущённо.

— А хочешь, я буду звать тебя «дед Фока»? — предложила девочка.

Банник молча кивнул головой.

— Где ты сейчас будешь жить?

— Да надо спросовать, есть ли где свободные бани. Может, какой домовой возьмёт меня в свой двор служить.

— Ты узнай, может, наша баня свободна, так переходи да живи.

— Ваша-то свободна, да домовой у вас больно круг. С характером!

— Если хочешь, я его попрошу, и он тебя возьмёт.

— Ну, тебя-то он должен послушать. Да, боюсь, ко мне больно суров будет. Ведь чуть что не по его — берегись! Был же когда-то у него банник, и вот что-то он ему не угодил. Прогнал его ваш не только из банников, но и со двора прогнал. Полевиком теперь служит. А у полевика-то какая жизнь? И мороз, и зной, и ветер донимают — банник сокрушённо махнул рукой.

— Мне идти надо, а то бабушка скоро проснётся, — Лиза поднялась и посмотрела на старичка. — Пошли со мной.

Дед Фока взглянул на пожарище:

— Тяжело с насыщенного места срываться, да куда денешься. Пошли.

И они медленно зашагали по тропинке к Лизиному огороду.

— Дед Фока, а ты не знаешь, почему баня загорелась?

— Подожди — вот и загорелась, — неохотно ответил банник.

— А кто поджёт, знаешь?

— Как не знать: Василий и поджёт. Пьяный пришёл ночью, орал чего-то, ругался, а потом и поджёт.

— Подожди, какой Василий?
 — Да, племянник хозяйкин. Ну, Митькин отец.
 — А я не знала, что Митя Кузнечихин родственник.
 — Внучатый племянник он ей приходится: она была сестрой его бабки.
 — Кажется, я начинаю понимать, — задумчиво сказала Лиза. — Это значит, он не просто так всё подстроил, а чтобы своей родственнице угодить! И рыбалку эту, и про позёмный ход знал с самого начала!
 — Значит так.
 — Тогда знаешь, кто он?
 — Кто?
 — Предатель — вот кто! Я с ним дружить хотела, доверяла ему, а он. — Лиза остановилась, от возмущения у неё даже голос задрожал. — Так ему и надо, что ход закрылся! Пусть там посидит и подумает!
 — Ну-ну, девонька! Ты сгоряча-то не суди. А может, не по своей он воле в это место тебя завлёл, а заставили его так сделать? Она же, Кузнечиха-то, любого могла, чего хочешь, заставить.
 Они не заметили, как дошли до Лизино ограда.
 — Дальше я не пойду, — сказал банник. — Нельзя мне во двор без разрешения. Я тут, в огороде посижу.
 — Как «нельзя»? — спросила Лиза. — Ведь я тебе разрешила. Ну, хочешь, я у дедушки спрошу?
 — Вот только этого не надо! Ещё и деда сюда впутаеть! Ты лучше сегодня, когда стемнеет, у домового спроси.
 — А как его зовут?
 — Тит Евлампич.
 Банник отошёл к забору и сел в траву, обхватив колени руками. Лиза снова увидела дырки на его рукаве.
 — Слушай, дед Фока, давай я тебе дырки зашью. Подожди только, схожу за иголкой, — и, не дожидаясь ответа, она быстро побежала в избу.
 Бабушка ещё спала, и дед дремал на диване. Лиза потихоньку прошла мимо него к комоду, взяла чёрные нитки, иголку, ножницы и, немного порывшись в коробке с лоскутками, нашла кусочек плотной серой материи. Правда, она была в коричневую полоску, но выбирать не приходилось.
 Когда Лиза подошла к забору, банник сидел на том же месте. Она попросила старичка снять пиджак.
 — Да уж и ладно бы, — смущённо пробормотал дед Фока, — уж и так бы походил.
 Но пиджак всё же снял. И Лиза невольно улыбнулась: под пиджаком обнаружилась чёрная футболка с портретом Леонардо ДиКаприо и надписью «Titanic». Девочка села на межу, разложила свои инструменты и тщательно, как когда-то учила её бабушка, стала накладывать заплатку. Банник с интересом следил за Лизиними действиями. Наверное, он никогда не видел, как ставят заплатки.
 — Дед Фока, а где ты одежду берёшь? — поинтересовалась Лиза.

— Да в разных местах, — уклончиво ответил банник.
 — В каких местах?
 — Ну, всё разве упомнишь.
 — А где, например, ты эту футболку взял?
 — Эту-то? — банник посмотрел на свою футболку с таким видом, будто у него их было, по крайней мере, штук пять. — Ах, эту-то?
 Лиза терпеливо кивнула.
 — Эту — на берегу нашёл. Забыл её там кто-то. Дня два валялась. Потом мне Маргарита и говорит: «Возьми, неприлично в пиджаке на голое тело ходить». Ну, я смотрю — ничего себе рубаха, и женщина на ней симпатичная нарисована, и буквы... Ну, и взял, — закончил он.
 — Во-первых, это не женщина, а парень. А во-вторых, какая такая Маргарита тебе сказала?
 — Нет, женщина! Вот, посмотри хорошенько, — банник вскочил и выставил свой живот. — Посмотри!
 — Чего мне смотреть, если я точно знаю, что это парень. Он из Америки и в кино снимался.
 — Правда, парень? — растерянно спросил старичок. — А я думал — женщина, а тут имя написано, буквами-то...
 — Ты что, читать не умеешь? Это же кино такое «Титаник» называется. Там пароход утонул, в кино. А это название его написано: «Ти-та-ник».
 — Это что ж, прямо у нас тут на речке и потонул? А почему я не знаю?
 — Да нет, это далеко, в океане, и очень давно, лет сто назад, в тысяча восемьсот каком-то году... И много людей погибло тогда.
 — Вот страсти-то какие! И ты видала, как он тонул в этом, как его... в кине?
 — Нет. Я такие фильмы не смотрю. Я не люблю, когда страшно, или когда кто-нибудь умирает.
 — Да чего уж тут хорошего, — согласился дед Фока, а потом вдруг обиженно пробурчал, — И читать я не умею, и про пароход не слышал, и кино никогда не смотрел...
 — А почему тебя хозяйка читать не научила?
 — Ни к чему это нам, без надобности.
 — А кто такая Маргарита?
 — Да, русалка тут одна...
 Лиза даже палец уколола от удивления:
 — Что, прямо у нас на речке живёт?
 — Ага.
 — Может, здесь и водяной есть?
 — Есть, как не быть? Без водяного нельзя.
 — А кто ещё тут есть?
 — Всего хватает. Потом сама узнаешь.
 Вдруг Лиза услышала, как хлопнула дверь в избе.
 — Лизавета, ты где? — позвал дед с крыльца.
 — Здесь я! — откликнулась Лиза, лихорадочно работая иголкой. Сделав последний стежок, она оборвала нитку и протянула пиджак баннику:
 — Держи, я пойду.
 — Благодарствуй, хозяйюшка, — дед Фока взял пиджак, осмотрел заплатки, покачал головой и надел его.
 Лиза собрала свои инструменты и пошла к избе. Через несколько шагов она оглянулась: банника у забора не было.

Вечером Лиза решила дожждаться, когда дед с бабушкой уснут, и позвать домового. Она изо всех сил таращила глаза и щипала себя, чтобы не уснуть первой. А бабушка всё вздыхала и ворочалась в постели. Наконец, она притихла. Лиза подождала ещё немного, прислушиваясь: дед тихонько похрапывал, тикали часы на стене, где-то далеко лениво layла собака.

— Тит Евлампич! — позвала Лиза шёпотом.

Ответа не последовало. Тогда девочка позвала громче:

— Тит Евлампич!

— Что, что, Лизонька? — услышала она сонный бабушкин голос. — Лампочку тебе включить? Боишься, что ли?

— Нет-нет, — поспешно ответила Лиза. — Спи. Это я так...

Лиза обвела взглядом полутёмную комнату, но ничего необычного не заметила. Домовой не появился. Она подождала ещё немного и незаметно уснула.

Утро наступило яркое, солнечное. Но оно не радовало Лизу: ей нужен был дождь. Ведь дед Фока сказал, что ход откроется только в ненастную погоду. Да и самого банника Лиза подвела: не сумела поговорить с домовым, или домовый почему-то не захотел показаться Лизе. Ох, мамочка, мамочка! Если б Лиза знала, что ждёт её в деревне, она бы лучше в лагерь поехала.

Когда девочка умывалась, она услышала во дворе лай собаки, потом бабушкин голос, потом слышались шаги в сенях, дверь отворилась, и в избу вошла женщина. Лиза сразу поняла, что это Митина мама: глаза на её худом лице были точно такие же, как у Мити. Следом за женщиной вошла бабушка. Женщина увидела Лизу и заговорила слабым, больным голосом:

— Лиза, деточка! Скажи, где мой Митя? Где мой сынок? Где искать мне его?

Бабушка шагнула вперёд, заслоняя Лизу:

— Не терзай ребёнка, Елена. Бог даст, найдётся твой сын. Я же тебе всё рассказала. Думаешь, ей легко? Да она сама не своя ходит. Уже по ночам разговаривать начала...

Женщина бессильно опустила на стул, и слёзы потекли из её «мохнатых» глаз. Лиза не знала, как помочь этой женщине, но чувствовала, что помочь может только она, Лиза.

— Я помогу вам, я обязательно помогу... — растерянно шептала она.

Бабушка погладила Лизу по голове:

— Хорошо, хорошо, внученька.

Потом она обняла Митину мать, и они вместе вышли из избы.

Завтракали молча. Бабушка то и дело вскакивала, уходила за перегородку к печке и там шумно сморкалась в платок. Наконец Лиза не выдержала:

— Бабуля! Ну, хватит плакать. Я постараюсь помочь Мите. Не знаю, как, но помогу.

— Ну, что ты говоришь? — плаксивым голосом ответила бабушка. — Молчи уж, помощница! Скорей бы мать приехала да забрала тебя отсюда.

— Ну-ну, — прервал её дед. — Хватит. Поживём — увидим. Может, и образуется ещё всё.

После завтрака Лизу ждали привычные дела: она налила курицам воды и пошла за травой на край огорода.

Серая кошка лежала у забора. Лиза подошла ближе и поздоровалась с ней.

— Ну, как дела? — спросила кошка (или кот), поднимаясь ей навстречу и потягиваясь.

— Ничего хорошего, — грустно ответила Лиза.

Она рассказала, как приходила Митина мать, как бабушка расстроилась. Кот щурил глаза и молчал. Потом потёрся о лизины ноги и спросил:

— А с домовым поговорила?

— Знаешь, я его звала, звала, а он не появился.

— Может, ты ошибся, что у нас домовый есть?

У кота от возмущения даже задёргался хвост:

— Ещё чего! «Ошибся!»! Лучше расскажи, как ты звала его.

— Ну, по имени — Тит Евлампич.

— Что, так прямо и кричала? — в голосе банника слышалась насмешка.

— Да. Только я не кричала, а шёпотом звала, — растерянно проговорила Лиза.

Кот нервно забил хвостом:

— Кто же так домовых вызывает? Это какой домовый так к тебе выйдет? Вот темнота!

— Я же не знаю, как...

— «Не знаю», — передразнил кот противным голосом. — Чему вас там в городах учат-то? Читать да кинь глядеть? А самого простого не знаете!

— Вот взял бы — и научил! — обиженно буркнула Лиза.

— А куда ж деваться? Надо учить! Ну, это после, — кот снова потёрся о лизины ноги, — Скажи лучше, когда из дому отлучиться сможешь?

— После обеда, наверное, — нерешительно предположила Лиза. — А что?

— Да вспомнил, попросить. Только меня он не послушает, а вот тебя — должен.

— Хорошо, я приду, как только бабушка ляжет отдохнуть.

После обеда Лиза взяла книжку и сказала бабушке, что пойдёт читать на сеновал. Посидев немного на сеновале, Лиза спустилась вниз и вышла в огород, к меже. Банник сидел в траве и плёл венки из одуванчиков. Они лежали тут же целым ворохом.

— Зачем тебе венки? — полюбопытствовала Лиза, присаживаясь рядом.

— Это я в подарок. Без подарка к ней не подойдёшь.

— К кому это?

— Да к Маргарите.

— Мы что же, сейчас к русалке пойдём?

— Мы к водяному пойдём. Будем просить, чтобы дождь хоть на полчаса сделал.

— А он может дождь сделать?

— Сможет, если хорошо попросить. Только больно ленив он стал. Раньше, когда на речке запруда была, и мельница работала, шустрый был, проворный. А теперь от работы отвык, спит целыми днями или в карты с лешим дуется. Вот Маргарита, может, разбудит, — банник покачал головой и усмехнулся в бороду. — Весёлая она, озорная...

Он закончил плести венок и закрепил его концы травой.

— На, ты понесёшь, — он протянул венок Лизе. — А я котом перекинусь, а то мало ли что...

Банник сел на корточки и вдруг покотился клубком — и вот уже серый кот стоит на тропинке, распушив хвост. Подойдя к баннику, Лиза спросила:

— А я могу в кого-нибудь перекинуться?

— Нет, здесь не можешь.

— А где могу?

— Там, у них, ну... когда через ход пройдёшь. Там ты всё сможешь.

Через несколько шагов банник добавил:

— Думаю, прежняя хозяйка потому и ушла туда.

Подойдя к прибрежным зарослям, Лиза спросила:

— Дед Фока, а как мы Маргариту найдём? Река-то длинная.

— Длинная, конечно, да есть у ней, у Маргариты, любимые места. Вот там и посмотрим

Банник свернул на еле приметную тропинку, спускающуюся прямо к воде. Справа у тропинки росла старая черёмуха. Ствол её наклонился над рекой, а макушка доставала до другого берега. На стволе расположились с удочками двое мальчишек лет по 6–7. Они насторожённо взглянули на Лизу, но даже не пошевелились. Кот потёрся о лизины ноги и пошёл вдоль реки, обходя кусты и лужицы неспросыхающей грязи. Лиза двинулась за ним.

Дальше река поворачивала налево. У поворота она густо заросла тальником, среди которого доцветала душистая таволга. Аромат её растекался по реке и дурманил голову. Кот вспрыгнул на изогнутый ствол ивы и тихо сказал Лизе: «Иди ближе, здесь она». Лиза подошла и оглянулась по сторонам: справа — заросли тальника, впереди — гладкая чёрная поверхность воды, кое-где уже поросшая ряской, слева цвела таволга, рос молодой куст смородины, а дальше — крапива, и снова тальник. Девочка посмотрела на противоположный берег: молодой черёмушник, несколько кустов смородины, а дальше — старые черёмухи. Никакой русалки Лиза не увидела.

— Я не вижу никого, — вполголоса сказала она баннику.

— Да, спряталась. Это она умеет, — одобрительно ответил банник, а потом сказал погромче:

— Маргарита, хватит баловать! Не видишь разве, кто к тебе пришёл?

— Пришёл, пришёл — ушёл, ушёл, — пронеслось над рекой.

Кот фыркнул, взъерошился, выгнув спину и покотился по стволу вниз. Банник в своём прежнем облики уже стоял рядом с Лизой.

— Вот она всегда так: сначала ей подразнить надо, понасмешничать... — пробормотал он, а потом снова обратился к невидимой русалке: — Маргарита, а глянь-ка, чего тебе хозяйка принесла!

«Покажи ей венок-то, покажи», — зашептал он Лизе. Лиза подняла венок над головой. Послышался тихий мелодичный смех. Девочка оглянулась и увидела справа в тальнике среди ветвей

бледное личико, обрамлённое светлыми волнистыми волосами.

— Венок пока не давай, — тихо сказал дед Фока, видимо, наученный прежним опытом.

Из-за густого сплетения веток Лиза никак не могла разглядеть, есть ли у Маргариты хвост. Она увидела лишь, что одежда русалки напоминает майку, сплетённую из травы.

— Маргарита, — строго сказал банник, — нам водяной надобен. Поди, разбуди его. У хозяйки дело к нему неотложное есть.

Русалка склонила голову набок и стала раскачиваться на ветке тальника. Она раскачивалась и молчала, а Лиза чувствовала, что Маргарита пристально разглядывает её. И от этого взгляда девочке стало как-то не по себе.

— Ну, хватит в гляделки-то играть, — грубовато сказал дед Фока. — Разбуди водяного, а мы тебе за это венок подарим.

— Ой, не могу! Командир какой нашёлся! — вдруг звонко рассмеялась Маргарита. — Лучше расскажи, как ты баньку разогрел, что она у тебя сгорела? Значит, ты теперь банник без бани? Или тебя уже за хорошую службу в домовые берут?

— Не твоего ума дело, — буркнул банник.

А русалка снова засмеялась и вдруг легко перескочила на другую ветку, оказавшись так близко, что Лиза без труда могла теперь разглядеть её: глаза — грустные, бирюзовые, а волосы длинные-длинные и зеленью отливают. Но ни ног, ни хвоста видно не было — всё скрывала травяная майка.

— Маргарита, — построжил банник, оглянувшись на Лизу, — ты почто хозяйку не слушаешь?

Русалка снова весело рассмеялась, хотя глаза её оставались по-прежнему грустными:

— Я слушаю, слушаю, а она молчит. Может немая? Ха-ха-ха!

Лиза снова переглянула с банником. Она опасалась, что если заговорит с Маргаритой, та её тут же засмеёт.

— Скажи ей, — тихонько попросил дед Фока, — только голос хозяйский сделай, посолидней. Она тебя послушает.

Лиза решила. Она шагнула ближе к русалке и сказала как можно твёрже:

— Маргарита, мы принесли тебе венок. Возьми — он твой. Дед Фока сам сплёл его для тебя. И я очень прошу, не смейся над банником: он хороший, он мне помогает. Помоги и ты мне, пожалуйста: разбуди водяного. Нужно, чтобы пошёл дождь, а водяной сможет его сделать.

Русалка не засмеялась. Она перепрыгнула на ветку, которая была рядом с Лизой и, протянув руку, сказала:

— Ну, давай венок.

Лиза подала и нечаянно коснулась её бледной руки. Рука была холодная и влажная. Маргарита некоторое время разглядывала венок, гладила пушистые цветы пальцами, а потом спросила:

— Банник, ты, правда, для меня сплёл?

Тот кивнул и смущённо опустил голову.

— Красивые цветы, — задумчиво сказала Маргарита и, надев венок на голову, прыгнула в воду у берега. Когда вода успокоилась, русалка стала смотреться в неё, как в зеркало.

— Говорил тебе, не давай ей венки, — проворчал дед Фока. — Сейчас до ночи любоваться на себя будет.

Лиза ничего не успела ответить, потому что на реке что-то плеснуло, и она увидела, что там, где только что стояла русалка, одиноко плавают жёлтый венки.

Ждать пришлось довольно долго. Лиза боялась, что бабушка и дед уже хватились её.

— Дед Фока, может, ты сам с водяным поговоришь, а потом мне расскажешь?

— Ну, уж нет, девонька. Он меня и слушать не станет, — возразил банник, — Видала, как Маргарита меня срамила? А он — и того хуже...

Лиза огорчённо вздохнула. Она заметила, что венки отплыли на приличное расстояние, а на воде появилась небольшая рябь. Река уже не была похожа на чёрное зеркало.

— Кажись, проснулся, — подтвердил лизину догадку дед Фока.

Наконец, возле венка появилась из воды светлая голова Маргариты. Русалка миглом нахлобучила на голову венки и подплыла к Лизе.

— Хозяйка, говори всё про дождь: когда нужен, где, большой или маленький... Давай быстрее, пока он снова не уснул.

Лиза от неожиданности не знала, что сказать. Она беспомощно оглянулась на банника:

— Может, сегодня вечером?

— Ну, если ты с домовым не собираешься говорить... — пожал плечами дед Фока.

— Ах, да! — вспомнила Лиза. — Тогда завтра утром, короткий, на полчаса, примерно, но сильный, чтобы ход точно открылся. Я успею. Только, Маргарита, не забудь разбудить его завтра, а то он проспит.

— Да он сейчас всё сделает. Он умеет, я знаю, — заверила русалка.

— Спасибо тебе, Маргариточка! Ты самая лучшая русалка из всех русалок, — сказала довольная Лиза и, помахав Маргарите рукой, побежала по тропинке к огородам.

Вскоре её догнал серый кот.

— Ну, вот. А про меня совсем забыла, — обиженно сказал он.

— Я не забыла, — ответила Лиза, — просто я очень тороплюсь. Ну, говори, как домового вызвать.

— А ты запомнишь?

— Да!

Около огородов они перешли на шаг.

— Ну, слушай, — таинственно начал банник. — Когда наступит полночь, и все уснут, надо поставить на стол посудину с молоком или краюху хлеба с мёдом положить и тихо сказать: «Дедушка домовый, встань передо мной, как лист перед травой: ни чёрен, ни зелен, а таким, какова я, принесла я тебе молочка». Тут он тебе и явится.

Лиза сейчас же начала повторять заветные слова, пока не затвердила их наизусть. Так они дошли до своего огорода. Дед с бабушкой уже проснулись и чем-то занимались во дворе. Банник опять остался у забора, а Лиза незаметно подошла к задней стене сеновала и по лестнице забралась наверх. Захватив оставленную на сене книгу, она спустилась во двор и направилась в избу. Увидав

её, бабушка спросила: «Поспала немножко?» Лиза быстро кивнула и вошла в дом. Нужно было подготовиться к завтрашнему путешествию.

Она решила надеть джинсы, футболку и кроссовки. Вспомнив о заказанном на утро дожде, Лиза нашла в шкафу свою ветровку. Всю приготовленную одежду она повесила у входной двери под старый дедушкин дождевик. Хотела взять с собой какой-нибудь еды на всякий случай, но потом вспомнила слова банника, что ей там можно будет сделать всё, потому что «сила есть». Открыв холодильник, девочка проверила, есть ли там молоко для домашнего. Молока было много — почти полная трёхлитровая банка. И со спокойным сердцем Лиза пошла помогать деду поливать огород.

Вечером все мылись в бане. Потом дедушка с бабушкой быстро заснули, а Лизе спать не хотелось, потому что она беспокоилась о завтрашнем путешествии и боялась забыть слова, которыми нужно вызывать домового. Она лежала, посматривая на часы, и твердила про себя: «Дедушка домовый»... Без четверти двенадцать девочка встала и в одной рубашке проскользнула на кухню, включила свет за перегородкой, в закуске, налила на блюдце молока, поставила на стол, хотела намазать кусочек хлеба мёдом, но крышка на банке была тугая, и Лиза не смогла её открыть. Потом она принесла из спальни будильник и поставила его на стол, села в старое дедово кресло, стоявшее в углу кухни, так, чтобы видеть циферблат часов. Было тихо и чуть-чуть страшновато. Ровно в двенадцать Лиза произнесла шёпотом заветные слова и... ничего не произошло. Часы громко тикали, из комнаты доносилось похрапывание дедушки. В полумраке кухни очертания предметов были нечёткими, но Лиза их хорошо различала: вот стол с часами и блюдцем, вот холодильник, табуретки, старое зеркало на стене, бабушкин халат у двери на гвоздике — и никого. Лиза поджала под себя ноги и удобнее устроилась в кресле. Она решила ещё немного подождать. Из-за перегородки пробивался лучик света и слабо освещал халат. Вдруг этот халат слетел с гвоздя, на мгновение повис в воздухе, а потом наделся на кого-то невидимого, запахнулся и повернулся к Лизе передом.

— Ну, здравствуй, хозяйшечка, — сказал халат негромко дедушкиным голосом.

Лиза спустила ноги с кресла и нерешительно ответила:

— Зд-здравствуй.

Халат поклонился ей в пояс:

— Спасибо за угощение.

Лиза взглянула на блюдце с молоком и спросила, вставая:

— Это ты, Тит Евлампич?

— Сиди, сиди, голубка, — сказал халат. — Я это, я... Испугал тебя? А не хотел, даже обличье никакое не принял, чтобы тебя не напугать.

— Я не испугалась, — заверила его Лиза. — Просто необычно как-то... Никогда не видела, чтобы халат сам по себе двигался.

Домовой хмыкнул и спросил:

— Молочка-то можно попробовать? Или так, для приманки поставила?

— Пей, пей, Тит Евлампич, угощайся. Я тебе ещё налью, если хочешь, — и Лиза снова села в кресло.

Халат бесшумно приблизился к столу, и молоко из блюда вдруг пропало.

— Славное угощение, — похвалил Тит Евлампич. — Давно я так не едал.

— Там ещё мёд есть. Только я банку не могу открыть...

— Благодарствуй, хозяйюшка, сыт я, — ответил домовый, и халат сел на табуретку рядом с Лизой. — Ну, рассказывай. Всё по порядку рассказывай: как силу добыла, в чём нужду имеешь?

— А откуда ты про мою силу знаешь? — удивилась Лиза.

— А мы, нежити, её видим. Вот все люди в доме у меня обычные, а от тебя вдруг стал свет идти. Значит, сила в тебе появилась.

— Какой свет?

— Ну, вот радугу видала?

Лиза кивнула.

— Вот такое же разноцветное облачко вокруг тебя сияет. Любая нежить тебя приметит.

Лиза вытянула вперёд руку и посмотрела на неё. Домовой хмыкнул:

— Не смотри, ничего не увидишь. Ты же человек, а у вас, у людей, глаза по-другому устроены. Вы многое не видите... Лучше расскажи, где силу взяла.

Лиза вкратце рассказала про встречу с Митей, про баню, про Кузнечиху, про то, как ход закрылся, как банник ей помог водяного попросить о дожде. Домовой слушал молча, не перебивая. Может потому, что он так внимательно её слушал, или бабушкин халат был тому причиной, Лиза чувствовала такое тёплое участие к своему рассказу, какое бы нашла, наверно, только у мамы. Когда она закончила рассказывать, Тит Евлампич ещё немного помолчал и спросил:

— Этого погорельца-то Фокой зовут?

— Фокой, — вздохнула Лиза. — Теперь ему жить негде.

— К нам, небось, просится?

— Да. Может,пустишь его, Тит Евлампич?

— Я подумаю. Ты мне лучше вот что скажи, как утром из дому уйдёшь? Ведь старики твои хватятся, всю деревню с ног на голову поставят.

— Не знаю, — пожалла плечами Лиза. — Но ведь Мите, кроме меня, некому помочь.

— Ладно. Вставай, пойдём на крыльцо. Луна сегодня яркая, можно хорошего двойника сделать. Он вместо тебя здесь побудет, а твои ни о чём не догадаются.

Лиза почти ничего не поняла, но послушно встала и на цыпочках пошла к входной двери.

— Не бойся, не разбудишь, — сказал домовый. — Я на них крепкий сон наслал, до утра не проснутся. Ты лучше двери мне открой: зеркало надо вынести во двор.

Лиза раскрыла дверь. Сначала в неё выплыло зеркало, а потом бабушкин халат.

— Ну вот, хорошо, что луна растущая — крепче двойник будет, — отметил Тит Евлампич, когда Лиза вслед за ним вышла на крыльцо.

Прохладный ночной ветерок насквозь продувал лизину ночную рубаху, лохматил распущен-

ные волосы. Зеркало было поставлено так, что в нём отразились Лиза и луна одновременно.

— Посмотри на своё отражение, — попросил домовый, — и повторяй за мной: «Лунная сестрица, помоги раздвоиться: волос в волос, голос в голос, рост в рост, глаз в глаз — не различить нас ни днём, ни ночью, ни по утренней заре, ни по вечерней, ни в обыден».

Лиза послушно повторила и, хотя не поняла последнее слово, но переспрашивать не стала.

— А теперь повернись и посмотри на луну. Видишь девочку?

И Лиза увидела на луне изображение девочки с распущенными волосами и в ночной рубашке.

— Вижу! — сказала Лиза.

— Ну, значит, можно спокойно спать ложиться, — и зеркало вместе с халатом поплыло обратно в избу.

Повесив зеркало на место, домовый потушил свет и проводил Лизу в спальню. Глаза её слипались, последнее, что она видела перед сном, был бабушкин халат, сидящий в ногах её постели.

— Хозяйюшка, просыпайся! — Лиза открыла глаза. За окном хмурился серенький рассвет. На стёклах блестели капли. Дождь! Лиза вскочила с постели и стала лихорадочно одеваться.

— Волосы не заплетай, — вдруг услышала она и оглянулась на голос: в дверях стоял бабушкин халат.

«Это домовый», — вспомнила девочка и спросила:

— Почему?

— Там так принято. Это поможет тебе с тамошней нежитью общаться. И ещё. Когда придёшь туда, непременно умойся той водой, которая тебе дала силу: будешь их язык понимать.

— Ладно, — кивнула Лиза.

Косу она заплетать не стала, но волосы всё же прихватила резинкой, чтобы не мешали.

— А который час? — спросила девочка, застёгивая ветровку.

— Половина пятого.

Домовой проводил её до крыльца.

— Ну, удачи тебе! Дальше банник проводит.

— А как же мой двойник? — вспомнила Лиза, — Где он?

— Не беспокойся. Уже в постели твоей лежит. Иди быстрее, пока дождь не кончился.

И Лиза пошла к огороду. Дождь часто забарабанил по её капюшону. Возле огорода ждал банник. Он выглядел более чистым и свежим, чем всегда.

— Здравствуй, дед Фока, — приветствовала его Лиза. — Пойдём, проводишь меня... — и она быстро пошла через огород. Банник поспешил за ней следом.

— Ну, спасибо тебе, девонька! — заговорил он. — Пустил ведь меня Евлампич в баньку-то. А там теплота, вода горячая, веником берёзовым пахнет — благодать!

— Ну, вот и хорошо, — рассеянно ответила Лиза.

Тело её била мелкая дрожь, и зубы стучали то ли от утреннего холодного дождя, то ли от волнения.

— Я и помылся, и постирался... — продолжал довольный банник.

— Я вижу. Начищенный весь, аж сияешь, — хмуро отозвалась девочка. — Ты мне лучше скажи, сколько времени двойник живёт?

— Может, сутки, а может и боле... А что?

— А «боле» — это сколько?

— Ну, двое может, а потом он тончает и пропадает.

— Ой, дед Фока, боюсь, не управлюсь я вовремя.

— Ты уж постарайся, девонька. Главное, посох найди. Без него вам не вернуться.

Они подошли к пожарищу, легко разыскали воткнутые в землю вилы. Земля уже намочка, стала вязкой и тяжёлой. Дед Фока взял обгорелую доску и стал ею разгребать мокрую землю. Лиза помогала ему руками. Вскоре показался плоский камень. Они приподняли его и сдвинули с места. Ход был на месте, но свет, как в прошлый раз, из него не шёл. Что ожидало Лизу там, в том непонятном мире? Девочка взглянула на банника: его пиджак и кальсоны были в грязи, даже в смешной клочковатой бородёнке запутались комочки грязи.

— Дед Фока, а тебе со мной нельзя? — спросила она. Ей вдруг стало очень страшно идти туда одной.

— Нет, девонька, — вздохнул банник и добавил — ты, главное, не робей, верь в свою силу. Ведь там ты можешь сделать всё по своему желанию... И возвращайся побыстрее. Я тебя ждать буду... и Евлампич тоже... Привыкли мы к тебе...

Лиза кивнула головой, потом зачем-то набрала в лёгкие побольше воздуха и нырнула в отверстие в земле, как в ледяную прорубь.

Она забыла, что придётся прыгать, что некому её будет подхватить с той стороны, и, падая с метровой высоты, довольно чувствительно ушиблась. Здесь тоже недавно был дождь. Глина под ногами намочка и липла к кроссовкам. Дул ветер. Небо закрывали серые тучи. Непонятно было, утро сейчас или вечер. Лиза спустилась вниз и пошла к озеру, очищая на ходу кроссовки о валуны. Заодно оглядела себя: руки грязные, джинсы вымазаны землёй. У озера девочка почистила джинсы травой, вымыла руки и ополоснула лицо, как советовал ей домовой.

Ветер волновал густую траву над озером, морщил поверхность воды. Водомерки и стрекозы куда-то исчезли. Лиза вспомнила, что Кузнечиха оставила тогда посох где-то здесь, на берегу, но куда она его положила, девочка не заметила. Она пошла вокруг озера, раздвигая траву, заглядывая за валуны, даже попыталась рассмотреть что-нибудь на дне, но из-за ряби ничего не было видно.

Дойдя до противоположной стороны озера, Лиза заметила в траве что-то розовое, чуть серебристое, похожее на большой цветочный бутон. Девочка подошла поближе, раздвинула траву и даже ойкнула от удивления: среди травы, на большом и пушистом листке подорожника спало маленькое существо, размером с лизину ладонь, в прозрачной нежно-розовой юбочке и

серебристо-розовых штанишках. Существо напоминало Дюймовочку из сказки: у него, скорее, у неё, были золотистые волосы, а на маленьких ножках — серебряные туфельки. Она была такая хорошенькая — лучше самой дорогой куклы Барби. Лиза не удержалась и осторожно провела пальцем по золотистым локонам. Дюймовочка тут же вспорхнула из-под руки и повисла на трепещущих за спиной прозрачных крыльях прямо перед Лизиним лицом. Лиза почувствовала прохладный запах мяты.

— О, простите, сударыня, — сказала Дюймовочка тоненьким голоском, — я осмелилась уснуть, ожидая Вас.

Лиза увидела её синие глазки с длинными ресницами, и с открытыми глазами малышка казалась ещё красивее.

— Кто ты? — спросила Лиза.

Но порывом ветра Дюймовочку отнесло в сторону, и она не успела ничего ответить. Лиза кинулась вслед за ней. Ветер отбросил малышку к белой стене обрыва, и если бы она не успела ухватиться руками за куст донника, то непременно ударилась бы о большой валун. Лиза бережно взяла девочку в руки и закрыла её от ветра.

— Ах, сударыня, я Вам так благодарна! — проговорила малышка. — А теперь позвольте представиться: моё имя Мелодия Летнего Утра. Но Вы можете называть меня просто Мелодия. Я из великого рода эльфов. Моим долгом было встретить Вас здесь. Но, спрятавшись от ветра в траве, я нечаянно задремала. Ещё раз прошу прощения. Мы, эльфы, уже давно поджидаем Вас.

— А зачем я вам нужна? — удивилась Лиза.

— Дело в том, что наш народ предпочитает тихую солнечную погоду. Старая госпожа хорошо относилась к нам и всегда делала её для нас. Теперь же вся надежда только на Вас, сударыня. Вы видите: небо затянуто тучами, дует сильный ветер, но самое ужасное для нас — это дождь, а он идёт каждый день. Помогите нам, пожалуйста! — взмолилась Мелодия Летнего Утра.

— Как же я вам помогу? Я ничего не умею... У меня даже посоха нет, — грустно сказала Лиза.

— Ну, конечно! Я совсем забыла, — вдруг обрадовалась девочка-эльф. — Ведь я специально прилетела сюда, чтобы показать Вам, где находится посох. Мы случайно нашли его здесь, на берегу озера, и спрятали у себя в укромном месте.

— Правда? Ну, тогда показывай, куда идти.

— Нет, идти — это долго. Давайте лучше полетим. Ветер как раз попутный.

— Да, тебе легко сказать «полетим» — у тебя крылья есть, а мне как быть? Я летать не умею.

— Умеете, просто не знаете об этом, — успокоила её Мелодия. — Я буду Вам говорить, что делать, только Вы меня из рук не выпускайте, а то снова ветром унесёт. Ну, вот. Встаньте ровно, руки поднимите вверх, перекачиваясь с пятки на носок, наберите в грудь побольше воздуха, почувствуйте лёгкость во всём теле и взлетайте. Да, ещё надо уверенно сказать про себя: «Я лечу!». Направление регулируется руками в процессе полёта.

— Сейчас, сейчас... — Лиза осторожно опустила девочку в карман ветровки, подняла руки вверх так, что тело натянулось струной, и, набрав воз-

духу в грудь, стала перекатываться с пятки на носок, повторяя про себя: «Я лечу, лечу!». И вдруг взлетела вверх. У неё даже захватило дух от неожиданности. Тут Лиза услышала тоненький голосок: «Поворот налево!». Лиза протянула обе руки влево — и ветер, подхватив её как пушинку, понёс вдоль белой стороны обрыва всё дальше и дальше от озера. Вскоре обе стороны обрыва соединились. «Теперь вверх и вперёд!» — крикнула её спутница.

Лиза подняла руки кверху, и обрыв с озером оказался далеко внизу. Девочка увидела за обрывом пустынное место, покрытое валунами, ямами, поросшее кустиками травы. Потом они пролетели над глубоким рвом, похожим сверху на гигантскую запятую. За этим рвом была пустошь, заросшая полынью, за пустошью — дорога, за дорогой — поля. В полях кучерявились зелёные островки леса. А дальше, у горизонта, синел настоящий треугольником поднималась вершина горы, напоминающая египетскую пирамиду.

Мелодия указала Лизе на один из лесных островков среди поля:

— Сударыня, мы прилетели. Опустите, пожалуйста, руки вниз, только медленно, чтобы не ушибиться при приземлении.

Они плавно опустились возле леса, но в последний момент порывом ветра их чуть не удрало о дерево.

— Пяткой о пятку! — скомандовала девочка-эльф.

Лиза повиновалась и, став вдруг неожиданно тяжёлой, плюхнулась на траву.

— Ой! — пискнуло в кармане.

Лиза вскочила и высвободила Мелодию. Она имела несколько помятый вид, но, в общем, всё было цело.

— Извини, пожалуйста, я ещё не научилась... — пробормотала Лиза растерянно.

— Ну что Вы, — ответила девочка, — какие пустяки...

Она вспорхнула из Лизиных рук, поправила юбочку и волосы и торжественно сказала:

— Будьте так любезны, следуйте за мной, сударыня.

И Мелодия полетела между деревьев к центру рощицы, Лиза пошла следом. Вскоре показалась большая поляна, похожая на клумбу из-за множества цветов. Ветер шелестел верхушками деревьев, но здесь, на поляне, его не было. Мелодия замерла в воздухе, тихонько стрекоча крыльями.

— О, великие эльфы! — крикнула она звонко. — Радуйтесь! Сама Госпожа изволила посетить нас!

И воздух вдруг наполнился стрекотанием множества маленьких крыльев. Один приятный аромат сменялся другим. Ото всюду слетались на поляну эльфы. Их было так много, что поляна начала переливаться всеми цветами радуги. Все эльфы были в юбочках, штанишках и со светлыми длинными волосами. Приглядевшись, Лиза заметила, что и лица у них были одинаковыми, и, если бы вдруг Мелодия поменяла свою одежду на одежду другого цвета, то её нельзя было бы отличить от других эльфов.

Все эльфы повернулись к Лизе лицом, замерли в воздухе и молитвенно сложили руки на груди.

«Надо поздороваться», — дошло до Лизы. И она сказала громко и неожиданно для самой себя:

— Приветствую вас, великие эльфы!

— Радуйся вовеки, Госпожа! — хором пропищали тоненькие голоса.

Навстречу Лизе подлетел эльф в золотой юбочке и жёлтых штанишках:

— Мы очень рады видеть Вас, сударыня!

Глядя на красивое личико и золотистые локоны, точно такие же, как и у других эльфов, Лиза подумала, что эльфами бывают только девочки.

— Я повелитель эльфов. Моё имя Солнечная Капля Мёда. Мой народ готов служить Вам, сударыня, — продолжал эльф, и Лиза почувствовала сладкий медовый аромат, идущий от повелителя.

Тогда она решилась спросить:

— Простите за любопытство, но я не могу понять, как вы различаете друг друга? Вы так похожи... И вообще, как ваши девочки отличаются от мальчиков?

Раздался общий приглушённый смех. Но повелитель поднял руку, и смех утих.

— Сударыня, простите наш смех, как и мы прощаем вашу неосведомлённость. У эльфов нет различия полов: мы ни мальчики, ни девочки — мы просто эльфы. А различаем мы друг друга по запаху и цвету одежды.

— Значит, вы всегда носите одну и ту же одежду?

— Нет, сударыня, одежду мы меняем по мере надобности, только цвет её остаётся для каждого своей.

— А запах тоже, у каждого постоянный?

— Да, свой, неповторимый.

— Понятно. Ну, а теперь мне бы хотелось поговорить о посохе.

— Тогда разрешите народу удалиться?

— Конечно.

Повелитель повернулся лицом к эльфам:

— Великие эльфы! Госпожа изволила познакомиться с вами. А теперь все свободны!

— Разрешите мне остаться? — услышала Лиза тоненький голосок. Это была Мелодия.

— Ты заслужила это, — милостиво кивнула Солнечная Капля Мёда.

Над поляной снова затрещали крылья, и эльфы разлетелись кто куда.

— Сударыня, — чинно обратился повелитель к Лизе, — прошу Вас следовать за мной.

Он полетел по кромке леса, огибая пёструю поляну, а Лиза, сопровождаемая Мелодией, пошла за ним. В зарослях ольхи они остановились. Повелитель указал Лизе на широкий, почерневший от времени, пень:

— Прошу Вас присесть, сударыня.

Лиза села.

— Прежде чем мы с вами поговорим о делах, — начал эльф, — я хотел бы обратить внимание на ваш внешний вид. Конечно, это можно понять... ведь Вы с дороги... Но впредь, я умоляю, пожалуйста, не появляйтесь в обществе без юбки и с подвязанными волосами. Это не достойно Вашего положения.

«Волосы! Я совсем забыла распустить волосы!» — Лиза судорожно стянула с волос резинку и засунула её в карман ветровки.

— Где же я возьму юбку? — растерянно спросила она.

— О, не беспокойтесь, сударыня! Сейчас всё будет в порядке, — заверила её Солнечная Капля Мёда.

А Мелодия подлетела к Лизе и спросила:

— Вы позволите причесать Вас, сударыня?

— Да, пожалуйста.

Мелодия хлопнула в ладоши, и к ней подлетели ещё два эльфа. Они втроём стали причёсывать лизины волосы маленькими гребешками. А Лизу сразу окружил приятный аромат, исходящий от них.

Подлетели ещё два эльфа. В руках у них был сосуд, напоминающий по форме цветок тюльпана.

— Позвольте предложить Вам угощение, — обратилась к Лизе Солнечная Капля Мёда. — Это блюдо старинное. Только мы, эльфы, сохранили секрет его приготовления.

И эльфы подали Лизе сосуд с густой золотистой-оранжевой жидкостью. От неё шёл приятный запах.

— Что это? — спросила Лиза.

— Попробуйте, сударыня, — попросила Солнечная Капля Мёда.

Лиза сделала глоток, потом ещё и незаметно выпила всё до дна.

— Как вкусно!

— Вам понравилось?

— Да. Что это было?

— Амброзия. Слыхали про такое блюдо?

— Кажется, что-то слышала.

— Это пища волшебников и фей. Она хорошо утоляет голод, снимает усталость и возвращает здоровье.

— Спасибо за угощение. Ну, а теперь давайте поговорим о посохе.

— Его уже несут сюда.

И точно: вскоре раздалось стрекотание крыльев, затем из-за кустов показался посох, который несли несколько эльфов. Они бережно опустили его на траву рядом с Лизой. Это была обыкновенная немного суковатая палка, на которой пестрели разноцветные знаки или символы, нанесённые на поверхность в каком-то неизвестном Лизе порядке.

— Этот посох поможет Вам, сударыня, исполнить любое желание, — сказал повелитель эльфов.

— Моё самое большое желание — найти Митю.

— А! Это тот мальчик, который посмел пробраться сюда без разрешения? — неодобрительно произнёс эльф.

— Вот я и хочу увести его отсюда...

— Такое желание посох не исполнит.

— Почему?

— Потому что мальчик — человек из другого мира.

— Ну, ладно. А вы знаете, где он сейчас?

— Знаем, но не хотим ему помогать. Он нарушил закон и должен быть наказан.

— А мне вы будете помогать?

— Это наш долг, сударыня.

— Тогда скажите, где он, я сама ему помогу.

— Мы не можем это сказать: его наказание ещё не закончилось.

— А как его наказывают и кто?

— Это секрет.

— Ну, вот! Опять двадцать пять! — рассердилась Лиза, — Думаете, что если ничего мне не расскажите, я брошу Митю здесь и даже не попытаюсь его искать?! Вы ошибаетесь! — Лизе стало так обидно, что слёзы брызнули из глаз. — Я его найду и без вашей помощи. Хватит меня расчёсывать! — вскочила она с места и уже хотела было взять посох, но Солнечная Капля Мёда остановила её:

— Одну минуточку, сударыня! Мы отдадим Вам посох при условии, что Вы измените погоду в благоприятную сторону. Сделайте это для нас, пожалуйста. Ведь мы могли отдать посох гномам: они сулили нам за него хороший выкуп...

— Так что же вы его не отдали?

— Мы ждали Вас, сударыня. Ведь Вам этот посох очень нужен, а мы нуждаемся в тёплой, солнечной погоде. Гномы редко выходят на поверхность, поэтому их погода не интересует. Они бы вряд ли вернули Вам этот посох... Ну, как, договорились? По-моему, это честная сделка.

— Сделка? Ну, что ж... Я попробую переменить погоду. Но больше ни о чём меня не просите — не помогу!

— Вы к нам не справедливы, сударыня...

Лиза молча наклонилась и взяла посох. Ей очень хотелось плакать: она совершенно не знала, что будет делать, как и где искать Митю. Посох оказался лёгким, тёплым и шероховатым. Нужно было как-то менять погоду: потихоньку стал накрапывать дождь. Девочка посмотрела вверх: ветки деревьев переплелись над головой, закрывая небо.

— Мне нужно выйти на открытое место, — сухо сказала она повелителю эльфов.

— Мелодия Летнего Утра проводит Вас, сударыня, — ответил повелитель.

Лиза молча повернулась и, не прощаясь, пошла вслед за розовой фигуркой, трепетавшей между стволов деревьев. Обида комком стояла в груди, слёзы подступали к глазам. Какие льстивые и лживые создания эти эльфы! «Сударыня, да мы рады... Сударыня, да мы для Вас...» ...И ведь знают, где Митю искать, но хоть бы подсказали, хоть бы чуть-чуть помогли!

Лиза не заметила, как вышла из рощи. Перед ней зеленело поле. Ветер дул прямо в лицо, и дождь усилился. Девочка оглянулась по сторонам в поисках Мелодии. Та стояла на земле, за стволом какого-то кустарника, прячась от ветра и дождя.

— Мелодия, может, ты знаешь, как погоду менять? — спросила Лиза на всякий случай, почти не надеясь на положительный ответ.

— Я видела, как старая госпожа меняла погоду, — отозвалась Мелодия. — Она направляла в небо посох, в то место, где был просвет среди туч, и вращала им, как будто разметала или размешивала тучи.

— И всё? — спросила Лиза. — Ну, ладно, я попробую...

Она поискала просвет в облаках, нашла его, подняла посох обеими руками, направила прямо в голубое пятнышко неба и стала размахивать посохом, как бы разметая тучи. Это было нелегко: ветер вырывал посох из рук, трепал волосы, раздувал ветровку, а мелкие капли дождя неприятно барабанили по лицу. Руки быстро утомились, и Лиза опустила посох. Погода и не думала меняться... Лиза оглянулась на эльфа: бедняжка еле держалась на ногах, ветер уже порядком истрепал её крылья и юбочку. Девочке стало жаль её. Лиза подошла к Мелодии, осторожно взяла эльфа в руки:

— Слушай, ничего у меня не получается. Может, какие-то слова говорить надо?

— А я думала, что Вы шепчете слова...

— Я не знаю, что нужно говорить.

— Ну, просят стихию смилостивиться над нами, просят солнышко выйти из-за туч, или что-то в этом роде... Это, по-моему, в произвольной форме говорить надо... Попробуйте ещё раз, пожалуйста.

Лиза вздохнула:

— Мелодия, давай я тебя в карман положу, пока ветром не унесло.

— Как Вам будет угодно, сударыня.

Лиза бережно опустила эльфа в карман и опять стала искать глазами голубой просвет между тучами.

«Что же сказать-то?» — лихорадочно перебирала она в голове какие-то фразы, похожие на нужное заклинание, но ничего подходящего, кроме пушкинского «Ветер, ветер, ты могуч...» в голову не приходило. «Ну и ладно, — подумала она. — Пусть про ветер». Лиза подняла посох и сымпровизировала:

— Ветер, ветер, ты могуч, разгони-ка стаи туч. Солнце, выйди поскорей и всю землю обогрей.

Как ни странно, небо стало, в самом деле, расчищаться, и, хотя ветер дул с прежней силой, дождь прекратился. И вот, наконец, показалось солнце. Всё вокруг заулыбалось и потянулось навстречу солнечному свету. «Неужели это всё я сделала?» — не верила Лиза своим глазам. Настроение её заметно улучшилось. Девочка достала из кармана эльфа.

— Ну, вот и всё. Мне идти надо, Митю искать, — сказала она. — Для эльфов я сделала, что могла. Прощай.

Лиза хотела было опустить Мелодию на землю, но та попросила:

— Сударыня, возьмите меня с собой. Я помогу Вам, потому что... не хочу, чтобы у Вас сложилось неверное представление об эльфах.

— Ты знаешь, где искать Митю?

— Не знаю, сударыня. Об этом знают лишь старшие эльфы. Но я знаю, кто об этом может рассказать.

Лиза вздохнула:

— Только бы всё получилось...

Она снова опустила эльфа в карман и бодро спросила:

— Ну, что? Куда летим?

— На северо-запад, — пропищала из кармана Мелодия.

— Ты думаешь, что я знаю, где это?

Мелодия, высунувшись из кармана ветровки, показала направление полёта. Лиза подняла руки с посохом вверх, вытянулась, перекатываясь с пятки на носок, и взлетела навстречу ветру.

— В вашей стране люди живут? — спросила Лиза эльфа, разглядывая небольшой белый домик, вернее, то, что от него осталось: четыре стены с отвалившейся кое-где штукатуркой и дыры вместо окон и двери.

— Как Вы уже изволили заметить, сударыня, здесь есть поля пшеницы, дороги, заброшенные шурфы и шахты — конечно, люди здесь живут, — задумчиво ответила Мелодия, оглядываясь вокруг.

— А почему их не видно?

— Они живут в городе, довольно далеко отсюда и в этих местах бывают редко.

— Их тоже наказывают, когда они сюда приходят, как наказали Митю?

— Нет, они в своём мире и в своём времени, а Митя чужой. Ему нельзя было здесь оставаться, — и Мелодия снова обеспокоено завертела головой.

— Ты кого-то ищешь?

— Да, сударыня. Нам нужны тролли. Они живут где-то здесь, но найти их нелегко даже эльфам. Прятаться и искать они мастера.

Мелодия влетела внутрь дома, Лиза пошла за ней.

Полов в доме не было. В углах росли вездесущие полынь и крапива, валялись осколки стекла, щепки и камни.

— А разве тролли мне смогут помочь?

— Сударыня, неужели Вы не помните троллей? Это они схватили Митю и увели его с собой. Я думала, что Вы их заметили, когда в прошлый раз приходили сюда. Их было очень много. Я уже говорила, что они лучше всех умеют искать и находить. Это их обычное занятие. Они находят всё, что может как-то пригодиться, а потом меняют свои находки на что-нибудь другое. Меняются не только между собой, но и с гномами, и с эльфами, и со всеми другими... Они тогда так кинулись на Митю, что даже посох не заметили. А такое у троллей редко бывает. Вот и достался посох нам, эльфам.

Лиза хотела спросить, откуда Мелодия знает события того дня, но вдруг в углу, за разросшимся кустом крапивы что-то звякнуло. Девочка быстро подошла и раздвинула крапиву посохом. Там стояло ржавое ведро, наполненное старыми консервными банками, гнутыми гвоздями и ещё каким-то металлическим хламом. Мелодия подлетела к ведру с другой стороны и крикнула:

— Выходи! Я тебя вижу, Ларь!

Из-за ведра медленно вылезло бурое мохнатое существо ростом с котёнка. У него были довольно крупные уши, а лицо напоминало крысиную морду: маленькие, близко посаженные глазки и длинный чувствительный нос. Одежды оно не носило, всё тело, кроме лица и кистей рук, было покрыто жёстким мехом. Существо встало возле ведра, заложило руки за спину и исподлобья взглянуло на Лизу.

— Сударыня, — торжественно сказала Мелодия, — позвольте Вам представить старейшину троллей — это Ларь. А у госпожи к тебе дело, Ларь.

Ларь что-то неопределённо буркнул и даже не переменял позы.

— Здравствуй, Ларь, — сказала Лиза. — А где остальные тролли? Я хотела бы со всеми вами поговорить об одном деле.

— Тролли не эльфы — без работы не сидят, — огрызнулся вдруг Ларь хриплым голосом. — Говорите, какое дело, сударыня, да побыстрее, а то мне тоже некогда.

Лиза даже оторопела от его грубоватого тона.

— Ну, хорошо, — согласилась она. — Я ищу мальчика, его зовут Митя. Мне нужно увести его обратно домой. Может, вы, тролли, видели его или что-нибудь знаете о нём?

— Может, и знаем, — снова огрызнулся тролль, — да не болтаем всем подряд, как некоторые эльфы.

И он злобно сверкнул своими маленькими глазками в сторону Мелодии.

— Сударыня! — возмутилась та. — Это переходит всякие границы! Мало того, что он эльфов оскорбляет, он и Вам посмел нагрубить. Может, он хочет, чтобы Вы превратили его в гнусную крысу? Ведь стоит только тронуть его посохом — и он превратиться в самую презренную тварь!

— Учишь, да?! Учишь?! — хрипло закричал на эльфа тролль. — А если я ей про тебя расскажу? Рассказать?! Ну, говори! Рассказать?!

Лиза не выдержала:

— Тише! Я не хочу знать ничего, кроме того, что связано с Митей. Он у вас, у троллей? Говори, Ларь!

И она указала посохом на тролля.

Вдруг из-за ведра выскочило ещё одно бурое существо и бросилось Лизе в ноги.

— О, пощадите его, госпожа! — взмолилось существо. — Он всё расскажет, только не превращайте его в животное. Он обязательно всё расскажет.

— А это ещё кто? — удивилась Лиза.

— Я его жена, — тихо ответило существо.

Да, это была женщина-тролль: и рост у неё поменьше, и растительности на голове побольше, хотя лицо такое же длинноносое и остроглазое.

— Как тебя зовут? — спросила Лиза.

— Торба, сударыня, — робко ответила женщина-тролль.

Лизе сразу вспомнилась старая считалка: «Катилася торба с высокою горба»...

— Да? Какое... необычное имя, — растерянно пробормотала девочка. Она присела на корточки, чтобы было удобнее разговаривать с троллями, и сказала:

— Я не хочу никого превращать в животных и ссориться я тоже не хочу. Только очень вас прошу, расскажите, что вы знаете о мальчике. Ведь он не нарочно попал сюда. Он просто не знал, что этого делать нельзя. Обещаю, что ничего плохого с вами не случится.

Торба в нерешительности оглянулась на мужа, но он даже не пошевелился. Лиза выпрямилась и опорочённо вздохнула:

— Ну, что ж, Мелодия, пойдём отсюда. Ведь есть и другие тролли...

Лиза вышла из домика и села у стены, за ветром. Здесь было жарко. Солнце стояло уже высоко. «Сколько же сейчас времени?» — подумала Лиза, растёгивая ветровку, и вспомнила, что со вчерашнего дня почти ничего не ела, если не считать напитка, которым угостили её эльфы. Но есть почему-то не хотелось. На душе было тоскливо и одиноко.

В оконный проём выпорхнула Мелодия.

— Сударыня, они решили всё рассказать, — радостно сообщила она и уселась на лист лопуха, растущего рядом со стеной дома. Из-за угла показалась Торба. Она вела за руку своего мужа.

— Мы расскажем, сударыня. Ларь расскажет, — поправила она, подтолкнув мужа вперёд.

Ларь спрятал руки за спину и громко засопел, потупив глаза в землю.

— Я слушаю тебя, — поторопила его Лиза.

Ларь что-то пробурчал себе под нос, не меняя позы. Лиза взглянула на Торбу:

— Что он говорит?

— Это присказка у него такая, — как бы заранее извиняясь, сказала Торба. — Он говорит: «Всё имеет свою цену».

— Какую цену, — удивилась Лиза. — Я вам что-то должна?

— Да как ты смеешь! — возмутилась Мелодия. — Скажи спасибо, что госпожа добрая, что она ни гусеницу, ни червяка из тебя не сделала, жлоб несчастный!

— «Госпожа, госпожа», — передразнил тролль эльфа. — Не верю я, что это госпожа! Настоящая госпожа в такой одежде не ходит. И вообще, вид у неё какой-то несерьёзный. Она и с посохом обращаться не умеет, и волшебных слов не знает. Всё! Некогда мне тут с вами разговаривать, мне по делу идти надо.

Он вдруг быстро повернулся и исчез за углом дома.

— Нет, сударыня, зря Вы его в крысу не превратили, — с сожалением сказала Мелодия, — узнал бы сразу, какая Вы настоящая!

— Наверное, он прав, — устало возразила Лиза. — Ничего я ещё не умею, а одежда... Нет, моя одежда нравится: удобная, по вашим камням и ключкам в длинной юбке не походишь.

— Только не сердитесь на него, сударыня, — подала голос Торба. — Это характер у Ларя тяжёлый и неуживчивый, а в глубине души он добрый. Хотите, я расскажу, что знаю. Но помочь, наверное, не смогу...

— Конечно, рассказывай, — согласилась Лиза.

И Торба рассказала, что незадолго до прихода сюда Лизы и Мити семь молодых троллей, и её два сына в том числе, решили посмотреть на подземные кладовые гномов, где и были захвачены с поличным (видимо, они не только смотрели). Гномы всегда презирали троллей, считая их ворами и бездельниками. Они придумали страшное наказание для молодых воришек: на шестерых надели ошейники с цепями и сказали, что принесут их в жертву Дракону. А седьмого, самого маленького, отправили домой с известием, что так будут поступать с каждым, кто посмеет

нарушить границу владений гномов. Тролли очень горевали о своих детях, не зная, как их освободить. И тут им повезло: тролли первыми увидели человеческого детёныша из другого мира, который нарушил не только закон посещения, но и границу времени. Мальчика ждало неминуемое наказание. Тролли сразу поняли всю выгоду от своей находки и вызвали гномов на переговоры. Гномы с готовностью согласились обменять молодых троллей на человека.

— Вряд ли они согласятся просто так отдать его, сударыня, — закончила свой невесёлый рассказ Торба.

— А что это за Дракон такой? Он здесь живёт, что ли? Вы ему жертвы приносите?

— Его никто не видел, кроме гномов. Это их Дракон. Он не так давно у них появился. Гномы после этого совсем зазнались: чуть что — сразу пугают своим Драконом.

— А может, они всё придумали, и никакого Дракона у них нет? Ну, для того, чтобы все их уважали и боялись, например?

— Да кто их знает, — вздохнула Торба. — Ларь думает, что если Вы заберёте у них мальчика, гномы потребуют наших детей назад и пошлют на нас Дракона.

— Ну, уж, нет! — решительно сказала Лиза. — Но что же им предложить взамен?

Она на всякий случай обшарила карманы ветровки и джинсов. Содержимое их было таково: резинка для волос, носовой платок, две десятикопеечные монетки и бумажный пакетик из-под цветочных семян. Ещё весной Лиза помогала бабушке сеять в палисаднике анютины глазки, а пакетик машинально положила в карман ветровки. Девочка разложила перед собой на земле свои находки.

— Что-нибудь из этого может пригодиться? — спросила она у Торбы.

Та с неподдельным интересом разглядывала «сокровища» и молчала.

— Гномы любят всё красивое, — отозвалась за неё Мелодия. — Ещё любят то, что может пригодиться в хозяйстве.

— А чем они занимаются? — поинтересовалась Лиза.

— Всякими работами: добывают уголь, руду, драгоценные камни, плавят металл, куют из него разные инструменты... Кстати, сударыня, тролли меняют свои находки на продукты у гномов. Видели старое ведро в доме? Это Ларь со своей семьёй насобирал железо для обмена. Железо гномы очень ценят.

— Может, мне нужно насобирать много железа, чтобы обменять его на Митю?

— Во-первых, сударыня, это займёт немало времени, а во-вторых, ещё не известно, устроит ли гномов такой обмен. Им нужно предложить что-то необычное, чего у них никогда не было и что бы им понравилось...

— Простите, сударыня, — вмешалась в разговор Торба, — а это что такое?

Она робко показала на фиолетовую резинку для волос. Резинка была перевита серебряистой ниткой и заманчиво сверкала на солнце.

— Хочешь, я подарю её тебе? — спросила Лиза и пояснила, — Это такое украшение для волос.

Она протянула резинку Торбе, и та с благоговением возложила её себе на голову:

— О, благодарю Вас, сударыня...

— Да не так! — улыбнулась Лиза. — Давай я тебе надену, а то упадёт.

Волосы на голове Торбы были жёсткие и больше напоминали звериную шерсть. Лиза, как могла, собрала их в пучок и перетянула резинкой. Вид у троллихи получился нелепый: маленькие, близко посаженные глазки, длинный нос, торчащие в разные стороны острые ушки и жёсткий меховой «фонтанчик» на голове. Но Торба подобрала с земли осколок стекла и, посмотревшись в него, была очень довольна. Оставшиеся предметы Лиза снова рассовала по карманам

Из-за угла дома показался Ларь.

— Вы ещё здесь? — сердито спросил он у Лизы. — Я к гномам пошёл. Вы со мной или как?

— Да, да, — вскочила Лиза, — я иду!

Она догадалась, что Ларь слышал их разговор.

— А ты куда так вырядилась? — обратился он к жене. — Шла бы лучше детям помогать.

Торба молча шмыгнула за угол дома.

— Сударыня, — услышала Лиза голос Мелодии, — я с вами?.

— Конечно, — согласилась девочка.

Ларь покосился на эльфа, но промолчал. Тут из-за угла, позвякивая на неровности пути, появилось ржавое ведро, которое толкали тролли. Ларь живо подбежал к ведру и тоже начал толкать его обеими руками.

— Может, им помочь? — спросила Лиза у эльфа.

— Ни в коем случае, — предостерегла её Мелодия. — Тут каждый делает своё дело. Если троллям предложите помощь, Вас могут неправильно понять.

— Как это? — удивилась Лиза.

— Подумают, что Вы хотите заработать, и им придётся Вам платить.

— Какие глупости! — возмутилась Лиза, но предлагать свои услуги не стала.

Ветер дул с прежней силой, и Мелодии пришлось снова расположиться в кармане. Девочка пошла по тропке среди зарослей полыни вслед за дружной семейкой троллей. Их было пятеро: Ларь, Торба и трое детей. Они двигались со своим ведром довольно быстро, и минут через десять вся компания добралась до округлого неглубокого шурфа, сплошь усыпанного валунами разного размера. На краю шурфа тролли остановились, и Ларь подошёл к Лизе.

— Ну что, сударыня, решили, что гномам на обмен предложить? — спросил он, как-то боком глядя на девочку.

Она грустно покачала головой:

— Нет, не придумала.

— А как же посох? Ну, превратите чего-нибудь во что-нибудь полезное.

— Но я же не знаю, что им надо.

Ларь немного постоял, переминаясь с ноги на ногу, потом сказал:

— Ну, ладно. Побудьте пока здесь, а я попробую что-либо разузнать.

Он быстро вернулся к ведру, и тролли начали спускать свои находки вниз по еле заметной тропинке между валунами.

Лиза уселась на траву у края обрыва. Ей сначала было хорошо видно всё, что делали тролли, но потом они скрылись из виду, зайдя за большой валун. Девочка посмотрела по сторонам: довольно далеко на пригорке белел заброшенный домик — обиталище троллей. Ещё дальше синела кромка леса, а за ней — вершина треугольной горы.

Лиза окликнула эльфа. Мелодия выглянула из кармана:

— Да, сударыня?..

— Что это за гора, там, далеко за лесом? — спросила Лиза.

— Это не гора, сударыня, это террикон, — Мелодия не спеша выбралась из кармана и села рядом с Лизой на траву, аккуратно расправив крылышки.

— А что это — «террикон»?

— Отработанная руда, пустая порода. Её складывают в такие горы.

— Кто складывает?

— Люди, рабочие карьеров. Всё это карьеры были кругом. И здесь, и там, и там... — показала Мелодия рукой по сторонам и грустно добавила, — Всё, что нужно, добыли, леса извели, землю перевернули, одни шурфы оставили...

— Слушай, а что вы тут мне про законы времени говорили? Какие такие законы времени Митя нарушил?

— У нас здесь другое время, сударыня, не такое, как в вашем мире.

— А какое? У нас там тоже лето, и тоже день...

— Да, но с небольшой разницей. На сто лет, один месяц и девятнадцать часов.

— Не поняла, кто кого обгоняет?

— Вы.

— Так это значит, — Лиза быстро подсчитала, — это значит, что здесь 1898-й год, июль месяц?

— Вы правы, сударыня.

— Ты сказала, что люди живут в городе. А как он называется?

— Кажется, Бецдорф или Бенцдорф...

— Не слышала про такой. А где это?

Но тут из-за валуна показались тролли. В руках они несли какие-то свёртки и мешочки. Семейство вылезло из шурфа недалеко от девочки. Обходя Лизу стороной, они кланялись и быстро шли дальше по направлению к белому домику. Последним вылез Ларь. У него в руках не было ничего. Он посмотрел вслед своей семье, а потом подошёл к Лизе.

— Я им сказал на счёт Вас, — он мотнул головой в сторону шурфа. — Говорят, что сами будут разговаривать с госпожой...

— Ну, надо идти! — решила Лиза.

— Вам нельзя показываться гномам в таком виде, — сказал Ларь, бесцеремонно разглядывая девочку. — Приведите себя в порядок, сударыня!

Мелодия тоже оглядела Лизу с головы до ног и сказала:

— Сударыня, я хочу предупредить Вас о том, что гномы весьма щепетильны в отношении традиций и обычаев. Они могут просто не пустить Вас в свои владения в такой одежде. Я думаю, что юбку придётся надеть.

Лиза тоже оглядела себя. Ну, чем же их не устраивают джинсы? Правда, колени чуть грязноваты, но в этих джинсах так удобно!

— Ну, раз надо — так надо, — нехотя согласилась девочка. — А где мне взять юбку?

— Вам поможет посох, — обрадовалась Мелодия. — Только юбка должна быть длинной.

— Позвольте мне сказать, сударыня, — вмешался Ларь. — Юбка должна быть тёплой: там, под землёй, довольно прохладно.

— Хорошо. А какого цвета она будет? Цвет юбки имеет значение?

— Она должна быть тёмной, синей, например, — предположила Мелодия.

— Лучше — чёрной, — буркнул Ларь.

— Пусть будет фиолетовая, — решила Лиза.

Они сначала спустились по тропке вниз, туда, куда недавно спускались тролли, потом обошли большой валун и остановились около входа в подземелье. Он находился между двумя камнями, углом прислонившимися друг к другу

— Внимание! — объявила Лиза. — Я делаю себе юбку!

Она не знала, как будет происходить процесс колдовства, просто закрыла глаза, дотронулась посохом до ног и представила, что вместо джинсов их прикрывает тёплая фиолетовая юбка. «Хочу юбку!» — на всякий случай прошептала девочка.

— Вот видите, как всё просто! — услышала Лиза голос Мелодии и открыла глаза. Всё получилось точно так, как она себе представляла: фиолетовая юбка длиной до кроссовок вдруг появилась на ней.

— Вы замечательно выглядите, сударыня! — воскликнула Мелодия и насмешливо обратилась к Ларю: — Ну что? Кто не умеет с посохом обращаться?

Ларь в ответ смущённо посопел и сказал:

— Теперь осталось только уменьшиться.

— Как это? — не поняла Лиза.

— Не пролезете Вы, сударыня, в подземный ход, — и Ларь демонстративно смерил её взглядом с головы до ног.

— А разве я могу уменьшиться? — оторопела Лиза.

— Ну, ничего не знает! — пробормотал Ларь себе под нос, пожав плечами.

Мелодия неодобрительно посмотрела на тролля и обратилась к Лизе:

— Это очень просто, сударыня. Нужно повернуться вокруг себя на правой ноге вправо столько раз, во сколько раз хотите уменьшиться и потом дотронуться до себя посохом. Если же хотите подрасти, то же самое проделывают влево на левой ноге. Только не забудьте уменьшить посох перед тем, как уменьшитесь сами.

— А как?

— Надавите на него сверху большим пальцем и представьте себе, что он складывается.

Лиза так и сделала. Когда посох сложился и стал размером с эльфа, Мелодия сказала:

— Достаточно. А теперь попробуйте уменьшиться сами.

— А сколько раз надо повернуться?

— Я думаю, раз восемь — предположила Мелодия.

— Хватит и шести, — возразил Ларь.

Лиза вздохнула и, встав на правую ногу, повернулась вокруг себя шесть раз. Когда она прикоснулась к ветровке маленьким посохом, голова её сначала закружилась, а потом она увидела вокруг себя валуны огромного размера, просторный вход в подземелье, большого толстого тролля и хрупкого красивого эльфа, сидящего рядом с ним на камне. Ларь оглядел её придиричиво и сказал:

— Всё, теперь можно идти. Позвольте мне проводить Вас, сударыня?

— Да, да, конечно, — согласилась Лиза.

Мелодия вспорхнула с камня и обратилась к Лизе: — Сударыня, если я Вас больше не увижу... То есть, не могли бы Вы для меня... Нет, конечно, для всех эльфов... Не могли бы оказать нам ещё одну небольшую услугу?

— Какую?

— Понимаете, мне очень тяжело будет добираться до дому в такую ветреную погоду. Эльфы с большим трудом и только в крайнем случае вылетают во время ветра. Вот если бы Вы, сударыня, его спрятали в узелок...

— Куда спрятала? — не поняла Лиза.

— У Вас есть носовой платок, сударыня, воспользуйтесь им, пожалуйста.

Лиза вынула платок из кармана.

— Как воспользоваться?

— Расправьте платок так, чтобы захватить им порыв ветра и скажите: «Ветер-ветерок, ложись в узелок, полетишь, когда выпущу». А потом быстро завяжите узелок на платке. Пока узел не развяжите, ветра не будет.

Лиза вышла из-за валуна на открытое место. Порыв ветра сразу же растрепал волосы и, подхватив подол юбки, чуть не сбил девочку с ног. Пришлось опереться на посох, прежде чем расправить платок. Очередной порыв не заставил себя ждать, и Лиза с лёгкостью, как будто всю жизнь только и занималась ловлей ветров, проговорила заклинание и завязала этот порыв ветра в носовой платок. Сразу же стало тихо, и заметно потеплело. Лиза положила узелок в карман и оглянулась на эльфа.

— Всё? Но почему же ты не попросила об этом раньше, когда я разгоняла тучи? — спросила она.

— Я не хотела, чтобы другие эльфы полетели за нами. Они бы только мешали Вам, сударыня. Никто из них не хочет ссориться с гномами.

— Сударыня, Вы скоро? — окликнул Лизу Ларь.

— Иду! Ну, прощай, Мелодия Летнего Утра! Спасибо тебе за помощь, — и Лиза быстро пошла за троллем. Около большого валуна Лиза оглянулась: Мелодия стояла и грустно смотрела им вслед. Лизе было жаль расставаться с ней: «Надо бы хоть что-то подарить на прощание...». Девочка остановилась и снова вытащила из карманов платочек, монетки и пакетик из-под семян. Ларь что-то недовольно заворчал, но Лиза, заглянув в пакетик, увидела там два маленьких чёрных зёр-

нышка и обрадовалась: ведь это семена цветов! Эльфы любят цветы, и Мелодия будет рада такому подарку. Лиза прикоснулась посохом к пакетик и представила себе, как он наполнился семенами доверху. Окликнув Мелодию, она протянула ей потяжелевший пакетик:

— Вот, Мелодия, принеси эти семена на свою поляну эльфов и, я думаю, они не станут сердиться на тебя из-за того, что ты улетела со мной.

— Большое спасибо Вам, сударыня.

— Вот теперь всё. Можно идти!

Троль уже стоял у входа и с нетерпением поджидал Лизу. Девочка подбежала к нему, и они прошли между двумя камнями во мрак подземного хода.

Вскоре Лизу и её спутника окружила полная темнота. Девочка шла, нащупывая дорогу посохом, как слепая.

— Ларь, — наконец обратилась она к своему проводнику, — я ничего не вижу!

— Держитесь за меня, сударыня, — и Ларь протянул ей свою лохматую руку.

Некоторое время они молча шагали по подземному ходу, потом тролль заговорил:

— Должен предупредить Вас, сударыня, что гномы — народ опасный. Они умны и коварны. Вы им не очень-то доверяйте. Постарайтесь держаться с ними свысока: они должны почувствовать Вашу силу. И, вообще, посolidнее Вам надо быть.

— Я не умею... «посolidнее», — растерялась Лиза, вспомнив, что банник говорил ей то же самое.

— Пора бы уж Вам и научиться быть госпожой. Ведь вся нежить у Вас в подчинении состоит, и гномы тоже. Но главное, не расставайтесь с посохом. Да, и ещё! Вы умеете обманывать? — вдруг спросил тролль.

— Не знаю... Ну, если только чуть-чуть...

— Да-а-а! — разочарованно протянул Ларь. — Тогда я ни за что не ручаюсь. И чего я с вами связался? Других дел у меня нет, что ли? Сомневаюсь я, что Вы чего-то добьётесь. Ну, хоть про мальчика своего им не говорите сразу.

— А что я скажу, если они меня спросят, зачем пришла?

— Не знаю. Может, посмотреть, как они живут, что делают?.. Или вот что: попросите показать Вам Дракона.

— Ты думаешь, покажут?

— Сомневаюсь, но повод для посещения хороший. А там и про мальчика можно будет что-нибудь узнать...

Вдруг впереди забрезжил неяркий свет.

— Всё. Дальше мне нельзя. Это граница владения гномов, — показал тролль на клубящийся дым или туман, который заполнял подземный коридор и освещал его неярким белым светом. — От этого дыма у троллей страшно болит голова, а кто подольше здесь задержится — сознание теряет.

— Но как же я пройду сквозь него? Тоже сознание потеряю? — испугалась Лиза.

— Не знаю, сударыня. Вы хотели, чтобы я дорогу показал — я показал... Прощайте, госпожа.

— Спасибо тебе, Ларь. Ты мне очень помог, — Лизе так не хотелось оставаться здесь одной. — Подожди минутку.

Она вспомнила, что тролли ничего не делают бесплатно. Порывшись в кармане, девочка достала две монетки и, прикоснувшись к ним посохом, протянула Ларю целую горсть монет:

— Это тебе на память и в знак благодарности...

— И Вас благодарю покорно, сударыня.

В бесесом неярком свете она не могла разглядеть выражение его лица, но по голосу поняла, что он остался доволен.

Лиза повернулась и смело шагнула в белый клубящийся туман. Сразу же заложило уши и зазвенело в голове. Но, пройдя несколько шагов, девочка увидела, что туман поднимается кверху и струится по потолку, освещая подземный коридор тусклым белым светом. Через некоторое время голова снова стала ясной, и звон в ушах прекратился. Неожиданно от стены что-то отделилось и двинулось навстречу Лизе. Девочке сначала показалось, что это ком глины катится на неё. Она даже выставила перед собой посох, чтобы задержать его. Но, когда он приблизился, Лиза разглядела толстого, волосатого человека с бородой и в странной одежде: казалось, что он просто был обмотан какими-то серыми тряпками. Через плечо у него висела холщевая сумка, а ступни ног были обуты во что-то вроде бахил. Потом в коридоре появилось ещё несколько таких же толстых и волосатых существ. Они не шли по подземному ходу, а просто отделялись от стен, как будто имели свойство проходить сквозь них. Роста они были совсем небольшого — ниже Лизы приблизительно на голову.

— Приветствуем Вас, госпожа! — сказали они хором, остановившись на некотором расстоянии от Лизы. — Добро пожаловать в страну гномов.

Сначала Лиза растерялась: она представляла себе гномов несколько другими, но тут же вспомнила, что нужно быть «посолиднее», и, хотя сердце от страха и волнения застучало чаще, попыталась принять гордый вид и важно сказала:

— Здравствуй, гномы. Я очень рада посетить вас и хотела бы видеть вашего правителя.

— О, могущественная госпожа! Вы, должно быть, не знаете, что у нас нет правителя? — спросил гном, стоящий ближе всех. После этих слов он сунул руку в сумку, висевшую на боку, достал оттуда что-то, положил у рот и начал жевать.

«Наверное, уже обманывают», — пронеслось в голове у Лизы, и она спросила:

— А кто же у вас самый главный?

— Мы распоряжаемся своими делами сами и всё решаем на Общем собрании, — ответил тот же гном, не переставая жевать и причмокивать.

Лиза сразу же вспомнила уроки истории, на которых говорили про новгородское вече, и подумала: «А может, и не врут».

— Ну, а кого-то главного вы избираете на собрании? — спросила она.

— Безусловно, сударыня. Мы выбираем на каждый сезон Главного Распорядителя Работ.

— Мне нужно... — начала Лиза, но, вспомнив наставления тролля, поправилась. — Я приказываю проводить меня к нему!

— Слушаемся, госпожа! — ответили гномы хором и расступились, давая Лизе дорогу, причём она заметила, что каждый гном либо жевал, либо лез в свою сумку за едой. Девочка шла довольно долго по коридору, то спускаясь, то поднимаясь по небольшим, в несколько ступенек, лестницам. Гномы неотступно следовали за ней: сзади она слышала их сопение, чавканье и причмокивание. Наконец, они вошли в просторную пещеру. Ровный неяркий свет лился с высокого потолка. Лиза даже при прежнем своём росте могла бы свободно передвигаться по этой пещере. Да и пещерой-то её нельзя было назвать. Скорее это был подземный зал с белыми стенами, украшенными разноцветными узорами из камней, с резными колоннами, с гладким полом из чёрного мрамора. Лиза обошла зал, любясь красочными узорами на стенах и колоннах, но непрекращающиеся жующие и чавкающие звуки за спиной отвлекали и уже начали раздражать её.

«Они нарочно, что ли? Хотят меня разозлить или терпение испытывают?» — подумала Лиза. Она повернулась к толпе гномов и как можно спокойнее спросила:

— Уважаемые гномы, может, я не вовремя к вам пришла? Может, у вас обеденный перерыв? Вы скажите, не стесняйтесь, я могу подождать...

Все гномы, как по команде, замерли и непонимающе уставились на девочку. Из-за их спин вдруг послышался голос: «Как мы рады видеть Вас, госпожа!» Толпа расступилась, и Лиза увидела спешащего к ней гнома в полосатом колпачке. На груди его красовалась цепь со звездой.

(«Золотая», — догадалась Лиза и подумала: «Наверное, медаль».) Больше он ничем не отличался от остальных гномов: такая же лохматая и бородатая голова, тряпки вместо одежды и сумка через плечо.

— Я тоже очень рада навестить вас, — вежливо ответила Лиза.

— Позвольте представиться: я летний Распорядитель работ. Моё имя Медный Топор.

Лиза милостиво кивнула. А Медный Топор обратился к гномам:

— Принесите сюда сумку: госпожа с дороги и, наверное, проголодалась...

— Нет, нет, прошу не беспокоиться, — прервала его Лиза. — Я сыта. Мне бы хотелось поговорить с вами о деле...

— Чем обязаны, сударыня, Вашему визиту?

И Лиза, поколебавшись немного, всё же решила последовать совету тролля:

— Мне сказали, что у вас живёт настоящий дракон. Я ни разу не видела живых драконов, очень хотелось бы посмотреть на него.

— Вечно они там, наверху, чего-то напридумывают!.. Ну, какой это дракон? Так, небольшой дракончик... Не стоит он Вашего внимания, госпожа!

— И всё же, я хотела бы посмотреть... — упрямо повторила Лиза.

— Позвольте нам немного посоветоваться, — и Медный Топор обратился к толпе гномов:

— Что отдыхающие гномы думают о желании госпожи?

Гномы тут же полезли в свои сумки, стали жевать и говорить одновременно. Распорядитель работ тоже успел записать что-то в рот и горячо спорил со всеми, сыпая собеседников крошками. Лиза, как ни прислушивалась, не могла ничего разобрать. Наконец, Медный Топор поднял руку вверх — и все умолкли.

— Сударыня, — торжественно произнёс он. — Отдыхающие гномы решили, что Ваше первое желание — закон для нас! Мы покажем Вам Дракона. Но при условии, что Вы ничего с ним не делаете без нашего на то согласия.

«Какая я дура! — подумала Лиза. — Зачем я послушала тролля! Если б можно было знать, что первое желание гномы исполняют, то Митя был бы уже свободен». И чтобы как-то скрыть свою растерянность, она спросила:

— А почему ты назвал гномов отдыхающими?

— Потому, сударыня, что здесь собрались только гномы, свободные от работы. Видите: все они едят — значит — отдыхают. У нас такой закон: «Кто не работает, тот ест». Когда работаешь, есть некогда.

— Понятно. А когда мне покажут дракона?

— Как только Вы пожелаете.

— Я желаю сейчас.

— Хорошо, сударыня, — и Медный Топор повернулся к толпе гномов, — кто хочет проводить Госпожу к Дракону?

Послышалось сразу несколько голосов: «Я, можно, я пойду. Меня назначьте!»

— Пойдёт Наковальня: его Дракон хорошо знает, — решил Распорядитель работ. — Остальные все свободны. Не забудьте убрать за собой.

Гномы сразу же стали рываться в своей одежде, вытаскивая из-под серых тряпок какие-то тёмные комочки, и класть их на пол. Комочки закружились по полу, подбирая по пути все крошки. Когда один из них оказался недалеко от Лизы, она разглядела, что это была обыкновенная мышь! К счастью, Лиза не боялась мышей. Вскоре все крошки были съедены, гномы подняли мышек, спрятали их под одеждой и начали выходить из зала. Медный Топор извинился перед девочкой за свою занятость и ушёл вместе с остальными гномами. Около Лизы остался толстый гном с морщинистым круглым лицом. Он долго не мог успокоить свою мышь, которая всё ползала и ползала под его одеждой, собирая её в складки. А гном ласково гладил рукой по этим складкам и тихонько бормотал, уговаривая мышку сидеть спокойно. Наконец, она нашла укромное местечко в складках его одежды и затихла.

— Мы можем идти? — спросила Лиза.

— Да, сударыня, я готов Вас сопровождать, — и гном показал рукой на другую сторону зала, где была деревянная дверь.

Они шли по коридорам довольно долго, Лиза даже подумала, что гномы хотят заманить её в какую-нибудь ловушку, чтобы задержать здесь навсегда, и немного струсила. Иногда из-за стен коридора доносился приглушённый шум: что-то стучало, фыркало, звенело и брякало. Видно,

там шла неустанная работа, и гномы трудились в поте лица. Поворачивая то вправо, то влево, то поднимаясь на несколько ступенек, то опускаясь вниз, они, наконец, остановились перед широкой лестницей, идущей вверх. Лестница завершалась площадкой с коваными перилами, а на площадке была дверь из какого-то прозрачного материала. Может, это было толстое стекло — Лиза не смогла хорошенько рассмотреть, потому что Наковальня широко распахнул эту дверь перед девочкой, и она увидела огромную пещеру. Розоватый свет попадал сюда сверху из круглой дыры в потолке. Видимо, там, наверху солнце уже заходило. Посредине пещеры сверкал овальный бассейн с прозрачной водой и с плавающими посредине листьями кувшинки. Края бассейна были посыпаны жёлтым песком, на котором Лиза заметила отпечатки больших когтистых лап с длинными пальцами, и ей снова стало страшно.

— Прошу подойти поближе, сударыня, если Вы хотите увидеть нашего Дракона, — и гном подал Лизе руку, чтобы помочь ей спуститься к воде.

— Давно он у вас живёт? — спросила девочка, борясь с желанием поскорее уйти отсюда.

— С весны.

— А как он к вам попал?

— Поймали в ручье, в дубовом лесу, ночью. Он ещё совсем маленький был, вот такой, — и гном указал на лизин посох.

— А сейчас он какой? — с замиранием сердца поинтересовалась Лиза.

— Да вон он, смотрите! — гном показал на дно в дальнем конце бассейна. И девочка увидела нечто похожее на гигантский серо-зелёный лист тальника, у которого выросли лапы.

— А когда он на сушу выходит? Мне хотелось бы его получше рассмотреть, — расхрабрилась она.

— Вот начнётся время кормления — вылезет, — с какой-то тёплой ноткой в голосе произнёс гном.

— А что он ест?

— Когда поменьше был, червячков всяких ел, мух для него ловили. Сейчас мясом кормим.

У Лизы снова замерло сердце: «Может, они его сейчас мной угощать будут? Нет. Спокойно, у меня есть посох. У меня — сила».

— А где мясо берёте? Может, троллей ему на обед готовите? Или эльфов? — Лиза поняла, что испугу городит всякую ерунду, но остановиться уже не могла. — А вот я ещё слышала, что вы человека у себя держите, чтобы потом его Дракону скормить...

Гном тихонько хмыкнул и покачал головой:

— Нет. Мы для него лягушек ловим и рыбу.

Они помолчали, потом Наковальня как бы нехотя сказал:

— Только вот беда — не растёт он больше. Не знаем, что и делать... Хотели рацион сменить... Отдыхающие гномы сейчас предложили, чтобы попросить Вас помочь...

— А я-то тут при чём? — удивилась Лиза.

Но тут сзади послышались чьи-то шаги. Девочка оглянулась. Два гнома вошли в двери, держа за ручки большую тяжёлую корзину. Они слегка поклонились Лизе и направились к противоположной стороне бассейна.

— Сейчас кормить будут. Хотите подойти поближе? — предложил Наковальня.

— Конечно! — Лизе очень не хотелось, чтобы он заметил её страх перед Драконом.

Они пошли следом за гномами. А те уже высыпали содержимое корзины прямо на песок недалеко от воды. Запахло свежей рыбой. Наковальня остановился на некотором расстоянии от кучи корма и жестами показал Лизе, что подходить ближе и шуметь нельзя. Гномы с корзиной ушли, нимало не заботясь, съест ли Дракон свою пищу. Спустя некоторое время, из воды показалась небольшая голова с жёлтыми равнодушными глазами, потом Дракон вытащил из воды четырёхпалые когтистые лапы и вылез на пологий берег бассейна. Он был не такой большой, каким казался, когда лежал на дне. Тело его было серозелёное с голубоватыми пятнами и уплощённое с обеих сторон. Когда он начал есть, аккуратно откусывая белое мясо небольшой ртом, Лиза вдруг поняла, кто это. Она даже чуть не рассмеялась своему глупому страху: это был обыкновенный тритон! Точно такой же тритон, только поярче раскраской, живёт у её подруги Юльки в аквариуме вместе с двумя черепашками. Просто Лиза забыла, что сама уменьшилась, а значит, всё ей теперь должно казаться в несколько раз больше, вот и маленького безобидного тритона приняла за кровожадного Дракона.

А Наковальня полез в сумку, засунул что-то в рот, пожевал и вдруг тихонько сказал:

— Вот уже два месяца он такого же размера. Ну, совсем не растёт! Может, заболел?

— Я знаю этого Дракона, — шёпотом ответила Лиза. — Его зовут Тритон. Он уже взрослый и больше не вырастет никогда.

— А мы хотели... — начал гном и осёкся.

— Вы бы лучше отпустили его обратно в ручей. Там у него братья, сёстры остались, да и подружку ему надо. А то одному скучно здесь...

— Ну, это уж пускай Собрание решает, — почему-то обиделся Наковальня.

— Ладно, пошли отсюда, — и Лиза первая направилась к стеклянной двери: ей стало совсем не интересно.

Пока они шли обратно, Наковальня почти не разговаривал, а только ел и ел, доставая из своей сумки всё новые и новые куски. Сумка была небольшая, и, по всем расчётам, запас еды должен был давно кончиться. Но, к Лизиному разочарованию, гном никак не мог насытиться, а еда всё не кончалась.

Наконец, Лиза не выдержала:

— Наковальня, когда у тебя в сумке еда закончится?

— Никогда, — гном перестал жевать и вытер руки о бороду.

— Сумка бездонная, что ли?

— Ну, вроде того...

— А что там у тебя лежит, какая еда?

— Да всякая. Чего захочется — то и лежит.

— Как это? — не поняла Лиза.

— Ну, вот Вам чего бы сейчас хотелось поесть?

— Вообще-то, я не хочу есть... Но... вишню бы съела: я люблю вишни.

— Ну-ка, попробуйте достать вишню, — и гном повернулся к Лизе так, чтобы ей было удобно залезть к нему в сумку.

Лиза засунула руку в сумку: там лежала вишня! Она была точно такая, какие нравятся Лизе: большая, спелая, почти чёрная и очень аппетитная. Но девочка всё же не решалась попробовать эту вишню.

— Ешьте, ешьте, — успокоил её гном. — Она настоящая. Я и себе сейчас такую же достану.

И они вместе стали есть вишни, доставая их по очереди из сумки.

— Скажи, как ты это делаешь? — спросила Лиза.

— Что? — не понял Наковальня.

— Ну, вишни эти, еда всякая... Как получается? Сумка ведь пустая?

— Да я как-то не задумывался... Беру да беру из неё, что мне хочется... А как там оно появляется — мне неинтересно.

— С тобой всё понятно... — Лиза вдруг обнаружила, что вишнёвых косточек у неё набралось уже слишком много — полная горсть, но выбросить их было некуда. И она спросила гнома:

— А куда косточки?..

— Давайте сюда!.. — и гном протянул Лизе ладонь, — Моя мышка всё съест.

Он засунул горсть косточек куда-то под одежду, оттуда послышался хруст.

— Лопает! — радостно прокомментировал гном.

«Кажется, он добрый и простоватый какой-то. Может, спросить его о Мите?» — подумала Лиза и решила:

— А где у вас мальчик живёт, которого тролли вам отдали?

— Ого! — сразу заторопился Наковальня. — Заболтался я тут с Вами, а мне уже на работу пора. Пойдёмте, сударыня, побыстрее.

И гном почти побежал вперёд по коридору.

В центральном зале снова толпились гномы, а у самого входа стоял Медный Топор и, видимо, поджидал Лизу.

— А-а-а! Вот и Вы вернулись! — обрадованно воскликнул он. — Прошу Вас, сударыня, пройти ближе к центру зала, чтобы отдыхающие гномы могли познакомиться с Вами. А ты, Наковальня, можешь идти на работу.

Наковальня тут же развернулся и быстро вышел.

— Но ведь я уже знакомилась с гномами, — возразила Лиза.

— Те гномы уже на работе, а здесь собрались отдыхающие гномы, которые Вас ещё не знают.

— Ну, ладно, — вздохнула Лиза и обратилась к смотрящим на неё гномам:

— Я приветствую вас, уважаемые гномы!

— Госпожа видела нашего Дракона? — громко, чтобы все слышали, спросил Медный Топор.

— Да, — так же громко ответила девочка.

— Поделитесь, пожалуйста, с нами своими впечатлениями.

— Я хотела спросить: у вас другого дракона нет?

— У нас только один Дракон, сударыня, и его Вам показали.

— Но это не дракон.

— Как это «не дракон»? — удивился Медный Топор. — Вы, может, хотите сказать, что он недостаточно большой, но мы будем его хорошо кормить, и он вырастет...

— Не вырастет. Это не дракон! — ещё раз повторила Лиза. — Я знаю, что это животное называется тритон. Оно живёт в воде, а иногда вылезает на сушу, питается насекомыми и мелкими рыбёшками. Тритон не бывает большим. Вы уже вырастили его до взрослого состояния, и он больше не вырастет никогда.

После этих слов наступила полная тишина. Гномы перестали жевать и, замерев, ошеломлённо смотрели на девочку. Наконец, Медный Топор прервал молчание:

— А Вы ничего не перепутали, сударыня?

— Нет. У нас в городе этих тритонов в зоомагазине продают, и у моей подруги такой же дома живёт. Как я могу перепутать?

— Ну, и что же мы теперь будем делать, отдыхающие гномы? Предлагайте! — обратился к собранию Распорядитель работ.

Вперёд вышел худой подвижный гном. Правый глаз его был плотно закрыт, и от глаза через всю щёку до бороды темнел глубокий рубец.

— Я хочу сказать! — торопливо проговорил он.

— Говори, Осколок, — кивнул Медный Топор.

— Давайте попросим госпожу помочь нам. Мы же ещё старую госпожу хотели об этом просить...

— О чём? — поинтересовалась Лиза.

— Госпожа, Вы можете с помощью посоха сделать нашего Дракона гораздо больше, — обратился к ней Осколок.

— Я не пойму, зачем вам это? Ведь большого тритона труднее содержать: места ему надо много, еды много, да и опасно это. А вдруг он на вас броситься начнёт? Нет, я не могу этого допустить.

— Не беспокойтесь, сударыня, мы посадим его на цепь.

— Нельзя так издеваться над животным! — возмутилась Лиза. — Лучше отпустите его туда, откуда взяли.

Гномы заговорили, задвигались. До девочки долетали только бессвязные слова и фразы, смысл которых оставался неясен. Особенно часто повторялось странное слово «нокке». Лиза глядела на гномов и не знала, на что решиться: может, увеличить размеры тритона в обмен на Митину свободу или, не мучая бедное животное, как-то по-другому попробовать освободить мальчика? Но, главное, надо было что-то делать и побыстрее.

— Уважаемые гномы! — обратилась она к собранию. — Объясните мне, пожалуйста, зачем вам большой дракон? Вас кто-то обижает? Вы нуждаетесь в защите? Может, сами хотите кого-нибудь обидеть?

Гномы снова, как по команде, притихли. А Медный Топор сказал:

— Дело в том, сударыня, что этой весной мы поссорились с нокке. Они, как всегда, устраивали праздник Первого подснежника, но в этот раз нам приглашения не прислали. Поэтому пришлось напомнить о себе. Мы узнали, что в одном из их

ручьев живёт маленький Дракон. Нокке очень гордились этим Драконом, даже ручей, где он жил, называли Драконьим. Мы послали самых ловких гномов ночью в лес, они приманили Дракона и увели его к нам. А теперь мы хотим показать всем эльфам и троллям, что Дракону у нас живётся гораздо лучше, и что нокке не способны даже вырастить настоящего Дракона.

— А кто это — «нокке»?

— Нокке живут на речках и ручьях. Бесполезные, как и все эльфы. Правда, они хорошо поют и умеют играть на разных инструментах красивую музыку. У них часто праздники бывают. Все любят их праздники, там весело...

— Зачем же вы поссорились?

— Но они же нас не пригласили!

— Надо было просто узнать, из-за чего это случилось. Может, они просто забыли, или ещё что-нибудь... А вы, как тролли, украли у нокке тритона! Это не достойно мудрых гномов. Ещё раз вам говорю: нужно тритона вернуть. Вам самим скучно теперь без праздников. Ведь нельзя же всё время отдыха посвящать еде!

— Мы обсудим этот вопрос, сударыня, — и Медный Топор повернулся к гномам. — Что думают отдыхающие гномы?

Поднялся невообразимый гвалт. «А что же будет, если я попрошу их отпустить Митю? — устало подумала Лиза. — И где в этом тесном подземелье он сидит? Как бы это узнать?». Она стала прохаживаться по залу, стараясь придумать какой-нибудь выход из создавшегося положения. Какое ей, собственно, дело до этого закормленного тритона и до ссоры гномов с неизвестными нокке? Пускай себе живут, как хотят, лишь бы Митю вернули!

Девочка подошла к Распорядителю работ, а он в это же самое время повернулся к ней, и они вдруг одновременно громко произнесли: «Хорошо!» Лиза от неожиданности засмеялась, и все слова, которые она приготовила для гномов, сразу же вылетели у неё из головы. Но Медный Топор остался серьёзным.

— Сударыня, — обратился он к Лизе, — мы решили помириться с нокке и вернуть Дракона в ручей. Но при условии, что и Вы поможете нам.

— Я постараюсь, — осторожно пообещала Лиза.

— Дело в том, что тролли недавно нашли человеческого детёныша и отдали его нам. Мы хотели приспособить его к какой-нибудь работе, но оказалось, что он слишком много спит и ест. Выпустить его на волю мы не можем: он не из этого мира, а держать здесь — слишком... обременительно для нас. Правда, он хорошо ловит рыбу для нашего Дракона... Но если мы вернём Дракона, то зачем нам эта рыба?..

У Лизы от радости даже руки задрожали, но она постаралась оставаться спокойной, хотя никак не ожидала такого поворота событий. А Медный Топор продолжал:

— Вот мы и хотели Вас попросить помочь нам избавиться от этого детёныша. Может, его тоже подарить нокке?

— Хорошо, — помолчав и немного успокоившись, проговорила Лиза. — Я помогу вам, хоть

и нелегко это будет. Где вы держите этого ма... детёныша?

— Мы поместили его в южную пещеру и отгородили светящимся туманом. Без разрешения Общего собрания он никуда не выходит. По вечерам под нашим присмотром он ловит рыбу в реке за дубовым лесом.

— А сегодня он ловил рыбу?

— Нет. У него вчера был удачный улов, рыбы хватит до завтра.

— А сейчас можно его выпустить? Пусть идёт как бы на рыбалку, а я пойду за ним и уведу его далеко-далеко отсюда, чтобы он никогда не вернулся назад.

Гномы заговорили между собой, одобрительно кивая головами.

— Отдыхающие гномы, кто пойдёт выпускать человека? — обратился Распорядитель к собранию.

Наступила тишина. Желаящих почему-то не оказалось.

— Та-а-ак, — неопределённо протянул Медный Топор. — Придётся назначать самому... Пойдут Труба и Осколок.

— А почему сразу я? — возмутился худой Осколок. — Он ещё вчера в меня какой-то дрянью запустил, я еле вернулся...

— Вот видишь, — успокоил его Распорядитель, — ты увернулся, а другой бы не успел.. Иди и не спорь!

Осколок, что-то бурча себе под нос, поплёлся к выходу. Следом пошёл Труба, медлительный гном с сонными глазами.

— Отдыхающие гномы, — снова обратился к собранию Медный Топор, — а теперь давайте решим, как мы будем транспортировать Дракона к ручью...

— Подождите! — прервала его Лиза. — Я должна попрощаться с вами. Ведь мне нужно увести человека подальше от ваших мест... Проводите меня до пещеры, где находится... детёныш, пожалуйста.

— Жаль, что Вы покидаете нас, сударыня, — сказал Распорядитель. — А мы хотели с вами посоветоваться, когда лучше вернуть Дракона и как это сделать, чтобы нокке правильно нас поняли.

— А это решайте сами, без меня. Ведь если я не догоню человеческого детёныша, то не смогу вам помочь.

— Догоните. Его ночью не так-то просто выманить из пещеры.

— Разве уже ночь? Тогда мне срочно надо идти. Прощайте, уважаемые гномы! Была очень рада с вами познакомиться.

— Прощайте, госпожа, — нестройным хором ответили гномы.

— Но мы надеемся, что Вы скоро осчастливите нас своим следующим визитом, — высокопарно произнёс Медный Топор.

— Осчастливию, осчастливию, — быстро согласилась Лиза и спросила: Так кто меня проводит?

— Да-да, сейчас... Стружка, проводи госпожу к южной пещере.

Стружка оказался весёлым и словоохотливым гномом. Всю дорогу он рассказывал Лизе, как они замучились с человеческим детёнышем, как долго

не могли понять друг друга, какие недоразумения происходили от этого непонимания.

— ...Еле-еле загнали его в эту пещеру, да скорее на выход туману напустили с наговором против людей, — оживлённо говорил Стружка, засовывая в рот что-то из заветной сумки. — А он там сидит и то песни какие-то дикие поёт противным голосом, то ругается на нас, то есть, мы слов-то не понимаем, но по голосу слышим, что ругается. А если выпустим когда, то камней наберёт или желудей в лесу и кидать в нас начинает, да норовит в живот попасть, а там же мышки сидят! А если прибьёт какую? А тут троих из нас в ручей загнал... Но мы терпеть не можем воды! От неё в одежде плесень заводится.

— А вы не пробовали его отпустить? — осторожно спросила Лиза.

— Пробовали. Он всегда в одно и то же место приходит и начинает землю рыть, где не положено. Он копает, а нам приходится потом ровнять всё за ним. Ну, дикий совсем! — покачал головой Стружка. — Даже не знаю, как Вы, сударыня, с ним справитесь? Хотя бы троллей с собой взяли: они помогут, они шустрые...

— А где, говоришь, он землю рыл?

— Да там, у Священного озера, — гном махнул рукой влево.

Но тут коридор закончился, и они вышли наружу.

Первое, что увидела Лиза, была круглая белая луна, сияющая прямо напротив выхода из под-земелья. Она ярко освещала булыжники, кустики травы и два больших валуна справа от входа. Это был незнакомый Лизе шурф, даже не шурф, а так, большая яма.

— Идите сюда, сударыня, я покажу Вам, где южная пещера, — услышала она голос гнома. Он уже забрался на валун у входа и протягивал девочке руку, Лиза с трудом влезла следом за ним: мешала длинная юбка.

— Смотрите, вон там светит в кустах, — Стружка показал куда-то вверх и вправо. В той стороне возвышался холм, поросший невысоким кустарником, а на самом верху холма, среди кустов девочка увидела тусклое зеленоватое пятно света.

— Это зелёное, что ли? — неуверенно спросила она у гнома.

— Точно. Эта пещера и есть. Только не заходите, пока Осколок и Труба туман не уберут, — сказал он и добавил: — Ну, вот и всё, прощайте, мне идти надо.

— Спасибо, Стружка, всего хорошего тебе, — ответила Лиза и, подождав, пока гном скроется во мраке подземного хода, прикоснулась к юбке посохом, чтобы наконец-то сменить её на свои любимые джинсы. «Так, — удовлетворённо подумала она, осмотрев себя в лунном свете, — а теперь надо подрасти. На какой ноге я вертелась в прошлый раз? Вроде, на правой... Значит, теперь надо на левой попробовать...» И девочка сделала шесть поворотов на левой ноге влево. Снова, как и в прошлый раз, закружилась голова, а посох чуть не выпал из руки, потому что стал маленьким и тоненьким, как простая палочка. Лиза решила пока не увеличивать его, а спрятать в объёмный карман ветровки, карман же на всякий случай застегнуть

на молнию. Девочка спрыгнула с валуна и пошла вверх по склону холма, на вершине которого светилось зеленоватое пятно. Сделав несколько шагов по неровному каменистому грунту и раза три споткнувшись при этом, Лиза подумала, что легче и быстрее будет долететь.

В несколько секунд она добралась до кустов, которые закрывали вход. Гномов ещё не было. Девочка попыталась заглянуть внутрь пещеры, но кроме зеленоватого клубящегося тумана ничего не увидела. Тогда она села на землю тут же, у входа, и стала поджидать гномов. Было тихо и тепло. В лунном свете слегка поблёскивали булыжники на склоне и голубела трава. Бесшумно и странно пронеслась по небу летучая мышь.

Вскоре послышались голоса, и из-за кустов показались две маленькие фигурки. Увидев Лизу, они приостановились сначала, но потом подошли ближе, и девочка легко разглядела в ярком лунном свете гномов — Осколка и Трубу.

— А мы Вас не сразу узнали, сударыня, — произнёс Осколок.

— Вы та-а-ак изменились, — пробасил Труба.

— А как вы будете туман убирать? — сразу же спросила Лиза.

— Видно, придётся с ним повозиться. Был бы ветер — пустили б его по ветру — и всё. А сейчас придётся хоть ветками, что ли, разгонять. Оторви-ка мне вон ту ветку, — попросил Трубу Осколок. — А Вы бы, сударыня, отошли в сторону, а то вдруг на Вас туман понесёт — это очень опасно.

— Ну, если вам нужен ветер, то вот он, — и Лиза достала из кармана ветровки носовой платок.

Осколок взял платок в руки и зачем-то понюхал его.

— Мятой пахнет. На, понюхай, — предложил он товарищу. Труба тоже понюхал и согласился: «Ага».

— А где тут ветер? — спросил Осколок, внимательно разглядывая платок единственным глазом.

— В узелок завязан. Давайте, я отойду в безопасное место, а вы его развяжите, — и Лиза сделала несколько шагов в сторону.

Она услышала, как Труба своим низким голосом стал произносить какие-то непонятные слова, наверное, это было заклинание. Туман постепенно угасал, но не рассеивался: ветра всё не было. Наконец, Осколок всё-таки развязал узелок, и ветер вырвался из платка с такой силой, что оба гнома упали на землю и покатались по траве прямо Лизе под ноги. Девочка помогла им подняться, и потом они втроем смотрели, как ветер уносит ключья тумана с холма в долину, и там они тают без следа.

— Мне уже можно идти в пещеру? — спросила Лиза.

Но гномы не успели ответить, потому что кто-то вихрем промчался мимо них вниз по склону и скрылся в кустах.

— Это он! — хором крикнули гномы.

И Лиза, не раздумывая, бросилась следом за Митей. В зарослях кустарника она растерянно остановилась: тут никого не было. Она оглянулась по сторонам и тихонько позвала:

— Митя! Митя!

Послышался шорох. Лиза позвала ещё раз, погромче. Вдруг прямо перед ней из травы неожиданно поднялся мальчик.

— Фу, напугал, — вздрогнула Лиза. — Ты куда побежал-то? Я же за тобой пришла.

— Ты как меня нашла? То есть, я хотел спросить, как сюда попала? — взволнованно заговорил Митя.

Он изменился. Давно нечёсанные волосы торчали в разные стороны. Футболка была мятая и порванная в нескольких местах.

— Потом расскажу, а сейчас нам надо поскорее домой вернуться, а то я уже целый день здесь... Ты знаешь, где подземный ход? Я тут и так не ориентируюсь, да ещё ночь...

— Пошли, — и Митя взял её за руку.

Они быстро спустились с холма, обошли небольшой шурф и оказались на узкой просёлочной дороге. Сначала Митя то и дело оглядывался, видимо, ожидая преследования, но Лиза успокоила мальчика, сказав, что гномы отпустили его домой.

— Какие гномы? — не понял Митя. — Это вот те, лохматые, похожие на комки грязи? Никогда бы не подумал! Гномы же не такие!

— А какие? Как в мультиках, что ли? Тут тебе не мультик. Если хочешь знать, тут ещё конец прошлого века, и нам надо быстрее выбираться отсюда.

— Хочешь, я тебе честно расскажу, как всё случилось? — вдруг спросил Митя.

Лиза молча кивнула.

— Ну, вот, — начал мальчик. — Кузнечиха, она ведь мне родственницей приходится... По отцу... Ей, наверное, умирать надо было, а колдуны умереть не могут, пока силу свою кому-нибудь не передадут. Но она узнала, что в стране троллей и эльфов колдуны не умирают, а, отдав свою силу, превращаются в эльфов. Но для этого нужно было найти девочку с длинными русыми волосами, с зелёными глазами и по имени Елизавета. У Кузнечихи тоже такое имя. Она как-то узнала, что ты приехала в деревню и подходишь под все эти условия. Вот однажды, когда я ловил рыбу недалеко от её огорода, она подошла ко мне. Я здорово тогда испугался: её уже около двух лет не видели в деревне. Все думали, что она где-нибудь пропала... Она приказала тогда мне привести тебя в её старую баню и сказала, что подаст знак, как дальше действовать. Ты не обижайся, но она пригрозила известить мою мать, если я тебя не приведу. Ну, а потом ты сама знаешь, что произошло...

И Митя замолчал, опустив голову.

— Я уже не сержусь на тебя, — задумчиво сказала Лиза. — Сначала, конечно, обидно было, а потом я столько интересного узнала, что обида вся прошла. Да, а Кузнечиха-то куда девалась?

— Она теперь эльф. Когда я убежал от гномов в первый раз, то встретил её около того озера. Она сказала, что будет ждать тебя там и что чувствует себя виноватой перед нами.

— Ну, надо же! Значит, вот какая тайна была у Мелодии! — догадалась Лиза.

— У кого?

— Я встретила её там, у озера. Она мне очень помогла, — объяснила девочка.

Лиза хотела предложить Мите полететь до подземного хода, но ей отчего-то стало неудобно демонстрировать перед ним свои чудесные способности. Поэтому до знакомого обрыва они добрались нескоро. Потом ещё долго спускались по белой стороне вниз и искали в темноте тот самый камень, под которым должен был находиться ход, ведь луна освещала противоположную сторону обрыва. Нашёл его Митя, а Лиза, расстегнув карман, вынула из него посох, больше похожий не волшебную палочку, и коснулась им камня, закрывшего ход.

— Ход, откройся!

Но камень остался на прежнем месте.

— Н-д-а-а-а! — разочарованно протянул Митя.

— Наверное, здесь нужно заклинание, — догадалась Лиза. — Сейчас, сейчас, я что-нибудь придумаю...

В голове вдруг сами собой стали выстраиваться в строки очень простые слова, которые она и проговорила, снова коснувшись камня посохом: «Камень древний и седой, на пути у нас не стой! Ты на части развалился, ход под камнем, отворись!»

Раздался треск, под камнем образовалось отверстие, которое постепенно росло, расширялось, и из которого полился нежный розоватый свет.

— Митя! — воскликнула Лиза. — Идём!

Вечерняя заря окрасила полнеба в золотисто-розовый цвет. На траве блестела и переливалась роса. Пахло цветами и речной сыростью.

— Как хорошо, как хорошо! — повторяла Лиза, кружась по траве.

Митя сначала оглянулся по сторонам, а потом спросил у девочки:

— Лиза, я не сплю? А где баня-то?

— Нет, не спишь, — засмеялась Лиза, — Баня сгорела... А я сейчас закрою этот ход навсегда.

— А вдруг он когда-нибудь тебе пригодится?

— Зачем он мне? Я туда больше не собираюсь! — и девочка наклонилась над отверстием в земле. Она хотела опустить туда посох, но, подумав, спрятала его в карман. Ход тут же сам по себе стал сужаться и пропал, будто его и не было.

— А у тебя здорово получается... колдовать, — усмехнулся Митя. — Это Кузнечиха научила?

— Ладно, нам пора, — Лиза отошла от пожарища и оглянулась по сторонам.

У межи сидел серый пушистый кот. Он сосредоточенно умывался, делая вид, что важнее этого занятия нет ничего на свете.

— Дед Фока! — обрадовалась Лиза и быстро подошла к нему. — Ты давно тут сидишь?

— Да ещё и не уходил. Мне ведь Тит Евлампич наказал, чтоб без тебя не возвращался.

— С кем ты там разговариваешь? — спросил Митя. — С кошкой, что ли?

— Это кот.

— Ваш кот?

— Теперь наш, — ответила Лиза и почему-то засмеялась.

А кот ласково потёрся о лизины ноги и пошёл вперёд по тропинке.

г. Зеленогорск



И Валерий Кузнецов Так всю жизнь

Попрошайка

Откуда взялась она в многолюдном посёлке нефтяников, никто толком не знал. Думали, сидит денёк-другой с протянутой рукой и исчезнет так же тихо и незаметно, как и появилась.

А она прижилась тут, присмотрев за пекарней завалюшку, в которой и поселилась со своим выводком мал мала меньше.

Младшего из сыновей Райка, по прозвищу Жёлтая, брала с собой на автостанцию, где просила милостыню.

Её жёлтое, с бестолковым выражением лицо бросалось в глаза своей некрасивостью. Согбенная, в надвинутом на прищуренные глаза тёмном платке и выцветшем платье, сидела она, словно мумия, до самых сумерек, пока не отъезжал последний автобус. Не выпрашивала, не кланялась беспрестанно, чтобы вызвать у прохожих жалость. Сидела смиренно, как и подобает опытной попрошайке, уповая на щедрость посельчан.

В дни народных гуляний Райка перебиралась к столовой, где весь день шла бойкая торговля вином и разными сладостями.

Посёлок тогда напоминал гудящий улей. По шоссе и тротуару прохаживались нарядно одетые люди, повсюду слышались песни и частушки. Захмелевшие мужики подносили Райке стаканчик красного вина, предлагая выпить за праздник. Райка поджимала и без того тонкие, бескровные губы и, часто моргая бесцветными ресницами, бурчала под нос: «Ещё чего! Что я, пьянь, какая?! Пожрать бы лучше дали. А от этой заразы сыт не будешь...» Однако в громкий разговор не вступала. Не для того сидит здесь, чтобы базар разводить...

По-разному относились в посёлке к попрошайке. Одни охотно подавали, другие стыдили, мол, совсем совесть потеряла. Молодая, а работать не хочет. Были и такие, в ком нищенка возбуждала гадливость и отвращение.

С ней сам участковый милиционер разбирался: кто такая, откуда, почему не работает? А она опустила голову и молчит, будто и не о ней вовсе речь. Знает она этих служивых! Стоит только рот открыть — не отвяжется, а если по глупости своей ещё и ляпнешь невпопад — всю душу истреплет. Покрутил он её документ, покачал головой, косясь на разбросанные по тряпице медяки и, махнув рукой, ушёл. Райка проводила его хитроватым взглядом. «Что он ей, многодетной!»

Работать она и в самом деле не могла. Желудком сильно страдала, хотя просить начала ещё девкой, прикидываясь то глухонемой, то больной на голову.

В детстве она не раз видела людей с протянутой рукой, только не могла тогда взять в толк, за что подают им? Что заставляет их сиднем сидеть на одном месте? Но когда её, совсем малую девочку, выставили за дверь детского дома, поняла, откуда берутся попрошайки... Жила беспризорницей, воровала. А потом и сама стала просить. Сидела с забинтованным лицом и со скрюченными руками. По совету «друзей» по промыслу приноровилась Райка и глаза выворачивать. Попробовала. Целый день бьёшь баклуши, а тебе за это ещё и денежку бросают. Понравилось. С того времени и начался немудрёный её промысел.

Райка заметила, что просящим мамам подают охотнее. После первого ребёнка от рыжего пьяницы дела у неё пошли намного лучше. С тех пор и наладилась безотцовщину разводить. Какая Райка ни бесстыдная, а с детьми на руках сидеть на людях ей всё же спокойнее. Вроде как при деле — мать. Детишки на прохожих жадными глазёнками смотрят, «дай-дай» ручонками делают. Ну, как тут пройдёшь мимо! Да и вид у Райки — не передать. Убогая и только.

В лесной посёлок она подалась по совету старой учительницы. Чего, говорит, пыль здесь глотаешь, сама мучаешься и деточек мучаешь? Приезжай к нам, не пожалеешь. Народ у нас весёлый, приветливый. Устроишься на работу, жильё подыщешь. Никто ещё не разговаривал с ней так сердечно.

Встречаясь в посёлке с учительницей, Райка стыдливо отворачивалась, но та ничего ей и не говорила. Только однажды попросила привести к ней в школу старшеньких своих. Как ни противились её лоботрясы, силком притащила их в школу. «Ох, и намаешься же ты с ними, иродами бестолковыми», — посочувствовала Райка учительнице.

Сорванцы её и впрямь ни на что путное были не способны. Средний, правда, умудрился начальную школу закончить, в отца, выдать, пошёл. Старший с трудом два класса осилил. Остальные трое сыновей — неучи. Двух слов связать не могут. Зато по части «мата» — палец в рот не клади. Райка и та не всегда могла перематерить их. А она — в три ряда кроет. Как-то в городе, в компании вокзальных забуддыг, на спор «кто кого?» она выиграла целых три бутылки «Столичной», которые потом выменяла на харчи. Материлась от души. Такое несла, что выдавшие виды ханыги только успевали переглядываться да за животы хвататься.

В сорок лет родила Райка Маринку. Не девочка — картинка. Курчавая, большеглазая. Миленькая такая. Ангелочек и только. Люди невольно любовались ею. Старались погладить, сунуть какое-нибудь лакомство.

Но больше всех малюткой заинтересовалась одна почтенная пара. Раньше Райка этих людей в посёлке не видела. Они долго и вежливо расспра-

шивали, как зовут девочку, кто её отец, не голодна ли она, здорова ли? Райка терпеливо молчала, а потом не выдержала:

— Вам что, поговорить больше не с кем? Идите себе с Богом!

— Не сердись, — попросил её мужчина, протягивая сто рублей.

У Райки перехватило дыхание.

— Подожди, меня, пожалуйста, здесь, Митя, — обратилась к нему женщина. — Я сейчас.

Мужчина не сводил с Маринки влюблённых глаз.

— Вы что, не тутошние? — смягчив голос, полюбопытствовала Райка. Незнакомец оживился.

— Приехали сюда век доживать. К земле потянуло.

— Из начальников, небось?

— Военный я, полковник.

Райка недоверчиво посмотрела на молодого, осанистого мужчину лет пятидесяти. Никогда в жизни не разговаривала она с таким чином.

— Жена? — кивнула она в сторону магазина.

— Да. Элеонора Ивановна.

— Детей, видать, не заимели? А у меня их шестеро. И всем позвать давай.

— Шестеро?! — опешил мужчина. — Ох, мать моя! И где же они?

— А чёрт их знает! Собак по улицам гоняют да по садам шныряют.

Элеонора Ивановна купила Маринке ситцевое платьице и плюшевого медвежонка. Полковник протянул к малышке руки.

Та охотно пошла.

Женщина отвернулась, украдкой смахивая слёзы.

— Прости, Эля, — виновато произнёс муж. — Я не хотел тебя расстроить.

Он отдал девочку Райке, и они поспешно ушли.

«Чудные, — подумала Райка, шелестя сторублевой. — Денег, кажись, куры не клюют. Ишь, как разбрасываются...». Никогда в жизни не держала она в руках такого богатства.

Долго не показывались её новые знакомые. Райка уж и думать о них перестала. И вдруг объявились. Разнаряженные и вроде как смурные. Мнутя, стоят, переглядываются. Все на Маринку её смотрят и вздыхают. Всплеснув руками, Элеонора Ивановна принялась доставать из корзиночки угощения. Маринка тянула к ней ручонки. Женщина бережно взяла её.

— Ах ты, моя куколка! Чумазенькая!.. — И, собравшись с духом, выпалила, обращаясь к Райке: — Отдай нам дочку. Век помнить будем и в обиде тебя не оставим. Мы уедем отсюда, дадим девочке образование. Будет счастливым человеком.

Обалдевшая Райка так и не нашлась, что ответить. К ней не обращались с подобными просьбами.

Долго уговаривали её супруги, чуть ли не золотые горы сулили. Райка быстро смекнула, где ларчик открывается, и согласилась отдать дочь при условии, что те останутся жить в посёлке, а она хотя бы изредка сможет видаться с Маринкой... Райка получила деньги немалые, пуховую

перину, постельное бельё и кое-что из женского гардероба.

Сидела она теперь в роскошном платье из розового шёлка, при бусах. Кассирша Любка, вертихвостка и матерщинница, укатывалась со смеху:

— На тебе это платье, как на корове седло, — кричала она из окошка кассы. — И тебе, дуре, копейки теперь никто не бросит.

Райка огрызалась в ответ и плевалась в её сторону.

Всякое видывал на своём веку рабочий посёлок, но чтобы нищенка разнаряженной сидела, такого на его памяти ещё не было.

А она то одно платье наденет, то другое. То капроновую косынку повяжет, то атласную. На неё школьники всю неделю бегали смотреть. Пошли разговоры, что попрошайка кого-то обчистила. Вместо дочки её теперь сопровождали двое младших сыновей.

Вечерами Райка мчалась к Маринке, всеми правдами и неправдами выуживая у новых родителей деньги. И до того преуспела в искусстве вымогательства, что бедные люди в конце концов бежали из посёлка.

Покинуть привычное место Райку заставила жизнь. Прокормить её ораву посёлок был уже не в состоянии. Даже если бы ей пришлось вытворить нечто потрясающее, больше обычного подавать бы не стали. Не те времена пошли. Ободрали посёлок, как липку. Не осталось в его окрестностях ни нефти, ни ценных пород древесины. Люди стали уезжать в поисках работы.

Просила Райка теперь на стороне. Наладилась ездить в два конца: в городок нефтяников Хадыженск и курортный Горячий Ключ. В посёлке же с сыновьями только по дворам побиралась. Оденется в лохмотья, насочиняет разных историй и причитает: то погорельцы они, то кормильца злодеи убили, то село их наводнением накрыло... Несчастливая мать убивается, дети плачут. У кого сердце не дрогнет? Горе-то какое, не приведи Господи! И выносят, кто что может из обуви и одежды.

И всё шло хорошо в древнем её ремесле, не появившись у неё конкурентка, такая же, как и она, попрошайка с соседнего хутора Весёлого, что по пути в Хадыженск, куда Райка отправлялась первым рейсом на заработки. Как увидела она её сидящей недалеко от своего пятачка, мимо которого проходили за день тысячи людей, так и обомлела. «Ах ты, стерва толстозадая! Ты что же, тварюга, другого места не нашла? Шустрая ты, видать, бабёнка, но и мы не пальцем деланные. Я ж zenки твои бесстыжие выцарапаю за этот пятачок...».

Но однажды Лизка, так звали нищенку-конкурентку, перехитрила Райку. Заночевав в городке, утром, как ни в чём не бывало, уселась на её коронном месте. Райка, увидев это, позеленела от злости. Они дрались до крови. Разнял их милиционер, пригрозив отправить обоих на пятнадцать суток.

С того дня стали попрошайки на пятачок бегать наперегонки. В автобусе едут, как люди, но стоит им приехать на конечную остановку, как начинается представление: обе вмиг в инвалидоч

превращаются. Райка, закатив глаза, хватается за сердце и вопит не своим голосом. Лизка на костылях скачет. Худосочная, быстрая на ногу Райка, обычно опережала неповоротливую Лизку. Та, поотстав, матерится, на чём свет стоит, костылями замахивается.

— Пошла вон, шалава, — вопит Райка. — Вишь, занято? Или повылазило? Иди, откуда пришла, лахудра мокроглазая!

— Заткнись, дохлятина! Чем ты лучше меня, голодранка?! Обезьяна против тебя и та красавица.

— Лучше обезьяной быть, чем такой паскудиной.

Горожане привыкли к их концертам, но толпа зевак не убывала. Даже представить было невозможно, что выкинет каждая из попрошаек.

Выросли Райкины дети, как в поле бурьян. Только на прозябание в неволе и сгодились. Четверо за воровство по тюрьмам пошли. Средний, любимчик её, выучился на тракториста. Женился, четверых детей на свет произвёл. Но потом и он с глущу съехал. Стал водку хлестать, дебоширить. Досталось от него Райке. Как-то зимой, вусмерть пьяный, гоняясь за матерью на тракторе, он въехал прямо в их завалюху. Долгое время ютились все гамузом в чудом уцелевшей кухоньке. «Лучше б ты вшей да клопов в тюряге кормил, проклятый, — выговаривала ему Райка. — Лучше б я продала тебя, подлюгу. Сколько хлеба моего перевёл, вредитель постылый».

Думками о Маринке голову Райка себе не забивала. Не до неё. Наверное, и не вспомнила бы, если б не получила от родителей её письмо с фотокарточкой. Ох, и красивая ж девка выросла! Вся из себя. Видать, живёт, как сыр в масле катаётся. Написать не захотела. До сих пор не верит, что попрошайка её родила. «А кто ж тебя, дурёху, родил? — спрашивала Райка, вглядываясь в фотографию. — Кабы не отдала б добрым людям, так и ходила бы чумазая да оборванная. А теперь-то носом крутить можно. Учёная! С головы до ног разодетая, как та королева. Что ей Райка нищая?! Да и не помнит она меня. Бог с ней. Отломанный кусок, что и говорить». Она завернула фото в платочек и сунула за пазуху.

Где-то в глубине души Райка радовалась, а быть может, и гордилась, как могла, что живёт на белом свете у добрых людей её кровинка с незагубленной судьбой. Ладная, ухоженная, не под стать братьям. Да, не поддурись тогда Райка грамотным и обходительным людям, неизвестно, что было бы с её Маришкой... Без малого полвека просидела Райка с протянутой рукой. И по сей день сидит.

Еле волоча жилистые ноги, скелет скелетом, тащится она в шумный город в поисках нищенского своего счастья, захватив с собой двух малолетних внуков, кормильцев своих.

Частная жизнь старого переводчика

В 1945-м бывший военный переводчик Фёдор Шмаков из рабочего общежития перебрался в двухэтажную «хрущёвку», поближе к школе, в которой преподавал немецкий.

В квартире сильно пахло краской, свежо поблекивал паркет и слепили глаза стены, но новосёл оставался равнодушным ко всему.

Его холостяцкое жилище долго ещё оставалось необжитым и полупустым. Берёзовые стойки с грубыми толстыми полками вдоль стен, заставленными книгами и справочниками, напоминали строительные леса. Окна закрывали деревянные щиты. Всё его богатство составляли книги, трофейные пишущие машинки да чёрный габардиновый костюм, который он всё-таки решился купить перед поездкой в Берлин. Свою обнову Шмаков носил в потёртом чехоманчике, так как был уверен, что костюм непременно украдут.

Высокий, полноватый брюнет-очкарик ходил в холщовых брюках и в рубашке-толстовке навыпуск. Одежда эта была у него на все случаи жизни и штопалась единственной в доме пенсионеркой Марьей Михайловной.

Он разрывался на части: учился заочно в инязе, вёл большую переписку с зарубежными школами, давал уроки на дому. Но настоящей его страстью были переводы с иностранного. Наспех поужинав, он садился за работу, кружившую голову неизвестностью. Нескончаемый поток получаемой информации звучал для него чудесной музыкой, мысли укладывались в сложнейшие фразеологические обороты и синонимические ряды. Молодой переводчик забывал обо всём на свете и не замечал, как пролетают дни и месяцы.

Он весь в отца. Настырный, трудолюбивый до исступления. И по части денег экономный. Чтобы без надобности копейку по ветру пустил — упаси Бог!

«Запомни, деньги — великая сила! — наставлял, бывало, его отец. — С ними не пропадёшь».

В роду Шмаковых остался один Никита, молодой потомственный рыбак. Вся его многочисленная родня погибла во время страшного наводнения в 1911 году, а его, обхватившего мёртвой хваткой дерево, выбросило на берег Азова. Вскоре сбил он в родной станице артель, ставшую впоследствии богатым рыболовецким колхозом, и полвека был его бессменным руководителем.

За 93 года прижимистый Никита скопил уйму денег. Однако детям своим кроме старого деревянного дома не оставил ничего. Всё завещал советской власти.

Посёлок текстильщиков только застраивался. Один за другим вставали в нём многоэтажные дома, магазины, рабочие общежития.

Достопримечательностью рабочей слободы Краснодара считались четырёхэтажная школа и Дворец культуры камвольно-суконного комбината.

Раз в неделю Никитич приходил в клуб на кинокартину. Возвращаясь домой, любил прогуляться по ночному посёлку, вокруг которого на много вёрст простирались сады да кукурузные поля. Не было ещё здесь ни улиц, ни частных подворий с огородами и цветниками. Не пели по утрам голосистые петухи, не лаяли собаки. Тут царствовала окраинная тишина, от которой ночами веяло вечностью.

Перед сном Никитич просматривал дюжину газет и журналов — подчёркивал, вырезал и откла-

дывал в папки. Этим хламом у него забита вся квартира и два подвала. Посторонний человек непременно подумал бы: «Хоть убейте, не пойму, зачем набивать целый склад отжившими своё газетами и полусгнившими книгами? Какой прок с этой свалки?!» Никитич так не думал. Всё это — часть его жизни.

Но больше всего он преуспел в познании иностранных языков. Особенно — немецкого.

Если кто-то удосужится, к примеру, углубиться в мир сказаний средних веков, то удивится прекрасной осведомлённости переводчика в этой области. Никитич знает наизусть множество немецких народных и классических стихотворений и сказаний, в подлиннике читает Гёте, Шиллера, Гейне...

Попытаться в нескольких словах рассказать о профессии переводчика, значит, ничего не рассказать. С этим мог бы успешно справиться сам Никитич. За чашкой чая он поведал бы немало интересного. Но это невозможно, потому что ему вечно некогда. Иногда, правда, в короткой беседе он может предаться мимолётным воспоминаниям о боевой молодости, о войне.

В юности Фёдор мечтал выучиться на юриста, поступил в Московский университет, но началась война.

На фронт его не взяли из-за близорукости. Он вступил в ополчение и был направлен на станцию подслушивания, где каждый день, в течение восьми часов, слушал по радиоприёмнику немецкую станцию и все важные сведения передавал в штаб для составления общей сводки. Так начался его путь военного переводчика. Меньше всего Шмаков думал о том, что его не очень-то большой запас немецких слов может пригодиться в борьбе с врагом.

Азы и секреты профессии приходилось постигать на ходу: военную терминологию и практику перевода, структуру немецкой армии, характер вооружений, основу боевой тактики, знаки различия офицерского состава и многое другое. Не менее важным было знать и солдатский жаргон. И самой лучшей школой оказались трофейная документация и показания первых «языков». У него имелись при себе кое-какие пособия: разговорники, словари, записи месячных курсов, но главным его «учебным пособием» являлись пленные.

По мере овладения языком росли у молодого переводчика уверенность и интерес к этой ответственной профессии. И всё-таки до профессионализма было далеко. Порой, даже аккуратно переводя с помощью словаря какой-то военный термин, Шмаков и его товарищи не знали, из какой он «оперы».

В сентябре сорок первого в руки армейских разведчиков попал приказ командира немецкой дивизии о готовящемся наступлении на Москву. Переводчики перевели документ, но затруднение вызвал лишь один термин — «шверпункт». Его можно было истолковать по-разному. И, в зависимости от этого, удар от немцев можно было ожидать или по центру расположения нашей дивизии, или во фланг. «Думайте, — требовал генерал. —

Переведёте неправильно — трибунал! А тому, кто найдёт точное значение слова «благодарность»».

Несколько часов ломали ребята головы над этим проклятым словом. Но тут Шмакова срочно вызвали на допрос «языка», где он и выяснил у пленного значение нужного термина.

Профессия переводчика требует от человека особых качеств, таких, как дошотность, терпение, исключительная работоспособность и усидчивость. А главное, нужно обладать мужеством отказаться от многих прелестей бытия.

Однажды он сделал свой выбор и остался верен ему. В жизни ведь, так или иначе, мы всё равно чем-нибудь жертвуем. Никитич — не исключение. Потеряв в одном, он нашёл себя в другом.

Посёлок текстильщиков рос, благоустривался. Вокруг появились десятки больших улиц и маленьких переулков. Комбинат стал известным в своей отрасли предприятием. Никитич тоже кое-чего добился в своей жизни. Закончил два факультета института иностранных языков, поработал в школе. Ещё успел побывать в Англии, дважды жениться и развестись. Но главное — то, что в своём деле он достиг известных высот.

Если кому-то срочно требовался опытный переводчик, им непременно рекомендовали Никитича. С тех пор, как нашёл он свою «золотую жилу», жизнь его обрела конкретный смысл. И хотя, старик напрочь позабыл о покое, хлопоты эти ему не в тягость.

Он и раньше неплохо зарабатывал. Правда, трудиться приходилось немало, прихватывая и выходные, и красные дни календаря. Но не был бы он Шмаковым, если бы не придумал чего-нибудь такого, до чего никто ещё в этом городе не додумался.

Началось всё с того момента, когда российские немцы стали срываться с насиженных мест и уезжать на свою историческую родину. Вот тут и понадобился им Никитич. Переводчик быстро смекнул, что к чему, и открыл домашнее бюро по заполнению выездных «антрагов». Из немецкого посольства стали регулярно приходить к нему большие жёлтые пакеты с формулярами, которые он аккуратно заполнял на немецком и продавал клиентам по рыночной цене. Но никто из них ни разу не упрекнул его за эту вольность, так как вынужденные расходы всё равно намного меньше тех, чем, если бы заказчик сам ехал в столицу, тратился на проживание и еду, и неизвестно, сколько простаивал бы у здания посольства...

Никитич едва управляет, а люди всё едут и едут к нему: уж очень хочется им начать на немецких землях новую жизнь. Ни один документ, оформленный им для выезда, не был возвращён из секретариата посольства.

Слава о переводчике давно уже разлетелась по городам и весям. Горожане благодарили его деньгами, а сельчане — щедрым провиантом.

Просыпается Никитич ровно в четыре. Выпивает чашку крепкого чая, отключает телефон и принимается за дело. Пишущая машинка не смолкает до позднего вечера. Ближе к полуночи переводчик отходит ко сну. И хотя квартира его заперта на несколько запоров, для пущей надёж-

ности он кладёт под подушку ржавый трофейный кинжал.

Он напоминает трудягу-муравья: спует, хлопчет. Какие-то срочные дела, порой бессонные ночи. Правда, на общественную работу у него уходит теперь не более трёх дней в неделю. Во вторник преподаёт на курсах языка, а в выходные пропадает в немецком культурном Центре, созданном при его участии. Здесь он охотно общается с людьми и слушает воскресные проповеди апостола, прибывшего из Магдебурга. Обычно скупой на похвалу, Никитич восхищается искусством красноречия проповедника, а также его щедрыми обедами после окончания проповеди.

Больших денег Никитич в доме не держит. По вечерам достаёт он из-за батареи заветный целлофановый кулёк, вытряхивает на кухонный столик купюры и раскладывает пасьянсом. Деньги кружат голову разноцветьем и неповторимым запахом. Не спеша, с наслаждением пересчитывает он их, перекладывая с места на место. Он может делать это бесконечно! Если звонят в дверь, спешно собирает добро в кулёк и засовывает обратно за батарею или прячет в большой комнате, напоминающей свалку. Есть в ней, правда, старая кровать, стол, шкаф, но всё это завалено всякой всячиной. На полу лежит ворох пожелтевших газет и журналов. Окна закрыты листами ватмана.

Вторая комнатка, маленькая и таинственная, всегда закрыта. В прихожей среди книг и справочников, брусков мыла, банок с консервами, носков, обуви, валяются два коричневых чемодана, с которыми переводчик отправляется в строго назначенный день и час в Общество российских немцев.

Вся житейская суета — уборка, стирка, чаепитие с гостями, праздники и всё, что связано с домашними хлопотами, представляется ему не больше, чем мышшиной вознёй, на которую занятый делом человек растрчивать себя не имеет права.

Никитич неуклюж, неряшлив и неопрятен. На нём непременно что-нибудь не застёгнуто, одежда измята. Его туфли напоминают сказочные скоророды — длинные и до неузнаваемости изношенные. Шляпа чудом держится на макушке.

В редких случаях, когда выпадает приятная возможность блеснуть талантом переводчика, он надевает роскошный костюм чёрного цвета и повязывает красивый галстук. Седые волосы его аккуратно зачёсаны набор, подбородок тщательно выбрит. На приветливом, хитроватом лице откровенное удовлетворение. В среде иностранцев Никитич чувствует себя, как рыба в воде: становится необычайно оживлённым, словоохотливым и возбуждённым. Смешно размахивает руками и быстро говорит, брызгая слюной.

О чём говорит? О, вы не знаете старого переводчика! Обо всём! Несмотря на преклонный возраст Никитича, круг его интересов удивительно разнообразен. У него никогда не пропадал интерес к жизни. Ему столько удалось узнать, увидеть и услышать, что иному и малую толику этого не осилить. И всё благодаря своему пытливому, острому уму и неугомонному характеру. Многие ли из вас на протяжении сорока лет, день в день, слушают зарубежные радиостанции, ведут переписку с друзьями и всевозможными обществами, читают

в оригинале иностранную и научную литературу, газеты и журналы, живьём общаются с немцами, англичанами и французами? То-то же!

Ну а в праздник души, или, как говорит сам Никитич, в именины сердца, что случается крайне редко, он пиршествует в своём удовольствии: из расписного сервиза пьёт любимый индийский чай, ест копчёные колбасы и салаты, а на десерт яблоки с рынка. Весь вечер в его квартире звучат мелодии военной поры и немецкие народные песни. «Никитич гуляет!» — смеются соседи.

Одиночество стало для него образом жизни, мирно соседствующим с ним под одной крышей. Он построил в своём сердце особый, только ему понятный и желанный мир, воздвиг скит и затворился в гордом уединении. В эту свою обитель переводчик не пускает никого и живёт лишь памятью любви к собственному прошлому. Он как бы разговаривает с этой памятью и с душой. Именно душа — главный для него дом, Дворец, где жить старому переводчику до последнего часа.

Нелюдность — форма его бытия. Иной человек без устали крутится среди людей, а остаётся одиноким, изнывает от ненужности своей, как неприкаянный. А такие, как Никитич, сидят затворниками в собственном углу, как в любимой клетке, однако, не стремятся выбраться из неё, потому что обладают даром воображения, неустанно живут прошлым; встречами и расставаниями с милыми сердцу людьми, без устали перелистывая страницы своей долгой жизни, как бы проживая её заново. Воспоминания, работа ума и сердца греют их душу и заставляют её трудиться, ибо иного не дано... Дело в том, что люди в воспоминаниях всегда были ему ближе тех, кто живёт с ним рядом...

Однажды Никитич изменил строгому распорядку. Проснувшись, он не сел по привычке за переводы, а заспешил к газетному киоску.

В городе резко сократилась продажа некоторых популярных изданий, без которых переводчик не мыслит своей жизни. В то время как жильцы со всего двора торопятся к молочной бочке, Никитич старается одним из первых занять очередь за пищей духовной.

Здесь и познакомился он с миловидной женщиной преклонных лет. Алла Ивановна — полная противоположность ему: степенна, медлительна. Даже разговаривает задумчиво. Роднит их страсть к чтению, рост и комплекция. Оба — высокие, грузные. Вместе коротали они предрасветные часы ожидания и, в конце концов, подружились. В посёлке это не осталось незамеченным. А для досужих соседских старух событие имело эффект разорвавшейся бомбы. Они умирали от любопытства: чем могла дородная соперница из бывших учительниц «купить» Никитича? Он ведь никого рядом с собой не терпит. Скорее земля разверзнется, нежели этот затворник разделит крышу на двоих...

Алла Ивановна стала приносить Никитичу свежие газеты и горячие завтраки. Особого любопытства он к ней не проявлял. С некоторых пор интерес к женщинам у него пропал. Хотя когда-то он знал в них толк и умел по достоинству оценить дарованные им Богом и природой прелести. По

старой привычке он, правда, выписывает из Германии иллюстрированный журнал «Пунте» («Всякая всячина») и по вечерам, предавшись воспоминаниям о былой молодости, рассматривает очаровательных манекенщиц. Долго присматривалась к нему Алла Ивановна, наконец, решила:

— Фёдор Никитич, — начала она без обиняков. — Мы с вами уже немолодые, надеяться не на кого. Я одна в целом свете и хотела бы соединить с вами свою судьбу. У меня хорошая пенсия, есть сбережения.

— Нет, нет! — испуганно произнёс переводчик. — Слишком поздно строить дом на двоих: я уже не сумею жить иначе.

Он не мог сказать со всей откровенностью, что как-то боязно, что лень, что не хочется ломать привычный уклад жизни.

«Зря только время тратите», — сказала ей как-то соседка Никитича. Но Алла Ивановна с ним не порвала. Также приходит к нему по утрам с газетами и кастрюльками.

— Айн момент, — предупреждает он сиплым голосом и гремит на кухне и в прихожей, пока не отыщет связку ключей.

— Доброе утро, — приветствует его Алла Ивановна бархатистым голосом и не сводит с него задумчивых глаз.

— Доброе, — раскланивается Никитич. — Вы знаете, у меня опять столько работы, что я едва успеваю. Дорога каждая минута.

Несколько минут они говорят через цепочку о пустяках и расстаются до следующего утра. «Ничего, привыкнет ко мне. Сегодня я ему не нужна, а завтра сам позовёт», — надеется она в душе. Никитич платит ей за хлопоты, однако делает это всё Алла Ивановна вовсе не ради денег. Видно, мужчинам не дано понять, что для женщины преклонных лет одиночество...

В последнее время в его город, словно магнитом, стало притягивать проповедников из других стран. Они арендуют лучшие залы и ежедневно проповедают библейские заповеди.

В течение месяца со сцены драматического театра вещал учение адвентистов евангелист и педагог из американского штата Флорида Дон Тайвер. Миссионер собирал переполненные залы. Люди стояли в проходах, сидели на скамейках, принесённых из вестибюля, и на ступеньках. Здесь собирались верующие и неверующие, взрослые и дети, солдаты и женщины. Люди приходили, чтобы получить ответы на самые волнующие вопросы. Проповедник внушал им любовь к ближнему, чувство собственного достоинства, чувство ответственности и, конечно же, почитание Бога. В своих проповедях евангелист не открывал чего-то нового, он повторял истину, которой уже тысячи лет. Но собравшиеся горожане слушали с затаённым дыханием. Никитич тоже слушал толкование главной Книги человечества с почтением и даже любопытством. Его, однако, глаза его оставались холодными. Его больше интересовала настоящая английская речь, произношение и перевод на русский язык, за которым он следил настолько внимательно, что проговаривал про себя каждую фразу. Выражение его лица говорило о том, что переводом он доволен.

«Толковый молодой человек. Надо бы поближе с ним познакомиться», — подумал Никитич. Он с уважением относился к молодым коллегам.

В последнее время старый переводчик заметно сдал — ссутулился, ещё больше погрузнел. В его походке нет былой уверенности и твёрдости. Он быстро устаёт, а к вечеру одолевает его зевота и слипаются глаза. «Ничего не поделаешь, — успокаивает себя Никитич. — Старость уже всюю хозяйничает. Но силы ещё есть».

По натуре он оптимист. В его возрасте больше ничего и не остаётся. «Да, нынче праздник, завтра будет тризна», — вспомнил он слова известного романа.

— Никитич, ну возьмите меня замуж, мы хорошо будем жить. Вот увидите! Я создам вам уют, — докучает ему Аида Викторовна со второго подъезда.

Никитич качает головой.

— А когда совсем состаритесь, заболаете, что тогда? Кто за вами ухаживать будет?

— Найму сестру милосердия, — находится старик.

— Ну, тогда хоть этой... сестрой возьмёте?

— Не мытьём, так катаньем? — смеётся Никитич.

— Это вы сейчас так говорите. А старость и немощность не спросят. Возьмут за глотку и всё тут, — наседает соседка.

В день Ангела Никитич решил расслабиться.

Наполнив почерневшую от времени ванну, он погрузил в неё своё тучное тело. Сегодня ему хотелось снять с себя хроническую усталость и немного помечтать. Никитич представил себя владельцем единственного в городе частного бюро переводчиков. «А что?! — воскликнул он — Почему бы мне и в самом деле не поставить это на широкую ногу?! В квартире открою офис, возьму в помощники семь или восемь молодых переводчиков и развернусь... Что ещё? Ах, да! Налажу более тесные связи с посольством и немецкими федеральными властями. Нужно отремонтировать одну из комнат и объявить конкурс переводчиков. Интересно, сколько я смогу зарабатывать? Сто, двести тысяч?.. От волнения у него застучало в висках. «Надо расслабиться». Никитич закрыл глаза и пролежал в полудрёме около часа. Мысли атаковали одна за другой. «Чтобы открыть своё дело, нужны средства. Что, если обратиться в Общество немцев? А может, к самому мэру? Думаю, помогут. Дело-то нужное. Не мешало бы и в Германию съездить. Давненько я там не бывал!»

Распарившись, Никитич с трудом выбрался из ванны, вытерся большим, когда-то белым, полотенцем и присел на табурет. Но тут же вскочил. «Как он мог позабыть?! Клиент завтра улетает в Москву, а документы ещё не готовы». «Праздник отменяется», — воскликнул Никитич и бодрым шагом направился за рабочий стол.

И так всю жизнь...

Долгая умственная работа наложил на облик лучшего в городе переводчика свой отпечаток. Лицо его облагородилось, печать интеллигентности сделала его прекрасным, одухотворённым...

г. Горячий Ключ, Краснодарский край



Ирина Горюнова Чёрный воронок

Пани Ганевская

В этот дом мы переехали совершенно случайно. Когда меня в очередной раз обуяла страсть к перемене мест, мы с мужем бросились лихорадочно развешивать объявления об обмене жилплощади и после долгих мытарств случайно поменялись на квартиру в самом центре, в элитном месте, где жили генералы, заслуженные артисты и другие известные люди, а этажом ниже даже находилась квартира, в своё время принадлежавшая Василию Сталину, тому самому — сыну Иосифа Виссарионовича. Хозяйка квартиры страшно боялась того, что после смерти мужа из её квартиры сделают коммуналку, поэтому без долгих раздумий поменяла свою роскошную двухкомнатную квартиру на нашу, тоже двухкомнатную, но маленькую и со смежными комнатами на окраине. Так мы и оказались соседями с паном и пани Ги... Ганевскими. Не буду раскрывать их псевдоним, ведь раньше, когда этот телевизионный кабачок постоянно мелькал на всех ещё чёрно-белых телевизорах, это имя было очень популярным. Пани была странной женщиной, иногда у неё появлялись какие-то идеи, которые надо было во что бы то ни стало реализовать, и тогда она прикладывала к этому невероятное количество усилий. Кроме того, дама страшно любила поболтать, причём говорила в основном она, от собеседника не требовалось даже иногда поддакивать — так бывала увлечена Инесса Викторовна своими монологами. Носить же она предпочитала длинные хламиды наподобие индийских сари, цветастые и многослойные. Запястья рук — окованы множеством чеканных серебряных браслетов, а пальцы унизаны разнообразными перстнями с большими драгоценными и полудрагоценными камнями. Я старалась не слишком часто попадаться ей на глаза, потому что её монологи могли затягиваться надолго. Критерий времени совершенно не волновал милейшую женщину, думаю, что она с трудом в нём ориентировалась. Хотя, может быть это и не так, и я ошибаюсь.

В тот день я сидела и пыталась готовиться к экзаменам в институте, которые маячили не за горами, а в довольно опасной близости ко мне. К тому же вот-вот должна была подъехать моя преподавательница из Уфы, которая прибывала в Москву проездом и должна была на несколько дней остановиться у нас дома. Так получилось, что я поступила учиться в музыкальный институт в Уфе. Не пройдя по конкурсу в Гнесинское училище, я решила не ждать ещё год, а поступить хоть куда, чтобы потом перевестись на второй курс уже в своём городе. Приготовив обед, сделав уборку в

квартире, я, совершенно уставшая, села за учебники и попыталась сосредоточиться. Только я стала вникать в материал, как раздался звонок в дверь. Я тут же побежала открывать, понимая, что это моя преподавательница Клара Марковна. Но за дверью стояла соседка — пани Ганевская.

— Здравствуйте, Алёнушка! — чопорно произнесла она.

— Здравствуйте, Инесса Викторовна, — ответила я. — Проходите.

— Я ненадолго, милочка, всего на пару минут, — сказала та и волевым жестом расположилась в моём любимом кресле.

— Хотите чаю?

— Пожалуй, нет, благодарю вас. Я только-только выпила пару чашечек с нашей очаровательной соседкой Мариной Микулишной. Мне, пожалуйста, хватит. Вы знаете, какие дивные пирожки и ватрушки она печёт? Её муж, генерал Вяздохов всегда говорил, что не прогадал, женившись на ней, потому что она замечательно готовит. Хотя при этом он весьма недвусмысленно поглядывал на меня, но это строго между нами, дорогая!

— Да-да, конечно. А я тут к экзаменам готовлюсь. Сессия скоро начнётся.

— Да, разумеется, милочка, я вас не задержу. Я к вам по делу. Мне очень приглянулся ваш дивный журнальный столик, и я бы хотела его купить. У моей старшей дочери скоро день рождения, и он потрясающе вписывается в интерьер её квартиры. Знаете, там такие вишнёвые гардины и золотистая лепнина на потолке, думаю, это то, что надо. К тому же на их плюшевом диване почти такие же цветы, как и рисунок на вашем столике. Просто удивительно!

— Вы меня извините, Инесса Викторовна, но этот столик не продаётся. Он мне самой очень нравится.

— Как жаль, милочка, право, жаль. Он бы так чудесно нам подошёл. Если надумаете, пожалуйста, сообщите мне.

— Конечно, если надумаю, то вы первая об этом узнаете.

— До свидания, милочка.

— До свидания, Инесса Викторовна.

Я с облегчением закрыла дверь за своей соседкой и поплелась обратно к учебникам. Через пять минут, когда я уже начала слегка понимать, о каком предмете говорится в учебнике, кажется, это была «История КПСС», раздался звонок в дверь. Открыв её, я опять обнаружила Инессу Викторовну, которая на этот раз держала в руках какой-то тяжёлый длинный свёрток.

— Ладно, милочка, вы меня уговорили. Я поменяюсь с вами. Ваш столик на мой чудесный потрясающий ковёр.

— Но мне не нужен ковёр!

— Вы даже не посмотрели на него! — И она с торжеством развернула передо мной старый выцветший и кое-где сильно потёртый дешёвый коврик советского производства.

— Это же ручная работа! Такой вы не приобретёте даже в «Берёзке»!

— Совершенно очаровательный коврик, Инесса Викторовна. Я в таком восторге, что даже не знаю, что и сказать. — Ответила я и, потеряв терпение, вынесла свой журнальный столик. — Вот, возьмите столик, я с радостью поменяюсь с вами на столь ценную и раритетную вещь.

Совершенно не представляю, что толкнуло меня на сей поступок, ведь обычно я так легко не сдаюсь. Наверное, я очень нервничала перед экзаменом, в материале которого плавала, как бревно в проруби, или что там было в оригинале?..

Инесса Викторовна подозрительно на меня посмотрела, бросила взгляд на коврик, подхватила столик подмышку и ушла, царственно кивнув головой. Не успела я дойти до учебников, как снова зазвенел звонок. Я поплелась обратно.

Инесса Викторовна стояла перед дверью со свёртком поменьше и пылливо смотрела на мою взъерошенную особу.

— Знаете, милочка, я подумала, что такую ценную вещь, можно сказать семейную реликвию, я никак не могу отдать вам в обмен на какой-то пустяковый столик. Возьмите, я принесла вам ковёр поменьше, он тоже довольно миленький. Он у нас не больше двенадцати лет, почти совсем новый.

— О, — воскликнула я с воодушевлением, — какая прелесть! Вы обладаете потрясающим вкусом, Инесса Викторовна! Это настоящее произведение искусства! Конечно, забирайте свой первый коврик и давайте мне этот. Он замечательно будет гармонировать с моими обоями!

Естественно, я несла полную чушь, но мне уже было всё равно, требовалось как можно скорее отвязаться от милой пани и заняться самым насущным делом — учебниками. Тут моя соседка посмотрела на меня ещё более подозрительно, чем в тот раз, свернула первый из своих ковриков и пошла к себе. От усталости и лёгкой оцумелости я присела на пуфик в коридоре и стала тупо смотреть на входную дверь. Как оказалось — не зря. Буквально через минуту опять затрещали в дверь. В проёме стояла с высокомерно-обиженным видом пани Ганевская, держа подмышкой мой столик.

— Знаете, милочка, — сказала она, — я передумала. Ваш столик совсем не так хорош, как мой чудесный коврик, я просто не могу себе позволить поменяться с вами. Потомуки не простят мне такого предательства. Это будет неправильно. И мой муж сказал мне, чтобы я оставила коврики дома, на своих местах. Он так привык к ним, что будет жутко расстроен их исчезновением.

— О, как жаль, милая Инесса Викторовна, — воскликнула я, всплеснув руками, — я уже успела

привязаться к дивному узору на вашем потрясающем коврике. Мне будет его безумно не хватать.

— Ничего, милочка, вы всегда можете зайти ко мне в гости и полюбоваться им. Я вам разрешаю.

Сгрузив в коридоре мой столик, соседка проворно подхватила коврик и кинулась наутёк. Очевидно, она думала, что я буду долго уговаривать её, оставить мне свой раритет.

Не могу сказать, что в тот момент мне было смешно. Вернее, совсем не было. Пани Ганевская произвела на меня такое мощное впечатление своими обменами, что я задумчиво прошагала на кухню, чтобы сварить себе кофе. Где-то минут через пятнадцать раздался очередной звонок в дверь. За ней стояла, нет, не пани Ганевская, а моя преподавательница, но почему-то в старом ватном тулупе, в валенках и в компании с каким-то странным небритым мужчиной, в руках которого был коричневато-серый картонный чемодан с железными углами по краям, поцарапанный и побитый долгими путешествиями. Надо вам сказать, что до этого я общалась с Klarой Марковной только по телефону и не знала, как она выглядит.

— Здравствуйте, — поздоровалась я. — Проходите, я вас давно жду.

Молча кивнув, мои гости прошли в туалет и стали там копаться, чем-то громко стучать и шуршать. Удивлению моему не было предела, но я постаралась не обращать на это внимания. Люди из аэропорта, мало ли, дорога опять таки длинная... Почему она только не предупредила меня, что будет не одна? Может, просто не успела? Иногда у людей разные ситуации возникают. Всё же, могла бы и с дороги позвонить. Что они там делают?

Тем не менее, когда странная пара вышла из туалета, я радостно распахнула объятия и вскричала:

— Ну, давайте же обедать. Я тут борщичку сварила, котлеток нажарила. К столу.

Мужчина и женщина переглянулись и отрицательно помотали головой.

— Ну, тогда отдохните с дороги, — с энтузиазмом продолжала я, — я вам чистое бельё уже постлала и комнату отдельную приготовила. Не стесняйтесь, раздевайтесь, проходите. Позвольте-ка мне ваш чемоданчик. — С этими словами я вцепилась в старый потёрханный чемодан в руках мужчины.

Тот с ужасом поглядев на меня, попытался к двери и потянул чемодан на себя. Женщина постаралась держаться к нему поближе, очевидно, чтобы отвоевать дорожную кладь при необходимости. Тут зазвонил телефон. Я побежала взять трубку в комнату и поэтому отпустила ручку чемодана, а странная пара резво выскочила в коридор, испуганно хлопнув дверью.

— Алёнушка, — сказала в трубку моя мама, — я забыла тебя предупредить, я тебе тут сантехников вызвала, у тебя же туалет засорился. А то придет твоя преподавательница, а туалет не работает, неудобно получится!

— Спасибо, мама, — ответила я, — они только что ушли. — И разразилась гомерическим хохотом.

Успокоилась я только к приезду Клары Марковны. Но когда раздался звонок в дверь, то к ней я кралась на цыпочках, как партизан и долго смотрела в дверной глазок, прежде чем с опаской в голосе, тихо спросить:

— Кто там?

Рококо

Америка. Нью-Йорк. Слова для советского человека прямо какие-то всеобъемлющие. Попав первый раз в этот город, совершенно дуреешь — огромные небоскрёбы уносятся с чудовищной скоростью ввысь, стремясь пронзить небосвод своими вершинами. Небо расстилается низко и далеко вширь, так что кажется, что ты где-то под колпаком. Ощущения нереальные. Солнце отражается в окнах небоскрёбов, ломая свои лучи причудливо изогнутыми формами, и они, отражаясь от одного здания-великана к другому, пробегают так целый квартал. На улицах полно жёлтых такси, которые вереницами деловито ползут по своим делам, словно муравейник проснулся на рассвете и тут же захлопотал, зашевелился и потёк одной бесконечной струёй навстречу солнцу. Американский люд различных мастей, вероисповеданий, возрастов и национальностей с белозубой улыбкой несётся на работу, надеясь на ту Великую Мечту, которая в едином порыве и создала эту страну. Красочные витрины, огромные щиты рекламы, чётко распланированные строгие линии улиц — всё поражает человека, впервые очутившегося в этой эпопее будущего.

Попав сюда ещё только на подходе к перестройке, я окунулась в этот нереальный мир с головой. После бедного и голодного СССР эта страна показалась мне местом, где сбываются все мечты, если только приложить к этому капельку усилий. Приехала я в Нью-Йорк по приглашению одного не очень хорошо знакомого американца. Хотелось попутешествовать по миру и посмотреть разные страны. Конечно, тогда мне ещё не закрадывалась мысль о том, чтобы остаться здесь навсегда. Это было слишком смело, а прибитые коммунизмом, мыслить широко мы почти не умели.

Пожив у этого американца с месяц, я поняла, что надо искать себе другое пристанище — он явно не рассчитывал на то, что я задержусь на неопределённый срок. Питался он всегда в ресторанах, а дома еды не держал. Я не могла напрашиваться ходить ужинать с ним, потому что американцы платят каждый сам за себя, а просить его, чтобы он меня покормил, было стыдно. К тому времени, за отсутствием каких-бы то ни было денег, я целыми днями смотрела американское телевидение, сидя дома, и в один прекрасный момент поняла, что то, что говорит мне с экрана господин Президент, я прекрасно понимаю. Поскольку он наверняка не удосужился выучить русский язык (с логикой у меня вроде всё в порядке), я сделала вывод, что теперь слегка секу в английском, а когда я поняла без перевода виртуозные идиомы Гарлема, — мои познания углубились ещё основательней.

Надо было искать жильё. Подняв свои немногочисленные связи, я почти случайно познакомилась с человеком, который едва не стал причиной

моего тихого помешательства. Но всё по порядку. Милого пожилого афроамериканца звали Джим, и он был саксофонистом. Музыкантом он был неплохим и зарабатывал порядочно, так что предложил мне одну из своих комнат, скорее из сострадания или чувства авантюризма, чем из-за нужды в деньгах. Квартира, в которой он жил, состояла из двух квартир, разделённых обычной межкомнатной дверью и закрытой на замок, от которой у Джима был ключ. Дело всё в том, что раньше эти хоромы были поистине огромными, где-то около двенадцати комнат, и их занимали миллионеры, — какая-то семья, погибшая на «Титанике». Я не знаю историю деления этой площади на две квартиры, и, честно говоря, тогда меня волновало лишь одно — что я не останусь на улице без крыши над головой и без куска хлеба. Джим был очень забавным и любил мне покровительствоывать. Я рассказывала ему о русских писателях и поэтах, гуляла с его собаками, убирала квартиру, — он прагматически кормил меня, покупал какие-то вещи и учил водить машину. В общем, жили мы душа в душу.

Соседнюю квартиру, примыкающую к нашей, занимал актёр, достаточно востребованный для того, чтобы по полгода и более не появляться дома. Джим, обладая на свой собственный взгляд практической смёткой, решил купить собак в ванне этого актёра. Каждую неделю мы открывали ключом (который почему-то у нас был) дверь, ведущую в жильё соседа, устраивали для собак помывочный день и тщательно купали их в роскошной ванне ничего не подозревающего хозяина помещения. Сначала мне это не очень нравилось, но потом я привыкла — ведь если это достаточно долго сходит с рук, то почему бы и нет?

Как-то раз, придя домой, я обнаружила в холле прелестное, старинное, почти королевское кресло в стиле рококо. Изогнутые перетекающие друг в друга линии подлокотников из светлого ореха с вырезанными на нём листьями, очаровательная акварельная обивка с розоватыми цветами и букетами по светло-зелёному гобелену в китайском стиле, грациозные, игривые завитки ножек — кресло было таким прекрасным и совершенным, что притягивало к себе взгляд.

— Джим, откуда это чудо? — спросила я.

— Тебе нравится? — ухмыльнулся Джим.

— Конечно.

— Это тебе. У королевы должен быть свой трон.

— Спасибо. Это так потрясающе. У меня просто нет слов.

Сколько я ни допытывалась, откуда это — Джим молчал.

Буквально через несколько дней в нашу дверь позвонили. Я была чем-то занята, поэтому слегка замешкалась в комнате, когда же вышла, то дверь была заперта, и никого не было видно. Я взглянула на Джима — на нём не было лица: он был весь белый (не смотря на природную темноту кожи), пухлые губы тряслись, и белки глаз стали казаться ещё больше, чем были на самом деле.

— Что такое, Джим, кто-то умер? — спросила я, переполняясь заранее скорбью к утрате моего друга.

Джим покачал головой и промычал что-то невразумительное.

— Может воды? — он только досадливо потряс головой и опять издал очень странные звуки.

— Кто это был? — не теряла надежду на ответ я.

Наконец, после нескольких безуспешных попыток, ему удалось выдать:

— Полиция.

— И что они хотели? — искренне удивилась я.

— Понимаешь, — сконфуженно произнёс Джим, посмотрев куда-то вниз, по-моему, как раз на мой порванный носок из которого торчал большой палец ноги, — это кресло, которое так тебе понравилось, и которое теперь стоит в твоей комнате, оно, в общем, не наше. Оно... нашего соседа... я тут подумал: его всё равно никогда нет, а Алёне (это я) оно понравится... так перетащу-ка я его к нам... и вот... — тут он окончательно потупился.

— Да-а-а-а-а-а-а?! — произнесла я. — ...а-а-а-а... ну-у-у-у-у...

— Да ты понимаешь, что теперь будет? — прорезался у меня, наконец, голос. — Тебя посадят в тюрьму, а меня ждёт или тюрьма, или высылка в СССР и тюрьма там! Ты что совсем ненормальный?

— Ну, не сердись, Алёнушка, — тихо, как побитая собака, попросил он. — Я же хотел тебе угодить.

— Господи, — зарыдала я, — что же теперь будет?

Через несколько мгновений тягостных раздумий Джим встрепенулся и радостно произнёс:

— Я знаю, что делать!

И он посвятил меня в свой план.

Надо вам сказать, что из нашей квартиры шла лестница прямо на крышу, и мы часто там загорали, пили вино, смотрели по ночам на звёзды. И вот теперь, по узкой винтовой лестнице мы потащили на крышу тяжёлое массивное кресло, пронося его как раз мимо окон обокраденного соседа. Там ещё возилась полиция, тщательно изучая место преступления. Сейчас я с ужасом думаю о том, что было бы, глянь кто-либо из них в окно. Слава богу, этого не произошло. Мы успешно перетащили злополучный антиквариат наверх, хотя я и не представляю как.

Только мы избавились от улик, как к нам в дверь опять позвонили. Вежливые полицейские прошли в коридор и попросили осмотреть квартиру. Мы, в прострации, согласились. Извинившись за беспокойство, наши визитёры краем глаза оглядели квартиру и через минуту ушли.

Я посмотрела на Джима. Его наморщенный лоб выдавал невероятную работу мысли. Наконец, его лицо просветлело.

— Вот что, — радостно произнёс он, — надо его тащить назад, а то вдруг они заглянут на крышу, лестница-то только у нас, другие жильцы такого доступа на крышу не имеют, и тогда нас точно загребут. Как пить дать загребут. — И он хитро посмотрел на меня, вероятно ожидая аплодисментов за свою изворотливость.

— Джим, я не смогу. — отчаянно проскулила я, с ужасом представив себе эту картину.

В общем, следующие полчаса мы на цыпочках тащили этот трон с крыши обратно в дом, стараясь при этом слиться со стеной и не издать ни шороха.

Радостно переведя дух после завершения садомазохистских упражнений, мы стали думать, что делать дальше. В тюрьму, понятное дело не хотелось, обратно в СССР ещё меньше, поэтому Джим решил всё радикально... более чем...

В три часа утра, запершись в ванне, он со слезами на глазах пилил пилой и рубил топором уникальную коллекционную мебель и выносил её по частям на помойку в маленькой авоське, совершая воровские перебежки от квартиры до помойки и обратно. Надо вам сказать, кресло он распилит практически мгновенно. Не знаю, откуда у него такие навыки и быстрота, но скорость смахивала на скорость kota Тома из моих любимых мультфильмов «Том и Джерри».

На сей раз, всё окончилось благополучно. Полиция ничего не нашла и, наверно, это был один из самых загадочных случаев воровства.

Джим потом долго передо мной извинялся, и я его простила, но как вы думаете, смогла я и дальше жить рядом с такой бомбой замедленного действия? Правильно — нет. И мне опять пришлось искать себе квартиру.

Чёрный воронок и другие прелести жизни

Я жутко боялась ехать куда-то одна. Чёрт меня дёрнул отправиться поступать в музыкальный институт в Уфу! Ну, не поступила в Гнесинку в этом году, поступлю в следующем и что? А теперь надо ехать, вернее, лететь на край земли и всё из-за моего бешеного темперамента и невероятного упрямства. И зачем я на такое решилась? Страшно-то как! Я уже давно нигде не бывала одна. И в общественном транспорте, и на машине рядом со мной всегда мой муж — Боян и руку подаст, и поддержит, как бы чего не случилось, а тут на тебе: перелёт Москва — Уфа и ещё неделю экзамены в институт. Хорошо хоть жить я буду в гостинице, а не в общежитии. Когда Боян пошёл работать в упдк (Управление делами дипломатического корпуса при МИД СССР), я вообще забыла, что значит ходить пешком — ездили только на служебной «Волге». Мой муж — болгарин, устроился туда работать шофёром у одного из генералов и мог пользоваться в свободное время служебной машиной. Как хорошо! Никакой тебе давки в автобусе, боязни, что порвут с таким трудом приобретённые в «Берёзке» гипюровые колготки или наставят сумками и локтями синяков на теле. Выбравшись из общественного транспорта пассажир, как правило, напоминает взлохмаченного общипанного кочета, только что выдержавшего бой с целой гвардией своих соперников и вид после этого у гражданина совсем не товарный. Человек быстро привыкает к хорошему и совершенно разучивается жить по-прежнему, по-советски. Почему? А потому что не хочется уже как все, хочется хорошо, по-настоящему. Не надо стоять километровые очереди за бананами и туалетной бумагой, не надо в овощном магазине выбирать сетку с наименее гнилой картошкой, вдыхая её сладковато-

прелый запах, не надо беспокоиться достанется ли тебе, отстоявшей три часа на улице, на морозе, посиневший трупик умершего голодной смертью, пупырчатого цыплёнка... Всего этого не надо.

Мне сказочно повезло. Боян постарался и через УпДК организовал мне гостиницу и машину, которая должна была меня встретить в аэропорту в Уфе и доставить в место, чтобы я не боялась одна с сумками в чужом незнакомом городе.

Долетела я без приключений. Спускаясь по трапу самолёта, ещё издали приметила чёрный воронк с решётками на окнах. «Упс! — подумала я, — а мы, оказываемся, с преступником в одном салоне летели. Ещё повезло, что всё так мирно обошлось». У воронка стояли три колоритных милиционера в форме. Два суровых стража закона с обветренными лицами и одна дама-милиционер весьма внушительных габаритов, с очень строгим выражением лица и бровями домиком, сразу видно — главная. Они скользнули по мне невидящим взглядом и напряжённо стали осматривать толпу новоприбывших пассажиров. Я прошла дальше. Багаж надо было ждать около часа, и всё это время я лениво ходила по залу, пила кофе, рассматривала газеты и журналы. Одетая я была как все, очень просто. Никаких дорогих вещей у меня не было и в помине. Маечка да штанишки сорокового размера, обычная худенькая студентка, каких море, пацанка.

Подойдя, наконец, к багажному отделению, где на ленте крутился багаж прибывшего из Москвы рейса, я увидела в стороне ту же милицейскую тройцу, у ног которой стояли две мои рыжие кожаные сумки. Таких сумок больше ни у кого не было, Боян покупал их в Болгарии, поэтому я сделала печальный вывод о том, что тройца здесь по мою душу. К горлу подкатила дурнота, колени подогнулись. На ватных ногах я подошла к милиционерам.

— Гражданка Авиотова? — грохочущим басом спросила меня начальница.

— Да, это я. — тоненько пискнула я.

— Вас поручили встретить и проводить до гостиницы, — суровым тоном сообщила мне дама. — Пройдёмте.

Они подхватили мои сумки, и повели меня к выходу, как под конвоем. Пассажиры, летевшие со мной в самолёте, с ужасом смотрели в нашу сторону. «Так вот она, преступница», — наверное, крутилось у них в мозгу. Вежливо проводив меня до воронка, они посадили меня вперёд, рядом с шофёром, а сами уселись сзади в зарешётчатый кузов, вместе с багажом. «Спасибо хоть на этом, — пронеслось у меня в голове, — я ещё никогда с таким «почётом» не ездила. Ну и дела. Вот так приключение. А у них-то просто дипломатических машин нету, хи-хи». Это моё «хи-хи» было несколько нервным, но кто бы на моём месте не перетрусил? Пытаясь спрятать испуг и дрожь, я храбро заговорила с шофёром, молоденьким мальчиком солдатом, но тот нервно косился назад и только невнятно мычал какие-то односложные междометия. «Да они же меня боятся, — осенило меня, — вдруг я иностранный шпион или наоборот какое-то высокопоставленное лицо. У них, может, и подобных случаев раньше не было, если они

такую встречу организовали!» Я не стала больше мучить солдатика и всю дорогу молча смотрела в окно. Зато в гостинице мне предоставили номер люкс, а милиционеры даже донесли мои сумки на третий этаж — лифт не работал.

— Будете уезжать, позвоните, мы вас доставим обратно в аэропорт. — отчеканила командирским голосом милиционерша, и они вышли.

«Ух!» — подумала я и бросилась звонить мужу с известиями о благополучном прилёте и с «благодарностями» за организованную встречу.

Мне очень повезло, что в экзаменационной комиссии присутствовал молодой преподаватель, которому рекомендовали меня знакомые. Четыре дня перед экзаменами он занимался со мной, помогая «подтянуть» какие-то билеты, предупреждая о каверзных вопросах. Альберт Геннадьевич, так его звали, только что окончил институт и устроился там же преподавателем полифонии. Это был очень умный, скромный и интеллигентный человек, искренне стремящийся мне помочь в поступлении. Слава Богу, всё прошло нормально, и я без каких-либо эксцессов сдала все предметы. После объявления результатов, Альберт Геннадьевич зашёл ко мне в гостиницу — поздравить. Я была очень благодарна ему за поддержку и своевременную помощь. Вдруг в дверь номера кто-то постучал. Оказалось, что это мои подружки пришли праздновать наше поступление. В общезитии было не так просторно и вольготно, как в моём номере люкс. Я посмотрела на преподавателя. Альберт Геннадьевич смутился, уши у него покраснели.

— Понимаете, Алёна, — сказал он, — я принимал у них экзамены и, хотя мы с вами не делаем ничего плохого, мне бы не хотелось, чтобы они меня у вас застали. Это несколько неприлично. Вы не находите?

— Хорошо, Альберт Геннадьевич, посидите тогда на балконе, а я постараюсь их побыстрее выпроводить отсюда. — Закрыв балконную дверь, я задёрнула тяжёлые жаккардовые занавески.

Весёлая гудящая толпа девиц заняла мой номер. Бутерброды, шампанское, вино, фрукты — вскладчину — что ещё надо счастливому студенту? Сознание того, что ты перешагнул Рубикон, взял очередную высоту иногда пьянит почище, чем какая-то бутылка вина или шампанского. Народ уходит категорически не хотел.

— Ну, ты чего, Алёна?

— Не обижай нас, что ты как не родная?

— Поступили же!

— Кайф!

— Давай, за нас, за наше студенческое братство!

— Алёна, не выделяйся, расселась тут в люксе, и знаясь с нами не хочет.

В общем, выпроводила я их только через три с половиной часа. Закрыв за последним из посетителей дверь, я с опаской выглянула на балкон.

— Альберт Геннадьевич, как вы тут?

— Да, вот, сажу, — ответил потухшим голосом тот. — А я видел, как мою машину угоняли. Подошёл какой-то бугай, сел за руль и уехал. А я сажу. Что я мог? Пойду сейчас в милицию, напишу заяв-

ление. — Он с трудом размял затёкшие от неудобной позы ноги и, крихтя, отправился к выходу.

— Поздравляю вас, Алёна, с поступлением в наш институт. — скорбно глядя на меня повлажневшими грустными глазами, сказал он на прощанье.

— Вы позвоните мне, как там, в общем, с машиной, — пряча глаза, виновато попросила я.

— Конечно, — кивнул преподаватель и закрыл за собой дверь.

Через несколько часов он позвонил мне в номер и уже повеселевшим голосом сказал, что машина нашлась. Выяснилось, что она стояла в неположенном месте перед гостиницей и милиция отогнала её на стоянку. Только и всего. Я очень обрадовалась, потому что страшно переживала из-за этой нелепой ситуации, а оказалось, как ни крути, — наша милиция нас бережёт, в какой бы форме это ни выражалось. Только в аэропорт я предпочла ехать своим ходом, а не на воронке. Чёрт с ними, с колготками.

г. Москва

Николай Хоничев Разбавляя тьму

223

Дачное

Потихонечку журчит чистая водица.
А напротив — соснычок вырос на холме.
Хорошо сидеть вдвоём — допоздна не спится.
И от взгляда твоего гармонично мне.
Оттого ль, что лес вокруг — у избушки тихо.
Так вода в ключе вкусна — можно пить да пить.
Отпилю сухую ветвь старой облепихи.
И на части разделю — печку растопить.
Мимо грядок похожу. И открыты двери.
Сок томатный на столе. Кое-что к нему.
Струйка водки по ножу для «кровавой Мери».
Скоро песни полетят, разбавляя тьму.
Лук с укропом подросли. И редиска манит.
Исчезает наш салат. Закипает чай.
Тихо женщина меня сзади обнимает...
Просто спеты песни все. И пора бай-бай.



Хвала многоэтажкам! Без комедий!
Уютно в них, да нету красоты.
Но пред одной я встал бы на колени,
Перед хрущёвкой, где смеёшься ты.

Я с детства не страдал от назиданья,
От похвалы краснея, как морковь.
А что я приобрёл? Образованье?
Панельное строение мозгов?

Толпа друзей от радости упьётся
На свадьбе, что взойдёт в календаре.
Но вся любовь немедленно упрётся
В законные мои сто двадцать ре.

И я шучу, когда иду с прогулок, —
Гори вся жизнь малиновым огнём!..
Ах, переулок, старый переулок,
Седая прядь на городе моём.

Кисловское

Кружу в хороводе, пью квас из ковша
И прыгаю через костёр.
А песня над лугом летит, хороша,
Какую не знал до сих пор.
Славянская память проснётся в душе.
Очистится русская речь.
И песня затеплится в карандаше,
Чтоб лад из ладоней извлечь.
Полянка под Кисловкой. Хор у костра.
Река и деревья вокруг.
Куда-то исчезла почти мошкара.
Волшебным становится луг.
И солнце, и дождик, и радуги две.
А вечер — спокоен и тих.
И женщина павой плывёт по траве
В венке из цветов полевых.



Прикинься листиком сухим,
Как бабочка калимма.
Глядишь — зазолотится дым
Манящего калыма.
Приятно по лыжке скользить —
Взлетает с ветки птица.
А как в провинции прожить
И от тоски не спиться?
И с птичьей песенкой во рту,
Пока пути не пройдены,
Сумей вместить свою мечту
В размеры малой Родины.

г. Томск



Наталья Макеева В ожидании Дульсины

Адам внутри своего яблока

Он вдруг заметил, что ум разрушает его, ум вызывает физическую боль, будто какая-нибудь опухоль, возможно даже раковая. Вся тяжесть совершенства обрушилась на него ещё в отрочестве и с тех пор не отпускала ни на секунду. Ему хотелось забросить свой ум в бесконечно глубокий колодец на самом краю города, в парке, где раз в год вода начинает выть. Ум просто необходимо было во что бы то ни стало случайно оставить в метро, отдать в виде милостыни нищенке с картофельным лицом, закопать во дворе под кустом жёлтой акации. Ум — это проклятье, как наследственная болезнь, преследовавшая из века в век всех мужчин его рода. Все они, как один шли по жизни, волоча за собой этот жуткий груз. Окружающие восторгались ими, просили совета, требовали устроить и распланировать жизнь за них, но... ум воспринимался прадедами Адама как нечто отчуждённое, враждебное, непоправимое, лишнее, неприятное. И никто, ни один из них так и не смог расстаться со своей ношей, и у каждого рождался хотя бы один мальчик, наследовавший этот семейный порок. Ум не давал им ничего и лишь разведдал всё существование, усмехаясь из недр черепной коробки.

Бороться с умом было бесполезно — ни алкоголь, ни разнообразные дурманящие средства, ничего не помогало наполовину — в лучшем случае это вызывало смерть, уничтожая ум вместе с его носителем. Ах, как хотелось всем этим благородным мужам стать как другие — незамысловатыми, лёгкими, воздушными существами, живущими, словно ангелы, словно птицы небесные, словно дети, не знающие мрачных ухищрений серого вещества. Возможно, Адамовы предки были бы счастливы, если бы родились такими, возможно смогли бы спокойно спать... Адам проклинал своих предков, передавших ему истинную кару господню. Видимо, самый первый в роду совершил некий страшный проступок и был наказан свыше, и наказания были все потомки его. Но у Адама потомков не будет — несмолкающая боль, которую причинял ему ум, не позволяла ему сходиться с женщинами. Похоже, он — вершина, ему предстоит искупить грех пращура, и на нём всё и оборвется, сорвется в сияющее небытие. Никто вокруг, совершенно никто не представлял и не верил, что ум может быть столь бесполезен и причинять такие страдания. Адамом овладел страх. Он часами молил небо забрать свой дар назад, пусть ум растворится в огромной ледяной синеве, пусть ума больше не будет. Должен быть выход. Не может быть так, чтобы выхода не было.

В ту душную, влажную ночь, словно губку, пропитала воздух и норовила проникнуть в любую щель, в поры кожи, в тело и мысли. Вода стояла везде. Даже ум — и тот пропитался водой и стал ещё тяжелее и от этого причинял ещё большую боль. Казалось — одно удачное телодвижение и ум отвалится, как сытое насекомое, и со смачным шлепком упадёт на пол, где его так легко раздавить голой мозолистой пяткой. Адам сидел у окна и думал о своей беде, думал тем самым умом, от которого так хотел избавиться. «Почему я? Почему, почему же именно я?», — опять вопрошал он, но мир молчал, только влага, кажется, уже начинала шелестеть начинающимся дождём.

И тут он впервые в жизни почувствовал, что ему полегало, что он парит над нагромождением слов, над несловесными надстройками, над объяснениями и трактовками объяснений. И ему не больно. Это-то и поражало больше всего. Адам хотел было встать, побежать под дождём с радостным криком... Но — это оказалось совершенно невозможным. Не было больше тела — он не умер, он превратился в бестелесного мужчину, в абстрактного, воображаемого мужчину, стоящего на пороге мира невинных душ. Едва шевельнувшись всем своим размытым бесплотным «я», он почувствовал, что они рядом, эти существа, они уже почти говорят с ним нежнейшими тоненькими голосами. И где-то среди них — мальш, который мог бы стать его сыном или дочерью, если бы Адам соединился для этого с женщиной. Но писк собственного невоплотившегося ребёнка несколько не беспокоил его — здесь было так хорошо, в долгожданной живой пустоте. Как-то незаметно исчезли комната, дом, пропахший дождями город и земля, и небо и всё, что можно назвать, и то, что лучше и не пытаться назвать. Адам был там, где ему и положено быть — за годы мучений, причинённых умом. Наверное, он оказался в Раю, в том самом месте, где нет ничего, но есть всё, кроме, пожалуй, времени. Адам не знал, да и не хотел знать, как долго он пребывает здесь. Он просто был в этом месте.

Но вдруг — через какой-то отрезок несуществующего времени он затосковал, хотя, казалось ему, это невозможно, этого просто не может быть. Ему вдруг захотелось снова соединиться с умом, который он раньше так ненавидел. Ему захотелось в мир, полный звуков, образов, ощущений и мыслей. Хотелось впитать этот мир, пропустить через себя и выпустить в виде переливающейся, мерцающей конструкции, какой ещё не было и, похоже, больше не будет. Хотелось почувствовать

череду наделённых непомерным умом мужчин и наконец-то родить ещё одного в этом удивительном ряду. Открыть книгу — да, прочесть её, проглотить, переварить, потом написать другую, да, ему во что бы то ни стало необходимо написать книгу. Кто, если не он, напишет её? Ему болезненно захотелось обратно и, рванувшись, он оказался в человеческом мире, но... У него не оказалось тела. Он потерял его где-то в странствиях, просто потерял и всё. Не в результате смерти или изгнания наподобие экзорцизма. Его тело не находилось нигде, оно истрастилось на переход в мир невинных душ. Его молодое, но измученное нервными терзаниями тело, с трудом удерживавшее в себе жизнь, тонкорукое, с редкими тёмными волосами на черепе, содержимое которого так мешало когда-то Адаму. Ужасно мешало, но теперь его тяготила — так же, как раньше ум, его тяготила пустота. Она даже не была глупостью в том смысле, который обычно вкладывают в это понятие. Пустота являлась только самой собой, не допуская ничего лишнего. Пустота проследовала с Адамом назад. А тела не было.

С огромным усилием он вспомнил, что души могут по своему желанию вселяться в тела различных живых существ. В конце-то концов, он ничего не потеряет, если попробует. И глазами, которыми могут видеть только бесплотные твари, он стал искать себе новую плоть. Хотя бы какую-то — хилую или слишком юную или слишком старую, любую плоть, даже ту, которую вскоре придётся покинуть. Но город был пуст. На всем лежала пыль, золотистая, нездоровая, какая-то недобрая пыль. На стенах, на камнях, на углублениях отчего-то сгустившегося воздуха. И ни одного живого существа — ни человека, ни одной захудалой мыши или хотя бы мухи. Адам обогнул всю землю и нигде не нашёл никого. Ему стало страшно — совсем как тогда, когда он никак не мог избавиться от своего ума. Всё выглядело, как чья-то дурная шутка, но, конечно же, это не было шуткой. И, уже почти отчаявшись, безмолвно рыдая от невозможности воплотиться, он обнаружил яблоню — как раз в том самом месте, где должен был стоять его дом. Да, посреди пространства, лишённого даже трупов, росла одна-единственная яблоня, живая, зелёная, на ветке которой зрело одно-единственное яблоко. Адам смутился — как, неужели ему предстоит стать яблоком? Это же невозможно! Но ему так остро хотелось родиться, что, он, собрав себя в точку, кинулся прямо в яблоко, в пористое, душистое, последнее на всём белом свете яблоко. Он будет удивительным яблоком, очень умным яблоком, которое непременно напишет книгу на языке неродившихся младенцев, как пишут собаки, выпи и прочие создания. Он уже чувствовал мир кожей, думал мякотью и, кажется, гладкие чёрные косточки слегка шевелились в его сердцевине.

Яблоко вздрогнуло, отделилось от ветки и отправилось в свой последний полёт — прямо в страшную золотистую пыль. Только тут он понял, что прошло уже три тысячи лет с того дня, когда ему захотелось написать книгу.

В ожидании Дульсины

«Ну, когда же она придёт?», — мерил огромными шагами свою замусоренную квартирку на улице Кастанаевской Игорь Гранкин, одинокий мужчина, похожий на беспокойную капельницу. Вот уже пятнадцать лет он ждал, что в его расцарапанную кошками и подростками дверь постучится Прекрасная Дульсиныя. Ворвётся, влетит, и его беспросветная жизнь расцветёт в ярком свете присутствия прекрасной Дамы.

Нельзя сказать, что она ни разу не приходила... Заявлялась примерно раз в неделю, а то и чаще, но всё время упорно отказывалась сбросить с лица, души и сердца леденящий морок. Это было страшнее ветряных мельниц! Даже великан и все драконы мира не могли сравниться с угрозой, преградой и западнёй в одном лице, регулярно переступавшей пыльный трухлявый порог. А потому Игорь горько рыдал, закрывшись в ванной, бессильно пытаясь постичь весь этот абсурд, пока она допивала коньяк, грызла кусок колбасы, шмонала по полочкам и ни с чем уходила, даже не потрудившись захлопнуть дверь.

Искусством своим она владела превосходно — как-то раз Игорь чуть было не поверил, что к нему действительно зашёл с бутылкой давнишний приятель Стёпка. Уже открыли, налили и выпили, и Гранкин хотел, как водится, рассказать о своём непутёвом жизненном пути... То, что мелькнуло в заплывших стёпкиных глазах, нельзя было перепутать ни с чем — этот блеск, эту страсть. Но зачем, зачем она снова использует колдовство?! Дульсиныя Тобольская? Подольская? Тамбовская... О, Тамбов!

— Зачем явилась ты в столь убогом и гнусном обличии, о прекраснейшая?

Степан и сам был нетрезв, а потому слова собутыльника на «белочку» списывать не стал. Без лишних разговоров треснул он Игоря бутылкой по голове и вышел вон, процедив сквозь гнилые редкие зубы «у, пидор!»

Тело бессильно свалилось на пол, пороняв попутно предметы и потеряв сознание. В гулком чёрном провале бестолковая игорева душа, скукожившись от ужаса, созерцала висящий в пустоте насмешливый бледный лик Дульсиныи. «За что?!», — молча вопрошал Игорь. Лик подёрнулся мелкой рябью. «За что же?!», — снова беззвучно взвыл бестелесный проситель, но ответа опять не последовало — он просто очнулся — на своей кухне, среди бутылок, тараканов и крошечных, едва заметных, но всё же ясно мелькающих по углам человечков в нелепых шапочках. Это были гномы — с ними приходилось сражаться за неимением перебитых несколько веков назад великанов. Игорь даже не сомневался — именно из-за этих вечно суесящихся под ногами тварей бесконечно откладывается долгожданная его встреча с той, чей облик не укладывается в голове ни одного из живущих. Эти гнусные мелкие создания превращали утончённейший морок в жуткую пародию, мерзкий гротеск. Дульсиныя не знала... Да, она точно всего не знала! Да как они посмели обманывать её!

Но всё же она из раза в раз проверяла дону Гранкина — готов ли. Сколько обличий! Сколько масок! Её фантазия не знала предела! Почтальоны, друзья, соседи, милиция, девки по вызову, как бы ошибшиеся дверью — Игорь всякий раз узнавал Её, но принять в таком виде не мог и ждал, когда же она наконец-то явит себя в своём истинном облике. Ожидание тянулось, как ленивая старая кошка, и Игорь начал было задумываться — «а есть ли вообще будущее у их отношений?». Может, она просто играет с ним, а по-настоящему посещает кого-то другого — какого-нибудь хитрого, низкого обольстителя? И он, недостойный, жадными, масляными глазками созерцает её совершенное тело, её лучезарный лик. Поёт ей свои лживые серенады, а бедному Игорю Гранкину не светит в этом мире ничего, кроме глумливых масок и кривляющихся обличий.

И стоило мысли этой повиснуть на его увядающих извилинах, как визиты просто-напросто прекратились. Как рукой сняло! Больше никто не стучался в дверь, не подходил на улице. Лишь наглые зелёные мухи скрашивали игорево одиночество — неутомимо бились они в немытое годами оконное стекло, ползали, где попало, и, как могли, напоминали, что жив ещё мир вокруг и твари в нём не передохли.

«Надо готовиться к смерти», — поглядев на происходящее, решил Игорь Гранкин и с перепугу бросил пить. Со дня на день ожидал он теперь иную Даму. Обликом её он не грезил, а просто смиренно ждал, погрузившись в бытийное море

маленьких событий. Квартира его постепенно приобрела обитаемый вид, как будто бы ожидаемая Дама должна была тут поселиться. На про-светлевшем окне налился соком кактус, мухи поизвелись почти что все, и в игоревом обиталище воцарились чистота и уют. Вечерами, сидя и вслушиваясь в лёгкую дрожь окружающего пространства, Игорь готовил себя — клетка за клеткой к своевременной кончине.

Как-то сама собой вернулась жена — он и забыл о ней, настолько холостой была его недавняя жизнь. Как-то почти сама собой жена понесла. Ничего загадочного Игорь в этом событии не видел: то, что действительность полна необъяснимых с его точки зрения событий, он понял уже давно. А в мирское происхождение неуклонно растущего пуза супруги ему почему-то не верилось. Он смотрел на него, как на чудо. Если бы в доме завелись ангелы или небо поменяло бы цвет на фиолетовый, он отреагировал бы точно так же. Когда жена в один прекрасный день сказала «мне пора» и вызвала скорую помощь, он сперва даже не сообразил в чём дело и в какой-то момент перепугался, что Дама, перепутав, покусилась на ни в чём не повинную женщину.

Забирая жену с дочерью из роддома, Игорь Гранкин заглянул в глаза младенцу и понял, что больше ему никого ждать и не надо. Прежняя жизнь закончилась, а новая — началась. Девочку назвали Дуней и ещё целую вечность Игорь спасал её от великанов, драконов, ветряных мельниц и злых волшебников.

г. Москва

Виктория Гетманова Фуга №503 «Мёртвая дорога»



227

Виктория Гетманова ■ Фуга №503

«...Однажды, глубоко-глубоко, за северным полярным кругом, появилась мысль. А, как водится, всё, что «за» — пронизано в высшей степени одиночеством и неприкаянностью. Вот, к примеру: «руки за спину», «стройся один за другим», «прыгнуть за борт». Не выходит ничего у одиночества хорошего, ибо заиклено на себе, оттого тоскует страшно и обязательно от той тоски погибнет. В особенности, если оно — из заполярья. А может и не оттуда. А может и не из стылдой тундры, а из столицы, которая в вымощенной камнем площади, которая в башнях, которые в чугунных пушках, которые в большом кабинете, который в маленькой чернильнице, в которой так темно, что кажется — нет в ней ничего, и только в гранёных хрустальных стенках отражаются тоскующие по себе пышные седые усы и трубка. Не столь важно откуда родом была мысль, главное, что воплощена была как раз там — на трассе Чум-Салехард-Игарка. Со всеми истекающими чёрной болотной водой, сыростью и гнилью лаггородков, мочой и желчью трюмов последствиями. И так много рельсовых креплений, шпал, мостов подпирали эти самые последствия, что стали её звать Великой северной магистралью. А когда железнодорожное полотно на многие сотни километров обглодало время, да так начисто, что только человеческие косточки и остались, стали называть последствия дорогой Мёртвых. Мёртвой дорогой¹ Мёртвых.

И креститься.

Говоря — «как же, как же?» и ничего не понимая. Потому как есть у одиночества одно свойство — понятно оно только тому, кто им заражён. А остальным — нет. Не получается у остальных никогда прочувствовать чужое одиночество, тем паче — посторонних усов или трубки. Потому и с великой мыслью о северной железной дороге — так и не разобрались. Так до сих пор и не ясно — к чему она была нужна...».

Такими словами выдует грустный фиолетовый пузырь Кайнын-Кутхо, да и умолкнет. Чтобы сил набраться для следующего.

В северной части Камчатского полумесяца, у подножия буйных гор Корякского поверья, возвышается насыпь. Железнодорожная насыпь над нотой. Если вы доберётесь сюда, то непременно её встретите. Главное, не пытайтесь по ноте сориентироваться. Ибо главное правило жителей, обитающих в предгорьях Корякского поверья в том, что как раз по нотам ориентироваться не нужно. Ведь совсем не обязательно, что нужная нота уже имеется.

Насыпь ту называют ещё по-другому — филь-трующей насыпью для очищения сточных нот.

А раз так называют, то нота, которая очистит всю грязь, забившуюся в поры буйных гор, когда-нибудь обязательно прозвучит. Пока же — идите на насыпь. Ежели что.

Она усыпана песком и раковинами каури, и потому очень походит на расшитую бисером тюбетейку Кайнын-Кутхо. Сам же Кайнын-Кутхо сидит поверх насыпи, тюбетейку не поправляет, а держит у пасти дудочку и выдувает минорные пузыри. Оно, конечно, приятнее, когда бы пузыри получались мажорными, но в дзешних местах отчего-то считается встретить его, Кайнын-Кутхо — богамедведя всех северных территорий, плохой приметой. А в особенности — услышать пузырь с правдивой историей. Или — что ещё хуже — получить такой пузырь в подарок. Поэтому сторонятся его и очень опасаются. И даже расшитая бисером тюбетейка с серебряными монетками по четырём сторонам хоть и делает Кайнын-Кутхо нарядным и привлекательным, но сближению с людьми не способствует.

Сидит целыми днями Кайнын-Кутхо, ногамишитых из тюленьих шкур сапог вертит, да на дудочке-гэйнэчгине играет. Иногда проплывёт мимо сонная невиданная рыба, и случайно, в дремоте, запутается в медвежьей шерсти:

- Ой, — вздохнёт про себя рыба.
- Извините, — ответит медведь.
- Ничего, это всё из-за быстрого течения². Да и дождь сегодня обещали, — подумает рыба.
- Тогда, если Вы не против, я продолжу, — проигрывает медведь.

Ми
Нор
До

1 В 1948-м было начато строительство трансполярной магистрали — железной дороги Чум—Салехард—Игарка для связывания глубоководного морского порта в географическом центре страны, в Игарке, с жд системой СССР; надо было облегчить вывоз никеля из Норильска и дать работу сотням тысяч заключенных, переполнивших лагеря и тюрьмы. Западная часть дороги стала 501-й стройкой ГУЛАГа, восточная — 503-й. Стройка прекращена после смерти Сталина, в 1953 году. При строительстве дороги погибло более 300 тысяч человек.

2 Фуга (буквально — бег, *быстрое течение*), музыкальное произведение, основанное на контрапункте и имитации; высшая полифоническая форма. Имитационные проведения темы во всех голосах перемежаются интермедиями. Фуги пишутся на 2–4 голоса.

Выдуются золотым пузырьём «до» подножия буйных гор, «до» самых глубоких истоков поверья, поросших мхом, «до» расставленных тут и там сетей, запутается в них и поникнет.

— Рельсы-рельсы! — сразу же заголосит звонко кто-то за небом, и потащит вверх. — Шпалы-шпалы! — Неровно, рывками, подтягивая сети, решётками вдавливающиеся в золотые пузырьные бока. — Ехал поезд запоздалый... — И видно, что тяжело тянуть, потому как вон сколько мелкой гальки с неба просыпалось — крепко упирается кто-то ногами, пока тянет.

— Дождь, — не выдержав камнепада, громко лопнет золотой пузырь. И рассыплет очередную, исправно обглоданную временем, правдивую историю.

— Обещали, — вздохнёт рыба, и вместо пузыря окажется подтянутой сетью под самые планктонные облака.

— Пришёл слон — потоптал, потоптал... — умолкнет, осекшись, кто-то за небом, обнаружив в сетях только рыбу. Вздохнёт, разочарованный, не найдя от исчезнувшего пузыря и толики последствий. Швырнёт рыбу обратно. И, возможно что-то скажет ещё... да только кто услышит, когда по всему северу расплываются пузырями звуки —

Ми
Нор
До

И плавают рыбы. И позвякивают монетки на тубетейке. И забытый бог с тонкой дудочкой из гусяного пера, изо всех сил старается не заболеть одиночеством. Потому как ничего оно хорошего не приносило. Никогда.

г. Ташкент

Михаил Кузмин Утешение

ДиН память

В театре

Переходы, коридоры, уборные,
Лестница витая, полутёмная;
Разговоры, споры упорные,
На дверях занавески нескромные.

Пахнет пылью, скипидаром, белилами,
Издали доносятся овации,
Балкончик с шаткими перилами,
Чтоб смотреть на полу декорации.

Долгие часы ожидания,
Болтовня с маленькими актрисами,
По уборным, по фойе блуждание,
То в мастерской, то за кулисами.

Вы придёте совсем неожиданно,
Звонко стуча по коридору, —
О, сколько значенья придано
Походке, улыбке, взору!

Сладко быть при всех поцелованным.
С приветом, казалось бы, бездушным,
Сердцем внимать окованным
Милым словам равнодушным.

Как люблю я стены посыревшие
Белого зрительного зала,
Сукна на сцене серевшие,
Ревности жало!

Утешение

Я жалкой радостью себя утешу,
Купив такую ж шапку, как у Вас;
Её на вешалку, вздохнув, повешу
И вспоминать Вас буду каждый раз.

Своё увидя мельком отраженье,
Я удивлюсь, что я не вижу Вас,
И дорисует вмиг воображенье
Под шапкой взгляд неверных, милых глаз.

И, проходя случайно по передней,
Я вдруг пленюсь несбыточной мечтой,
Я обольщусь какой-то странной бредней:
«Вдруг он приехал, в комнате уж той».

Мне видится знакомая фигура,
Мне слышится Ваш голос — то не сон, —
Но тотчас я опять пройду понуро,
Пустой мечтой на миг лишь обольщён.

И залу взглядом обведу пустую:
Увы, стеклом был лживый тот алмаз!
И лишь печально отворот целую
Такой же шапки, как была у Вас.

Алексей Васильев В пламени — лёд



229

Алексей Васильев ■ В пламени — лёд

Мне показалось, здоровяк высыпал в огонь горсть серебряного песка. Широкая ладонь замерла над углями, от неё в багровый жар протянулась цепочка из мельчайших звеньев-песчинок, взблескивающих, будто нанизанные на паутину алмазные пылинки.

Человек, сгорбившись, сидел перед очагом и смотрел в пламя.

А я разглядывал его. Было интересно, зачем он снял с шеи и бросил в огонь серебряную нить. Не совсем бросил, а как рыболов, что зимой выпускает в прорубь почти всю лесу, но кончик оставляет себе.

Угли жаркие, крупные, как камни для крепостной стены, округлые, кажется, в очаге лежат ленивые черепахи с раскалёнными панцирями, тончайшая цепочка должна мгновенно растаять, вот-вот у здоровяка в лаплице останется лишь куца волосинка, но время шло, а искорки-звеньшки сверкали всё так же ярко. Угли щёлкали, будто раскалывались камни, а пламя гудело уверенно и мощно.

В зале, кроме нас двоих, никого не было, и я, теща любопытство, как можно медленнее тянул пиво, тёплое и гадкое. Кончилось тем, что я задремал, и понял, пора идти спать. Человек всё так же сидел у очага, но я не решился с ним заговорить.

На следующий день я разузнал о нём. Моё любопытство никого не удивило — стояла глубокая осень, время дождей, купцы в это время предпочитали выгоде сухость шагров, а охотники перебрались вслед откочевавшему на юг зверью. На постоялом дворе всего пять человек — хозяин, кузнец, мальчишка-прислуга, я и этот здоровяк. Почему бы не удивиться вслух, что делает одинокий воин в этом захолустье, Восточном Краю?

Что воин, я сразу понял, потому как сам пробирался в Гарнизон, что у подножия Длинного Гребня. В куртке было зашито письмо от дяди к тысячнику, его приятелю. Они с дядей славно повоевали, но сейчас у дяди нет одной руки и всех нижних зубов, хотя я уверен, все девки нашей деревни с радостью побросали бы своих парней, стоило бы дяде посмотреть требовательно тяжёлым чёрным взглядом матерущего волка на любую.

Я сопля в сравнении с ним. Но я с детства грезил о тяжёлой куртке из кожи лесного василиска, с серебряной бляхой против сердца. В таких куртках в нашу деревню иногда входили суровые немногословные люди, и они были самые главные — даже старейшины слушали их, раскрыв рты. Девки смотрели на них томно, бывалые охотники — уважительно, а остальные — восхищённо

или завистливо. Выше их власть была лишь у правителя и его сотни. Но правитель далеко — в столице, и из наших его никто даже не видел. Кроме моего дяди.

А они, всегда холодноватые и загадочные воины, могли приказывать, вершить суд и расправу, и сколько угодно пировать на постоялых дворах. А иногда — об этом рассказывали шёпотом — могли забрать кого-нибудь с собой, и увести в таинственный Гарнизон, где счастливого обучат всему-всему, а через несколько лет он получит право на два меча и арбалет, и встанет на службу правителю.

Половину из каждого года он будет отдавать ему. Лишь в случае войны или смуты правителю будет принадлежать всё его время.

Воины странствовали по миру, и делали его лучше. Когда же напасть была велика, чтобы преодолеть в одиночку, они своей властью призывали на помощь людей, или сами сбивались в отряды. Говорят, они всегда знают, когда рядом есть кто-то из них, и умеют общаться друг с другом на расстоянии — с помощью птиц и особых знаков.

Так что, с дядей мне повезло. Забрать меня с собой он не мог, да и не собирался никуда, но однажды написал письмо, похлопал меня по плечу, и я с радостью покинул нашу деревню, думая только о том, как скоро вернусь, могучим и суровым, пережившим чудные испытания, а может даже со свежими шрамами. И сперва заеду Кадри в челюсть, да так, что уши отвалятся. Ягодку, ясное дело, — на сеновал уташу. Так, чтоб Кадри видел. Будет знать... А потом сяду за стол в доме старосты, и буду пить сваренное его женой пиво, наставляя старейшин, как им тут всем быть.

Мальчишка, когда я спросил, часто ли у них бывают такие люди, ответил, что нет.

Кузнец отёр лицо от копоти и сказал, что на починку оружия гостя ему понадобится три дня.

Хозяин сказал, что не знает, откуда и куда направляется этот человек.

Сам я заговорить с ним не решался, хотя сердце моё трепыхалось — совсем скоро я стану равным ему. Я тоже буду носить тяжёлую куртку с бляшкой на сердце, и широкие, длинные мечи, если, конечно, дядино письмо поможет. Должно помочь...

Вечером история с цепочкой повторилась. Я загодя засел в зале, ещё до того, как мальчишка растопил очаг, сперва поел каши и приготовился пить пиво, которое оказалось невкусным и горьким, но пора было привыкать к этому напитку.

Спешить было некуда, ещё вчера я выяснил, что ближайший торговый обоз через десять дней, а одному пускаться в путь по осеннему лесу мне не хотелось. Сюда-то и то чудом добрался, никто по дороге не напал, не сгряз.

Может, думал я, воин заговорит со мной.

Не может же человек молчать целый вечер, глядишь, спросит о чём, тут-то я и скажу, что держу путь в Гарнизон. Тогда мы наверняка разговоримся, да как? — на равных, как свои, как друзья... Мальчишка-прислуга сразу начнёт поглядывать уважительнее. Сказал бы я ему, куда направляюсь, да дядя не велел, всякому постороннему про Гарнизон лучше не знать. Так что для простых людей я тоже простой и пробираюсь к родственникам-рудокопам, которые будто бы добывают огненный камень в шахтах Длинного Гребня.

Ожидание не обмануло меня. Громадный человек вошёл в помещение и сел за стол, в дальнем от двери углу. Я сидел в середине зала, как раз недалеко от очага, который сейчас раздувал мальчишка. Он же варил мне кашу и наливал пиво. Хозяин прихворнул, хотя я видел, как он крался из подвала к себе на второй этаж, прижимая к груди несколько пузатых бутылок. Я подумал, старик всегда норовит отдохнуть в это время года, когда запустение, благо, помощник есть.

Мальчишка, наконец, раздул огонь, оставил рядом с очагом несколько огромных поленьев, чтоб мы могли подложить, если понадобится, и ушёл.

Осторожно, стараясь не морщиться, я глотал горькую гадость и изо всех сил сжимал губы, удерживая злые судороги. Когда мне оставалось допить ещё треть кружки, в углу вздохнул стул. Здоровяк протопал мимо, мельком взглянув на меня.

Мне, почему-то, стало неловко. Сижу тут, напукская вид, хотя понятно, я жалкий юнец, нескладный и смешной, и мне давно пора топать наверх, а не сидеть тут над кружкой.

Но, разозлился я, почему нет? Может, мне до утра не спится? Хочу вот посидеть у жаркого огня, в тишине и покое, обдумывая нечто важное, а не лежать на прелой соломе, и слушать, как дождь стучит по тонкой крыше.

Незнакомец горбился у очага. Я видел, как в пламя скользнула серебряная змейка, и решил, что сегодня покину зал последним. Хоть даже это случится утром.

Сидел я очень долго. Глаза слипались. Едва сдерживая судороги, я допил пиво. Стены начали раскачиваться, а в груди разлилось блаженное чувство. Настолько блаженное, что я понял, что не прочь бы выпить ещё. Я больше не казался себе глуповатым мальчишкой, я ощущал себя сметливым и ловким малым, преодолевшим полный опасностей путь до Восточного края, и заслужившим краткий отдых в этом чудном месте. Пожалуй, я бы решился заговорить с незнакомцем, если бы не уснул. А я уснул, глупо и позорно, а когда открыл глаза, в зале было темно, и очаг уже не горел, угли едва розовели сквозь толстый налёт серого пепла.

Я едва не сгорел со стыда, представив, как здоровяк, выходя, видел меня таким — голова на

кружке, длинные худые ноги в истёртых сапогах елозят по полу...

Проклятье!

Деревенский дурачок.

Я поспешил наверх.

На третий вечер всё повторилось. Но я стыдился вчерашнего, и потому ушёл сразу, как незнакомец швырнул в огонь горсть серебряного песка.

На утро я проснулся с ощущением потери. Сегодня кузнец доделает свою работу, и здоровяк уйдёт в одни ему ведомые края.

Может, по пути он встретит друзей, могучих, как сам, бывавших в переделках, покрытых старыми шрамами... и свежими тоже. Там, в обитаемых местах, он небрежно зайдёт в трактир, где шумно и весело, сядет за стол... На него устремятся взгляды, а всякие местные дуры будут рядом юбками вертеть. Или, может, он тоже в Гарнизон добираться?

Я вскочил и хлопнул себя по лбу.

Конечно! Сразу надо было спросить. Может, нам по пути! Вдвоём не страшно, уж мне так точно! И он бы смотрел на меня по-другому, со сдержанным одобрением, мол, свой...

А я-то ещё не знал, как с ним заговорить.

Деревенский остолоп.

Но может, он ещё не ушёл?

Я надел сапоги, и выскочил, хлопнув дверью. Сверху сорвались крупные капли — потолок прогнил, влагу держит плохо, пора перестилать, — я захрохотал по лестнице.

Выскочив во двор я натолкнулся на шагнувшую на меня стену. От неё пахло кожей и раскалённым железом. Задрав голову совсем рядом я увидел крупное лицо. Я разглядел оспинки, красивые носдри и тёмные глаза. Мне они показались добрыми и благородными.

— Тихо, тихо... — сказал здоровяк. — Защищёшь.

Оттолкнув меня, он вошёл внутрь.

Я замер, испуганный и счастливый.

Скрипнуло, рванулись густые клубы, из них на порог кузенки вышагнул прокопчённый кузнец.

— Эй, малец, видел... этого? — спросил он.

— Видел, — сказал я.

Кузнец покачал головой.

— Крепко я промахнулся... обещал в три дня всё оружие отладить, а с железом таким раньше не работал, дурья башка. Оно и не капризное, вроде, но жёсткое...

Кузнец сжал кулак.

— Не управился я. Он сильно злой?

— Да нет, вроде... — сказал я.

— Да злой он, злой... от меня смурной, как туча вышел. Я такого железа и не знал прежде, у меня-то посырее будет, править тяжело... надо на двенадцать раз перековать, выпарить, сжать, а я ж один, помощника месяц, как с разрывами нашли, к рудокопам увезли... э-эх... значит, не злой, говоришь?

Я кивнул.

— Ну, дай-то Небесный отец...

Кузнец скрылся.

Я постоял, затем справил нужду за кузенкой и пошёл в дом. Почти весь день я присидел в зале,

но незнакомца не видел. Я представлял, как он горбится у себя в комнате, злясь на кузнеца, и прислушивался к звонким ударам молота.

Если кузнец сегодня не сделает, значит, воин останется ещё на ночь. Значит, сегодня вечером он снова придёт к огню, думал я.

Когда свечерело, я уверился в этом полностью. Не ночью же в путь пускаться. В мокром осеннем лесу, хмуром и озябшем, ночью — тоска.

Так всё и вышло. Незнакомец спустился поздно, когда мальчишка уже растопил очаг.

Угли шипели и стреляли, а под горкой запасных поленьев натекла лужа — дерево сырое, наверное, дровяник протёк.

— Хозяин пьёт? — услышал я хрипловатый голос.

Я поднял голову и увидел рядом с собой незнакомца. Он хмурился, но тёмные глаза всё равно были добрые и тёплые.

— Не знаю, — сказал я. — Наверное... Я видел, как он с подвала бутылки таскал... давно ещё.

Он кивнул.

— Надо парнишку этого найти... который тут шустрит, пока хрыч блаженствует. Дрова поменяет пусть. Сбегай?

Я вскочил, едва не сронив тяжёлую, ещё полную кружку и затряс головой.

— Сейчас!

Он кивнул и отвернулся.

Я выскочил под дождь и побежал к закуту. Мальчишка спал, зарывшись в сено, наружу торчали пятки. В темноте возились, всхрапывала скотина, шумно переступали в стойлах коровы.

— Чего? — спросил мальчишка, когда я разбудил его.

— Дрова сырые. Горят плохо. — сказал я, стараясь держать голос твёрдым. — Поменяй, а?

Эх, Звёздная Кружка, чересчур просительно получилось.

— Так они все сырые, — шёпотом сказал парень. — Дождь, там протекло... я менял, да не успел...

— Давай, снизу выберем? Посуше? А то нам холодно...

А вот сейчас — хорошо вышло. Нам холодно, а не мне, я там не один пиво пью... Парнишка сразу вылез из сена и зашлёпал к двери. Я чувствовал, как он зябко вздрагивает.

Вдвоём мы выбрали поленья посуше, и потащили в дом. Наверное, мне тащить не стоило, не к лицу, ну да ладно... Сгдупил. Пусть бы он два раза сбегал... Под весом могучих кругляшей я едва переставлял ноги, изогнувшись, будто охотничий лук. Конюх, к моему стыду, откинулся назад совсем немного.

Когда мы с грохотом скинули поленья возле очага, здоровяк даже не пошевелился. Он стоял рядом с решёткой из толстых прутьев, и одно полено чуть не придавило ногу. Хотя, не придавило бы — сапоги у воина были мощные, окованные с боков, а носок вовсе защищала ребристая пластина.

Я заметил, что в его кулаке зажата цепочка, разглядел даже, как покачивается на ней небольшой плоский кругляш, тоже серебряный с виду. Будто мелкая, как чешуйка, монетка-куполог. Слишком

простая для талисмана, но кто знает, что это за... монетка. Если в огне не плавится.

Не терпится, подумал я. Вона как жамкает цепку свою... Что же он делает? И зачем ему жаркие угли? Попросил бы кузнеца, тот мигом расправит...

Мальчишка, зевнул и хотел прошмыгнуть на выход, но мы с незнакомцем попросили пива. Я — уже вторую кружку за сегодня. Вон, первая стоит ещё, наполовину полная... Ладно, после неё пить, должно быть, легче станет. Когда стены закружат.

— Не спится? — спросил меня воин, когда конюх убежал.

Я покачал головой.

— И мне вот, — вздохнул он. — Садись к огню, веселее...

Я взял кружку, чувствуя себя довольно неловко, и подошёл к очагу.

Незнакомец молчал. В тишине я слышал, как снаружи будто позвякивает.

Кузнец, подумал я. Вот потеха будет, если и к завтраму не поспеет...

— Не сделал ещё? — спросил я, присаживаясь на пол, рядом с огромной фигурой. — Кузнец говорил, не успел.

Незнакомец вздохнул. Он встряхнул рукой, выпуская цепочку, и в пляшущих бликах вспыхнули яркие искорки. Только кругляш был тусклым, присмотревшись, я увидел, что он всё же немного оплавлен. Через миг он полетел в огонь.

— Да что от него требовать, — сказал воин. — Угол глухой, он работы не знает, подковы привык ковать, большего не нужно. Вон, какое железо у него слабое... — он кивнул на пламя. — Видел, как покусало? А цепку мою — не тронуло.

Я сразу понял, что он о кругляше сказал. Значит, серебряная паутинка и он — не одно целое.

— Это кузнец сделал? — спросил я. — К почке?

— Он, — кивнул незнакомец. — А толку? Каждый раз новую цепляю, всё одно — огонь быстро слизывает.

Я молчал. Мне было непонятно. Может, он расскажет?

— А зачем? — спросил я.

Здоровяк молчал.

Мы отхлёбывали из кружек и смотрели на пламя. Туда, в алый жар уходила серебряная нить, там сейчас огонь «кусал» плоский кругляш.

Я домучил первую кружку, поднялся за вторую. Неторопливо слотнул, и чуть не выплюнул обратно. Напомнил себе, что сейчас станет полегче. Должно стать.

Незнакомец вздохнул.

— А никак согреть не могу, — сказал он непонятно.

Я посмотрел на него. Под кожей перекатывались желваки, а на лбу собрались морщины. Я вдруг подумал, что глаза его вовсе не добрые — они грустные какие-то, будто у побитой собаки. И волосы не совсем чёрные, вон взблескивает седина...

Мне даже жалко его стало.

— Всё грею, грею, а она... — незнакомец чуть подёргал цепочку. От растревожённых углей вверх рванул сноп искр, их тут же втянуло в дымоход.

— ...Не греется.

Я не знал, что сказать.

— А зачем её греть? — спросил я. — Цепочку расплавить надо?

Он не ответил. Посмотрел на меня, а затем снова в огонь уставился.

— Ты из каких краёв? — спросил воин. Всё время, что он молчал, я следил за цепочкой — она давно должна была нагреться и обжигать пальцы. Хотя такие мозолистые, заскорузлые не сразу возьмёшь.

— С Южных Рёбер, — сказал я. — А там...

Незнакомец отмахнулся свободной рукой. Он сказал:

— Был.

И снова замолчал. Я одолел треть кружки, как он опять спросил:

— Сюда-то как попал?

Я заговорил, стараясь не частить, чтоб не выглядеть мальчишкой:

— В Гарнизон иду... Ну, этот, на Востоке, где рудокопы... Тоже хочу... как ты. Вот, остановился здесь, думаю... то ли ждать кого, в ту сторону, то ли нет. Тут ещё дней десять, если напрямик... А дороги, знаешь, размокли, лошадь не пойдёт, морока одна. Вот, на ногах, да скучно одному...

— ...и страшно, — усмехнулся воин.

Он совсем не удивился, что я держу в Гарнизон.

Незнакомец сказал:

— Думал, счастье ищешь.

— А, так и ищу, — заулыбался я. — Разве не счастье быть... быть... как ты?

Он посмотрел мне в глаза. Меня пробрала оторопь. Мелькнула страшная мысль, что он болеет чем, вроде внутренней проказы. Я слышал, боли жуткие, кажется, что в теле живёт огромный мохнатый паук, тычется там жвалами, испуская яд...

Схватившие такого паука живут недолго, быстро настигает предел терпеть страшные муки.

Глаза воина были наполнены болью, будто паук впрыснул в них полное брюхо яда.

— Это счастье? — сказал он. — Ладно, положим.

— А ты? — спросил я. — Ты здесь как?

— А я тоже счастье ищу, — ответил воин. — Вчерашнее. Его найти труднее.

Он опять замолчал, сторбился ещё сильнее, нахохлился, став похожим на большую лохматую птицу.

Я пил пиво, которое вдруг стало безвкусным, как тёплая вода, и слышал, как за стенами шумит дождь. Если вслушаться в мокрый шорох, можно было различить далёкие удары молота. Кузнец тоже не спал.

— Когда-то цепочка была длиннее в два раза, — сказал воин. — Она была... наша общая. Нам её выковали в Золотом горне, слышал, про такой?

Я кивнул. В горах Жажды была каверна, в которой пылало огненное сердце земли. Там стояли самые большие кузницы и работали самые отчаянные кузнецы! Тамошнюю добычу отправляли в столицу, нам оставались только слухи.

— Это было железо, упавшее с неба, — начал рассказывать человек. — Вот такой вот комочек, — он показал мне выпуклый ноготь. — Из него я заказал у Огненного Волоха сделать Ей цепочку. Я хотел подарить её Ей, ведь небесный металл очень ценный, а я хотел сделать самый дорогой подарок. Но у Волоха, после работы, осталось ещё две капли этого железа. Он ударил по ним молотом, и они сплющились и застыли. Тогда Она попросила разбить цепочку на две части и на каждую половину мы привесли по остывшей капле небесного дара.

Я сделал большой глоток и не поперхнулся. Как наяву, я видел перед собой неведомого Огненного Волоха. Это был гигантский, много больше горбившегося рядом здоровяка, человек, от ушей до плеч заросший медной бородащей. В коротких и толстых руках он держал чудовищный молот, размером с кузенку, где сейчас захолустный мастер пытался поправить оружие знакомого. Перед ним на огромной наковальне мерцали две серебряные капельки, в густых клубах металась красная языки пламени, но искорки небесного железа светились ярко, и Волох смотрел на них пронзительным взглядом.

Сужасающим грохотом, будто лопнул Южный Хребет, молот впечатался в наковальню. Поднялся, а на блестящей поверхности остались два сплюсненных кружочка, похожие на мелкие монетки-куположки. Острая игла пронзила ещё мягкий горячий металл, плеснула вода, зашипело, взвился пар... Тонкие пальцы взяли сверкающие кругляши...

— Мы решили никогда не снимать их, в знак любви, — продолжал воин. — И было так. А потом... потом... я отвернулся от Неё. Я был молод и слаб, я был глупцом, и я не смог быть с Ней. За Её спиной был пронзительный ветер, с этой женщиной мне было тяжело, очень тяжело, будто мне приходилось держать на плечах все камни мира, но с Ней нельзя было быть слабым, ни на миг! Я чувствовал себя тетивой натянутого лука, и никто не согнул бы его, чтобы помочь мне, даже Она... Быть достойным Её тяжело... И я струсил. И в миг, когда встретил другую, тёплую и мягкую, я бежал. Обрушились камни, раскатились, лопнула тугая жила, и я стал с ней. Мне стало просто, и не один камушек, даже с песчинку больше не тяготил меня, какое-то время... Но потом цепочка, половинка от той, что я дарил когда-то, когда был по-настоящему счастлив, стала меня тяготить. А от талисмана, что получился из последней капли небесного дара, стал исходить пылающий жар, и он мучил и жёг меня! Мне не было покоя нигде и никогда. И с каждым мигмом маленький талисман тяжелел, пригибая мою голову ниже, жёг всё сильнее. Он превратился в раскалённый жёрнов! Стыд и сожаление разъедали душу, и жизнь стала чёрной, как воды Последнего Моря. И не было мне удачи и счастья, ничего не было, лишь тоска и боль.

Знакомец посмотрел на меня. И снова я поразился его глазам, в них была безнадежность и мука. В точности, как у побитой собаки, которую выгнали со двора. Навсегда выгнали.

— И я не выдержал второй раз, — продолжил воин. — Второй раз я выказал свою трусость и слабость той женщине. Я был недостоин Её с самого начала, но я совершил вторую ошибку, такую же страшную и непоправимую, как первая. Я добрался до гор Жажды, там сорвал с себя нестерпимый груз, и бросил его в раскалённую лаву. Так я думал избавиться от страданий и забыть навсегда пронзительный взгляд Её глаз. Глаз, которые не обещали радостей, не обещали покоя и счастья, что смотрели сурово и холодно! В них не было снисхождения, жалости и тепла.

Человек выдохнул, почти не разжимая губ, и я услышал скрип зубов. Он сглотнул тяжело, я подумал, что, наверное, удерживает слёзы.

— Цепочка лопнула, когда срывал, и кинув её в пылающую глотку, я пошёл прочь. Я шёл легко, а когда добрался домой и прожил время в безветрии и счастье, муки мои возросли.

Я сидел, потрясённый. Передо мною вставали мрачные картины, и я уже не слышал шума дождя, и треска пламени. Я слышал только голос воина.

— Я плакал и выл по ночам, и рвал грудь, которая больше не ощущала обжигающей тяжести. Если бы я знал, что в ней заключена моя жизнь! — с мукой проговорил человек. — Что без неё мне хуже, чем мёртвому! Что новые страдания не сравнятся с прежними, когда я таскал этот раскалённый жёрнов! Мне не хватало его, и тех терзаний, тех мук, что не давали забыть мне ошибки. И та, вторая была бессильна помочь. И был день, когда она отпустила меня, и я покинул её. Я шёл, будто слепой, а когда прозрел, увидел перед собой горы Жажды. Там я, плача от невыносимой тоски, рвал пальцы об острый камень, спускаясь в огненное жерло. Я добрался почти до самого Сердца мира, и его жар опалил меня. Горела кожа, и огненный ветер разрывал лёгкие. Я обмотался тряпкой, чтобы уберечь глаза. Задыхаясь и умирая, я спускался всё глубже. Я было решил, что смерть будет избавлением, но испугался, что и Там меня не оставят страдания. В жутких корчах, наполовину обгоревший, цепляясь почерневшими пальцами за горячий камень, я спускался.

Я посмотрел на его руки и вздрогнул. То, что казалось жёсткими мозолями, было обгоревшей кожей. Я увидел, как наяву, плачущего человека, пытающегося пробиться в раскалённое нутро гор, он кричал от страха и боли, а от жара уже дымилась голова, но безумец спускался всё ниже.

— И в миг, когда я был готов прыгнуть в кипящее сердце мира, и, вспыхнуть на полпути к нему, пальцы мои наткнулись будто на горсть песка. Я задохнулся и чуть не упал, от жара я уже утратил себя и ничего не понимал, но почувствовал, что спасён. Цепочка не пропала в кипящем огне, она не долетела до него, зацепившись за выступ. Но пропал, соскочил кусочек небесного дара, ведь цепочка лопнула, когда сорвал я её и бросил!

Мне повезло, и я не умер. Я выбрался, и уже там, наверху, бился в агонии, но смерть пощадила меня. Обугленный, окровавленный, я полз, брёл, и добрался-таки до воды. Там, на берегу реки, я провёл много дней и ожил.

Он говорил и говорил, а я представлял обожжённого человека, едва живого, что полз по

земле, цепляясь обугленными пальцами... я ясно видел, как он сжимает зубами серебряную нить, а глаза его сверкают, будто в них навсегда поселился жар Пламенного сердца.

— И что? — спросил человек сам себя. — Муки мои стали ещё нестерпимее. Цепь была мертва и холодна.

Меня пробрал озноб от этих его слов, и я придвинулся ближе к очагу. Я чувствовал, что загадка тайны близка.

— Она была не просто холодна, — заговорил воин. — В ней поселился холод подземных ключей, холод чёрных вод Последнего моря. Да, она обжигала меня. Но не как прежде, а холодом натающего льда. Я пришёл к кузнецу, пряча сырое от слёз лицо. Я просил его сделать мне... сделать... выковать...

Человек, не находя слов, снова заскрипел зубами, звук был жуткий.

— Я не помню, как объяснял ему, что мне нужно, но он понял меня, — заговорил он вновь. — Он взял самое крепкое железо, которое знал, он плавил его несколько дней, а потом бил по так и не раставшему до конца металлу своим молотом, превращая его в подобие той небесной слезы, что висела когда-то на моей шее. Я отблагодарил его, и спешно надел цепочку, пока железо ещё не остыло. И что? — с мукой вскричал воин. — Что? Мою грудь пронзил ледяной холод. Не помня себя, я ушёл, и с тех пор каждый день, когда только мог, я бросал цепь в огонь, пытаюсь согреть талисман. И я всегда держал её в пламени долго, и страдания мои были невыносимы, но когда надевал её, кричал от разочарования. Талисман оставался холодным. Как мне не хватало тех мук, той горячей тяжести, что напоминала мне о моей вине и предательстве! О, я катался и грыз землю в отчаянии. А в редкий миг просветления понял, что мне нужно. Только Она сможет освободить меня, и снять цепь. Но женщина, бывшая моей, после того, как я в безмерной глупости оставил Её, пропала. Я ишу Её годы. Я не знаю, даже, если найду, захочет ли Она извинить меня от мук. Или же отвернётся от меня холодно, но знаю — нет мне покоя ни в мире, ни после смерти, если не попытаюсь найти. Каждая задержка в поисках для меня — подобна пытке изодрённого в них столичного палача. И каждые полгода, что отдаю правителю, я... я...

Знакомец замолчал и часто задышал. На скулах вздулись огромные желваки.

— Я отдал их ему множество раз, с того момента, как... Когда я освобождался, шёл туда, где ещё не был. А был я на юге, откуда ты, на западе и в снегах. С месяца прошло, как я отдал последние полгода. Сейчас я иду на восток. Там, у подножия Длинного Гребня, куда идёшь ты, я не задержусь. За перевалом есть ещё земли, они дики и пустынные, но она может быть там. Может! — сказал он с яростной надеждой. — А потом снова полгода правителю. Я бы ушёл от него, скинул бы куртку с этой ничейной бляхой, но боюсь. Я уже боюсь отказываться от себя прежнего, знаю — плата за ошибку может быть невыносима. Нельзя отказываться от себя, от своих грехов! Будь проклят тот, кто сказал о времени, как о лекаре. Слышишь? Никогда не думай так. Никогда. Время не лечит, а если и

ниспадает покров забвения — так это хуже всего. А я счастлив, что мои ошибки выжгли на мне мучительные клейма. И избавиться от них можно, лишь если Она... Она... простит меня. Если забыть себя прежнего, без следа, без отметки, без жгучего шрама, то, что останется? День вчерашний проходит бесследно лишь у зверья, а если не страдать за ошибки, и не пытаться исправить, чтобы лишь тогда избавиться от мук — то будь проклята человеческая тварь!

Он говорил тихо, но мне казалось, что он кричит, и каждое слово отпечатывалось во мне:

— Никогда не отрекайся от себя.

Его яростный взгляд, в котором боль мешалась с горячим пламенем и обжигающим холодом, вонзался в меня, будто меч.

— И каждый раз, — прошептал воин, — как только муки становятся настолько ужасны, что чернеет в глазах, я пытаюсь согреть свою ношу... Едва я вижу горячие угли, я бросаю её в них. И был день, когда я заметил, что ненавистный кругляш сильно оплавлен. Он истаял за то время, что я бросал его в каждый встреченный мною огонь. Тогда я вернулся к старику, и он выковал мне новый. И я ещё и ещё возвращался к нему. И снова пора. Не долго держит земное железо, ведь, в надежде согреть, я опускал его в самые горячие недра, в кузнечные печи, даже в пылающие горны Огненного Волоха! Но оно остаётся холодным.

С этими словами он поднял руку. Я увидел покачивающийся на цепочке багровый уголёк, неудачную подделку талисмана из небесной капли.

— Холодным! — вскричал воин. Он торопливо надел серебристую паутинку, второй рукой расстёгивая ворот. Я увидел почерневшую грудь, обгорелую кожу покрывали язвы, шрамы, из некоторых сочилась кровь, медленно, неохотно, будто её почти не осталось в этом человеке.

Зашипело, я ощутил палёный запах, а воин вздохнул облегчённо, но тут же зарычал разочарованно, прижал ладонью раскалённый кругляш, вжимая в грудь. На глазах его выступили слёзы.

— Холодный... — прошептал он.

Тягуче проскрипела дверь.

Мы оглянулись, я увидел просунувшуюся голову кузнеца. Он сказал:

— Готово! Просили в миг, как закончу мечи править, сказать, вижу, не спите. Я и говорю, да только пусть остывают пока. Всё одно, ночью не понадобятся.

— Неси, — приказал воин.

Я провожал его до ограды. Я чувствовал, его сжигает нетерпение, ещё бы, столько времени потрачено впустую! Воин шагал торопливо, размашисто. Одну руку он держал на груди, прижимая давно остывший кусочек железа.

На прощанье он пожал мне руку.

— Пойду напрямик. Дорогой долго. Помни всё. Не прощай ошибок себе. Если случится, что свернёшь с пути, всегда ищи тропу, что выведет обратно. Как бы не было больно и страшно.

И ночной лес, сырой, холодный и хмурый, шумно вздохнув, принял его под негостеприимные своды.

Было темно.

Я шёл обратно, покачиваясь, будто мне сунули по лбу оглоблей. В ушах звучали слова несчастного. Я видел, как раскалённое железо с шипением погружается в плоть.

— Я надеюсь и молю Небесного Отца, что твой поиск закончится. Что Её руки снимут проклятье с тебя, и никогда больше не будешь ты носить его на себе.

Так сказал я, а деревья согласно шелестели ветвями.

Человек шёл быстро, жадно. Впереди лежал Восточный край, край, где он ещё не был. Возможно... он найдёт Её там.

...И будет тогда ослепительный миг, когда тонкие пальцы коснутся его обожжённой кожи, исцеляя её. И будет день, когда он избавится от ноши.

Он шёл всё быстрее, и деревья расступались перед ним.

г. Северодвинск

Марат Валеев Ориентировка



Про Герасима, Емелю и персидскую княжну

...Да заснёшь ты, наконец? А, сказку хочешь! Да я уж тебе всё пересказал, что знал. Ладно, сам попробую сочинить. Ну вот, значит, берёт Герасим персидскую княжну и бросает её за борт. А та и вынырнула обратно, с Мумой в руках, утопленной Герасимом давеча. А в зубах у Мумы — Золотая рыбка.

Вытянул их обратно в лодку обалдевший от такого оборота Герасим, сидит, крестится. На ту беду мимо Емеля проезжал на своей печи.

— Эй, — кричит, — Герасим! Ты чего там словил?

А к Герасиму от великого изумления вернулся дар речи.

— Что поймал, то поймал, — отвечает он Емеле. — Ехай дальше, сам разберусь.

— А то смотри, — почесал Емеля под мышкой. — У меня печка как раз раскопчегарена. Могли бы ушицы сварганить. Да и бабе твоей не мешает просохнуть.

— Сам ты баба! — оскорбилась персидская дива голубых кровей. — Я, если хочешь знать, княжна!

— Это правда? — спросил Емеля Герасима.

— Ну, — сказал малость успокоившийся Герасим, и потому почти что вернувшийся к обычному своему состоянию.

— Что-то непохожа, — усомнился Емеля.

— Это у меня просто всю косметику смыло, — пожаловалась княжна. — Видел бы ты меня раньше!

— А как ты оказалась у Герасима? — пытается дальше Емеля. — Что за непонятки такие? Это ведь совсем из другой оперы.

— Да это Степан Разин мимо усадьбы барыни тайком проезжал, с похмелья был, на самогон меня у Герасима и выменял. Барыня же, как увидела меня, приревновала к Герасиму и велела утопить. А этот козёл немой — под козырёк, ему же не привыкать! Камень мне на шею, и в воду. Изверг!

— Ну, ну! — смущённо промышчал Герасим, поглаживая Муму по мокрой дрожащей спинке.

— А как же ты выплыла, с камнем-то на шее? — удивляется Емеля. — И почему собачонка эта живая? По книжке-то этого, как его... Тургенева, этот немтырь к ней ведь тоже камень привязал.

— А я не сама! Это Золотая рыбка! Запуталась в моих юбках и взмолилась, чтобы я её отпустила, — говорит княжна. — Уже два моих желания выпонила. Я на дне вот эту собачку нашла. Жалко так её стало. Попросила её оживить, а меня — плавать.

— Так это получается, что у тебя теперь всего одно желание осталось? — спрашивает Емеля.

— Точно так! — наконец вмешалась Золотая рыбка. — И давай-ка, красавица, загадывай его поскорее, да выпускай меня, а то я задыхаться начинаю.

— Да брось ты её, — сказал Емеля. Он хорошо пригляделся к княжне и уже влюбился в неё. — И перебирайся ко мне на печь. У меня тут хорошо! Тепло, пироги вон доходят. Слышь, Герасим у тебя совесть ещё осталась?

— Ну, — растроганно промышчал Герасим, сморкаясь и утирая слёзы.

— Тогда гребки к берегу.

Герасим взялся за вёсла. Княжна в это время что-то прошептала Золотой рыбке и отпустила её в воду.

— Вот, красавица, грейся давай, да ешь пирожок. Он вкусный, с капустой, — ласково сказал Емеля, уступая княжне лучшее место на своей печи. — И ты, Мума, устраивайся поудобнее. Нечего тебе больше у Герасима делать, а то ещё снесёт тебя корейцам или китайцам на рынок. Он ведь неадекватный, от него всего ожидать можно. А мы поедем с тобой, княжна, куда только велишь. Теперь я буду исполнять все твои желания, уж очень быстро ты мне глянулась. Кстати, что это ты там нашептала рыбке?

— Так, пустячок один, — ответила с набитым ртом счастливая персидская княжна. — Чтобы Стёпке Разину, этому изменщику и душегубу, не сносить головы.

...Ну вот, заснул, наконец, мой внучек. Пойду-ка я, запишу эту сказочку, да другую сочиню для следующего раза. Глядишь, так и стану писателем на старости лет!

Ориентировка

— А ну, стой!

— Стою.

— Документы!

— Вот, только пропуск с собой.

— Так... Горшков Пётр Григорьевич?

— Да, я Горшков. А вот чтобы вы представились, я что-то не слышал.

— Слышь, сержант, он не слышал! А что, так не видно, кто мы?

— Ну, мало ли кто сегодня в форме ходит.

— На, смотри: я лейтенант Наглищев, он сержант Борзой. А ты кто?

— Ну Горшков же!

— А нам кажется, что ты не Горшков.

— А кто же тогда?

— Ну-ка сержант, вытащи ориентировку. Ну, точно. Вот усы, вот нос, волосы тёмные. Как думаешь, сержант, кто стоит перед нами?

— Особо опасный преступник Надыр-оглы Ахметнухай Карапетович!

— Какой ещё Нах... Нухай? И вовсе он на меня не похож. Тут чернота сплошная. В смысле портрет какой-то смазанный. Этот Нухай и на вас похож, товарищ лейтенант. А сержант — так вообще его копия.

— Это кто копия? Слышь, лейтенант, он ещё и оскорбляется!

— Слышу! Так, гражданин Горшков... То есть, как там тебя по ориентировке... Ахметнухай Карапетович. Ну-ка, ноги на капот, руки на ширину плеч! Сейчас мы тебе проведем досмотр по всей форме как подозреваемому.

— А понятые?

— Не бойсь, всё будет по понятиям. Так, что это у тебя?

— Деньги, разве не видите!

— Товарищ лейтенант, сдаётся мне, что это фальшак!

— Да, особенно доллары.

— Так, деньги изымаем. А это что?

— Да мобильник же!

— А мне кажется, что это преступное средство связи. Он по нему, товарищ лейтенант, со своими сообщниками общается.

— Изымаем!

— А пиджак-то, пиджак зачем с меня стаскиваете? Я его всего неделю назад как купил!

— Изымается! Партия точно таких пиджаков была похищена как раз неделю назад в магазине моей тещи. Подтверди, сержант!

— Да, так и было. И не только пиджак, но и вот такие же часы!

— Караул, грабят! Милиция!!!

— А ты думал, мы кто? Сержант, ну-ка дай ему пару раз, чтобы не нарушал криками общественный порядок!.. Ну всё, всё, не ной, можешь идти. И больше нам на глаза такой не попадайся. Раз ты Горшков, то усы сбрей, волосы перекрась, нос укороти...

Полкаш

Ольга Петровна Громыхайло вела мужа с домой с вечеринки. Вернее будет сказать, подгоняла его пинками. Потому как Егор Иванович настолько нажрался, что не мог держаться на ногах, а полз на четвереньках. Конечно, будь он поменьше, его можно было бы унести на плечах. Но в Егоре Ивановиче веса было не меньше восьмидесяти килограммов. А с учётом выпитого и съеденного — и весь центнер.

Другой вариант — можно было увезти его на такси. Но идти-то до дома было всего нечего — квартал. Если бы Громыхайло шли по тротуару, были бы дома минут через двадцать. Так обычно и бывало. Но нынче Егор Иванович как встал на четыре кости, так и не хотел менять положения. Постарел, видать, раз ноги его перестали держать. Ольга Петровна на этот раз серьёзно устыдилась состояния мужа и они пробирались домой дворами и подворотнями.

Егор брёл в сторону дома уверенно, хотя время от времени и норовил улечься поспать. Но, получив направляющий пинок, полз, поскуливая, дальше. На улице был уже поздний вечер, про-

хожих было немного, и Ольга Петровна надеялась проскочить в свой подъезд незамеченной. Но на их пути прогуливал своего мопса их сосед пенсионер Исидор Львович Панышев. И он обратил внимание на забредшего в это время в лужу Егора Ивановича который этой луже явно обрадовался и стал хлебать из неё мутную воду.

— Никак, Оленька, и ты пёсика решила завести? — сказал пенсионер, подслеповато щурясь и разглядывая утоляющего жажду Закурдаева. — Да какой здоровенный! Что за порода?

— Не видите, что ли: этот, как его, водолаз! — с досадой ответила Ольга Петровна, стараясь дотянуться концом зонта до толстого мокрого зада непутёвого супруга.

— А по морде не скажешь! По морде ваш пёс — вылитый боксёр, — сообщил Ольге Петровне пенсионер. — Погодите, да он у вас и в костюмчике!

— Я же говорю: водолаз! В гидрокостюме. С реки возвращаюсь, ныряли. Шлем вот только потеряли! Ну, ты, алкаш, где твоя кепка? Да вылезешь ты из лужи или нет, горе ты моё!

— Как его зовут? Полкаш? — переспросил не только подслеповатый, но, по всему, и глуховатый сосед.

— Ну да, Полкаш! А ну, Полкаш, пошёл вперёд! Мало тебе реки, так ты ещё и лужу прихватил. Ну, пошёл, пошёл! Дома сейчас напущу ванную, можешь хоть всю ночь в ней плавать!

Ольга Петровна, наконец, изловчилась и прельбно ткнула Егора Ивановича зонтом. Тот взвизгнул и в два прыжка выскочил на сушу.

— Так он у вас ещё и бесхвостый! — поразился Исидор Львович. — От рождения такой, или купировали?

— Это я ему нечаянно открутила, когда сегодня от этой су... от шуки оттаскивала. Не люблю я щук. Еле этого Полкана от неё оттащила. Хвост вот, правда, в руке у меня остался. А надо было кое-что другое оторвать! В следующий раз так и сделаю. Ну, Полкаш, вперёд! Домой, кобелина!

Егор рыкнул на взвизгнувшего от ужаса мопса и пополз в подъезд, оставляя за собой длинный мокрый след.

— Ну, ладно, пошли мы, Исидор Львович, — встрепенулась Ольга Петровна. — Спокойной вам ночи!

— И вам того же! — охотно откликнулся пенсионер. И добавил с хитрой ухмылкой: — Только ты уж, пожалуйста, Олюшка, проследи, чтобы твой Полкан Иванович не спал на спине. Уж больно храпит этот водолаз после водных процедур!..

Нехорошая квартира

В десять часов вечера внизу что-то бумкнуло. Потом заскрежетало. Вслед за этим раздался нечеловеческий вопль и задрожали стены, завибрировал под ногами пол.

— Ну вот, опять Карагозовы загуляли, — обречённо сказала Варвара Петровна, доставая ватные шарики для ушей.

— Вот это и есть концерт твоих соседей?

С кухни с чашкой чая в руках вышел Андрей, племянник Варвары Петровны. Он жил в Минусинске, работал там актёром в местном драматическом актёре. В Красноярск Андрей приехал по

делаю на пару дней и остановился у своей тётки. Утром он уже собирался ехать обратно. Они обо всём успели переговорить за эти два дня, Варвара Петровна даже мимоходом пожаловалась на своих соседей.

— Он самый, — обречённо кивнула Варвара Петровна.

— Да, это сильно! — вынужден был согласиться Андрей. — И что, ничего сделать нельзя?

— Уж по-всякому пыталась. Всем всё равно. Говорят: «Они же не убивают никого».

— Вот что, тётя Варя, — подумав, решительно сказал Андрей. — Я сейчас пойду вниз. Ты же через пару минут позвони мне на мобильник. И как только я отвечу, начинай ещё звонить через каждую минуту-полторы. При этом не обращай никакого внимания на то, что я тебе буду говорить, хорошо? Сама же в ответ можешь молчать... Или вот что. Ну-ка включи телевизор.

По нтв как раз начался очередной многосерийный российский боевик.

— Так вот, как только позвонишь мне, добавишь звук у телевизора. Поняла?

— Поняла, — растерянно сказала всё ещё ничего не понимающая Варвара Петровна. — И долго мне тебе так звонить?

— Пока я не вернусь обратно.

Андрей зашёл в ванную, а через десять минут оттуда вышел какой-то взъерошенный наглый тип, с подбитым глазом, фиолетовыми от наколок кистями рук. Он дерзко ухмыльнулся Варваре Петровне.

— Боже мой! Ну и бандит! — всплеснула руками Варвара Петровна.

Андрей подмигнул тётке подбитым глазом, прикурив сигарету от зажигалки-пистолета, по форме неотличимой от «Макарова».

— Пошёл я. Не забудь позвонить через пару минут. Да, как зовут твоего соседа?

— Вроде Георгий. Точно, Георгий Карагозов!

Андрей спустился этажом ниже. Вот и нехорошая квартира, из-за двери которой доносились громкая музыка, пьяные вопли и смех. Андрей не стал звонить в дверь, а несколько раз сильно пнул её. На пороге образовался пьяный мужик с рожей, не менее наглой, чем у Андрея.

— Чего тебе? — грубо спросил мужик. — Вали отсюда!

В это время в кармане у Андрея завибрировал телефон.

— Закрой пасть, Гоша! — рыкнул Андрей на соседа и полез в карман брюк за трубкой. Из кармана на площадку с лягзом выпал пистолет. Гоша переменился в лице. Андрей проворно подобрал пистолет и сунул его в карман. Достал трубку:

— Внимательно! Ну да, это я.

Потом поморщился и рывкнул переминающеюся с ноги на ногу на пороге хозяину нехорошей квартиры:

— Ну-ка, пойдёшь, скажи там своим, чтобы заткнулись!

Протрезвевший сосед Варвары Петровны часто затряс головой, как китайский болванчик, и хотел было захлопнуть дверь, но Андрей вставил тупель в дверной проём.

— К-куда, Гоша? Базар к тебе есть. Как угомонишь свой кагал, мухой обратно!.. Я что, непонятно говорю?

Георгий Карагозов исчез, и через несколько секунд в его квартире наступила тишина. Андрей сидел уже в прихожей на стуле и орал в трубку:

— Не, Корявый, тут ты, типа, не прав! Падлой буду, не я этого урода мочканул!

Трубку он прижимал к уху не совсем плотно, и Георгий, а также подтянувшиеся к прихожей его жена и некоторые из гостей с ужасом могли услышать чей-то злоедающий голос:

— Не гони фуфло, Удав! Это ты разнёс башку Хрипатоуму и забрал у него бабки. У меня свидетели есть. А бабки эти не его, а мои, просёк? Гони бабло, Удав!

— Да пошёл ты, сявка! — злобно прошипел Андрей, с треском захлопнул трубку и затолкал её в карман. При этом на пол снова выпал пистолет. Андрей чертыхнулся и затолкал его в другой карман.

Обитатели бывшей нехорошей, а теперь очень присмирившей квартиры во все глаза смотрели на него.

— Вы кто? — несмело спросила жена Георгия. — Чего вам надо?

— Я совесть ваша! — гоготнул Андрей. — Но ближе к телу! Сейчас мы с вами перетрём одну темку.

Тут в его кармане снова загомосил мобильник. Андрей раздражённо выдернул его и рывкнул:

— Ну, кому там ещё не спится?

Из трубки послышались треск выстрелов, крики. Особенно надрывался кто-то сильный.

— Это ты, Хрипатый? — самым искренним образом удивился Андрей. — Вот гад Корявый, всего пару минут назад втирал мне, что это я тебя завалил. Ты где?.. Держись, сейчас я тут грохну одного дебила и подвалю к тебе.

Георгий при этих словах сполз по стенке, а его жена схватилась за сердце.

— Вот что, уроды, — неподобающе весёлым тоном сказал Андрей, от которого у Гоши по спине забегали колючие мурашки. — Мне сейчас некогда, на стрелку надо. Но если Варвара Петровна, моя бывшая классная руководительница... Вы её знаете? Нет, вы её не знаете! Это святая женщина! Чего я только не делал с ней в школе: и кнопки подкладывал, и дверную ручку чернилами вымазывал, и дохлую мышь ей в портфель подбрасывал — ни разу меня директору не сдала! Сама в угол зажмёт и так линейкой по попе отжарит, что будь здоров! Больно, но справедливо! За что и уважаю по сей день! Я за неё любому пасть порву! Так вот, Жора, если Варвара Петровна ещё хоть раз услышит из твоей квартиры хотя бы один звук громче смыва унитаза, я сюда приду ещё раз. Но уже не один, а с Хрипатым! Просекли, убогие?

— Про... просекли, — жидким и нестройным хором проблеяли Карагозовы и их гости.

— Ну, тогда я поканал, — сказал Андрей-Удав, гася сигарету о стену прихожей. — Но вы меня поняли, да?

И он хлопнул за собой дверью так, что со стены оторвалась и упала на Гошу перчаточная полка. Гоша тихо заплакал.

— Слава Богу, жив! — обрадовалась Варавара Петровна возвращению смертельно усталшего, но довольного племянника — Удивительно, но в квартире у соседей стало тихо. Как это тебе удалось, Андрюша?

— Не скажу, что просто, — признался Андрей. — Но я только что сыграл одну из лучших своих ролей!

Рано утром, когда ещё весь дом спал, Андрей уехал на вокзал. А спустя неделю со своей квартиры по обмену съехал и Гоша. Так, на всякий случай...

Удобства с видом на огород

Пенсионер Пётр Иванович утром поспешил в конец своего огорода. Дёрнул дверцу уборной — она оказалась запертой. Послышался чей-то раздражённый голос:

— Занято!

— Но это же мой туалет!

— Знаю, Пётр Иванович, — ответили ему изнутри. — Я уже заканчиваю.

Наконец дверца сортира распахнулась, и из неё вышел инженер-сантехник Михеич, он же главный коммунальщик посёлка.

— Вот, принимай, Пётр Иванович, работу! — сказал Михеич, обтирая руки ветошью.

Пётр Иванович заглянул внутрь и обалдел. В центре туалета красовался... белоснежный унитаз.

— Администрация деньги получила из областного бюджета на развитие коммуналки, — гордо сказал сантехник. — Так что пользуйся. На, распишись вот, что у тебя теперь канализация есть.

— Какая же это канализация?

— Унитаз я тебе поставил?

— Ну, поставил.

— Так расписывайся давай!

— Постой Михеич, а как же... это... Ну, смыть чем?

— Ну ты прямо как ребёнок! Как понадобится тебе в туалет, прихватишь с собой ведро воды, всего делов-то. Не тяни, расписывайся.

Пётр Иванович оглянулся на свой кривобокий сортир, в глубине которого прямо-таки светился новенький красивый унитаз, махнул рукой и поставил свою закорючку. Он уже собрался закрыться в уборной. Но его остановил всё тот же Михеич:

— Чуть не забыл! На той неделе никуда не уезжай.

— А что?

— Водопроводом займёмся.

— Неужто и на него деньги выделили? — поразился пенсионер.

— А то. У тебя колодец-то есть? И ведро на ворота, поди, старое?

— Да уж, и клепал я его, и паял, а всё протекает.

— Вот и жди меня в следующую пятницу. Ведро тебе новое привезу. Черпай им водичку и носи домой на здоровье! А хочешь — на огород, или вон опять же для сливного бачка.

— А расписаться надо будет, конечно, как за водопровод? — вздохнул Пётр Иванович.

Но Михеич его не слышал. Он, насвистывая, уже устанавливал унитаз в соседнем туалете типа «сортир». Коммунальная реформа в пригородном посёлке города К. шла полным ходом!

— Кошелёк или жизнь?

прохрипел кто-то над ухом Коптелкина.

— А вы что бы хотели? — печально сказал Коптелкин.

— Ты что, мужик, совсем страх потерял? — озадаченно спросил грабитель. — Видишь, какой у меня нож? Чик — и привет!

— А мне всё равно. Хотите, кошелёк берите, хотите — жизнь.

— Как это? — снова оторопел грабитель. — Не, вот клиент попался, а? Так тебе что, жизни не жалко?

— А зачем она мне, такая?

— Какая это «такая», что ты её запросто хочешь отдать первому прохожему?

— Ну, во-первых, жена меня бросила...

— Так это же радость-то какая! Живи теперь, как хочешь!

— Зато тёща-то осталась. Не хочет к себе в деревню возвращаться.

— Так уж и быть, я тебе или тещу выживу, или жену верну. Падлой буду. Выбирай.

— Лучше первое.

— Молоток! Что ещё?

— Сосед-наглец, ещё два года назад занимал у меня пятьсот рублей, до сих пор не отдаёт.

— Отдаст, — убедительно сказал грабитель. — С процентами! Так, дальше?

— На работе меня сократили.

— Что за работа?

— Да так, рекламный агент я.

— Ха, у меня как раз один клиент заведует рекламным агентством. Я ему недавно паспорт вернул. Нашёл и вернул. Так что я тебя к нему пристрою, не сомневайся. Ну как, жить тебе захотелось?

— Ну, можно попробовать ещё раз.

— Тогда держи-ка вот тыщонку.

— Зачем это?

— Держи, говорю! И положи её в кошелёк.

— Ну, хорошо, спасибо!

Грабитель снова вытащил свой страшный нож и прохрипел:

— Жизнь или кошелёк?

— Ой, да заберите вы ваши деньги, только не машите у меня перед носом этим жутким тесаком!

— Ну вот, я сегодня как бы и заработал немного, — сказал странный грабитель, пряча деньги и нож в карман. — На пиво с чипсами хватит. Пошли, посидим, ещё за жизнь потолкуем! Делами твоими завтра займёмся. Я всё равно на пенсии, и делать мне нечего.

— А вот это вот: ножик ваш жуткий, «жизнь или кошелёк»?

— Да не бери в голову, это я подрабатываю иногда. На пенсию разве проживёшь?

И они отправились в ближайшую пивную.

Долг

Когда жена Чебакова, Ольга, уезжала в санаторий, она сказала ему:

— Чебаков, меня не будет три недели. Я тебе всё перестирала, забила холодильник. Вот тебе ещё денег. По целых двести рублей на день. Если не будешь пить, Чебаков, тебе хватит до получки. А получку вышлешь мне. Иначе мне не на что будет купить билет на самолёт, чтобы вернуться к тебе, дорогому, любимому Ты всё понял, Чебаков?

— Понял, — сказал Чебаков. — Пить не буду. На двести рублей не особенно разгуляешься.

Ольга уехала. Чебаков день не пьёт, два в рот не берёт, три — всё как стёклышко... И даже гордиться собой стал. А тут как-то идёт с работы домой, смотрит — на тротуаре зелёная бумажка лежит. Поднял и глазам своим не поверил. Тыща. Вот это да!

Долго думал Чебаков, что делать ему с этими деньгами. И придумал.

Просыпается Чебаков — дома бардак. Стол заставлен пустыми бутылками. На диване спят двое каких-то незнакомых мужиков. В карманах, естественно, пусто — ни тех денег, что ему жена оставляла, ни той тыщи, пропади она пропадом, которую Чебаков нашёл.

Тут телефон звонит. «Неужели жена?» — испугался Чебаков. Нет, звонила секретарша его шефа.

— Рафаель Петрович, — говорит она. — Сергей Нефедьевич велели узнать, вы на работу собираетесь? Ваших два дня отгула и три без содержания ещё вчера закончились.

«Ага! — смекнул Чебаков. — Значит, сегодня второе! Зарплатный день. Надо Ольге денег выслать».

Выгнал он тех, что на диване, кое-как прибрался в квартире и бегом на работу. К кассе. А там уже стоят Барнаулова и Ахметов.

— Тоже за деньгами? — спросил их Чебаков. — Кто последний?

— Да, мы за деньгами, — отвечают ему Барнаулова и Ахметов. — Но ты первый. Получай.

Чебаков получил деньги, и только хотел было уйти, как эти двое к нему:

— А долг?

— Какой ещё долг? — сделал круглые глаза Чебаков.

— Как какой? — возмутился Барнаулов. — Ты третьего дня нам звонил, говорил, что тебе срочно деньги нужны, жене выслать. Просил одолжить тебе десять тысяч.

— Я?!!

— Да, ты! — подтвердила Ахметова, перегоравшая Чебакову дорогу. — Плакал, сказал, что ногу подвернул, сам придти не можешь, и прислал своего двоюродного брата.

— И что, вы ему дали денег?!

— Да, я три тысячи, а Ахметов вон все семь. Под твоё честное слово, что отдашь с полочки.

— Не посылал я никого, — хотел было увильнуть Чебаков, но Барнаулова придавила его к стене мощным торсом, а Ахметов, оглянувшись по сторонам, взял Чебакова за кадык.

— Как же не посылал? — зло зашипел он. — Как же не посылал, если братан твой твоим же паспор-

том размахивал? А ведь это Барнаулова додумалась, чтобы ты послал братца своего с паспортом своим.

— И у нас свидетели есть, Кошкина и Моисеев, — добавила Барнаулова.

Видит Чебаков — не отвертеться.

— Ладно, чёрт с вами, заберите свои деньги, только жизни не лишайтесь, — сказал он и полез в карман. — Оставьте это удовольствие моей жене.

Отдал Чебаков долг. И осталось у него всего сто рублей. Вот сидит он дома, пребывая в горестных размышлениях, что же ему теперь делать — жену-то надо домой возвращать. И тут по телевизору передают: где-то в Африке в джунгли упал очередной не то российский, не то украинский пассажирский самолёт. А жена-то домой как раз собиралась возвращаться на самолёте!

«Нет, — подумал решительно Чебаков. — Не могу я рисковать жизнью своей любимой жены». И сбросил ей sms'ку: «Дорогая, не рискуй, ехай поездом!»

И переполнившись гордостью от того, что спас любимую от неминуемой гибели, пошёл за пивом. Сто рублей-то у него ещё оставалось. А и жить Рафаелю Петровичу Чебакову оставалось всего трое суток. Ровно столько надо было добираться поездом из санатория его жене...

Гвадалквивир

— Тону! — услышал Фёдор Дуняшин приглушённый крик. На водной глади реки он увидел чью-то медленно плывущую лысую голову. Фёдор бросил удочку и спросил:

— Слышь, мужик, а чего это тебе не спится? Чего здесь плаваешь в такую рань?

Лысый прохрипел:

— Так я это... Утопиться хотел.

Дуняшину стало любопытно, из-за чего это можно лишиться себя жизни в такое прекрасное июньское утро. Он пошёл параллельно курсу медленно плывущей головы.

— А зачем же ты хотел утопиться?

Лысый горестно вздохнул:

— Шеф достал, тёща, заела. А тут ещё жена заначку нашла и конфисковала.

— И только-то? — недоверчиво спросил Дуняшин.

— Да? А знаете, сколько там было? — обиделся несостоявшийся утопленник. — Три тысячи долларов! Я пять лет копил, даже в пиве себе откачивал.

— И на что же ты копил? Кстати, я — Фёдор. А как тебя зовут?

— Ипа. Ипполит то есть... Так вот, я хотел купить путёвку и в Гондурас съездить, — наконец признался Ипа.

— К-куда? — Дуняшин от неожиданности споткнулся и чуть не оказался в воде рядом с Ипой. — Почему именно в Гондурас?

— У меня с детства прямо-таки жгучий интерес к этой стране. «Почему это именно Гондурасом у нас ругаются? — думал я. — Неужели у них там так всё плохо?» И вообще, есть что-то загадочное, притягательное в названии этой страны. Ты только послушай: Гон-ду-рас!

— Сам ты Гондурас! — сердито сказал ему Фёдор Дуняшин. — Ну, нашла жена твою заначку... И что, из-за этого надо топиться? А не проще было дать ей по лбу?

— Что ты, что ты! — зашлёпал руками по воде Ипа. — У нас не такие отношения...

— Да? — язвительно сказал Дуняшин. — А чего ты тогда бабки от неё заначиваешь?

— Ну, это так просто не объяснишь, — смутился Ипа. — Дело в том, что я одно время крепко выпивал, вот и осталась привычка к заначкам. Да и хотел жену уже поставить перед фактом: вот мол, Лизонька, у меня такая мечта, уже и возможность есть её осуществить. И показал бы ей деньги...

— Да ты вылезай из воды-то, простынешь, — озабоченно сказал Дуняшин, протягивая руку Ипе. — Че ты голый-то полез топиться?

— А это чтобы сразу замёрзнуть и утонуть от судороги, — сказал, выбираясь на берег, Ипа.

— Сам ты судорога! — с сожалением сказал Фёдор и, сняв с себя куртку, накинул её на плечи Ипы. — Простынешь ещё. Слушай, а можно бестактный вопрос?

— С-спрашивай, — разрешил Ипа. Видно было, что он замёрз, и зубы его начали выбивать мелкую дробь.

— Чего ж ты не утонул-то, чего на помощь звал?

Ипа перестал дрожать и внимательно посмотрел в глаза Фёдору — не издевается ли? Но взор у Дуняшина был серьёзный и участливый.

— Ты знаешь, передумал, — наконец доверительно сказал Ипа. — Уже когда в воду с моста летел, меня как ошпарило: «Дурак же ты, Ипполит, — подумал я. — Ну что тебе дался этот Гондурас? Если бы это и в самом деле была хорошая страна, разве бы ею ругались». И знаешь, что я надумал?

— Ну, ну, — заинтригованно спросил Фёдор.

— Начну заново копить деньги на поездку на Гвадалквивир...

— Тьфу, блин! Ну, ты и урод! — в сердцах сплюнул Дуняшин. — Это ещё что за страна такая, и какого хрена ты там забыл?

— Это не страна, это река такая есть. В Испании, — мечтательно сказал Ипполит. — Ты только послушай, как она звучит: Гва-дал-кви-вир! Как романтически!

— А, вспомнил, кино когда-то смотрел, в детстве, — оживился Фёдор. — Там пацана одного учили запоминать название именно этой реки. И он всё время долдонил: «Глотал кефир, глотал кефир».

— Вот! — обрадовался Ипполит. — Вот туда я и поеду. Но не один, а с Лизонькой! Вместе накопим денег и поедим... Поехали с нами, Фёдор? На берега Гвадалквивира!

— Уф, устал я от тебя! — рассердился Дуняшин. — Езжай-ка ты сам глотать кефир, без меня, ладно? Но для начала тебе не мешало бы одеться. Вот где ты свои штаны и всё прочее оставил?

— На мосту, — простодушно ответил Ипполит.

— Ну так беги за своими шмотками, пока им ноги не приделали! Но сначала куртку мне верни, утопленник!

— Бегу, бегу! — оживился Ипполит и, сбросив куртку на руки Фёдору, припустил к виднеющемуся в утренней дымке мосту через реку. С которого он спрыгнул всего с полчаса назад, чтобы свести счёты с жизнью. Но передумал. Потому что у него появилась новая мечта.

— Ишь ты: Гондурас ему подавай... И этот, как его, Гвадалквивир, — бормотал тем временем себе под нос, возвращаясь к своему заветному рыбному местечку, Фёдор Дуняшин. Но бормотал не зло, а по-доброму. Потому как понравился ему этот дурында Ипа с его мечтой. И теперь Фёдор думал вот о чём: у него самого была притырена заначка. Немного — на моторную лодку копил. Но съездить с женой и детьми поездом хотя бы на Байкал, чистыми и глубокими водами которого Фёдор грезил с детства, а потом как-то забыл, вполне хватит... А лодка может и подождать!

Сын партии

У Зайцева зазвонил телефон. Он поднял трубку.

— Алло, Зайцев? — спросил женский голос.

— Да, я. Кто это?

— Это я, Люсьен.

— Какая ещё Люсьен?

— Быстро же ты меня забыл. Люся я, повариха вашей партии. Ну вспомнил?

— Как же, как же, — залебезил Зайцев. — Разве такое забывается? Ну и как живёшь, Люся?

— Мать-одиночка я, Зайцев, причём по твоей милости, — сообщила ему Люсьен. — Сына вот родила. Полгодика ему уже. Вылитый ты. Особо уши. Ну и что будем делать? Я замуж хочу за тебя, Зайцев!

— С ума сошла! — испугался Зайцев. — Я же женатый.

— Тогда давай, Зайцев, помоги своему сыну встать на ноги и пойти, заговорить, влиться в коллектив детского сада, получить образование и стать достойным человеком. Чтобы ты мог гордиться своим сыном, Зайцев! Кстати, пригласи-ка жену свою к телефону, хочу и с ней поделиться радостью...

— Не надо её радовать, я уже еду, с деньгами. Давай адрес...

Люсьен жила в обшарпанном бараке. В дешёвой коляске посапывал бутуз. Зайцев склонился над ним. Точно, уши у парня были оттопырены так же, как у него. Однако нос напоминал кого-то другого.

— Так ты ещё и с Нерсесяном? — обрадованно спросил он.

— Ну было разок, — зарделась Люсьен.

— А ну-ка звони ему, — решительно сказал Зайцев.

— У меня нет его телефона.

Зайцев полистал свою записную книжку:

— Вот, набирай!

Через полчаса их компанию разделил и Нерсесян.

— Да, нос мой, — согласился тот. — Чистая работа...

— Да? А ты глянь на его уши, — ревниво сказал Зайцев.

Нерсесян снова склонился над коляской. Малыш в это время завозился во сне, высвободил из-под одеяльца ножку. Чуть ниже пухлого коленочка темнело большое родимое пятно.

— Ага! — в один голос сказали Зайцев и Нерсесян. — Где-то мы уже такое видели! А ну говори, зараза: у тебя шуры-муры были и с Цыбулей?

— Ох, не спрашивайте, мальчики! — мечтательно прикрыла глаза Люсьен. — Только где он сейчас, Цыбуля этот? Давно уже затерялся где-то в степях вильной Украины.

В это время открыл свои глазки малыш. Они были ярко-голубые.

— Николая Петровича, самого начальника партии, глаза! — потрясённо сказал Зайцев. — Ну ты, Люська, даёшь!

— Эх, да если бы я знала, где он сейчас, разве вы бы нужны были мне? Слышала я, подался Николай Петрович куда-то на повышение. А куда — понятия не имею.

Зайцев и Нерсесян переглянулись.

— Ты обещаешь, что оставишь нас в покое, если мы дадим тебе координаты Николая Петровича? — с затаённой надеждой в голосе спросил Зайцев.

— Обещаю! — с не меньшей надеждой кивнула головой Люсьен.

Нерсесян торопливо написал номер телефона на клочке бумаги:

— Вот, звони! Но про нас — ни слова, да?

Люсьен набрала номер.

— Приёмная заместителя губернатора по промышленности Николая Петровича Гулеватого, — мелодичным голоском сказала на том конце провода секретарша. — Слушаю вас...

— Вот, папашка, ты и попался! — обрадованно прошептала Люсьен, в то же время небрежно махнув рукой двум другим отцам сына в сторону двери. — Скажите, я могу записаться на приём к господину заместителю губернатора по личному вопросу?.. Через неделю, в семнадцать ноль-ноль? Хорошо!

— А ты не помнишь, у кого в нашей партии была ямочка на подбородке? — озабоченно спросил Нерсесян у Зайцева при выходе из подъезда барака.

— Нет, не помню, — ответил Зайцев. — Да какое это теперь имеет значение? Люсьен теперь хватит одного Николая Петровича.

— Пожалуй, хватит, — согласился Нерсесян. — Ох, не завидую я ему.

— Да уж! Как хорошо, что мы с тобой так и остались рядовыми членами партии, простыми геологами...

Случай с Пятаченко

У Пятаченко вдруг начал расти живот. Он и так был не худенький. А тут пузо прямо на нос лезет.

— Пива надо лопать меньше, — ехидно сказала ему жена Амалия.

— Да чего ты ерунду болтаешь, я его сколько пил, столько и пью, — слабо парировал Пятаченко. Но на всякий случай теперь вместо ежедневных трёх литров стал выпивать полтора.

А живот знай себе растёт. Тогда Пятаченко перестал закусывать пиво чипсами. Но живот распухал как на дрожжах.

— Сходи-ка к эндокринологу, — сказала слегка обеспокоенная Амалия. — У тебя, похоже, что-то с обменом веществ.

Врач посмотрел анализы, помял Пятаченко кадык, живот, сделал испуганные глаза, да и говорит:

— Это вам, больной, не ко мне надо. Потому как вы, как бы вам это помягче сказать... Вы в положении.

— Это в каком ещё положении? — не понял Пятаченко.

— Беременны вы! Похоже, уже где-то в районе пяти месяцев. Идите к гинекологу.

Пятаченко от возмущения чуть не задохнулся:

— Я? Беременный? Да что вы такое говорите? Откуда, как?

— Вам виднее, откуда и как, — туманно сказал врач.

Убитый горем Пятаченко приплёлся домой. Дочь и сын были ещё в школе, жена — на работе. Пятаченко разделся перед зеркалом и стал враждебно рассматривать своё безобразно отвисшее пузо. Вдруг ему почудилось, что у него где-то там, глубоко внутри, что-то ворохнулось. «Схватки!» — понял Пятаченко и повалился на пол без сознания.

Очнулся он оттого, что вернувшаяся с работы жена поливала его водой из чайника.

— Где я? — слабо спросил Пятаченко. — И почему мокрый? Что, уже воды отошли?

— Слава Богу, жив! — обрадовалась Амалия. — Постой, ты что, бредишь? Какие такие воды?

Пятаченко увлёк жену в спальню и там ей всё рассказал.

Амалия слушала его, вытаращив глаза. Осознав, наконец, всю суть происходящего, она грозно сказала:

— Гришка, ты мне изменил! Признавайся, сволочь: с кем?

— Да что ты, что ты, Амалинька, ни сном, ни духом, — залепетал Пятаченко.

— Да? А ты вспомни: как раз пять месяцев назад тебя дома не было двое суток. Ты потом признался, что пил эти два дня у дружка своего Бузыкина... А не могло быть так, что Бузыкин этот воспользовался, так сказать, твоим беспомощным состоянием...

— Да как ты смеешь! — вскинулся Пятаченко. — Мы с ним мужики с нормальной ориентацией.

— Ну, тогда не знаю...

— Слушай, может мне сделать этот, как его, аборт?

— С ума сошёл! Тебе скоро уже рожать!

— А как же теперь быть?

Амалия пытливым взглядом в глаза мужа:

— Слушай, Гришенька, ну, раз уж так получилось, давай рожай. Ваня с Таней совсем уже большие. Скоро окончат школу, потом институты, попереженятся, и останемся мы с тобой совсем одни... Не бойся, когда будешь рожать, я буду рядом. А пока на сохранение ляжешь.

Амалия нежно погладила живот Пятаченко.

— Да так-то оно так, — дрогнул Пятаченко. — Но что я на работе скажу?

В это время раздался телефонный звонок. Амалия сняла трубку.

— Тебя, — сказала она Пятаченко.

Григорий выслушал, что ему сообщили. Потом переменялся в лице и закричал:

— Коновалы! Я жаловаться на вас буду!

И бросил трубку.

— Что такое? — спросила Амалия.

— Не поверишь: звонил тот самый эндокринолог. Очень извинялся и просил меня зайти снова. Оказывается, ему принесли анализы какой-то женщины с такой же фамилией и инициалами. Я не беременный! Просто у меня действительно нарушился обмен веществ. Но к этому врачу я больше ни ногой! Чуть не родил из-за него!

— Ну вот, — загрустила Амалия. — А я уже настроилась на ребёночка.

— Так в чём дело? — обнял её Пятаченко. — Вот сгною живот, и займёмся решением этого вопроса...

Не спится

Кулагину не спалось. Он ворочался, ворочался, неприязненно прислушиваясь к похрапыванию жены. Потом встал и вышел на кухню. Настенные часы показывали третий час ночи.

Кулагин решил попить чаю. Пока чайник закипал, решил включить телевизор — одному было скучно.

— Ты чего не спишь?

На пороге кухни стояла жена Кулагина, походя в своей сиреневой ночной рубашке на маленькую грозовую тучку.

— Не спишь, вот и не сплю.

— Это оттого, что ты бездельник, — сообщила ему Галина. — На работе баклуши бьёшь, дома палец о палец не ударишь, всё я делаю. А надо просто уставать, тогда и сон будет здоровый, как у меня.

— Да? А сейчас с чего прикажешь мне устать? Постираться, что ли?

— Я уже всё выстирала. И посуду помыла. И обед тебе на завтра сварила.

— Вот, видишь. А ты говоришь: «Уставать надо, уставать». С чего? — пожаловался Кулагин.

— С чего? — переспросила Галина. Тут глаза её загорелись.

— Пошли, — сказала она.

— Куда? — не понял Кулагин.

— В спальню. Я тебя притомлю, не сомневайся. Так, что спать будешь без задних ног. И без передних.

— Так я «уствал» уже с тобой. На позапрошлой неделе, — испугался Кулагин.

— Ну, тогда майся и дальше. Но чтобы тихо мне! — разочарованно и грозно сказала Галина, удаляясь в спальню.

«Полежу-ка я в зале на диване с книжкой. Может, и засну», — решил присмиривший Кулагин.

И ведь заснул-таки. Под утро. А снилось ему, что он живёт в деревне, каждый день колет дрова, убирает снег во дворе, чистит сарай и очень качественно устаёт. И никто к нему не пристаёт с глупыми предложениями утомиться в третьем

часу ночи в спальне... Потому что спит он как убитый.

А Галине в это время снилось, что она наконец-то спровадила своего бездельника мужа в деревню в отпуск, к своей маме — к дровам, к снегу, ко всегда голодным свиньям в сарае. А пока Кулагина нет, её утомляет их сосед холостяк Куроедов. Уж очень он откровенно в последнее время поглядывает на пышнотелую Галину...

Ах, эта простуда!

Действие происходит на автобусной остановке. Участники — группа горожан, ожидающих маршрутный автобус.

Она Ах, эта проклятая простуда!

Он Как я вас понимаю...

Она Вы не можете этого понимать!

Он Нет, понимаю!

Она Нет, не понимаете!

Он Уж не хотите ли вы сказать, что я такой тупой?

Она Нет, у вас просто нет насморка!

Он А я вам говорю, что он вчера был!

Она Так то было вчера!

Он Слушайте, что вы ко мне пристали?

Она Это я к вам пристала? Петро, ты только посмотри на этого нахала!

Петро Мужик, ты чего пристал к моей жинке?

Он Это я к ней пристал? Да на фиг она мне сдалась, твоя сопливая жена?

Петро Ось ты как? Получи вже!

Он Уй, больно! Фарид, ты чего стоишь? Наших бьют!

Фарид Ах ты, гад! Н-на тебе!

Петро Ай! Ну, погоди хвилинку! Алё, Остап? Прихвати с собой тества та братив и дуйте швидче до мене, на остановку! На нас с Галей тут якись козлы наихалы...

Фарид Ага, ты так! Алё, Мансур? Мында киль!

Из милицейского протокола: «27 января на автобусной остановке девяносто седьмого маршрута по улице Перенсона была зафиксирована массовая драка, во время которой оказался приведён в негодность павильон и перевёрнут подошедший автобус, вместе с пассажирами, большая часть которых состояла из иностранных студентов, обучающихся в нашем городе. Пассажиры также подключились к драке, таким образом участие в противоправных действиях приняли сорок семь человек различной национальности, в том числе одна женщина. Все они, кроме указанной женщины, обменивались непечатными выражениями на чистейшем русском языке, из чего можно заключить, что драка не имела под собой межнациональной или расовой неприязни. Все хулиганы, невзирая на их национальности и цвет кожи, были задержаны, но затем выпущены, так как имели очевидные признаки простудных заболеваний и создавали реальную угрозу заражения ОРЗ всего отделения милиции. Начальник отделения капитан Геворк Амбарцумян».

Конь в пальто

— Алло, это Пётр Иванович?

— Да. А вы кто?

— Кто, кто... Конь в пальто! Я это, Коньков. Что, обормот, уже перестал узнавать своих сотруди-ников?

— Но позвольте...

— Я сейчас позволю! Я себе такое позволю, чего ты, зараза, и сроду не слышал. Я сегодня, пока ты где-то шлялся, оставил у твоей секретарши, этой сексотки, заявление. Всё, ухожу из твоей ерундовой конторы. И знаешь почему?

— Почему?

— Осточертел ты мне бесконечными своими придирками: то ему не эдак, это не так. Подумаешь, два дня меня на работе не было!

— Да, кстати, почему же это вас не было два дня на работе?

— Опять двадцать пять! Я ж тебе, моржу толстокожему, русским языком объяснял: может, у меня семейная драма! Может, жена у меня кого завела, а я выводил эти два дня. А ты сразу: «Выговор с последним предупреждением!» Всё, ухожу. К сокурснику, он фирму новую открыл, давно зовёт. А тебе желаю... Чтобы ты...! Чтобы тебя...! Чтобы тебе...! Того же самого — и всем твоим родственникам! И всем и везде буду рассказывать, какая ты есть сволочь, Карпухин Пётр Иванович!

— Вот тут вы не правы!

— Это почему же?

— Потому что я хоть и Пётр Иванович, но не Карпухин...

— А кто тогда? Это что, я ошибся номером, что ли?

— Выходит, ошиблись!

— Вот зараза! Столько времени на тебя даром потерял...

— Пойдите, стойте, не кладите трубку!

— Это ещё почему?

— А вы не могли бы, слово в слово, повторить всё, что вы мне тут наговорили, одному господину? Вот по этому телефончику? Я заплачу, не сомневайтесь!.. Уж очень здорово у вас критика получается, я так никогда не смогу.

— А что, идея! Свою фирму открою, критики и самокритики на заказ. А ну, называй имя и телефон моего первого клиента...

В шкафу

И вот Сиракузов, как тот придурок из анекдота, сидит в шкафу в чужой супружеской спальне. В трусах и на корточках, за душной и тесной шеренгой шуб, плащей, платьев. По лицу, шее струится пот, сердце гулко бьётся почему-то не в груди, а в ушах. Жарко, но его бьёт озноб. Это нервное. Ну, ещё бы. В самый пикантный момент из прихожей донеслась трель дверного звонка. Это в три-то часа ночи?

Их буквально разметало в разные стороны. Причём Сиракузов почему-то сразу оказался в шкафу. Это любимая поддала ему своей восхитительной коленкой и прошипела:

— На всякий случай: вдруг муж вернулся. Хотя никак не должен. Он же на соревнованиях.

Захлопнула за ним дверцу, да ещё и ключ про-вернула.

«Блин, а шмотки? Нет, так больше нельзя!»

А тут ещё на инородное тело начала слетаться моль. Эти маленькие крылатые твари стали исследовать и без того не могучую растительность Сиракузова на предмет съедобности. Чёрт, как щекотно!

Милая ушла в прихожую, спросила своим мелодичным капризным голоском, от которого у Сиракузова всегда мурашки по телу, особенно по отдельным его частям:

— Кто там? Я сплю!

Сиракузов выпростал ухо из-под полы какой-то шубы и приложил его к дверке шкафа. Силой воли усмирил грохот сердца в ушах и слышал грубое, но нежное:

— Бу-бу, бу-бу-бу!

— Васенька, это ты? — радостно (ах ты, зараза!) пискнула их милая и защёлкала задвижками, загремела цепочкой.

«Так-а-ак! Значит, всё-таки, муж! Василий Бугаев, чемпион города по боксу. Уезжал на чемпионат области. Должен был только послезавтра вернуться. Козёл!»

— Вылетел я, в первом же туре, зайныка, — войдя в прихожую, заплакал Василий.

— Ну что ты, дорогуша, успокойся, — заворковала их милая. — Сейчас душ примешь, и баиньки. А потом ты их всех побьёшь, в другой раз!

— Ехал и всю дорогу думал, кого бы поймать, на ком злость сорвать, — шмыгая своим кривым сломанным носом (Сиракузов как-то видел этот мужественный шнобель), пожаловался боксёр. — И представь, никто ведь так и не подставился.

«Ой-ей-ей! А груша-то для битья вот она, в шкафу его жены сидит. И у груши этой страшно затекли ноги. Нет, так больше нельзя!»

Сиракузов сел и вытянул полусогнутые ноги, подошвы которых упёрлись в полированную перегородку шкафа. А пальцы ног начали выбивать мелкую дробь по гулкому как гитарная коробка дереву.

«Чёрт, да что же это такое!»

Сиракузов снова уселся на корточки. И тут ключ в дверце шкафа начал проворачиваться. Сиракузов зажмурился и скрестил перед собой руки со сжатыми кулаками: так просто выколотишь из себя душу он не даст!

— Выходи и быстро одевайся, — жарко зашептала милая.

— А этот, однофамилец твой?

— Он в душе, и не скоро выйдет.

— А после душа вы в кроватьку, да? — скрипнул зубами Сиракузов.

— Иди уж! — прильнула она в прихожей к нему, куда они пробрались на цыпочках. — Через неделю я тебе позвоню. Он на межрегиональные соревнования уедет, на три дня. Придёшь?

Рядом, за дверью ванной комнаты, громко шумел душ, под тугими струями которого что-то фальшиво напевал муж её милой, изредка царапая ветвистыми рогами по мокрой кафельной стене.

— Ни за что и никогда! — сердито прошипел Сиракузов, выходя на лестничную площадку. — Пока не поставишь в шкафу табуретку... И моль выведи!

Противобаб

Отходя в мир иной, Пётр Сидорович призвал к себе единственного сына и прошептал:

— Ванюша, я не оставляю тебе ни денег, ни какого другого добра. Сам знаешь, как мы жили.

Иван неодобрительно покивал. Отец его был инженером, вечно что-то изобретал, и эти его изобретения нигде и никем не признавались. В доме была постоянная нужда, за что папашу поедом ели жена и теща. Иван ничего не изобретал, но и его заедали жена с тещей — за то, что мало зарабатывал.

— Но оставляю я тебе, Ванюша, последнее своё изобретение, — тихо говорил Пётр Сидорович. — Это психотронный дистанционник. Действует только на женщин. Я ему дал обиходное название противобаб. Успел испытать только на соседке. Получилось. На, пользуйся!

Пётр Сидорович достал из-под подушки небольшую коробочку и со светлой улыбкой покинул земную юдоль.

Похоронив отца, Иван забыл об этой коробочке. Он не верил в отцов гений — что бы ни изобрёл покойный, всё не работало. Но тут Ивана как-то особенно достали жена с тещей — за то, что вернулся с работы с запахом, но зато без премии. Он запорол отчёт, за что шефиня, Наталья Викторовна, и наказала его.

Иван вспомнил об отцовской коробочке утром, когда собирался на работу, отыскал её и взял с собой. Противобаб выглядел как обычный пульт дистанционного управления, с такими же кнопками. В коробочке также лежала инструкция. Иван углубился в её изучение. Очнулся, когда услышал извительный голос своей шефини:

— Иван Петрович, вы свои покупки могли бы изучать и дома. А в офисе надо работать! Ну-ка зайдите ко мне!

Негодующе фыркнув, начальница проследовала в свой кабинет. Иван пошёл за ней. Когда он вошёл в кабинет, шефиня сердито сказала:

— Вот что, Иван Петрович... Э-э, это вы зачем на меня наставили свой дистанционник? Я вам что, телевизор?

И вдруг Наталья Викторовна замолчала, оже-сточение на её лице сменилось услужливостью.

— Я в вашем распоряжении, Иван Петрович, — покорно сказала она. — Что бы вы хотели?

— Ух ты! Заработало! — поразился Антон. И велел начальнице:

— Отмени-ка свой приказ о лишении меня премии. Да удвой её размер и распорядись выдать мне немедленно!

— Слушаюсь! — сказала шефиня. — Какие ещё будут распоряжения?

— На сегодня всё, — отрезал Иван. — Я пошёл домой. У меня отгул. На два дня.

По дороге домой он купил коньячку, закусочки. Дома всё это выставил на стол под изумлёнными взглядами домохозяек. Вернее, домохозяиц.

— Совсем обнаглел! — возмущённо сказала теща. — Зинуля, доча, посмотри-ка, он пьянку уже на дом начал брать!

— Цыц! — храбро прикрикнул Иван и вытащил из кармана противобаб, направил его на тещу. — А ну, упала, отжалась, старая карга!

Теща побелела и упала. Но отжаться смогла только пару раз — да и куда ей, она ведь в армии не служила! — и тихонько лежала себе на полу, не понимая, что с ней происходит.

— Ты чего сотворил с мамой, козёл! — изумлённо спросила Ивана жена. — Да ты знаешь, что я с тобой сделаю за неё? А ну, убрал всё со стола, и пошёл мусор выносить!

— Щас! — глумливо сказал Иван и снова защёлкал кнопками пульта. — Ты, глупая старуха, можешь встать и пожарить для любимого зятя котлет. А ты, зараза, иди-ка в спальню, прими там позу и жди меня!

— Какую прикажешь, дорогой? — томно закатила глаза жена.

— Встань буквой «зю»!

— Есть!

Пока женщины выполняли его распоряжения, ликующий Иван налил себе коньячку раз, другой, третий, слегка закусил и пошёл в спальню. Жена, вся обвиснув, исправно стояла в заказанной им позе. Иван глянул на неё, поморщился — себе-то он приказать не мог.

— Вольно! — сказал он Зинаиде. — Присоединяйся к своей дорогой мамаше и приготовьте мне приличный ужин — у меня сегодня праздник. Я скоро буду.

Он взял с собой противобаб и спустился этажом ниже, к одинокой соседке, о которой говорил его папашка... Да, соседка оказалась просто класс!

Когда вернулся домой, стол был уже накрыт. Жена и теща смиренно ждали его.

Распалённый Иван выпил ещё пару стопок коньяку.

— Вот вы где теперь у меня! — воодушевлённо сказал он домохозяицам, показывая пульт. — Отныне что прикажу, то и будете делать! Конеч бабшине в моём доме! Н-ну, ладно, расслабьтесь. Вы-выпейте со мной, поешьте. Я что, зверь к-какой, что-ли?

Коньяк и расслабленность сделали своё дело — Иван захмелел и утратил бдительность. В какой-то момент жена зашла ему за спину и огрела скалкой по голове. Иван рухнул лицом в уже остывшие пельмени. Следующим ударом Зинаида вдребезги разнесла лежащий на столе противобаб.

— Где я? — спросил, придя в себя, Иван, и что-то вспомнив, тут же зашарил рукой по столу.

— Не ищи, отказала твоя техника! — злобно сказала жена, помахивая скалкой. — Зато мой дистанционник — безотказный. А ну, марш спать, пока я тебя снова не отключила! Утром поговорим.

Иван покорно побрёл на диван. Уже засыпая, он вспомнил: инструкция и схема сборки пульта остались у него на работе! А по ним можно смастерить новый противобаб. И обязательно забрать его в противоударную оболочку. Чтобы никакая скалка не могла взять!

Синяя тетрадь

« Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами. »

Ахматова

19 октября 2008 года — 10 лет со дня открытия Красноярского литературного лицея. Поздравляем лицеистов и их преподавателей с этой замечательной датой и предлагаем вниманию читателей «Синей тетради» произведения лицеистов разных поколений.

Мария Воногова 9 класс

Две Антигоны (фрагмент курсового сочинения)

Две трагедии, две «Антигоны». Одна создана греком Софоклом в IV веке до н. э., другая — французом Жаном Ануем в середине XX-го. И в той, и в другой героиня — внешне маленькая, слабая, хрупкая. Особенно Антигона Ануя. Французский драматург подчёркивает слабость своей героини. Даже духовная мощь и несгибаемость Антигоны Софокла ануевской героине не свойственны. Антигона Ануя — не сильная, а *странная*. Антигона Софокла — часть общества и космоса. В противостоянии Креонту она опирается на молчаливую поддержку трусливых, но богопослушных фиванцев. Антигона Ануя — пылинка в безумном кружении таких же пылинок. Персонажи Ануя вообще *странные*. Их действия не подчинены никакой логике. Почему так ведёт себя Гемон? Почему так ведут себя Антигона, Эвридика, Кормилица? Единственный человек, который в драме Ануя как-то объясняет мотивы своего поведения, это Креонт. Но его логика — ведёт к трагедии. Она — так же бессмысленна, как нелогичное упрямство Антигоны. А претензия на знание истины приводит человека к самому страшному в глазах Ануя преступлению — преступлению против Жизни. Антигона Софокла — символ Божественной Правды, вечного Логоса, воплощённого в человеческом поступке. Антигона Ануя — символ Жизни как таковой, не нуждающейся ни в каком объяснении и оправдании. Недаром она впервые так и является нам у Ануя — ранним утром, обрызганная росой, вся в цветочной пылице и в солнечных лучах.

Вот, пожалуй, и всё, о чём я хотела рассказать в своей работе. Добавлю только ещё несколько слов.

Жан Ануя не просто воплощает свои идеи. Он изобретает для них особую форму. Его драма, не просто драма — это театр в театре: актёры играют героев, герои же играют сами себя, и сами герои являются и зрителями (Антигона и Хор). Ануя не просто пишет свою драму, он — принципиально и сознательно вовлекает в игру Софокла: он хорошо знает этот материал, берёт целые цитаты оттуда, провоцирует Софокла, спорит с Софоклом, опровергает Софокла. Его драма — словно зеркало

XX века, в котором идеи и герои вечной «Антигоны» отразились в перевёрнутом виде.

Почему Ануя выбирает именно драму Софокла? Может быть, потому, что она была первой, написанной по этому мифическому материалу? Или наиболее сильной из всех написанных (а об Антигоне писали очень многие)? Может быть...

Ещё хотелось бы упомянуть о том, что у современников Ануя было предположение, что автор, описывая борьбу Антигоны и Креонта, призывает к борьбе с Гитлером. Ведь пьеса была создана в оккупированном Париже. Хотя, мне кажется, наивно утверждать, что Ануя сравнивает Креонта и Гитлера — он просто побуждает скованных страхом людей к сопротивлению. Может быть...

(Весна, 2005)

Валерия Васильева 10 класс



Япония. Солнце,
немилосердный злющий зверь,
вонзается в клетки
моей больной кожи.
Хризантема, королева праздника,
улыбается насмешливо.
Душно.

Март

У тебя в глазах зелёная тишина.
Почему? А я не отвечу.
Видишь, подснежники пробудились от сна
И стремятся друг к другу навстречу.



Любовь безответная,
ты — вечно среди праздника.
Ты — похоть безгрешная, завязка рассказика...

Яна Гильмиянова 10 класс

В час ночной...

Мне войти?.. — неловко...
Постучать?.. — слишком громко...
Не хочу нарушать тишину
В час ночной...

Что не спишь? — не спится...
Чего хочешь? — проститься...
Ведь сейчас я выпорхну птицей
В открытое настезь окно...

Ну а дальше?.. — что же?..
Ты серьёзно?! — и всё же...
Нет пути мне назад —
В дом родной...

Как же быть?..— мне сложно...
Тебе сложно?.. — немножко...
Не прощаются ангелы так —
В час ночной...

Анастасия Любимая 10 класс

Русские офицеры в 1805-м
Андрей Болконский

Лев Николаевич Толстой в романе-эпопее «Война и мир» подробно описывает события 1805 года. Внимательный читатель может по достоинству оценить охваченную автором панораму войны, но гениальный писатель не ограничивается внешней чередой событий, а ведёт нас в самый их эпицентр, показывает войну изнутри — как сложный механизм: каждую шестерёнку, каждого участника. И мы видим войну глазами героев... Какой она была, эта война? С какими мыслями шёл на эту войну молодой офицер? Толстой, будучи уже человеком другой эпохи, не мог знать этого точно... Однако это был один из важнейших вопросов, интересовавших писателя. Толстой не спорит с историей, не диктует нам своё мнение. Он создаёт героев, живых участников происходящего, и старается вместе с читателями разобраться в событиях 1805-го года.

Один из таких героев — Андрей Болконский. Толстой не только показывает его в контрасте с другими героями, но сам Болконский кажется другой соприкосновения двух миров. С одной стороны, это мир, в котором живёт сам герой, участник войны, со своими чувствами и мыслями, движущаяся точка романного сюжета. С другой — создаётся ощущение, что автор доверил мыслям персонажа своё видение войны, смелое и неожиданное...

Первое впечатление от Андрея Болконского: умён, независим, человек чести и, скорее, подчинит себе жизнь, чем будет плыть по течению. Он оставляет мир эгоистических интересов, светских интриг, притворства, наигранности, неестественности поведения и в надежде найти своё предназначение уходит на войну. И здесь Толстой показывает своего героя преисполненным благородных целей; Андрей не жалеет себя ради блага Отечества и отчётливо противопоставляется таким персонажам, как Жерков, полковник Богданьч и прочим, им подобным. Поведение Жеркова, насмехающегося над раненым генералом Маком, вызывает у князя Андрея отвращение и протест. Среди людей «света», даже на войне, князь Андрей ведёт себя так же, как в салоне Анны Павловны Шерер. Таким мы — глазами Николая Ростова — видим его во время парада — ленивым, развалившимся на лошади, скучающим. Но он кардинально меняется, когда его занимает какое-то осмысленное дело. Нет, князь Андрей — не типичный штабной офицер, выслуживающий награды и звания за спиной начальства. Напротив! Болконский всегда рвётся в самый центр событий. Если это Шенграбенское сражение, то Болконский — в самом пекле, на батарее Тушина. Причём он не только доставляет Тушину приказ об отступлении, но остаётся на батарее, помогает убраться орудия и не

уезжает до тех пор, пока не убеждается, что люди выведены из-под огня. Поступки Болконского вызывают уважение, доверие и даже отеческую любовь самого Кутузова.

Однако Болконский — не безупречен. Рядом с Болконским-героем — другой Болконский. Правдоискатель. Автор толкает своего героя к испытанию, обрекает его на внутренний конфликт, чтобы тот пришёл к истине, к вечному небу... Толстой погружает читателя в мысли героя (а, может быть, и в свои собственные мысли). Здесь и открывается противоречивость целей, определяющих поведение молодого человека на войне. Для Болконского война 1805-го — своего рода театр или спортивная арена. Князь Андрей мечтает о славе Наполеона, о своём Тулоне. Даже придумывает проекты по спасению армии, хочет занять место Кутузова. Его главный соперник и кумир — Наполеон. Но, мечтая о подвиге, князь Андрей обособляет себя от мира простых людей: понимая, что Тушин фактически спас батарею, Болконский не может признать в нём героя, уж очень невзрачен этот «капитан без сапог». В душе Андрея — постоянный конфликт между высокими мыслями и реальными военными буднями. Об этом свидетельствует, например, эпизод, когда, возвращаясь из Брюнна в штаб Кутузова, окрылённый своим проектом по спасению армии, он, вместо этого, вступает за лекарскую жену перед обозным офицером, испытывая при этом чувство досады и омерзения. В войсках царят беспорядок и неразбериха, бесконечно далёкие от его идеалов. Этот контраст настолько мучителен, что Болконский с озлоблением смотрит на солдатскую жизнь.

Тщеславие уводит князя Андрея далеко от человеколюбивых целей! Ему не жаль пожертвовать самым дорогим в жизни ради минуты славы, торжества над другими, ради восхищения людей, которых он даже не знает. «Я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно»...

Андрей не может простить жизни не зависимо от его желания развития. И когда в начале Аустерлицкого сражения наступает торжественная минута, он получает шанс осуществить свои высокие мечты и бежит к своему «Тулону» со знаменем в руках. Но даже эта героическая минута наполнена впечатлениями, далёкими от устремлений его мечты. Раненый Болконский, упавший на Праценской горе со знаменем в руках, видит над собой небо, вечное, чистое, высокое... «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как мы бежали, кричали и дрались... Как же я не видал прежде этого высокого неба и как счастлив, что узнал его наконец! Да! Всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба...»

С высоты неба, куда полетела его душа, мелкими и никчёмными показались Андрею его недавние мечты. И даже когда возле умирающего Болконского остановился сам Наполеон, оценивший подвиг русского офицера словами «Вот прекрасная смерть!», — бывший кумир утратил всё своё величие в глазах князя, стал маленьким и тщедушным. «Ему так ничтожны показались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался он сам, с этим мелким

тщеславием и радостью победы, в сравнении с этим высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял...»

В душе Болконского происходит переворот. Он с благоговением смотрит на образок, который дала ему княжна Марья, все его честолюбивые мечты сменились тягой к простой и тихой жизни...

Толстой приводит своего героя к правде — как к глубокому личному, внутреннему открытию. События 1805 года стали переломным этапом в жизни князя Андрея, но Толстой не оставляет своего героя на поле битвы. Он даёт ему шанс открыть новую страницу в судьбе.

Болконский вовсе не идеален. Автор подчёркивает это. Но что делает князя Андрея героем романа Толстого, так это способность изменяться, постоянно искать, находить, разочаровываться и снова искать смысл жизни.

Лаборатория «Пушкиноведение» (сочинения восьмиклассников разных лет)

«Борис Годунов»

2006-й год

Александра Осетрова

...Борис Годунов предстаёт перед нами в драме как хитрый и расчётливый человек. Он убивает маленького царевича (конечно, не своими руками), затем изображает, что якобы не хочет становиться царём, его уговаривает весь народ, и в конце концов он всё же соглашается принять «шапку Мономаха».

Ты, отче патриарх, вы все, бояре,
Обнажена моя душа пред вами:
Вы видите, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!

Но это лишь то, каким он, возможно, был до царствования. Каким же он стал царём? Он сам говорит, что царствует, но душа его неспокойна.

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе...

Борис вспоминает, что пытался снискать любовь народа, помогая ему.

Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы —
Они ж меня, беснуясь, проклинали.

Бориса мучает пробудившаяся совесть» Ему является призрак убитого царевича Димитрия.

И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Царствование становится тяжким бременем для Бориса.

Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

Что можно сказать о слугах Бориса? Большинство из них боятся царя и служат лишь из страха. Некоторые при первой возможности с радостью его предают. Бояре сами не прочь воспользоваться властью — они лгут, восхваляя Бориса, а за его спиной плетут бесконечные дворцовые интриги. В сущности, им всё равно, кто сядет на московский престол — каждый преследует собственную выгоду.

А вот ещё два персонажа. По сравнению с самим Борисом и его слугами-боярами, они — невинные ангелы. Дети Бориса. Царевич Феодор — умный, образованный мальчик, и его сестра Ксения — печальная, хранящая верность своему мёртвому жениху. Они абсолютно ни в чём не виноваты, однако бояре убивают их.

Что же — народ? В начале драмы это просто управляемая толпа, которой, что скажут, то она и делает. Взять хотя бы фрагмент, когда кто-то начинает плакать, и толпа моментально присоединяется. Плачут все, даже если для этого приходится луком глаза тереть или ребёнка бросить на землю, чтобы тоже плакал. Этот народ напоминает мне какое-то ужасное животное. Предполагаемых убийц царевича Димитрия толпа растерзала на месте. А когда после смерти Бориса бояре со стрельцами идут в дом к царской семье, народ думает, что они идут не убивать, а присягать... И вот царевич и царевна мертвы. Об этом объявляют народу. И что же народ? Он безмолвствует...

Зоя Боровских

Ночь... Сад... Фонтан... Эта сцена прекрасно показывает нам Марину Мнишек. Её истинные намерения, неискренняя любовь, корыстное желание стать московской царицей — всё это раскрывается при свидании Лжедмитрия с Мариной. Марина Мнишек — дочь Юрия Мнишка, сандомирского воеводы, — очень умная и хитрая особа, желавшая власти, но не любви Лжедмитрия.

Часы бегут и дорого мне время —
Я здесь тебе назначила свиданье
Не для того, чтоб слушать нежны речи
Любовника... слова не нужны...
...чтоб об руку с тобой могла я смело
Пустьись в жизнь — не с детской слепотой,
Не как раба желаний лёгкий мужа,
Наложница безмолвная твоя,
Но как тебя достойная супруга,
Помощница московского царя.

Бедный Гришка Отрепьев... Он горячо любил Марину, но не нашёл ответного чувства. У фонтана он понял всю скверную и лживую душу аферистки.

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла —

Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться —
Прощай навек. Игра войны кровавой,
Судьбы моей обширные заботы
Тоску любви, надеюсь, заглушат.
О, как тебя стану ненавидеть,
Когда придёт постылой страсти жар!
Теперь иду — погибель иль венец
Мою главу в России ожидает.
Найду ли смерть как воин в битве честной
Иль как злодей на плахе площадной,
Не будешь ты подругою моею,
Моей судьбы не разделишь со мной.

И всё же Дмитрий надеется на любовь, но в ответ лишь получает «приказ» идти на Москву:

И вижу вновь Дмитрия, но — слушай! —
Пора, пора! Проснись, не медли больше,
Веди полки скорее на Москву —
Очисти Кремль, садись на трон московский,
Тогда за мной шли брачного посла,
Но — слышит Бог! — пока твоя нога
Не оперлась на тронные ступени,
Пока тобой не свержен Годунов,
Любви речей не буду слушать я.

Марина, Марина... Умная, решительная, ты просчитывала всё на несколько шагов вперёд и стремилась к власти! Переступив через несколько жизней, ты так и не добила царского престола и так рано, так трагично закончила жизнь в неволе. Ах, как прав, наверное, был Дмитрий!

Но, может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобою.

Марина, Гришка, Годунов... Аферистка и два самозванца. Все они жаждали власти, все они стремились царствовать, и все они ужасно закончили свои жизни. Три разных человека, три похожих судьбы. Им суждено было встретиться и бороться за власть друг с другом. Я думаю, три этих выдающихся личности просто для сравнения показаны в драме «Борис Годунов». Они очень похожи и в некотором смысле стоят друг друга. Марина Мнишек, Григорий Отрепьев и Борис Годунов.

Элина Суднишникова

...Ночь. Сад. Фонтан. Название этой сцены уже даёт представление о том, что сейчас произойдёт встреча, скорее всего, девушки и парня. Так и есть. Первым к назначенному месту является Гришка Отрепьев, волнуясь перед свиданием с Мариной Мнишек:

Нет — это страх. День целый ожидал
Я тайного свидания с Мариной,
Обдумывал всё то, что ей скажу,
Как обольщу её надменный ум...

И тут входит Марина, начинает свой разговор — твёрдо и расчётливо:

Часы бегут, и дорого мне время —
Я здесь тебе назначила свиданье

Не для того, чтоб слушать нежны речи
Любовника. Слова не нужны...
Затем произносит:

...я решилась
С твоей судьбой, и бурной, и неверной
Соединить судьбу мою; то вправе
Я требовать, Дмитрий, одного:
Я требую, чтоб ты души своей
Мне тайные открыл теперь надежды...

Видимо, Марина решила любым способом выведать тайну Дмитрия, прикрываясь тем, что боится «пуститься в жизнь с детской слепотой». Но самозванец тоже не так-то прост, он пытается уйти от этой темы подальше:

О, дай забыть хоть на единый час
Моей судьбы заботы и тревоги.
Забудь сама, что видишь пред собой
Царевича. Марина! Зри во мне
Любовника, избранного тобою...

Но Мнишек всё стоит на своём, не поддаваясь уговорам «человека с огромной тайной»:

Не время, князь. Ты медлишь — и меж тем
Приверженность твоих клеветов стынет.
...Уж носятся сомнительные слухи...
...А Годунов свои приемлет меры...

Так Марина Мнишек и Григорий Отрепьев долго «перетягивают» между собой интересующие их темы. Гришка — тему любви. Марина — тему «тайны Дмитрия».

Вдруг наступает роковой момент. Отрепьев не сдерживается и признаётся Марине в самой страшной тайне:

Нет, полно мне притворствоваться! Скажу
Всю истину; так знай же: твой Дмитрий
Давно погиб, зарыт — и не воскреснет;
А хочешь знать, кто я таков?
Изволь, скажу: я бедный черноризец...

Реакция Марины вполне предсказуема:

О, стыд! О, горе мне!

Молчание.

И вот самозванец уже жалеет о сказанном, пытается вызвать у Марины хоть какие-то чувства, похожие на жалость:

Так вымолви ж мне роковое слово;
В твоих руках теперь моя судьба,
Реши: я жду... (бросается на колени)

Но Марина, не скрывая, презирает его. Из её уст текут речи, унижающие, даже оскорбляющие Григория. Конечно, он сам добился этого. Защитная реакция самозванца очевидна — Григорий нагло и гордо говорит Марине:

Не будешь ты подругою моею,
Моей судьбы не разделишь со мною;

Но, может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобой.

Марина снова оборачивает всё в свою пользу — даёт понять Григорию, что она может «сдать» его. Но самозванец смело заявляет, что ничего не боится — ему нечего терять. И Марина, наконец, сдаётся. Чтобы выполнить свою задачу, она расстаётся с Отрепьевым «на хорошей ноте».

Когда Марина уходит, Гришка сравнивает эту женщину со змеей и приходит к выводу, что лучше сражаться с Борисом Годуновым, чем с женщиной.

Наверное, А. С. Пушкин ввёл эту сцену в сюжет «Бориса Годунова», чтобы зрители представили, каковы были амбиции политических авантюристов «смутных времён» в России. Все борются за власть, любыми путями. Марина — не исключение. Она тоже старается захватить престол.

2008-й год

Лена Вербицкая

В трагедии «Борис Годунов» народ показан огромным стадом. Стадо — потому что у него нет ни своей цели, ни определённой точки зрения на происходящие события. Если кто-то один говорит, что нужно плакать, — плачут все, даже если этого не хотят. Основная масса вообще не понимает, что происходит, поэтому поступают так: «Все плачут, заплачем, брат, и мы».

Народом управляют придворные бояре. Когда Лжедмитрий захватил русский престол, стоило Пушкину объявить народу о воцарении «законного» царя и низвержении «злодея Годунова», как люди сразу же стали восхвалять Димитрия и проклинать Бориса и всю его семью. Народ нужен боярам как огромная бестолковая подпорка, на которую надо уметь опереться в нужный час, но если она вырвется, — жди беды! Поэтому власть имущие всегда стремятся подчинить себе волю и чувства толпы и не дают разгореться в ней хотя бы искре разума.

Русские люди не жестоки, они всегда жалеют страдальцев... Но если в начале трагедии мы ужасаемся, услышав из уст Шуйского, как разъярённая толпа буквально растерзала на месте тринадцать человек, подозреваемых в убийстве царевича Димитрия, то в конце, когда Мосальский объявляет народу о том, что Годуновы, в том числе и ни в чем не повинный Фёдор, мертвы, люди потрясённо молчат: «Народ безмолвствует».

Лиза Космидис

Борис — сложный человек с тяжёлой судьбой. Всю жизнь его преследуют неудачи. Уже в начале трагедии нам специально представляют приближенных к власти людей. Мы понимаем, что Борис Годунов царствует среди интриг и заговоров. Его придворные говорят одно, а думают совсем другое. И только страх перед царём, а главное, его умение убеждать, заставляют бояр мириться с его политикой. Сам же Борис чувствует это и глубоко переживает своё одиночество.

Царя всё время мучает мысль об убитом по его приказу царевиче Димитрии. Все беды собственного правления он готов уже объяснять

этим преступлением. Шесть лет Борис старается быть мудрым и справедливым государем, который заботится о своих подданных. Но у него ничего не получается. Важнейшую роль в трагедии играет монолог Бориса в сцене «Царские палаты. Два столыника».

«Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе», — говорит Борис. Все беды, которые произошли в стране за годы его правления, он готов принять на свою совесть. И пожары, и неурожай, и голод, и эпидемии — во всём этом народ обвиняет Бориса. Но и в собственной семье царь не находит отрады. Несчастья следуют одно за другим. Даже в смерти жениха его дочери Ксении, умершего от простуды, обвиняют Бориса. «Кто ни умрёт, я всех убийца тайный».

И самое страшное — Бориса мучает невыносимое чувство вины. Он не знает, что ему делать. Вина, как душевная болезнь, полностью овладела Борисом: «И всё тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах... и рад бежать, да некуда... ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».

И даже, когда он умирает, оставляя править своего не по годам умного, образованного, чистого сердцем и помыслами сына Фёдора, его последняя воля не сбывается. Фёдора убивают, и к власти приходит Лжедмитрий.

Мне жаль Бориса. Ведь он делал всё, что мог. Но... «Живая власть для черни ненавистна». Борис, в конце концов, оказывается такой же жертвой беззакония, как и убитый по его приказу Димитрий, и одуроченный боярами народ.

Маша Болдина

Судьба Бориса Годунова противоречива. В начале произведения Пушкина мы видим, как к нему относятся бояре. Даже самые приближённые тайне называют его «незаконным» царём.

«Воротынский. Так, родом он не знатен; мы знатнее...».

Это показано в самой первой сцене, где уже видно, как другие князья относятся к будущему царю. «Крамола бояр» — одно из страшнейших бедствий, разрушающих страну. Может быть, поэтому Борис так долго отказывается от власти. Он понимает, что царствовать ему придётся в полном одиночестве и самыми жестокими средствами, подобно своему предшественнику — Ивану Грозному. Борис добивается, чтобы его уговаривали принять престол, умоляли. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно во власти, ему нужна однозначно выраженная воля всего народа. Не самый знатный, «выскачка», он может опираться только на неё. Но... в народе не утихают слухи о смерти маленького Димитрия. Борису это припоминают всегда и постоянно. Тень Димитрия на наших глазах «оживает» в разговорах множества людей, чтобы постепенно воплотиться в Лжедмитрия — Григория.

С годами Годунов начинает раскаиваться в своём поступке. Он понимает, какую ужасную ошибку совершил, приказав лишить жизни ребёнка! Монолог Бориса раскрывает до самого дна его душу. Нам открываются все его переживания и невзгоды. Борис изо всех сил старается

быть хорошим царём. Но народу невозможно угодить. А главное, Бориса преследует совесть: «И мальчики кровавые в глазах... И рад бежать, да некуда, ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».

А как Борис умирает! Внезапно, мучительно и в самое тяжёлое и шаткое время для его престола. Он передаёт власть своему сыну. Но сама смерть показывает, как Борис боится, что на престол вступит не его наследник. Так и получается.

Лично мне жаль Бориса, как человека. Он совершил ужасное преступление, за которое не был наказан людьми, но был наказан Богом! Как бы он ни старался быть справедливым и добрым царём, но им всегда были не довольны. И умирает Борис в самый не подходящий момент. Мне кажется, именно из-за смерти Бориса Лжедмитрий оказывается у власти.

Стас Бабич

В трагедии Пушкина народ показан в двух своих формах — личной и массовой. Безымянные персонажи как бы «вкраплены» в массу, представлены отдельными возгласами в толпе, мнениями и спорами. Масса — толпа зевак, этакое стадо, ведомое одним человеком — без воли, замысла и идеи. Народ верит словам бояр, но больше всего верит в то, что Димитрий жив, что он придёт и всем поможет. В общем, русский народ показан очень пластичным, податливым. Его можно убедить, в чём угодно. Что Годунов имеет право царствовать, что царевич жив... Люди легко предаются слепой вере, хотя большинство знает наверняка, что Димитрия давно уже нет в живых.

Маша Алексеева

Народ — главный образ трагедии «Борис Годунов». У него нет какого-то одного лица, нет единой мысли, он подавлен и запутан до того, что каждый предпочитает не отделяться от серой массы, слиться с толпой. Пушкин это хорошо показывает в сцене ожидания Бориса у Новодевичьего монастыря: кто-то нагирает глаза луком, чтобы плакать, когда все плачут, а баба бросает об землю только было замолчавшего ребёнка.

Герои трагедии, в том числе и Борис, часто вспоминают о страданиях народа: опала, казнь, бесчестия, налоги... «и труд, и глад, и разоренье». Эти страдания — верный козырь в политической игре бояр. Достаточно пообещать людям, что при новом царе их жизнь станет лучше, чтобы они благословили боярский выбор. Толпа, как послушное животное, делает то, чего от неё хотят. Но, несмотря на это, внутри толпы всегда происходят какие-то диалоги, то один, то другой человек высказывает своё мнение, интересуется происходящим и последствиями, и всё же никто не рискует проявить открыто не только недовольство, но даже просто несоответствие с большинством.

То, что в действительности думают люди, что происходит в душе у каждого в этой толпе, показывает Юродивый. Ему нечего бояться! Он — «обитанный Богом». Его устами, как устами младенца, говорит душа русского народа: «Нельзя молиться за царя Ирода... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича».

Трагедия закачивается напряжённой сценой, когда Мария и Фёдор погибают, а «народ безмолвствует».

В гостях у «Синей тетради» начинающие авторы из Петрозаводска

Даша Кудрина

Пять минут весны

Птицы медленно летели по тоскливому зимнему небу. «Наверное, им тоже лень двигаться», — подумал Лёня. Облокотившись на подоконник, он уныло глядел в окно.

В квартире стояла удивительная тишина, было ясно слышно ритмичное тиканье часов. От него почему-то становилось грустно. Неужели наша жизнь такая же, как этот стук — равномерная, чётко распланированная и обыденная? Зачем же любить, страдать и вообще жить, раз когда-нибудь нас не станет? Зачем учиться, устраиваться, наживать богатство? Ведь с собой в могилу его не возьмёшь! Неужели мир состоит из серых красок, пустых звуков и липовых обещаний?

По его щеке скатилась слеза. Заметив её, он удивился: последний раз такое было лет в семь. «Что это со мной? Старею, наверно!» — подумал он.

Лёня вздрогнул, словно от толчка, и проснулся. Оказывается, он уснул, сидя на подоконнике. Случайно глянул на часы: они показывали 23 часа 59 минут.

А ведь сегодня 29 февраля! Ого! Да ведь это последняя минута зимы!

Но эта мысль развлекла его лишь на секунду. Голова болела, настроение по-прежнему было похоронное.

Старые часы с кукушкой громко брякнули. Вот и наступил март.

И вдруг что-то произошло. Первые несколько секунд он не понимал, что случилось. За окном стеной валил крупный снег, а с первым ударом часов он, словно по волшебству, исчез. Ни единой снежинки! Лёня прильнул к окну. Чудеса продолжали происходить.

Тусклые, едва видимые сквозь тучи звёзды заблестели, как золотые искры, а небо стало иссиня-чёрным, словно волосы злой колдуньи.

Снег как-то разом слетел с деревьев, и те остались стоять по-весеннему голые. На асфальте показались проталины, от них поднимался пар.

Лёня соскочил на пол, рванул старую оконную раму. Воздух был свежим — совсем не таким, как вчера. Лёня глупо улынулся. «Что же я сижу?! Надо же скорей на улицу!» — вспыхнуло у него в голове, и он, как был, в шортах, футболке и тапочках рванул к двери.

Во дворе уже были трое: две полусонные девушки и парень в пижаме и с чашкой в руках. Лица у всех троих были счастливые и одновременно какие-то слегка дебилные.

Из домов выбегали люди. Все они были оригинально одеты: вот девушка в халате и с тюрбаном из полотенца на голове; вот солидный мужчина, одна щека у него выбрита, а вторая вся в мыль-

ной пене, а вот маленький мальчик в трусиках и поверх них в пальто. Но люди были похожи не только этим: у всех были одинаковые — радостно-идиотские — улыбки.

Никто не мог сдерживать своих чувств: кто-то прыгал, кто-то пританцовывал, девушка с тюбаном что-то запела.

Лёня зажмурился, снова открыл глаза. Снег на асфальте уже совсем растаял. На деревьях набухали почки. Он сильно вдохнул воздух: ему показалось, что сейчас у него лопнут лёгкие — но в то же время это принесло огромное облегчение. Словно все проблемы, скопившиеся за зиму, улетучились; все мрачные мысли спрятались, а добрые и весёлые, наоборот, раскутались, сбросили меховые одежки. Он несколько раз покрутился вокруг себя. Но тут же спохватился: не видел ли кто-нибудь? Но никто не обращал на него внимания.

Лёня почувствовал, что в голове у него не осталось ни одной мысли: он был просто счастлив. «Как хорошо быть идиотом! — подумал он. — И как же всё-таки здорово жить на свете!»

Ира Доборович

Шаги осени

В рваных тучах неба просинь,
Шорох листьев под ногами,
Это просто ходит осень
Семимильными шагами.
Раз шагнёт — и вот рябина
Вспыхнула костром багряным,
Серебрится паутина
По её ветвям румяным.
Два шагнёт — и вот берёза
Точно золотом облита,
Чуть вздохнёт, роняя слёзы,
Мелким дождиком умыта.
По утрам туман фатою
Тихо город укрывает,
Стелется по-над водою,
Крики чаек приглушает.
Три шагнёт — и вдруг отступит
Делом рук полюбоваться,
Лету бабьему уступит
Дней пяток потусоваться.
Хоть похоже, только это
Всё равно уже не лето,
И природа это знает,
Потихоньку увядает.
Скоро осень по дорожке
Раз ещё шагнёт несмело,
Утром выглянешь в окошко,
А вокруг всё побелело.

Моя семья

Мы с тобой не просто «ты» и «я»,
Двое нас, но мы уже семья.
Мать и дочь — мы две души родных
В горе, в радости, в сомнениях любых.
Ведь в семье, чего уж тут скрывать,
Не всегда лишь тишь да благодать.
Ах, как часто я бываю неправа,
Говорю тебе обидные слова.
А потом мне очень стыдно от того,
Что ты плачешь от упрямства моего.
Всё обсудим мы с тобой вдвоём,
Что бы ни было, друг друга мы поймём.
Даже если не поймём — не стоит дуться,
Мы обнимемся, и тучи разойдутся.
Ты рукой меня прикроешь, как крылом,
Мы — семья, нам хорошо вдвоём.
Этот дом, где мы живём с тобой,
Для меня любимый и родной.
Пусть не слышит мирный этот кров
Горьких сцен и слишком резких слов.
Ведь друг друга любим — ты и я,
Двое нас, и мы с тобой — семья!

Маша Рожина

Хочется снега



Вечер осенний —
кругом тишина.
Нет веселья —
скука одна.
Хочется снега!
Скорей бы зима!
С горки б скатиться,
В сугроб завалиться!
Я от зимы без ума!



Я хочу по радуге пробежаться,
В кучевых облаках поваляться,
С солнцем в ладошки поиграть,
И в его лучах искупаться!

Я хочу на Марс заглянуть,
Марсианину подмигнуть,
На Венере домик построить,
В ярких звёздочках утонуть.

Я хочу тебе просто сказать,
Что не вредно, не вредно мечтать.

В номере

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, ¼ 11 937,
редакция журнала «День и Ночь».
Желателен диск с набором, фото-
графия, краткие биографические
сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут
авторы материалов. Мнения авто-
ров могут не совпадать с мнением
редакции. При перепечатке мате-
риалов ссылка на журнал
«День и Ночь» обязательна.

Для приобретения номера
и размещения рекламы соци-
альной направленности обра-
щайтесь в отдел маркетинга
и распространения журнала
«День и Ночь»: т. 8 906 916 56 55
e-mail: kras_spr@mail.ru

Интернет-версия журнала
www.krasdin.ru поддерживается
ООО «КИТ»

ооо «Редакция литературного
журнала «День и Ночь».

ИНН
246 304 27 49
Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.
БИК
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75^а,
офис «ДиН»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Сдано в набор: 20.09.2008
Подписано к печати: 17.10.2008
Объём: 26.46
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала
в типографии ооо ипщ «касс»

Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23

ДиН память

- 2 Горы горят
Сергей Сартаков
- 164 Первый лавр
Владислав Ходасевич
- 228 Утешение
Михаил Кузмин

Литературные встречи в Сибирском федеральном университете

- 13 Я жил в раю
Николай Ерёмин
- 25 Вечные вопросы
Анатолий Третьяков
- 27 Китайский дневник
Мария Шлёнская

ДиН стихи

- 37 Доля птичьа, воля птичьа...
Сергей Кузнецихин
- 40 Возвращение
Юрий Татаренко
- 42 Ощущая бездну...
Виктор Брюховецкий
- 44 Тебя читаю
кончиками пальцев...
Елена Солодянкина
- 93 Липнет нить к веретену
Виктор Кальшин
- 156 Видеть не предметы, а цвета...
Вероника Шелленберг
- 160 Комната, в которую ты вошла...
Игорь Кузнецов
- 165 Портрет
Елена Сороколетова
- 223 Разбавляя тьму
Николай Хоничев

ДиН роман

- 45 Полукровки
Ролан Нотман

ДиН публицистика

- 89 Он жив, ты жив, мы живы
Валентин Курбатов
- 94 Блаженны кроткие
Анатолий Байборodin

ДиН проза

- 97 От Бирюсы до Шумихи
Николай Шадрин
- 131 Человек середины
Елена Донская
- 143 На краю
Юрий Гладышев

ДиН эссе

- 166 Контрасты
Евгений Мамонтов
- Письмо из Томска
- 176 Травы и звёзды

ДиН пьеса

- 179 Медея
Александр Балтин
- 184 ДиН ревью

ДиН детям

- 12 Как долго не было дождя!
Елена Белова
- 185 Про девочку Лизу
и волшебный посох
Татьяна Секлицкая

Библиотека современного рассказа

- 212 И так всю жизнь
Валерий Кузнецов
- 218 Чёрный ворон
Ирина Горюнова
- 224 В ожидании Дульсины
Наталья Макеева
- 227 Фуга №503 «Мёртвая дорога»
Виктория Гетманова
- 229 В пламени — лёд
Алексей Васильев

ДиН юмор

- 235 Ориентировка
Марат Валеев

ДиН дети

- 245 Синяя тетрадь